



КОЛОМЕНСКИЙ АЛЬМАНАХ

Литературный ежегодник

Орган
творческого
объединения
писателей
Коломны

1997

ИЗДАЕТСЯ В КОЛОМЕНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ

2003

ВЫПУСК СЕДЬМОЙ

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Н.М. Языков К НЕНАШИМ	3
Колонка редактора СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ	5
Виктор Мельников ОПЕРАЦИЯ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ	13
Сергей Малицкий ПАЛЫЧ	28
Ирина Ракша ОСТАНКИНСКИЕ ДУБКИ	48
Владимир Соловьев ДВОЕ	59
Сергей Швакин ВЕРВОЛЬФ	71
Елена Антонова ДУША ПРОСНУЛАСЬ	81
Руслан Бредихин МОЖЕТ БЫТЬ	89
Владимир Пронский ТОНКОВЕТКА	98

ПОЭЗИЯ

Владимир Дагуров ДЕСЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ О ЛЮБВИ	103
Александр Дорин «Я ВАС ЛЮБЛЮ...»	108
Татьяна Башкирова СКАЗАЛИ ПРАВДУ ЗЕРКАЛА	112
Лев Котюков НЕВОЗМОЖНОЕ	115
Евгений Юшин ЧТО-ТО ЗНАЕТ ДУША	120
Иван Голубничий ПРИБЛИЗИВШИСЬ К ЧЕРТЕ	125
Вадим Квашнин НАСМОТРИСЬ НА СТЕРНИСТОЕ ПОЛЕ	128
Андрей Костин НА ВСЕ ЛЕТО	134
Михаил Мещеряков ВРЕМЯ ЗАПОМНИТЬ ЗВУКИ	138
Юрий Киров ДО РАССВЕТА ДАЛЕКО	143
Валерий Ковалев ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА	145
Екатерина Устинова НА ДРУГОМ КОНЦЕ ВЕСНЫ	148
Наталья Евстигнеева ЦВЕТЫ НА ПОДОКОННИКЕ	150

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

- ПЬЕР КУРТАД**
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Перевод с французского Н.Моргуновой 155
- Морис Дрюон**
СТАРАЯ ЛЮБОВЬ
Перевод с французского Н.Моргуновой 165

КНИГА В АЛЬМАНАХЕ

- Олег КоЧетков**
СОКРОВЕННОЕ 173

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ

- Александр Ауэр**
«ЖИВЯ, УМЕЙ ВСЕ ПЕРЕЖИТЬ...» 227
- Наталья Данилова**
ЕДИНЫЙ СТИХ,
ТОРЖЕСТВЕННО ЗВУЧАЩИЙ 235
- Владимир Бондаренко**
ПОСЛЕДНИЙ ОЛИМПИЕЦ 240
- Татьяна Кондратова**
«ДЫШУ СТИХОМ, СТИХОМ ЖИВУ...» 249
- Борис Архипцев**
СУДЬБА, КАК ПЕСНЯ 257
- Сергей Патрикеев**
БЕЗ ПРИКРАС 265

ТЕАТР

- Елена Кузина**
КАМО ГРЯДЕШИ? 271
- Елена Михайлина**
ПИКОВАЯ ДАМА НАФТАЛИНОВОГО ВЕКА 281

ALMA MATER

- Борис Корешков**
В ПРОШЛОМ ЗЕМСКИЕ ШКОЛЫ,
В БУДУЩЕМ — УНИВЕРСИТЕТ 289
- Татьяна Булгакова.**
КАК ДАВНО ЭТО БЫЛО... 301
- Геннадий Дагуров**
О СЕБЕ 304

ФОТОМАСТЕРСКАЯ

- Екатерина Никитина**
ДОБАВИТЬ ЗОРКОСТИ
К ЗРЕНИЮ ЧЕЛОВЕКА 317
- Ольга Вечеровская**
ФОТОГРАФИЯ, АКВАРЕЛЬ, ГРАФИКА? 321
- Роман Славацкий**
КОЛЕСНИКОВСКАЯ КОЛОМНА 327

ГАЛЕРЕЯ

- Татьяна Хвостенко**
ВЕЧЕРА В ПЕСКАХ БЛИЗ МЕЗЕНКИ 333
- Вадим Дементьев**
ТРАДИЦИОННЫЕ БЕРЕГА 347

ЛИЧНОСТЬ

- Вероника Ушакова**
ОПЕРЕЖЕНИЕ 361
- Анатолий Кузовкин**
ЖИЛ, НЕ ЗНАЯ ПОКОЯ 375
- Михаил Маношкин**
БАБУШКА ЕКАТЕРИНА ЕГОРОВНА 385
- СОБИРАТЕЛЬ ТАЛАНТОВ 397

РОДИМАЯ СТОРОНА

- Роман Славацкий**
ЧЕРКИЗОВСКАЯ ХРОНИКА 401
- НАША БИБЛИОГРАФИЯ 445

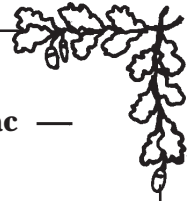


Н.М. ЯЗЫКОВ

К НЕНАШИМ

О вы, которые хотите
Преобразить, испортить нас
И онемечить Русь, внемлите
Простосердечный мой возглас!
Кто б ни был ты, одноплеменник
И брат мой: жалкий ли старик,
Ее торжественный изменник,
Ее надменный клеветник;
Иль ты, сладкоречивый книжник,
Оракул юношей-невежд,
Ты, легкомысленный сподвижник
Беспутных мыслей и надежд;
И ты, невинный и любезный,
Поклонник темных книг и слов,
Восприниматель достослезный
Чужих суждений и грехов;
Вы, люд заносчивый и дерзкий,
Вы, опрометчивый оплот
Ученья школы богомерзкой,
Вы все — не русский вы народ!

Не любо вам святое дело
И слава нашей старины;
В вас не живет, в вас помертвело
Родное чувство. Вы полны
Не той высокой и прекрасной
Любовью к родине, не тот
Огонь чистейший, пламень ясный
Вас поднимает; в вас живет
Любовь не к истине и благу!



Народный глас — он Божий глас —
Не он рождает в вас отвагу:
Он чужд, он странен, дик для вас.
Вам наши лучшие преданья
Смешно, бессмысленно звучат;
Могучих прадедов деянья
Вам ничего не говорят;
Их презирает гордость ваша.
Святыня древнего Кремля,
Надежда, сила, крепость наша —
Ничто вам! Русская земля
От вас не примет просвещения,
Вы страшны ей: вы влюблены
В свои предательские мненья
И святотатственные сны!
Хулой и лестью своею
Не вам ее преобразить,
Вы, не умеющие с нею
Ни жить, ни петь, ни говорить!
Умолкнет ваша злость пустая,
Замрет неверный ваш язык:
Крепка, надежна Русь святая,
И Русский Бог еще велик!

Статья Н.Даниловой к 200-летию
со дня рождения Н.М. Языкова —
в разделе «Литературные заметки».

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ



Седьмой номер... В надежде на понимание и дружбу пришел он к коломенскому читателю. Вы, наверное, обратили внимание на титульный лист альманаха: появилось новое обозначение — «орган творческого объединения писателей Коломны». Да, в нашем городе появилась на свет еще одна творческая организация. На этот раз писательская. Уже

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

*одно то, что альманах выходит регулярно и администрация города во главе с мэром Валерием Ивановичем Шуваловым принимает в его финансировании самое деятельное участие, свидетельствует о росте авторитета коломенского писательского объединения. Ведь куда проще рассуждать о любви к русской культуре, чем делать для нее что-то реальное. Люди, которые содействуют нашему изданию, не просто благородные меценаты, они — хранители коломенской традиции. Ведь именно из таких книг, как альманах, и складывается **Слово** Коломны, а из городов, подобных ей, собирается удивительный феномен культуры — русская провинция. А русская провинция — это особая планета.*

Этот год оказался для седьмого номера на редкость счастливым. Альманах взят под опеку Коломенским государственным педагогическим институтом. И сделано это не формально, а со вполне ощутимыми материальными последствиями. В частности, институт выделил редаклегии кабинет с телефоном. А это большое дело. Теперь у нас есть организационный центр, место для творческой работы, хранения архива, технического ма-



териала. С этого момента эпоха «виртуального» бытия для нашей редакции закончилась и наступило время настоящей деятельности.

Рабочее место значит невероятно много — это вам любой творческий человек подтвердит. Так что есть надежда, что содержание наших сборников станет иным, более глубоким и цельным.

Отдельное слово благодарности следует сказать в адрес недавно ушедшего от нас ректора КГПИ Бориса Дмитриевича Корешкова. Он и сам по себе был человек неординарный, и к культуре у него отношение было правильное, глубокое и умное.

Хотя, конечно же, сотрудничество с КГПИ не ограничивается только личностью ректора. С институтом у нас более глубокая, можно сказать генетическая связь.

«Наша альма-матер» — так называют КГПИ больше половины авторов ежегодника. А если сюда еще прибавить мощную когорту его профессоров... Многие из этих людей — приезжие, но за те годы, что они прожили в городе, дух Старой Коломны настолько глубоко вошел в их сердца, что по части краеведения и патриотизма эти «варяги» могут дать большую фору многим истым коломенцам. Вот и получается, что наш альманах давно сросся с педагогическим институтом.

Так что содействие гуманитарного вуза в решении технических проблем — вовсе не случайность, скорее закономерность. Такая помощь представляется не только своевременной, но и очень показательной. Это значит, что меняется отношение к культуре вообще и к писательскому труду в частности.

Может быть, это и субъективно, но у меня есть отчетливое ощущение, что в целом чиновничий интерес к нашему труду изменился, притом в лучшую сторону.

Старки—Черкизово—Пески — уникальный культурный комплекс, с которым связаны имена выдающихся писателей. Каждый из них составил эпоху в истории литературы: Валерий Брюсов, Борис Пильняк, Анна Ахматова, Борис Пастернак, Марина Цветаева, Сергей Шервинский... Просто дух захватывает от сознания того, что эти люди бывали здесь!

Конечно, создатели «коломенской аномалии», как они шутили называли черкизовское литературное содружество, меньше всего думали о том, чтобы «творить литературную историю» нашего края. Для них творчество было образом жизни. Это мы произносим с придыханием: «Ахматова!» А для девочек Шервинских, дочерей великого переводчика, она была «тетей Аней». В сочетании гениальности с незатейливостью быта, возможно, и заключается тайна очарования Старков.

И как же поступили с этим оазисом Серебряного века? Шервинских выгнали, а на месте их дачи воцарился психоневрологический интернат.

Кто-то скажет: «Чего вспоминать? Те люди не понимали, что творили». Как бы не так! В том-то и весь трагизм положения, что все они понимали. Я допускаю, например, что они не читали Ахматову, но Шервинских-то знали. Старый профессор Василий Дмитриевич Шервинский бесплатно лечил и консультировал всю округу, многим спас жизнь. Именно он в 1911 году, как сейчас говорят, «пробил» строительство здешней школы, да и построена она была по проекту его сына Евгения. Это были благодетели Черкизова, гордость и слава земли коломенской.

В прошлом году совершилось удивительное. Была начата реставрация школы Шервинских, и в одном из залов открылась выставка к 110-летию со дня рождения поэта и переводчика Сергея Шервинского. Конечно, до

восстановления культурного комплекса еще далеко. Но начало положено! И можно надеяться, что вместе с возвращением духа культуры и гуманизма в угасающее Черкизово вернется жизнь.

Мне особенно приятно говорить об этом, поскольку Коломенский альманах тоже внес свою лепту в возрождение старинного центра Старки—Черкизово—Пески. Достаточно вспомнить публикации профессора К.Г. Петросова. Писатель Роман Славацкий стал одним из авторов экспозиции в школе Шервинских. Да и понятно: ведь он многие годы — наверное, уже лет пятнадцать — занимается историей Старков.

Хочу поделиться впечатлениями от есенинского праздника 2002 года в Константинове, куда я был приглашен. В тот день чествовали лауреатов Есенинской премии. Все было настолько торжественно и радостно, что невольно чувствовалось величие Руси. День рождения поэта превратился в торжество литературы. Тогда я искренне порадовался за рязанских коллег. «Не пришло ли время, — подумал я тогда, — учредить и у нас в городе ежегодную коломенскую литературную премию?» Наш педагогический институт, мне кажется, — достаточно солидное и объективное учреждение, чтобы суметь «отделить зерна от плевел» и выбрать, скажем, лучшую книгу года или лучшего писателя. Коломна — древнейший духовный и культурный центр Подмосковья, и он имеет право на то, чтобы воздать должное своим талантам еще при жизни. Не надо и придумывать название для нового начинания. Само собой разумеется, это должна быть премия имени И.И. Лажечникова.

Почему родина Тютчева, Фета или Платонова имеет право гордиться своими дарованиями, а родина Лажечникова — нет? Право же, давно пришло время исправить это упущение!

Судьбы коломенских литераторов всегда складывались нелегко. Известно, что только в 60–70-е годы XX века пять поэтов покончили с собой. Среди них был такой талантливый человек, как Анатолий Иванов. Мы знакомили наших читателей с его творчеством. Житель старинных Песков, педагог, человек с тонкой и чуткой душой, он, хотя и не был членом Союза писателей, но работал на вполне профессиональном уровне. Выпустил хорошую книжку детских стихов, готовил к изданию лирический сборник; и вот — такой финал...

Я, конечно, не могу одобрить подобного способа решения проблем. Но в то же время не поднимается у меня рука написать строчки осуждения в адрес этих людей... Ведь каждый из них в той или иной мере обладал талантом, чуткой и ранимой душевной конституцией. Но, выходит, они не были нужны своему Отечеству. В этих нелепых и безумных смертях видится протест — против общего строя жизни, против безразличия и непонимания окружающих.

«Сейчас совсем другая эпоха», — возразит мне кто-нибудь. Другая, да не совсем... Грустно говорить о талантах, брошенных постсоветским обществом на произвол судьбы.

Ведь именно в годы «перестройки» прекрасный русский писатель Валерий Королев должен был работать... сторожем на дебаркадере. Он, создатель целого мира, наполненного живыми героями, добрый, честный и мудрый человек, оказался ненужным власти. И в результате — непризнанность, работа на износ и смерть в неполные пятьдесят лет.

Нельзя сказать, что Королев забыт, его произведения изданы, его имя увековечено в названии городской библиотеки и в бронзе мемориальной доски. Опять же, не чиновники от власти это сделали, а друзья не дали кануть в Лету этому яркому художнику.

Или вспомнить участь ветерана-фронтовика, покойного Михаила Ма-ношкина, который вообще сидел без работы. Удивительно: он в веке двадцатом повторил путь средневековых коломенских аскетов-книжников, которые, довольствуясь нищенским куском хлеба, создавали свои творения. Труды Михаила Павловича изданы лишь частично, едва ли не большая часть его романов еще только ждет публикации.

Что приготовили мы читателю в новом сборнике? Как всегда, в полном изобилии проза. Современная новелла... Этот жанр в последнее время особенно успешно развивается в Коломне. Подборка рассказов получилась многоголосой. Произведения отличаются друг от друга темами, кругом героев, их характерами, интонацией, настроением... Вспомним слова популярного в Германии и в нашей стране детского писателя Бенно Плудара: «У автора могут быть самые разнообразные поводы для написания того или иного произведения, у читателя же чаще всего есть только один стимул к чтению: если ему это интересно и если от этого он становится чуточку умнее». Не буду расхваливать наших новеллистов, думаю, читатели сами определяют меру своих симпатий.

Ну и, конечно, стихи лучших коломенских поэтов также представлены вниманию зорких ценителей. Поэзия — самый красивый и в то же время самый коварный жанр. Ее можно сравнить со скрипкой — беспощадным инструментом, не терпящим неумелости и фальши. Правда, сами поэты утверждают, что поэзия — это состояние души. Нет, поэзия — это обостренное зрение и неповторимость. Только поэт может так сказать:

Уметь понять молчание воды
И то, о чем тоскует подорожник.
Последний луч бледнеющей звезды
Ласкать пытливым взглядом осторожно,
Услышать песню ивы над ручьем
И гимн скворца — весенний, вдохновенный,
И ощутить перед лицом Вселенной
Короткий миг, который мы живем.

Это стихи Татьяны Башкировой, человека прекрасной искренности, силой своего поэтического дарования умеющей перевести личное видение и личные переживания в общечеловеческие, находящие отклик в любом сердце. Прислушайтесь к ее голосу:

О моем закате, душу рая,
Мне сказали правду зеркала,
Чтобы я одумалась когда-то,
Позабыв свою любовь-беду...
Перед целым светом виновата,
В ноги горьким травам упаду.

Ее стихи привлекают прежде всего внутренним максимализмом. Она и по жизни максималист, и в дружбе... А это не каждому по силам...

Путь Вадима Квашина — поэта-землепаица — от первых шагов неразлучен с русской равниной. Вот так открыто, предельно просто говорит поэт о своей кровной связи с родной землей:

И рассвет с несерьезною хмурью,
И недолгая праздность дорог.
Мягко щурится небо лазурью,
Тихо греются травы у ног.

И тебе за ушедшее лето
Будет время подумать всерьез:
То ли волей отцовских заветов,
То ли сам в эту землю пророс?

Здесь рожденное сердце впитает
От лесных и пшеничных корней.

Такие строчки нельзя выдумать: ими нужно жить. Поэзия Вадима — это его судьба. Потому — прочувствованные, западающие в душу слова печали и боли о родном, потерянном:

Признайся под небом свинцовым,
Глотая Отечества дым, —
То поле, что было отцовым,
Да разве не стало твоим?
Хлебнувшее страха и боли,
Виновное — вашей виной.

Сергей Есенин, предвидя послереволюционные изменения в жизни крестьян, с горечью писал: «Я последний поэт деревни...» То же чувство в стихах Квашинина, певца «постперестроечной» сельской жизни:

И вот я здесь, права была молва,
Что умер дом. Какое запустенье!
И сразу безнадежные слова
Слагаются в мое стихотворенье.

Одна только дверь не закрытая,
Холодная печка не топлена,
Пустыня, как жизнь позабытая...

Как тут не поверить, что история развивается по спирали: один поэт написал горькие строки о русской деревне в начале века, другой — в конце его...

«Третий кит» нашего альманаха, конечно же, литературоведение и краеведение. Коломна — все-таки особенный город: его литературная и художественная история насчитывает более шести веков. Такая глубина культурного наследия не может не оказывать влияния на потомков. Наверное, отсюда — то пристальное внимание к прошлому, которое характерно для духовной жизни последних десятилетий. И может быть, именно здесь лежит разгадка тайны «коломенского текста» — удивительного единства, свойственного подчас совершенно разным писателям-землякам.

Не нам судить и не нам расставлять самим себе оценки. История рассудит, кто обретет бессмертие, а кто будет забыт. Но у всех нас — и у талантливых людей, и у не очень одаренных — есть некая общая черта. И вот парадокс: чем более мы отдаляемся от начала своей духовной истории, тем четче становятся ее логика и последовательность. Здесь, наверное, стоит упомянуть имя поэта Олега Кочеткова. Он уже давно вошел в историю русской литературы. И надеюсь, надолго в ней останется. Такого поэта у коломенцев, наверное, еще не было. И вряд ли скоро появится.

Сам Олег признается, что ему сложно запоминать свои стихи — настолько они полновесны, тяжеловесны — от мысли, их наполняющей. В его строках нет так привлекательной порой для читателя легкости понимания, за которой очень часто скрывается пустота. По выражению критика Владимира Гусева: «Это именно серьезный голос серьезного человека; это главная традиция большого стиля русской литературы».

В своих стихах Олег Кочетков верен себе и своей Родине. Какая высшая концентрация поэзии и боли за свою Русь в одном пятистишии:

Встану рано сегодня
И вокруг оглянусь:
Боже, это ведь — Родина!
Ах, ты Мать моя — Русь!

Беспросветная грусть...

Слияние богоданности поэта с его трезвым рассудком вершится на уровне столь высоком, который мы не часто наблюдаем в нашей словесности. На первый взгляд может показаться, что стихи Кочеткова создают ощущение всероссийской безысходности. Но нет, поэт не выносит приговора. Он просто включается в тот серьезный разговор, который мы ведем ежедневно на нашей Святой Руси...

Я часто задумываюсь: какая энергия питает всех нас, позволяет удерживаться на грани существования? И отвечаю с надеждой и дерзновением: любовь! Не каждого она посещает, не каждому удастся ее найти, и все же человек стремится к ней, ибо такова сущность его природы, извечная надежда. Музыкант поет о ней струнами души. Художник изображает с помощью красок и светотеней. А мы попробовали обрисовать нежный образ словами. Большинство произведений этого номера посвящены великому чувству, высшей задаче Творца. Мы порадуемся, если читатель вместе с нашими героями будет переживать вспышку первой любви или увидит ту Прекрасную Даму, которой посвятил когда-то свои бессмертные строки великий Блок. И пусть ваши сердца трепещут от любви к женщине и замирают от вечного, но такого непростого счастья жить и любить на этой прекрасной и яростной земле.

Август 2003 года

ВИКТОР МЕЛЬНИКОВ

ПРОЗА





Фото Геннадия ЧИСТЯКОВА



ВИКТОР СЕМЕНОВИЧ МЕЛЬНИКОВ ВЫШЕЛ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ, КОТОРОЕ РОСЛО ПОСЛЕ ВОЙНЫ. ЕМУ РАНО ПРИШЛОСЬ ЗАДУМАТЬСЯ О МАТЕРИАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ СЕМЬИ: ЕЩЕ НЕ БЫЛО И ШЕСТНАДЦАТИ, А ОН УЖЕ ПЛОТНИЧАЛ, ВГОНЯЯ В МОЗОЛИ ПРАВДУ ЖИЗНИ.

ПЕРВЫЙ ЕГО РАССКАЗ «МУЖСКАЯ ДРУЖБА» БЫЛ ОПУБЛИКОВАН В 1966 ГОДУ. ЗАНИМАЛСЯ В РИЖСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ОБЪЕДИНЕНИИ ПОД РУКОВОДСТВОМ ПОЭТА ЛЕОНИДА ЧЕРЕВИЧНИКА. УЧАСТВОВАЛ В РАБОТЕ СЕМИНАРА МОЛОДЫХ ПРОЗАИКОВ ЛАТВИИ. СНИСХОДИТЕЛЬНО-КОМПЛИМЕНТАРНОЕ НАПУТСТВИЕ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ ПОЛУЧИТЬ ОТ МАСТИТОГО МАСТЕРА ПРОЗЫ — НИКОЛАЯ ЗАДОРНОВА.

СЕЙЧАС ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПЕЧАТАЮТСЯ ВО МНОГИХ РОССИЙСКИХ ЖУРНАЛАХ. АВТОР ШЕСТИ КНИГ. ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ. ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ И.Д. СЫТИНА ЗА 2002 ГОД.

ВИКТОР МЕЛЬНИКОВ

ОПЕРАЦИЯ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ

РАССКАЗ

Не отрекаются любя...

В.Тушнова

Алексей Михайлович Баталов чувствовал: что-то должно произойти. Уже начало дня было скверным, почти мучительным.

Еще вчера он собирался объясниться с женой, но так и не смог — духу не хватило. Альбина была в добром, приподнятом настроении, все что-то живо рассказывала, и у него язык не повернулся обрушить на нее такое. Это было, разумеется, странно — он, ведущий хирург городской больницы, ежедневно принимающий у операционного стола смелые решения, а здесь... Впрочем, это было, конечно же, объяснимо. Там резать и рассекать тело — это одно, а здесь приходилось кромсать по собственным нервам, по собственным судьбам. Но все же решаться когда-нибудь надо было... Главное, произнести несколько первых слов, а дальше пойдет... пойдет... И гора с плеч. Но именно эти первые фразы были самыми мучительными и все не выговаривались.

И только сегодня утром, за завтраком, сидя в кухне на своем постоянном месте — у холодильника, он произнес:

— Альбина, я хочу тебе кое-что сказать... Это очень важно и серьезно. Я давно люблю другую женщину. — Вымолвил тихо, почти бесстрастно, но в душе словно что-то оборвалось, облегчения не было. — Ты, конечно, можешь судить меня как угодно и называть как хочешь... И будешь, наверно, права, но уж так случилось... Банально, конечно... Но так бывает...

Альбина стояла у плиты, повернувшись к нему спиной, дожаривая сырники, и он не мог видеть ее мгновенно замершего взгляда, медленно бледнеющих щек. Она не закричала: на ее лице, которое он так давно и хорошо знал, не возникло ни истерической усмешки, ни сарказма. Она пе-

реложила поджаристые сырники на тарелку и подала мужу как ни в чем не бывало.

— Значит, у тебя любовь... — Ни одна жилочка не дрогнула на ее лице. — Что ж... правильно. Двух дочерей замуж выдали, теперь самое время и о себе подумать... Тем более, в твоём возрасте глубокая, искренняя любовь — вещь редкая. — Альбина положила себе в тарелку и села напротив. Взгляд ее был чист. И только по побледневшему лицу жены Алексей мог понять, чего ей стоило это спокойствие. — Но только, милый Лешенька, я тебе так скажу — упреков за бесцельно прожитые годы, кстати, ради тебя и твоей карьеры, ты от меня не услышишь. — Она ела энергично, быстро, словно куда-то спешила. — Скажу только одно: когда ты наконец совсем увянешь... да-да, увянешь, а это будет, я думаю, лет этак через пять—шесть, и ты это тоже знаешь как врач, — возвращаться тебе домой уже не придется. Не приму... А что касается твоей молодой Эммочей, твоей «опытной» молодой врачихи, то с ее аппетитами — она тебя быстро переварит... Ей не ты нужен. Ей нужен мужик. Не муж, не мужчина, а просто хороший мужик. А это категория, как известно, временная. — Она помолчала, а потом добавила: — И тогда уж не кидайся ни к дочерям, ни ко мне... Крепись, как знаешь...

Баталов замер с кружкой в руке.

— Так ты что?.. Обо всем знала?.. — поразился он.

— Все знают, а почему мне не знать? Представь себе, я ее даже видела. — Жена поднялась и, поставив тарелки в раковину, принялась мыть. — Да, видела, яркую, с пышными достоинствами. Должна признаться: у тебя неплохой вкус.

Вода с шумом хлестала в раковину. Помолчав, Баталов спросил:

— А почему мне ни разу об этом не сказала?

— Не знаю даже... — жена пожала плечами. — Может, ради дочерей, может, ради себя... Или даже тебя. Ведь стыдно самой волну поднимать. Ты все же не дворник, человек известный, а тут — срам на весь город.

Она прикрутила воду, сняла пестренький фартук, аккуратно повесила в простенке.

— В общем, Лешенька, поступай как знаешь. Ты всегда у нас был голова и все главные вопросы решал сам. Так что решай. — И спокойно, словно ничего не случилось, вышла из кухни.

Баталов сидел подавленный. Он-то надеялся, что сегодня это наконец разрешится, но все опять ложилось на его плечи. «Сам... сам... Опять — решай сам. А что решать? Вроде и так все решено». Конечно, ему гораздо легче было бы, если б жена вспылила, накричала, принялась упрекать, швырнула бы фартук или посуду... Тогда в пылу скандала было бы легче вскочить, собрать вещи и наконец уйти, хлопнув дверью. Уйти к той, которая давно ждала его... А так...

Баталов тяжело поднялся и, взглянув на часы, стал привычно собираться на работу. На душе было скверно. Пожалуй, еще хуже, чем до этого дурацкого разговора. У него даже мелькнула мысль — подойти к Альбине, сказать какие-то утешительные, ласковые слова. Но вместо этого, уже в дверях, с «дипломатом» в руке, он, как обычно, произнес погромче, чтоб она там, в комнате, услышала:

— Ну, пока... Я пошел... До вечера...

На улице сквозь утреннюю дымку по-весеннему голубело небо. И раннее солнце пасхальными лучами где-то вспыхивало, играло в окнах верхних этажей. Баталов шел быстрым шагом, жадно ловя ртом свежий воздух. Встречный ветер охватывал его не по возрасту богатырскую фигуру, трепал темные, пока без седины, волосы. Но ни свежесть ветра, ни утренний свет не радовали душу. Не покидало ощущение какой-то большой надвига-

ющей тревоги. Предчувствие краха, почти катастрофы. Скорей бы, скорей бы дойти до больницы, попасть в свое хирургическое отделение, добраться, как до спасительного гнезда, до своего кабинета и, еще до «летучки» у главного, привычно сесть в свое, давно не новое, но все же — свое, кожаное кресло. Но вот что он скажет Эмме, которая наверняка уже ждет его, — думать сейчас не хотелось.

В больнице, несмотря на еще ранний час, все просыпалось, оживало. Знакомые звуки доносились из палат, кабинетов, подсобок. И Эмма действительно уже поджидала его в длинном и светлом больничном коридоре. Некоторое время они шли рядом молча. Он — широким, небрежным шагом, она, уже в белом халате, — постукивая высокими каблуками.

Он всегда не терпел этот резкий, вызывающий стук каблуков, раздающийся в больнице по кабинетам, в палатах и коридорах, и у себя в хирургии требовал от женского персонала — носить тапочки. Ну хотя бы мягкую обувь. И только, пожалуй, на Эмму это не распространялось. Она была невысокая, словно вышедшая из сказки Дюймовочка, с выразительными, красивыми ногами.

Сейчас она напряженно шла рядом, порой поднимая на него взгляд, стараясь угадать его мысли. Наконец спросила:

— Сказал?

Баталов молча кивнул.

— Был скандал?

— Хуже... В том-то и дело, что его не было.

Она облегченно вздохнула.

— Ну, слава Богу... сказал... А то прячемся от всех, как школьники... Молодец... Главное, что сказал...

Он отпер дверь кабинета, вошел в свой привычный мир. Однако буркнул:

— А мне кажется, это как раз не главное. — Снял, швырнул на диван шарф, пальто. «Дипломат» поставил у стола и опустился наконец в свое черное кожаное кресло. Прикрыл глаза, как от боли.

Эмма молча подобрала одежду, аккуратно повесила в шкаф на плечики. Тихо подойдя к двери, повернула в скважине ключ. Баталов открыл глаза и стал наблюдать за ней — пластичной, гибкой, как молодая испанка. И этого было достаточно, чтобы мысленно улыбнуться и даже успокоиться...

Эмма... Его милая, его страстная Эмма... Перехватив его взгляд, она ответила ему улыбкой, — преданной, лучезарной, которую он так любил. Молода и хороша — этакая миниатюрная рыжеволосая Кармен. С зелеными изумрудными глазами, с губами, полными зова и нежности. Создал же Бог такое чудо! Такое совершенство, гармонию.

Уже третий год, как она появилась в их городе, переехала из Туапсе. Уже третий год, как работает врачом-анестезиологом здесь, в больнице, и все завораживает его своим присутствием. Все манит, манит. Наваждение какое-то...

Конечно, Баталов, человек спокойный и положительный, поначалу сопротивлялся такому неожиданному чувству. И своему, и ее. Он никогда не был фатом или повесой. Стабильность в доме, в семье всегда были для него главными приоритетами. Однако же — грянуло. И однажды он «сломался», не выдержал... Тем более к тому времени и взрослые дочери, одна за другой выйдя замуж, покинули дом... Так и пошло, пошло...

Эмма, подойдя сзади, положила ему на плечи руки — нежные, мягкие, словно крылья волшебной птицы. Склонила голову к его плечу, близко-близко, так, что он почувствовал тонкий аромат ее легких духов. Аромат такой знакомый, такой сладкий, волнующий. Улышал шепот:

— Алешенька... Не переживай... Не думай о ней... Все перемелется, вот увидишь. Я же рядом... — заговаривала она его кровь.

Он прижал эти теплые руки, ощутил нежность молодой кожи.

— Я не о ней думаю, — слукавил он. — О нас, о дочерях... Узнают — скажут: совсем рехнулся наш старец. Седина в бороду, бес в ребро...

Она, крутанув его кресло, горячо возразила:

— Ну что ты? Что ты? Не смей даже в шутку так говорить! Какой же ты старец? — Теперь они были лицом к лицу.

Эмма словно обожгла его. Он притянул к себе ее упругое теплое тело, посадил на колени. Ощутил щекой ее волосы.

А она все шептала ему на ухо, шептала:

— Ты такой молодой, такой сильный... Мы всегда-всегда будем вместе... вместе...

И Баталов, прижав ее и почти касаясь губами зеленых глаз, легко поднялся и, подхватив послушное тело своими сильными большущими руками, опустил на стол. Запрокинув голову, она подставила ему полукрытые губы для поцелуя, и он жадно прижался к ним, таким полным, зовущим, горячим. Они излучали такую энергию, такой заряд, что он стал целовать их порывисто, жадно — еще и еще. Эмма не сопротивлялась и, когда он уткнулся носом в ее пышную грудь, сама расстегнула пуговички халатика. Тело блеснуло белизной, как серпик месяца. Баталов зарычал аки зверь и, уже не слыша себя, своего жаркого дыхания, ставшего похожим на рычание, не слыша и ее сладкого долгого стона, погрузился с головой в бездонный любовный омут. Эмма не отталкивала его, а еще сильнее прижимала к себе это кряжистое и совсем обезумевшее тело. Слетели к ногам брюки, брякнув об пол пряжкой ремня. К ним соскользнуло и ее белье, легкое, как лебединое перышко. Опершись руками назад, она вся изогнулась перед ним. От его напористого движения Эмма вскрикнула, не в силах удержать стон, и он почувствовал, как какой-то ток пробежал по всему ее телу. Золотая цепочка с маленьким крестиком то взлетала, то ударялась о ее грудь. В один миг крохотная Дюймовочка превратилась в рычащего зверька...

Все исчезло вокруг. Алексей не ощущал уже ничего, кроме этого живого, подвижного вокруг. И внутри его самого, казалось, кружилась и бушевала вся Вселенная...

Когда Эмма спрыгнула со стола, Баталов с нежностью взглянул на нее. Ее красивое тело несло такую чистоту, что он стоял около нее как зачарованный. И вот в этот момент он вдруг вспомнил о жене. Вернее, не вспомнил, а горько подумал: почему жены так быстро стареют?

И когда Эмма уже приводила себя в порядок в углу кабинета, поправляя прическу у зеркала, он неожиданно спросил — глуховатым, изменившимся голосом (он всегда подолгу приходил в себя):

— Скажи, Эмма... Ты правда любишь меня?

Женщина удивилась, надевая белую шапочку.

— Почему ты спрашиваешь?.. Неужели не чувствуешь? — Голос был молодой, звонкий — словно ничего между ними только что не произошло. — Ах, мой милый, милый доктор... — Она вздохнула. — Мой незаменимый, непревзойденный главный хирург... Да я всю жизнь мечтала о таком мужике, как ты...

— Мужике?.. — вспомнив слова жены, переспросил он, чтобы окончательно освободиться от навязчивых дум. — Но не всегда же мне быть мужиком?

— Ну, пусть мужчина... Пожалуйста, не придирайся. Я же люблю тебя.

Он задумчиво наблюдал за ней, за пластичными, словно у тигрицы, движениями, попросил:

— Пожалуйста, повтори.

Она с легкостью живо, отчетливо повторила:

— Я о-о-чень те-бя лю-блю-ю... Если хочешь — «Я без тебя, как дым без огня... Я без тебя, как лодка без весел». Видишь, даже стихами заговорила... И мне все равно куда плыть — к причалу или в открытое море. Лишь бы с тобой.

Он уже несколько успокоился, пошутил:

— К причалу твоей квартиры? А если в море, то в Коктебель, летом?

— Почти угадал, — ответила Эмма с легким смешком. — Только лучше

не в Крым, а в круиз по Нилу. Крым мне надоел. — И, подойдя, слегка, как ребенка, потрепала по волосам: — А знаешь... — почему-то голос понизила. — Я спи-раль вынула.

Он не сразу понял, а осмыслив, отозвался не сразу:

— Поменять на золотую решила?

Она кокетливо надула губки:

— Неужели же непонятно?.. Я... хочу... от тебя... ребенка. — Помолчала. —

И учти — это будет прекрасный, гениальный человечек. Как там Шоу сказал? Такой же красивый, как ты, и такой же умный, как я?..

— Или наоборот? — вставил он.

Она подошла, испытующе посмотрела в глаза:

— Может, я не имею на это права?

— Имеешь, имеешь, — ответил он, подавив вздох.

— Тебе это не понравилось? — Она взглянула в упор.

— Да нет, нет. Все нормально. Но все-таки надо было посоветоваться...

Эмма опустила глаза, огладила на груди белый халатик. Он повторил:

— Я же сказал — все нормально. А теперь иди. Пора, скоро обход. — Он придвинул к себе стопку историй болезней. — У нас сегодня что, один «желудок»? Вторая палата.

— Не один «желудок», а два. И не вторая палата, а четвертая и седьмая, — возразила она, неслышно отперев ключом дверь в коридор. — А вообще лучше не зарекаться. По себе знаю. Как говорится, что Бог пошлет.

— Да-да, — согласился он. — Загад не бывает богат. Ладно, иди. На «летучке» увидимся.

Когда за Эммой закрылась дверь, он почувствовал облегчение. Раньше такого не было. Он поднялся, в задумчивости неслышно прошелся от стола к окну и обратно — по истертому, некогда красному ковру. В душе теснилось столько неожиданных и несовместимых мыслей и ощущений, что справиться с этим сразу было не просто. Он остановился у шкафа, где, кроме папок и книг, издавна стоял плеер. Открыв застекленные створки, провел пальцами по длинному ряду дисков. Почему-то выбрал Шаляпина. Поставил на плеер и, нажав клавишу, вернулся в кресло. На этот раз оно тяжело вздохнуло под грузным телом хозяина.

И вот, словно из далекого далека, чуть приглушенный шорохом времени, зазвучал, ширясь и наполняя комнату, густой шаляпинский бас. Это была опера. Ария Годунова, мятущегося, греховного царя Бориса.

Мелодия мощно нарастала и все теснила, теснила душу Баталова. Звуки напоминали вопли кипящей, терзающей сердце совести, крики ужаса от сознания пролитой крови невинного ребенка... Но почему, зачем он выбрал именно этот диск — Баталов и сам не знал. А звуки все ширились, заполняя пространство небольшого кабинета, ударялись об оконные переплеты, о книжный шкаф, заставленный трудами по медицине, о напольные часы с бронзовым маятником, о стекла дипломов по стенам, о рамки семейных фотографий, стоящие на столе, с которых ему счастливо улыбались его жена, Альбина, и две прелестные белокурые девочки.

Баталов сидел, откинувшись в кресле, прикрыв глаза и полностью обратившись в слух. Звуки словно пронизывали все его существо, словно растворялись в крови. Побелевшие пальцы вцепились в подлокотники. От глубокого нервного напряжения пот проступил на висках. Да, он давно не испытывал подобных чувств. Да и вообще давно не слушал Шаляпина. И вдруг...

Вдруг все оборвалось. Он резко открыл глаза и увидел перед собой двух молча стоящих коллег в белых халатах, большого и маленького, как Пат и Паташонок, — Шумилова и Головина. Молодой талантливый Шумилов, Василий Николаевич, а для Баталова просто Вася, был отличным хирургом и его постоянным ассистентом, негласно даже считавшийся преемником. Он старался во всем подражать шефу: в ведении дел, в почерке работы за операционным столом, в манере ходить, говорить. Даже в том, что любил

угощать персонал конфетами. Он и роста был высокого и двигался так же ладно, размеренно, как заведующий. Ну, а Головин... Виталий Георгиевич, напротив, был пухлый, маленький, неказистый. Врачебным талантом и рвением не отличался. И в отделении его недолюбливали — за скуповатость, хитрость и постоянный, с ухмылочкой и прищуром, вопрос: «А что я буду с этого иметь?» Хотя, в общем, работать с Головиным было можно. Не худший вариант. Любил юморить, даже в операционной. Ну, а в присутствии дам позволял себе россыпи таких шуточек и анекдотов, что они пунцово краснели и прикрывали ладошками щеки. Зато втайне... Втайне этот лысеющий старче мечтал скорее добраться до пенсии. И была у него еще одна слабость — он был азартен и любил бридж. Сестрички утверждали, что несколько раз видели его, как он по ночам просиживал за картами в городском казино.

— Извините за вторжение, — виновато произнес Головин, с любопытством взглянув на заведующего.

Баталов торопливо встал, выключил плеер и в наступившей тишине произнес:

— Прощу простить, коллеги. Что-то с самого утра потянуло на классику. Заряжаюсь, так сказать...

— Вот уж нашли чем с утра заряжаться, — улыбнулся Головин и сел напротив. — Заряжаться лучше всего с вечера и совсем другой классикой...

Однако Вася Шумилов горячо возразил:

— Да бросьте вы... Это же силища, великий наш бас. — Он в любых ситуациях был за главного. — Это не то что бельканто какое-нибудь заграничное.

— Вот-вот, — Баталов тотчас откликнулся, чтоб поддержать разговор. — У них там все тенора, тенора. А басов сроду не было. — Машинально переложил на столе деловые бумаги. — Как Пирогов, к примеру, или Дормидонт Михайлов. А ведь все самоучки были, — перелистал почту, — все из духовного звания... Священники, дьяконы были, а поди ж ты, так пели — в Большом люстры дрожали...

Шумилов вдруг засмеялся. Баталов и Головин взглянули на него.

— Извините, — все еще улыбаясь, произнес их коллега. — Вспомнилась одна смешная история по поводу басов и теноров. Однажды сам император поинтересовался у Шаляпина: почему тенора имеют такой большой успех у женщин, а басы — нет? Ну, певец напрямую ему и вlepил: тенора, мол, поют партии любовников, потому и слава им такая, а мы, басы, кого поем — либо монахов, либо дьяволов, либо чертей. Император согласился: да, действительно, роли все неинтересные.

— А по мне — все одно: что Годунов, что Сусанин. — Головин, смеясь, отмахнулся. — Опера давно умерла. Так сказать, в Бозе почила. — Потер лоб ладонью: — Кто-то из мудрых сказал, что опера — это такой вид театрального действия, где герои поют вместо того, чтобы истекать кровью...

— Не вы ли, часом, этот мудрец? — заметил Вася Шумилов. — С небольшой такой примесью циника.

Все трое заулыбались. А Головин воскликнул с шутейным пафосом:

— Ну нет, не скажите, коллега! Несмотря на всю кровь, всю боль и грязь нашей скорбной профессии, здесь вот, под белым халатом, бьется горячее сердце! Будь я музыкантом, я сочинил бы оперу не про царей, а про нас... То есть про вас...

— Это как же? — спросил Шумилов, проведя красивой рукой по сильному подбородку. — На сцене мы — со скальпелями, в белых халатах и, конечно, склонились над телом? И при этом поем?

Головин руками всплеснул:

— А почему бы и нет?

Баталов с Васей картинно переглянулись. Шеф вздохнул:

— По-моему, тяжелый случай.

Вася согласно кивнул:

— Крайне тяжелый...

В коридоре стали слышны голоса, ходьба. Донесся грохот старой каталки, позвякивание посуды — это больным привезли с кухни, с «пункта раздачи питания», завтрак.

Баталов поднялся:

— Однако, дорогие коллеги, не пора ли нам вспомнить о наших страждущих и болящих? — и он кивнул на большие часы в углу.

Они как раз выразительно зашипели, готовясь отбить девять тяжелых звучных ударов. Начало рабочего дня.

Уже после обхода и короткого совещания «выше», на третьем у главврача, все вошло в обычную колею. День потек своим чередом. Но неожиданно его привычное течение было нарушено. Когда Баталов просматривал в рентгеновском кабинете еще не просохшие снимки, к нему торопливо подбежала Эмма. Ее вид был озабоченным, даже тревожным. Глаза широко раскрыты.

— Алексей! — тревожно окликнула она срывающимся голосом. — Там привезли больного... Тебе надо спуститься... По-моему, очень тяжелый случай.

Нехорошее предчувствие снова кольнуло Баталова. И тут же с досадой подумалось: «Ну вот, начался денек. Воистину, врач не знает, что его ждет в следующую минуту». И коротко бросил:

— Пошли!

В приемный покой Баталов шел быстро, широким шагом, так, что полы зеленого халата отлетали в разные стороны. Больничный коридор для его крупной, летящей фигуры казался особенно узким и тесным. Ну, а Эмма... его Эмма казалась рядом особенно маленькой. Постукивая каблучками, она еле поспевала за ним. Но он не обращал на нее внимания. В горячие, деловые часы он совсем забывал, что она — его... Что она — его женщина. Наконец Эмма не выдержала и остановилась.

— Алексей, я зайду в ординаторскую. Если что, буду там.

Он на ходу кивнул, быть может, даже не разобрав ее слов. В приемной комнате среди белого кафеля на клеенчатом топчане неподвижно лежало темное тело. С первого взгляда Баталов решил, что это бомж. А может, пришлый наемный рабочий, которых много сейчас появилось в их небольшом городке. Но главное, доктор сразу понял, что дело действительно плохо. Глаза пациента были закрыты, худые ноги в рваных носках поджаты к животу, небритое лицо безжизненно, вернее, мертвенно бледно. По этой бледности Баталов сразу и поставил диагноз — «лицо Гиппократата» — признак обширного воспаления брюшины. Больной тихо постанывал. Дежурная врач-терапевт, склонясь над столом, заполняла бумаги. Баталов мыл руки над раковиной в углу. Привычно громко спросил:

— Как ваша фамилия?

— Хэращенко... — еле простонал тот.

— Колоритная фамилия, — ободряюще продолжил Баталов, хотя ничего экзотического в этой фамилии не было, но это был обычный прием врача: следовало как-то разговорить больного и по ответам, по голосу понять многое, а может, даже и главное.

— У нас в Морынцах уси с такой живут.

— И все, стало быть, Геращенко? — усмехнулся Баталов. — Не банкирам ли сродни?

Но больной промолчал: ему было не до шуток.

— Ну и как такой гарный хлопек оказался в нашем городе?

— На зароботки приехали, — отозвался больной хрипло. — С соседом.

— Так, так... Ляжем на спину... Теперь живот обнажим. — Баталов присел на топчан, склонился над больным, осторожно дотронулся пальцами до живота. «Доска!» — И давно болит?

— Да с Пасхи. Нанялись мы до вашего местного богатея, а его и вбыли. А чего до жинки без грошей повертаться?

— Да уж... без грошей, точно, не стоит, — Баталов хоть и шутил, но лицо его было сосредоточенно. — Где больше болит? Тут? Тут?

— О-тут... Особо, если поем...

— И когда же ты поел в последний раз?

— Учора вечером. Пиво пыв.

— А еще что пил? — Баталов нахмурился.

— Горилку...

— Почему раньше не обратился?

— Та хто ж знав?.. — Голос был еле слышен. — Напарник сказав — це не Украина, в России лечат за грі ши. Разумил — так пройде.

— В Коломне бесплатно лечат. Есть еще в России такие места.

— Думав, горилкою промоется и пройде... Чо дарма людэй беспокоить... Баталов поднялся.

— «Промоется!..» Мозги бы вам надо промыть. Вместе с напарником. — И сердитый пошел мыть руки. — Эх, братья-славяне!.. — Взглянул на коллегу: — Вот вам ярчайший пример наплевательства на собственную персону!.. Еще спасибо, что грелку не приложил.

— Та дэж ее було взяты, — прошептал Геращенко. — Мы и так почувалы як прыйдэться. То на базари, то на вокзали.

Баталов подошел к столу. И ему, и дежурному терапевту все, в общем, было ясно. Но Баталов для убедительности сказал:

— Итак, пишите... Разлитой перитонит... Думаю, и еще кое-что... Там посмотрим... В общем, заполняйте бумаги... Барахло его в дезинфекцию... А самого — наверх, к нам... И немедленно — немедленно! — пусть готовят к операции.

А в коридоре между тем слышалась какая-то суета. Доносились возгласы, крики, непривычный шум быстрого движения. Баталов вышел из приемной и сразу понял — что-то произошло. В больнице творилось неладное, необычное. Больные спешно стремились к выходу. Взволнованно переговариваясь, на ходу одевались, натягивали поверх больничных халатов кофты, свитера, кутались в платки. Меж ними сновал персонал — сестры в белых халатах, а некоторые и в пальто. Слышались крики: «Спокойно, больные, спокойно!.. Не задерживайтесь... побыстрее!.. Пропустите!.. Откройте запасной выход!.. У подъезда ждут автобусы... Садитесь в любой!» Живой поток больных стремился, катился к выходу. Тут были и милиция, и какие-то посторонние — и в военном, и в штатском.

— Какого черта?! — оторопел Баталов, прижатый к стене. — Что случилось? Что за паника?

Но в этот момент рядом встала Эмма. В ее глазах он прочел нескрываемый ужас, хотя говорила она почти сдержанно:

— Только не волнуйся... Не волнуйся, Алеша. Это эвакуация... Главврач так распорядился. Да, впрочем, ему ничего и не оставалось. Все случилось только что. Главное — надо спасти больных.

— Спасать? Что за чушь?.. Какая, к черту, эвакуация?

Но рядом раздался низкий внушительный голос:

— Вы заотделением?

— Допустим. А вы кто такой? — не понимал сути Баталов.

Незнакомец в штатском произнес четко:

— Территория больницы заминирована. Понимаете? И вы должны эвакуировать свое отделение.

— Это что, учение, что ли? — еще недоумевал он.

— Нет, все очень серьезно, — ответил незнакомец, в котором за версту угадывался фээсбэшник. — Заминирована машина «скорой помощи». Ваш же «рафик». Здесь, у самого подъезда.

Мимо них в страхе спешили, бежали, стуча ногами, люди. Мелькали испуганные лица, глаза. Баталов взглянул на Эмму.

— Может, какой-то сумасшедший позвонил, а вы приняли всерьез? — все не верил в происходящее Баталов.

Лицо Эммы было серым, как левитановский март, почти обморочным.
— Нет, нет, Алеша. Я все узнала. Это не телефонное хулиганство. Это настоящая бомба. Теракт. Жена одного чеченца сообщила. Она-то и сказала, что в машине взрывчатка. И собака все обнаружила.

Баталов сжал кулаки в карманах халата.

— Но у меня операция... У меня больной погибает... Я только что его осмотрел, он не транспортабелен...

— О какой операции вы говорите? — негодуяше воскликнул мужчина. В его тоне Баталов почувствовал жестокость и неподдельную тревогу. — В любую минуту может рвануть. И ваш панельный корпус рухнет, как картонный домик. Одно мокрое место останется... Мы обязаны всех, понимаете, всех срочно эвакуировать.

— Я помогу... — вполголоса заговорила Эмма. — Я сама все отделение эвакуирую... Но ты... Ты, Алексей, должен срочно уйти... Говорят, автобусы подали, всех сейчас же увозят...

Баталов смотрел на нее невидящим, остановившимся взглядом. А мысль... Мысль как никогда ясно, четко, как на конце иглы, билась в сознании. У них тоже была операция, и дело шло тоже о жизни и смерти людей, и время тоже мерилось не часами — минутами.

— Эмма... — Он вдруг взял ее за теплые плечи, просяще взглянул в глаза: — Ты мне нужна, очень нужна...

Она перебила:

— Я знаю, знаю. Но я одна не уйду отсюда. Уйду только с тобой. Верней, вслед за тобой. Там есть еще один выход. За пищеблоком. Иди, иди...

— Я не о том! — Он встряхнул ее за плечи. — Я о другом... Ты должна мне помочь, понимаешь? Без анестезиолога я как без рук. Беги сейчас же в операционную и готовь больного... Сейчас же... Ты поняла, Эмма?... Другого выхода у нас нет, — сказал, как жил.

И, не дождавшись ответа, Баталов повернулся и заспешил навстречу бегущим, в свое отделение.

В ординаторской уже почти никого не было: кто-то что-то нервно искал, кто-то одевался на ходу. Маленький седой Головин, уже без халата, спешно засовывал в кейс документы, вынимая их из ящика письменного стола. Увидев за отделением, заговорил, невесело усмехаясь:

— Как говорится, Алексей Михайлович, вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Кто б мог подумать, а?... Нам всегда почему-то кажется, что уж тебя-то такое не коснется... Что лично с тобой ничего такого случиться не может... А вот поди ж ты... Я и домой не стал звонить. Не дай Бог, узнают. А у жены слабое сердце...

— Виталий Георгиевич! — громко остановил его Баталов. — Вы меня слышите? Помолчите!

Головин послушно замер.

Баталов спросил:

— У нас на сегодня по плану намечены две операции?

— Да. Две, — опешил старик. — «Двенадцатиперстная» и «желудок». Сизова и Шнайдер. Но у Сизовой вчера подскочило давление.

Баталов кивнул.

— Так вот. В связи с новыми обстоятельствами я как главный хирург предлагаю другую схему... Если вы, конечно, ее поддержите. — Он взглянул в окно.

С высоты второго этажа было видно, как по больничному двору снуют люди, куда-то спешит милиция, бежит человек с собакой. Белокрасного «рафика» «скорой помощи» из окна видно не было. Но эта бомба в его нутре, эта страшно жестокая смерть — была совсем рядом, она замерла в ожидании — внизу у подъезда, за стенными панелями, за этим вот хрупким оконным стеклом. Мелькнула мысль: «Только нелюди, бесы могли так коварно превратить “неотложку” —

в смерть, добро — в зло, любовь — в ненависть». Но сказал другое:

— Операция, Виталий Георгиевич, сегодня будет одна. Но срочная. Только что поступил «острый живот». Я сам смотрел — перитонит. В последней стадии. Но вытащить можно.

Головин ошалело опустил на стул, поставил кейс на колени, из него торчал плохо сложенный халат. Лицо было обескураженным, как сказал бы он сам — опрокинутым. Только и произнес:

— Да вы с ума сошли! Героическая опера на вас так подействовала? Уже даже никого нет — все эвакуировались. Ни врачей, ни медсестер...

— Скверно... А где Шумилов? Тоже э-ва-ку-и-ро-вал-ся? — Стол Шумилова был пуст. — Он, между прочим, сегодня должен был мне ассистировать.

— Нет-нет, — заторопился Головин. — Василий Николаевич пошел к вам в кабинет. Он вас искал. Очень искал.

Баталов окинул взглядом его маленькую фигурку. Без привычных халата и шапочки он показался тщедушным, растерянным, старым. И Баталов пожалел о своем предложении.

— Вы простите, Виталий Георгиевич, — понизил он голос. — Идите домой. Мы с Васей справимся. А вас я задерживать не смею. Так что — идите...

— Зря вы все это затеяли, Алексей Михайлович, — отозвался Головин, покачивая головой. — Профессиональная совесть мучит? Да поймите: врач — он как старая дева, никому ничего не должен. У каждого из нас свое кладбище. И одним больше, одним меньше — роли не играет.

Он хотел еще что-то сказать, но потом вскочил и снова стал переключать какие-то вещи из ящика в кейс. А Баталов, распахнув дверь, зашел к себе в кабинет.

Больница была пуста, точно вымерла. Двери затихших палат, кабинетов — настужь. Кругом валялись вещи, бумаги. Замер лифт. Где-то на этаже звонил, надрываясь, телефон — ненужно, как с того света. И все здание напоминало опустевший корабль — перед гибелью. Баталов энергично шел по этому незнакомому кораблю, и его шаги раздавались в коридоре тревожно и гулко.

Дверь в его кабинет была приоткрыта. Он обрадовался — Шумилов... Шумилов! Ах, как он сейчас был ему нужен! Его талантливый молодой друг, его надежда, его продолжение. Он рванул дверь, вошел и замер от неожиданности — в кабинете никого не было. Баталов прошел к окну. На площади перед больницей машины Шумилова не было. Не было и других машин. И вообще было пустынно и безлюдно. Он зачем-то потрогал зеленый цветок на подоконнике. Глупо подумал — если рванет, то и цветок погибнет. Сел в кресло. С фотографии, что на столе, на него, улыбаясь как всегда, смотрели три любимых лица — Альбина и обе девочки.

Господи, как сейчас это все далеко-далеко, как в другой жизни. Он с силой сдвинул виски. Утер лицо ладонями. Было, конечно, было от чего прийти в отчаяние. Шумилов... Головин... Медсестры... Ординаторы... Никого!.. А Эмма!.. Если и Эмма — тоже? Впрочем, если и Эмма ушла — то это, пожалуй, к лучшему. Пусть эта женщина, этот Божий цветок, останется жить. Он ее не осудит. Он не имеет на это права. Он не имел даже права просить ее о помощи, просить с ним остаться... А впрочем, нет, он ведь просил не за себя, ведь без ее помощи — какая операция? Свалился же на их голову этот чудик — Герашенко с Украины. Господи, где он сейчас? В приемной? В операционной? А если уже эвакуировали, если потащили к автобусам?.. Если так — то неминуема смерть. Ибо счет у этого «банкира» шел не на часы — на минуты... Как там сказал Головин: «Врач — он как старая дева, никому ничего не должен». Нет, не прав ты, старик!..

Баталов решительно встал. В конце концов, можно попытаться оперировать и одному... Вон Ковалев, его сокурсник, сам себе в Арктике аппендицит вырезал. И жизнь себе спас, и героем стал...

Но вдруг — телефон! В этот самый момент пронзительно резко зазвонил телефон. Баталов даже вздрогнул. Ему вовсе не нужен был этот звонок из города. Он был здесь в другом измерении. А если это жена?.. Тем более — не нужен... Он с опаской, нехотя поднял трубку и тут же услышал:

— Алексей Михайлович... — Голос Эммы был бесстрастен, по-деловому строг. — К операции все готово. Наркоз дан. Мы вас ждем.

Он помолчал.

— Кто это «мы»?

— Я, Головин Виталий Георгиевич и... больной.

Баталов молчал еще мгновение. Потом, как обычно перед операцией, очень спокойно ответил:

— Хорошо. Сейчас буду.

Около дверей он оглянулся. Через окно было видно, как веселым светом разгорался майский день. На ярко-синем небе плавилась, вскипая по краям, обрывки облачков. Все вокруг казалось прекрасным и хрупким, готовым рассыпаться от малейшего прикосновения.

А тем временем у подъезда на пустынном больничном дворе шла другая операция. Тоже не на жизнь, а на смерть. Операция по обезвреживанию взрывного устройства. Сапер в черном джинсовом костюме, экипированный в бронжилет, шлем и наколенники, походил сейчас скорее на скандинавского викинга. Он сидел на корточках перед смертоносным грузом и светил фонарем. Жизнь и смерть были теперь лицом к лицу. В наушниках равномерно, раз в три секунды, раздавался шелчок. Детектор помогал следить за взрывателем, который находился между большими матрасными мешками. Пестрые провода тянулись от них к мобильному телефону. Трубка была прикручена слоями блестящего скотча.

Сапер-спасатель видел подобное уже не раз. Запал, взрыватель, часовой механизм, телефонная трубка... Но главное — есть ли тут «сюрпризы»? Именно они опасней всего... Человек в черном осторожно отодвинул в сторону один матрас, освободив подход к связке головных шашек. Лег на бок перед этой адской машиной и в этот момент был настолько сосредоточен, что даже не думал о жуткой опасности или смерти. Собственной или этой больницы. Не думал о том, что сапер ошибается только раз... Он был истинный воин и настоящий профессионал. Он знал свое дело и делал его ответственно и серьезно, зримо ощущая собственную пользу. Он должен после себя оставить чистую и свободную землю. Чтобы по ней ходили люди и росли сады... Вот он достал рукоятку... Вот нажал на кнопку... На такую безобидную на первый взгляд кнопочку... И тотчас выскочило на свет Божий, точно змеиный язык, лезвие. Маленькое и острое. Сапер поднес его к заряду и аккуратно перерезал скотч. Так, вроде — ничего, вроде все идет по плану... Теперь надо осмотреть остальное... Спокойно... Спокойно...

Сердце стучало громче часового механизма. Первые капли пота выступили на лбу...

— Протри мне глаза, — жестко сказал Баталов Эмме. — Совсем ничего не вижу.

Над операционным столом горел пронзительно яркий свет, металлические звякали хирургические инструменты. И двое врачей в белых масках, в зеленых халатах и шапочках склонились над окровавленной, обложенной салфетками полостью неподвижного пациента, прикрытого простынями.

— И лоб, лоб мне протри, — повторил Баталов.

Эмма ловко промокала тампоном его лицо.

Баталов вдруг произнес обрадованно:

— А вот она и язва... Вот она, голубушка... Аппендикс аппендиксом, а ее я сразу подозревал...

— Ах, вот даже как... — протянул Головин и быстро сверкнул на Баталова карими глазами. — Ваше решение?

— Да какое тут может быть решение? Будем шить... Вот тут... Накладывать анастомоз между желудком и тонкой кишкой.

— Согласен, — кивнул Головин. — Хотя риск есть.

— Да при нашей обстановке вообще все рискованно! — мрачно заключил Баталов и потом, чуть усмехнувшись, добавил: — Кто не рискует, тот не пьет французского шампанского...

Язва была маленькая, диаметром не больше сантиметра, но из нее обильно выделялось содержимое желудка. Края были воспалены и при затягивании швов в некоторых местах прорывались...

Баталов взглянул на большие настенные часы над дверью. Господи, как время-то пролетело! Судя по стрелкам — с начала операции прошло почти два часа. И он отчетливо понял, понял с облегчением и радостью, что *миновало*, что самое страшное прошло, что оно наконец-то уже позади. Тем более что за дверью, за стенами операционной появились признаки жизни — стали слышны звуки и голоса.

А больница действительно оживала. Хлопали двери палат, кабинетов — персонал двинулся по местам. Появились и больные. Одни подавленные, другие шумные, возбужденные. Но все обсуждали, рассказывали, делились пережитым.

Баталов с Головиным устало шли по коридору. С ними здоровались даже те, которых они уже видели утром. И что-то особенное было в этом житейском «Здрасьте...» Вокруг уже гремели каталки с едой. Запахло супом и хлебом. Это везли по этажам обед из пищеблока. А еще везли горячие, полные чайники и пакеты с кефиром, а к ним — печенье и плюшки.

На мгновение Баталов остановился возле одной из таких каталок и, улыбаясь, по-быстрому, как мальчишка, ухватил с тарелки пару ароматных плюшек.

— Это, я думаю, нам как раз будет кстати, а, Виталий Георгиевич?

Напротив ординаторской, прислонясь к стене, сидели двое. Алексей Михайлович одного сразу узнал.

— Обезвредили, — уверенно ответил фээсбэшник. — Вот только наше-му герою что-то плохо. Не посмотрите?

— Что с вами? — нагнулся над ним Баталов.

— Да что-то голова кружится и в глазах малость рябит...

Мужчина был высокий, худой, с резко очерченными скулами.

— Ничего страшного, — успокоил его хирург, — нормальная реакция на стресс. Пройдемте со мной, я вас нашатырчиком угошу.

В просторной светлой комнате вдоль стен стояли стеклянные шкафы. Головин сразу же прошел в угол и принялся мыть руки под никелированным краном. Баталов усадил гостей на белые пластиковые стулья и полез в шкафчик. Потом вдруг обернулся и спросил коллегу:

— Виталий Георгиевич, а не угостить ли наших спасителей фирменным напитком?

Головин оживился:

— А почему бы и нет? Тем более в операционной вы на что-то намекали. Правда, на шампанское.

— Ну и злопамятный вы человек! — усмехнулся Баталов.

— Почему же злопамятный? — отозвался Головин. — Самый повод выпить за доблестную нашу армию.

— И за самостийну Украину, — продолжил Баталов.

— И за сию обитель, — добавил офицер-фээсбэшник.

В его голосе Баталов почувствовал радость и облегчение.

Головин тут же прошел к холодильнику, высыпал горку льда в стеклянную посудину, накапал туда валерьянки, налил на глаз медицинского спир-

та, а затем, открыв кран на полную мощность, взбил все это ледяной водой.

— Не думайте, что это просто боевые сто грамм. Это, скорее, наш фирменный коктейль. Не Молотова, конечно, но гарантирую, что вполне зажигательный, — разливая содержимое по мензуркам, гордо произнес Головин. Он был весел и возбужден, как на празднике.

— И как же он называется? — спросил все еще бледный сапер. — Я, к примеру, только «Кровавую Мэри» знаю. А этот как слеза.

— Вот «Слезой бен Ладена» и назовем, — предложил офицер.

— А что, ничего, — согласился Баталов. — Главное — по теме... Ну, за что пьем?

— За российскую медицину... — устало сказал сапер.

— Нет! — возразил ему Виталий Георгиевич. — За дружеский союз российской медицины и российского саперного дела. Как раньше сказали бы на первомайской демонстрации: «Товарищи саперы! Выше процент разминирования социальных объектов!»

Старший фээсбэшник довольно улыбнулся.

— А вообще-то, скажите, пожалуйста, дорогие герои, что там все-таки было? — когда все выпили, спросил Баталов.

— Да ничего особенного. Стандартно, — сказал офицер. — Гексоген. Килограммов триста, верно я говорю? — И взглянул на сапера.

Тот молча кивнул.

— А «секрет» был? — продемонстрировав свою осведомленность, спросил Головин.

— Вроде был... Заправка была занятая. Головные шашки с мобильником. Пришлось поковыряться с этой «трубой». Никогда ведь не знаешь, какая там начинка, но обошлось. Положил я эту бомбу под наркоз, говоря вашим медицинским языком. Знаете, мужики, а все-таки приятно быть живым...

— Вот давайте за это и выпьем, — спохватился Головин. — А то ведь с опозданием выпитая вторая полностью аннулирует результаты первой.

После принятия второй рюмки черно-джинсовый ковбой повеселел, кровь вновь прилила к лицу. И тут не обошлось без воспоминаний.

— Помню, как-то около сербской деревеньки мы нашли выпрыгивающую осколочную мину, — скрипнул зубами сапер.

— А может, это была лягушка? — улыбнулся Головин, разламывая на четыре части плитку шоколада.

— Лягушка, говорите? — задумался сапер. — Если у этой «лягушки» выдернуть чеку, она разбросит тысячи осколков. А у той чека была вытащена наполовину — видно, кто-то зацепил проволоку, но не сильно. И вот мне надо было так отрезать эти проволочные «усы», чтобы не выдернуть ее. Я, конечно, был защищен щитом, но руки-то все равно оставались открытыми. Тогда я впервые ощутил опасность всеми внутренностями...

— Вот он — повседневный героизм воина, — вставил слово Виталий Георгиевич. — Но мы, врачи, тоже не лыком шиты... Тоже кое-что совершаем, и не в какой-то звездный момент своей жизни, а так же, как и вы — повседневно. У нас с вами удивительные профессии! Никто из людей не творит героические поступки каждый день. Никто, кроме нас!

Но Баталов перебил, поднимая «рюмку» с коктейлем:

— Итак, господа, по последней... За коллектив устоявшихся мужчин...

Когда гости ушли, Баталов, не удержавшись, все-таки спросил Головина:

— Скажи, Виталий Георгиевич, а почему ты все-таки остался?

— Жалко тебя стало, — тоже перейдя на «ты», вздохнул Головин. — Шумилов твой сбежал, как Керенский. Ну, и что бы ты один сделал? Впрочем, наверно, все бы получилось. Напора в тебе было много. Вот я и подумал, что это тоже был мой шанс. Как ты думаешь: что я от этого буду иметь? Хорошо бы на пенсию раньше отправили...

— Эх, дружище ты мой лысый. Да ведь это... Это поступок, понимаешь?

— Что вы все — лысый да лысый, — театрально выпрямил плечи Головин. — Моя лысина — это почти как твои кудри, но в конечной фазе их развития.

Баталов залился смехом.

— А хочешь, анекдот напоследок? — спросил Головин и взглянул на Баталова.

— Валяй, — кивнул тот.

— «Ты знаешь, — говорит врач коллеге, — вчера от рака умер больной, которого я от язвы лечил». «Это что, — отмахнулся второй, — я месяц одного лечил от желтухи. Оказался — китаец».

Мгновение в кабинете было тихо. А потом раздался смех, дружный, мужской — от души.

В конце рабочего дня Баталов поднял трубку и позвонил главному — почему-то не было сил подниматься лично на верхний этаж. Позвонил и попросил разрешения уйти домой пораньше.

— Конечно, конечно, — тотчас согласился главврач, уже информированный коллегами о происшедшем в хирургическом отделении. — Простите, что сам вам этого не предложил.

Для Баталова такая вежливость была внове. И, надо сказать, весьма приятна.

Он положил трубку, и вдруг словно бы обожгло — подумал: «Домой, домой». А где, собственно, теперь его дом? И что там с Альбиной? Знает ли о случившемся, о том, что обсуждает, наверное, весь город? Пожалуй, нет. Если б знала, тотчас бы позвонила или же прибежала. Уж он-то как-никак знал свою собственную жену.

Баталов быстро надел пальто, взглянул на фотографию на столе, выключил в кабинете свет и запер за собой дверь. В коридоре уже было тихо. Лишь отдаленно доносилась музыка — кто-то в палате включил телевизор. Баталов украдкой оглянулся и быстрым шагом направился к выходу. Но перед стеклянными дверьми все же столкнулся с Эммой. Ее зеленые глаза смотрели на него вопросительно, почти умоляюще.

— Вместе идем?

— Нет, наверное... Схожу домой, вещи заберу... Хотя бы электробритву...

— Не ходи туда! — отчаянно прошептала она, схватив его за руку.

— Нельзя не идти! — оборвал он ее. — Надо...

Эмма как-то сразу вся сникла, кровь отхлынула от щек, резче обозначились морщинки на лбу.

— Только долго не задерживайся, — выдохнула она и отошла в сторону.

С тяжелым чувством вошел Баталов в родной подъезд. Отпер дверь своим ключом. Свет в квартире не был зажжен, только в спальне горела люстра. Альбина не вышла ему навстречу, не помогла, как всегда, раздеться, не подала тапки, не взяла из его рук «дипломат». Баталов разулся и молча прошел в спальню.

Жена сидела у зеркала за туалетным столиком и перебирала флакончики с косметикой. Услышав его шаги, даже не оглянулась. Их двуспальная кровать была разобрана только с ее стороны; а на другой половине аккуратными стопками лежала его одежда — рубашки, пижамы, майки... Все выстирано, выглажено. Тут же стоял пустой чемодан.

Защипало в глазах, закололо сердце.

— Уже все собрала? — каким-то прибитым голосом спросил он.

— Как видишь. — Ее голос был тих, безразличен.

Он подумал: «Ну конечно, она ничего не знает». И произнес:

— Спасибо.

— Да не за что. Не могла же я допустить, чтобы твоя молодая, новая жизнь начиналась со стирки.

— Альбина, ты прости меня, что так случилось, — тихо проговорил

Баталов. — Но это, как болезнь. Лечить, конечно, можно, но тогда надо самому чуть-чуть умереть...

— Заумно, но понятно. Конечно, лучше пусть другие умирают, — ответила жена, и голос ее сорвался. — Я тебя не держу. Раз уж так случилось, то какая вместе жизнь. Уходи и не рви душу.

— Да-да, конечно, — ответил он. — А почему не работает радио, телевизор?

— Не до них. Весь день стирала, собирала тебя в дорогу.

— Не ерничай, пожалуйста, — попросил он, отодвинув белье и садясь на «свою» половину кровати. — У меня сегодня был тяжелый день... Язва, аппендикс...

— Легкие?

— Средней тяжести. — Он неожиданно ойкнул, схватившись за сердце.

Альбина встала, наблюдая за ним. Никогда еще муж не был так бледен и так подавлен. Подумала: «Переживает, ничего, ничего... Пускай». Она почти не сомневалась в том, что Алексей никуда не уйдет. Поэтому даже и дочерям не собиралась сообщать. Она сегодня вообще выключила телефон, чтобы остаться один на один со своей бедой.

— Может быть, корвалолу дать?

— Не знаю... Не знаю... Может, опустит? — Почему-то вспомнил хохла Герашенко, его слова: «Может, промоет?» Хотел улыбнуться, но острая боль вновь пронзила грудную клетку. Зашлось дыхание. И он повалился на неразобранную кровать, роняя на пол стопки белья.

— Боже мой, — вдруг поняв, что это серьезно, прошептала Альбина. — Я сейчас... Сейчас... Я вызову «скорую»...

Но он не успел возразить, он терял сознание, все погружаясь и погружаясь в крошечную тьму. Без времени, боли и без памяти.

Это был какой-то черный тоннель, и Баталов несся в нем с непостижимой скоростью к ослепительному свету. И вдруг темнота кончилась. И наступил свет. И оттуда, из глубины, послышался шалыпинский голос: «Я караю тебя... Ты готов к смерти?»

Не было ни времени, ни боли, а только легкость, бесконечная легкость. И Баталов сказал: «Да...» И тут мучительный стыд вновь ожег его нестерпимой волной.

«У меня же там ребенок должен родиться... Бедная Эмма... Разве любить — это грех? Как-то не по-человечески все это. Стыдно. Получается — я их бросаю...»

Очнулся Баталов оттого, что кто-то бил его по щекам. Не сильно, однако чувствительно. Он открыл глаза. Рядом стояла его Альбина — бледная, перепуганная, красивая.

— Что? Что это было? — спросил он.

— Я не врач, но думаю, ты побывал на том свете.

Он сел. Было странное ощущение пустоты в груди. Пустоты там, где должно быть сердце.

— Странно, но кажется, уже все прошло... — Баталов с трудом поднялся и стал не спеша собирать в чемодан разбросанную одежду. Он складывал ее стопкою, разглаживая ладонью, ощущая тепло от этого прикосновения.

Он не знал, что будет делать в следующий момент своей жизни. Не знал, что будет вернее — уйти или остаться.

ПАЛЫЧ

РАССКАЗ



СЕРГЕЙ ВАЦЛАВОВИЧ МАЛИЦКИЙ РОДИЛСЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ОКТЯБРЕ 1962 ГОДА. С 1983 ГОДА ЖИВЕТ В КОЛОМНЕ. ПИШЕТ ДАВНО, НО ТОЛЬКО В 2000 ГОДУ ВЫШЛА ЕГО ПЕРВАЯ КНИГА РАССКАЗОВ «ЛЕГКО». СЕРГЕЙ МАЛИЦКИЙ КАК ПИСАТЕЛЬ ПОГРУЖЕН В ТЕКУЩУЮ СИЮМИНУТНУЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ С ЕЕ ПРИНИЖАЮЩИМ, ОТУПЛЯЮЩИМ НАС БЫТОМ; «ВЫПЛЫТЬ» ПОМОГАЮТ ЕМУ ОСТРОЕ ЧУВСТВО СТИЛЯ И ФАБУЛЬНАЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТЬ. НЕОБЫЧНЫЕ — ДО ФАНТАСТИКИ И МИСТИКИ — ПОВОРОТЫ СЮЖЕТА ОБНАРУЖИВАЮТ НЕЧТО СТРАННОЕ В ОБЫДЕННО-ПРИВЫЧНОМ. ТОЧНО ТАК ЖЕ В ТРАДИЦИОННОЙ ТКАНИ ПОВЕСТВОВАНИЯ. МЕЛЬКНУТ ВДРУГ РАЗРЫВЫ ПОСТМОДЕРНИСТСКОЙ ИГРЫ С ЧИТАТЕЛЕМ (НЕ ОТЗВУК ЛИ ГОГОЛЕВСКОГО «ПОРТРЕТА» СЛЫШЕН В ПЕЧАТАЕМОМ РАССКАЗЕ?).

РАССКАЗ СЕРГЕЯ МАЛИЦКОГО «ВЕЩИ» БЫЛ ОПУБЛИКОВАН В ЖУРНАЛЕ «МОСКВА».

1

Лето Роман Суворов проводил на природе. Когда его возраст приблизился к сорока годам, а потом и перешагнул их, он наконец понял, что не только модного, но и хотя бы благополучного художника из него уже не получится, и это понимание внесло изрядное облегчение в его жизнь. Отпала необходимость суетиться, что-то кому-то, и прежде всего самому себе, доказывать. Появилось свободное время, чтобы между халтурками подумать о чем-то неопределенном, неконкретно и необязательно пометать о лучшей или просто другой жизни и даже «намазать» на холсте что-нибудь для души, отгоняя в сторону поганенькую мысль, что и это купит кто-нибудь все равно.

Именно в таком состоянии духа он и решил на покупку дома в деревне на высоком берегу реки Оки. Деньги требовались небольшие — покупка совершалась в складчину с пожилым художником Митричем. Все как-то совпало — и недавно завершённая сравнительно удачная оформительская работа, и достижение его давно оставленным чадом восемнадцати лет, и совсем еще крепкий домишко в ста с лишним километрах от Москвы, и даже скорый и окончательный инфаркт совладельца его сельских «апартаментов». Первое лето прошло прекрасно, а потом вдова Митрича пришла в себя и стала присылать в дом разных постояльцев, порой имеющих довольно далекое отношение не только к краскам и холстам, но и к искусству вообще. Доучали они Роману не особенно, так как приезжали чаще всего по одному, возраст имели преклонный или около того, но сладость его одинокой жизни эти постояльцы нарушали бесповоротно, затеняя его мечты каким-то бытовым изнеможением и легкой ненавистью.

Но даже и это ему, в конце концов, странным образом понравилось. Слово недостаток страданий был столь же мучителен, сколь и их избыток. Почти уже утраченная гармония вернулась в его жизнь. С полсотни его картин висели в многочисленных, пусть и второразрядных художественных лавках, еще пара десятков готовились отбыть в эту же страну дешевого и

унылого великолепия. Деньги у него пока еще были, расходов никаких не предвиделось, а значит, он всецело мог отдаться делам душевным, а именно любви и ненависти. Любил он, конечно же, прежде всего самого себя, тем более что его личный душевный опыт давал ему возможность весьма многозначительного применения этого чувства: и любовь-жалость, и любовь-гордость, и любовь-понимание, и любовь-мечта в отношении самого себя были в его полном распоряжении. А ненавидел он своих вновь приобретаемых соседей. Особенно редких художников. И особенно художников хороших. Впрочем, хорошие художники ему не попадались. Поэтому его ненависть большей частью тлела, словно ожидая удобного случая, чтобы разгореться во всем великолепии. И случай не заставил себя ждать.

На дворе стоял июнь. Дождей выпадало мало, поэтому трава пожелтела на остриях, подвяла и шуршала при ходьбе, как старый пергамент. Роман встал поздно и, на глаз прикидывая по солнцу, что времени уже никак не меньше одиннадцати, лениво и блаженно плескался у раковины, прикрученной проволокой к серому от времени столбу. Неторопливо гудел над ухом привлеченный сыростью большой черно-желтый шмель. Где-то в отдалении, никого не тревожа, громыхала вялая сельскохозяйственная действительность. Покрикивали над головой в синем, слегка заперенном облаками небе чайки. Все было тихо, уютно, обыденно, как всегда. До того самого момента, когда за спиной у Романа скрипнула калитка и на забрызганную мылом траву упала неожиданная тень.

— Здравствуйте, здравствуйте! Как поживаете? Вот вам записочка от Софьи Сергеевны! Тоже велит здравствовать! Евгений Палыч меня величать. Можно просто Палыч. Да! Соседствовать с вами будем!

Роман медленно обернулся и обнаружил у себя за спиной невысокого округлого мужичка лет пятидесяти пяти. Он стоял с запиской в руке и, растянув губы в добродушной масляной улыбке, внимательно смотрел в переносицу Роману, не отрывая глаз, но и не позволяя поймать собственный взгляд. То есть смотрел так, словно голова Романа и весь он были прозрачны, и мужичок этот что-то увидел позади него на стене дома и теперь разглядывает это сквозь Романа, столб и раковину. Ощущение было столь отчетливым, что Роман вздрогнул, обернулся, ничего не увидев и, вновь повернувшись к мужичку, обнаружил, что тот уже опустил голову и смотрит в траву. Записка по-прежнему торчала в его руке, поэтому Роман аккуратно выдернул ее, развернул и прочитал знакомые слова Софьи Сергеевны о тяготах пожилой жизни, дежурные извинения в адрес Романа по поводу очередного беспокойства и великие напутствия очередному жильцу, а значит, и соседу Романа на летние месяцы. Не без труда разобрав дрожащий старушечий почерк, Роман вновь сложил записку в маленький прямоугольник, воткнул ее в приготовленную для этого горсть нового соседа и ушел в дом, буркнув через плечо:

— Вход в вашу половину с другой стороны дома. Калитка там отдельная. Ключи под приступкой.

День был испорчен. Роман лег на диван, вспомнил нелепую фигуру Палыча в потертом коричневом полушерстяном костюме, в клетчатой рубашке с галстуком селедочкой наискосок и стоптанных лакированных ботинках, и расстроился окончательно. Человек этот представлял для него очевиднейшую мерзость. С таким и выпить-то противно. Даже ненавидеть его неприятно! Руки у него, наверное, думал Роман, липкие. И работает он, скорее всего, каким-нибудь кладовщиком или сменным мастером на маленьком забытом Богом заводике. И жена у него такая же маленькая, круглая, рыхлая, потерявшая от старости минимальные женские очертания и переваливающаяся при ходьбе с ноги на ногу, как большая курица. И дети такие же. И все его предки на пять колен, если не больше, такие же убогие и немощные, как и он сам. Господи, куда же мы катимся, говорил про себя Роман, чувствуя, как ненависть поднимается в груди и душит, душит сердце. Это ли венец природы, созданный по образу и подобию твоему? Господи, уродится же такая гадость. Свинья, совершеннейшая свинья! Фу, фу, фу!

Прошла неделя. Против ожидания, присутствие так не понравившегося соседа за стеной вовсе не стало для Романа сколько-нибудь обременительным. Точнее сказать, он почти с ним не сталкивался и даже стал забывать о его существовании. Хандры хватало и без него. Сквозь застоявшуюся жару, бесплодное ожидание дождя и свежести наваливалась обычная июньская тоска. К тому же размышления и переживания на продавленном диване требовали свежих впечатлений и столичных продуктов. Этих самых продуктов, так же как и известий с большой земли, как он называл летом Москву, от где-то затерявшейся подруги Татьяны все не было. Вдобавок неожиданно в доме объявились крысы, демонстративно обглодав оставленный на столе батон хлеба, что было для Романа еще более варварским нарушением его уединения, чем появление очередного соседа.

Между тем тропинка с обратной стороны дома к калитке вытаптывалась все больше и больше. Как-то неожиданно соседки по улице, до сей поры воспринимающие Романа как примелькавшегося глухонемого инопланетянина, стали останавливаться при его приближении, раскланываться, улыбаться и здороваться. При этом они передавали бесчисленные приветия и слова благодарности его соседу Евгению Павловичу за какие-то оказанные им помощь и участие. Вынужденно кивая, поддакивая и досадуя на свое неожиданное вовлечение в общественную сельскую жизнь, Роман зашел в хозяйственный магазинчик и попросил крысоловку. Дородная продавщица, которой суждено было до преклонных лет откликаться на пренебрежительно-ласковое «Дуська», смахивая с толстого лица одуревших от жары мух, сказала, что крысоловок нет и не будет.

— Почему? — предельно вежливым тоном поинтересовался Роман.

— Спроса нет, — безразлично бросила продавщица.

— А как же местное население борется с крысами? — удивился Роман.

— А никак, — парировала Дуська. — Чего с ними бороться? Живи сам и другим дай! К тому же, может, у вас не крысы, а мыши?

— А что, есть разница? — спросил Роман.

— Есть, — уверенно сказала продавщица. — Когда крыса в доме, человек отвращение испытывает, испуг. А мышка пробежит — только досаду. Ну и жалость, конечно. К тому же с мышами любая кошка справится, мышеловку опять же можно поставить, а с крысами все не так просто. Лучше всего крепкую кошку, только сейчас таких кошек, что крысу задавить может, мало. Это надо у Кузьмича на зернохранилище поискать. А так? Цемент вот есть. Норы замазывать. Дня на два облегчение получите. Можно муку с гипсом смешать. Но это не всегда действует, крысы соображают, что есть, а что не стоит.

— А яда для крыс у вас нет? — спросил Роман.

— Яда? — Она оценивающе смерила его взглядом, затем нагнулась и бросила на прилавок несколько пакетиков протравленного подсолнечника. — Есть вообще-то, но об этом... чтоб не очень. А то у нас тут некоторые особо «доброжелательные» этим стали кур соседских прикармливать. Так что у меня чтоб без неприятностей и разговоров! Понятно?

— Чего уж не понять, — пробурчал Роман, рассчитываясь, и отправился на почту. На почте было пустынно, он заплатил за переговоры и долго ждал. Наконец его позвали к телефону. Он услышал Татьянин голос и стал кричать в трубку, что соскучился, что она совсем забросила его, чтоб приезжала и не забыла купить продукты по его списку! Да чтоб позвонила Глебу насчет картин, может быть, продано что? Телефон отключился. Роман высунулся из будки, чтобы обидеться на телефонистку (ведь обещал же, что доплатит), но встретил широкую улыбку Палыча и передумал. Все в том же, несмотря на жару, коричневом костюме с галстуком Палыч стоял у столика и обмахивался наполовину заполненным бланком телеграммы.

— Здравствуйте, здравствуйте, Роман Николаевич! — мягко затарахтел языком, уже не пытаясь протянуть ему руку. — У всех проблемы! А я вот Софью Сергеевну извещаю о своем житье-бытье. Благодарен ей, знаете ли!

Природа тут просто замечательная! Тишина, речка! И даже когда по деревне идешь, умиляешься. Собаки, кошки, козы пасутся! Дети босиком по траве бегают! Навозом с фермы пахнет! Нет слов! Нет слов!

С трудом проглотив фразу, приготовленную для телефонистки, Роман хмуро поднял пакет цемента, буркнул что-то неопределенное и отправился домой.

3

Крыс не было два дня. На третий день возле дыры в стене, замазанной адской смесью, изготовленной из цемента пополам с битым стеклом, появилась новая дыра, а отрезок колбасного сыра, оставленный на столе в полиэтиленовом пакете, не был испорчен только потому, что был съеден без остатка. Роман высыпал в дыру отравленные семечки, взял этюдник и вышел на улицу. На скамейке возле дома сидели три старушки, стесанные старостью до одинаковых картофельных лиц, согбенных силуэтов и темно-синих, в белую крапину одежд. Увидев Романа, все три неожиданно споро поднялись и, раскачиваясь, начали что-то бормотать про кости, про ломо-ту, про травы, про скотину, пока Роман, пятаясь в выросший возле дома бурьян, не повысил голос:

— Да не ко мне это! Ваш Евгений Палыч с другой стороны живет! С другой! Понятно?

Бабки замерли, а Роман, воспользовавшись образовавшейся паузой, выскочил из калитки и пошел по улице по направлению к реке.

Никакого удовольствия от «мазания кистью» Роман не испытывал. Прошли уже те времена, когда кусок холста, натянутый на подрамник и загрунтованный, казался ему окном в иной мир, открыть которое суждено было только ему и никому больше. Создаваемый или открываемый им когда-то таким образом мир был по большей части никому не интересен, а со временем все меньше интересен и ему самому. Его нынешние работы неплохо продавались, он набил руку, или, как говорил его приятель Глеб, правильно позиционировал себя на рынке. Массовый потребитель, уже ушедший от настенных календарей и войлочных оленей, еще не разбирался в искусстве, но уже хотел качества. Вот это-то «качество» Роман и обеспечивал. Он точно знал, «что» он должен писать, «как» он должен писать, чтобы его работа рано или поздно стала частью роскошного интерьера очередных вновь создаваемых апартаментов, а в карманах у него оказалась не слишком большая, но вполне достаточная для спокойной и безмятежной жизни сумма.

Он был неплохим художником. И он ненавидел слово «неплохой». Ему всегда казалось, что быть неплохим художником — это все равно что быть неплохим бегуном. То есть иметь все шансы достигнуть финиша, показать хорошие результаты в тестах, на каком-нибудь контрольном взвешивании, но упасть, не доходя нескольких шагов. Или просто уйти с дистанции, потеряв к бегу всякий интерес, махнув, так сказать, рукой и распрощавшись с амбициями и мечтами. Он уже давно не думал о выставках и признании, хотя Глеб, вздыхая, укорял его необходимостью создавать и поддерживать имя. Более того, Роман старался не общаться с коллегами и сам думал, что именно эта его деревенская уединенность позволила ему окончательно прибиться к берегу и успешно законсервировать свое состояние почти забытого, но когда-то удивлявшего и значит все еще интересно для некоторых автора. Наверное, если бы он умел делать что-то еще, он совсем бы перестал прикасаться к краскам, но необходимость обеспечивать себя и некоторая незавершенность, таящаяся в глубине его размышлений о самом себе, заставляли его время от времени вновь брать этюдник и выходить из дома.

Сейчас он старался выкинуть из головы и Палыча, и крыс, и этих трех бабок, напомнивших ему распавшийся остов трехголового змея, и думать о том, что он должен сегодня попытаться сделать. Ему хотелось спуститься к самой воде. Найти место, где берег становится пологим и плоским, как бы выравниваясь с рекою. Лечь на траву. Увидеть эту быструю воду, а она должна быть быстрой, с самого уровня земли. Чтобы травинки были до неба.

Чтобы пахло землей, песком. Чтобы сквозь этот лес травы просвечивала вода, не теряя своей ощутимой скорости. И чтобы все это не смешивалось и не распадалось, а затягивало в себя.

Роман спустился с обрыва, оставив позади себя грязные хозяйственные постройки селян, помойками и огородами спускающиеся к заливным лугам. Затем он нашел тропинку, пересекающую совхозное капустное поле, и вскоре вышел к воде.

День был будний, народу на берегу с утра не наблюдалось, но ветер отыскивал в траве и выкатывал на прибрежный песок множество пластиковых стаканчиков, полиэтиленовых пакетов и другого мусора, поэтому Роман не остановился, а пошел вдоль реки навстречу течению. Он прошел с полкилометра песчаного пляжа, продрался по еле заметной тропинке сквозь заросли ивняка и крапивы и вышел на небольшой прибрежный лужок. Ока здесь становилась немного уже и быстрее. У противоположного берега болтался на цепи бакен. Несколько коров стояли передними ногами в воде, бессмысленно озирая реку, этот бакен, берег, на котором стоял Роман, самого Романа и еще что-то непонятное и ведомое только этим коровам. Роман сбросил с плеча этюдник, стянул с головы выгоревшую бейсболку и, подложив ее под щеку, лег на траву. Точно так, как ему хотелось. Земля приблизилась или он сам словно уменьшился. Слышался шелест травы. Сквозь высокие стебли синело небо. Только воды не было видно. Надо было проползти еще метр или два почти до самого берега. Роман шевельнулся, но сладкая истома схватила его за размятые дорогой ноги, сон навалился на глаза и поволок куда-то в солнечный сумрак, вращая и поглаживая его по щеке...

— Замечательно! Замечательно! — услышал он знакомый голос и сел. В десяти шагах от него выше по течению стоял почти по пояс в реке Палыч и словно чертил что-то на воде, зябко поводя растопыренными руками. Коричневый костюм и прочие предметы его туалета лежали тут же, аккуратно сложенные и придавленные к траве ботинками и пластмассовой бутылью дешевого пива. На самом Палыче были только трусы, закатанные почти до рыхлого округлого живота, и лист лопуха, прилепленный ко лбу, заканчивающемуся где-то далеко к затылку. Роман поднял глаза к солнцу и понял, что проспал никак не меньше трех или четырех часов. На клонящееся к западу солнце начинали накатывать облака. Коровы на противоположном берегу исчезли, а с оставшегося за ивняком пляжа доносились веселые крики купающихся.

— Вы уж извините меня, — обернулся Палыч и помахал Роману рукой, роняя с ладони на себя капли воды и вздрагивая от этого. — Извините, если разбудил. Но не сдержался, знаете ли. Здесь особенно хорошо. Я бы и сам с удовольствием вот так бы на травке... Не получается никак, селянки ждут помощи, сочувствия, совета. Приходится в меру сил содействовать, но не прийти сюда не могу. Место уединенное, мне своей фигурой, знаете ли, не стоит оскорблять эстетические чувства пляжных отдыхающих. Там девушки. Девушки здесь замечательные! Вы не находите?

Палыч метнул в сторону Романа неожиданно быстрый взгляд, но не в глаза, а на стоптанные кроссовки и, отвернувшись, словно и не рассчитывая на ответ, наклонился, умыл лицо, пробормотал что-то почти неразборчивое, присел в воду и поплыл «по-собачьи», взбулькивая и судорожно вытягивая шею.

— Девушки здесь замечательные, — почему-то вслух повторил Роман, поднялся и стал раскладывать этюдник, зло размышляя: с чего это он должен уклоняться от разговоров, встреч, взглядов с несимпатичным ему соседом? Пускай сосед и уклоняется, а он будет работать несмотря ни на что. Роман приладил к этюднику небольшой холст, взял в руки кисть и остановился. Он вдруг вспомнил лес травы с просветом на синее небо, и ему стало плохо. Ненависть к этому вторгшемуся в его мир и теперь фыркающему на быстрине существу так скрутила его, что он присел перед этюдником, обхватил себя за бока и стал покачиваться из стороны в сторону. В глазах потемнело.

Роман боялся этого своего состояния. В такие минуты он почти переставал себя контролировать. Он мог наговорить гадостей и расстроить отношения даже с близким человеком, разнюниться над глупой мелодрамой в темном зале кинотеатра, уйти из шумной компании не попрощавшись. Да мало ли чего он может выкинуть!

— Ненавижу! — тихо, но отчетливо прошептал он вслух.

— Я видел ваши картины, — неожиданно сказал Палыч.

Роман поднял глаза и увидел, что старик стоял уже почти у берега, рассматривая длинный полутораметровый стебель кувшинки и разминая его пальцами.

— Ну и что? — сказал неожиданно спокойно Роман. — Я их тоже видел.

— Так посмотрите еще раз, — посоветовал Палыч. — Вы же мучаетесь, я вижу. Это, конечно, не мое дело, но ей-Богу смотреть на вас больно. А между тем ваша работа, которая висит в передней у Софьи Сергеевны, это нечто особенное. Я даже хотел купить ее, но она не продала. Сказала, что Александр Дмитриевич очень любил эту вашу работу.

Роман знал, о какой картине говорил Палыч. Это была небольшая, размером сантиметров тридцать на сорок, работа, которую Митрич как-то выудил в куче стоявших у стены в мастерской Романа холстов и выпросил себе в подарок. Роман пожал плечами и отдал. Редкость, когда художник просит об этом у художника. Как давно это было! Лет десять прошло, не меньше. Роман тогда еще был на подъеме. Ему все казалось, что вот сейчас он напишет нечто, что затмит все сделанное им до сего момента. Молодость и талант дышали ему в затылок... И эта работа казалась ему только пробой пера, не больше. На картине почти ничего не было. Серый или серебристый фон, из которого как из воздушной вуали проступали две фигуры. Женщины и ребенка. Что-то было в этих силуэтах. Нельзя было даже определить, куда идут эти двое, в сторону зрителя или от него, но то, что они шли, не вызывало никаких сомнений. Роман тогда взял этот холст, написал на обороте какую-то глупость, что-то вроде: «Мама обещала ребенку показать ежика в тумане», и подарил. А теперь ему вдруг нестерпимо захотелось самому увидеть эту картину, словно что-то важное, что-то забытое, но очень важное для него он оставил на этом холсте.

— А потом Софья Сергеевна сказала, что Александр Дмитриевич просил ее в больнице после инфаркта, чтобы она сразу, или когда ее срок придет, отписала эту работу обратно вам. Чтоб непременно отписала! Что если человек ошибется в жизни или заплутает, ему нужно будет выходить на знакомую дорогу и начинать сначала. На то место, в котором он уверен. Александр Дмитриевич считал, что это ваше правильное место. Вы знаете, мне так все это понравилось, что я даже думал просить вас что-то написать для меня. Конечно, не в подарок, упаси Боже. Но за такую работу я мог бы дать любую цену.

— Не думаю, что я мог бы повторить такую работу.

— Тогда продайте мне ее.

Роман вновь поднял глаза. Палыч уже вышел из воды и теперь пытался выжать мокрую ткань, не снимая с себя трусы, а закручивая их валиком на ногах и постукивая ладонями. Что это он с ним разговорился? Что он понимает в искусстве? Какой мерзкий старик!

— Вы что, не понимаете? — Роман внезапно уловил тон раздражения в собственном голосе. — Эта работа мне не принадлежит!

— Я все понимаю, — ответил мягко Палыч, натягивая на себя штаны и неуклюже подпрыгивая на одной ноге. — Я же не прошу вас ограбить Софью Сергеевну! Упаси Боже! Меня бы устроило ваше устное обещание отдать ее мне за условленную цену только тогда и в том случае, когда она согласно воле Александра Дмитриевича окажется опять у вас либо в вашем распоряжении. Согласитесь, что это не только вас не обязывает к чему-то особенному, но и не причиняет вам никакого неудобства. Более того, рассчитаться за эту работу я мог бы в очень короткий промежуток времени, даже еще до того момента, когда она фактически поступит в мое распоряжение. Даже уже теперь.

— Я не нуждаюсь в деньгах, — пробормотал Роман, чувствуя, что весь этот разговор начинает приобретать идиотский оттенок.

— На самом деле никто не нуждается в деньгах, — подмигнул Роману Палыч. — Представляете? Самое смешное, что никто не нуждается в деньгах, но этого практически никто не знает! А не зная этого, человек думает, что он нуждается в деньгах и тем самым действительно начинает нуждаться! Таким образом, получается замкнутый круг! Но почему обязательно деньги?! Кто говорил о деньгах? Хорошо, пусть будут деньги. Хотя есть и более важные понятия. Согласитесь, не все на этом свете выражается в деньгах!

— Но все ими измеряется, — удивляясь сам себе, буркнул Роман.

— Вряд ли эти измерения точны, — улыбнулся Палыч, застегивая галстук и поправляя застиранный воротник рубашки. — И уж во всяком случае, они не абсолютны.

— И все-таки я не готов об этом говорить, — вновь опустил голову Роман.

— Время терпит, тем более что вы... — Палыч хотел что-то сказать, но словно спохватился, заторопился, надевая пиджак. — Ладно, об этом потом, если позволите, пойду-ка я разгонять старушек от ваших апартаментов, а то так они, глядишь, высадят дверь.

— Подождите! — Роман поднялся.

— Да, я слушаю! — остановился Палыч, запихивая бутылку с пивом во внутренний карман пиджака и становясь от этого еще крулее и нелепее.

— Я не понял, что вы сказали, когда входили в воду? Что-то про хозяина?

— А! — рассмеялся Палыч. — А это я у хозяина разрешения просил умыться, искупаться. С хозяином по-другому нельзя. Неровен час, невзлюбит, тогда дела плохи.

— У какого хозяина? — не понял Роман.

— Да у водяного! — объяснил Палыч и махнул пальцем на болтающуюся метрах в тридцати от берега утку. — Вон он, прислушивается. Вы с ним поаккуратнее. Рекомендую.

Палыч снова масляно улыбнулся, приложил руку к груди и зашпешил через крапиву в сторону пляжа. Роман проводил его взглядом и тоже стал собираться. Неожиданно ему подумалось, что если он будет изображать привидевшийся ему образ, то, чтобы передать объем, перспективу, ухватить движение воды, ему придется травинки передавать не в фокусе, то есть чертить расплывающиеся зыбкие линии на переднем плане, а этого ему очень не хотелось. Как-то это не совпадало с затягивающим в себя образом. Он еще раз неприязненно оглядел противоположный берег, представляя, где бы вставить на возможном эскизе витиеватый купол деревенской церкви, а то и собора какого-нибудь, сплюнул, покосился на утку, стал собираться и решил идти домой дальней дорогой через зернохранилище.

В зернохранилище он не попал, так как хмурая женщина в синем халате в бетонное здание его не пустила, сказав, что на самом деле Кузьмич не отчество, а фамилия. То есть правильно и с уважением Кузьмича зовут Николай Егорович Кузьмин. Но принять сейчас он Романа не может, так как уже с обеда мертвецки пьян, говорить не может и ничего не соображает. Она так и сказала — «принять сейчас Романа не может». Роман смерил ее удивленным взглядом, поблагодарил и отправился к дому, надеясь, что ему не придется вновь столкнуться с Палычем.

Столкнуться с Палычем не пришлось. Уже издали он заметил что-то необычное у дома, подошел ближе и, разглядев загнанную за штатетник пыльную бледно-голубую «восьмерку», почувствовал, как тепло поднимается в груди. Танька приехала!

4

— Как здесь тихо!

Она перевернулась на живот, приподнялась на локтях и принялась надкусывать ногти.

— Где же тихо? — удивился он, закуривая и беря в руки пустой спичечный коробок для пепла. — Всю ночь шум. То гармошка. То пьяные песни. То кошки орут. Лягушки порой в пруду так квакают, хоть уши затыкай. Под утро петухи. Кстати, уже скоро.

— Ничего ты не понимаешь, — она согнула руки и легла. — Здесь удивительно тихо.

— Брось ты свою привычку грызть ногти, — он потушил сигарету, заложил руки за голову. — Я ждал тебя еще неделю назад.

— Неделю назад я не могла.

— Ты просто не слишком сильно хотела меня видеть.

Она не ответила, закрыла на мгновение глаза, затем перевернулась на спину и потянула на себя простыню.

— Что-то становится прохладно.

— Ничего, зато днем поджарит. — Роман сел на кровати, потянулся к бутылке вина. — Может, все-таки выпьешь? Оставайся! Выходные, сходим на речку, отдохнешь!

— С тобой отдохнешь, — она засмеялась. — Ты же вампир, Суворов. Я каждый раз от тебя возвращаюсь как выжатая тряпка! С тобой даже разговаривать тяжело, дышать рядом с тобой тяжело, а я к тебе, можно сказать, иду прямо в пасть. Нет. Это я без тебя отдыхаю. С тобой я почти тружусь.

— Смотри не перетрудишься, — зло бросил Роман и выпил стакан вина.

— Да я уж и сама думаю.

Роман обернулся и внимательно посмотрел на нее. Она тоже смотрела на него, слегка прищурившись, и не улыбалась.

— Ты чего, Танька? — спросил он.

— Вот смотрю на тебя и думаю... — медленно протянула она.

— И о чем же?

— О тебе.

— Надо же! — Он усмехнулся. — И давно это у тебя?

— Давно, — ответила Танька.

— И что же ты надумала?

— Да вот, надумала...

Она закрыла глаза, взяла уголок простыни в зубы и стала медленно говорить, смотря куда-то в потолок и покусывая эту свежую белоснежную ткань, только что привезенную ею из Москвы:

— Понимаешь, все. Просто все и все.

— Что все?

— Все! Я кончилась. Вся. Без остатка. Родник иссяк. Сил нет. Ты высосал меня, Суворов, до доньшка. Я даже сама себе противна. Одна оболочка. Приехала к Глебу за деньгами, продался там один твой пейзажик, а он мне говорит, что от меня осталась одна тень. Какая там тень, говорю, я за весну на три килограмма поправилась, а он отвечает: нет. Ты, говорит, Танька, на килограммы не пеняй. Ты, говорит, с точки зрения художественного вкуса и мужского глаза идеал женщины, только внутри у тебя, Татьяна, пустота. И ведь он прав. Жить не хочется. Иду с работы на автостоянку, знаю, что все вроде хорошо. Димка из школы пришел. Mamka его кормит. Меня ждут. Работа отличная. И мужик у меня вроде есть. Все замечательно. А внутри такая тоска, кажется, первый встречный улыбнется, так, чтобы теплом повеяло, я ему на руки так и упаду.

— Ну и кто же тебе мешает? — спросил Роман.

— Да нет, никто не мешает, — она улыбнулась. — Теперь.

— Что-то изменилось? Теперь? — вновь спросил он.

— Меняю я свою жизнь, Суворов, — сказала она, — буду теперь делать только то, что хочу. Все у меня с тобой как-то по инерции происходило. Самое трудное, оказалось, выдержать паузу, остановиться. Я, кажется, это смогла. А дальше уж как получится.

— И чего же ты хочешь?

— Многого! Я очень много хочу, я даже и сказать тебе не могу, Суворов, как много я хочу.

— Я, выходит, тебе в твоих желаниях не помощник?

— Ты? — Она вдруг опять рассмеялась, встала, отбросила простыню и стала не торопясь одеваться. — Нет, ты молодец, Суворов. Ты очень стараешься! У меня, как ты понимаешь, ты не первый. Так вот, мужики разные были, но так, как ты, никто не старался. Ты очень стараешься в постели. Молодец. Только ты стараешься для себя. Просто так надо. Соответствовать. Поскольку, если ты стараться не будешь, тогда чем ты возьмешь? Ты же любишь только себя. Не так ли?

— А если не так? — напряженным голосом спросил Роман.

— Ладно! — Она махнула рукой, расчесывая волосы и ища глазами косметичку. — Ты же, когда любовью занимаешься, в глаза не смотришь. Пребываешь, так сказать, в своих ощущениях. Тебе же нужна не я. Тебе нужна просто баба. Желательно красивая, покладистая, хорошая, здоровая баба. И желательно одна и та же, чтобы не переиначивать себя. И лучше бы, чтобы ты имени ее не знал. Чтобы она являлась по первому зову твоей плоти как джин из бутылки. По свистку!

— Можно подумать, что ты являлась по свистку, — усмехнулся Роман.

— Можно сказать и так. — Танька опустила голову, помолчала мгновение, затем сказала. — Ты здесь комедию только не ломай, хорошо? Я и на самом деле сейчас абсолютно спокойна. Это мне раньше хотелось твоего сочувствия, понимания, поговорить с тобой. Теперь нет. Неинтересно. Так же, как раньше неинтересно было тебе, Суворов. Надеюсь, что ты не пропадешь. Хотя ты слишком легко живешь. Точнее, тебе кажется, что ты легко живешь, а на самом деле ты просто врос в землю. Мхом покрылся. Запомни. Стараться надо не в постели, а в жизни. В жизни надо стараться. А в постели надо любить.

Все это время, пока она так спокойно, так непохоже на саму себя говорила эти слова, он внимательно смотрел на нее и даже отстраненно фиксировал те мысли, которые появлялись в его голове. Первая мысль была о том, что жаль терять Таньку. Хорошо с ней было. Тело замечательное. Характер покладистый. Без лишних претензий. Опрятная. Машину имеет. Выручает. Точнее, выручала. Запах у нее хороший. Да и вкус тоже. Вторая мысль пришла почти сразу после первой, и так резанула, что даже чуть-чуть закололо сердце. Как же он теперь без нее?! Как?! Да никак, успокоился он почти в ту же секунду. Только этих разборок ему еще и не хватало. Да и зачем ему нужна эта Танька с ее проблемами, с вынужденным хорошистом Димкой, с больной мамашей? Да и лет ей, наверное, уже тридцать пять. Что с ней будет через года три-четыре? То-то и оно. Хотя, теперь другую придется искать, прикармливать. Морока.

— Ты хорошо подумала? — Он поймал ее за руку. — Смотри, я гляжу тебе в глаза.

— Суворов, — она присела на корточках перед ним, голым, нелепо набросившим на колени простыню, прикрывающую безвольный живот. — Суворов, — положила холодные ладони ему на плечи, — если когда-нибудь в твою дурную башку придет мысль приманить какую-нибудь бабу, имей, пожалуйста, в виду одно очень важное обстоятельство. Женщина живет не только в те редкие дни и часы, когда ты вдруг соблаговолишь вспомнить о ней и обратить на нее свое внимание, как правило, в целях удовлетворения своих плотских потребностей, а постоянно. Твое убеждение, что в перерывах между общением с тобой человек хранится где-то в специальном отстойнике в выключенном состоянии — глубоко ошибочно. Постарайся не забывать об этом. Вот так. А сейчас мне нужны мои туфли.

Она заглянула между ног Романа под кровать, встала, оглядела комнату и вдруг пронзительно завизжала! Роман вздрогнул, посмотрел в угол и увидел огромную черную крысу, которая, не торопясь, протискивалась через казавшуюся для нее тесной дыру. У него дернулись руки что-то бросить в этот отвратительный крысиный зад, заканчивающийся голым толстым хвостом, но под руки ничего не попало, вставать было лень, и он безвольно смотрел, как чудовище исчезает в норе.

— Бежать, бежать отсюда надо! — заторопилась Танька, всовывая ноги в туфли и вытирая ладонями с лица пробивший ее пот. — Бежать надо от этой экзотики. Прощай, милый. Я думаю, что от одиночества ты тут не погибнешь.

Хлопнула дверь. Затем пикнула сигнализация. Заскрипел отодвигаемый Танькой штaketник. Лязгнула дверь машины. Заурчал двигатель. Взвизгнули колеса по мокрой ночной траве. Уехала.

Роман закрыл глаза, представил сначала восхитительную голую Таньку с раскинутыми ногами на этой кровати какой-то час назад, затем почти голого Палыча, стоящего в воде и произносящего фразу «Девушки здесь замечательные». После этого ему привиделась Дуська-продавщица с мухами на лице. Он зябко повел плечами, встал, подошел к темной норе. Возле отверстия аккуратной кучкой лежали отравленные семечки. Нашарив на столе бутылку, он опрокинул остатки вина в рот, нагнулся, вставил бутылку в нору и плотно забил ее ногой. Затем, медленно пройдя по избе, аккуратно загасил почти сгоревшие, старательно натыканные им всюду свечи и устало повалился на кровать. Последняя мысль, которая возникла в его голове перед погружением в темноту, была: «Танька — сука. Штaketник за собой не задвинула!»

5

Ему снился поезд. Он не знал, куда едет, зачем, но сидел в купе. Поезд колыхался на рельсах, на столе подпрыгивал грязный стакан в подстаканнике, настойчиво дребезжал, скатывался к самому краю, а он никак не мог остановить его. Рук у него не было, что ли?

Проснулся Роман от настойчивого дребезжащего стука в оконное стекло. С трудом открыв глаза и не сразу сообразив, где он и что слышит, он поднялся, накинул на себя выцветший махровый халат и вышел во двор. Во дворе стоял участковый.

— Привет людям искусства! — козырнул ему милиционер. — Вот жизнь у богемы! А! Время двенадцать, а они еще в постели! Завидую. А я уж забыл, когда вставал позже семи утра. Даже в воскресенье!

— Привет, Серега, — Роман пожал руку милиционеру, с которым после однократного дружеского распития бутылки водки и двух подаренных картин числился в друзьях, и, прислонившись к стене дома, поежил-ся. — Какими судьбами?

— Привет, судьба у меня все та же. Тем более летом, когда на селе самая жизнь. Служба! У тебя закурить не будет?

Роман, хлопнув себя по халату, шагнул в сторону избы, но Сергей остановил его:

— Угощаю!

Они закурили. Роман втягивал в себя дым, думал о том, что очень неплохо сейчас умыться, почистить зубы, снять с себя щетину, водой облиться из ведра, но не суетился. Он уже привык за несколько прожитых тут лет, что в деревне никто никуда не торопится, все делается не торопясь, медленно, но успеваётся никак не меньше, чем в городе, а то и больше. Вот и теперь он ждал, когда Сергей скажет, зачем он пришел, потому что торопить его было неприлично, да и не нужно.

Сергей выкурил полсигареты, затем покосился на примятую колесами Танькиного автомобиля траву.

— Гости были?

— Танюха приезжала из Москвы. Ночью уехала.

— Штaketник закрывать надо, — Серега подошел к забору, бросил сигарету в уличную колею. — Украсть, конечно, ничего не украдут, но непорядок.

— Закроем, — улыбнулся Роман.

— Да ладно, не дергайся, — довольно улыбнулся Сергей, взял в руки блок штaketника и прикрыл выезд со двора. — Шеф мой очень твоей картиной доволен был! Только, блин, меня же в багетную мастерскую и погнал, чтобы я раму там заказал ему. Ну, я-то думаю, что под это дело я

и свою картинку оформлю. Фиг вам! Там такие цены, что любой довесок по деньгам способен вызвать немедленную прокурорскую проверку!

— Ну, насчет этого ты тоже не дергайся, — успокоил его Роман. — Поеду в Москву, оформлю твою картинку в лучшем виде и бесплатно. У меня приятель багетчик.

— Это хорошо. Но сейчас я совсем по другой надобности. Сосед мне твой нужен.

— Это Палыч-то? — удивился Роман. — А что, его нет?

— Не знаю, я как-то решил сначала к тебе заглянуть, — пожал плечами Сергей. — Может, познакомишь меня с ним?

— Познакомлю, конечно, — согласился Роман. — Хотя я сам с ним разговаривал всего пару раз по три слова. Какой-то он... неприятный, что ли. Или странный? Он как приехал, здесь, у дома все деревенские старухи перебивали. У тебя-то какой к нему интерес?

— Интерес все тот же, — достал вторую сигарету Сергей. — Понимаешь, осенью порося взяли. Считаю, вот уже больше чем полгода кормим, а он расти перестал. Дело, видишь ли, к осени опять идет, вроде пора прибыток получать, а в нем килограмм пятнадцать общего веса, если не меньше, и не прибавляется. Комбикорма на него перевел — пропасть. Жрет сволочь, а не растет. Зоотехник приходил, смотрел, все в порядке говорит, здоровый, не болеет. Я спрашиваю его, чего же он не растет, а он, козел, смеется. Может быть, говорит, это карликовая порода? Подожди... Я ему покажу карликовую породу, когда он начнет телят на падеж на ферме списывать!

— Понятно, — еле сдержал улыбку Роман. — Непонятно другое: сосед-то мой при чем?

— Ну, здравствуй! — развел руками Сергей. — Так ты что? Не знаешь? Он же скотину лечит! Этот, как его... Знахарь! Народный целитель! Не знаю, как насчет чего другого, мало ли чего там бабки наговорят, но скотину точно лечит! Вот как приехал, прошел по дворам, обещал помощь. Вон у моей соседки у коровы вымя воспалилось, думали уж резать скотину, сосед твой помог. Причем цену не называет, а говорит так: если польза будет — принесете чего-нибудь, молочка там, яичек, чтобы деревенского покушать летом, не магазинного. Да чего там соседка! Моя говорит, что сам наш зоотехник со своим псом к нему ходил клеща подкожного выводить. А это ведь дело гиблое, я тебе точно говорю. Так что ты зря на своего соседа бочку катишь.

— Да не качу я никаких бочек, — махнул рукою Роман, — просто я хочу уединения, а тут каждое лето совладелица то одного, то другого присылает.

— Ну, уж это не обессудь, — развел руками Сергей. — На то она и деревня. А мне какво? У меня каждое лето население удваивается. Разве тут уследишь? То одно, то другое. Зарплата, сам знаешь. А теперь еще и поросенок забастовал, так тут не только к знахарю, к самому черту пойдешь на поклон.

— Ну уж сразу и на поклон! — хлопнул по плечу милиционера Роман. — Пошли знакомиться с народным целителем.

Он запахнул посылнее халат и двинулся за Сергеем вокруг дома, стараясь не наступать на синиеющие под окнами анютины глазки.

На ступенях покосившегося крыльца сидели трое. Полненькая старушка, крупная, широкая в кости рукастая женщина и благообразный дедок, попыхвающийся то ли замусоленной папироской, то ли самокруткой. Увидев милиционера, вся компания попыталась подняться, но, оторвавшись от ступеней на пол-ладони, уселась обратно и уставилась ожидающе на подошедших. Роман огляделся. Трава с этой стороны дома была уже вытоптана до земли. Вдоль забора стояли несколько пустых деревянных ящиков, служащих, видимо в моменты наибольшего избытка посетителей скамейками. Дверь в дом была приоткрыта, но окна задернуты белыми занавесками.

— Здравствуйте, граждане, — официально прогудел участковый. — Кто такие будете? Что-то в нашей деревне я вас не припомню.

— С Выселок мы, — заторопилась старушка, оглядываясь на согласно кивающих женщину и старика. — Вот, пришли за помощью. Скотина у нас болеет. Да.

— С Выселок, значит? — с деланным сомнением покачал головой Сергей. — В доме есть кто? Хозяина кликните.

— А нету никого, — развела руками старушка, вновь пытаясь приподняться. — Сами уже с утра ждем. Вашенские, что с утра здесь были, сказали, что не будет его сегодня, а мы вот ждем. Надеемся.

— Чай восемь километров до вас перли! — недовольно пробасила женщина.

— А дверь-то что открыта? — удивился милиционер.

— Так он, говорят, и не закрывает! — опять заторопилась старушка. — Божий человек, стало быть. Мои двери, говорит, для всех открыты. А красть у меня, говорит, нечего.

— Проветривает, — вновь вмешалась женщина.

— Да, — протянул вполголоса Сергей, сдвигая на лоб фуражку и почесывая затылок. — Похоже, на сегодня я, художник, со своим поросем пролетел.

— Граждане, — подделываясь под милицейский тон, вмешался Роман, — а может, зря вы тут топчетесь? Вдруг он не появится сегодня.

Все трое неодобрительно покосились на халат Романа и его босые ноги.

— Мы не топчемся, — проскрипел дедок. — Сидим мы. А сидим не зря. Придет он. Скоро и придет. За травами он ходил. Вчера ночь была специальная. Травы надо было собирать. Обязательно.

— Ну ладно, — участковый хлопнул Романа по плечу и направился к калитке. — Отложим это дело на послезавтра. И, похоже, тут я без твоей помощи обойдусь. А насчет рамки не забудь!

— Обязательно! — отозвался Роман и крикнул уже вслед Сергею: — А почему пешком? Мотоцикл-то твой где?

— Все там же, — махнул рукой Сергей. — Поверишь, когда он иногда заводится, я сам удивляюсь!

Сергей обернулся на вновь застывших в статических позах посетителей, брезгливо провел рукой по колючему подбородку и спутанным волосам и заторопился к умывальнику.

6

Как-то все перепуталось в голове. И сейчас, когда Роман шагал по пыльной совхозной бетонке в сторону зернохранилища, он пытался обдумать, утрясти, уложить все происшедшее по полочкам. Хотя бы для того, чтобы плюнуть и забыть. Как-то непохоже все это на Таньку. С другой стороны, хорошо ли он ее знает, чтобы говорить так? К тому же, если вдуматься, во всем этом есть и хорошие стороны. Вновь погружаться в семейную бытовую тину он не собирался. Танька, конечно, баба замечательная, но и на ней свет клином не сошелся. Что ж. Пусть устраивает свою жизнь. Если не опоздала уже. А он? Уж как-нибудь. Придется побеспокоиться на этот счет. Неохота только в Москву пилить, тусоваться в этих околорудожественных компаниях. Но, кажется, придется.

В зернохранилище было тихо. И время не уборочное, и час для села уже поздний. Женщина в синем халате, видимо в связи с выходным днем, отсутствовала. Роман поинтересовался у запыленного, страдающего давним похмельем тракториста, где найти Кузьмина, и отправился к выцветшим деревянным вагончикам. Кузьмин обнаружился во втором из них. Он лежал на потемневшем от грязи топчане, положив голову на подушку, естественный цвет которой разобрать было невозможно. Морщась от перекишенного запаха грязи, пота, перегара и еще неизвестно чего, Роман потряс его за плечо. Человек застонал, сел и тупо смотря перед собой, повел перед лицом дрожащим пальцем, готовясь вновь провалиться в обморочное состояние.

— Николай Егорович!

Роман достал из взятого с собой пакета бутылку водки, постучал ею по

грязному заплеванному стакану, откупорил и налил половину. Кузьмин уставился на поданный стакан, втянул ноздрями воздух, ухватился за водку скрюченной пятерней, выдохнул и опрокинул содержимое в рот. Следующие несколько секунд он молча сидел, закрыв глаза и поводя плечами с запрокинутой головой. Затем неожиданно резво вскочил, взял из рук Романа начатую бутылку, сунул ее под топчан, выудил оттуда кусок коричневого хозяйственного мыла и выскочил на улицу. Роман вышел за ним. Кузьмин умывался. Из прилаженного к бетонной стене резинового шланга била холодная струя. Он стоял, широко расставив ноги в замасленных брезентовых штанах, сбросив с себя все остальное тряпье, и намыливал лицо, голову, шею, плечи, руки, живот.

— Эй! — неожиданно трезвым голосом позвал он Романа. — Гринго! Полей-ка!

Роман взял шланг и направил струю на худую и мускулистую спину. Кузьмин фыркал, прогибался, опираясь рукой на выщербленную бетонную плиту. Наконец он разогнулся, вытерся тем, что с себя снял, предварительно вывернув это наизнанку, и бросил все это тут же.

— Курить есть?

Роман молча протянул сигарету. Перед ним стоял пожилой, но еще крепкий мужик, состоящий, кажется, из одних сухожилий, узких, но крепких мускулов, обтянутый поверх всего этого темной от загара кожей. Закурив, мужик выпустил дым, прищурившись, внимательно посмотрел на Романа красным от постоянного перепития глазом, собрал в кулак жиденькую седую бородку.

— Что еще принес?

Роман зашелестел пакетом.

— Хлеб. Колбасы «одесской» кружок. Две скумбрии.

— Давай сюда.

Через секунду пакет с продуктами исчез также в недрах вагончика. По легкому блеску в глазах вновь появившегося Кузьмина Роман понял, что содержимое бутылки уменьшилось еще на несколько хороших глотков. Мужик подошел к Роману, протянул крепкую ладонь:

— Николай Егорович Кузьмин. Бывший учитель истории из местной школы. Теперь на пенсии. Охранник данной территории. По совместительству — алкоголик. Зачем пожаловали?

— Роман, — ответил Роман, слегка удивленный стремительной метаморфозой, происшедшей с только что явно умирающим человеком. — Помощь ваша нужна.

— Помощь — это можно, — согласился Кузьмин, доставая из-за уха заначенный окурок. — Только если в богоугодном деле. Если насчет комбикорма или там зерна, то не по адресу. Я в расхищении народного добра не участвую. Даже за пол-литра. По этому вопросу к новым хозяевам. К директору не советую, а агроном или, скажем, агрохимик посодействуют точно. За приемлемую мзду поучаствуют в ограблении родного хозяйства.

— Нет, комбикорм мне не нужен, — покачал головой Роман. — Мне посоветовали к вам обратиться насчет крыс. Кот мне нужен.

— Ну, здоров брат, — удивился Кузьмин. — Неужто в совхозе кошачья порода перевелась?

— Да нет, не перевелась, — объяснил Роман. — У меня-то кота нет, я здесь живу только с весны до осени. На Пионерской улице. Третий дом. Но вот с неделю как появились крысы. Яд не едят. А размером не меньше чем с кошку. Так что мне посоветовали только к вам.

— Ну, раз посоветовали, — Кузьмин вновь собрал в кулак бороду, задумался, — если размером с кошку, то это крыса выдающаяся. Хотя на поверку, когда увидишь такую штуку наяву да в задавленном виде, обнаруживается, что половина этого размера хвост, а другая половина собственный испуг. Ну да ладно. Вообще я тебе скажу, что в таких случаях лучше помогают кошки. Особенно если с котятками, то она насмерть биться будет. Хотя и не факт, что справится. Крысы — они же редко поодиночке. Но у тебя, если тебе не почудилось, случай особый. Есть у меня тут один

зверюга. Хвастаться не буду, но вот уже года три, как на всей этой территории не только крысы и мышей, но и котов не особенно встретишь. Такая, прямо скажем, абсолютная кошачья монархия. Собаки, веришь, не прижируются. Хотя последнее не очень хорошо.

— Ну, так вы можете мне помочь?

— Я, нет, — озорно улыбнулся Кузьмин. — Кот сможет. Только, во-первых, это тебе будет стоить еще два пузыря.

— Не слабо вы оцениваете своего крысолова! — удивился Роман.

— Ну, ты не торгуйся, — успокоил его Кузьмин. — Ты просто еще этого зверя не видел. Во-вторых, я тебе его даю на день-два не больше. Ему этого хватит, будь уверен. Кормить его ни в коем случае нельзя. Ничем. Не волнуйся, с голоду не умрет. И еще. Принесу я его сам. Мне его еще поискать надо будет и подумать, как донести, чтобы он мне самому глаз не выцарапал. Так что имей в виду, что трогать его руками не надо. Оставишь в доме и жди результата. Да держи окна и двери закрытыми, а то уйдет. Ну а как дело будет сделано, дверь откроешь. Он сам дорогу домой и найдет.

— А как я узнаю, что дело сделано? — спросил Роман.

— Узнаешь, — подмигнул ему Кузьмин, — не волнуйся. Только сейчас сразу в магазин дуй и жди меня дома, потому что если тебя не будет или водки, я животину в аренду не сдам. А дом номер три по Пионерской я знаю. Там когда-то приятель мой жил. Так что не сомневайся. Жди.

— Ну, вы уж не подведите, — собрался уходить Роман. — А то я как увидел, понял, что не усну теперь. Такая крыса может и горло перегрызть.

— Не сомневайся, через пару часов буду. Покедова.

— А почему «гринго»? — остановился Роман и повернулся в сторону уходящего Кузьмина.

— А что, не нравится? — засмеялся Кузьмин. — А кто же вы есть-то, приезжие? Ты не обижайся! Комплимент это, однако.

7

Через два часа Кузьмин не пришел. Роман засунул купленную водку в старенький пожелтевший холодильник, раздвинул занавески, вымел пол, смахнул пыль с подоконников и полок. Расставил вдоль стен холсты, вскипятил на керосинке чайник, перекусил и начал перебирать сваленные на комод детективы в потрепанных обложках, надеясь занять голову или попросту убить время. В дверь постучали.

— Войдите! — крикнул Роман, рассчитывая, что Кузьмин все-таки добрался до него несмотря ни на что, но увидел в дверях Палыча.

Палыч перешагнул через порог, аккуратно закрыл за собой дверь и, почему-то кивнув Роману, вновь начал извиняться.

— Здравствуйте, вот по-соседски решил навестить вас, чтобы закончить начатый разговор или продолжить его. Это уж как угодно. Если вы, конечно не возражаете.

— Заходите, раз уж пришли, — буркнул Роман. — Садитесь.

Появление соседа вызвало у него уже не ненависть, а досаду. Но ощущение незаконченности разговора с ним на берегу, наверное, присутствовало в нем, поэтому он не удивился и теперь внимательно смотрел на этого неприятного ему человека, который разулся и пытался усесться на маленькой табуретке посередине комнаты.

— Нет, нет, не надо, я уже обедал, — засуетился Палыч, увидев в руках Романа чашку чая, хотя тот и не думал предлагать ему почаевничать. Сказав это, он начал озираясь, поочередно останавливая взгляд на расставленных вдоль стен эскизах, которые Роман против своего обыкновения в связи с уборкой расставил лицевой стороной. Видимо, ничего его не заинтересовало, потому что через минуту он с некоторым разочарованием облизал губы и повернулся в сторону Романа.

— Собственно цель моего визита не только засвидетельствовать соседское, так сказать, благонамеренное почтение, но и для того, чтобы вы не забыли о том нашем разговоре. Все мои предложения по поводу приобретения той вашей работы остаются в силе.

— Собственно никаких предложений я не услышал, — сказал Роман. — Вы курите?

— Курите? — переспросил Палыч. — Нет, конечно, ну что вы. Но вы курите. Я не испытываю дискомфорта. Пожалуйста. А насчет предложений, ну что вы? Я же все вам сказал. Я хочу приобрести вашу картину. Именно ту, которая находится у Софьи Сергеевны и которая рано или поздно должна перейти в вашу собственность. За эту картину я готов заплатить названную вами цену. В том числе уже теперь. Картину я согласен ждать.

— А если обстоятельства так сложатся, что даже после смерти Софьи Сергеевны, дай Бог ей здоровья, я не получу эту картину. Насколько я понимаю, пожелание Митрича было высказано в устной форме?

— Вполне вероятно, что в устной, — согласился Палыч. — Только что же нам пенять на обстоятельства? Обстоятельства вещь вполне управляемая. Но, как вы понимаете, я готов взять обстоятельства на себя. С Софьей Сергеевной мы знакомы, так что если у меня на руках будет ваше письменное согласие, думаю, что проблем с разрешением нашей сделки у меня не будет.

— Не спешите вы насчет сделки, — Роман стряхнул пепел с сигареты. — Мне еще не все понятно. Зачем она вам?

— Ну не для того, чтобы ведра с водой в терраске накрывать, — захихикал Палыч. — Вы такие вопросы задаете. Для чего покупаются картины?

— Но не за любые деньги.

— Почему же за любые? — опять захихикал Палыч. — Если вы попросите у меня какие-нибудь индейские тугрики, пожалуй, мне останется только развести руками.

— Да не об этом я говорю, — отмахнулся Роман. — Если уж между нами идет торговля, я должен понять ценность этой работы. Или вы хотите, чтобы, оставшись в недоумении, я всю жизнь мучился мыслью, что может быть я продешевил?

— Справедливо, — кивнул головой Палыч. — Справедливо, поэтому вынужден с вами согласиться. Хорошо. И хотя это, может быть, действительно сыграет в сторону увеличения цены, я объясню вам. Как вы, наверное, помните, я уже вам рассказывал, что Александр Дмитриевич перед смертью говорил, что если вы заплутаете, то эта картина то место, с которого вам нужно начинать, так сказать, вспоминать дорогу, по которой вы должны двигаться. С моей точки зрения, дело обстоит несколько иначе. Я человек тонкий, — тут Палыч вновь захихикал, представив, видимо, созвучие данного слова с собственной комплекцией. — Я человек тонкий. Мои интересы находятся в области тонкого мира. Психическая сфера, так сказать. С точки зрения обывателя — мистика, чертовщина, с точки зрения людей сведущих не что иное как вселенная нервных излучений. Вся моя коровья практика в этой деревне всего лишь попытка, кстати, удачная попытка, попытаться разобраться в нагромождениях нервных посылов, порчи, наговоров, которыми эти люди окружают свою жизнь. Отравляют ее, если хотите. Плюс к этому знание сил природы, опыт. Ну и так далее. Конечно, вы, наверное, думаете, что я со своими возможностями занимаюсь какой-то сельской ерундой? Нет. Все гораздо тоньше. Люди — это руда. Полезный психологический материал. Это бесценный опыт для любого медиума. Помогая им, а я, заметьте, помогаю, я получаю не меньше. И это не только косвенная подпитка их энергией. Энергетика здесь в большинстве случаев ужасная, хотя некоторая дикая органическая необузданность местных женщин все еще имеет место. Это прежде всего поиск золотых зерен. Понимаете, каждый человек одарен чем-то от природы. Некоторые в ничтожной мере или в нераскрытых ими же областях. Другие в значительной степени, хотя это редкость. Но есть особые случаи, когда человек пылает как звезда. И вот этот дар и представляет для меня основной интерес. Дело в том, что человек сведущий может этот дар воспринимать, если хотите, копировать, сканировать, восполнять им, так сказать, свою душевную сферу. В конце концов, разнообразить собственные впечатления от жизни.

— Каким же образом в этот ваш интерес вписывается моя картина? — спросил Роман.

— Самым непосредственным! — воскликнул Палыч. — Вы понимаете — искусство это совершенно особая ипостась! Искусство — это единственная сфера, где происходит материализация психофизической сущности творца! При соблюдении каких-то критериев, определенной концентрации таланта произведения искусства становятся носителем энергии создателя. То есть они светятся так же, как люди. И иногда ярче, чем их творцы. Вам удалось воплотить в той работе что-то такое, чего я не могу увидеть в вас теперь. Таким образом, мой интерес вполне объясним.

Роман глубоко затянулся, загасил сигарету и тут же достал следующую.

— И что же произошло со мной? А вдруг, исходя из ваших же слов, я сам не должен расставаться с картиной?

— Как истинный метафизик, уверяю вас, не становитесь рабами вещей, если вы не можете извлечь из них истинной пользы. Что же касается вас, извольте. Дайте мне руку.

— Вы гадаете по руке?

Роман встал, взял в руки стул, сел напротив Палыча, протянул ему руку.

— Вы имеете в виду, не хиромант ли я? Нет, конечно. Слишком узкая и сомнительная специализация. Разрешите?

Палыч взял в руки ладонь Романа и, сжав ее, стал еле заметно разминать, прищурившись и смотря куда-то в сторону, улыбаясь чему-то и пришептывая.

— Не правда ли, я не вызываю у вас симпатии, — хихикнул он, удерживая дрогнувшую руку Романа и продолжая свои движения. — Не обращайтесь внимания, все в порядке. Ну вот. Конечно же. Я так и знал.

— Что вы так и знали? — спросил Роман, потирая внезапно странным образом онемевшую руку.

— То, что и предполагал. — Палыч достал носовой платок, вытер руки, лоб, снова спрятал его в карман. — Дело в том, что вы дерево. Да не обижайтесь вы, в самом деле! Я же серьезен! Дело в том, что все люди относятся к определенным животным, растениям или минералам. Называйте это как хотите — резонансом, родством, наследственностью, скрытой ипостасью. Я и сам не знаю расшифровки. Я только чувствую. И это очень полезно, кстати. Имейте в виду, что вы клен. То есть если вы окажетесь в лесу и будете чувствовать себя нехорошо, подойдите к клену, прижмитесь щекой, расслабьтесь. Облегчение вам гарантировано. И то, что вы клен, кстати, многое объясняет. В том числе и нынешнее ваше, так сказать, бесцветное состояние. И прошлый всплеск, который привел к созданию той работы. Существование дерева подвержено циклам. Причем не обязательно эти циклы соответствуют циклам весна—лето—осень—зима. Ваш цикл может быть и год, и два года, и пять лет. Вероятно, теперь у вас зима. Движение жизненной энергии замедлилось. Вы находитесь в спячке. Кстати, насиловать себя бесполезно. Человек не может изменить свою сущность, это может закончиться для него катастрофой, даже гибелью. Как раз наоборот. Слившись со своей ипостасью, вызывая ее в себе, человек может достигнуть многого! Возможно, что все древние сказания о тех же оборотнях — это подтверждения опыта о подобном слиянии. Согласитесь, что если очистить этот опыт от наслоений легенд и баек — это прежде всего свидетельство силы, знания, мудрости, если хотите.

— Чего же могу достигнуть я, если сольюсь со своей ипостасью? — усмехнулся Роман.

— А вы не смейтесь, — ответил Палыч. — Я тоже мог бы посмеяться, сказав, что с помощью фотосинтеза в летние месяцы вы могли бы экономить на продуктах. Хотя и это утверждение заслуживает осмысления. На самом деле подобная конгруэнтность довольно большая редкость. Возможно, ваше преимущество было бы в точном определении своих циклов и максимальном использовании их преимуществ.

— Слова, — бросил Роман.

— Конечно, слова, — согласился Палыч. — Но все слова имеют определенное значение!

— Кстати, о словах... Вы тогда, на берегу, начали фразу, — вспомнил Роман, — сказали, кажется, так: «время терпит, тем более что вы...» Что вы имели в виду?

— Именно это самое. Время терпит. Я уже тогда почувствовал некоторое замедление вашего времени. Его, если хотите тягучесть. Но только теперь я понял, что в этом ваше внутреннее содержание. Но не могу терпеть я. Мое время быстро. В том числе и поэтому я пытаюсь ускорить принятие вами решения.

Роман встал, прошелся по комнате, сел на кровать, постукивая по столу пустой пачкой сигарет. Палыч сидел неподвижно, смотрел куда-то в сторону и, казалось, покорно ждал решения своей участи.

— Экзотика какая-то. Фольклор. Лубок. — Роман говорил медленно, с паузами. — Знахарство. Водяной в виде утки. Люди-звери. Люди-растения. Люди-минералы. Бабушки. Светящаяся картина. Ясности хочется в этой жизни, Евгений Павлович. Как-то вы затеняете ясность. То есть мне все же хочется обходиться общеупотребительными понятиями. Вот вы говорили, что есть что-то ценнее денег. Что вы имели в виду? Недвижимость? Драгоценности? Проживание в иной более благополучной стране? Здоровье? Что?

— Любовь. Дружба. Удача. Везение. Счастье. Неудача недруга. Здоровье в том числе, — перечислил Палыч.

— Вы хотите сказать, что все эти понятия находятся в вашем распоряжении? — удивился Роман.

Палыч развел руками.

— То есть, — нахмурился Роман, — не делая из меня дурака, вы готовы, например, гарантировать мне удачу в обмен на мою картину.

— Удача — это очень хорошая цена, — сказал Палыч, — даже за такую исключительную картину, как ваша. И это очень хороший выбор. Например, счастье — несравненно худший выбор, так как представляет собой категорию мгновенную. Множественное же счастье это штука непосильная для человеческой психики.

— Хорошо, — Роман встал. — Допустим, что меня устраивает ваше предложение. Я выбираю удачу и в соответствии со своими возможностями передаю вам ту картину, которая висит в зале у Софьи Сергеевны — с изображением тумана и двух силуэтов. Но неужели вы думаете, что я настолько глуп, чтобы написать вам сейчас расписку или гарантию соответствующего содержания?

— Помилуйте, — улыбнулся Палыч. — Никто не заставляет вас верить мне на слово! Я могу подождать не только картины, но и вашей письменной гарантии. Напишете ее мне в тот момент, когда вы сами будете уверены, что удача пришла к вам.

— Когда я сам буду уверен, — повторил Роман.

— Когда вы сами будете уверены, — подтвердил Палыч и протянул руку.

— Почему вы никогда не смотрите в глаза? — спросил Роман Палыча. — Это вызывает сомнения в вашей искренности.

— Зато никто не обвинит меня, что я подавляю волю собеседника с помощью гипноза или иной чертовщины, — ответил Палыч, не поднимая глаз. — К тому же я не уверен, что вам будет приятен мой взгляд. Ну же? Мы заключаем сделку или нет?

8

Кузьмин появился только на следующий день после обеда. Вид он опять имел ужасный, а взгляд бессмысленный. В руках у него был картонный ящик, поразивший Романа своей тяжестью. Молча забрав из рук Романа водку, он козырнул ему, погрозил грязным пальцем и растворился в дверном проеме. Роман закрыл дверь, проверил шпингалеты на всех окнах, досадуя, что некоторое время ему придется находиться в закупоренном помещении, и открыл коробку. В коробке сидел зверь. Назвать это существо котом у Романа никогда не повернулся бы язык. Веса в нем было килограмм под десять. Он был обычной деревенской серой масти со слабо выра-

женными полосками на боках. Одного уха у него не было вовсе, второе было надорвано на самом конце. Кот вытянулся, сел, приподнялся на задних лапах и неожиданно для такого грузного на вид существа мягко выпрыгнул из коробки и огляделся. В этом озирании, во время которого самому Роману было уделено не больше внимания, чем убогой трехногой табуретке, было столько удивительного достоинства и силы, что Роман тут же и окончательно поверил словам Кузьмина, что собаки у них на зернохранилище как-то не приживаются. Кот еще раз повернул из стороны в сторону покрытую шрамами морду, вдохнул воздух и медленно подошел к дыре, из которой Роман с большим трудом вынул с утра бутылку. Понюхав пол и скребанув, видимо, для порядка, лапой, кот легко выпрыгнул на стол, полакал из литровой банки с кипяченой водой и разлегся на солнечном квадрате, падающем из окна.

— Как тебя зовут, монстр? — спросил Роман, аккуратно садясь на кровать в некотором отдалении от стола. — Привет, что ли?

— Привет! — раздалось от дверей.

В дверях стоял Глеб. Отношения у Романа с Глебом были давние, и их можно было бы назвать приятельскими, если бы не тот оттенок честного, как хотелось думать Роману, коммерческого сотрудничества, которым эти отношения были пропитаны. Глеб занимался продажей картин. Покупал он их по дешевке, брал на реализацию, в небольшой мастерской изготавливал для них рамы, сдавал в лавки, имел сеть частных заказчиков — короче, крутился как мог. Большая часть картин Романа находилась именно у него, и именно от него в последний раз небольшую сумму за проданный пейзаж привезла Татьяна. В деревне у Романа Глеб появлялся не чаще раза в год и то только в том случае, когда назревал большой, но не слишком компетентный заказчик, на котором Глебу хотелось хорошо заработать, но портишь отношения и впихивать явное «фуфло» не стоило.

— Откуда? — удивился Роман. — Что случилось?

— Проездом! — уверенно ответил Глеб, пожимая ему руку и проходя в дом. — Из Москвы в Москву. Что случилось? Видно, что-то случилось. Скорее всего, я сошел с ума. Но сейчас не об этом. Давай собирай все свои более или менее готовые работы.

— Да их не так много, — протестовал Роман. — Дай Бог, если штук пять.

— Обленился ты, старый хрыч, — ругался Глеб, перебирая холсты. — Но ничего. Мы это поправим. Собирайся.

— Куда?

— Доедем до вашего районного центра. Не могу же я общаться с великим художником в этой лачуге? К тому же у меня есть ощущение, что этот зверь, — он кивнул на кота, — вот-вот вцепится мне в горло. Поехали.

Роман переоделся, кое-как умылся и через минуту уже трясся в Глебовой «ауди» по корявой совхозной улице. Городок был близко. Несколько минут дороги Глеб отмалчивался и заговорил только тогда, когда они сели за столик единственного городского приличного ресторанчика и сделали заказ.

— Так в чем же, собственно, дело? — спросил Роман.

— Скажи, — ответил вопросом на вопрос Глеб, — я понимаю что-нибудь в торговле произведениями искусства?

— Безусловно, — развел руками Роман.

— Хорошо, тогда скажи, понимаю ли я что-нибудь в искусстве?

— Думаю, что что-то ты понимаешь, — ответил Роман.

— Я тоже так думал до сегодняшнего дня, — сказал Глеб и закурил. — Теперь я в этом не уверен.

— И что же поколебало твою уверенность? — улыбнулся Роман.

— Ты! — ткнул в него пальцем Глеб. — Ты, черт бы тебя побрал, если он не побрал тебя уже на самом деле! У меня есть небольшой бизнес, он меня обеспечивает, и я очень не хочу, чтобы он разрушился. А благодаря тебе он сейчас висит на волоске. Сколько у меня было твоих работ на сегодняшний день?

— Кажется, сорок пять. Было сорок шесть, но пейзажик проданся...

— Сейчас их осталось пять!

Глеб нагнулся и пристально посмотрел в глаза Роману.

— Ты можешь это объяснить?

— Нет, — удивился Роман.

— И я не могу, — согласился Глеб. — И эти пять картин не продались только потому, что я затынул с багетом, они лежали у меня в мастерской. Сегодня с утра твои картины были куплены. Причем куплены в разных магазинах и разными людьми. Вот!

Глеб бросил на стол толстую пачку денег, перетянутую резинками.

— Здесь больше, чем мы договаривались. Когда пошли звонки с магазинов, я стал поднимать цену, но и это не помогло. К обеду картин не осталось. И вот я здесь.

Глеб расхохотался.

— И вот я здесь! В полном недоумении и полной «ж...».

— Почему же? — не понял Роман.

— Не будь ребенком! — покачал головой Глеб. — Тебя вырвут у меня из рук вместе с моими руками! Это фортуна! Это такая лошадь, которая появляется ниоткуда и везет, причем есть огромное количество желающих усестись на круп позади наездника. У меня уже три предложения на персональные выставки, несколько заказов на сумму от тысячи баксов за небольшую работу и два серьезных предложения дать твой адрес и познакомиться с тобой. Причем второе предложение из этих двух очень серьезное. Очень! Понял? — навалился на стол грудью Глеб.

— И что ты намерен делать? — спросил Роман.

— Бороться! — ответил Глеб. — Для начала вот тебе от меня подарок. — Он бросил на стол сотовый телефон. — Держи со мной связь. Возможно, придется поменять место жительства. Сегодня звонила твоя Татьяна, спрашивала, как продается, наверное, тоже собирается к тебе.

— Она только была, — сказал Роман.

— Ну не знаю, — огрызнулся Глеб. — Я ей ничего не сказал. И ты никому ничего не говори. Такой шанс выпадает один раз в жизни. Не воспользуешься, никогда себе не простишь.

— И что же ты собираешься делать?

— Я? — Глеб улыбнулся. — Для начала я собираюсь немного выпить, хорошо покушать, поболтать с тобой о том, о сем. Потом мне хотелось бы быть уверенным, что ты меня не бросишь. Ну и так далее. Как тебе мой план?

9

Они расстались за полночь. Почти не захмелевший Глеб, наплевав на осторожные предупреждения Романа, довез его до единственного совхозного фонарного столба и уехал в Москву. Роман поднял воротник рубашки, тому что в ночном воздухе назревала свежесть, не зря весь день на севере клубились темные тучи. Июнь подходил к концу. Понять все происходящее с ним Роман пока не мог и думал только о том, что в холодильнике у него еще осталась бутылка водки и недопитое в ресторане он успешно довершит дома и завтра, пожалуй, встанет только к обеду.

Выпить ему больше не удалось. На улице у его дома стояла толпа народа. Мигали огнями «скорая помощь» и два милиционерских уазика. Горели окна во всех домах. Роман недоуменно пробрался сквозь толпу и увидел участкового Серегу, который с обескураженным лицом отгонял зевак, теснившихся возле забора.

— Сергей, привет, что случилось? — встревоженно спросил он у милиционера.

— Привет! — зло бросил ему Сергей. — Иди сюда. Тут такое происходит, а тебя нет. Где пропадаешь?

— В городе с приятелем в ресторане считай с обеда, а что случилось?

— То и случилось, — буркнул Сергей. — Соседа твоего убили. Ты, главное, не волнуйся, дело такое, что на тебя, да и на кого-то не подумают, конечно, но у меня лично неприятностей будет, хоть отбавляй. Сейчас

с тобой сыщик поговорит, ты рассказывай ему все как есть, только про то, что я у него порося собирался лечить, не говори. Не надо. К делу это отношения не имеет, тем более что я так его и не застал. А вот что зоотехник наш собаку к нему водил, обязательно скажи! Тем более собаку!

— Но я ж не видел этого! — обескураженно возразил Роман.

— Ну ладно, — согласился Сергей. — Тут и без тебя есть кому рассказать. Так что давай не робей.

Вся ночь и следующий день Роман провел как во сне. К тому же уже скоро от выпитого у него начала болеть голова и в какой-то момент он перестал понимать, что у него спрашивают. Сначала его допрашивали в половине дома, где жил Палыч, и где лежало его тело, накрытое серой простыней с пятнами крови. Затем в милицейской машине. Затем в городском отделении милиции, куда его доставили с изрядным количеством односельчан. Менялись сыщики, следователи, менялись вопросы и тон расспросов, пока все это не закончилось под утро. Замотанный «следак» дал ему подписать какие-то бумаги и сказал, что он может идти.

— Куда? — глупо спросил Роман.

— На все четыре стороны! — ответил следователь и похлопал по папке. — Висяк! Вы вроде человек интеллигентный, могу сказать. Не для распространения, естественно. К тому же может что и подскажите, как сосед... Бывший. Во-первых, неизвестно — кто погибший. Даже фамилии нет. Просто Евгений Павлович. Документов никаких нет. В розыске не числится. Ваша Софья Сергеевна по телефону сказала, что появился ниоткуда, представился знакомым ее теперь уже умершего мужа, раньше она его никогда не видела. Во-вторых, причина смерти — более чем неясно. Шея сломана. Рваные раны. Похоже на укус собаки. Но судя по расстоянию между следами клыков на спине и шее жертвы, эта собака размером с лошадь. Излишне говорить, что собак таких размеров не бывает. Так что висяк. Отдыхайте. Алиби у вас, что надо, да и прикус у вас не тот, — нехорошо засмеялся следователь. — До свиданья.

Роман попрощался, дошел до автостанции и долго ждал автобуса до совхоза. Позвонил Софье Сергеевне. Голос у нее был встревоженный.

— Ромочка, что случилось, звонили из милиции, интересовались моим жильцом. Что он натворил?

— Не волнуйтесь, Софья Сергеевна, — прокричал Роман в трубку, — все в порядке. Вы лучше скажите, правда ли, что Александр Дмитриевич хотел вернуть мне мою картину.

— Правда, — ответила Софья Сергеевна и добавила после паузы: — Только вы простите меня, я позже верну ее вам, эта картина для меня память о Саше, он так любил ее. Он говорил, что в ней ваша душа. Ваша настоящая душа. Вы понимаете?

— Понимаю. Софья Сергеевна! — голос у него сорвался. — Слышите? Не отдавайте ее никому! Хорошо? Кто бы ни пришел за ней, не отдавайте ее, Софья Сергеевна!

Вскоре подошел автобус. Роман вернулся в совхоз, пришел в дом, выпустил кота и собрал вещи. На улице пошел дождь. Он сел в автобус, вернулся в город, дал объявление в городской газете о продаже дома, сел в электричку и уехал. Навсегда.

ИРИНА РАКША



ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА РАКША — ПИСАТЕЛЬ, КИНОДРАМАТУРГ, ЧЛЕН СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ И СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ. СЕГОДНЯ ЕЕ ИМЯ ВОШЛО ВО МНОГИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЭНЦИКЛОПЕДИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭНЦИКЛОПЕДИЮ «ЖЕНЩИНЫ-ПИСАТЕЛЬНИЦЫ РОССИИ» (ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 1980). ЛАУРЕАТ ШЕСТИ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ.

В 1995 ГОДУ МАЛАЯ ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (5083) РЕШЕНИЕМ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ПОЛУЧИЛА НАЗВАНИЕ ИРИНАРА.

КТИТОР ХРАМА РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В БУТЫРСКОЙ СЛОБОДЕ.

ОСТАНКИНСКИЕ ДУБКИ

РАССКАЗ

Мы с мамой жили в Останкино, в двухэтажных оштукатуренных, беленых бараках. Они почему-то (возможно, красоты ради) назывались корпусами. По Третьей Останкинской улице таких корпусов было построено семь. В конце тридцатых годов их наскоро выстроили как временное жилье для сотрудников и строителей ВСХВ — Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, которая находилась неподалеку. Мой папа был ее сотрудником, молодым выдвиженцем — директором павильона «Хлопок». Ему обещали в скором будущем квартиру в центре. Но воистину — нет ничего более постоянного, чем временное. Поскольку в скором будущем началась война и папа ушел на фронт. Потом война кончилась, но отец что-то не возвращался. А бараки наши, как Ноев ковчег, где набралось всякой твари по паре, все жили и жили. И плыли сквозь толщу лет аж до скончания века. Правда, седьмой корпус при первой же бомбежке Москвы сгорел от прямого попадания немецкой бомбы, так что седьмого корпуса я не помню. И как уходил на войну отец, тоже не помню — в коляске лежала... Помню одно: мы всегда жили с мамой в шестом корпусе. В комнате 39. На первом этаже, вдвоем, а отца только ждали и ждали... Пара окон комнаты нашей, словно глаза, смотрела прямо в зеленое поле, за которым на горизонте синела дубовая роща, так называемые Останкинские Дубки.

Двухподъездные наши бараки стояли перпендикулярно к трамвайной линии. По одну ее сторону. А по другую за дощатыми заборами, штакетниками и всяческими оградками располагались разномастные срубы с резными наличниками и ставенками на окнах. Точнее сказать, это были деревянные, дореволюционные домики «частного сектора» никому не известной тогда деревни Останкино. Они утопали в садах, в зарослях густой сирени, одуряюще пахшей весной. Там по осени за заборами ветви садов гнулись от тяжести красных яблок и синих заманчивых слив. Туда по ночам делала набегу барачная ребятня. Там

лаяли собаки, а кое-где даже мычали коровы. Но в общем там жили тихо, а мы — шумно. Все живущие там считались частниками, «аристократией». Ну, а мы были опасным пролетарским соседством и, не без основания, считались шпаной. Общей у нас была лишь трамвайная остановка — «Третья Останкинская улица». Да чугунная, гремящая рукоятью колонка, к которой тянулись жилыцы обеих сторон и одинаково, в ведра набирали шумно текущую воду.

Несколько раз в день вдоль улицы, по рельсам со шпалами, присыпанными щебенкой и поросшими травкой, прогромыхивал старенький красно-желтый трамвай 39. Он приходил издалека, от Ржевского вокзала, с Первой Мещанской и шел мимо нас к последней, следующей остановке у Шереметьевского дворца. Она называлась «Круг». Там он маленечко отдыхал и поворачивал в обратный путь.

Моя мама отношения к ВСХВ не имела. Она давала уроки музыки. На дому и «на выезд». За выездные уроки ей платили вдвое больше. Но и времени они отнимали уйму. Надо было заранее привести себя в порядок. Прилично одеться и в новом драповом жакете с высокими ватными плечами, в суконных ботиках или в нагуталиненных туфельках на каблуке (это смотря по сезону), в шляпке и штопанных перчатках отправляться с сумочкой под мышкой «в город», «на люди», в приличный дом с коврами и высокими потолками. Долго ехать с нашей окраины с пересадками в битком набитых трамваях. Опасаясь карманников и портя жакет и обувь. И там, в «приличной семье», стараться выглядеть независимой дамой и истинной пианисткой. А может быть, даже (после часового урока музыки с тупым ребенком) выпить, если, конечно, предложат, чашечку кофе, непринужденно болтая с хозяйкой и пряча под стол ноги в стоптанной обуви. И, разумеется, почти не касаясь конфет и печенья. А если касаться — то лишь для того, чтобы незаметно сунуть несъеденное в карман или сумочку и привезти дочери редкое лакомство.

Мамины уроки «на выезд» были для меня праздником. В комнате воцарялась сладостная тишина. И хотя мама запирала дверь на ключ, весь окружающий мир обнимал меня и принадлежал теперь только мне. Какое это было счастье — остаться одной, почувствовать себя свободной. И в тиши свободного мира свободно двигаться, дышать, думать. Как ошеломительно радостно быть один на один с собой и с каждым предметом вокруг. С букварем и тетрадками, с семью белыми слониками на пианино, с оранжевым абажуром над круглым столом. Даже с небом, кустами и птицами за окном. В первый момент тишины я даже не знала, что делать, куда себя деть.

Старый коричневый инструмент молчал. Он тоже отдыхал от маминых рук, от ее возгласов и команд. Мы были с ним заодно, мы были единомышленники. И только глухо доносились из длинного коридора, сквозь обитую ватным одеялом дверь, голоса соседей, шум примусов и кастрюль на кухне, шум радио за стеной.

О том, что мама беременна, я узнала однажды от соседки — татарской девчонки Саидки. И конечно же — по секрету. Хотя об этом на кухне тетki уже шушукались не однажды.

— Мужик где-то на Колыме сидит, в плену был, а она, верченая, накрутится, выпялится — и в город. Вот и нагуляла.

— Ясное дело, дошла, барыня...

Я слышала это, но не думала, что это про нас. Во-первых, потому, что папа был герой войны, офицер-танкист и по сей день служил где-то в армии. Его часть, как говорила мама, «перебросили» на японский фронт, куда-то на Дальний Восток. И ему оттуда даже нельзя было нам писать. В красивой, еще бабушкиной, семейной шкатулке мама берегла старые треугольники его писем. И еще две нарядных, хоть и истертых, пасхальных открытки — с умильными немецкими поросятами в бантиках. На обороте аккуратным почерком: «Бьем врага в его логове... Любимым жenuшке и дочурке».

Ну а про беременность — это уж было вовсе вранье. Я знала, как пузато и некрасиво выглядят беременные. А мамина фигура была как всегда легкой и стройной.

— Во дура-то, — даже не обиделась я на Саидку. — Враки все это, брехня и враки... Пойдем во двор, в штандер играть.

— А мячик вынесешь?

— Вынесу.

В Останкино цвела яркая золотая осень. Величаво, торжественно стоял порыжевший Шереметьевский парк. На горящем оранжевом фоне листья — четкое кружево черных ветвей и стволов. У входа в парк драгоценно белел холоннадой дворец. Окна были грубо забиты досками, но по сторонам входной лестницы дом по-прежнему охраняли прекрасные гордые львы, замусоленные и обшарпанные. С отбитыми лапами и ушами. И не было в округе пацана, который бы хоть раз не восседал на них, не шлепал руками по грязным каменным гривам.

Вдали же, напротив имения, на убогих останкинских пустырях по осени ритуально дымилась костры. В воздухе сладко пахло гарью, кострами, печеной картошкой. Там и сям люди жгли картофельную ботву. Мы с мамой тоже копали и убирали картошку. В мешки. На своем, чудом полученном, огороде в пять соток. Раньше на этих сотках располагались пузатые серебристо-серые аэростаты. В войну они охраняли московское небо от немецкой вражеской авиации. Да тут пока и остались. Называлось все это — противовоздушная оборона. Точка ПВО. И эти последние ненужные аэростаты напоминали мне два живых организма, мерно колышавших на ветру свои тугие, беззащитные животы. Чтобы они не вздумали улететь, их прикручивали тросами к железным крюкам, попарно вбитым тут и там в землю. И глядя на этот пункт ПВО и на лоскуты огородов, невозможно было вообразить, что спустя какой-то десяток лет на этом месте взметнется в небо полукилометровый, отовсюду видный шпиль останкинской телебашни — немислимое дитя прогресса. А его «ноги», его разлапистое бетонное основание будет упираться в эти самые сотки. И возрастая это чудо будет прямо на наших глазах. Поскольку окна нашего дома смотрели как раз в это поле.

Но до этого было еще далеко. Пока на поле жили военные аэростаты. В войну они были очень нужны. По ночам, неслышно, натягивая тросы, они поднимались в темно-синее небо на огромную высоту и пузырями дрожали там на вселенском ветру. Как живые, они могли оглядывать сверху и парк с прудиком, и трамвайный круг у дворца, и все три Останкинские улицы, и, конечно же, наши бараки, поставленные аккуратно, в ряд, как спичечные коробки. Сверху было видно все: и Марьино Роцца, и село Алексеевское, и уходящий в дымку Ржевский вокзал. Уже не Виндавский, но еще и не Рижский. А еще как на ладони виднелись площадки и павильоны закрытой тогда сельхозвыставки. И вообще под надутыми животами широко простирался весь наш темный, тревожно спящий в дымах, полуголодный город.

Ну, а после войны аэростатами занимались на пункте девушки. Рота девушек в лихих пилотках, ладных сапожках, в защитной военной форме с погонами. Война миновала, и потому улыбочивые и бесстрашные девчата нового призыва были задорны, отутюжены и, конечно, преисполнены чувства собственной важности. От дома вдали за болотцем нам отчетливо были видны не только аэростаты, но и армейские брезентовые палатки, выцветшие за лето до белизны, прочие подсобные помещения. А позади пункта темнела дубовая роща, когда-то великолепно написанная с натуры художником Левитаном. Те самые останкинские дубки, могучие, кудрявые, долголетние. Те, которые уже тогда, в сороковые, помаленьку начали вырубать. И даже местечко называлось теперь «Дубовый просек». Мне всегда до боли жаль гибнущие деревья. А тут на глазах вырубалась мало-помалу великолепная роща. И спустя какой-то десяток лет эти редуемые дубки окончательно сотрет с лица земли разухабистое строительство телебашни. А ведь

сколько здоровья и красоты было в этой дубраве. Сколько птичьего гомона, шума листвы на свежем ветру, сколько грибов по осени и ландышей по весне. Как заботливо ее сажали предки два века назад. Сколько люда перебывало под ее благодатной сенью. Какие там были гулянья на шереметьевских землях!.. Все сгнуло... Все вырублено под корень, уничтожено без следа и без жалости. Не осталось ни желудя, ни пенька. Случайно выжило, пожалуй, одно название — «Дубовый просек». И потому сейчас хочется хотя бы прощальным, ласковым словом помянуть тот светлый и щедрый лесок, где мы, нищие девочки-первоклассницы, вместе с учительницей после уроков старательно собирали в мешочки желуди. Здоровые, гладкие, которые школа сдавала куда-то в лесохозяйство. Для разведения новых дубков. Хочется, как людей, с благодарностью помянуть те царственные дубы в кружеве зелени, в солнечном мареве, которые, как добрые, но беззащитные воины были нещадно и без надобности убиты.

А еще аэростаты напоминали мне новенькие цистерны с горючим, которые стояли на запасных путях, что за Марьиной Рошей. Иногда мы, собравшись всей нашей барачной ватагой — Саидка с Маршидкой, Ленюка, Витя-Хрюня, братья Калашниковы и еще кто-нибудь из соседнего пятого корпуса — отправлялись «на точку» — «позырить». И не просто поэзирить, а втайне надеясь — вдруг там чего и отколетя, в смысле — пожрать. Однажды Саидка принесла оттуда необычайный, обсыпанный чем-то сухарь, про который тетя Роза сказала — «ванильный». На мою обычную дворовую просьбу «дай куснуть» Саидка отвернулась и не ответила. Зато из ее рук сухарь перенюхали все ребята, жадно втягивая сопливыми носами дивный, ни с чем не сравнимый запах.

На пункт ПВО мы бежали сперва сосредоточенно и решительно. Через болотце, поросшее камышом и осокой, лихим галопом. По хлюпающим, набросанным по тропе доскам — только брызги стреляли из-под голых пяток и башмаков. А взойдя на пригорок, в поле с заплатами картофельных огородов, стали шагать все медленнее, медленнее. Аэростаты будто росли навстречу нам, надвигались и надвигались. Закрывая и засты и дальнюю рощу, и красное вечернее солнце, что уже заваливалось к горизонту. Мы — ватага оборванных, убого одетых ребят — петляли по тропкам и межам, по участкам, где окученными рядками зеленела не зацветшая еще картошка. Наконец, растянувшиеся гуськом, оробевшие, крохотные, в выцветших штанах и платышках, мы оказывались в тени толстопузой громадины. Ну, а к самой площадке подбирались уже пригнувшись, крадучись. Потом рассыпались у самого края и залегали цепью в межах. Притаившись лежали на теплой, комковатой и пыльной земле. От волнения казалось, что слышно, как колотятся наши сердца.

Отсюда, из укрытия, сквозь кустистую зелень, все было видно как на ладони. И было интересно следить, как там живут. А жили там, на наш взгляд, превосходно. Как в сказке. Особенно сейчас, вечером, когда под навесом в железном котле для роты готовился ужин. Девчата в военных формах точно осы, туго перетянутые по талии ремнями, спокойно ходили, переговариваясь, от палатки к палатке и под навес, где стоял обеденный стол. Почти все были без пилоток. Одни с косами, уложенными корзиночкой или вокруг головы, другие коротко стриженные, с расстегнутыми у шеи воротничками, с поблескивающими на солнце пуговицами. Мы безошибочно знали, кто у них командир и кто сегодня дежурный — дневальный. Я обожала их всех, этих девушек, за «картинность» — за выправку, форму и красоту — за все то, чего у меня не было... Ах, как хотелось тогда быть похожей на них!.. Вот они принялись по очереди умываться под греющим на столбе рукомойником, перекинув полотенце через плечо... Вот, переговариваясь, расставили на дощатом столе алюминиевые тарелки. Стали нарезать хлеб большими ломтями. От кирпичной буханки. А дежурная у печи в заляпанном фартуке поверх гимнастерки, приподняв крышку бака,

уже колдовала над ним половником. И над всем этим в вечерней тиши, где далеко-далеко слышался каждый звук, поплыл несказанный, помрачающий ум запах — запах каши с мясной тушенкой.

Мы лежали вдоль края посадки, каждый в своей меже, приподняв, как перед атакой, головы. Ряд детских голов над картофельными кустами — русые, белые, черные. И принюхивались, глотая слюну. Но особенно нестерпимым запах становился, когда дежурная, обтерев руки о фартук и отложив крышку, из-под которой клубился пар, доставала поварешкой волшебное варево. Доставала и весело шмякала в протянутые тарелки. Порцию за порцией. Порцию за порцией. Мы жадно следили за каждым движением и поварихи и девчат. И вдыхали, вдыхали в себя этот благодатный, питательный запах. Всаживали в себя, стараясь вобрать побольше. Казалось, этот запах можно было резать ножом, как хлеб. Однако вскоре у меня что-то начало сводить в животе. Наверное, надо было бы отвлечься, отвернуться. Но попытка была столь сладостна, что прекратить ее не было сил. Кругом было тихо, тепло. Только стрекотали кузнечики. Наше «войско» лежало не шелохнувшись. С одной стороны от меня притаилась Саидка, с другой сопел Ленька. Где-то поблизости шмыгал носом Витя-Хрюня. А под навесом девчата, шумно рассевшись за дощатым столом, друг против друга, уже ели, с аппетитом постукивая алюминиевыми ложками.

Меня поражало — кирпич ржаного хлеба они нарезали с маху, не задумываясь, большими бесформенными ломтями. И брали, кто сколько хотел. Того самого хлеба, которым нас так скудно отоваривали в хлебном ларьке на базаре, по карточкам, по талончикам — розовым, голубым и зеленым. То есть — рабочим, детским и иждивенческим. И дорогой, вязкий вкус которого был так знаком и любим — по крохотным довескам, которые мы, не выдержав, по чуть-чуть, отщипывали губами и все-таки съедали, не донеся до дома.

А под навесом хлеб ели небрежно, не задумываясь, и кашу с тушенкой ели переговариваясь. И повариха подсела к ним тоже с тарелкой и тоже лихо трескала, уминая за обе щеки и хлеб, и кашу. Ела еще и еще... «И как только не треснет?!» Запах съестного витал, кружился над нашими головами, ударял в нос, густой и теплый. Его действительно, точно хлеб, можно было резать ножом. У меня от голода как-то мутится в голове... А их рты все жуют и жуют... И хлеб все отламывается, ломоть за ломтем... Глухо стучат, скребут о тарелки ложки... «И куда в них столько влезает?..» А вот нам бы... Нам бы на всех, кажется, и одной миски хватило. Одной только мисочки, одной тарелки-тарелочки, даже половничка. Да хоть бы попробовать ложечку... А что?.. Слабо просто так, молча подняться, подойти к столу и попросить?! Дали же они когда-то Саидке тот самый ванильный сухарь... Ну, и хлеба взять бы маленько. Отломить бы от той вон краюшки, что лежит пока в стороне, будто вовсе им и не нужная...

Слышу, как в соседней меже за листвою пыхтит Ленька. Саидка лежит замерев, словно и нет ее. А где-то поодаль шмыгает невидимый Хрюня... Может, все-таки встать, подойти к ним под навес и сказать: «Тетенька, дай хлебца», как просят беспризорники у нас на останкинском рынке. А что?.. Может, даст?.. У них же много... Но вот за столом и эту «ненужную», последнюю краюху берут чьи-то руки и разламывают пополам... Да и как подойти?.. Нас же тут человек десять... А может, вскочив, рывком кинуться к столу и, схватив хлеб, броситься наутек, как это ловко делают все те же беспризорники? Но — нет... Здесь другое дело. Здесь это никак не пройдет. Они разузнают, кто где живет. Нажалуются. Дом ведь под носом. Да и оружие опять же у них, наверно. Вон у той кобура на поясе. И у той. А в палатке наверняка пулемет или ружья. Еще как пальнут вдогонку!..

И уже кажутся мне эти сытые, жующие за столом тушенку не девушки, а тетками — отвратительными обжорами. Они уже совсем не нравятся мне. Я их даже терпеть не могу. И, наверно, ненавижу... Все они жрут, все жрут! И куда в них столько влезает?.. Комки сухой земли под ладонями, под животами, под коленями ощущаются все острее. И хотя запах съестного

ослабевают, организм словно переключает внимание на себя. Меня начинает тошнить... Вернее, мутить до тошноты. Не могу проглотить, протолкнуть комок слюны в горле. Задыхаюсь. И что хуже всего, начинаю икать. Эта дурацкая икота походила на редкие писки птенца в траве. Да и раньше эта икота, этот беспомощный птичий клекот, всегда выдавал маме мой голод. Вот и сейчас я сдерживаюсь, давлюсь, утыкаюсь носом в землю — меня же тут «засекут», услышат! Я же всех подведу! Но тело все вздрагивает и вздрагивает, как от рыданий. Лбом и щеками чувствую сухие комки. Земля, нагретая за день солнцем, теплая и колючая. И на зубах поскрипывает песок... Вот так бы, закрыть глаза и уснуть. И наблюдая внутренним зрением красные и зеленые плавающие круги — вообще не вставать. Заснуть навсегда в теплой тени огромного аэростата. Но тут я слышу — рядом, справа и слева, по всей цепи, словно прокатывается живая волна. Как перед штормом. И с неожиданным, как взрыв, общим криком из кустов вдруг вскидывается нестройной шеренгой вся наша орава. Отдельных слов не разобрать, слышно только: «А-а-а-а!.. О-о-о-о!.. Бей их!» И град сухих комьев летит под навес. Слышно, как дробно они стучат по доскам! Как глухо ударяются, попадая в надутый, мягкий бок аэростата. Я тоже вскакиваю, забыв про икоту, и в азарте тоже ору что есть мочи, даже не понимая что. И тоже как все хватаю с земли рассыпчатый ком и тоже швыряю туда, где уже суетятся, вскакивают из-за стола эти телки, эти молодые обжоры... «А-а-а-а!.. Что?.. Не нравится?.. — в остервенении кричит рядом Ленка. — А тушенку жрать нравится?» И обстрел усиливается.

Но там, под навесом, уже опомнились, уже спешат к нам и на ходу кто-то уже расстегивает ремень. И в наступившей вдруг тишине раздается тонкий, пронзительный крик Маршидки: «Атас!.. Отвал!..»

Все дальнейшее — словно в немом кино. Вся ватага молча, пыхтя несется по огородам к дому. Вниз под уклон бежать легче. Только платя как бабочки вспархивают среди зелени. Пятки двух десятков ног дробно стучат о землю. Босыми ногами и башмаками сбиваем ботву. Слышно только рвущееся дыхание да шмыганье Хрюни. Мы с Маршидкой самые младшие, но тоже не отстаем. Хотя у меня развязался шнурок на моих облепленных грязью мальчуковых ботинках. От этого я в любой момент могу шлепнуться или хуже того — потерять башмак. Вот пролетели и кончились огороды. Вот по тропе ворвались мы в спасительную болотину. Захлопало под ногами. И только тут, скрытые зеленью (лишь макушки голов прыгают над осокой), мы, задыхаясь, переходим на шаг.

К дому подходим гуськом. Степенно и вроде бы нехотя. Останавливая дыхание. Молчим. На сердце муторно. А я и вовсе приотстаю. Наклонясь, дрожащими, непослушными пальцами завязываю шнурок. С трудом продергиваю его, замохрившийся, в дырочку. Ежедневно шнуровать башмаки — просто пытка. Все детство я мечтала о девичьих туфельках. Но черные «мальчуковые» ботинки маме казались практичной, прочнее, да и покупались на вырост... На душе почему-то скверно до слез. Скверно и стыдно. И оглядываться на пункт ПВО вовсе не хочется.

Наши окна распахивались прямо в поле, в его то по-зимнему белые, заснеженные, а то зеленеющие, разбитые на лоскутки огородов просторы. И в тех земных просторах у нас с мамой не было ни клочочка. Все поле еще до войны было поделено и раскопано. У нас были только две грядки под самыми окнами, которые весной мы вскапывали, взбивали словно перины, под семена моркови и лука. В те годы в Москве любой пятак был бесценен. Земля спасала от голода. Слово «картошка» — значило «жизнь». В прямом смысле слова. И на мешок больше ее собрать или на мешок меньше было не все равно. А потому свои участки, свои межи хозяева охраняли стоически, порой до криков, до драк лопатами. Бились за каждый метр. За каждую передвинутую вешку...

Участок ПВО эти самые огороды теснили со всех сторон и были готовы буквально его проглотить — по полоске, по кусочку, по кромочке. Весной,

когда в Москве по окраинам копали огороды, площадку ПВО старались обузить и по ночам тайком раскапывали ее обочины и даже подъездную дорогу. Девчата в военной форме ругались. А развеселые солдатики на обшарпанных полуторках, назло огородникам, ездили к девчатам где попало. Порой нарочно по посадкам — чтоб урезонить «частный сектор». Война так война. И девчата грозились вызвать начальство — оштрафовать. Грозились даже обнести все колючкой, поставить вышку и охрану с оружием. Однако огороды не отступали. Жажда жизни давно была сильнее страха.

Но вдруг однажды... Именно — вдруг и однажды пункт ПВО исчез. В одну ночь. И аэростаты, и девушки, и их палатки, и все их постройки. Мама утром открыла окно и ахнула, глазам не поверила. Там сияло лишь зеленое с голубым, лишь земное с небесным. И вдали соединилось одно с другим как «молнией» — темной зубчатой полоской дубовой роши. Торопливо одевшись, мы кинулись с ней туда. Через болотце по мокрым доскам, по тропинке в чисто поле. Скорее, скорее к участку. Я еле поспевала за мамой. На ходу повязав косынку и часто дыша, она тащила меня, схватив за руку. Я спотыкалась, чуть не падая. И чем ближе мы подходили к бывшей площадке, тем она быстрее шагала. Потом побежала, почти волоча меня. Потому что издали к участку с разных сторон тоже устремленно бежали люди. И даже с лопатами. Однако, запыхавшись до хрипоты, мы первыми, рука об руку, прибежали туда. Мама жадно оглядела укатанную как асфальт землю, все эти свободные сотки. Пункта действительно не было. Остались только дыры в земле, торчащие крючья да зловонная яма от нужника. И посередине этого, наверное, на всякий случай, торчала воткнутая фанера на колышке «Участок ПВО» и какие-то цифры и номер части. Мама мгновенно думала и вдруг, решившись, кинулась к этой табличке. Без труда вырвав ее, прижала к груди. «Господи, ну вот и у нас, дочка, будет земля. Это не то, что две наши грядки, — она говорила страстно, и полупшепотом. — Теперь и у нас зимой будет картошка». Но мы ликовали рано. Издали к нам уже бежали с разных сторон люди с лопатами, надсадно дыша. Мама вся напряглась, испуганно притянула меня к себе за худое плечико, прижала к упруго-теплому животу. Зашептала: «Не бойся, детка, не бойся... Мы же первые сюда пришли... Мы же первые... — Ее рука больно сжимает мое плечо. — Я лучше умру тут, а землю не отдадим... Мы ее мигом засадим. Не страшно, что с опозданием. Еще такой урожай соберем...»

Замерев, мы стояли посередине участка, с дощечкой и колом в руках, прижавшись друг к другу — мать и дочь. И были как одно целое. От страха казалось, что сердце мое стучит у самого горла. А мужики все приближались, и мама сильнее прижимала меня к себе. Но вот один из них, амбалистый, в сапожищах и кепке, добежал, достиг площадки. Постоял мгновение, тупо глядя на нас, потом скинул с плеча лопату и, плюнув на руки, всадил острие в сухую звенящую землю. Больше он нас не видел, мы уже были не в счет. Он только слышал топот других подбегающих и копал, копал все быстрее. И мама, в смятении оглянувшись вокруг, все вдруг поняла и, отбросив доску и опять схватив меня за руку, кинулась по тропинке домой. «Ничего, девочка, ничего... Мы еще все успеем. Успеем...»

Дома, запыхавшаяся, с невидящими глазами, она стала торопливо принаряжаться. Достала из зеркального шкафа, из заветной коробки, что лежала внизу под платьями, босоножки на каблукках. Несмотря на жару, натянула поддрагивающими пальцами тонкие фильдеперсовые чулки, шелковую комбинашку. Вскинув белые руки, надела через голову голубое «трофейное» платье со множеством пуговиц на груди. Мне это платье, хоть и стиранное-перестиранное, очень нравилось. А она почему-то совсем невесело говорила: «Натуральный шифон» — и вздыхала, может, представляла, как это платье, купленное у подруги, до войны носила богатая и гордая немка... Вот мама, подавшись лицом к зеркалу, что в дверце шкафа, быстро подкрасила морковной помадой губы и, волнуясь, напряженно сказала, глядя сквозь меня: «Ну, я поехала. В часть. К воинскому начальству. Выбивать землю. Пожелай мне удачи». И так и не видя меня, заперла дверь на

ключ. Я подбежала к окну. Смотрела сквозь занавеску, как она, вся голубая, легкая, энергично проходит по двору. В босоножках на стройных ногах. И ветер треплет кудряшки, уложенные надо лбом... Спокойно и гордо шла она к остановке трамвая, мимо женщин, полоскавших у колонки белье и с осуждением глядящих ей вслед. Я смотрела и обожала ее. Как Орлову на экране в кино. Вся такую мою, такую родную, любимую. Поскорей бы она возвращалась с удачей. Ведь ей, такой красивой и умной, отказать не сможет никто.

И я оказалась права. Уже к вечеру мы с мамой вскапывали на площадке сухую, до звона твердую землю. Могли ли представить тогда, что лет через пятнадцать именно здесь вырастет телебашня, а слово «Останкино» будет звучать на всю страну и станет даже привычным?.. А может, это по промыслу сам Творец, глядя сверху, решит поставить здесь эту иглу, отметив тем самым пункт моего появления на свет?.. А между тем мама копает, копает. Красивое лицо теперь совсем некрасиво, оно красно и потно. И ситцевый сарафан потемнел от пота на спине и под мышками. Но она радостно и упрямо всаживает и всаживает лопату поглубже. У нее в кармане, как защитная грамота или даже «ясак на княжение», лежит кем-то в какой-то воинской части подписанная бумажка — «на землю». А сила бумажки с подписью и лиловой печатью в те годы была фантастической.

Мама делала самое трудное — она копала, отваливала один за другим тяжелые пласты и комья. А я, идя следом, разбивала их ребром лопаты. Лопата была обычная, для взрослых, и мне казалась тяжелой, с толстым для моих пальцев древком. Так что мозоли натерла я очень быстро. Но помалкивала, мужалась. Скрипела пыль на зубах, во рту пересохло. Скрипел металл о сухую землю. А я спешила, спешила, стараясь не отставать. Понимала — наутро сюда могли прийти совсем чужие и, несмотря на нашу бумажку, раскопать эти последние, чудом доставшиеся нам сотки. Иногда мама останавливалась передохнуть и, опершись на лопату, ласково говорила, оглядывая меня: «Не спеши так, доча. За мной не угонишься... Помощница ты моя... Вот рядок кончим и перекусим. Там в сумке бутылка с чаем и каша... — Добавляла: — Чай сладкий... — Тыльной стороной руки вытирала пот со лба, размазывая по лицу пыль. — А все-таки ловко мы все успели... Хотя и последний кусок, а нам достался. Вот уж праздник так праздник».

Я таю от похвалы. Но говорю без улыбки, по-взрослому, шурясь на небо, на светло-голубое, как выцветший ситец: «Хоть бы дождичек, что ли, крапнул. Хоть малюсенький. А то все посохнет. — Я отдыхаю по-взрослому, как мама, положив скрещенные кисти в цыпках на черенок воткнутой в землю лопаты. Я скрываю мозоли, терплю саднящую боль. — А сажать очистками будем? Или как? — Я знаю, что так и задумано, ведра с собранными очистками стоят дома в подвале, но хочу все обсудить всерьез, поучаствовать. — Конечно, цельных картошек не напасешься... А для посадки не все ли равно? Лишь бы глазки были».

Мама вновь задерживает на мне свой ласковый, чуть отрешенный взгляд, улыбается: «Совсем взрослая стала... Солнышко мое... голубоглазое... — Вздыхнув, опять кирзовым сапогом с силой всаживает лопату. — А глазки совсем как у папы». И снова со скрежетом отваливает, режет сухие пласты земли... Нашей земли.

...А осенью мы вдвоем, взявшись за ручки одноколесной тачки, каждая за свою ручку, возили наш урожай, наши мешки с картошкой домой — по полю, по тропке через болотце. Там на мокрой тропе встречались колдобины, лужи, выложенные горбылями и обрезками досок. Преодолеть эти места было особенно трудно. Колесо тачки прыгало по доскам, которые, утопая, брызгали во все стороны коричневой жижей. В любой момент колесо готово было соскользнуть в грязь. И соскальзывало. Тогда тачка кренилась, и мешки тяжело сваливались в мокрую траву, в осоку. Очень трудно было их поднимать и затаскивать.

...Дома мы с мамой, такие счастливые, рассыпали картошку по комнате на пару дней для просушки. Раскатывали по полу перед загрузкой в погреб, чтоб она как следует высохла и потом не гнила. На все эти дни пустые мешки и тачку мама брала взаймы. Одалживала у соседки тети Ани Разумовой, аккуратной, приветливой, с которой дружила. Та работала в типографии «Гознак» на Маломосковской улице. Ее дверь, тоже обитая одеялом, была наискосок от нашей. Тетю Аню, добрую и задорную, любили все. Особенно дети. А соседки у нее постоянно одалживали то луковицу, то соль, то яйцо. И всегда без отдачи. Но однажды в сорок девятом ее, партийную, на удивление всем, вдруг посадили. Просто приехали ночью и увезли, протопав сапогами по коридору... А на двери ее надолго повисла неприкосновенная пломба — веревочка и коричневая печать. Впрочем, в доме знали, особенно мы, дети, что посадили ее «за Боженьку». Знали, что она была верующая, что тайно молилась, ходила в церковь на Алексеевской, и в комнате у нее, в углу, за голубой шторкой, была спрятана иконочка Господа. Так что арестовали ее неспроста. Наверно, кто-нибудь «настучал». Мама пыталась узнать, куда ее и каким этапом услали. Куда-то ездила с передачкой. Но вернулась убитая, бледная, словно с кладбища. И попросила меня про тетю Аню больше не спрашивать.

Так тетя Аня Разумова больше уж никогда не вернулась. А в ее комнате поселились потом Бобровы из Белоруссии...

...В дни осенней страды у нас дома стоял сырой, скверный дух. Земляной и тяжелый. Как говорится — не продохнуть. Но в общем это было совсем неважным в сравнении с радостью урожая. По сравнению с тем, что картошка у нас «у-ро-ди-ла». Да еще как уродила! Крупная, одна к одной. Хотя, в отличие от других, мы сажали ее просто «глазками», то есть — нарезанными очистками... Зато теперь на всю зиму у нас была еда. Соседки переговаривались: «У них какой-то секрет есть. Уж больно картошка-то хороша».

В Москве в эти осенние дни всюду — в домах, в трамваях, на улице — только и разговоров было, что про картошку. «Уродила — не уродила... Мелкая — крупная... Выкопали — не выкопали». Уроки школьники почти не учили, почти все помогали старшим на огородах. Не до занятий было. Но меня в школу в эти сентябрьские дни мама выпроваживала с особым упорством. «За ученого, дочка, трех неученых дают. Ты когда-нибудь это поймешь».

Помню горе моей соседки по парте Ирки Багринцевой. В большую перемену, оставшись в классе за партой, она вдруг расплакалась. Сперва тихо, потом все громче. Я пыталась ее успокоить: «Ты чего?» «У нас картошку украли, — с трудом разобрала я сквозь ее всхлипывания. — Мы с мамкой вчера с лопатами на огород приехали, а ее уже кто-то выкопал...» Мы, ребятня младшего школьного возраста, молча смотрели, как худые Иркины плечи тряслись от рыданий. Смотрели и понимали — вот горе так горе. «Сторожить надо было, — советовал кто-то по-взрослому. — Как же иначе?... Вон наш отец последние полмесяца так ночевал на огороде. И ничего, уберег». Но Ирка не слушала и безутешно рыдала.

Через два дня после просушки мы с мамой ссыпали картошку в подвал. Люк его распахивался посреди нашей комнаты. Сначала мы собирали сухие шершавые клубни в ведра. Потом эти ведра я подтаскивала к раскрытому люку, а мама, стоя внизу, принимала их, и было слышно, как под полом клубни дробно сыпались в дощатый закром... Но даже в эти, такие горячие дни уборочной страды, мама заставляла меня делать уроки и умудрялась даже сажать за пианино. «Я пока сама тут справлюсь. А ты помой руки как следует. Поешь каши и за инструмент... Надо урок повторить. Сегодня у тебя что, Майкопар, Гедике? Или этюды?..» Я вяло открывала крышку, вяло садилась, вяло ставила и листала ноты. Мама ныряла под пол с очередным ведром и оттуда назидательно говорила: «Лучший отдых, деточка, это — смена работы».

Мои пальцы после картошки были совсем непослушными, крючились,

не ощущали клавиш. И даже тщательно вымытые, были после картошки темно-коричневыми, как после йода. И на подушечках, и под ногтями. За ужином мама смеялась: «Под ногтями чернозем, сразу видно — агроном».

А пока, высунувшись из люка посреди комнаты, говорила мне: «Играй, пожалуйста, мягче. Ведь это старинная немецкая песенка, как пастораль, — и строго смотрела на меня снизу. Пыль от только что ссыпанной вниз картошки стояла над ее головой. И лицо, и косынка на волосах были серыми. Только глаза на серой маске лица блестели неестественно живо. И эта говорящая мамина голова произносила: — Ты пойми, это надо играть с особым чувством. Проникновенно. И всегда надо представить себе картинку. Вот представь, идет дождь, очень холодно, вечереет, и под дождем стоит маленький мальчик-трубочист. Стоит и плачет. И тебе его жаль, очень жаль. Попробуй, передай это».

Представить и пожалеть мальчика-трубочиста, да к тому же немца, я не могла. Немцев мы ненавидели. И хотя у нас в бараке тоже топились печи и всю зиму над крышами Третьей Останкинской дымились трубы, я никогда мальчиков-трубочистов не видела. А представился мне почему-то соседский Ленька, которого вчера отец, татарин, старьевщик, выпорол за кражу чужой простыни с чердака. Выпорол, велел вернуть простыню и потом не пускал его в дом. Ленька навзрыд ревел в нашем подъезде под скрипучей лестницей, голодный и несчастный. Вот его-то мне действительно было жалко. И я тайком вынесла ему кусок черняшки. Поскольку его сестрам — Саидке с Маршидкой — подходить к нему отец запретил.

Я через силу, неохотно играла, лишь бы маму не огорчать. А она под полом слушала мою игру, а сама, орудуя совковой лопатой, засыпала картошку по закромам. Порой из глубины приглушенно звучал ее строгий голос: «Опять фальшивишь... Тут легатто, легатто. Повтори эту часть из-за такта». И я, скрывая страдание, повторяла-таки «из-за такта». Еще и еще. И так много раз. Пока мамина голова опять не появлялась из люка. «Ну, кажется, дочка, все. Отмучились. — Она была почти счастлива, хотя тяжело дышала, положив на пол пропыленные руки, локтями перед собой. — Теперь, думаю, будем сыты, на всю зиму хватит. Еще и с бабушкой поделимся... А ты повтори все сначала. Уже получается. Только напевней, напевней играй... И с выражением...»

Она попыталась легко вылезти из подвала, приподнялась на руках, как делала это прежде. Но вдруг не смогла. Впервые не смогла. Уперлась локтями в пол еще раз — и... вновь опустилась. Вновь попыталась, и опять не вышло. Выражение лица сразу стало другим, каким-то беспомощным, жалким. И тут почему-то я вспомнила тайный Саидкин намек на мамину беременность. Вспомнила и испугалась. Бросилась помогать. Стала ее неуклюже тянуть, вытаскивать. Наконец она тяжело села на пол, опустив ноги в люк. И долго, молча сидела так в раздумье, с отрешенным взглядом. Забыв про меня.

И вот тут, не сводя с нее глаз, я поверила, что в самом деле с ней случилось что-то непоправимое. И возможно, она и вправду беременна.

...А зимой у нас родился мальчик... И назвали его — Андрей. Он полонил все... Малыш лежал в моей железной кроватке, принесенной с чердака и заново выкрашенной голубой краской. По бокам его охраняли веревочные сетки. Он лежал под одеяльцем, а когда в комнате было жарко натоплено — «дрыгал лапками» — в пеленках, простынках. Такой горячий, пузатенький, такой розово-беззащитный. Сверху умиленная мама накидывала над ним тюль — от мух.

С его появлением жизнь в доме совсем изменилась. Теперь вся комната была завешана пеленками. Плохо пахло. Мама сама шила пеленки из стареньких простыней. Мальчик был беспокойный, нервный, кричал день и ночь. Может быть, оттого, что у мамы не было молока. А молоко пропало, наверное, оттого, что он орал и мы по ночам не спали. Мама ездила без него и с ним по врачам. Ежедневно ездила на Маломосковскую в консультацию, за детским «питанием» в бутылочках, а меня запирала с ребенком.

Когда человечек наконец засыпал — я сидела над ним, вглядываясь в загадочное красное личико. Кто ты?.. Откуда?.. Два чувства боролись во мне — нежность и неприязнь. А когда он кричал — качала до одури. Совала соску в слюнявый ротик. Поила водичкой. Но надо было еще учить и уроки. И ходить с утра в школу. Учиться я стала хуже. Иногда к нам приезжала с Таганки старая бабушка, и они с мамой подолгу шушукались. Порой мама увозила мальчика в набанченном конверте куда-то в город, кому-то, видимо, показать. Куда и кому — было тайной. Возвращалась она замерзшая, вся в слезах. Разворачивала конверт, вытаскивала из-под орущего младенца грязные пеленки, шлепала их в корыто у печки и сама редела над ним, как маленькая.

А мои обязанности расширились. Теперь я следила за домом, за печкой — не дай Бог угореть. Приносила дрова из сарая, меняла пеленки. И всегда очень хотелось спать. Иногда мама, обняв меня, вдруг гладила теплой ладонью по голове, заглядывала в глаза, будто желая сказать что-то важное. Но тут же с грустью напоминала: «Я, доча, в город поехала. А ты учи уроки. У вас нынче что по родной речи? Басни Крылова?.. Родная речь, доча, это самое главное».

Теперь по утрам чуть свет к нам приходила укутанная серым платком, как куль, молочница тетя Дуся. Присев на корточки, наливала из жестяного бидона в нашу кастрюлю литр бесценного молока мерной алюминиевой кружкой. Предварительно она очень ловко переливала молоко из кружки в бидон и обратно, чтобы перемешать сливки. Просила: «Вы очистки-то не выбрасывайте. Собирайте в ведро. Я корове забирать буду». И забирала.

Молоко было дорогое. Ученицы к нам на дом больше не приходили. Уроков музыки «на выезд» у мамы тоже почти не осталось. Многие «порядочные» семьи маме в уроках теперь отказали. И в доме шушукались: «Подделом... Нагуляла, недорезанная буржуйка». Да и на меня в школе стали смотреть теперь по-другому. А наш малыш рос и рос, прибавлял в весе. Зато мама совсем что-то сникла. Не делала больше прическу у зеркала. Вслепую стягивала волосы узлом на затылке. Забыла и про помаду и про шляпку с перчатками. И стала теперь похожа на всех барачных соседок. А зимой пришлось продавать вещи на Останкинском рынке. Дорогие вещи нас как-то еще спасали. Первым мама продала свое шелковое голубое платье. Потом светлые босоножки. Очень выгодно. А в феврале — довоенный папин костюм, который все годы так старательно берегла. Все перекладывала прокросиненными листами газет — от моли.

В школе на перемене я однажды заснула. Прямо сидя за партой, уткнувшись лицом в нарукавники. Эти черные нарукавники из сатина мама шила, чтоб на моей шерстяной коричневой форме, какие носили тогда все девочки в СССР, не протирались локти. В общем, я крепко уснула, уж очень хотелось спать. А проснулась оттого, что ударили по спине. «Эй!.. Иди давай живо на улицу!.. Там к тебе кто-то приехал... Иди!.. Директриса велела!..»

Простучав башмаками по ступеням, без пальто, я выбежала во двор. Во дворе все было заснеженно и сине. И запорошенные кусты, и забор, и деревья. Я осмотрелась. Меня никто не ждал. Лишь в стороне на скамейке одиноко сидел кто-то черный, ссутулясь и уставившись себе под ноги. Черный силуэт на белом снегу. Было морозно и тихо. Школьный гвалт остался внутри. А здесь только галки редко каркали где-то над крышей. Я постояла. Хотела уйти. С досадой мелькнуло — опять подшутили. Но тут заметила, что сидящий в стороне выпрямился. Он был в серой ушанке и телогрейке, а на ногах калоши не по сезону. И какой-то кулечек в руках на коленях. Вот он неспешно повернулся ко мне. Лицом. Повернулся и внимательно посмотрел из-под низко надвинутой шапки. Наши взгляды случайно встретились. И я сквозь белый пар от дыхания, клубящийся у моих губ, увидела его глаза... Светлые, голубые глаза... Увидела и — замерла... Это были глаза отца...
Моего отца.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ

ДВОЕ

РАССКАЗ



ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ СОЛОВЬЕВ РОДИЛСЯ В 1940 ГОДУ В ГОРОДЕ ЕГОРЬЕВСКЕ. ОКОНЧИЛ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ, А ЗАТЕМ МВТУ ИМ. БАУМАНА. В 1968 ГОДУ ПЕРЕЕХАЛ В КОЛОМНУ, ГДЕ НАЧАЛ ЗАНИМАТЬСЯ ЛИТЕРАТУРНЫМ ТВОРЧЕСТВОМ. УЧИЛСЯ НА ЗАОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ ЛИТЕРАТУРНОГО ИНСТИТУТА ИМ. М. ГОРЬКОГО. В ЭТОМ ГОДУ В МОСКВЕ ВЫШЛА ЕГО ПЕРВАЯ КНИГА ПРОЗЫ.

ПОСТОЯННЫЙ АВТОР КОЛОМЕНСКОГО АЛЬМАНАХА.

«Не дотянет», — скучно думал Вячеслав Буслаев о моторе. Вахтовый развалюха-вертолет явно свое отработал — мотор чихал, кашлял, давал перебои. До Ново-Спасского все же дотарахтели. Но когда сели, командир объявил: все, хана! Он присоединяется к акции протеста авиадиспетчеров и никого больше на этой развалюхе не повезет. Пусть дают исправную машину. Буслаев долго уговаривал его сначала отвезти свежую вахту бурильщиков, а уж потом начать акцию протеста, но командир был неумолим. «Скажи спасибо, что сейчас целы сели», — твердил он.

Прилетевшие на отдых вахтовики сошлись на краю аэродромного поля со сменщиками, ожидавшими посадки.

— Придется добираться на лесхозовской автомашине, — сказал им Буслаев.

— А хо-хо не хо-хо? — смачно возразил на это бригадир. — Пусть зарплату выдадут сначала.

Буслаев пошел к начальнику аэродрома.

— К нам из Москвы новый начальник экспедиции вылетел. Не прибыл? — спросил он.

— Мужчина?

— Ну не мальчик же! Введенский его фамилия. Дмитрий Николаевич.

— Из мужчин одни местные с последним рейсом были. Не местная только женщина. По виду не то кинозвезда, не то жена миллиардера. Ждала ваш вертолет, она...

— Меня жена миллиардера не интересуется, — раздраженно перебил Буслаев. — Меня интересуется наш новый начальник экспедиции. Где он?

— А я почему знаю? Может, другим рейсом прилетит...

Из диспетчерской Буслаев дозвонился до экспедиции и доложил обстановку. «Немедленно возвращайся, на чем сможешь, у нас ЧП на буровой, — отвечал начальник. — Рабочим скажи, на зарплату выделим из своих средств».

Помянув неизвестно кого нехорошим словом, Буслаев вышел из аэродромного домика. И тут его издавшим виды глазам предстала блистательная «амазонка». Ему даже показалось, будто она в средневековых латах, —

такое впечатление производили стального цвета джинсы, заправленные в белые сапоги до колен, и серебристый жакет с такой же водолазкой. На благородно удлиненной голове у «амазонки» была ковбойская шляпа из соломенной плетенки, из-под шляпы высывались живописные завитки золотистых волос. Она была безупречно стройна, легка, грациозна, сексапильна. В ушах миниатюрные золотые серьги, в лице женственная нега. Если бы не властный взгляд стального цвета глаз, говоривший о тридцатилетнем возрасте, она смотрелась бы всего на двадцать.

— А где же ваша лошадь? — не удержался Вячеслав.

Незнакомка глянула недоуменно.

— Ну, боевой конь, — пояснил он. — Не снизойдете же вы до ходьбы пешком в таком рыцарском облачении.

Незнакомка победительно улыбнулась:

— Коня сейчас подведет мой оруженосец.

И точно, не успела она это вымолвить, как перед ней как вкопанный встал бронированный джип и открылась дверца. Она нагнулась за набитым доверху рюкзаком. Водитель принял его и уложил на заднее сиденье. «Амазонка» села на переднее. Джип укатил.

— Что это за птицы? — спросил Буслаев у аэродромного механика.

— Бабу в первый раз вижу, а шофер этот золотодобытчика Никифорова возит, — ответил тот.

Вячеслав картинно плюнул и пошел к галдящим вахтовикам.

— На буровой какое-то ЧП, — сказал он. — Начальство обещает наскрести на зарплату. Двинули? До парома пешком дойдем, а там на лесхозовской машине.

С недовольным бурчанием артель отправилась к переправе. Через два часа подошли к реке. Еще издали Буслаев увидел «амазонку» — она сидела возле избы паромщика на бревне. Паромщик стоял рядом с ней.

— Закрыли переезд, ребята, — объявил он с виноватым видом. — Прогорел хозяин. Подогнал вчера катер и тю-тю — паром продал. Поначалу, думал, озолотится. А перевозить некого стало. Лесхозовские без работы разбежались. Хотите, на лодке перевезу? — вдруг оживился он. — Дамочку вот, — он кивнул на «амазонку», — возьмете. А то она дорогу на лесхоз не знает.

Не стесняясь «дамочки», артельщики принялись интенсивно выражать свои чувства сугубо нелитературными словами.

Лодка у паромщика была маленькая, за рейс перевозила лишь троих. Остальные, дожидаясь очереди, пили заготовленную на вахту самогонку, матерились и закусывали.

— А где же ваш конь? — с язвительной гримасой обратился Буслаев к незнакомке.

— К сожалению, он не амфибия, — ответила та, нимало не смутясь. — А вы, случаем, не в Нуру?

— В Нуру. Только не случаем, а по делу.

— Значит, будем попутчиками. Мне тоже в Нуру.

— Попутчиков у меня и без вас хватает, — он кивнул на артель.

Не то чтобы Буслаев был отпетым женоненавистником. Был один раз в браке и, к счастью, вышел из него без детей. Но с тех пор приобрел некоторую аллергию в отношении «слабого пола».

Незнакомка ничего не сказала. Ее рюкзак дотащил до лодки один из вахтовиков. Но когда на другом берегу все двинулись по дороге на лесхоз, помощников ей не нашлось: артельщики обременены собственной ношей. Без багажа был один Буслаев. Он пропустил вперед бригаду и оглянулся. Незнакомка, поместив рюкзак на причальную тумбу, грациозно изгибалась, просовывая руки в плечевые лямки. Он вернулся и грубо вырвал у нее поклажу.

— Не надо, — возразила она, холодно сверкнув глазами. — Я не слабенюкая, справлюсь.

Ему это понравилось. Он смягчился:

— До лесхоза семь километров, утомитесь.

И небрежно забросил рюкзак обеими лямками на одно плечо.

Но вскоре был принужден перецепить лямки на оба плеча — вес был тяжеленный.

— У вас там золото, что ли? — пробурчал он неодобрительно.

— Ага, — ответила она.

— Никифоров, что ль, подарил?

— Кто это — Никифоров?

— Вам лучше знать, раз вы на его машине разъезжаете.

Загадочная усмешка тронула ее красивые, утонченно-женственные, но волевого склада губы. Не дождавшись разъяснений, он опять ожесточился и зашагал крупно, зло. Боковым зрением видел, что спутница не отстает и движется без всякого усилия, легко, изящно. Прямо танцует, а не идет. Его это раздражало.

Лесхоз встретил пришельцев настораживающей тишиной. Окна в большинстве изб заколочены, ни движения, ни звука, только мухи да слепни гудят. В одном из дворов замычал теленок. Буслаев направился туда. Пожилая женщина развешивала во дворе белье.

— У вас что, каникулы? — рявкнул он ей. — Где начальство?

— Матвей! — крикнула женщина с ленцой.

Из избы вышел бородатый мужчина.

— Вертолет сломался, — сказал Буслаев, — а нам на буровую срочно надо. На вас надежда. Отвезете?

— Если только на велосипеде, — невозмутимо ответил бородач. — Автомобили вон в сарае ржавеют.

— Да как же вы без техники работаете? — ошеломленно произнес Буслаев.

— А мы и не работаем. Как лесной департамент разогнали, так и не работаем. Зачем, когда не нужны! Все разбежались, один я остался. Денег не шлют, на подножном корму живем.

— Что же делать? — в растерянности произнес Буслаев. — Нам позарез надо.

— Топайте пешком, коль позарез.

— Сколько до Нуры отсюда?

— Сорок километров. Да не в том печаль. Дожди шли всю неделю. На шестом километре теперь, должно, болото.

— Болото нам не указ, — сказал Буслаев и пошел к артели.

Вахтовики выслушали его довольно хладнокровно. Но когда он предложил идти до Нуры пешком, взорвались матерным вулканом.

— Хватит, объявляем акцию протеста, — заявил в завершение изощренного мата бригадир.

Артельщики единодушно поддержали. Для подкрепления сил выпили, закусили и отправились в обратный путь.

— А вы что же? — спросил Буслаев «амазонку».

— Мне, к сожалению, придется идти с вами.

— Настоятельно не рекомендую.

— Вы что, не джентльмен?

— Скорее джентльмен, чем петух, но не в этом дело. Тайга есть тайга, в ней бывают неожиданности.

— Неожиданности я люблю.

— А как насчет комаров?

— У меня от них есть средство.

— Сорок километров тоже, между прочим, не пустяк. Устанете, я вас ждать не буду.

— А если устанете первым вы, я вас не брошу. Только не подумайте, что это из большой симпатии. Я бы предпочла идти с более вежливым попутчиком. Но раз уж так сложилось...

— Питье у вас с собой какое-нибудь есть?

— Есть. Пол-литра спирта.

— Неплохо...

Жена лесника вынесла из дома две полуторалитровые емкости ягодного настоя и два «бутерброда» — каждый из полбуханки хлеба и полукилограмма отварной свинины. «Амазонка» с трудом втиснула гостинцы в рюкзак. Буслаев глянул на часы, на небо.

— К восьми вечера должны дойти. Ну, тронулись?

Не глядя на спутницу, он взвалил на спину ее рюкзак и широким шагом двинулся по грунтовой дороге к лесной опушке. Женщина пошла на шаг сзади. Назойливый эскорт слепней, ос, мух и прочей неумоимо жужжащей шушеры сопровождал их неотступно. Едва достигли опушки, облепили тучи комаров. Буслаев достал из кармана тюбик. Выдавив немного вязкой мази, растер себе лицо, шею, руки. Протянул тюбик спутнице:

— Намажьтесь, а то съедят.

— Спасибо, но в рюкзаке у меня есть более действенное средство. Если вы будете так добры...

Он молча скинул с плеч рюкзак. Она достала из него и надела на голову поверх ковбойской шляпы сетку. Ячейки в сетке были крупные — мышь пролезет, не говоря о комарах. А лицо и вовсе оставалось открытым.

— И вы надеетесь, она вас защитит? — заметил он с усмешкой.

— Да, проверено. Она пропитана специальным репеллентным студнем.

— И на сколько часов ее хватает?

— На два-три года. Жаль, не знала, что так выйдет, а то бы и для вас взяла.

— Спасибо, перебуюсь. А на руки где же сетка?

— Я их смазала еще в Ново-Спасском.

Дорога делалась все уже, превращаясь в пешеходную тропу. Следов от автомобильных колес в помине не было, — давно, видать, не ездили. Кроны высоченных елей почти смыкались над тропой. Потом пошел ельник помельче попережку с осинами, лиственницами, березами и сплошной стеной подлеска. Дорога на глазах сырела, было душно, досаждал непрекращающийся комариный вой. О женщине, шагавшей сзади, Буслаев позабыл, и сразу стало видно, какое у него приветливое, симпатичное лицо. В недолгом браке он научился ценить минуты молчания и одиночества, он ценил их теперь более всего. Если, конечно, не брать в счет научную работу. Наука ему давала лучшее из всего, чем награждало бытие. Он презирал и ненавидел фанатизм, но фанатично предан был науке. Он и теперь, в окружении гудящих туч кровососов, уносился мыслями к своим исследованиям. Пришел в себя только когда одной ногой провалился в яму и в ботинок полилась вода. Он глянул вперед: вместо тропы блестело болото.

— Так, приехали, — произнес он вслух без особенного беспокойства, с ироничным благодушием человека, уверенного в своей способности преодолеть возникшее препятствие.

Он посмотрел на спутницу. В ее ответном взгляде тоже была спокойная уверенность.

— Ноги не боитесь промочить? — обратился он к ней.

— Я турист со стажем.

— Никогда бы не подумал, — усмехнулся он. — Что ж, займемся туризмом.

Они решительно ступили в воду. Ботинки хлопали от заполнившей их грязной жижи. Ей в высоких сапогах было легче. Но болото делалось все глубже. Провалившись в яму чуть не до пояса, Буслаев чертыхнулся и, достав из голенищного кармана джинсов охотничий нож, срубил две осиновые жердинки.

— Возьмите, а то, чем черт не шутит, еще и засосет.

Они пошли дальше. Ноги у обоих с чавканьем увязали и с трудом вытаскивались. За полчаса прошли не более сотни метров. Буслаев остановился и в сердцах воскликнул:

— Пропади они пропадом ваши бизнесменские реформы!

Через паузу, скучно глянув на нее, сказал:

— Придется сворачивать и обходить эту мерзопакость. Иначе до завтра будем топтаться.

Они свернули в чащу и двинулись по краю топкой жижи. Берег болота все дальше уводил от тропы в глубь чащобы, пробираться по которой оказалось немногим легче, чем по открытой хляби. Надоедливые завалы с частоколом сучьев преграждали путь на каждом шагу. Не слаще было продираться через дремучий подлесок. Вскоре заболоченные участки появились и в противоположной от тропы стороне.

— А, собственно, куда мы идем? — подала наконец голос «амазонка». — Я уже не ориентируюсь, с какой стороны дорога.

— Собственно, я тоже, — огрызнулся он.

— Значит, мы заблудились?

— Значит, да,

— Не злитесь. В такой ситуации важно сохранить спокойствие. Компаса у вас нет?

— Если бы и был, что в нем толку, когда кругом топь!

— Вы полагаете, нам из нее уже не выбраться?

Он скучно глянул на нее и промолчал. Потом посмотрел вверх, пытаясь сквозь толщу крон определить, в какой стороне солнце.

— Дорога должна быть там, — с изрядной долей неуверенности указал он рукой в сторону. — Во всяком случае, надо держаться в одном направлении.

— Но вы же сами сказали, помешает топь.

— А мы засечем ориентир — вон тот островок со скрюченной осинкой. Попроберемся к нему — другой назначим ориентир.

К осинке на сухом островке они пробралась. Назначили новый ориентир. И к нему пробрались. Но тут увидели, что топь окружает их уже со всех сторон. Топь была, конечно, неопасная, раз кругом деревья. Но идти по ней напрямик означало бесперспективную трату сил. За час они преодолели всего метров триста.

— У меня предчувствие, что до Нуры мы сегодня не дойдем, — сказал Буслаев.

— Но ведь должно же болото кончиться, — возразила спутница.

— Должно, конечно. Дней через десять кончится, если дождей не будет.

— Чувство юмора вы еще не утратили, значит, все будет хорошо.

— Ну, если вы так считаете, то не будем думать, что завтра есть, что пить и во что одеваться. Тем более что попить и поесть у нас пока есть. Давайте устроим привал с трапезой.

На сухом бугорке он расстелил свою брезентовую куртку. Едва сели, немолчный вой комариных орд сделался вчетверо свирепее. Но кусали кровососы почему-то только Буслаева.

— Сетка у вас волшебная, что ли? — завистливо изумился он. — Золото-промышленник небось подарил?

— Ага, он, — ответила она с усмешкой.

- Вы его жена, если не секрет?
- Секрет.
- Да какой там, к шутам, секрет! И без радиотелескопа видно, что вы жена миллиардера. Интересно только, чего вас в такую глушь поперло?
- Новый золотonosный участок хочу под Нурой застолбить. Нью-Эльдорадо его назову или Нью-Клондайк.
- Чем бы дитя ни тешилось... — саркастически протянул он.
- А вы? Разве вам не приходится чем-то себя в этом мире тешить?
- Я геофизик! — грозно произнес Буслаев. — Я ни в денежки, ни в другие фантики не играю. Я дело делаю. Дело — понимаете? А не бизнес. Во имя дознания истины, а не тугой мошны.
- У всякого свое дело. Кто-то должен и выгребные ямы чистить. Чтобы другой мог без помех заниматься истиной.
- Ваша ирония беспочвенна. Это у фашистов было такое самооправдание: «Всякому — свое». Им, избранным, видите ли, Бог положил наслаждаться благами, а всякой прочей черни — работа в концлагере или газовая камера. Ваши бизнесмены не лучше: им — блага, черни — выгребные ямы. А по сути, и те, и другие — балласт. Достойны жизни только устремленные к познанию. На свете пропасть тайн: время, пространство, сама жизнь...
- Но у жизни много граней. Чтобы вы могли ее познать, нужны, по крайней мере, производители материальных благ. Со всеми их мелочными, с вашей точки зрения, «утешениями». Как геофизику, вам должно быть известно, что для существования разумной жизни нужна вся биосфера с ее бесчисленными видами растительной и животной жизни, нужен симбиоз. Почему же вы хотите исключить из общества «балласт»? В обществе та же конвергенция, что в биосфере.
- Если бы все люди, все без исключения, устремляли себя к высшему, а не к телевизионным скотским интересам, общество давно было бы другим. Производством материальных благ, не говоря уже про выгребные ямы, занимались бы механические роботы... Впрочем, чего я с вами разговорился! Вы — женщина, вдобавок жена бизнесмена, глубинных вещей не поймете никогда.
- По-моему, нет женщин и мужчин, есть люди и нелюди.
- Буслаев с внезапной резвостью оттолкнулся от ствола ели, к которой прислонялся, в глазах у него сверкнуло воодушевление.
- Вот это вы в точку попали! — с живостью воскликнул он. — Я тоже женщин за женщин не считаю.
- Как это?
- Ну, в том смысле, что женщина это не какой-то там особый мир. То же мясо, кости, внутренности... Только мозги, в отличие от мужских, куриные.
- Перестаньте, вы же не мужлан!
- Разделение на мужчин и женщин условно. Прихоть эволюции. Загадочный ее зигзаг, внесший в жизнь дополнительные, и весьма обременительные, обязанности. По-моему, в однополем мире было бы куда спокойней.
- Но и куда скучней.
- Вы так считаете, потому что женщина. Оригинальный взгляд на вещи женщине не по плечу.
- С вами все ясно. Вы — законченный мужчина.
- Ладно, отдохнули, пора мучиться, — прервал он разговор.
- Они поднялись и, наметив новый ориентир, пошли. Изнурительная борьба с чащобой и топью окончательно испортила настроение Буслаеву. Попытки спутницы вызвать его на разговор терпели крах.
- К вечеру они выбрались-таки из болотного окружения. Буслаев глянул на часы. Было полдевятого. В это время он планировал быть уже в Нуре.

— Будем устраиваться на ночлег, — невесело сказал он и принялся рубить охотничьим ножом еловый лапник. В предвкушении близкого отдыха на него навалилась неодолимая усталость. Он малодушно решил ограничиться односторонним навесом из лапника, но, глянув на спутницу, рухнувшую без сил на землю, превозмог усталость, соорудил по всем правилам шалаш с шикарным двуспальным ложем из еловых веток и мха. Любовно оглядел свое творение. Думал, спутница восхитится тоже, но она сказала:

— А нельзя ли сделать в вашем дворце отдельную спальню для меня?

— А кухню в придачу вам не надо? — возмутился он. — Или со всеми удобствами туалет?

— Не иронизируйте, — смиренно произнесла она. — Вам должно льстить, что я вас стесняюсь. Вы в моих глазах мужчина все-таки. Немужчины я бы не стеснялась.

— Вы имеете в виду мужчину-самца? Плевал я на такую лесть, я не Казанова. Женщинами-самками и мужчинами-самцами пусть газеты с телевидением обжираются, с меня человеческих проблем довольно.

— В таком случае я, видимо, обойдусь без отдельной спальни.

— Нет, почему же, можете построить собственными силами себе шалаш.

— Не смогу. Я очень устала.

В первый раз она напомнила о своей принадлежности к прекрасной половине человечества. Напомнила без жеманства, без кокетства. Это тронуло его.

— Ладно, не сердчайте, — буркнул он и принялся сооружать в шалаше перегородку.

— Вы все-таки джентльмен, — сказала она с улыбкой.

Он не ответил. Покончив с шалашом, спросил, не курит ли она. Ответ был отрицательный.

— Жаль, — он с потерянным видом стал высматривать что-то на земле.

— Что вы там потеряли? — поинтересовалась она.

— Камень ищу. Может, удастся высечь искру, костер запалить.

— Не удастся.

— Тогда буду добывать огонь первобытным способом — трением о плаху.

— Возьмите лучше спички, — протянула она коробок.

— Чего же вы сказали, что не курите!

— У вас женская логика, мой джентльмен. То, что я не курю, еще не означает, что у меня нет спичек. И спирт вот возьмите на растопку.

— Спи-ирт! На расто-опку! — с уничтожающим сарказмом воскликнул он, мстя за обвинение в «женской логике». — Истратите его весь на растопку, а потом от лишений еще помрете, чем я тогда вас помяну?

Поскольку готовить ужин на костре было не из чего, он соорудил из двух березовых бревен «нодью», наиболее подходящую для ночного обогрева и умеренного дымка от комаров. Когда ярко пылающий костер надежно запалил березовые стволы, Буслаев предложил поужинать остатками бутербродов. Она вынула из рюкзака два пакета, один подала ему. Он жадно куснул, но вдруг, перестав жевать, сверкнул глазами.

— Вы бросьте эти штучки! — грозно крикнул он с куском во рту. — Это вы мне свой остаток дали, у меня оставалось вдвое меньше!

Она пожала плечами:

— Я такой тонкости не заметила: где мой, где ваш.

Он настоял на обмене и съел свой остаток до конца. У нее опять остался приличный кусок ветчины с еще более приличным куском хлеба; положив это в пакет, она убрала его в рюкзак.

Пламя костра, передав энергию сгоревших ветвей березовым стволам, замирало. Ночная тьма плотно обступила путников со всех сторон. Даже

звезд на небе сквозь толщу крон не было видно. Он сидел по одну сторону оранжево светившихся стволов, она — по другую. Они молчали. Нудно гудящую комарами тишину время от времени простреливали загадочные звуки — не то ночная птица, не то зверь.

— О чем вы думаете? — тихо спросила она.

— О Земле. Как, на ваш взгляд, разумное она существо или неразумное?

— Я до таких вещей еще не доросла. Я ведь не геофизик, я женщина, вдобавок жена дельца.

— Спасибо, что напомнили. Я и забыл, что разговаривать на отвлеченные темы с женщиной — только нервы себе портить. Давайте лучше спать.

Они легли каждый в своей половине.

Наутро он проснулся рано — не было еще пяти.

— Мадам! — крикнул он через перегородку. — Или как там у вас, бизнесменов, принято, госпожа, мадемуазель, сударыня? В общем, вставайте, все равно комары мне больше спать не дадут.

Нареченная «мадам», поднявшись, надолго удалилась. Вернулась сердитая. Он же Жизнерадостно воскликнул:

— Что так долго? Технические неполадки с животом?

— Воду искала, — ответила она, покраснев.

— Буржуйские замашки! Придем вот в Нуру — помоемся. Или золотосный участок сначала побежите столбить?

— Сначала надо прийти в Нуру.

— Резонно.

Они двинулись в путь, следуя вчерашней тактике: намечали ориентир в направлении, где, по мнению Буслаева, была дорога, и пробирались к нему через переплетенные кустарником завалы, заросли подлеска. Близко к полудню Буслаев, физически и психически измочаленный кошмарной назойливостью препятствий, перелезая через очередное поваленное дерево, сорвался и повис вниз головой, зацепившись дырой в штанине за здоровенный сук. Тяжелый рюкзак не позволял ему выйти из этого униженного положения. В сердцах он выкрикнул четырехэтажное ругательство, позаимствованное из лексикона вахтовиков. Но тут же вспомнив о спутнице, попросил прощения. Она рассмеялась и поспешила ему на помощь. Присела, положила его руки себе на плечи и подняла. Они сделали привал. Буслаев долго не поддавался на уговоры съесть остаток бутерброда. В конце концов все-таки «помог». Они отдышали два часа, потом опять полезли через завалы.

— Странно, — бормотал обескураженный Буслаев, — не могли мы так далеко уйти от дороги. Чертовщина какая-то.

В том, что чертовщина и вправду имеет место, он убедился на исходе дня. В глаза ему бросилась приметная березка с раздвоенным стволом. В точности такая же была замечена им вчерашним вечером на подходе к месту их ночлега. Он скинул рюкзак на землю и велел устраиваться на ночевку.

— А я ненадолго отлучусь.

Вскоре он набрел на сооруженный им вчера шалаш. Жуткое подозрение подтвердилось: нечистый весь день водил их по кругу вопреки ориентирам. «Зато не надо снова устраивать ночлег», — с апатией подумал он. Но спустя минуту сообразил, что шалаш все равно придется делать заново, потому что нельзя ставить спутницу в известность о том, что они заблудились.

Он приплелся к ней и в новом жилище опять сделал для нее перегородку. Костер она развела сама.

Утром он спросил через стенку:

— Вы живы?

— Кажется, да, — ответили ему.

— Давайте устроим сегодня выходной? Поваляемся, поищем воду, личико ополоснем...

— Давайте. По-моему, нам вообще надо оставить эти бесплодные поиски дороги, надо найти открытое место и все время жечь костер, чтобы с вертолета нас увидели.

— С какого вертолета?

— Ну, должны же нас начать искать.

— Вряд ли. Какое сейчас кому в России дело до жены провинциального дельца и тем более до геофизика! Надо идти, двигаться, я не способен пассивно ждать. Отдохнем денек и пойдем. У вас веревки нет в рюкзаке?

— Есть.

— Это хорошо. Я заячьи следы заметил. Силки поставлю, может, какой шальной попадет.

— В рюкзаке есть еще немного колбасы, два пирожка и банка лечо.

— А чего у вас рюкзак такой тяжелый?

— Сейсмоприборы там.

— Золото с их помощью будете искать?

— Ага.

— Подарите их лучше для науки — у нас в экспедиции их как раз дефицит.

— Может, и подарю, если доберемся до Нуры.

Они позавтракали колбасой и пирожками. Потом он занялся силками, она — возобновлением тлевшего с вечера костра. Он прилег и уснул. Она, посидев, поднялась и пошла в том направлении, в каком уходил он вечером. Она тоже запомнила березку с раздвоенным стволом и тоже промолчала, увидев ее во второй раз. В небольшом удалении от стоянки она нашла их вчерашний шалаш.

Возвращаясь, она услышала красивый, бархатисто мягкий баритон — Буслаев негромко пел. Стараясь не шуметь, она подкралась ближе. Он стоял, облокотясь рукой о ствол лиственницы. Она залюбовалась им. В его расслабленной, непринужденной позе мягко проявились обаятельная мужественность, благородство. Он что-то пел о дороге, с проникновенной душевной глубиной, весь уйдя в себя. Слова и мелодия показались ей волнующе знакомыми, а его невеселое лицо — родным. Она не заметила, как по щекам у нее скатились две слезинки. Когда он кончил петь, она тихо подошла и посмотрела на него особенным, долгим взглядом.

— Что вы на меня так смотрите? — испуганно удивился он.

— Не знаю, — произнесла она в задумчивости.

Буслаев смутился и ушел проверить силки. Вернувшись, сообщил, что ловушки пусты. И вдруг заметил в ее глазах отчаяние, даже ужас.

— Что случилось?

— Клещ, — сказала она дрожащим голосом.

— Так удаляйте! Где он у вас?

Она густо покраснела.

— Что так покраснели? Можно подумать, в вашем теле есть места, за которые вам стыдно перед человечеством.

Она молчала и смотрела на него с мольбой.

— Противоэнцефалитный гамма-глобулин давно вводили?

Она испуганно покачала головой:

— Не вводила никогда.

— Тогда скорее, здешние клещи через одного энцефалитные!

Глядя на него расширенными от ужаса глазами, она прикоснулась рукой к своей попе.

Он злорадно рассмеялся. Потом сказал:

— Доставьте-ка ваш спирт скорее. Иголку бы еще, нет у вас?

Она молча достала из рюкзака спирт и швейную иглу.

— Теперь расстегивайте джинсы и ложитесь на живот.

Она затравленно помотала головой:

— Нет!

Его тронул искренний трагизм, с которым она произнесла это «нет!»

— Ложитесь, говорю, — приказал он с проникновенной мягкостью. — Разве вам неизвестно, в каких муках умирают зараженные энцефалитом?

Щедро полив спиртом присосавшегося к атласной коже клеща, он подождал немного. Не привычный к градусам клещ отвалился сам. Буслаев сжег его. Потом, прокалив в пламени спички иглу, удалил с ее помощью оставшийся в ранке хоботок. Он тщательно избегал прикосновения пальцев к обжигающе нежной коже. Руки у него дрожали. Закончив операцию, он секунду-две смотрел на интимный участок ее тела воровски-стыдливими глазами. Она поднялась, в смущении пряча от него глаза.

Спустя некоторое время произнес:

— Знаете что... А вы красивая... Вас как зовут?

Она нервически рассмеялась:

— Чтобы оценить мое лицо, вам непременно надо было увидеть мою... попу, да?

— Похоже, так, — с серьезностью ответил он. — Ваше обнаженное тело... Да не краснейте. Лучше скажите, как вас зовут?

— Ольга, — сказала она и поспешно добавила: — Константиновна.

— Очень приятно, Ольга Константиновна. А меня Вячеслав Анатольевич.

В расставленные им силки ни зайцы, ни другие звери не залезали. Раз пять обходил он их — ничего. Спать легли на пустой желудок.

Поднялись наутро в семь. Он еще раз обошел силки, они были пусты. Когда он вернулся, его спутница держала перед собой маленькое зеркальце.

— Ну, если женщина начинает прихорашиваться, берегись! — заметил он и не без ехидства добавил: — А поесть вы не хотите, Ольга Константиновна?

— А вы?

— Да червей пока есть не хочется, значит, не совсем проголодался.

Они загасили костер и пошли. Избегая приближения к их первому шалашу и делая поправку на вчерашний круг, он забирал от него овне. Но дорогу они не нашли. Так устали к вечеру, что вместо шалаша он еле смог поставить односторонний навес, а она не потребовала «отдельной спаленки».

Наутро еле поднялись, усталость усугублялась слабостью от голода. Но все же пошли. Шли почти бессознательно, с тупой сосредоточенностью роботов. Падали, полежав немного, поднимались. Они забыли уже, который день бредут.

— Давайте бросим рюкзак, — сказал он, подымаясь после очередного падения.

Она ничего не ответила, лишь посмотрела умоляюще. Он оставил рюкзак на спине. Первой не выдержала она. Упала и не стала подниматься.

— Не могу больше, — сказала она. — Идите без меня.

— Глупости, — ответил он. — Сделаем день отдыха, может, найдем какую-нибудь пищу.

Он и вправду нашел кое-что. Это были выползшие после дождя улитки. Он начал разводить костер, чтобы их зажарить, и в этот момент они услышали звук вертолетного мотора. Буслаев с лихорадочной поспешностью стал собирать и сыпать на едва разгоревшийся огонь мокрые от дождя листья, мох, гнилые сучья. Дым пошел слишком жиденький, а пламя

быстро загасилось. Вертолет пролетел рядом, почти над ними, но хилого дымка, конечно, не заметил.

— Ольга Константиновна, превозмогите себя, пойдемте, — сказал Буслаев. — Дорогу не будем больше искать, найдем открытое место и разведем такой кострище, что из Москвы увидят.

Она согласно кивнула не столько головой, сколько ресницами. Он предложил ей отведать жареных улиток. Она ответила, что скорей предпочтет помереть, чем станет это есть. Он съел улиток один, и они двинулись на поиски открытого места. Подкрепленный едой, он вырывался вперед. Останавливался, поджидая вконец ослабевшую спутницу, временами возвращался, чтобы помочь ей преодолеть высоко лежащий ствол. И снова вырывался вперед. В один из таких рывков он увидел долгожданную полосу чистого, голубого неба с солнышком. Он не поверил своим глазам, подумав, что это просека. Но это была не просека, а небольшая речка. Едва взглянув на поросшие густым ольшанником берега, Ольга Константиновна с облегчением воскликнула:

— Господи, да ведь это Нура!

— С чего вы взяли? — удивился он.

— Да ведь я родилась в этих краях, Вячеслав Анатольевич. Босоногой здесь бегала. По-моему, это место мне знакомо. До поселка отсюда три километра. Пойдемте, в километре должен быть жердяной мосток.

Он, конечно, не поверил, подумал: следствие переживаний пути. Все-таки они двинулись вдоль берега вниз. Он поленился обойти вдавшуюся в берег из река ямину, нечто вроде заводи, но без воды. Поперся напрямик и, зацепившись за корягу, упал. Поднявшись, с вскриком присел от боли в лодыжке. Снял ботинок. Ольга Константиновна, осмотрев болезненное место, сказала, что перелома вроде нет. Однако идти он все равно не мог.

— Я одна пойду в поселок и пришлю вам помощь.

Откуда только взялись у нее силы...

Но, увидев в болотце у реки густые заросли рогоза, повременила уходить. Развела огонь и, наломав молодых побегов, поджарила их, половину отдала Буслаеву, половину съела сама.

— Теперь мне сам черт не брат, — сказала, насытившись. — В поселке мои бабушка с дедушкой живут, придумаем, как вас вызволить.

Она удалилась уже метров на тридцать, когда он ее окликнул. Она остановилась, посмотрела на него с материнской теплотой и пошла назад. Подойдя, сказала:

— Вы не хотите, чтобы я уходила?

— Да, я боюсь за вас, не за себя.

— Хорошо, давайте залечим вашу ногу и пойдем вместе.

В этот момент послышался звук мотора.

— Скорее, больше дыма! — закричал Буслаев. — Сыпьте мох в костер!

Но вертолет приближался слишком быстро.

— Достаньте ваше зеркальце!

Она глянула на него с недоумением.

— Да нет, я не сошел с ума. Солнечным зайчиком сигналить будем.

Она полезла в рюкзак и, наткнувшись на картонную упаковку, хлопнула себя по лбу с видом человека, восклицающего: «Эврика!» Она торопливо извлекла из упаковки сигнальный патрон. Вертолет пролетал в стороне явно мимо. Взяв патрон в правую руку, она отвинтила предохранительный колпачок и, вытянув запальный шнур, изо всех сил дернула за него. Вспыхнуло, пошли густые клубы оранжевого дыма. Через несколько секунд вертолет, резко сменив курс, пошел на них. Некоторое время он кружил в поисках места для посадки. Не найдя такового, завис над ними, оглушая грохотом мотора. Открылся люк, из него выбросилась лесенка, по

ней спустились двое эмчезовцев. Они помогли подняться в вертолет сначала Ольге Константиновне, потом Буслаеву.

— Куда везти, в Ново-Спасское? — спросил пилот.

— В Нуру, — отвечал Буслаев.

Едва вертолет поднялся, они увидели в иллюминаторе поселок, он действительно был рядом.

Приземлились на аэродромном поле. Буслаеву сказали, что пилот уже связался с экспедицией и что экспедиционный узик скоро будет.

— Ну, поправляйтесь, — сказала ему с неловкой улыбкой Ольга Константиновна. — На прощанье должна сказать, что никакая я не жена бизнесмена. Я, слава Богу, не замужем. До свидания.

— До свидания, — повторил он, точно эхо, в отупелости.

И лишь когда ее изящная фигурка стала в отдалении сливаться с окраинными домиками Нуры, до него дошло, что он ее больше не увидит. В голове у него все еще звучало ее прощальное: «До свидания». «Чего же я не спросил, дурак, когда оно состоится?» — в отчаянии подумал он. Забыв обо всем, он кинулся бежать за ней, но через шаг упал от боли в лодыжке.

Подъехал экспедиционный узик. Шофер отвез его в медпункт. Врач сказал, что перелома нет и нескольких дней покоя будет вполне достаточно для выздоровления.

Больной начальник экспедиции, услышав, что посланный на смену ему из Москвы Дмитрий Николаевич Введенский в Ново-Спасское не прилетал, сокрушенно вымолвил:

— Да не Введенский должен прилететь! Из института нас неверно информировали. Вместо Введенского нам женщину-начальницу послали. Она родом из этих мест. В наш институт перебралась недавно из Новосибирска.

На лицо Буслаева напоззло выражение смертельного испуга.

— Как ее зовут? — произнес он замедленно, запинаясь.

— Мезенцева Ольга Константиновна...

На следующее утро она пришла в экспедицию. За спиной у нее был рюкзак. Сидевший за столом напротив начальника Буслаев медленно поднялся. За ним поднялся и начальник.

— Вот мои верительные грамоты, — протянула она бумаги и сбросила рюкзак с плеч.

Потом посмотрела на Буслаева. Ее глаза сияли.

— Ольга, — произнес он как бы под гипнозом. Через довольно длительную паузу добавил с неуверенностью: — Константиновна.

Она сделала шаг к нему. Чуть повела назад плечами, точно маленькая девочка, и сделала еще шаг. Он тоже шагнул навстречу. Она обвила руками его шею. Ошарашенный бывший пробурчал себе под нос:

— Ну ладно, серьезным делом надо заниматься, полномочия сдавать.

Ольга Константиновна напоминаний о «серьезном деле» не услышала. Она всецело была поглощена делом, по ее мнению, куда более серьезным. Она ведь была женщина.

СЕРГЕЙ ШВАКИН

ВЕРВОЛЬФ

РАССКАЗ



СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ ШВАКИН РОДИЛСЯ В 1960 ГОДУ В ПОСЕЛКЕ ПЕСКИ КОЛОМЕНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ВЫРОС И ЖИЛ В СЕЛЕ ЧЕРКИЗОВО. ОКОНЧИЛ МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА. НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ «ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО БАМА». ЕГО СТИХИ И ЗАМЕТКИ ПЕЧАТАЛИСЬ В ГАЗЕТАХ «КОЛОМЕНСКАЯ ПРАВДА», «ЯТЬ». АВТОР ОЧЕРКА «СЕЛО ТРЕХ ЦЕРКВЕЙ». ДЕБЮТИРОВАЛ В ШЕСТОМ ВЫПУСКЕ КОЛОМЕНСКОГО АЛЬМАНАХА. С 1992 ГОДА ЖИВЕТ В КОЛОМНЕ. РАБОТАЕТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКОМ В ГОЛУТВИНСКОЙ ДИСТАНЦИИ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ.

Воздух в тесной, прокуренной комнате сменных мастеров был до крайности сух. Кажется, его можно было потрогать. Из двух неонов в запыленном подвесном светильнике одна бледно мерцала из последних сил, а другая лишь делала тщетные попытки зажечься. Старший мастер электроцеха, близоруко шурясь, читал заявление молодого монтера Кольки Матвеева.

— Две недели... по семейным... Так у тебя семьи еще нету.

— Михалыч, очень надо.

Напрасно Колька так жалобно попросил, лучше бы молчал.

— А работать кто будет?

Скомканное заявление полетело в мусорную корзину. Сглотнув подкативший к горлу комок, Колька развернулся и пошел к выходу.

— В понедельник на работу не придешь — «три туза» выдам, — ударило ему в спину.

«Выдавай. Хоть тузов, хоть джокеров, — Колька со злостью хлопнул расхлябанной дверью, — мне деньги нужны».

А с деньгами было туго. Туго с ними было давно, но через две недели у Лены день рождения...

Обойдя кучку таджиков, сидящих на корточках у строительных лесов, Колька подошел к коренастому парню в кожаных брюках и плотной джинсовке с кожаными вставками на локтях и плечах.

— На пару недель аккордик ударный не подберете?

Парень оценивающе осмотрел Кольку. А что тут смотреть? Высокий, подтянутый, во всем армейская выправка чувствуется. Правда, взгляд из-под пшеничных бровей наивно-простодушный, но ведь не всем же в двадцать один год на мир с безграничным цинизмом глядеть.

— Есть работенка. Дней за десять—двенадцать, если ударно, справишься. Как раз второй человек нужен. По четыре штуки каждому. — Он помедлил, хотел было что-то добавить, но, передумав, по-деловому округлился: — Два часа на сборы. — Громыкнув тяжеленными часами, уточнил: — В десять будь здесь. Не опаздывай. Машина подойдет.

Колька зашагал домой собирать вещи. «Про специальность даже не спросил. Значит, что-нибудь типа: бери больше, кидай дальше. Четыре тысячи. Неплохо».

— Лен, меня дней двенадцать не будет. Что? Калым хороший подвернулся. По строительству. Ну что, что... Что скажут, то и построим. Ну ладно, ты не скучай. Давай. Конец связи.

Добирались до места довольно долго. Рядом с Колькой сидел будущий напарник, Виталий Петрович (так он представился). Лет сорок с небольшим, наверное. С виду крепкий, только лицо какое-то слащавое, явно не из работяг. Удалившись от города километров на двадцать, свернули с шоссе на проселок. Пыльная извилистая дорога привела к большому продолговатому озеру. Вдоль высокого правого берега на отдалении друг от друга подбоченились десятка два домов-великанов. У одного из них, ростом в три этажа, машина остановилась. Приехали.

Беззвучно отворились массивные литые ворота. Вышедший из дома атлет кивнул головой:

— Пойдем, рабочее место покажу.

«Вот так. Сразу быка за рога. А может, и правильно? Чего время терять?» Колька с Виталием Петровичем двинулись за спортивным парнем.

Войдя в громадный холл, свернули влево. На еще не отштукатуренной стене, у двойной двери, гордо блистала крупная выпуклая кнопка. Крепыш нажал ее, половинки разъехались.

«Неужели лифт? Приколы нашего городка. — Колька вместе с остальными зашел в уютную финскую кабину. — Осторожно, двери закрываются. Куда едем?» Поехали, судя по всему, вниз. Выйдя из лифта, оказались в огромном подвале.

— Так. Вот здесь туалет, душ. Все подключено. Это я к тому, чтобы вверх-вниз не катались. Вот комната: одеяла, раскладушки. А вот, значит, отсюда и начнете, — парень указал на проем в стене, окантованный сталью.

Задача оказалась следующей: копать тоннель. Два метра в высоту, метр в ширину. Через каждые полметра ставить металлический каркас. Тоннель будет хитрый, со спусками и поворотами. Схема висела на стене.

— Копайте строго по схеме. Опалубка точно выверена, не туда завернете, самим же придется лишнее снимать. Землю вон туда, — спортсмен кивнул на дальний угол подвала, — там яму ошибочно выкопали.

Он повертел головой.

— Ну что еще? Еду сюда доставлять, или подниматься будете?

Напарники пожали плечами.

— Ну если все равно, сюда спускать будем. И насчет водки предупреждаю: чтоб не рыскали. Вечером, будет желание, грамм по сто пятьдесят налью для разрядки. Договорились? — Не дожидаясь ответа, словно подчеркивая, иначе и быть не может, парень продолжил: — В общем, два метра в сутки будете делать — через двенадцать дней свободны. Инвентарь, тачка, опалубка — здесь. Металл весь пронумерован, ставьте по порядку. Что непонятно, спрашивайте.

— Пока все ясно, — ответил за двоих Виталий Петрович.

— Ну и ладушки, — атлет развернулся и направился к выходу.

Переодевшись, взялись за работу. Если кому-то нужен тоннель, значит кто-то должен его копать. Все ясно. Пока.

Два дня втягивались в работу. Один вырубал плотные глиняные пласты, другой вывозил грунт в большую яму. Потом менялись ролями. Разговаривали лишь при установке каркаса, да и то по делу. Алексей (спортсмен-проверяющий) придирчиво осматривал первые метры металлохода, но замечаний не делал, видно, все правильно получалось у тружеников подземелья.

Основным орудием труда были пара ломов с приваренными на концы топорами. Виталий Петрович предпочел инструмент с широким лезвием, а Кольке понравился увесистый лом с узким топором. После Колькиной

работы тачка наполнялась неровными тяжелыми кубиками, а напарник его выдавал продолговатые рассыпчатые пластины, словно снимал чешую с гигантской рыбы. Прежде чем натянуть брезентовые рукавицы, обворачивали ладони найденной в куче инструментов ветошью. Но мера эта была почти бесполезной: уже к концу первого дня у обоих появились ноющие мозоли. Стальной черенок жег руки, словно его накалили в огне.

Сразу после ужина ложились спать, попадая в цепкие объятия быстро сгорающей ночи.

На третий день, в обед, Виталий Петрович спросил Алексея:

— Сто пятьдесят наркомовских вечером не выдадите?

— Будет сто пятьдесят. А тебе? — крепыш повернулся к Кольке.

— Спасибо, не надо.

После ухода Алексея Виталий Петрович поинтересовался:

— Ты что, вообще не пьешь?

— Да нет, можно на праздник. А так вот, чтобы...

Виталий Петрович, отворачиваясь, сказал:

— Правильно. Я тоже стараюсь... Но для разрядки...

В этот вечер уснули не сразу. После выпитого Виталий Петрович стал разговорчив. Сначала он засыпал вопросами Кольку, потом стал рассказывать о себе.

— Я учителем истории работал. А теперь у меня совсем другая история.

Виталий Петрович поведал напарнику об учительской зарплате, о семье, о житейских проблемах. Забыв об указке, он стал добывать хлеб насущный, как сможет. Сейчас вот вместе с Колькой землю копает.

— Самое обидное, что даже если удастся прилично заработать, жизнь лучше не становится. У меня жена раньше не такой была. Мы в походы ходили, друзей всегда полно дом, друг друга с полуслова понимали. А теперь словно подменили. Как в той сказке: не хочу быть крестьянкой... Правильно Ленин в письме к Арманд заметил: любовь в первую очередь надо от материальных забот освободить.

Учитель замолчал. Потом опять заговорил, будто что-то обработал про себя и решил озвучить:

— Мы к первобытному состоянию переходим, в последней, искривленной фазе. Древние женщины любили наиболее удачливых, умелых охотников. Ну и сейчас то же самое. Только добыча — не мясо и шкуры, а деньги. Кто их больше притащит, тот и любим. Правда, «охота» эта частенько по подлым, несправедливым правилам идет. Сам ведь видишь, у кого деньги водятся.

— Очень сильно вы все к материальному сводите, — сказал Колька.

Историк усмехнулся:

— Ты-то вот сам, как в этом зиндоне оказался?

Колька немного помолчал, а потом со вздохом поведал о задуманном дорогом подарке.

...Скрываясь от дождя, они с Леной заскочили в небольшой парфюмерный магазин. Скучающая женщина-продавец, изобилие духов, кремов, теней и лаков. Не удержавшись, Лена попросила посмотреть понравившиеся духи. Нехорошо улыбнувшись, продавец осторожно открыла фигурный флакон и подала Лене крышку.

— Колька, обалдеть, — только и прошептала Лена.

Возвращая крышку продавцу, она еще раз посмотрела на витрину и, как-то сразу оробев, поспешила к выходу.

— Коля, пойдем.

Уже на улице со смущенной улыбкой Лена объяснила:

— Я один ноль на ценнике не разглядела. Думала, двести десять, а они аж две тысячи сто стоят.

— Ну а духи-то как?

— Волшебные. Кто уж, интересно, такими пользуется?

И Колька твердо решил, что подарит Лене на день рождения именно эти духи...

Виталий Петрович задумался. Потом осторожно, стараясь не обидеть собеседника, стал рассуждать:

— Ну подаришь ты эти духи. И что дальше?

— Ничего, — удивился вопросу Колька.

— Ведь сама цена подарка ни о чем не говорит. Понимаешь?

— Да понимаю я. Но Лена обрадуется очень, я знаю.

— Тебя именно ее радость вдохновляет?

— Конечно.

— Ну тогда молодец, — искренне восхищаясь, выдохнул учитель, будто это ему подарили что-то необыкновенное. — Ведь многие дорогой подарок делают с целью показать: вот, мол, какой я «охотник», смотрите.

«Далась ему эта охота».

Поскрипев зыбкими пружинами, Колька зевнул:

— Ну что, спать будем?

Два следующих вечера разговор не клеился. Короткие пожелания ночного спокойствия — и долгожданный сон. То ли Виталий Петрович стеснялся своей откровенности, то ли уставал сильно. Историк заметно изменился: черты его лица заострились, резкими стали движения, в спокойных дотоле глазах замерцал далекий огонек.

Несколько дней земляных работ изменили и Кольку. В электроцехе он без дела не сидел, но ремонт или разводка кабеля не шли ни в какое сравнение с нелегким, почти шахтерским трудом. Казалось, каждая мускульная клетка включилась в действие, превращая тело в хорошо отлаженный механизм. Ноги надежными опорами впились в пол, и без того крепкий пресс вовсе закаменел, руки работали с безукоризненной точностью машины, голова... пожалуй, голова была абсолютно лишним органом. Мысли куда-то уходили напрочь.

Тоннель, петляя, двигался к своей цели — озеру. Это Виталий Петрович определил, он запомнил месторасположение водоема относительно дома.

На шестой день учитель, отводя глаза в сторону, попросил Кольку:

— Может, тоже паек винный возьмешь?

— Да не стоит, наверное.

— Не себе, не себе, Коля, — историк взволнованно зачастил, — понимаешь, не хватает мне духу собственного. А побольше доза будет, прибавится силенок. Ты уж извини...

Алексей, выслушав Кольку, усмехнулся; мол, и ты, парень, слабак, но без лишних комментариев вечером просьбу уважил.

Когда укладывались спать, глаза учителя поблескивали. Поправляя постель, он свалился на раскладушку, едва не перевернув ее. Кое-как устроившись, Виталий Петрович устремил свой взгляд в высокий потолок. Кольке было неловко засыпать, оставляя соседа в неопределенном состоянии.

— Может, не надо больше водки? — неуверенно сказал он. — Как-нибудь без нее докопаем.

Историк молчал. Казалось, он не слышит Кольку. Потом медленно, в раскачку, учитель заговорил.

— Я почему последнее время потреблять начал?.. Знаешь, Коля, пьяный и влюбленный к одному и тому же племени принадлежат. Это до меня, в XIV веке, персидский поэт Хафиз сказал... Я раньше к вину совсем равнодушен был. Ну, выпил для компании рюмочку — и все. А сейчас... Сейчас: рацию — все, а иррациональная сущность человека растоптана... Любовь земная становится все меньше и меньше, — Виталий Петрович приподнял правую руку и, сжимая большой и указательный пальцы, продемонстрировал степень уменьшения, — она скоро совсем растворится... Сейчас многим просто непонятно, что значит — любить. Это ведь особое состояние души, когда человек любит. У влюбленных в глазах огонь горит... А если с юных лет все на рациональной основе — сексология, расчетливость, бытовой прагматизм — откуда ей взяться, любви-то? «Тайна сия велика есть»... И огонь в глазах влюбленных — отблеск этой тайны. Только вот угасает он повсюду.

Учитель замолк. А Кольке вспомнилось письмо с фотографией, пришедшее ему от Лены в первый месяц службы. Эх, девчонки, девчонки! Не шлите вы своих милых фоток молодым борцам. Одни от них неприятности, вот отслужат с годик, тогда другое дело.

Не успел Колька рассмотреть фотографию, как она была вырвана наглым старослужащим.

— Отдай, — глухо произнес Колька, протягиваясь к фото.

— Ничего коза. — «Дед» грубо отвел Колькину руку в сторону. — Ты чего оборзел, салажонок?..

Две недели Колька ходил в синяках и ссадинах, но фотографию отстоял. В редкие минуты уединения он смотрел на памятный снимок и находил в глазах подруги понимание, сочувствие и поддержку...

— Коля! Коля! — Виталий Петрович приподнял голову, испуганно глядя на напарника.

— Что, Виталий Петрович?

— Я уж думал, случилось что с тобой, — облегченно выдохнул историк, — зову, зову... Я вот спрашиваю: как ты думаешь, что главное в любви?

— Ну, я не знаю...

— А все же, на твой взгляд, без чего любви не бывает?

— Я считаю... главное, чтобы... как бы в одном направлении оба смотрели. То есть мир одинаково воспринимали. Пусть разные люди будут, но подход к жизни, к окружающим у них похожий должен быть. Мне вот с Леной легко. Мы часто думаем одинаково. Наверное, это и есть главное.

Учитель опять долго молчал, а потом оживленно заговорил:

— Правильно, правильно, Коля. Ты очень важную вещь сказал. Как это я такой простой истины не понимал? Ведь раньше мы именно одинаковый подход к жизни имели, а сейчас каждый по-своему на мир смотрит... Вот, гляди, как ты все верно обрисовал.

Колька смутился. Он и сказал-то все совершенно необдуманно и, конечно же, никакой мудрости в своих словах не находил.

А Виталий Петрович продолжал:

— Я ведь долго сопротивлялся. Не потому что ленивый или трудностей боюсь. Но не мог я себя заставить ради излишеств не любимым делом, а чем придется заниматься. Так жена решила со мной методом лозунгов бороться. Просыпаюсь как-то — на стене плакат: «Нет такого тяжелого труда, который любовь не делала бы не только легким, но даже приятным». Это она из «Священника» Бруно слова Марты выписала. Ну и сдался я постепенно. Стал в выходные шабашить, потом и вовсе школу забросил. Сначала даже понравилось. Вижу: жена радуется — новый телевизор, новый холодильник. А потом смотрю: конца не то чтобы не видно, его и быть не может. А самое обидное: ко мне отношение изменилось. Заработал удачно — молодец, любимый. Чуть какой прокол — упреки, недовольство. Я ей стал не как человек интересен, а как добытчик.

Историк говорил все медленнее. Усталость зажимала рот, сон сладкой истомой обволакивал опьяненный мозг.

— Любовный треугольник: он, она и деньги...

Учитель заснул. Почти моментально провалился в ночь и Колька.

На десятый день в подвал вместе с Алексеем спустился худощавый пожилой мужчина. Осмотрев тоннель, он пожал плечами:

— Да вроде все нормально.

Алексей облегченно произнес:

— Волк торопил, я и решил без вас начать. А то он вот-вот приехать должен, будет пену гнать.

— Хозяин — барин... Давай лучше глянем, что хохлы налепили.

Бесшумный лифт увез редких посетителей вверх.

Вечером, после принятия двойной «наркомовской», Виталий Петрович резко, чуть ли не с криком, обратился к коллеге:

— Коля! Ты слышал, что сегодня Алексей сказал?

Глаза историка горели сумасшедшим огнем.

— Что?

— Волк приедет. Я все понял, Коля!

Колька недоуменно смотрел на напарника.

— Что мы, по-твоему, копаем? — В прищуренном взгляде учителя смешались торжество прозрения, усталость и алкогольная поволока.

— Тоннель.

— Какой тоннель? — Не дожидаясь ответа, Виталий Петрович быстро заговорил: — Зачем он петляет? Почему сидим в подвале безвылазно? Что за хитрый заказ такой? Это тайный ход! Так сказать, фол последней надежды. Если уже взведены курки и слышны шаги палача — в подвал, в тоннель, к озеру! Уворачиваясь, скрываясь, петляя. Даже если по пятам идет смерть, можно уйти, ускользнуть. У тамплиеров, да и в других орденах, такие ходы сплошь и рядом были. Потренировавшись, быстро по этому коридору прошмыгнешь, а погоня собьется, потеряет секунды драгоценные.

Виталий Петрович облизал пересохшие губы.

— Все в этом мире связано, Коля. Я, как услышал это прозвище — Волк, все сразу и понял. Просто так Волком не назовут. Ты про «Вервольф» слышал?

— Нет, — недоверие и тревога, разминаясь, вышли на ковер в Колькиной душе.

— Была такая ставка Гитлера под Винницей. Называлась «Вервольф» — волк-оборотень. Их у фюрера несколько было. Одни названия чего стоят: «Волк-оборотень», «Волчье укрепление», «Ущелье волка». «Волчью гору» и «Волчью башню» не успели достроить. Было где укрыться мировому хищнику. Но сама природа бешеного волка покарала.

— Каким образом? — заинтересовался Колька.

— Видишь ли, гранит и песок, используемые при строительстве бункера, содержали высокоактивный радий. Если верить исследованиям, украинская радиация Шикльгубера погубила. В последние месяцы перед самоубийством все признаки лучевой болезни у него наблюдались.

Рассказывая о логове неистового Адольфа, историк почти успокоился.

— Виталий Петрович, ну а мы-то ко всему этому каким боком? Вы говорите: тайный ход. Ну и что?

— А то, Коля, что свидетелей у этого тоннеля не должно быть, — учитель сказал это спокойно и обреченно.

Тревога на Колькином «татами» провела чистый безупречный бросок.

— Нет, ну концы какие-то остались. Я маме сказал, где работу подыскал. Правда, куда точно поехал, она не знает.

— Того «кожаного», что нас сюда пристроил, в первую очередь уберут. Ну и нас с тобой — к ликвидации. На строительстве «Вервольфа» около десяти тысяч человек трудилось. Два концлагеря рабсилу поставляли, а забирали трупы. Тех, кто к завершению стройки уцелел, пересчитали — и в расход. Конвоиров, что «Вервольф» во время стройки охраняли, всех расстреляли, хотя надежные, натасканные псы были. Инженеров-спецов посадили в самолет, деньги выплатили, «Ауф видерзеен!» Но никакого «видер»! Взорвался самолет. Примите соболезнования.

Помолчали.

— Неужели на такое могут пойти? — Недоверие в Колькиной душе отчаянно сопротивлялось.

— Эти люди на все способны. Ты небоскреб наш разглядел? Представляешь, сколько денег угрохано? Когда большие деньги на кону, все по волчьим законам, чужая жизнь не в счет. А этот тоннель — залог собственной безопасности. Вот так, Коля.

Историк говорил уже равнодушно и устало. Было заметно, что в нем без остатка перегорело его страшное открытие. Рассказав Кольке о жертвах «Вервольфа», он словно смирился и с собственной участью. Услышав вскоре сонное посапывание на соседней койке, Колька остался со своей тревогой наедине. Недоверие лежало на лопатках. Страх змеей выполз из сырого тоннеля, обвил Кольку и уставился ледяным взглядом в лицо. Кажется

подвальный воздух стал наполняться запахом смерти. Шум крови, бившейся в висках, не давал уснуть, будоража тяжелые мысли. Долго скрипел пружинами Колька.

«Кроме лифта другого выхода из подвала нет. Лифт на ночь отключают. Как-то хотели подняться, лампочка в комнате перегорела, ничего не получилось. Впереди еще двое суток. Послезавтра должны закончить». Колька вспомнил о Лене. «Как она там? Вдруг с ним и вправду...»

Колька заскрипел зубами. «Если завести разговор, только хуже будет. Завтра нужно копать как ни в чем не бывало. А потом...» И до Кольки внезапно дошел план спасения. Он даже тихо засмеялся. «А деньги?» — засвербила мыслишка. «Да что деньги? Выбраться бы. А если удастся — бегом к “кожаному”. Переговорить с ним, может, и не так все окажется. Тогда пусть не полностью, но заплатят. Да и до денег ли сейчас?»

Утром начали работать, будто вчерашнего разговора и не было. Колька ждал от учителя новых сообщений, а тот только болезненно морщился и угрюмо молчал. Когда стали ставить очередные фрагменты металлического каркаса, Колька негромко заговорил:

— Виталий Петрович, давайте после ужина отдохнем часок — и опять в тоннель. Согласно схеме там всего около двух метров останется. Прорубим дыру, чтобы вылезти можно было, а там — свобода. Через озеро на другой берег переплывем, до шоссе доедем, ну и как-нибудь на попутке до города.

Виталий Петрович смотрел отстраненно, будто сквозь Кольку. Колька долго ждал, потом не выдержав, вновь обратился к напарнику:

— Виталий Петрович, очнитесь.

Историк встряхнулся и неуверенно сказал:

— У страха глаза велики... Может, и обойдется все?

— Как обойдется? Вы вчера что говорили? — Колька всерьез обиделся. Шутил, что ли?

Учитель опять долго молчал. Потом, соглашаясь, закивал головой:

— Да, да. Все так и сделаем.

Вновь стали вырубать ненавистные глиняные пласты. Колька зло врезался в упругий грунт. В нем опять схлестнулись тревога и недоверие. «Наболтал вчера, а теперь сам же сомневается». Ночью Колька в слова историка поверил. Зачем еще петляющий лабиринт нужен? Только для отрыва.

Вечером Алексей поставил на стол непочатую поллитровку.

— Молодцы. По графику идете. Завтра последний штурм.

Едва он ушел, Виталий Петрович торопливо отвернул пробку и, наплевкая полстакана, судорожно выпил.

Жуя черный мякиш, он на глазах менялся. Болезненная тряска исчезла, напряглись жилы, в глазах появилась решимость.

— Ты молодец, Коля. Ты все правильно придумал. Мы обязательно выйдем отсюда. — Историк моментально опьянел.

— Вы бы закусили как следует. — Колька завернул пробку и поставил водку себе под ноги.

— Ты что, ты что, Коля? — Виталий Петрович с испугом смотрел за перемещением бутылки.

— Сейчас отдохнем немного — и вперед, — безжалостно сказал Колька.

Виталий Петрович прилег на раскладушку.

— Правильный ты парень, Коля. С такими из концлагерей бежали... Мы с тобой обязательно оторвемся, этот «Вервольф» нас не сожрет. Будет свет в конце тоннеля!

Неожиданно послышались шаги. Колька инстинктивно схватился за горлышко бутылки. «Эх, даже инструмент какой не догадался с собой взять».

На пороге опять появился Алексей. Он немного удивленно смотрел на землекопов. Видимо, удивляли его их взгляды: откровенно пьяный Виталий Петровича и настороженно-враждебный Кольки.

— Пойдем поболтаем. Волк приехал.

Колька неохотно отпустил бутылку, не с ней же, как с гранатой, выходить. Виталий Петрович вскочил, стал поправлять на себе одежду. Он явно «рвался в бой».

У входа в тоннель стоял невысокий круглолицый толстяк, похожий на Колобка, но никак не на волка. Он светил большим фонарем внутрь, как бы раздумывая: зайти или не стоит.

— Дмитрий Сергеевич, завтра докопают. Около двух метров осталось, — доложил Алексей, сменив тон с насмешливого на угодливый.

— Около двух метров? Не надо. Пусть пока так все остается. Вот козлы! — Волк-Дмитрий Сергеевич выключил фонарь. — Обещали на днях всю пластмассу, крепеж завезти. Мы торопились, копали. А теперь говорят — через месяц. Вот тебе и Европа, опа... Зачем дыра у озера зиять будет? Потом другие добьют, когда желоба пластмассовые привезут.

Волк скользнул взглядом по Кольке и пристально уставился на учителя.

Историк нарочито вытаращился, стараясь задержать тяжелый взгляд. Он явно что-то хотел спросить, но, очевидно, никак не мог собраться с мыслями.

— И для чего нужен сей лабиринт? — слова наконец улеглись в предложении.

— А вы что, не знаете? — удивился хозяин особняка.

— Нелюбопытные попались, — оскалился Алексей, — копали и не спрашивали.

— Партнеры мне весь кайф сломали, — Дмитрий Сергеевич сплюнул. — Хотел к лету одиночную ленту, как в аквапарке, смонтировать. Представляете: выскочил из сауны — и по серпантину в озеро, ух! Насос мощный закупили, вы вот ход прорыли. А с пластмассовой начинкой облом. Весь дом пока еще достроят. А сауна уже готова. Теперь вот за аквапарком дело встало.

Он опять внимательно посмотрел на историка.

— Алексей, ты им заплати завтра, как договаривались. Устали, видно, люди.

Не прощаясь, Волк развернулся и зашагал к лифту. Помощник тенью последовал за ним.

Строители вернулись в комнату-спальню. Что оставалось делать Кольке?

— С завершением! — Виталий Петрович протянул стакан. Звякнула посуда, водка, смывая недоверие и тревогу, усталость и обреченность, полилась в души.

Закусывая, Колька удивлялся самому себе. Скажи вчера, что так благополучно все разрешится, он бы прыгал от счастья, а сейчас было почему-то не очень и радостно.

Историк, прилеглий было опять на раскладушку, резко приподнялся:

— Коля, я все понял. Мы вот с тобой о любви говорили, про материальную сторону дела. Этот самый материальный вопрос и есть оборотень любви. Оборотень с волчьей пастью. Ведь уже не различимы становятся все составляющие этого прекрасного чувства. Все затмевают деньги и их производные. Ты заметил, как этот Волк уверенно держится? Силу в себе чувствует. А женщины таких любят. А в чем его сила? Откуда уверенность эта сытая? Э-э-х! Прокатятся по серпантину, плюх в воду, потом опять сауна, музыка, шампанское. Какая любовь? Отвоевана Волком территория со всеми удобствами, смотрят на него с упоением: герой, победитель. А мы с тобой, Коля, маленькие винтики в обустройстве его логова. Копали, потели, чтобы, извинюсь, чья-то задница с визгом к озеру неслась.

Учитель бессильно сжимал кулаки, на поседевших висках заметно пульсировали синеватые жилки, в глазах поблескивали крохотные слезинки.

В Колькиной голове засвистел легкий хмельной ветерок. Ему неожиданно стало жалко и Виталия Петровича, и себя, и почему-то Лену. Учитель словно пояснил, отчего на душе не радость, а какая-то мутная толчея.

А Виталий Петрович, решительно потрянув головой, продолжал:

— Все! Я отсюда прямо на вокзал: к морю съезжу. Половина денег на билет, другую недели на две растяну. Много ли мне надо? Позвоню жене с вокзала, скажу: не волнуйся, еще две недели меня не будет. Наберусь сил у моря, мозги в порядок приведу, приеду и все ей объясню, не так живем, не то, не то строи...

Завершился тяжелый труд, догорел день, кончилась водка.

— Ну, спать будем? — Колька поставил пустую бутылку на пол.

— Да, да, Коля, будем, — учитель, мелко кивая, стал укладываться.

Вдруг он вскинул голову и с придыханием произнес:

— Коля, а что, если купили нас задешево?

— Как купили?

— А так. Придумали сказочку про аквапарк, усыпили бдительность. Что-то здесь не то. Этот Волк на меня неспроста так глядел. — Историк, брезгливо усмехаясь, тряс указательным пальцем, как заядлый рыбак мормышкой.

«Опять понеслось! Ну что ты будешь делать?» Ни слова не говоря, Колька отправился в туалет. На обратной дороге он машинально взял из кучи инструмента разводной ключ. Войдя в комнату, приставил к двери табурет. «Все. Спать».

А Виталий Петрович, уже лежа, бормотал:

— Полностью с вами согласен, товарищ Энгельс. Только уничтожение созданных капитализмом отношений собственности устранил все побочные соображения, оказывающие влияние на выбор супруга. Не будет никакого другого мотива, кроме взаимной склонности...

Закрывшись подушкой, Колька моментально заснул.

Перед отъездом Алексей с ухмылкой предложил похмелиться. Историк отрицательно покачал больной головой, Колька только развел руками — без надобности.

— Ну, до свидания.

«Вряд ли оно будет, свидание, — Колька, подавая рюкзак Виталию Петровичу, последний раз глянул на трехэтажную домину. — Прощай, Вервольф».

Улыбчивый шофер закрыл за севшими герметичную дверь, оставив их в полной темноте. Через полминуты, вместе с пуском двигателя, в центре отгороженного от водителя отсека зажегся матовый плафон. «Кого, интересно, на этом импортном броневике раньше возили? Ни окошка, ни щелочки. Может, зеков? — Колька полуразлегся на удобном широком сиденье. — Отмотали двенадцать суток. Свобода. Нет, для зеков слишком комфортно».

Машина мягко набрала ход. Даже по проселочной дороге, благодаря хорошим амортизаторам, неровности почти не чувствовались. А когда вышли на шоссе, то и вовсе плавно поплыли, того и гляди уснешь под ровную качку. Молчали. Виталий Петрович шурился, потирал виски, и Кольке было жалко его тревожить. Послезавтра купит он эти необыкновенные духи. Да, букет хороший нужен. Что еще? Ботинки бы не забыть почистить. Или, может, новые купить?

Раздался резкий визг тормозов. Все замелькало. Пол — стена — потолок... И, ударяясь в податливую резиновую обивку фургона, Колька с ужасом понимал: «Все же прав был учитель. Наплели про аквапарк, деньги выплатили, как инженерам, в самолет садящимся. У шофера лицо доброе. Его тоже — к ликвидации... Лена!»

И, осознавая в этой бешеной круговерти, что он не купит духи и цветы, что больше не увидит Лену, Колька от отчаянья заплакал...

Все замерло. Колька ощупывал себя, удивляясь тому, что явной боли не чувствует. Плафон погас, и Колька, по инерции всхлипывая, таранился в темноту отсека.

— Коля, больно? — раздался голос Виталия Петровича.

— Да нет, подстыл, наверное, малость, — застыдил себя слез Колька, — вы как?

— Да вроде живой.

Снаружи слышались голоса.

— Выехал на встречную и лоб в лоб идет. Я торможу, взял вправо. Насыпь подвела, в кювет затащило, ну и давай кувыркаться. — Водителю забинтовывали голову, а он спокойно, с улыбкой, будто прилипшей к лицу, рассказывал об аварии. Метрах в сорока от фургона, тоже в кювете,

валялась расплющенная «девятка». Там дела были посерьезнее. Ждали спасателей, резать металл, иначе водителя не достать. Подошедший гаишник проинформировал:

— Как к винной бочке подходишь. Уснул, скорее всего, и на автопилоте двигался.

Колька с Виталием Петровичем не пострадали вовсе. Просто удивительно. Перебинтованный водитель от дальнейших услуг врачей отказался.

— Мне надо своих дожидаться, я по мобильнику с хозяином связался. А ребят, если в город едете, подкиньте.

Стали прощаться.

— А почему вы своего шефа Волком зовете? — спросил напоследок Колька.

— Так у него фамилия Волков.

Во как... Фамилия у него такая.

— А этот фургон раньше для чего использовался?

— Мы его в Австрии приобрели. Там технику в психбольнице списывали, вот и удалось по дешевке взять.

— Подходящая машина, — пробурчал Виталий Петрович. — До свидания. Поедем мы.

— Всего доброго. — Шофер хотел было подать руку, но, глянув на окровавленную кисть, виновато улыбнулся.

И были, были удивленные глаза продавщицы в парфюмерном бутике. Долго желала счастья и удачи, поправляя прекраснейшие розы, цветочница на небольшом рынке у трамвайного перекрестка. Ботинки чуть-чуть натерли ноги, но с новой обувью почти всегда так бывает. Разносятся.

Вечером, после дня рождения, Колька с Леной никак не могли расстаться. Как ни заставлял себя Колька не болтать о мнимых опасностях, но про «Вервольф» все же сообщил, даже подробности из рассказа учителя вспомнил. Лена взволнованно слушала и теребила воротник Колькиной рубашки. Когда история кончилась, она облегченно вздохнула:

— У меня все эти дни на душе тревога какая-то была. Нам учительница по биологии рассказывала, что если двух родственных улиток на несколько километров удалят, а потом одну током бьют, то вторая тоже дергается, как от электричества. Она все-все чувствует.

Они стояли лицо в лицо, утопая в волнующей близости, и Колька подумал, что есть, наверное, в их глазах тот самый огонь, про который Виталий Петрович говорил.

Виталий Петрович потолкался у касс поездов дальнего следования. Потом зашел в вокзальный буфет. В задумчивости выпив с полбутылки пива, он решительно сунул оставшееся вождеденно смотревшему на пенящуюся жидкость божу. От вокзала историка увез трамвай. На следующий день в квартире появился сверкающий, похожий на космический аппарат пылесос. Урча, он доказывал свою надобность обширным набором многофункциональных насадок. Вечером супруга прикрепила к стене плакат с максимальной Ван Гога: «Жить — значит любить. Любить — значит работать».

Никто Кольку, конечно, не уволил. «Три туза» (33-я статья старого КЗОТа) по другим плачут. Как там отпуск оформляли: его заявление разглаживали или новое кто-то написал — Колька не знает. Но все, одним словом, обошлось. Таких, как Колька, ценят. Надежный парень. Значит, нужны ему были эти две недели.

ЕЛЕНА АНТОНОВА

ДУША ПРОСНУЛАСЬ

РАССКАЗ



ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА АНТОНОВА РОДИЛАСЬ И ЖИВЕТ В КОЛОМНЕ. ПИШЕТ СТИХИ И ПРОЗУ. ЗАНИМАЛАСЬ В ГОРОДСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «ЗАРНИЦА» ПОД РУКОВОДСТВОМ ЧЛЕНА СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ А.Ф. КИРСАНОВА.

ПЕЧАТАЛАСЬ В ОБЛАСТНОМ ЛИТЕРАТУРНОМ АЛЬМАНАХЕ «ДОБРОЕ СЛОВО», «ПАРАД ПЛАНЕТ», ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ «НАДЕЖДА», А ТАКЖЕ В ЖУРНАЛАХ «ПРЕОДОЛЕНИЕ» И «НАША ЖИЗНЬ». В 1997 ГОДУ ВЫПУСТИЛА СБОРНИК СТИХОВ «ТИХОЕ УТРО».

ДИПЛОМАНТ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

1

Пашка шагал по улице, сунув руки в карманы шорт, солнце припекало его белесую макушку, жарко обнимало за плечи, подталкивая в тень. Свернув в узкий горбатый переулок, Пашка окунулся в его душную привычную тишину. Старые толстостенные дома смотрели на него добродушно-ласково, они его знали. У ворот знакомого двухэтажного дома Пашка запрокинул голову, отыскивая окна квартиры, в которой еще месяц назад он жил с бабкой Полей. Эти два окна на втором этаже всегда нестерпимо сияли на солнце чистотой, а теперь глянули ему в душу мутно и отрешенно, словно глаза мертвого человека, которому забыли опустить веки. По тонкой Пашкиной шее побежали колкие мурашки. Он зябко передернул плечами и шагнул в отворенную калитку ворот.

2

Сверкая всеми частями своего изящного металлического тела, черный «мерседес» мягко катился по залитым июльским солнцем улицам. Олег Павлович узнавал и не узнавал родной Приреченск, так изменился, помолодел он с тех пор, как Шаров видел его в последний раз. Машина свернула в Покровский переулок, и Олег Павлович, чуть приподняв крутую бровь, пробасил в усы, не то удивляясь, не то констатируя факт:

— Ишь ты, и здесь заасфальтировали.

Шофер вопросительно посмотрел на Шарова, явно не поняв его воркотни. Он не знал, что Олег Павлович помнил бульжную мостовую вместо асфальта. Переулок еще семь лет назад напоминал стиральную доску, тянущуюся до самой реки.

— Давай вот к этому дому, Костя, — попросил Олег Павлович.

Автомобиль затормозил у ворот. Не дожидаясь приказа, с заднего сиденья выпрыгнул

охранник Тоша и скрылся за калиткой, а через минуту уже услужливо распахнул скрипучие створки. Двор, густо заросший гусиной травкой, будто бросил под колеса невиданной здесь машины бархатный ковер. Дом поразил своей убогостью. Когда-то ярко-желтый, ухоженный, он был теперь каким-то пегим от облупившейся штукатурки. И, словно шрам на лице старика, справа налево от крыши до подвала змеилась глубокая трещина, беззубым провалом рта чернел подъезд. Только окна светились чистой небесной синью и смотрели на гостя радостно, будто узнавая его. Да сиял, возвышаясь над крышей, купол с ажурным крестом маленькой церкви Покрова Пресвятой Богородицы, которую Олег Павлович каждый день видел в детстве из окна их комнатки.

3

По-стариковски шмыгая по траве ногами, Пашка прошел в сад. На делянке, что совсем недавно принадлежала бабке Поле, у самого забора росли две рябины, а между ними стояли замшелые стол и лавочка. Рябины так разрослись и сплелись кронами, что летом здесь всегда стояла сыроватая ажурная тень. В этой «беседке» Пашка и спрятал свою тоску. И поплыло перед ним недавнее.

По воскресеньям он всегда приходил к матери. Соскучившись, та встречала его как гостя, усаживала за стол, кормила вкусным обедом, сладостями, а сама сидела рядом и не спускала с него глаз. И вся светилась радостью, нежностью, то и дело гладила по голове, целовала в щеку. Из упрямства, мальчишеской гордости Пашка уворачивался от ее ласк, всеми силами стараясь казаться взрослее и равнодушнее, а на душе было тепло и приятно.

Но однажды Пашка долго давил на кнопку звонка и, стоя у двери, слышал, как внутри играла музыка. Потом ее перекрыл низкий мужской голос:

— Зойка, где ты там — у меня в горле пересохло!

— Иду, иду, Ленчик, иду, милый, — ответила мать каким-то не своим, светливо-кокетливым голосом, — только дверь открою. Это Пашка, наверное, сын...

— Сегодня наш день, Зойка, не открывай, — прогудел гость уже у самой двери.

— Как же, — лепетала, слабо сопротивляясь, мать. — Сын все-таки...

Гость шумно задышал, забубнил что-то вполголоса, и мать захихикала, как девчонка от щекотки. Голоса отдалились и потонули в музыке. Пашка со злостью пнул дверь ногой и вернулся к бабке. На ее вопросительный взгляд хмуро, пряча глаза, соврал:

— Да мать стирку затеяла, а я этого не люблю.

Не смог сказать правду. Целый день Пашка слонялся из угла в угол, не находя себе места, злился и молчал, стараясь пересилить непонятную боль, и не смог. Вечером, когда бабка уже молилась на ночь, Пашку прорвало:

— Ба, зачем люди детей рожают?

Бабка посмотрела на него удивленно. Но ответила, не задумываясь, спокойно, снимая с круглой головы беленький платочек и аккуратно его складывая:

— А как же без них? Бог людям детей дает, чтобы земля, творение его, не обезлюдела, и обихаживать ее было кому. Это великая милость Божья, счастье — продолжение свое иметь. Не всякому оно и дается.

— Счастье, милость Божья? — Лицо Пашки исказилось болью. — Я у отца — тоже продолжение, что же он меня бросил?

Бабка вздрогнула, как от удара, съежилась. Но Пашка продолжал бить ее словами:

— Ты вот все твердишь, жив он. Жив — значит, бросил меня, тебя, мамку. Зачем? За что? Что я ему сделал? Почему он меня не любит? — Голос Пашки звенел, как натянутая струна, вот-вот оборвется. — И мамка тоже не любит... Привела сегодня мужика, а меня даже в дом не пустила, — закончил еле слышно, захлебнувшись слезами.

Бабка поднялась с постели, тяжело шаркая тапочками, подошла, села рядом на диванчик и, прижав Пашку к себе, зашептала жарко в самое ухо:

— А ты не суди, родной, мать-то, не суди. Слабая она, несчастная, все опоры ищет, как вьюнок. Вырастешь — ты ей опорой будешь... А пока не суди, грех это, какая ни есть — мать, она Богом дадена... И на отца зла не держи. Все мы люди грешные, все страдаем, только Господь вразумить нас может. Ты верь, и вернется папка твой...

Бабка говорила чуть нараспев, как сказку. Пашка слушал журчание ее голоса, вдыхал кислотоватый старушечий запах и успокаивался. Бабка будто заговаривала его боль.

Воспоминания вдруг спугнул неприятный звук: открывали дворовые ворота.

4

Из подъезда вышла плоскогрудая старуха, одетая, несмотря на жару, в теплую шерстяную кофту поверх черного плотного платья, и, любопытствуя, уставилась на машину.

— Ефимовна! — обрадовался Олег Павлович. — Жива еще?

— Жива, жива, — прошамкала старуха, довольная, что на нее обратили внимание и можно поговорить. — А куда денниси, коли Бог так дал? Кровь-то уж не греет, мерзну все, мил человек, а жить надоть...

— Не узнаешь, Ефимовна? — прервал старуху Олег Павлович. — Шаров я, Олег...

Старуха подошла ближе, уставилась выцветшими полупрозрачными глазами и всплеснула сухонькими ручками.

— Батюшки, пра, Олег! Господи, а мы-то все уж похоронили тебя. Только Поля, мать твоя, все ждала. Вот как материнское-то сердце чует...

— Ефимовна, а где мать-то, дома? — снова не выдержал старушечьего многословия Олег Павлович. Старуха будто наткнулась с разбегу на препятствие, поморгала глазами, медленно ответила:

— Поля-то?... Дык на кладбище она, где ж еще...

— Могилку тети Сони убирает? — предчувствуя долгое ожидание, уже с досадой спросил Шаров.

— Какую могилку? Она сама в могилке, — ответила старуха. — Я вот к ней иду...

Сердце у Олега Павловича раненой птахой метнулось вверх, к горлу, и тут же покатилося вниз. В груди стало пусто и холодно. Охранник Тоша растерянно смотрел на своего шефа, по лицу которого будто кто-то мазнул меловой кистью. Он хватал ртом воздух, силясь что-то сказать. Старуха охнула и обругала себя:

— Вот дура старая!.. Эй, молодец, помоги-ка его до лавочки довести!

От приказной интонации в голосе старухи Тоша наконец очнулся и, подхватив шефа под мышки, легко дотащил до скамьи. Старуха присела рядом, с удивительным проворством расстегнула пуговицы на рубашке, подставляя его голую широкую грудь под слабый ветерок.

— Вот так, отдышись, мил человек, отдышись. А то и поплачь, ничего

стыдного в этом нет... Горе, что поделаешь... Ты уж извиняй меня, старую, думала, знаешь ты...

— Когда умерла? — обретая, наконец, голос, хрипло спросил Олег Павлович.

— Седни аккурат тридцать дн будет, — поспешно ответила старуха и, не имея сил сдерживать рвущийся из нее словесный поток, продолжила: — Вишь, как получается, я годков на десять старше Поли-то буду, а живу вот. Видно, Богу она нужней... Но я еще скажу тебе, мил человек, суди меня, старуху, как хошь, но и твоя вина в том, что она так рано убралась, не малая. Сколь она за семь-то лет слез по тебе пролила. Уехал в Москву и как в воду канул: ни слуху ни духу. Зойка-то твоя, заноза, поплакала с годок, брошенной обидно, вишь, быть, через милицию тебя поискала, а потом выправила алименты на Пашку, бабке его подбросила и давай другое счастье искать. А у Поли-то ты один, кровинушка. Вот и истаяла...

Олег Павлович сидел, прислонившись спиной к шершавому стволу вяза, прикрыв глаза. А над ухом назойливым комариным писком зудел голос старухи. Слова ее не доходили до сознания, но и не давали ему сорваться в черную пустоту.

Наконец непривычная слабость стала покидать его тело. И перед мысленным взором Олега Павловича возникла мать, такая, какой он видел ее в последний раз: она суетилась, собирая его в дорогу, а в глазах стояли и никак почему-то не могли пролиться слезы.

Мать что-то все время забывала, снова начинала перекладывать уже уложенное, и все тело ее дрожало от сдерживаемых рыданий. Ему было до боли жаль ее, но желание поскорее уехать, убежать от беспросветной жизни с Зойкой оказалось сильнее. «Ах, мама, мама! Неужели она чувствовала, что видит меня в последний раз? Вот уж воистину, что имеем — не храним, потерявши — плачем». Но додумать свои невеселые мысли Шаров не успел; какой-то шум и чьи-то крики заставили его открыть глаза.

5

Прильнув к редкому штакетнику, отделявшему двор от сада, Пашка тихонько присвистнул:

— Вот это тачка! Круто! Класс! — Перед ним будто крутили иностранный сериал, и он смотрел его, чуть приоткрыв рот от восхищения и любопытства.

Пашка слышал каждое слово Шарова и Ефимовны, но в то, что он видит своего отца, поверил не сразу: слишком уж сказочным казалось ему происходившее во дворе. Только когда, разговаривая с Ефимовной, Шаров несколько раз откинул рукой волосы со лба на затылок, сердце у Пашки вздрогнуло: никто, кроме его отца, не мог так поправлять волосы!

— Папка, — задохнувшись от счастья, прошептал Пашка, и тут же ему стало холодно от мысли: «Вот сейчас поговорит и уедет». Но пересохшие от волнения губы упрямо выговорили: — Фигу уедет! — Пашка лихорадочно пошарил у себя в карманах и, не найдя нужной вещи, уткнулся в землю взглядом. Покрутился на месте, прошелся вдоль штакетника, и, наконец, у самой калитки он увидел гвоздь, похожий на жирного червяка. Это было то, что надо! Пашка поспешно вырвал его из земляного гнезда и, осторожно приоткрыв калитку, выскользнул во двор. Почти на четвереньках подполз к задним колесам иномарки и торопливо принялся за дело. Руки его дрожали от волнения, и гвоздь никак не хотел входить в тугую резину покрышки.

Широченная лапища охранника так неожиданно сдавила Пашкино пле-

чо, что он громко вскрикнул пойманным зайцем. Потом дернулся изо всех сил, пытаясь освободиться, и закричал:

— Пусти-и! Пусти, гад! Шестерка!

Но охранник без усилия оторвал его от земли, легонько встряхнул и поставил на ноги, насмешливо осведомившись:

— Ку-у-да? Шкодить умеешь, умей и отвечать.

И, наклонившись к самому Пашкиному уху, шепнул:

— А ругаться будешь — душу вытряхну.

— Что там, Анатолий? Кто кричит? — недовольно спросил Шаров, приводя себя в порядок.

— Да вот «террориста» поймал, Олег Павлович, колеса у нашей машины гвоздем дырявил, — ответил Тоша, волоча упирающегося Пашку к людям.

Константин бросился проверять колеса.

— Я его давно приметил, — с удовольствием продолжил Тоша, — он все по саду болтался, за нами наблюдал, потом смотрю: калитка открыта, а парня нет, ну, я и прошелся тихонько вокруг машины. От горшка два вершка, а бандит. Родителей бы его найти, чтобы они ему по первое число всыпали.

— Да какой же это бандит? — приглядевшись, вступилась за подростка Ефимовна. — Это ж Пашка! Не признаешь, Олег?

Олег Павлович молчал, ошеломленно глядя на мальчишку, как две капли воды похожего на него самого в детстве.

— Да отпусти ты мальчика Христа ради, вишь, напужал-то его как, дрожит весь! Не совестно, такая оглобля, а с дитем воюешь! — наступала старуха на охранника.

Пашка уже не сопротивлялся, стоял, низко опустив голову, и действительно дрожал, но не от страха, а от стыда, обиды и досады на самого себя. Для него все было кончено. Отец теперь наверняка не захочет его признать: кому нужен такой «бандит»?

— Олег Павлович, все в порядке, можно ехать, — доложил Костя, убедившись, что шины в порядке.

Голос шофера будто разбудил Шарова.

— Отпусти мальчика, Анатолий, будем считать, что ты уже нашел его родителей: я его отец.

Глаза Тоши округлились от удивления, он недоверчиво посмотрел на шефа, но молча разжал пальцы на Пашкином плече. Пашка вздрогнул, услышав признание Шарова, и вскинул на отца синие, полные раскаянья и надежды глаза.

— Посидите пока в машине, я с сыном поговорю, — попросил всех Олег Павлович. — И ты, Ефимовна, садись, мы на кладбище поедem, покажешь дорогу.

— Вот и ладно, укажу, не сумлевайся, — обрадовалась старуха.

Но Олег Павлович уже не слушал ее. Он подошел к сыну, несмело потрепал жесткие белесые вихры.

— Ишь ты какой стал, и не узнать... — сказал он с непонятной для Пашки интонацией то ли досады, то ли удивления.

— Я тоже тебя не сразу узнал, — оттаивая от отцовской ласки, произнес Пашка.

— Ты действительно хотел проколоть шины?

— Хотел, — кивнул Пашка и с неожиданной для Шарова силой добавил: — Я бы еще и все стекла побил, и мотор испортил, если бы успел!

— Ты меня так ненавидишь? — упавшим голосом спросил Шаров.

— Не-е! — отрицательно закрутил головой Пашка. — Это чтобы ты никогда, никуда не смог больше уехать и остался со мной!

Олегу Павловичу перехватило горло, и, чтобы скрыть свое волнение, он прижал сына к себе. Пашка на минуту притих, наслаждаясь отцовской близостью и любовью, но потом осторожно высвободился и, заглядывая ему в глаза, попросил:

— Возьми меня в Москву... — И, испугавшись, что отец сразу откажет, заговорил быстро, захлебываясь словами: — Ты не бойся, мамка не будет сердиться, что ты меня увез. Она все равно меня в интернат хочет отправить...

Шаров нахмурился.

— Это она не сама придумала. Ленчик посоветовал, — увидев, как сошлись брови на переносице отца, поспешил вступить за мать Пашка. — Я, говорит, чужих детей воспитывать не собираюсь. Если надо, мы своих наделаем... И ржет. Я, говорит, или он. Ну, мать и решила — в интернат, все равно я совсем от рук отбился, она со мной не справляется... А мне в интернат — как умереть! Забери меня в Москву.

— Я очень перед тобой виноват, Пашка... — с трудом выговорил Шаров. — Когда ты был маленький, я ничего не мог тебе объяснить... Теперь ты подросток и поймешь меня.

Олег Павлович говорил медленно, часто замолкая, чтобы подыскать слова. Пашка слушал, не сводя с него глаз.

— Иногда, пожившись, люди вдруг перестают понимать друг друга, и тогда жить им вместе становится невмоготу, они расходятся... Это плохо, так не должно быть, но случается... Так получилось и у меня с твоей мамой... Все эти годы я думал, что с ней тебе хорошо, и боялся нарушить твой покой, боялся, что ты не захочешь меня видеть...

— А я думал, что ты меня не любишь и я тебе не нужен, поэтому ты и ушел, — перебил его Пашка.

— Но это не все, сын... В Москве у меня не только бизнес, у меня другая семья.

Глаза Пашки потемнели, стали серьезнее.

— Но ты же приехал, ты ко мне приехал? — спросил он, как показалось Шарову, испытующе.

— Да, я приехал к тебе и к бабушке, — подтвердил Олег Павлович и облегченно вздохнул. Он сам уже верил в то, что приехал к матери и сыну, чтобы забрать их в Москву. — И мы поедем с тобой домой, только сначала к бабушке на кладбище, согласен?

Пашка кивнул и весь расцвел в счастливой улыбке. В ушах его бесконечно повторялось произнесенное отцом «поедем домой», и он готов был ехать куда угодно, лишь бы быть рядом с отцом. И хотя в счастье своем он давно простил Тошу, но, забираясь в машину, все же показал охраннику язык. Просто так, чтобы не задавался.

6

— А теперича вот суды, милок, поверни, — командовала Ефимовна, показывая шоферу дорогу. И Константин, улыбаясь и покачивая головой, крутил руль в нужную сторону. Притихший Пашка, прильнув к окну, смотрел на дорогу. А Шарову вспомнилось вдруг, как он вез сына из роддома.

Голубой невесомый конверт, весь в лентах и белой пене кружев, лежал у него на коленях. Откинув уголок, он вглядывался в сморщенное крохотное, красное личико и чувствовал, как все существо его наполняется силой и гордостью. А сын-первенец, его создание, посапывал и чмокал пухлыми губками...

И теперь, ощущая рядом тепло сына, Олег Павлович с недоумением думал: «Как я мог столько лет жить без Пашки? Почему ни разу не вспомнил,

как и о матери? Мама, мама... Ничего уже не вернешь, ничего не поправишь, но Пашка жив и по-прежнему беспомощен в этом мире без моей, отцовской, защиты и любви... Я не могу потерять и его». Олег Павлович погладил затылок сына и устало прикрыл глаза. От всего свалившегося на него сегодня ныло сердце, захотелось поскорее оказаться дома, увидеть жену.

Вика. Это она уговорила его съездить в родной Приреченск и привезти в Москву мать. Собственно, и уговаривать его особенно не пришлось. Олег Павлович привык угадывать желания жены. Это было не так уж трудно, они с Викторией думали как бы на одной волне. Но Вика каждый раз так трогательно, по-детски удивлялась и благодарила его, что Шаров готов был сделать что угодно, лишь бы еще и еще раз утонуть в ее широко распахнутых от счастья глазах. Вот и на этот раз Вика лишь выразила опасение, что может не справиться с ребенком, когда он появится на свет, ведь у нее нет опыта, роды первые, а Олег Павлович вдруг сам предложил привезти в Москву свою мать. Вика обласкала его своими черными глазами и благодарно прижалась к его плечу.

— Я давно хотела просить тебя об этом, но не решалась. Тебе трудно возвращаться в тот город, в свое прошлое, я понимаю, но твоя мать должна жить с нами, и не из-за малыша только, просто так надо. Ты согласен?

Ну конечно же, он был согласен и теперь не сомневался в этом. Мать — да, но как Вика примет Пашку? Поймет ли жена его решение? Олег Павлович представил полные любви и нежности глаза жены и прогнал свои сомнения. Человек с такой душой, как его Вика, не может не принять ребенка.

— Олег Павлович, приехали, — ворвался в размышления Шарова голос шофера.

Олег Павлович открыл глаза. Машина стояла на асфальтированной площадке, за которой виднелись ограды, памятники, деревья. От обилия елей, тополей и берез кладбище походило на парк.

— Только дальше пешком придется.

— Да, Костя, спасибо, конечно пешком, — согласился Шаров. Они долго пробирались узкой тропкой между могилами, пока не дошли до края. Здесь было несколько свежих, еще не поросших травой холмиков, над одним из них возвышался грубо сколоченный крест. К нему и подвела их Ефимовна.

— Эх, Пашка, забыли мы цветы с тобой купить, — посетовал Шаров.

— Ой, я сейчас, — сорвался с места Пашка. Олег Павлович не успел его задержать.

— По нужде, видать, — предположила Ефимовна. — Ничего, не заплутает. А ты пока поговори с матерью, милочка. Я мешать не стану.

И, отойдя на несколько шагов, цепко ухватила за рукав Тошу.

— Эй, молодец, — громким шепотом окликнула охранника, — чего к месту-то пристыл? Пойдем-ка, пусть человек один побудет.

— Не положено, — буркнул Тоша, но старуха молча потянула его за собой.

— Все! — забастовал Тоша, когда они перешли на другую сторону тропинки. — Дальше не пойду! Что ты меня, как бычка на веревочке, тянешь?

— Ладно, здесь постоим, за тополом, — разрешила Ефимовна, но руки охранника не отпустила.

Тоша плюнул с досады, длинно выругавшись про себя, и затих. Драться со старухами его не учили.

С маленькой фотографии, прибитой к кресту, глянули прямо в душу Шарова материнские глаза. Веселые, улыбочивые, будто она видела сына и

радовалась их встрече. В горле Олега Павловича застрял шершавый ком, захотелось, как ребенку, закричать, забиться на сыпучем холмике в рыданиях, чтобы вышла из груди нестерпимая боль, но слез не было. И он стоял, пошатываясь, ощущая только, как с каждым мгновением все туже скручивается какая-то пружина в душе, казалось, еще немного — и она лопнет, а с нею разорвется и сердце.

— Знаешь, как она тебя ждала? — Голос Пашки заставил его вздрогнуть. Он и не заметил, как сын вернулся. В Пашкиных руках белели ромашки. — Проснусь иногда ночью, а она у окна сидит и молится на крест церковный: «Спаси, сохрани раба Твоего Олега. Верни его, Господи, до-мой». Она так часто это повторяла, что я запомнил.

Слова сына стали последней каплей. Страшно заскрипев зубами, будто перемалывал камни, Олег Павлович, как подрубленное дерево, рухнул на колени, выдохнул хрипло:

— Прости меня, мама, прости! — И замер так, не в силах подняться.

Испуганный Пашка бросился к нему, рассыпались по могильному холмику ромашки.

Увидев эту сцену, Тоша рванулся из цепких рук старухи.

— Куда ты все рвсси? — повисла на его руке Ефимовна.

— Упал же он, опять ему плохо, помочь надо, — сердито попытался отбросить навязчивую старуху Тоша.

— Ничего. Он теперь сам себе поможет. Душа в м проснулася... Теперь поднимется.

Анатолий непонимающе воззрился на старуху, но снова подчинился ей (сработала привычка исполнять приказы) и остался стоять за широким прохладным стволом тополя.

Олег Павлович заставил себя улыбнуться сыну, чтобы не очень его пугать, и с трудом поднялся, опираясь на Пашкину руку. Посмотрел, прощаясь, на фотографию матери и сказал тихо, обнимая Пашку за плечи:

— Ты, мама, не волнуйся — Пашка теперь со мной будет.

Так, обнявшись, и пошли они к машине. Пашка не мог идти спокойно, ему хотелось говорить, прыгать, размахивать руками. Счастье выплескивалось из него, как шампанское из перегретой бутылки. Он рассказал отцу, как любила бабка Поля собирать ромашки, поэтому он и нарвал за кладбищем для нее букетик. От Пашкиной болтовни Шарову стало легче, душа согрелась сыновней любовью.

У машины Олег Павлович вспомнил о Ефимовне.

— Спасибо тебе, старая, за все. Садись, довезу...

Но Ефимовна махнула сухонькой ручкой:

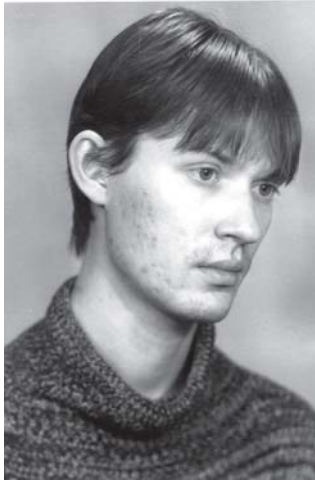
— Э-э, доберусь как-нито, ноги еще носят. Да и зайти еще кое к кому надить, знакомцев у меня здесь много... Береги парня-то, о матери не забывай... Езжай, милоч, с Богом...

Захлопали дверцы, заурчал мотор, машина тронулась. Мелькнули в окне Пашкино лицо и его ладошка. Ефимовна вздохнула и троекратно перекрестила удаляющуюся машину.

РУСЛАН БРЕДИХИН

МОЖЕТ БЫТЬ

РАССКАЗ



РУСЛАН НИКОЛАЕВИЧ БРЕДИХИН РОДИЛСЯ В ИЮЛЕ 1979 ГОДА В КОЛОМНЕ. АСПИРАНТ МЭИ. ПЕЧАТАЛСЯ В ГАЗЕТЕ «ГРАНЬ», ЖУРНАЛЕ «НАША УЛИЦА», ШЕСТОМ НОМЕРЕ КОЛОМЕНСКОГО АЛЬМАНАХА.

Жарко. Полуденное солнце безжалостно, на небе — ни облачка. Впрочем, мне, как ни странно, это даже нравится, и я слегка улыбаюсь, шагая к ближайшей станции метро. Однако люди, идущие мне навстречу, явно не разделяют моей симпатии к летнему зною: они хмуро щурятся, поджав губы, прячут глаза за стеклами темных очков, промокают платочками пот с лица.

Среди прохожих много женщин, некоторые из них красивы, иные даже просто обворожительны, но я стараюсь не обращать на них внимания. Сегодняшний день мне хочется провести в задумчивом одиночестве, и пусть задумчивость эта будет легкой и ненавязчивой, загадочно улыбающейся, и пусть она будет лишена всякой грусти.

Подземка встречает меня прохладой. Наро-ду в вагоне немного: большинство жителей города в этот час уже давно на работе, тогда как для меня утро едва началось. Я сажусь у двери.

Иногда у меня возникает странное ощущение, что этот город превращает людей в механизмы. Вот и сейчас мне кажется, что меня окружают одни механизмы: сидящие и клюющие носом, повисшие на поручнях, уставившиеся в пустоту. Сильные механизмы, красивые механизмы, изношенные механизмы — совсем как в той старой книжке с картинками. Таково мое ощущение утра.

Эти мысли напомнили мне, что я еще не завтракал. Поэтому, устроившись за столиком летнего кафе в переулке, выходящем на одну из центральных улиц, я заказываю кофе и ро-галики.

Посетителей мало. Все нормальные люди работают в поте лица, терпеливо дожидаясь обеденного перерыва. А я — бездельник. Или, точнее, мечтатель. Впрочем, многие считают, что это одно и то же.

Пока я поглощаю свой завтрак, обжигаясь кофе, мое внимание привлекает женщина, сидящая через два столика от меня. Нет, мой обет одиночества остается в силе, однако я не могу не признать, что она довольно-таки красива, хоть и уже не молода: ей за тридцать, может быть, даже тридцать пять или тридцать шесть. У нее роскошные волосы, темно-каштановые, с легким рыжеватым оттенком, и что-то подсказывает мне, что это их естественный цвет. То же самое «что-то» говорит, что поча-

тая бутылка «мартини» на столе у этой женщины в столь ранний для алкоголя час означает печаль. Но чем вызвана эта печаль? В чем ее причина?

Может быть, мне это известно. Конечно, никто не запрещает сомневаться, однако, может быть, я действительно знаю все об этой женщине. Может быть...

...Уже два с половиной года она работает стоматологом в небольшой частной клинике, и все пациенты неизменно отмечают ее вежливость, доброжелательность и жизнерадостность. Все любят ее, и это не удивительно, ведь счастье делает человека необычайно привлекательным.

В молодости она тоже была очень красивой, однако ту ее красоту нельзя сравнивать с красотой теперешней. То была красота юности, нежная, как цветок, легкая, подчас даже легкомысленная; нынешняя же ее красота, красота зрелости, подобно спелому плоду, имеет свой совершенно особенный, неповторимый вкус.

Родилась она под знаком Водолея, и может быть, поэтому всю жизнь была полна противоречий. Так, дорожа свободой и зная цену собственной красоте, она вышла замуж в двадцать три года за первого же мужчину, который осмелился сделать ей предложение. Как это ни странно, она прожила с мужем почти девять лет, прежде чем поняла, что их брак был ошибкой. Детей у них не было, и развод прошел безболезненно.

Однако, вновь обретя драгоценную свободу, она вдруг почувствовала, что ей не хватает — и не хватало всю жизнь — чего-то совсем другого. Чего именно? Она не могла этого понять, не могла объяснить — до тех пор, пока не встретила его.

Красивый, стройный блондин с зелеными глазами, он был на девять лет моложе ее. Они познакомились в автобусе, застрявшем в пробке, и он тогда сказал, что хотел бы увидеть ее снова. Поколебавшись, она дала ему свой номер телефона.

Он позвонил лишь через неделю, спросил, где она живет, и спустя час приехал. Она было начала что-то ему рассказывать, но он, не произнеся ни слова, раздел ее, и они занялись любовью прямо на ковре в гостиной.

В тот день она впервые почувствовала себя счастливой женщиной, впервые почувствовала себя как никогда молодой, будучи уже зрелой. То был четверг.

С тех пор прошло около двух лет, и почти каждый четверг ровно в семь часов вечера он приходил к ней, чтобы остаться до утра.

Каждый раз он любил ее по-новому, каждый раз, казалось ей, еще более страстно, неистово, и она отдавалась ему целиком, без остатка, позволяя делать с собой все, что он хотел. Лишь с ним она познала всю полноту плотской любви, освободилась от табу, лишь с ним она смогла осознать необычайную прелесть собственного тела, его неизъяснимую красоту. И она пила молодость своего любовника, принимая ее с благодарностью, и он дарил ей счастье — раз в неделю, каждый четверг, ровно в семь часов вечера.

О, как она ждала этих встреч! Однажды он признался, что голоден, и с тех пор она стала готовить к его приходу вкусный ужин, покупать хорошее вино. Она заранее убиралась в квартире, стелила свежую постель, надевала красивое белье и элегантное платье. И ждала. И он приходил ровно в семь.

Вот и вчера как раз был четверг. Она отпросилась с работы и вернулась домой пораньше, пожарила рыбу, сделала салат. Пока варился рис, она примерила новое нижнее белье, которое купила в прошлые выходные: черные трусики, тонкие, полупрозрачные, и бюстгальтер «анжелика» с удобными чашечками, отороченными кружевом. Она пару раз повернулась перед зеркалом, встала на цыпочки, затем медленно провела ладонями вдоль боков от груди к бедрам, после чего, нагнувшись и чуть запрокинув голову, вытянула губы трубочкой в воображаемом поцелуе. Да, выглядела она просто потрясающе, невероятно сексуально!

Довольно улыбнувшись, она посмотрела на часы: без четверти семь. Стоило поспешить.

Платье, которое она выбрала, черное, по фигуре, было достаточно про-

стым и скромным, но вместе с тем и необычайно интригующим. Уложив волосы узлом на затылке, она подошла к большому зеркалу в прихожей и аккуратно нарисовала губы темно-красной помадой.

Оставалось пять минут. Уже не спеша, она накрыла на стол, нарезала хлеб. Она улыбалась: сейчас, сейчас раздастся звонок в дверь!

Но часы показали семь, затем пять минут восьмого, десять, пятнадцать, а он все не шел. Она нетерпеливо прошла по кухне, затем открыла бутылку вина и налила себе половину бокала.

Почему он опаздывает? Он же никогда не опаздывал! Впрочем, он, конечно, придет: пару раз случалось, что он не мог встретиться с ней, но тогда он обязательно звонил заранее, по крайней мере за день, чтобы предупредить ее. Нет, он обязательно придет!

Однако прошло полчаса, час, а он так и не появился. Она уже не находила себе места: мерила шагами кухню, коридор, комнаты, ложилась на диван в гостиной, но тут же вставала, боясь помять платье.

Может, с ним что-то случилось? Может быть, он попал в беду, может, лежит в больнице? Однако, ужаснувшись, она тут же стала гнать от себя эти мысли: нет, он придет, обязательно придет, вот сейчас он позвонит в дверь, сейчас...

Лишь около девяти часов раздался звонок, но звонил телефон. Она бросилась к аппарату и, заправив сбившийся на лицо локон за ухо, схватила трубку:

— Алло?

— Здравствуй.

— Ну где ты ходишь?! — едва слышав знакомый голос, выпалила она. — Я же жду тебя!

— Знаешь, я не приду

— Как? Почему? — сразу расстроилась она. — Но отчего ты не позвонил вчера?

— Выслушай меня! Я не приду больше никогда...

У нее вдруг закружилась голова, и глубоко внутри она почувствовала резкую боль, которая стала подниматься все выше и выше, пока не подступила слезами к глазам.

— Но почему?.. — смогла лишь прошептать она.

Он принялся объяснять, его голос звучал в телефонной трубке, но она уже не могла разобрать слов. Да, он что-то говорил, звал ее, но она не в силах была откликнуться и, когда слышались короткие гудки, медленно сползла, прислонившись к стене, на пол.

Только теперь она внезапно поняла, что кроме имени ей ничего не известно о человеке, который два года был ее любовником, что, раз он больше не придет и не позвонит, они уже никогда не увидятся.

Ее грудь вздрагивала ужасающе беззвучными рыданиями, слезы текли по лицу, пальцы скрещенных рук вонзились ногтями в кожу плеч. Она знала, что это произойдет, она боялась этого и все же надеялась, что у нее еще есть время, что она еще успеет приворожить, привязать его к себе. И вдруг, так внезапно...

Почти полчаса она просидела на полу, размазывая по лицу слезы и потекший макияж, затем, сделав над собой усилие, встала, добралась до кухни и налила себе бокал вина. Осушив залпом, она снова наполнила его и, пошатываясь, вышла в коридор.

Остановившись перед зеркалом, она включила свет и внимательно оглядела собственное отражение. Ей вдруг показалось, что талия ее слишком широка, грудь обвисла, в волосах ей почудился серебряный блеск седины, и взгляд с предательской точностью различил мелкую сетку морщин на лице.

Ее губы задрожали, она вскрикнула, и бокал полетел в зеркало, обдав ее брызгами осколков...

...**М**ожет быть, поэтому на правом предплечье у женщины, сидящей

через два столика от меня, царапина, заклеенная пластырем, может быть, поэтому перед ней стоит початая бутылка «мартини», может быть, поэтому она разбавляет его слезами.

А я оплачиваю свой счет и решаю прогуляться. Шумно, однако я давно уже привык к тому, что в этом городе все шумят, все стараются продемонстрировать собственную значимость, все хотят обратить на себя что-то внимание. Крикливые цвета, громкая речь, размашистые жесты — своего рода борьба за существование, ибо здесь, если ты не выделяешься, не подчеркиваешь свою яркую или шумную «индивидуальность», то о тебе очень скоро забывают, ты вычеркиваешься из списка избранных жизнью и становишься частью толпы, «индивидуальностей» посредственных.

Я пересекаю площадь, в центре которой возвышается засиженный птицами памятник, и выхожу на бульвар. В это время он еще почти пуст, еще не заполнился влюбленными парочками и нетрезвыми компаниями, и я могу спокойно пройтись, время от времени с улыбкой заглядываясь на зелень деревьев и синеву неба.

Немногочисленные прохожие спешат по своим делам, на одной из лавочек спит нищий, на других кое-где сидят люди, большей частью в одиночестве. Некоторые из них читают, другие пьют пиво, задумчиво курят.

И я тоже сажусь на свободную лавочку и закуриваю, глубоко затягиваясь едкой горечью. Согласен, ужасно вредная для здоровья привычка, но до чего же приятная иногда! Кроме того, жизнь вообще порой оказывается чертовски вредной штукой, что все же не мешает нам любить ее.

А на другой стороне аллеи напротив меня сидит молодой человек. Он не замечает меня, поэтому я могу беспрепятственно рассмотреть его.

На вид ему лет двадцать, на нем черная футболка, черные ботинки и бежевые брючки. Однако лицо его мне видно плохо, потому что он уже долгое время сидит неподвижно, уперев локти в колени, обхватив голову руками и уставившись себе под ноги. Он явно озабочен чем-то и, я бы даже сказал, о чем-то жалеет. О чем? Я слегка улыбаюсь — потому, может быть, что знаю и хочу рассказать вам эту историю. Может быть, все на самом деле было именно так. Может быть...

...Это случилось вчера, когда он, возвращаясь с работы, зашел в книжный магазин. Он очень любит книги и, работая курьером в рекламном агентстве, заполняет долгие переезды в метро или троллейбусе чтением. Больше всего ему нравится французская классика, но с не меньшим удовольствием он зачитывается и современными авторами. Книги помогают ему мечтать, они позволяют ему вернуться в чудеса.

Итак, вчера, очутившись в магазине, он, как обычно, направился в свой излюбленный уголок, где ему всегда удавалось найти что-нибудь подходящее. Его взгляд сразу упал на недавно изданный роман Фаулза — увесистый томик в твердой обложке. Однако, взглянув на ценник, он приуныл: книга была ему явно не по карману. Немного расстроенный, он поставил ее обратно на полку и с сожалением провел пальцем по плотному корешку. Печально вздохнув, он осмотрелся по сторонам. И вздрогнул.

Она была похожа на ангела, спустившегося с небес: длинные, вьющиеся белокурые волосы, высокая грудь, обтянутая белым топом на тонких ляпочках, длинные ноги в легких летних брючках, тоже белых, как и туфельки на каблуках. Но больше всего его поразила красота ее лица: чистый, высокий лоб, прозрачно-голубые глаза, аккуратный носик и тонкие губы, двигавшиеся в беззвучном шепоте, — от всего этого, казалось ему, исходило легкое золотистое сияние.

Он был просто очарован, смотрел и не мог отвести взгляда. Да, она была похожа на ангела, и он вдруг осознал, что если он сейчас не подойдет и не заговорит с ней, если хотя бы не попытается с ней познакомиться, то она просто исчезнет. И всю свою жизнь он будет проклинать себя за нерешительность.

В руках у девушки была раскрытая книга — «Смешные любви» Милана

Кундеры. По счастью, он уже читал ее, и может быть, именно это придало ему смелости.

— Вам нравится Кундера? — улыбнулся он, слегка прикоснувшись к ее плечу.

Вздрогнув от неожиданности, она обернулась и с удивлением уставилась на него, но, заметив его улыбку, заулыбалась в ответ и кивнула:

— Да, я прочла пару его романов. Читали эту? — показала она обложку книги в своих руках.

— Конечно. Это рассказы, интересные, местами даже очень забавные...

Девушка заплатила за книгу, они разговорились и вместе вышли из магазина.

Он ликовал. Ведь это было просто чудом: он шел рука об руку с девушкой, похожей на ангела, и в их беседе, в том, как встречались их взгляды, рождая улыбки на их лицах, была какая-то удивительная, неземная легкость.

Они быстро перешли на «ты»:

— Ты не очень торопишься? Мы можем еще немного прогуляться.

Она согласно кивнула, и ему вдруг показалось, что они знают друг друга целую вечность, что он всегда искал именно эту девушку — ангела с золотистыми волосами.

И они говорили и говорили обо всем, с интересом, без неловких пауз, часто невзначай прикасаясь друг к другу, и от ее прикосновений по его телу пробегала теплая дрожь.

Посидев в уютной кофейне и выпив по чашечке ароматного кофе, они снова вышли на улицу и слились с толпой гуляющих на бульваре. Он взял ее за руку:

— Знаешь, это на самом деле удивительно, со мной такое впервые: совершенно неожиданно ты вдруг встречаешь человека, которого, кажется, всю жизнь мечтал встретить, всю жизнь искал. И тебе безумно хорошо с ним, тебе легко и приятно — именно так, как представлялось тебе в твоих мечтах, — и ты знаешь, что человек рядом с тобой испытывает то же самое по отношению к тебе, и ты чувствуешь...

Они уже достигли входа в метро, и поэтому остановились.

— ...Чувствуешь, что не хочешь с ним расставаться, — закончил он, улыбнувшись слегка печально.

Только тут, взглядевшись в глаза девушки, он различил в их уголках капельки слез. На лице ее, однако, не было и тени грусти, напротив, оно светилось каким-то необъяснимым сиянием, вдохновенным и радостным.

И они подались навстречу друг другу, и губы их встретились, слились в волшебной ласке, нежной, жадной, полной нарастающего трепета страсти.

Прошло несколько минут, прежде чем они наконец насытились поцелуем и ослабили объятия.

— Мне пора, — с сожалением в голосе прошептала она.

— Уже?

— Да.

— Я тебе позвоню, обязательно, завтра же, и мы снова встретимся! Какой у тебя телефон?

Она продиктовала номер, и он несколько раз повторил его вслух.

— Запиши! — рассмеялась она.

— Нет, я уже запомнил.

— Точно?

— Точно! — Он еще раз повторил телефонный номер.

— Хорошо. Обязательно позвони. Пока! — Быстрый поцелуй в губы — и она уже заходит в метро.

О да, он был по-настоящему опьянен счастьем, однако, как только девушка скрылась из виду, снова принялся повторять вслух номер телефона, шаря по карманам. Ручку он нашел, но бумаги при нем не оказалось, и ему пришлось записать драгоценные цифры на пачке сигарет. Лишь после этого он вздохнул с облегчением и довольно улыбнулся.

В этот вечер он чувствовал себя счастливейшим из людей, избранным: ведь именно к нему с небес спустился белокурый ангел, спустился для того, чтобы привнести в его жизнь смысл, чтобы показать ему, что на свете еще существует красота и любовь.

Поэтому он чувствовал во всем своем теле волнительную дрожь, которая держала его в мучительном напряжении. Ему хотелось расслабиться хоть чуть-чуть, и, решив, что немного алкоголя не помешает, он купил бутылку крепкого пива в круглосуточном магазинчике.

Да, он действительно чувствовал себя счастливейшим из людей: он брел по ночному городу, пил прохладное пиво, курил и думал о небесно-голубых глазах девушки, подарившей ему веру в новую жизнь, прекрасную, увлекательную.

И, когда у него кончились сигареты, он, совершенно забывшись, смял пустую пачку с заветным телефонным номером и выбросил ее в урну для мусора...

...**М**ожет быть, поэтому он с утра, обнаружив ужасную потерю, позвонил на работу и сказался больным, может быть, поэтому он весь день бродил по городу, как сомнамбула, не узнавая зданий и улиц, и может быть, поэтому он сидит теперь на лавочке напротив меня, неподвижно, уперев локти в колени, обхватив голову руками и уставившись себе под ноги.

Да, послушать меня — получается, что все жители этого города несчастливы. Впрочем, сейчас, возвращаясь с работы, они действительно выглядят усталыми, даже немного измученными.

Мужчины, например, тяжело вздыхают, лениво шуряют на солнце, ослабляют галстуки и расстегивают верхние пуговицы на рубашках. Впрочем, так уж сложилось, можно сказать, исторически, что меня куда больше интересуют женщины.

9 4

О, эти женщины! Они одеты в светлые, легкие платья, шифоновые блузки и коротенькие юбки, обтягивающие маечки и полотняные брючки. И, несмотря на тень усталости на их красивых лицах, их движения все же плавны, изящны и наполнены той волшебной легкостью, что присуща лишь прекрасной половине человечества.

Я люблю женщин. Конечно, за этой фразой может скрываться что угодно: элементарная эрекция, например, или восхищение женской красотой, или желание эту красоту присвоить. Однако я бы сказал, что больше всего мне нравится в женщинах то, что, являясь носителем общей женской сущности, каждая из них уникальна и неповторима со всеми своими родинками, улыбками, комплексами, то, что каждая из них целует иначе, чем другая, то, что каждая способна быть единственной.

Да, я люблю женщин. Поэтому, может быть, в отличие от мужчин, большинство которых разбредается по питейным заведениям, я решаю вслед за женщинами пройтись по магазинам.

В первом же бутике присматриваю себе великолепный темно-синий с золотистым штрихом галстук. Денег у меня с собой все равно нет, но он мне нравится, как и вон тот костюм, серый в мелкую бледную полоску. Будь у меня возможность, я бы, наверное, гулял по городу исключительно в костюме. Впрочем, если бы у меня действительно была такая возможность, я бы вряд ли считал эту идею достаточно привлекательной. Потому что сейчас мне вполне комфортно, и, улыбаясь, я вспоминаю, что все-таки давно хотел купить себе новые туфли.

Пытаясь вспомнить свой размер ноги, я открываю дверь в обувной магазин, и мое внимание прямо с порога привлекает молоденькая продавщица, стоящая у кассы. Она весьма симпатична: светлые волосы до плеч, милостивое личико, впечатляющая фигурка. Однако дело даже не в ее красоте, меня больше поражает ее улыбка. Ведь это улыбка по-настоящему счастливого человека.

Да, я уверен, что эта хорошенькая девушка действительно счастлива. Откуда такая уверенность? Может быть, причина в том, что мне известна ее

история, которую я хочу рассказать и вам. Может быть, эта история заставит вас поверить в счастье. Может быть...

... Она всегда гордилась своей красотой, и, наверное, как раз из-за этой гордости, требовательной и неумолимой, ей так не везло с мужчинами. Нет, конечно, у нее было множество поклонников, однако большинство из них не задержались надолго в ее жизни и даже не добились от нее физической близости. Более того, еще только знакомясь с новым мужчиной, она обычно уже с первой минуты знала, что не разделит с ним постель, и продолжала знакомство лишь в стремлении избежать скуки, больше всего на свете пугавшей ее.

Чем же можно объяснить этот факт? Промахами воспитания, завышенной самооценкой или же несостоятельностью самих ухажеров? Она не знала, да и не думала об этом. Может быть, вся проблема состояла в том, что ни один из добивавшихся ее благосклонности мужчин не подходил под тот шаблон романтического любовника, что укоренился в ней еще с детства, созданный, вероятно, каким-нибудь романом или фильмом. Ведь она мечтала о высоком широкоплечем брюнете с прохладно-серыми глазами, энергичном и самоуверенном, мечтала, что, едва встретившись с ней взглядом, он тут же будет поражен ее красотой и непременно совершит что-нибудь необычное, чтобы завоевать ее сердце.

Однако дни, месяцы, годы проходили, а высокий брюнет так и не появлялся. Вместо него вокруг нее увивались блондинчики, русоволосые и даже рыжие, или слишком щуплые и низкорослые. Но она не унывала: в свои неполные двадцать шесть лет она все еще верила в чудо. И, как это ни странно, чудо все же произошло.

Случилось это сегодняшним утром — тем самым, которое, начинаясь, обещало быть похожим на десятки и сотни утр, встреченных ею в торговом зале обувного магазинчика, где она уже три года работает продавцом. Как обычно, покупателей в этот час было мало, поэтому она не спеша прогуливалась по периметру помещения, слегка пританцовывая в такт музыке, доносившейся из радиоприемника, привычным жестом поправляла ботинки на стойках и время от времени перебрасывалась незначительными замечаниями со второй продавщицей — пухленькой шатенкой, стоявшей за прилавком. При этом изредка она машинально задерживалась у зеркала и окидывала себя критическим взглядом, за которым всегда следовала удовлетворенная улыбка.

Да, в это утро она действительно была хороша: короткая черная юбка не скрывала восхитительно длинных ног, а фиолетовая блузка удачно подчеркивала высокую грудь. И то, что она нравилась самой себе, делало ее еще более обворожительной.

Постепенно зал начал заполняться покупателями, точнее сказать, посетителями, которые просто бродили, скептически оглядывая обувь на стойках и не намереваясь ничего даже мерить. Она присела на скамеечку, поправила волосы, и тут ей внезапно привиделось на блузке маленькое темное пятнышко. Она было испугалась, однако пятно оказалось лишь игрой света. Поэтому, с облегчением улыбнувшись, она подняла голову и совершенно неожиданно встретилась взглядом с молодым мужчиной, который только что зашел в магазин. Тотчас же она вздрогнула и опустила глаза: это был высокий брюнет, тот самый, тот, о ком она всегда мечтала!

На вид ему было лет тридцать. Широкоплечий, загорелый, одетый во все черное, он выглядел необычайно привлекательно, очень мужественно.

Наконец-то! Она почувствовала приятное томление в груди: она дождалась! Вот кто избавит ее от грусти, вот кто сделает ее счастливой!

Между тем мужчина огляделся, подошел к стойке с дорогими мужскими туфлями и начал внимательно рассматривать их.

Она восторженно сказала: что если он так же, как большинство посетителей,

просто прогуляется по залу и уйдет, исчезнет? Нет, она не может этого допустить! Но что же делать? Немного поколебавшись, она решилась.

— Могу я вам чем-нибудь помочь? — со стандартной улыбкой продавщицы для потенциального покупателя подошла она к нему. Выдать ее мог лишь чрезмерно яркий румянец на щеках.

Обернувшись, мужчина пристально посмотрел ей в глаза, а затем улыбнулся, и она вся задрожала. Да, несомненно, это он, ее герой: дерзкий, уверенный, знающий себе цену. Она уже чувствовала себя покоренной, чувствовала, что пойдет за ним куда угодно, стоит ему лишь попросить, однако знала, что не должна показывать этого.

— Думаю, да, — ответил наконец брюнет. — Я хотел бы померить эти туфли.

Он указал на черные замшевые туфли с изящной серебристой пряжкой на подъеме и назвал свой размер.

— Хорошо. Сейчас, подождите минутку, — взглянув на этикетку с наименованием модели, она направилась в кладовое помещение.

Просматривая коробки на полках в поисках нужной, она лихорадочно думала, что ей делать дальше. А если он так ничего и не предпримет? Неужели она позволит ему просто уйти? Нет, этого нельзя допустить, слишком уж долго она ждала! Но как, как заставить его познакомиться с ней? Не может же она сама каким-либо образом заигрывать с покупателем! Впрочем, если у этого красавчика есть хоть капля мозгов, он должен хотя бы попытаться сделать ей комплимент.

Найдя то, что искала, она вернулась в торговый зал и, осмотревшись, обнаружила своего брюнета сидящим на скамейке для примерки обуви. Он что-то писал на маленьком листочке, вырванном из блокнота.

9 6 Поставив перед ним коробку, она открыла ее и отошла, чтобы не мешать. Народу в магазине было мало: кроме мужчины, занятого примеркой, лишь тихая пожилая пара — старичок со старушкой — и упитанная дама бальзаковского возраста с презрительно поджатыми губами. Надев обе туфли, мужчина встал, сделал несколько шагов на месте и, вытянув поочередно каждую ногу, пошевелил ступнями, затем снова сел и разулся.

— Благодарю, — подошел он к ней, лукаво улыбаясь и протягивая коробку. — Можно еще вот эти померить? — Речь шла о точно таких же туфлях, но без пряжки.

Она демонстративно поправила прическу и подождала несколько секунд, но так и не добившись желанного комплимента, вздохнула:

— Да, конечно.

Лишь снова зайдя в слегка расстроенных чувствах в кладовое помещение, она заметила на крышке коробки, которую несла в руках, небольшой листочек бумаги. Он оказался запиской:

«Вы свободны сегодня вечером?»

Господи, конечно, она свободна! Она едва не закричала вслух «да!», однако тут же опомнилась: ведь такое успешное согласие было бы слишком вульгарным, к тому же она обещала близкой подруге встретиться с ней сегодня. Поразмыслив, она схватила с полки фломастер и написала:

«Сегодня, к сожалению, я занята».

Она тут же испугалась: это «к сожалению» выглядело слишком уж кокетливо, в качестве намека хватило бы и одного «сегодня». Впрочем, не зачеркивать же! Кроме того, вдруг он окажется недостаточно догадливым?

Отыскав нужную коробку, она сунула под крышку записку и поспешила вернуться в зал. Брюнет по-прежнему сидел на своем месте. Принимая из ее рук коробку, он заговорщицки улыбнулся. Почувствовав, что краснеет, она поспешно отвернулась.

Краем глаза она видела, как он прочитал ответ, закусил губу в раздумье и, достав ручку, написал что-то на обратной стороне листка, а затем примерил туфли — так же тщательно, как и первую пару.

Когда он подошел к ней снова, протягивая коробку, она замети-

ла, что его разбирает смех, и ей тоже вдруг захотелось рассмеяться.

— Можно попробовать на размер больше? — едва сдерживаясь, спросил он.

— Конечно, — покраснев и тоже едва удерживаясь от смеха, ответила она.

Очутившись в кладовке, она нетерпеливо сорвала с коробки крышку и прочитала:

«Не лишайте меня шанса снова увидеть ваши удивительно красивые глаза! Куда я могу позвонить вам, чтобы договориться о встрече?»

Тут уж она действительно рассмеялась — искренне, довольно, — взяла фломастер и написала свое имя и номер телефона. В порыве радости она даже приложила бумажку к губам и снова захихикала.

— Пожалуйста, — протягивая очередную коробку высокому брюнету, она старалась смотреть ему прямо в глаза и улыбалась уже открыто, не считая нужным сдерживаться.

Прочитав ответ, мужчина, не скрывая радости, аккуратно сложил заветный листок пополам и сунул его в карман, затем померил для приличия одну из туфель, которые, судя по всему, уже мало его интересовали, и вернул коробку.

— Спасибо, я обязательно найду в ближайшее время и...

Он хотел добавить «позвоню», но, не желая разрушать очарования игры, лишь улыбнулся:

— До свидания!

— Всего доброго! — пробормотала она, чувствуя, что ее лицо снова готово залиться краской.

Только когда за брюнетом закрылась дверь, она вздохнула с облегчением и тут же поняла, что она счастлива, как может быть счастлива лишь женщина, встретившая после долгого ожидания мужчину своей мечты. Ей хотелось запрыгать на месте от радости, захлопать в ладоши, но она постаралась взять себя в руки и только улыбнулась.

Да, она улыбнулась, и это была та самая не покидавшая ее лица весь день улыбка действительно счастливого человека, которая и привлекла мое внимание...

...**М**ожет быть, высокий брюнет позвонит ей завтра. Или даже сегодня вечером. Впрочем, насчет звонка сегодня — я сильно сомневаюсь, потому что мне известно, что спустя полчаса красавчик уже флиртовал в кафе через два квартала с аппетитной официанткой, полногрудой блондинкой. Кажется, они договорились встретиться вечером. Но это уже совсем другая история.

Да, конечно, кто-то может ужаснуться подобному признанию, но люди для меня — это истории. Смешные и грустные, красивые и уродливые, интересные и занудные, но истории о любви. Почему обязательно о любви? Наверное, потому что любовь есть именно то, что находится на границе между мечтой и реальностью, между вымыслом и действительностью, между сном и явью, на той тончайшей грани, что обозначена частицей «бы»: было бы, могло бы...

Вот о чем я думаю, попивая холодное пиво под навесом в летнем кафе и разглядывая проносящиеся мимо автомобили. Вечер, медлительный и душный, несет людям забытие в награду за усталость. Но что же остается мне?

Может быть, я прямо сейчас, сделав очередной глоток пива и закурив сигарету, пойму, что люблю вполне конкретную женщину: например, вон ту блондиночку, или ту, что встречу за углом дома напротив, или ту, которой принадлежат один из номеров в моей телефонной книжке. Однако, заглянув ей в глаза, я не скажу ни слова. Чтобы она осознала, что это, может быть, действительно любовь.

ВЛАДИМИР ПРОНСКИЙ

ТОНКОВЕТКА

РАССКАЗ



ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ ПРОНСКИЙ РОДИЛСЯ В 1949 ГОДУ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ. АВТОР НЕСКОЛЬКИХ КНИГ ПРОЗЫ И РОМАНА «ПРОВИНЦИЯ СЛЕЗ», ПУБЛИКОВАЛСЯ В ЖУРНАЛАХ «МОСКВА», «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ», «ПРОЗА», В ГАЗЕТЕ «ЛИТЕРАТУРНАЯ РОССИЯ» И ДРУГИХ ИЗДАНИЯХ. ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ МОСКОВСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ЛУЧШИЙ РАССКАЗ (1998 Г.). ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ.

ЖИВ Т В МОСКВЕ.

Она и на грушу-то не походила: высоченная, вровень с соседней липой, корявая и плодов почти не родила. Десятка два-три в иной год осилит, но и те, едва вызрев на самой макушке, падали в бурьянистый овраг, из которого груша торчала, как голенастая заморская пальма. И никому от нее пользы, а для Степана Кузякина только вред, потому что его пчелы, начиная роиться, почему-то выбирали именно тонковетку, именно ее суковатый ствол привлекал их, будто его мазали медом. Степан даже знал: если рой сел на грушу, то и нечего пытаться снять его, потому что самая длинная лестница не доставала. А лезть по-обезьяньи — сноровка не позволяла. Не та уж была сноровка — шестьдесят почти! Вроде бы и не старый еще совсем, но и не молодой уже.

У него давно вскипала мысль спилить грушу, и так бы, наверное, и сделал, но она, хотя и росла в ничейном овраге, но в том месте его, которое являлось как бы продолжением чужой усадьбы и, по неписаным местным правилам, полностью принадлежала соседу Алешке Филимонову — прижимистому и, как все прижимистые, не дураку выпить на даровщинку. Сколько раз Степан просил его спилить ненужную грушу, даже помощь свою предлагал, но Филимонов, зная за собой силу неписаного правила, ставил условие:

— Гони, сосед, пузырек, и я всегда пожалуйста — пойду навстречу!

Маленький и вертлявый Алешка вызывал в степенном Кузякине неприязнь, даже брезгливость, поэтому и бутылку жалел, особенно когда представлял, как тот радостно будет подмаргивать да хихикать в кулачок...

Так бы, наверное, тонковетка и умерла своей смертью, но неожиданные события ускорили ее конец, хотя события эти начались еще в прошлом году, когда у бывшей Степановой залетки — Шуры Поспеловой по прозвищу Симфония — умер муж. Услышав тогда прошедший по деревне слух, Степан Кузякин воспринял его без особенных эмоций, потому что доармейская его любовь подзабылась к шестидесяти годам, а если и вспоминалась когда, то насмешливо и несерьезно. Да, наверное, и не могло быть по-другому, потому что еще тогда,

через год после призыва на службу, он, узнав, что Шура вышла замуж, постарался забыть ее. И действительно забыл. Даже имя. Только чудное прозвище осталось в памяти. И когда через много лет кто-нибудь в разговоре вспоминал первую Степанову любовь, спрашивая, где она теперь, то он делал удивленные глаза и сам же спрашивал встречно: «Симфония, что ли? Я почему знаю... Говорят, каждый год к черным мужикам на юг ездит...» При этом Степан делал многозначительную паузу и начинал первым смеяться.

Сам же он не очень интересовался Шурой Пospelовой, потому что, когда вернулся из армии, она уже уехала с мужем в Москву. И с тех пор редко в какой год видел ее. И мужа тоже. Может, когда бывают в отпуске, вместе по домам отдыха разъезжают или по санаториям каким. Кто их знает? У него своя семья есть: жена и трое детей. Старшие, дочь и сын, в городе обосновались, а младший пока никуда ехать не думает. Да и поди плохо ему за родительскими спинами. Но это ладно — другое плохо. За тридцать уже, а все еще холостой.

Избалуется — попробуй потом жени такого. А с другой стороны — хомут надеть никогда не поздно. «Я-то вот поспешил, отомстить Симфонии хотел — через месяц после демобилизации женился, — иногда думал Степан, — а спрашивается, куда спешил? Кто неволил? Погулял бы лет пяток, может, в жизни что-нибудь по-другому получилось. Вроде и так неплохо. Ан глядишь, еще бы лучше было!».

Похожие мысли приходили Степану в последние годы все чаще, а когда узнал, что у Шуры Пospelовой умер муж, — чуть ли не каждый день. Вспоминал, какая Шура была ласковая, какая желанная. Даже начал сердиться на ее покойного мужа, который жизнь с ней прожил, а ничего, наверное, этого не заметил...

Всю долгую зиму, как обычно, Шура в деревне не появлялась, а как сошел снег — неожиданно приехала первой. Говорят, бабам в магазине рассказывала, как плохо теперь в Москве на пенсию жить, да и на похороны в том году истратилась, даже назанималась... А теперь — хорошо дом от родителей остался — надо картошку сажать, бахчи разводить. А иначе совсем тяжело придется...

Услышал Степан такие новости, и самому захотелось увидеть Шуру, поговорить с ней, хотя бы чуток. Как-никак, не совсем уж чужие-то. А тут и ее саму повстречал. Будто по заказу. Шел из совхозных мастерских, а Шура зачем-то навстречу... Сама первая поздоровалась.

— Здравствуй, дорогой Степан! Как поживаешь, как детки? — спросила ласково и желанно.

А у Степана от неожиданности руки-ноги не свои сделались. Зачем-то приподнял замызганную кепчонку, словно не Шуру Пospelову встретил, а важного начальника, что-то промямлил невразумительное. Потом ругал себя: «Я только с Филимоном языкастый. Не мог с какой-то Симфонией толково поговорить!».

После мимолетной и конфузливой встречи Степана так и подмывало еще раз встретиться с ней, а уж если не удастся — хотя бы издали посмотреть на нее, понаблюдать... А как помотришь? Не пойдешь же к ее дому, не станешь поджидать у крыльца... А как-то покуривая у своего палисадника, он упростил себе задачу, когда пришла мысль о тонковетке. Ведь только надо спилить ее — и вот, пожалуйста, огород Пospelовой как на ладони. И только так подумал — сразу пошел к Алешке Филимонову. Вызвал его из дому и постарался не выдать истинной причины визита, сказал как можно ласковей:

— Твоя взяла, Алексей. Бутылка с меня — пойдем грушу завалим. А то лето ныне жаркое, пчелы раньше обычного начнут роиться.

Филимонов посмотрел на Степана с досадой, а ответил ему наставительно, немного даже жалующи:

— Говорил тебе раньше, когда водка дармовая была, не захотел! А теперь вот на дорогую пришлось раскошелиться!

Степан не стал Алешке перечить, лишь подумал: «Сейчас не только водка, а все дорогое стало... Подожди, филимонская твоя морда, прибежишь меда просить — тогда я тебя причешу».

Через полчаса тонковетка лежала поперек оврага. Тут же, у оврага, обмыли это событие. Немного поболтав, довольный Алешка отправился загонять овец, а Степан остался, с затаенной радостью рассматривая Шурин огород, оказавшийся неожиданно близко от его дома. Саму ее он в этот вечер не увидел, но не огорчился. Завтра будет день. Тогда она выйдет собирать на картошке жуков — и смотри-любуйся на Симфонию сколько хочешь. А чтобы не вызвать подозрение жены, решил завтра начать красить палисадник и, не откладывая, пошел подготовить краску и кисть. Кисть нашел сразу, а банка с краской куда-то запропастилась. Спросил у жены, а та почему-то вдруг недружелюбно фыркнула:

— Зачем она тебе на ночь глядя?

— Палисадник завтра красить буду...

— Сам же на лето в погреб ее убрал, чтоб не высохла... А чего это ты за палисадник решил взяться, если в прошлом году его красили?..

— Тебе все объяснять надо... Не видишь, что ли, краска лупиться стала!

— Чего это ей лупиться вдруг?!

— А того это... Без олифы покрасили, побыстрее да подешевле хотели...

— Ну как хочешь... — не стала больше спорить жена и на радость Степана отвязалась от него.

А Степану только этого и надо. Еле он дождался следующего дня, а с утра пораньше уже начал возиться перед домом. И, словно чуял, скоро увидел Шуру. Она появилась в белой кофточке, в коротких каких-то штанишках — молодые приезжие девчата в таких ходят, — а в руках ведро для жуков. Увидев Степана, она махнула ему рукой, и от ее внимания у него отчаянно, как в молодости, заколотилось сердце. «Ведь помнит, помнит же наши денечки, — радостно вздыхал Степан, — да и как их не помнить, когда, кажется, все вчера было...»

Степан красил штaketник, радостно насвистывал что-то под нос, поглядывал на Шуру и чувствовал себя как никогда счастливым. А в те моменты, когда, словно чувствуя его состояние, Шура тоже поглядывала в его сторону, сердце у Степана прямо-таки заходило. Это был самый радостный выходной за последние годы.

Правда, примерно через полчаса к Шуре вышел средних лет мужик и тоже стал собирать жуков. Это заставило Степана сначала удивиться, а чуть позже задуматься. Думал Степан, думал и решил, что это сын ее. Этим и успокоил себя, хотя, конечно, не до конца. Какое-то сомнение все-таки осталось. Он бы еще так долго переживал, но тут из дома вышла жена, уселась на лавочке, сына позвала:

— Иди полюбуйся на отца нашего. Совсем сдурел на старости лет. Смотри, как старается!

Когда заспанный сын вышел из веранды и, закулив, сел рядом с матерью, она, неизвестно к кому больше обращаясь, сказала:

— Симфония-то, говорят, уже замуж вышла!.. За физика какого-то... Вон на огороде вместе жуков ловят... Другая на ее месте посовестилась бы, а ей хоть бы что. Года ведь еще не прошло, как мужа-то схоронила... А физик-то на пятнадцать лет моложе этой кобылы... Так что зря наш отец вчера тонковетку спилил. От нее хоть какая-то, а польза была. А теперь смотри день-деньской на эту Симфонию, любуйся на нее...

Сын, кажется, ничего не понял, зато Степан все сразу сообразил, и от неожиданности у него будто язык отнялся. Надо было что-нибудь сказать, быть может, перевести слова жены в шутку, но не хватало сил и духа произнести хоть словечко. Он сделал вид, что болтовня жены его не касается, а она поняла, чего ему стоит это молчание. С видом победителя она позвала сына завтракать, а Степан остался стоять на коленях перед чередой штaketника. Надо бы продолжать красить, но руки сделались словно чужие и не слушались его...

ПОЭЗИЯ





Фото Геннадия ЧИСТЯКОВА



АЕААЕИ ЕД АААОДИ А

ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ ДАГУРОВ РОДИЛСЯ В 1940 ГОДУ В ГОРОДЕ НАЛЬЧИКЕ. В 1963 ГОДУ ОКОНЧИЛ СВЕРДЛОВСКИЙ МЕДИНСТИТУТ. КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК. ПЕРЕЕХАВ В МОСКВУ, ТРИНАДЦАТЬ ЛЕТ ПРЕПОДАВАЛ В МЕДИНСТИТУТЕ ИМ. СЕЧЕНОВА. ПОТОМ ПОСТУПИЛ НА ВЫСШИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ КУРСЫ ПРИ ЛИТЕРАТУРНОМ ИНСТИТУТЕ ИМ. А.М.ГОРЬКОГО, КОТОРЫЕ ОКОНЧИЛ В 1985 ГОДУ И СДЕЛАЛ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА. ЕГО ПОЭЗИЯ ДИНАМИЧНА, ПРЕДЕЛЬНО ОБНАЖЕНА, ПРИВЛЕКАЕТ СВЕЖЕСТЬЮ, ИСКРЕННОСТЬЮ ЧУВСТВ. ДВАДЦАТЬ КНИГ СТИХОВ И ПРОЗЫ ВЫШЛО У В.ДАГУРОВА В РАЗНЫХ ГОРОДАХ РОССИИ.

ПОСТОЯННЫЙ АВТОР КОЛОМЕНСКОГО АЛЬМАНАХА.

ДЕСЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ О ЛЮБВИ

ВЕСЕННИЙ СОБЛАЗН

Погода с душою согласна —
Распахнуты все этажи,
И солнечный зайчик соблазна
Касается грешной души.

Начищены лужи до блеска.
Меж той длинноногой и мной
Незримо натянута леска
И с силой влечет неземной.

Завидую резвому ветру
За то, что ему удалось,
Подобно нахальному ферту,
Коснуться колен и волос.

Впервые я девушку вижу
И вряд ли увижу я вновь.
Но трепет — как будто предвижу
Меж нами большую любовь.

Наверное, ветер весенний
Из юности дальней моей
Принес ощущение везенья
И хмель отпылавших страстей.



* * *

Ты говоришь:

«Останься у меня...»

Рукой с кольцом

Касаешься ты ладкана

И, как всегда, спокойна и умна,

Глядишь в глаза осмысленно

и ласково.

Ты моего приятеля жена.

Ты ждешь.

Ты дверь домой не открываешь.

Как тишина, ты вся напряжена —

Душой и телом олицетворяешь.

Я в зеркало на комнату гляжу:

тахта,

торшер,

опущенные шторы...

Я на мгновение, кажется, грешу,

подумав:

«Черт возьми, остаться, что ли?»

Но так лучисто светится кольцо!

И вот над миром поцелуев, спален

Всплывает добродушное лицо —

Пусть не друг,

а все ж хороший парень.

Невозмогу здесь оставаться мне!

Я уйду, башку склонивши низко,

И мне в остолбенелой тишине,

Как выстрел в спину,

щелкает английский...



ЗВЕЗДНЫЙ ЛИВЕНЬ

Мы в комнате потушим свет,

На подоконник сядем рядом.

Пусть с неба тихий свет планет

Струится белым звездопадом.

Желанье, что ли, загадать?

Лицом уткнулся в звездный ливень.

В душе такая благодать,

Что невозможно быть счастливей.

Наш дом, подобно кораблю,

Плывет в ночи тысячеглазой.

Я слово тихое «люблю!»

Не выговаривал ни разу.

Обнявшись, мы плывем одни,

И никаких нам слов не надо.

А если вдруг нужны они,

То, значит, что-нибудь неладно.

Пришел сегодня звездный час,

Сладчайший час земного счастья,

И с небом чувствуем мы связь —

Оно всегда к любви причастно.

* * *

Люби!

Лети с тоски в такси

за мною следом!

И в комнате торшер туши —

сама будь светом!

Чтобы вранье, как воронье,

как плети сплетни:

«Ах, он не первый у нее

и не последний!»

Чтоб хохотали им в лицо,

а после, плача,

То обручальное кольцо

срывала с пальца!

Неотразима и слаба,

целуйся страстно,

Чтоб за тебя и за себя

мне было страшно!

АДАМ

Господь, Ты Еву создал для добра?

Рай потерял я от ее соседства.

Ты думал, что лишил меня ребра?

А я из-за нее лишился сердца!

Но если снова: «Выбирай, Адам:

Небесный рай или земная Ева», —

Я Богу вновь ребро свое отдам —

И пусть болит тысячелетья слева!

* * *

О, будь полным-полна

нежнейшего

И чистоте не прекословь,

Когда не девочкой, а женщиной

Придешь ты к мальчику, любовь.

Его душа, как в марте веточка,

И ты открыть ему должна,

Что в каждой женщине

есть девочка

И в каждой девочке — жена.

Пусть он ничем не омрачимую

Любовь подарит в свой черед,

Когда не мальчиком — мужчиною

Однажды к девочке придет!

ВСТРЕЧА В МЕТРО

Разминулись наши эскалаторы:
еду вниз,
ты, милая, — наверх.
Смотрим мы глазами
виноватыми
оттого, что разошлись навек.

В толчею ты вышла,
на поверхность —
За тобой не кинусь я вослед.
В тихое отчаянье повергнусь —
Не догонишь счастье прежних
лет.

Может, так судьба моя
скрывается,
Оттого-то все идет не в лад...
«Осторожно, двери
закрываются!
Следующая станция — Арбат!»

* * *

Ей имя выдумали — Тайна,
Надежда, Вера и Любовь...
Но, женщина, ты — Ожиданье.
Так было, есть и будет вновь.

Ты ждешь —
как листьев ждет березка.
Ты ждешь —
как ливня ждет земля.
Такого ждешь, чтоб не берегся,
И не послушника — царя!

Чтоб страстью грешной
и глубинной
Все наблевшее излить.
Сильней желанья — быть
любимой —
Желание — самой любить.

За что огонь твоих пощечин
Не их — твои же щеки жжет.
Один и мрачен твой Печорин,
Но он мужчина и не ждет.

Терпенью бабьему «Осанна!».
И в одинаковой тоске —
Ломает руки Ярославна
И Люська курит на тахте.

* * *

Обмануло меня мое имя...
На заре самой первой моей
Нарекла меня мама — Владимир —
Дескать, миром, сыночек, владей.
Верил я — по земле по родимой
Я хозяином в мире хожу.
Красно солнышко!
Князь я!
Владимир!
Всем владею, чего захочу!
Но сверкнула ты голубоглазо
Главной звездочкой, главной судьбой.
Все мое неземное богатство
Ты олицетворила собой.
Промелькнула, как в августе, мимо,
И окуталась мраком земля.
Кроме сердца и целого мира,
Ничего у меня не взяла.
И шепчу я запретное имя,
И не знаю, куда себя деть...
Ах, Владимир,
Владимир,
Владимир,
Уж собой-то ты должен владеть!

РОМАНС

Освободи меня, помилуй!
Дай волю, руки развяжи!
Чтобы назвать другую милой,
Должны быть крылья у души.

И знаю я, кого б ни встретил,
Что ты незримой, неземной
Придешь непрошеною третьей
И скажешь шепотом: «Ты — мой!»

Я за тобой уйду послушно,
И сердце — птахою в груди.
Не возникай из мглы — не нужно!
И даже в сны не приходи!

Я сам себя не понимаю
И с обреченностью немой
Тебя с улыбкой принимаю,
Когда из мглы ты шепчешь: «Мой!»



АЛЕКСАНДР ДОРИН



АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ ДОРИН РОДИЛСЯ В МОСКВЕ В 1951 ГОДУ. ОКОНЧИЛ МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ. РАБОТАЛ ИНЖЕНЕРОМ-РАДИОФИЗИКОМ, СТОРОЖЕМ, ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ЖУРНАЛА, ЗАВЕДУЮЩИМ ОТДЕЛОМ ПОЭЗИИ АЛЬМАНАХА, ЛИТКОНСУЛЬТАНТОМ РТВ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ «РОССИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ».

ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ.

СТИХИ ПУБЛИКОВАЛИСЯ В ЖУРНАЛАХ, КОЛЛЕКТИВНЫХ СБОРНИКАХ, ГАЗЕТАХ, В «АНТОЛОГИИ РУССКОГО ВЕРЛИБРА», «АНТОЛОГИИ РУССКОЙ ПОЭЗИИ. ВЕК XX», «АНТОЛОГИИ ДУХОВНОЙ ПОЭЗИИ-2000».

ПОБЕДИТЕЛЬ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ПОЭТИЧЕСКОГО ТУРНИРА «СТИХОБОРЬЕ»(1997)

АВТОР ПОЭТИЧЕСКИХ КНИГ «ИНТЕРВАЛ» (1991), «ДУША ЗЕМНОЙ СТРУНЫ КОСНУЛАСЬ» (1994), «СВЕТЛЫЙ МИГ» (1997).

«Я ВАС ЛЮБЛЮ...»

* * *

В моем пространстве,
 не подозревая
Тех сил небесных,
 нежностью полна,
Живет любовь, нелепая такая...
И, Господи, ведь не ее ж вина
Бить преданной, поруганной...
 спасенной,
лишь в чистоте и верности клянясь,
Она, впитавшая
 иных времен каноны,
С реальностью утрачивает связь.

* * *

Едва завяжу красоту,
Невольню торможу движенье
И заменяю на скольженье
Шагов спешащих суету...
Как чутким слухом дальний шум
Тревожен, вещ... так и со мною:
Вдруг, онемев на полуслове,
Твоим Явлением дышу!
Едва завяжу красоту,
Мою праматерь и икону,
Лишь прикоснусь
Земным поклоном.
И ухожу, и ухожу..

НЕЗНАКОМКА

На секунду замри...
Я тебя нарисую,
Тонким влажным мазком
Обведу силуэт...
Не знакомую, нет —
Но уже не чужую.
Ты исчезнешь,
На память листочек-портрет.

На секунду замри...
Дай поверить в реальность,
В то, что ты не мираж,
Не причуды ума —
Плоть от плоти земной,
В сопредельном пространстве
Ты живешь,
И какая! — не знаешь сама.

На секунду замри...
Вздروгни! — будто от боли,
Боль останется мне,
А тебе ж невдомек —
Это я исчезаю,
Не узнан тобою...
Ты же — вечно со мной
В терпкой памяти строк.

* * *

Люблю красоту неброскую,
Люблю красоту нечаянную,
Где тусклого света россыпи,
А взгляд — что тоска причальная...

Пусть губы не алой свежести,
И кожи атлас не бронзовый,
И в вазе не роз букетище,
А робкий листок березовый...

Не ту: под прической модною
Сверкает зрачок волчицею! —
А плавную речь, свободную...
И гладкий пробор с косицею.

И гостьей ночной, непрошеной
Приходит мне мысль украдкою:
Быть может, в калитку простенькую
Милее... чем в дверь парадную!

* * *

Заскучала вечность у порога,
 Ни тюрьма не греет, ни сума...
 Дочь моя — принцесса-недотрога —
 Не свела еще парней с ума.

Весь в душевных ранах и потерях,
 Я боюсь непрожитых минут
 В доме, где сердечно оскудели,
 В доме, где не любят и не ждут.

Почему же так несправедливо
 Жизнь рванула ноздри у меня?
 Запах боли, гари, пепла, дыма...
 И изменой выжжена семья.

Отчего так яростно раскручен
 Я в воронках дьявольских орбит:
 За добро — распят я и замучен,
 За любовь — предательски убит...

Только с Божьей верой в воскресенье,
 Припадая к вечным небесам,
 Не прошу у Господа спасенья:
 Он — Всевышний, Он все знает Сам.

...И рванувшись, как ядро из пушки,
 Из последних сил войдя в рассвет,
 Я прильну к далекой деревушке
 На исходе вечно-юных лет.

.....

Но из ран уже сочится свет —
 Где-то в Болдино скучает Пушкин,
 Где-то в Болдино летает Пушкин —
 И во мне еще чуть жив поэт...

* * *

Когда душа устала ждать
 Любви — и корчиться в расплатах
 За верность и огонь в крови... —
 Не приведи, Господь, к утратам!

Когда душа устала жить
 В нелепом теле виноватом
 И этой жизнью дорожить... —
 Не приведи, Господь, к утратам!

Когда душа устала быть
 Бессмертной пленницей, солдатом...
 И множить вечный ход судьбы —
 Не приведи, Господь, к утратам!



ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА БАШКИРОВА РОДИЛАСЬ В 1948 ГОДУ В ГОРОДЕ КОЛОМНЕ. ОКОНЧИЛА ЗАРАЙСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ. ЗАНИМАЛАСЬ В ЛИТОБЪЕДИНЕНИИ «ЗЕЛЕННЫЕ ЦВЕТЫ» ПОД РУКОВОДСТВОМ ПОЭТА ОЛЕГА КОЧЕТКОВА.

ПЕЧАТАЛАСЬ В ЖУРНАЛАХ «МОСКВА», «СМЕНА», В АЛЬМАНАХЕ «ПОЭЗИЯ», В ГАЗЕТЕ «РОССИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ».

ЧЛЕН РЕДКОЛЛЕГИИ КОЛОМЕНСКОГО АЛЬМАНАХА С ЕГО ОСНОВАНИЯ. ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ.

ЖИВЕТ В КОЛОМНЕ.

СКАЗАЛИ ПРАВДУ ЗЕРКАЛА

* * *

Вплела в строку невзрачный подорожник.
Твоей душе — покоя б, тишины.
Но отчего так трепетно-тревожно
Глаза лучом заката зажжены?

Дрожит морщинка над твоей ресницей
Да клонится от ветра голова.
Тебе о том, который часто снится,
Вдруг нашптала поздняя листва.

И, позабыв наветы и заветы,
От душного уюта, от плиты
Твое воображеньё бродит где-то,
И вслед за ним к огню стремишься ты.

А город смотрит ликом незнакомым.
В ночи твое дыхание горячо.
Шальным ветрам ты даришь стены дома,
Чужой судьбине — мужнино плечо.

* * *

Унесло покой осенней ранью.
Стынет дом без моего тепла.
О моем закате, душу рая,
Мне сказали правду зеркала,
Чтобы я одумалась когда-то,
Позабыв свою любовь-беду...
Перед целым светом виновата,
В ноги горьким травам упаду.

А земля родная не отринет —
Все поймет, и все простит, и примет.

* * *

Хорошо, что настала ты, осень,
Что дожди по цветам шелестят.
Вечер серые тучи набросил
На пылающий тихий закат.

Птицы с листьями вдаль улетели.
Этим хмурым проветренным днем
Я трезвею от летнего хмеля
Под холодным осенним дождем.

Я трезвею от радуги летней,
Не вернется — зови, не зови, —
Да еще от прощальной, последней,
Как всегда, непутевой любви.

Минет боль и придет вдохновенье —
Строчки песнею хлынут из уст,
Да великое благо — терпенье —
Мне подарит Господь Иисус.

Станет в жизни еще тяжелее,
Но утешимся тем, что живем.
Я трезвею, трезвею... хмелею
Под последним осенним дождем.

* * *

Сыплет дождик бус горошины
Напоказ.
Тучки шепчут мне: «Ты брошена!» —
В первый, что ли, раз?
Как в апреле льдинка таяя,
Я бледна.
Кто со мною? Тень усталая
Лишь моя одна.
Дремят руки неразумные —
Не у дел.
Вместо сна — сережки лунные
Вечер дать хотел...
Сколько раз вот так же маялась
По весне,
Зарекалась да каялась —
Надо жить, как все!
В непутевую породу ли
Удалась?
Без оглядки и до одури —
Сколько ж можно раз?

* * *

Я тебя придумала. Я знаю.
 Это было вечером, когда
 Стыла в окнах зорька расписная
 Да дрожали в мире холода.

Отводила позднюю рукою
 Напрочь все пороки от тебя.
 Утешалась горькою строкою,
 Как велела, как вела судьба.

Чем привлечь тебя — совсем не знаю, —
 Лучше стать и этой, и ее...
 Ты, шутя другую обнимая,
 Вдруг швырнул меня в небытие.

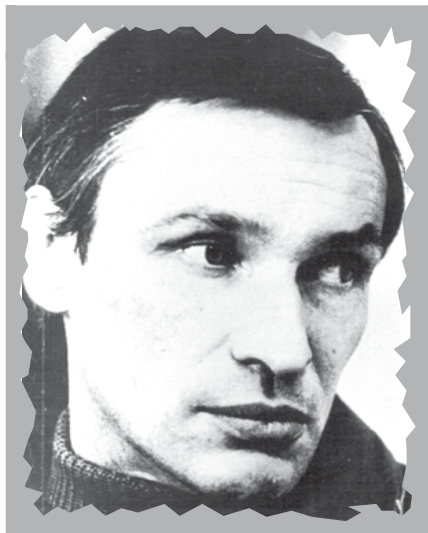
Взгляд погас. Устало сердце биться.
 Тяжело легчает голова,
 Ведь над нею выпущены птицы —
 Все твои улыбки и слова.

* * *

Убегу в суматошные будни
 И забудь, сколько лет за плечами.
 Погадай: встреча будет? Не будет?
 И опять просыпайся в печали.

Это было с тобой, уже было, —
 Ну зачем начинать все сначала? —
 Как ты душу свою износила...
 А иначе б стихов не писала.





ЛЕВ КОТЮКОВ

ЛЕВ КОНСТАНТИНОВИЧ КОТЮКОВ РОДИЛСЯ В 1947 ГОДУ В ГОРОДЕ ОРЛЕ. ОКОНЧИЛ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИНСТИТУТ ИМ. ГОРЬКОГО. РАБОТАЛ НА СТРОЙКАХ, В РЕДАКЦИЯХ И ИЗДАТЕЛЬСТВАХ.

ЛЕВ КОТЮКОВ ОТМЕЧЕН ЗА ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТРУДЫ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИЕЙ И ПАТРИАРХОМ ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЕМ II. ЛАУРЕАТ БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ. АВТОР БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ КНИГ СТИХОТВОРЕНИЙ И ПРОЗЫ. ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПЕРЕВЕДЕНЫ НА МНОГИЕ ЯЗЫКИ НАРОДОВ МИРА.

ЛЕВ КОТЮКОВ — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СП РОССИИ, СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ, АКАДЕМИК МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ ДУХОВНОГО ЕДИНСТВА НАРОДОВ МИРА, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «ПОЭЗИЯ».

НЕВОЗМОЖНОЕ

* * *

Темь уходит кромешная,
Распрощавшись с огнем.
И душа многогрешная
Плачет в сердце моем.

Но душа в непредсказанном
Вечной волей живет.
То, что познано разумом
Раньше смерти умрет.

То, что сердцу неведомо,
Мир спасет от беды.
Распрощаются с бедами
На рассвете сады.

Слово на сердце просится,
Но душе тяжело...
Скрип тележный доносится
По дороге в село.

Лупят лошадь поводьями,
Свет мигает в окне...
Я тоскую по родине
На родной стороне.

ИМЯ

Лениво кружит воронье.
Полощутся вялые флаги.
Начертано имя твое
Корявым пером на бумаге.

Начертано имя твое
Безвестной неладной рукою.
Лениво кружит воронье
Над праздничной, пыльной толпою.

Лениво кружит воронье,
И смотрит толпа нелюдимо.
И имя не помнит свое
Любовь, пережившая имя.

Зачеркнуто имя твое.
Кончается праздничный вечер.
Летит на закат воронье,
А я еще жив и беспечен.

Летит на ночлег воронье.
В закат уползает дорога.
И вечное имя твое
Не помнит никто, кроме Бога.

ЯВЬ И НОВЬ

Я прошел через площадь печали,
Я вошел на аллею любви.
И взметнулась душа, как в начале, —
Белой птицей, омытой в крови.

Я очнулся за рощей опавшей,
Ни о чем, ни о ком не скорбя.
Здесь когда-то я был себя старше,
Здесь остался моложе себя.

И опять все, как встарь, повторилось,
И осыпалось время, как ржа.
И на миг от меня отрешилась
В жарком облаке крови душа.

И взметнулась осенняя стая,
И взревела воздушная ярь,
Там, где явь еще новью не стала,
Там, где новь не осилила явь.

И в борении яви и нови
Обращается Солнце — Луной.
И незримое облако крови
Все летит и летит надо мной.

НАРОД И ПОЭТ

Где же ты, моя свобода?!
Я сижу себе не рад.
Из-за тына-огорода
Вылезает старший брат.

Говорит, тая ухмылку:
— Я — народ, а ты — поэт!
Дай-ка денег на бутылку!
У народа денег нет...

Мне б послать его подальше,
Но не гоже — старший брат...
Говорю, кривясь от фальши:
— Денег нет, а водка — яд!

Брат кричит мне с огорода:
— Чтоб ты лопнул от стыда!
Как ты был врагом народа —
Так остался навсегда!..

* * *

Вот и кончилось лето,
Огород в беспорядке.
Огуречные плети
Вяло стынут на грядке.

Низкий дым — к непогоде,
Что-то случится вскоре...
Наше время уходит
Через дыры в заборе.

В огороде, как в яме,
У судьбы на примете,
Я сгребаю граблями
Огуречные плети.

Я прорехи в заборе
Горбылем забиваю,
Что-то случится вскоре...
Что-то будет?.. Не знаю...

И в костре почернели
Огуречные плети.
Кто я есть в самом деле?
Что мне надо на свете?

Что-то случится вскоре,
Что-то будет со всеми?..
Через щели в заборе
Пробивается время.

* * *

Где ты, жизнь молодая?!
Где иные края?
Сила бьет неземная
Из глубин бытия.

И во сне, и воочью,
Жизнь и смерть напролет,
Будто свет в час полночный
Сила темная бьет.

Бьет, как нефть кровяная,
Заливая зарю.
И, любовь забывая,
Я как факел горю.

И любовь позабыла
Обо мне... Бог, прости!
И незримая сила
Держит пламя в горсти.

УТРЕННИЙ ЭКСПРОМТ

Зачем-то надобно вставать,
Куда-то надобно спешить!..
И это жизнь, едрена мать!
И эту жизнь не повторить!
Как первый поцелуй во тьме,
Как ночь бессонную в тюрьме.

Но надо, надобно вставать
И, сунув голову под душ,
С тоской открытой вспоминать,
Что ты еще отец и муж,
Что на дворе давно весна,
Что жизнь свободе не нужна.

Пора, пора давно вставать,
Гремят дверями этажи.
Вовеки жизни не узнать
Забывтый сон твоей души.
Забывтый сон из бездны лет,
Где тьма являет вечный свет,
Где в безднах инобытия
Тебя хранит любовь твоя.

НАД БЕЛОЙ СИРЕНЬЮ

Незабвенная, беспмятная, юная
Наша жизнь, как поздняя роса.
Тихой полночью, холодной и безлунною
Над сиренью белой голоса.

Голоса живые над сиренями.
У могилы дальней никого.
Сочинил бы кто стихотворение,
Да никто не слышит ничего.

Голоса живые над сиренями,
И в овраге мертвая вода.
И за тьмой незримого цветения
Опадут сирени навсегда.

Нет кольца на пальце обручального.
И душа уходит, будто тень.
И, дрожа от голоса прощального,
Сыплется в ладонь мою сирень.





ЕВГЕНИЙ ЮШИН

ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ ЮШИН РОДИЛСЯ В 1955 ГОДУ В ГОРОДЕ ОЗЕРЫ. ЖИЛ НА РЯ-
ЗАНЩИНЕ, В КОЛОМНЕ (ЩУРОВО), В ЗА-
БАЙКАЛЬЕ. ОКОНЧИЛ БУРЯТСКИЙ ПЕДА-
ГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ В УЛАН-УДЭ. ЧЛЕН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ.

АВТОР СЕМИ ПОЭТИЧЕСКИХ КНИГ. ЛАУРЕАТ
ПРЕМИИ ИМЕНИ А.Т. ТВАРДОВСКОГО (1998 Г.), ЛА-
УРЕАТ ВСЕРОССИЙСКОГО ПОЭТИЧЕСКОГО КОНКУР-
СА ИМЕНИ А.ПУШКИНА (1999 Г.), ЛАУРЕАТ ЛИТЕРА-
ТУРНОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
(2002 Г.).

ЖИВЕТ В МОСКВЕ. РАБОТАЕТ ГЛАВНЫМ РЕ-
ДАКТОРОМ ЖУРНАЛА «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».

ЧТО-ТО ЗНАЕТ ДУША...

* * *

Скучаю по зимней деревне,
Где скрипом ложатся следы
И где молодые деревья,
Как старые, так же седы.

Мне слышится скрипка метели
И голос печного огня.
Мне так города надоели,
Что в городе нету меня.

И радостно сердцу услышать
В пору воробьиных утех,
Как в холод вонзаются лыжи
И падает тетерев в снег.

Оглянешься — лето по кружке
Стучит дождевою водой.
И тлеет березовой стружкой
Над лугом туман молодой.

Зачем же за скриплою дверью
Все кличет меня соловей?
Зачем же так радостно верю
Мечтаньям жизни своей?

Все призрачно: слава, удача.
Неведом начертанный путь.
И вьюга, как женщина, плачет
И песней ложится на грудь.

* * *

Вишни падают. Вся земля
под деревьями — сыпью.
Подобрав гребешок,
как заплата цветная, петух
Боком, боком, вприсядку
по грядкам шаги свои сыплет.
И угрюмой индюшкой
уткнулся в корыто лопух.

Я люблю это время молочное
в сахарных осах.
Тонкий ломтик луны
у горбатых под сеном телег.
И все смотрит куда-то
сквозь поле и небо береза.
Что-то знает душа,
но не может понять человек.

* * *

Беркут плавает над миром.
Степь дымится, словно плов.
Поливает солнце жиром
Застоявшихся коров.

Овцы черные, как тучи
По траве дорогу ткут:
То собьются шапкой в кучу,
То струею утекут.

И такие тут пожары
Раздувают вечера,
Что из пепла белой фарой
Пробивается луна.

И, прищурившись на ветер
Так, что глаз не увидеть,
Всадник тихо о планете
Начинает напевать.

Так иду, куда — не знаю.
Так ищу — чего найду.
То ли камень повстречаю,
То ли душу обрету.

* * *

Селений вечерние гнезда
Огнями вморожены в даль,
И, словно далекие звезды,
Такую же сеют печаль,
И так же зовут безответно,
И так же истают с зарей
За легким туманом, за ветром,
За алой небесной золой.

Селения ходят кругами
И, перелетая простор,
Садятся в луга за полями,
Ложатся на днища озер,
Томятся в полуночной яме
И падают в ноги звезде,
А то — поплывут журавлями
И сгинут неведомо где.

* * *

Анатолию Житному

Сухое небо пахнет глиной.
Гудит гончарный круг земли.
И в небо длинной пуповиной
Ночные тянутся огни.

Они, родившиеся криком,
Молитвой, вырвавшей в крови,
К просторам вечным и великим
Восходят в поиске любви.

Мы все немножечко бродяги.
Дружище, расправляй крыла!
И на обочине оврага
За это выпьем из горла.

И, окунув лицо в ладони,
Закрыв глаза, увидим вдруг,
Как горячо целуют кони
Росою обожженный луг.

На даль родную ветром ляжем,
У звезд задумчивость украв.
И мир услышит души наши
Зелеными ушами трав.

* * *

Переплывая из года в год,
Перетекая из века в век,
Небо дождями идет с высот,
Чтобы пришел к нему человек.

В этой купели родной земли,
В этом ковчеге земли родной
Все небеса на меня легли
Всею своей святостью, всею виной.

Я прижимаюсь к печи теплей.
С пенных поленьев стекает мед.
Млечный огонь по избе моей
Счастье и горе мои ведет.

В теплых поленьях гудит вино.
Дремлет судьба на моей груди.
Кто-то стучится в мое окно.
Дверь отворяю — идут дожди.

* * *

Спит провинция в букете лопухов,
Греет брюхо солнце мокрое в стогах,
И плывут себе сады у берегов,
Где туманы водят реку под бока.

Стадо теплое мычит у городьбы,
Тракторист опохмелился с утрава,
И огромный, как амбар, тяжелый бык
Спозаранку засучает рукава.

Нерасчесанного сена седина.
Точат шпоры молодые петухи.
И прозрачная, как яблоко, луна
Оседает на сырые лопухи.

Бородатый и невыспавшийся шмель,
Приворчевывая, кружит у плетня,
И звенит уже на тридевять земель
Домотканая провинция моя.

* * *

Замело вокруг овраги,
Наступи — и нет тебя.
Снег играет, словно брага,
В печи дымные трубя.

Длится мрак и днем и ночью,
Навевает вьюга шаль.
Сиплый ветер звезды точит
Добела, до острых жал.

Снится рыхлая дорога,
След оттаявшей травы,
Над колючей шубой стога
Прядь полетной синевы.

Поскорей бы лето — в стремя,
Жар стрижиный над жнивьем!..
Что ж мы так торопим время,
Словно нынче не живем?

Словно все мы под наркозом:
Эта даль и клин берез.
И летит, летит с откоса
Снежный змей из-под колес.



ИВАН ГОЛУБНИЧИЙ



ИВАН ЮРЬЕВИЧ ГОЛУБНИЧИЙ РОДИЛСЯ В 1966 ГОДУ В МОСКВЕ. ПЕЧАТАЛСЯ В ЖУРНАЛАХ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ», «МОСКОВСКИЙ ВЕСТНИК», В ГАЗЕТАХ «ЛИТЕРАТУРНАЯ РОССИЯ», «ЗАВТРА» И ДРУГИХ МОСКОВСКИХ ИЗДАНИЯХ.

АВТОР ТРЕХ СБОРНИКОВ СТИХОВ. ПОЭЗИЯ ИВАНА ГОЛУБНИЧЕГО — О БОГЕ, О ЛЮБВИ, О ЖЕНЩИНЕ. ПОЭТ ГОВОРИТ НАМ О ТЕХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЯХ, БЕЗ КОТОРЫХ НЕМЫСЛИМА ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ.

ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ ПЕТРОВСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК И ИСКУССТВ. ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ «МОСКОВСКИЙ ЛИТЕРАТОР».

ПРИБЛИЗИВШИСЬ К ЧЕРТЕ

* * *

Когда устанешь от пустых затей
И примешь тихий постриг в отдаленном
Монастыре, среди дубов и кленов
В молитвах и блаженной нищете...

Потом, когда, приблизившись к черте,
Которой нет светлей и сокровенней,
Познаешь Бога в тайном откровенье,
Уста запечатлевши на Кресте, —

В твой смертный час пусть ангел осенит
Тебя крылом и чистою молитвой,
Пусть будет светлым твой последний сон!

...Я просыпаюсь. Тишина звенит.
Рассвет пронзает ночь холодной бритвой.
Кошмарный день встает со всех сторон.

* * *

На темных одеждах — дорожная пыль.
В ладонях — остатки даров.
В угрюмых надеждах — крошечная былль
И пламя грядущих костров.

В угасших глазницах — иллюзии крах
Да девственных снов лепестки,
Сожженных миров остывающий прах
И море смертельной тоски.

На звездных дорогах мы встретимся вновь —
Ведь сходятся где-то пути?
И если была между нами любовь,
Прости меня, жено, прости...

* * *

Забудь меня. В затерянном краю,
Где лишь озера сонные окрест,
Где ветры песни вольные поют,
Стоит мой крест.

Забудь меня. Меж сосен и камней
Сюда тропа забытая ведет,
Но только не ходил никто по ней
И не пройдет.

Забудь меня и мой тревожный стих,
И мне судьбы достойной не пророчь.
Здесь ночь плывет в туманах ледяных
И день, как ночь.

...А может, выйти в полночь и упасть,
И снег лицом заплаканным согреть,
И эту вьюгу белую проклясть,
И в этой вьюге заживо сгореть,

И перед смертью вспомнить старый стих,
Пусть мертвые уста его хранят:
«Как страшно в этих комнатах пустых!..
Забудь меня».

* * *

Однажды, в тихом сентябре,
Когда желанья угасают
И сновиденья не спасают
От страшных мыслей на заре...

Когда любимые слова,
Произнесенные напрасно,
Звучат спокойно и бесстрастно —
И не забыть, не разорвать!..

Когда желанны вечера
Подобием успокоенья,
И вдохновенья, упоенья
Всем, что утрачено вчера...

Когда холодная строка
Срывается тоскливым криком,
И ночь в молчании великом
Грядет, как будто на века...

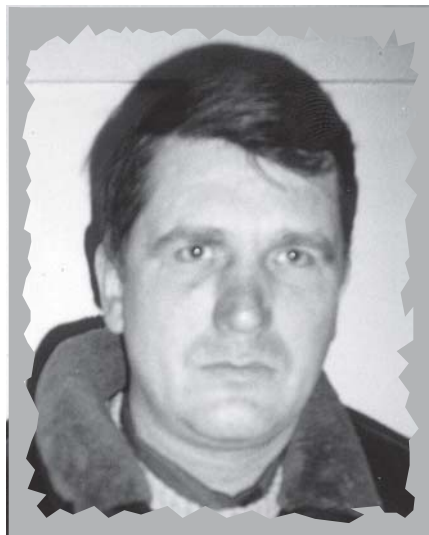
Уже немного постарев,
Пройду по пламенным аллеям
И ни о чем не пожалею
Тогда, в холодном сентябре.

* * *

Не тайны шумных городов,
Не суета чужих гостиных,
Не тяжкий путь в местах пустынных
К пределам вечных холодов,
Не прозябанье у камина
В потемках прожитых годов...

А просто так — вино в бокале,
Свечной огарок на столе,
И чтобы звезды там, во мгле,
Слезами по небу стекали,
Через портьеру проникали
И растворялись в хрустале.





АААЕÈ ÊÀÀØÍ ÈÍ

ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ КВАШНИН РОДИЛСЯ И ЖИВЕТ В ДЕРЕВНЕ ЛУКЕРЬИНО КОЛОМЕНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. РАБОТАЛ ТРАКТОРИСТОМ, ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА — АГРОНОМОМ В КОЛХОЗЕ «РОДИНА».

УЧАСТНИК VI ОБЩЕМОСКОВСКОГО СОВЕЩАНИЯ МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ.

СТИХИ ПЕЧАТАЛИСЬ В АЛЬМАНАХЕ «ИСТОКИ» И «КОЛОМЕНСКОМ АЛЬМАНАХЕ», ЖУРНАЛАХ «СЕЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖЬ» И «ЮНОСТЬ», КОЛЛЕКТИВНОМ СБОРНИКЕ «РАДОНЕЖ». В 1991 ГОДУ ВЫШЛА НЕБОЛЬШАЯ КНИЖЕЧКА СТИХОВ «РУССКОЕ ПОЛЕ», В 2001-М — «ДОСТАВШИЙСЯ ПУТЬ».

НА КОНКУРСЕ «ИЛЬЯ-ПРЕМИЯ'2001» ОТМЕЧЕН СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРИЗОМ «РОЖДЕНИЕ КРЕСТЬЯНИНА».

НАСМОТРИСЬ НА СТЕРНИСТОЕ ПОЛЕ

* * *

На родину, в даль заповедную
Вело меня чувство незрячее,
Вела меня боль безответная,
Несла меня песня горячая.

Не гостем гостил, не хозяином,
Но стлались дороги незваному,
И вольно паслось по окраинам
Коню моему деревянному.

Но здесь он остынет, отпляшется,
Один постойт у обочины,
Оборотится, окажется
Избою, кругом заколоченной.

Изба — только дверь незакрытая,
Холодная печка не топлена,
Пустынна, как жизнь позабытая,
Просторна, как песня раздольная.

И чем же ты дышишь, печалишься?
Моею ли песней согреешься?
От этих ли звуков наплачешься?
На этого ль гостя надеешься?

* * *

Насмотришься на стернистое поле,
На зеленый березовый лес.
И на то, как работа и воля
Вековечно соседствуют здесь.

Но они-то об этом не знают
И терзают друг друга больней.
Здесь рожденное сердце впитает
От лесных и пшеничных корней.

А вот в дизельном гуле и дышит,
Да и бьется как будто ровней,
Но однажды поймет и услышит
Звуки диких, глубинных скорбей.

Что за плугом они цепенеют,
Что и в сердце сжимают круги, —
И холодные руки немеют,
Выжимая свои рычаги.

Остановишься, выехав с поля,
Отвалив неподатливый пласт.
Это только работа, а воля —
Сколько хватит прикованных глаз...

В ОКТЯБРЕ

А помнишь, шум стоял среди берез,
И день горел, недвижимый и яркий,
И нехотя с холма спускался воз
К топившейся у речки грибоварки?
Остановился там, перед мостом.
Перелетали в поле куропатки.
Земля в извечном знании своем
Уже студила холодом лопатки.
В обмане светлом греющих лучей,
Еще не веря в то, что отвисели
Все листья опадающие к ней —
Под собственной ли тяжестью? — летели...

* * *

Ты это знаешь, тихая река:
Качнулся поплавок, ушел под воду...
И чья-то боль на острие крючка
От берегов метнулась к небосводу.

Ты это знала, трудная душа:
Здесь жизнь течет в заботах на потребу.
Святая боль от плуга и ножа,
Как по судьбе — по времени и хлебу.

* * *

Олегу Кочеткову

За короткую жизнь передумаем многие думы.
И в пустых разговорах

ответим не раз невпопад.

По дороге домой от веселых забот и угрюмых
На одной из развилок

посмотрим вперед и назад.

Остановимся здесь, у огромного вешего дуба,
Что один и веками — взирает на эту юдоль,
И вбирает листвой, и корнями,

и мякотью луба

Вот уж сколько веков накапливая

и радость, и боль.

И ему средь дорог необъятного отчего края
Почитаем за честь, неизменно встречая в пути,
Поклониться за то, что умеем хранить, отдавая,
Поклониться за все...

И к родимому дому пройти.

* * *

И рассвет с несерьезною хмурью,
И недолгая праздность дорог.
Мягко щурится небо лазурью,
Тихо греются травы у ног.

Через час сумасшедшее лето
Уведет трактора в борозду.
Оно кончится осенью где-то
На холодном предзимнем ветру.

И тогда — нестерпимая мука —
Недопахан останется клин.
Постоишь перед долгой разлукой,
Помолчишь с ним один на один...

И тебе за ушедшее лето
Будет время подумать всерьез:
То ли волей отцовских заветов,
То ли сам в эту землю пророс?

* * *

Когда ни солгать, ни слукавить,
Ни радужным взором взглянуть
На ту — неизбывную память,
На этот — доставшийся путь.
Признайся под небом свинцовым,
Глотая Отечества дым:
То поле, что было отцовым,
Да разве не стало твоим?
Хлебнувшее страха и боли...
Виновное — вашей виной...
Тебе ли бежать твоей доли,
Тебе ли гадать об иной?

* * *

Я бродяга, и жизнь вся — дорога.
От подушек чужих, простыней
Поседел, полысел понемногу,
Но не стало мне мира видней.
И я к дому бреду через поле,
От далеких столицы огней.
Зимний ветер и воет и стонет,
Стонет, воет по жизни моей...
Добреду и в тяжелом похмелье
Я домой постучусь чуть живой,
И жена, обмирая за дверью,
Отворит. «Ты откуда — такой?!
Боже мой, ты явился откуда?
Где бродил столько весен и лет?»
Я оттуда, оттуда, оттуда,
Где ни правды, ни истины нет...
Сын и дочь, я отец непутевый.
(На свету не проснутся никак.)
Я достану из сумки холщовой
По гостинцу им — в каждый кулак.
Сын малыш, а уж дочь — недотрога.
И я вижу — никто мне не рад.
Но постелит жена у порога,
Где просплю двое суток подряд.
А проснулся — и все мне знакомо...
Что ж бродил столько весен и лет?
Вижу стены родимого дома,
Где и правды, и истины свет!

ВЕТЕР ПОЭЗИИ

Ну вот и все, жизнь встала на места,
Уже ничто не жжет, не лихорадит.
Так отлетает медленно с куста
Последний лист и с мокрым ветром ладит.
И ладит с этой мокрою землей,
Где и ему истлеть пора настала,
Так лажу я со всей моей семьей
И, поправляя дочке одеяло,
Растерянно и медленно гляжу,
Как выросла она и возмужала.
И я себя, бездомника, сужу.
Душа чего же лучшего желала?
Ведь сладок этот родственный покой.
Прямые тени в комнате под вечер.
Но давит душу ветра встречный вой,
Внезапные пронзительные речи
Прошелестят серебряной травой,
Подхватят лист, и с ним взметнутся снова,
И понесут над мокрою землей
Заветное, трепещущее слово.
А стихнет все, тому листу лететь
К родной земле и больше не подняться.
Так мне за этим ветром не успеть,
Но невозможно в нем не оставаться.

* * *

Девочке Даше

Ты прости, что тебе я прохожий,
Что ни сердца, ни рук, ни лица
Для тебя, но, чертовка, похожа
Ни на маму ты, ни на отца...
Но я знаю, я помню, как эхо —
Вспыхнет встреча, сияет лицо!
И обнимет, завьюжит с разбегу
Твоих рук молодое кольцо!
Ты прости, что я так потерялся,
За беспомощные кулачки
И за взгляд твой, в меня он вонзался
Как у взрослых — зрачками в зрачки...
Но и бабушка маму ругает,
Топчет топотом, веником бьет!
ОН талантливо их разнимает,
ОН возвышенно их разведет...
Одинокий и чистый и светлый
Взгляд твой выдержал этот накал.
Запирался один, безответный,
Нас, безумных, казнил и прощал.
Светло-светло душа засыпала
После нудного, трудного дня:
Сердцем легкая, все понимала,
И в ручонках котенка сжимала,
И похожа была на меня!

* * *

На старом далеком кладбище,
Где воздух отстоян и чист,
Кружится, пристанища ищет
Последний березовый лист.

Снижаясь в закатные тени,
Рябин облетая семью,
Опустится мне на колени,
Присядет ко мне на скамью.

Рябиновый ветер застонет.
Далекie звоньe звонят.
Сюда и меня похоронят,
Сюда, где отец мой и брат.

Не знаю я, сколь еще жить мне...
Прощай, дорогая родня.
Покой вам, а место держите,
Здесь место мое, для меня.

Вдохну этот воздух глубокий.
Как он удивительно чист!
Ну что же, пока, одинокий,
Последний березовый лист...

* * *

Да здравствуй, постылой судьбою храним!
О мертвых ни слова, но мне отмерцало:
Довольно под пепельным нимбом твоим
Живого и мертвого слова звучало.

С холодным волнением внимал я живым,
Презрением черствым речам откликался.
Словутный, над Русью парил Серафим.
Дай Бог, что ты есть, и дай Бог, чтоб остался.

Сюда было много и разных дорог,
Отсюда, казалось, одна исходила:
Забудь свое имя, почивший пророк,
Грядут ураганы, забудь свое имя.

И этой могучею силой влеком,
Я молча уселся в твой поезд железный.
Уехал. И ехала Русь за окном
В мой вечный приют за оградой облезлой...

У синей ограды плыло пеленой:
Зима. И железных венков шевеленье.
Здесь кто-то курил и ходил надо мной,
В ночи ожидая мое возвращенье.

Мне близко всплывало в белеющей мгле
Живое лицо и плыло по дороге,
Наверно, последних на этой земле
Своих размышлений о жизни и Боге.

Оно уплывало в его забытье,
Откуда уже никогда не вернуться
Сюда, где слепое чадит воронье
И темные, темные коршуны вьются.

Да здравствуй, постылой судьбою храним!
Мы молча уселись в свой поезд железный.
Проехали прошлым, вернулись — к живым
На вечный покой за оградой облезлой...

Поздравляем Вадима Квашнина
с присуждением ему премии
Всероссийского поэтического конкурса
имени Сергея Есенина за 2003 год!





АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ КОСТИН РОДИЛСЯ В КОЛОМНЕ В 1968 ГОДУ. ОКОНЧИЛ СУВОРОВСКОЕ УЧИЛИЩЕ И ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ В МОСКВЕ. ПРОСЛУЖИЛ ОКОЛО ГОДА ВОЕННЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ (ФРАНЦУЗСКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫКИ). ЖИЛ В ПАРИЖЕ, ИЗУЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ФИНАНСЫ. ЕГО СТИХИ ПЕЧАТАЛИСЬ В ЖУРНАЛАХ «АРИОН», «НОВЫЙ МИР», «НОВАЯ ЮНОСТЬ», «ЗНАМЯ».

АВТОР ДВУХ ПОЭТИЧЕСКИХ СБОРНИКОВ.
ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ПО РОДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖИВЕТ В ОСНОВНОМ В ИТАЛИИ, В МИЛАНЕ.

НА ВСЕ ЛЕТО

* * *

Я подходил к окну, на свет,
разматывал проявленную пленку.
Забавный кадр, и ты смеешься звонко
из-за плеча. Нам девятнадцать лет.

Пластмассовые ванночки, раствор
и лампочка рубинового цвета.
Как радостно готовилось все это!
Тянулся удлинитель в коридор.

Мы запирались поздно, в ночь.
Ругались шепотом из-за заминок.
Потом рождался новый снимок,
похожий на тебя, на ту, точь-в-точь.

Куда тянусь я и не достаю
теперь, тому уже не проявиться.
Как глянец, первый иней серебрится.
Я тебе его дарю.

* * *

Уже закрыт на станции ларек,
и мы — без хлеба. На велосипеде
я мчал зазря, не покладая ног,
сверкая спицами и дыркой в кеде.

Увидев мой пустой кулек,
пусть позлорадствуют враги-соседи.
Ты знала все, поставила пирог
и прилегла под яблоней на пледе.

* * *

Был жив торшер еще, и покрывало
махрилось, пахло августом, когда
на полке старой «Юности» хватало
на вечер. На все лето. Навсегда.
Кого теперь печатают журналы?
Как подписной кампании страда?..
Нас было двое. Мало? Мало.
Нас так легко перелистало,
через страницу будто, да?

* * *

Мы старой прессой разожжем костры.
Так поступали садоводы-предки.
И в римских цифрах гордых той поры
торопит пламя съезды, пятилетки.
Где мелкий шрифт — хрущевские дворы.
Сухие листья, но чуть влажны ветки
смородины и яблонь. Стон коры.
Повалит дым, густой-густой и едкий.

* * *

Не надо на душу бальзама, но во рту
пусть дольше таяла б тахинная халва.
Я не прощаю чаепитий нищету
и чай в пакетиках. Все прочее — слова.
Налей — не спрашивай — в мою когда-то, в ту.
По старой памяти я вдруг, отпив едва,
согреюсь больше, чем положено. Прочту
в твоих глазах себя, презайму родства.

* * *

Зачем так долго тянутся — потом —
снаружи дни и держат руку? Лица
всплывают, будто за двойным стеклом,
и смотрят, чтобы не проговориться.
И жар — под одеялом, или дом
нарочно бросили тонуть в метели,
чтоб изнутри теперь густым теплом
его оплавить, просмолить все щели.
Так не топили раньше. Будто печь
придвинули вплотную. Жар, как пламя,
колышет дом, чтоб расслоить, отсечь
его молчанье — бледными тенями.
Еще, наверно, утро. И окно,
почти сливаясь со стеной — лилово.
И свет внутри — лишь тусклое пятно:
он тихо тает, усыпляет снова.
Перевернуться на бок. Кружка, стул.
Сползает вниз — так долго — одеяло.
Его поправил кто-то, подоткнул
в ногах, везде. И все, как прежде, стало.

* * *

Мы говорим на разных языках,
и мы молчим на разных диалектах.
Слова сгорают, превращаясь в прах,
или немеют, леденея в клетках.

Мы мчим на разных поездах,
плывем чужими кораблями,
ночуем в дальних городах
с другими именами.

Но мы летаем все равно
в одном парении роскошном,
прекрасные, как антиподы-боги, но
как просто боги — в прошлом.

* * *

Всю эту клинопись мою, избыток
наскальных профилей не скомкать впопыхах
Собрав коробки и тюки пожиток,
проверив напоследок в ящиках-столах,
не выбросить, как, вдруг, набор открыток,
названья мест и почерк, даты на углах.
Гербарии из шоколадных плиток,
что будут найдены потом уже в томах —
улики веские совместных читок.
Я отпущу тебя, как первородный страх,
когда-нибудь. Ты превратишься в свиток
вся, целиком. И без пробелов на полях.

* * *

Сказать теперь, что мне легко, словами,
тебе признаться в чем-то не могу.
Я видел дождь и радугу-дугу,
а солнце — не у нас над головами.
И мы молчали. Бледными мелками
кроилось небо, уплывая. Я не лгу.
Вот и тебя в воздушную фольгу
не обернуть, не удержать руками.

* * *

Гладить холодный шершавый гранит
скамьи, сорвать, другою рукою,
ветку тун — она чуть кислит,
чуть вяжет язык и выдыхает хвою

в тонкий, звенящий, как серебряная нить
паутины, воздух... Ранней весною
я — паучок, стремящийся соединить
в своей невесомости нас с тобою.

* * *

Меня, ты знаешь, также будит по утрам
шум нашей улицы и запах кофе
из бара снизу.

Звон трамвая, словно шрам
на перепонках, весть о катастрофе.
Какая весть еще? Дрожанье ставен, рам.
Я заслоняю брешь в ночном покрове
твоей подушкой.

Все ловлю тебя, упрямя,
на голосе, на шепоте, на слове.





МИХАИЛ МЕЩЕРЯКОВ

МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ МЕЩЕРЯКОВ РОДИЛСЯ В 1963 ГОДУ В КОЛОМНЕ. ОКОНЧИЛ РЯЗАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ. РАБОТАЕТ ВРАЧОМ. СТИХИ ПИШЕТ С ЮНОШЕСКИХ ЛЕТ. ПОСЕЩАЛ ЗАНЯТИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «РЯЗАНИЯ». НЕКОТОРЫЕ СТИХИ ПЕРЕКЛАДЫВАЕТ НА МУЗЫКУ И ИСПОЛНЯЕТ В ЖАНРЕ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ. ПУТЕШЕСТВУЕТ, УВЛЕКАЕТСЯ ВОДНЫМ ТУРИЗМОМ.

МИХАИЛУ МЕЩЕРЯКОВУ УДАЕТСЯ ПЕРЕДАТЬ В СВОИХ СТИХАХ РАЗЛИЧНЫЕ ДВИЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ. СВОБОДНО ВЛАДЕЕТ ПОЭТИЧЕСКИМ СЛОВОМ; ЛИРИКА ЕГО МНОГООБРАЗНА.

АВТОР ДВУХ ПОЭТИЧЕСКИХ СБОРНИКОВ — «ПУСТЫННОЕ БЕСШУМЬЕ» (1999) И «ТЫСЯЧЕЛИСТНИК» (2002).

ПОСТОЯННЫЙ АВТОР КОЛОМЕНСКОГО АЛЬМАНАХА.

ВРЕМЯ ЗАПОМНИТЬ ЗВУКИ

НОЧНОЕ

Темно и сыро в нашем городке.
Плывут буксиры по Москве-реке
И разливают над рекой Москвой
Полночный голос, стон протяжный свой.
Услышав в будке тот буксирный стон,
Матрос, качаясь, выйдет на понтон.
И чертыхаясь, кнопку жмет матрос,
И шкив потянет маслянистый трос,
И вот уже из полной темноты
Тебе навстречу двинулись мосты
Не для того, чтоб вздрогнуть и заснуть —
Ночным судам освобождая путь.
А там, на барже, трогая штурвал,
Закурит шкипер «Беломорканал»,
И синий дым от этих папирос
Привычным нюхом чувствует матрос,
Но он далек, и кислую слюну
Матрос тоскливо выплюнет в волну,
И, проводив, как пьяные мечты,
Он за баржою заведет мосты,
И лишь одни с тобой на свете мы —
Разведены.
Темно и сыро в нашем городке.
Плывут буксиры по Москве-реке.
И стон протяжный пополам с тоской
Разносит эхо над Москвой-рекой.

СНЕГОПАД

Две ночи длился снегопад,
Две белых ночи воедино
Ложилась на ноябрьский сад
Серебряная паутина.

И, как бездомная душа,
На землю опускалась стужа,
Сухими листьями шурша
И льдом похрустывая в лужах.

О, как наивны были мы
И как мы были безрассудны,
Не брав сокровища зимы
В души скудельные сосуды.

Ведь нам ли разгадать дано
Привычной робостью сознанья,
Что здесь случается одно
Из таинств миропониманья?

А может, надо-то всего —
Раскрыть глаза неосторожно
Для понимания того,
Что происшедшее — возможно,

Что разговоры двух миров
Уравновешены снегами:
Душе, свободной от оков,
Дано летать под облаками.

Две ночи длился снегопад,
Две ночи мы с тобою вместе
Восторженно и невпопад
Дышали воздухом созвездий.



АВГУСТОВСКАЯ ДИЛОГИЯ

1

Августа свет неярк,
Но негасим и свят.
Светом медовых яблок
Мирно пропитан сад.

Августа свет небросок,
Тихий, печальный свет.
Это приходит осень
Шорохом по листве.

Это пока немного.
Это уже с берез
Золото на дорогу
Ветер едва нанес

Беличьей тонкой кистью,
Будто он знал секрет...
Вот почему от листьев
Тонок и нежен свет.

Свет мой, покуда длится
Музыка или речь,
Медленно, по крупицам,
Буду тебя беречь.

Жизнь, возвернись на круги!
Музыка, зазвучи!
Время запомнить звуки
И собирать лучи.

Время пришло делиться
Светом своих побед.
Свет мой, покуда длится,
Тянется жизни след!

Поздних времен подарок —
Дом и окошко в сад.
Августа свет неярк,
Но негасим и свят.

2

За неделю до медового Спаса
Начинается пора поздних ягод.
Вышло время нам пополнить запасы:
Поработаешь денек — хватит на год.

Ты тогда в осенний лес загляни-ка.
Я назвал осенним лес не напрасно —
Он наполнен всюду бурой брусникой,
На болотах же — и клюквою красной.

Что за дивная пора! Наслажденье.
Не пора, а именины для сердца.
Дом наполнили соленья-варенья
Вместе с запахом гвоздики и перца.

Пахнет медом и травой — выйдешь в сени,
Воздух прелости лесной — тоже пряный.
И люблю я этот запах осенний,
И по лесу я хожу, будто пьяный.

Насолю себе грибов — будет бочка,
Бурым медом запасусь — тоже фляга,
Даже мяты засушу три пучочка
И во всем я буду жить, точно скряга.

Потому как я не жил — отсыпался,
Говорил себе: мол, ладно, успеем,
А проснулся за неделю до Спаса.
Скоро осень к нам придет и Успенье.

ЛЕС

М.Абакумову

Лес — тот же монастырь, в который
С его уставомходишь ты.
Его просторные соборы
Полны нетленной красоты.

Он многое расскажет, если
Его язык познали вы:
Молчание стволов древесных
И тихий разговор травы.

То птаха малая порхает,
А то в нору ныряет уж.
Лес головами крон качает
И тихо шепчет: не нарушь.

Он примет, как своих знакомых,
Когда заметите вы в нем
Труд каждодневный насекомых,
Лягушку под замшелым пнем.

Поделится любовью щедро
Любимец леса — соловей —
Под ветра мощное крещендо
И пианиссимо ветвей.

И только начал понимать я,
Что труд монашеский несут
Зеленые лесные братья,
И в ряску облачился пруд.

И вдруг, поняв, постигнешь остро,
К каким глубинам близок ты,
И добровольно примешь постриг
Его великой красоты.

ПЕРВОЕ ПРИЧАСТИЕ

Умощенный сладостным елеем
И для неба заново рожден,
На руках у матери Елены
Спит новокрещенный Родион.

У Крестовоздвиженского храма
Будто неземная благодать,
Иеромонаха Варлаама
Просим мы причастие подать.

Освещает храм паникадило,
Освящает знаменье креста,
А в глаза младенцу засветило
Солнце обретенного Христа.

Он пока лишь плачет по привычке
И не понимает, почему
Столько лет еще от каждой спички
Ладан будет чудиться ему.

Крест висит на нитке, но играть им
Мать пока подолгу не велит.
Сколько лет спустя каким распятым
Жизнь его навеки наградит?

ПРОЩАНИЕ С КОЛОМНОЙ

В. Рейгитте

Прощаясь с любимым навеки
Тем маленьким городом, где,
Как сестры, сливаются реки,
И все — с куполами в воде...

Прощаясь с любимым и прочим,
Но, впрочем, неважным уже,
И тем отраженьем непрочным,
И этим — навечным в душе...

Я справлюсь с печалью любовью,
С бедою — слезы не пролью,
Но здесь не печалью — любовью
Наполнили душу мою.

Душа волновалась, нарушив
Земную свою благодать:
Таким запрещенным оружием
Меня, беззащитную, брать.

Любовь же заполнила душу
И даже, дойдя до глазниц,
Выплескивалась наружу,
Стекая слезами с ресниц.

И слезы бежали, стекая...
Но там, где слезинка дрожит,
И песня звучит не стихая,
И лучшая строчка лежит.

ЮРИЙ КИРОВ



ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ КИРОВ РОДИЛСЯ В 1941 ГОДУ В КОЛОМНЕ. ОКОНЧИЛ КОЛОМЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ. РАБОТАЛ УЧИТЕЛЕМ, ЗАМ. ДИРЕКТОРА, ДИРЕКТОРОМ В ШКОЛАХ КОЛОМНЫ И ДИРЕКТОРОМ ШКОЛ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ В ФИНЛЯНДИИ И ЮГОСЛАВИИ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ — ПРОРЕКТОР КОЛОМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА.

В 1998 ГОДУ ВЫПУСТИЛ ДВА СБОРНИКА СТИХОВ: «ГЛАЗА В ГЛАЗА» И «МОЙ ГОРЬКИЙ МЕД».

В ЕГО ЛИРИКЕ — ЛЮБОВЬ К ПРИРОДЕ, К ЖЕНЩИНЕ, ОЩУЩЕНИЕ КРАСОТЫ РОДНОЙ ЗЕМЛИ.

ДЕБЮТИРОВАЛ В ЧЕТВЕРТОМ НОМЕРЕ КОЛОМЕНСКОГО АЛЬМАНАХА.

ДО РАССВЕТА ДАЛЕКО

* * *

Мне сегодня утром рано
Прокричали петухи.
Тянет с берега туманом,
В каплях росных — лопухи.

Комары звенят негромко,
Дышит темная вода,
И виднеется полоска
Неба с краешком пруда.

За плотиной струи с шумом
Разбиваются о дно.
Камыши в ряду угрюмом —
Точно воинство одно.

И — ни страха, ни печали
В этой светлой вышине.
...Нет, видать не зря кричали
Петухи поутру мне.

* * *

Травы запылили, горький аромат.
Проблесками синими небо в облаках.
Стаи перелетные к вечеру шумят,
Над прудом с березы первый листопад.

Стала вдруг прозрачней стылая вода.
Больше мне кукушка не сулит года.
Тонкие туманы кутают траву,
До земли подсолнух наклонил главу.

Затихает радостный редколесья шум.
Осень подбирается холодочком дум.
По утрам над соснами яркая заря.
Вновь уходит лето днями октября.

* * *

ОСЕНЬ

До рассвета далеко.
Ветер бродит шалый.
Гладит ласково, легко
Яркий полушалок.

Серебром горит роса,
Холодят туманы.
У скамейки — голоса
В этот вечер странный.

Соловей в листве притих,
Дремлется дороге.
Смотрит месяц на двоих —
Бедный, одинокий.

Уходящее тепло
Тихой летней ночи...
До рассвета — далеко,
До любви — не очень.

Сизые тучи над парком
Сыплют осенним снежком.
Там — постаревшие пары
Ходят усталым шагком.

Тихо ведут разговоры,
Дни вспоминая свои.
Сердце ведет переборы
Лет незабытой любви.

Были цветы и сюрпризы,
Смех и журчанье ручья,
И озорные капризы,
Хмурые дни ноября.

Годы в разлуке летели,
Думы кружила метель.
Но каждый год приходили
В парк, где встречали апрель.

Стал он темнее и строже,
Пышно каштаны цветут.
А на скамейках все то же:
Любят, ревнуют и ждут...



ВАЛЕРИЙ КОВАЛЕВ



ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КОВАЛЕВ РОДИЛСЯ В 1940 ГОДУ В ДЕРЕВНЕ СОЛОСЦОВО КОЛОМЕНСКОГО РАЙОНА. ОКОНЧИЛ ВСЕСОЮЗНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ИНСТИТУТ. ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТАЛ В КОЛОМЕНСКОЙ МИЛИЦИИ, НАЧАВ ПОСТОВЫМ И ЗАКОНЧИВ НАЧАЛЬНИКОМ 2-ГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ.

АВТОР ТРЕХ СБОРНИКОВ ПРОЗЫ: «РАССКАЗЫ О КОЛОМНЕ И О КОЛОМЕНЦАХ», «ПО СНОВИДЕНИЮ В ТРЕХ СНАХ», «ПОСЛЕ ВЫСТРЕЛА ВВЕРХ».

ПОСТОЯННЫЙ АВТОР КОЛОМЕНСКОГО АЛЬМАНАХА. ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ.

ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА

ПРИМЕТА

Воспетые горы Кавказа,
Тропинок отвесная прыть.
Я раньше здесь не был ни разу,
Но нынче пришлось посетить.
Здесь море, что названо Черным,
Вблизи наблюдал или вдаль —
Мне виделось нежно-зеленым,
Прозрачным, как горный хрусталь.
Оно то ворочалось грузно,
Толкая волну к берегам,
То вдруг становилось грустным,
К моим ниспадая ногам.
И где б ни бродил я по свету,
Не веря в приметы и сны, —
Я помню, что бросил монету
В лазурь черноморской волны.

СОЛОВЕЙ

Вчера в саду моем тенистом
Среди сиреневых ветвей
Недосягаемым солистом
Забился трелью соловей.
Певец любви, он так старался,
Ломал коленца, пел взхлеб,
А я молчал и удивлялся.
И колотил меня озноб.

ЧУГУНКА

Литейный цех. Огонь и смяд.
Здесь о любви не говорят,
Не балагурят о футболе
И не слоняются тем боле.
Здесь принято гореть в работе,
И демагоги не в почете.
Гудит от жара спозаранку
Ее величество вагранка,
И в чрево формы, как в бокал,
Вливают огненный металл.
Здесь грохот глушит, как в бою,
И люди — как бойцы в строю.
А кто кичится без отчета
Работой, что не знает пота,
Скажу тому, коль рвется ввысь:
«Пойди в литейный, остудись».

ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА

Стихли ветра пересвисты,
Скрылся Север за бугор,
Поразъехались туристы
Кто в столицу, кто в Ковдор.
Разлетелись, словно птахи,
Омск, Казань, Алма-Ата,
Дети Вийма, Росомахи,
Братья вечного Христа.
Спит Падун застывшей глыбой,
Грусть на базе по углам.
Кто ж теперь бруснику с рыбой
Будет лопать по утрам?
Кто на кручах сине-белых
Растревожит тишину,
Кто в бахилах задубелых
Снова вспорет целину?
Спит турист в постели, дома.
Тишина вокруг. Уют.
Но припомнится Тулома,
Дым, затерянный приют,
Ели в инее, березы,
Сердца яростный настрой,
Разудалые морозы
И кормилец костровой.
А проснется среди ночи,
Глядь в окно — вот это да!
Светит месяц что есть мочи
И... Полярная звезда.

СНЫ

Дневальный, замерший у стойки,
Устав, зачитанный до дыр.
Наш взвод. Двухъярусные койки.
Строй. Перед строем командир.
Бритоголовые солдаты.
Пол из отдранных тесин.
Отбой. Усталые закаты.
Туман, текущий из низин.
Весна из ветки краснотала,
Тревогой взорванные сны.
Саперы — парни из металла
И нервов, скрученных в узлы.
В порядке строгом карабины,
Мой — крайний слева, у стены...
Такие давние картины
Теперь в мои приходят сны.
Срывая душные потемки,
Опять вторгаются в мой мир
Наш взвод. Двухъярусные койки.
Строй. Перед строем командир.



ДРЕВНЕЕ ПОЛЕ

Форпост Москвы первопрестольной —
Наш город горд своей судьбой.
Сквозь годы видятся невольню
Картины древности седой.
Вот в красоте своей неброской
Девичье поле в ковыле,
И Дмитрий — князь земли Московской —
Застыл воинственно в седле.
Ока притихшая в печали,
И рать в доспеховой броне,
Зловещий ворон вьет спирали
В лучах рассвета, как в огне.
Тревогой битвы предстоящей
Объяты сводные полки,
И храп коней, и взгляд горящий,
И в ножнах замерли клинки.
Как грозный зов трубы походной,
Как звуки рвущихся оков,
Плывет тревожно над Коломной
Прощальный звон колоколов.
...Прошли века, мгновеньям вторя,
Боясь отстать, спешит земля;
Жилой район — Девичье поле.
На нем не сыщешь ковыля.
Ока-тихоня присмирела
Средь обновленных берегов,
И ворон черный не у дела,
И не слышать колоколов.
И лишь когда грозы кресало
Сверкнет изломанной стрелой,
Случайный конь вздохнет устало,
Поникшей дрогнув головой.



ЕКАТЕРИНА УСТИНОВА

ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА УСТИНОВА РОДИЛАСЬ 10 ФЕВРАЛЯ 1984 ГОДА В ЯРОСЛАВЛЕ. СТУДЕНКА ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА КГПИ. ЛАУРЕАТ КОНКУРСА «КОЛОМНА ПРАВОСЛАВНАЯ». НАГРАЖДЕНА ГРАМОТОЙ ЗА УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОМ ПОЭТИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ ИМ. А. Ф. КИРСАНОВА.

ПЕЧАТАЛАСЬ В КОЛОМЕНСКОМ АЛЬМАНАХЕ, В ГАЗЕТАХ «ДЕТСКАЯ РЕДАКЦИЯ», «КОЛОМЕНСКАЯ ПРАВДА».

НА ДРУГОМ КОНЦЕ ВЕСНЫ

* * *

Silense

В кончиках пальцев тaitся усталость —
Самая верная, сладкая боль.
Раб ты мой царственный или король?
Разница? Самая малость.

Там, над холодной прозрачной рекой,
Где мы с тобой обнимали друг друга,
Ветреной девою — пьяная выюга.
На пелене снеговой
Зябкие тени от нежных дерев...

Как преступленье — ладони касанье.
Души сближаются вне расстоянья,
Но — никого не согрев.

Только дыханье — как пламя свечи.
Жить между строк — ах, какая беспечность!
Взгляд, устремленный из вечности в вечность:

Если не любишь — молчи.

* * *

Я помню долгий-долгий танец
И два опущенных крыла,
И как нам стены улыбались,
Сжигая взглядами дотла,

Но это пламя нас не грело
И от паденья не спасло...
Лишь пальцы гладили несмело
Кровоточащее крыло.

* * *

Я качаю колыбель.
Вьются звезды надо мной.
Серебристая свирель
Тихо плачет под горой.

Маргаритовый венок
В златотканых волосах.
Отчего ты так далек,
Если ты на небесах?

Отдается эхом высь.
Ах, глаза мои красны...
Милый призрак, отзовись
На другом конце весны!

Перламутровая тишь —
Томный голос темноты.
...Если в пламени горишь —
Отчего так близок ты?



* * *

No one's picking up the phone.
Tori Amos. «Hey Jupiter»

Никто не поднимет трубку.
Никто не погасит свет...
Уснуть на одну минутку
Под шорох шальных комет,

Прижаться виском к ладоням,
Увидеть небесный свод...
Никто ни о ком не помнит,
Никто никого не ждет,

Никто ничего не слышит
В звенящей ночной тиши...
— Увидеть, как бездна дышит
Над полем небесной ржи.

* * *

Я отсчитывала тысячи ступеней
Каждый раз, когда я шла к тебе.
А сегодня встала на колени,
Предаваясь мертвой суете,

Я сама легла на эту плаху,
Чтобы ты нашел меня живой.
Если не испытываешь страха,
Значит, ты останешься со мной.



НАТАЛЬЯ ВЕНИАМИНОВНА ЕВТИГНЕЕВА РОДИЛАСЬ В ПОЛТАВЕ В СЕМЬЕ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО. ОКОНЧИЛА МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА (МИИТ). РАБОТАЕТ ИНЖЕНЕРОМ-ЭЛЕКТРОНИКОМ НА КОЛОМЕНСКОМ ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ ИМ. КУЙБЫШЕВА.

РАБОТАЛА ВНЕШТАТНЫМ КОРРЕСПОНДЕНТОМ В ГАЗЕТАХ «ИНЖЕНЕР ТРАНСПОРТА» И «КОЛОМЕНСКАЯ ПРАВДА».

ЗАНИМАЛАСЬ В ЛИТОБЪЕДИНЕНИЯХ «ЗАРНИЦА» ПОД РУКОВОДСТВОМ А. Ф. КИРСАНОВА, «ЗЕЛЕННЫЕ ЦВЕТЫ» ПОД РУКОВОДСТВОМ О. В. КОЧЕТКОВА И «СТОЙЛО ПЕГАСА» ПОД РУКОВОДСТВОМ ИГОРЯ ВЕСЕННЕГО.

ПЕЧАТАЛАСЬ В ГОРОДСКИХ МНОГОТИРАЖНЫХ ГАЗЕТАХ. ИЗДАЛА ТРИ ПОЭТИЧЕСКИХ СБОРНИКА: «СЕРДЦЕ НА ЛАДОНИ» (1998), «СТРАНИЦЫ ИЗ ДНЕВНИКА» (2000) И «СЧАСТЛИВЫЙ СОН» (2001).

В СОСТАВЕ РОССИЙСКОГО ТЕАТРА БАРДОВ ВЫСТУПАЕТ СО СТИХАМИ И ПЕСНЯМИ ВО МНОГИХ ГОРОДАХ СТРАНЫ.

ЦВЕТЫ НА ПОДОКОННИКЕ

СИРЕНЬ

Ах, сирень! — Это море суши.
 А когда ее много-много,
 Так люблю я тихонько слушать
 Беспокойный прибой восторга,
 Где жужжат без умолка пчелы
 И ныряют в цветки с разлета.
 Шум и гомон стоит веселый
 То ли птиц, то ль еще кого-то.
 И, купаясь в сирени-море,
 Все вдыхая волшебный запах,
 Я влюбляюсь в родные зори,
 И не манит восток и запад...

* * *

Ты пахнешь ладаном и вишней.
 Еще немножечко грозой.
 Среди своих четверостиший
 Я ощущаю запах твой.
 Он не похож на остальные, —
 В нем есть особенный секрет.
 Так пахнут травы полевые
 И светлый, радостный рассвет.
 Твой запах и на расстоянии
 Я не забуду. Им дышу.
 Тот запах первого свидания
 Я в сердце бережно ношу.



* * *

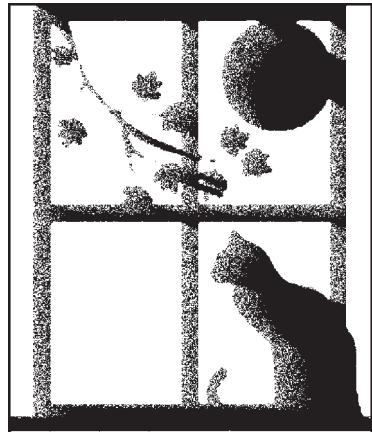
Цветы на подоконнике
Цветут, как ошалелые.
Раскрыли свои зонтики,
Как будто глазки белые.
И смотрят, не посмотрятся
На все четыре стороны.
Они как будто просятся
В миры, что не зашторены...

* * *

Почему так ночи коротки
В этом знойно-палевом июле.
Не успеешь записать строки,
А уж звезды на небе задули...
Не успеешь вымолвить: «Люблю», —
Уж рассвет стучится громко в двери.
А об остальном не говорю, —
Все равно никто мне не поверит.
Ах, как были ночи коротки,
И как не хотелось расставаться!
Холодно. Опали лепестки...
Уж цветами не полюбоваться...
А как были ночи коротки!
И как горячо звучали речи!
Вспоминают с тихой грустью свечи
Песни, поцелуи и стихи.

ЛЕС

И алой каплей земляники,
И спелой бусинкой брусники,
И белой чашечкой груздя,
Собравшей капельки дождя,
Встречает лес тепло и щедро,
Приоткрывая тайники,
Проводит вглубь, в лесные недра,
Свои послушать родники.



*В разделе «Поэзия» —
рисунки Оксаны Лапа
и Евгения Гринина*

НОВЫЕ
ПЕРЕВОДЫ



ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

РАССКАЗ



ПЬЕР КУРТАД (1915–1963) БЫЛ НЕ ТОЛЬКО БЛИСТАТЕЛЬНЫМ ГАЗЕТЧИКОМ, ОДНИМ ИЗ ВЕДУЩИХ ФРАНЦУЗСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ, НО И ОДАРЕННЫМ МАСТЕРОМ ПРОЗЫ. РОМАНАМ КУРТАДА СВОЙСТВЕННА ОСТРОТА ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ РАЗДУМИЙ, ОНИ СВЯЗАНЫ С ЛИЧНОСТЬЮ ПИСАТЕЛЯ, ГЛУБОКИ ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ. ОЧЕНЬ ПРИВЛЕКАЛА ПИСАТЕЛЯ НОВЕЛЛИСТИКА, КОТОРАЯ СТАЛА НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ ЕГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО НАСЛЕДИЯ. ОН ИССЛЕДУЕТ ВНУТРЕННИЙ МИР, ПСИХОЛОГИЮ ЧЕЛОВЕКА, ДУХОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ ЖИЗНЬЮ. БОЛЬШИНСТВО НОВЕЛЛ КУРТАДА ВОШЛИ В СБОРНИКИ «ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» И «ВЫСШИЕ ЖИВОТНЫЕ». ПЬЕР КУРТАД МЕЧТАЛ НАПИСАТЬ НЕОБЫЧАЙНО НАСЫЩЕННЫЙ РАССКАЗ, КАК ОН СКАЗАЛ, «НОВЕЛЛУ НОВЕЛЛ», НАД КОТОРОЙ БУДЕТ РАБОТАТЬ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ И НАЗВАНИЕ КОТОРОЙ БУДЕТ: ЖИЗНЬ. ОНА, СЧИТАЛ П. КУРТАД, ЗАСТАВИТ ЛЮДЕЙ МЫСЛИТЬ И МЕЧТАТЬ. ЭТО МОЖНО СЧИТАТЬ ТВОРЧЕСКИМ ЗАВЕТОМ ПИСАТЕЛЯ.

НА РУССКИЙ ЯЗЫК ПЕРЕВЕДЕНЫ ДВА РОМАНА П. КУРТАДА – «ДЖИММИ» И «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ», НЕКОТОРЫЕ РАССКАЗЫ.

— Катрин, я сразу узнал вас, и узнал бы везде и всегда, даже ночью. Это просто удивительно — так помнить обо всем, что было в двадцатилетнем возрасте. А вы... вы узнали меня?

Она улыбнулась.

— Сейчас, Фред, узнаю. Хотя вы, конечно, несколько изменились.

— Постарел, — сказал он, — мне ведь почти сорок.

— Разве это старость? Бывает, что сорокалетний намного моложе двадцатилетнего.

— Спасибо, приятно слышать, но знаете ли... Сорок есть сорок. Странно, что мы ни разу не встретились. Правда, меня не было здесь десять лет. А вы все еще тут живете?

— Да.

— Здесь ничего не изменилось.

— Да, не изменилось. Это люди меняются, а камни нет. Ни через двадцать лет, ни тем более через десять.

— Как все-таки удивительно, Катрин...

— Что именно?

— Да жизнь.

Они помолчали.

— Какой хорошенькой вы были!

— Сейчас уже не такая?

— Сейчас вы красивая.

Он сам удивился своим словам.

— Просто потрясающе вот так встретиться!

Он поколебался:

— Вы действительно очень красивы.

Она согласилась пойти выпить по рюмке в кафе дю Рон. Там он увидел ее несколько иной. Нет, она не была так уж красива, как он сказал и во что сам почти поверил. Она была одновременно прежней и другой. Он отметил немолодые уже руки и наметившиеся «гусиные лапки» у края глаз, когда она улыбалась. А глаза не изменились. У постаревшей женщины глаза были прежние. Голубые, холодные, насмешливые. Двадцать лет назад они в упор смотрели на него, когда

она произнесла: «Нет, не в это воскресенье. И не в следующее. И не в какое другое».

Эти глаза смертельно ранили его, как он думал тогда, зимним днем, бредя под кружащимся снегом, убежденный, что судьба нанесла ему такой удар, о котором можно прочесть лишь в воспоминаниях о жизни знаменитостей. Но рана быстро затянулась. Всего два-три раза за эти двадцать лет ему вспоминалась Катрин — когда он попадал под снегопад...

— Что с вами случилось с тех пор?

— О, знаете ли, я жива, и это главное.

Они поговорили о прежних общих знакомых, и воспоминания их были с меланхолическим оттенком. Они чувствовали себя как бы отмытыми, вычищенными житейскими бурями, мудрыми и сильными.

— Какими глупыми мы бываем в юности, — сказал он.

— Сожалеть не о чем, мы не были созданы друг для друга. И, наверное, это лучше, что мы встретились вот так, как друзья. Если бы продолжали тогда встречаться, ничего хорошего из этого не получилось бы.

— Как знать... Может быть...

Он предложил поужинать вместе. Она смотрела на его лицо, на котором время оставило свои следы. Вспоминала, как о нем говорили неприятные ей слова: «Он хороший парень, но пороха не изобретет». У него был вид добряка, но не такого, что изобретает порох. Но что же это значит — «не изобретет пороха»?

— Вы действительно хотите вместе поужинать? — спросила она.

— Да, конечно, а вы?

Он взял ее за руку повыше локтя. Рука была теплой, как тогда, на улице Бугенвиль. Его охватило сумасшедшее желание зарыться лицом в ее пепельные волосы. Он заметил в них маленькую белую прядь, и у него сжалось сердце.

— Послушайте, Катрин, если вы сегодня заняты, может, тогда в следующий раз?

Он посмотрел на двух раскрашенных девиц в баре, и ему, на подступе отчаяния, вдруг нестерпимо захотелось пойти выпить с ними. Пить тяжело, драматически, но с хорошей выдержкой, как, например, пьют летчики в кино.

— Если хотите, мы могли бы пойти в ресторан в аэропорту. Там любопытная атмосфера: чувствуешь себя чужаком и как бы путешествуешь, не сходя с места.

— Ну что ж, оригинальная идея. Не уверена, что подобная появилась бы у вас лет двадцать назад. Вы стали романтичнее?

— Я бы этому удивился, но как знать... Хотите, расскажу о себе?

— До аэропорта, кажется, шесть километров?

— У меня машина.

— Вижу, дела у вас шли неплохо.

Машина была великолепна — серого цвета, плоская, с открытым верхом. В передней панели из красного дерева в сумерках фосфоресцировало множество вкраплений.

— Да, — повторила она, — ваши дела идут нормально.

Он сделал неопределенный жест.

— Знаете, деньги всегда можно заработать... И необязательно обманным путем. Но они не приносят счастья. Это звучит банально, но так оно и есть.

— Вы считаете, что были бы счастливее, если бы не были богаты? Вот,

например, сейчас, если б нам пришлось сесть в автобус, чтобы добраться до аэропорта?

— Все зависит от обстоятельств, — сказал он, помолчав. — Поскольку мы поехали бы в нем вместе, это не раздражало бы меня, наоборот.

Она недоверчиво хмыкнула.

— Все это слова... Никто не предпочтет автобус, кроме как в песнях. Вы хотели бы вернуться на двадцать лет назад?

— Не знаю...

Машина плавно тронулась и сразу же развила большую скорость, разрезая теплый воздух. Из-за формы капота она была похожа на голову акулы. Катрин захотелось, чтобы кто-нибудь из знакомых увидел их, мчавшихся все быстрее.

— Это хороший автомобиль, — сказал он.

Через несколько минут они уже были за городом. Доносившийся запах сена разбудил в них воспоминания о велосипедных прогулках. Они оба подумали об этом, но заговорил он о другом, почувствовав, что рана может открыться в любой момент.

— Я так и не спросил вас, кем вы стали, чем теперь занимаетесь.

— Это секрет.

Он украдкой взглянул на нее. Катрин была в широкой синей юбке и ослепительно белой блузке. Ноги в сандалиях из золотистой кожи, без чулок. Справа от себя она поставила обычную пляжную сумку с термосом. На руке было обручальное кольцо.

— А вы? — спросила она.

— Я? О, знаете... Мои дела не слишком-то интересны, но не жалею.

— Вижу.

— Что вы видите?

— Ну... Вот такую машину...

Он засмеялся. «Такая машина», закрипев тормозами, ловко вписалась в пространство между двумя деревьями на парковке прямо напротив аэропорта.

— Вы прямо-таки ас.

— Я научился двум-трем таким вещам.

— Не помню, умели ли вы водить машину тогда, в наше время?

Она вдруг вспомнила, что отец Фреда был всего лишь мелким таможенным служащим, и в то время Фред, скорей всего, не ездил на машине, разве только на такси время от времени...

— Ваши родители живы?

— Переехали жить в деревню.

— Наверное, счастливы, что вы преуспеваете?

— Наверное. Я не часто вижу их. Все всегда одно и то же: мы — уже другое поколение.

Взлетевший четырехмоторный самолет пронесся над их головами. Они проводили взглядами зеленый и красный огни, мерцающие на концах крыльев в наступающей ночи.

— В том, как люди улетают, есть что-то таинственное. Завтра утром, может быть, этот самолет будет в аэропорту в тропиках...

— Технический прогресс, — сказал он.

— Да. И это удивительно.

Он взял ее за руку, как тогда на улице Бугенвиль, и они молча, медленно пошли к освещенному зданию аэровокзала.

— Как в сказке, — сказала она.

На террасе ресторана на столах, покрытых белыми скатертями, сверкали приборы. Навстречу Катрин и Фреду шел метрдотель, довольно молодой для своей профессии. У него было загоревшее лицо, и угадывалось, что на роль обслуги здесь, в аэропорту, его подвигнули желание приключений, экзотика. Раньше он, видимо, был бортпроводником и рисковал собой вместе с экипажами.

— Не хотите ли за этот столик? — спросил он. Это был столик для влюбленных — в укромном уголке ресторана. Маленькая лампа под абажуром освещала две гвоздики в высокой хрустальной вазе.

— Хотелось бы на краю террасы, — сказала Катрин.

— Конечно-конечно, — ответил метрдотель.

С места, куда он их проводил, было видно все летное поле: черная пустота, в которой огни взлетно-посадочной полосы вели в небо. Фара самолета высветила группу в белом возле красной автоцистерны.

— Ждут самолет для заправки, — сказал Фред.

— Как интересно.

Он спросил ее, что заказать, а себе велел принести то же, что и всегда. Они заказали засахаренную дыню, жареный морской язык, бифштекс с перцем и два вида вина — красное и белое.

— Безумие, — произнесла Катрин.

Он засмеялся и взял ее за руку.

— Что безумие? Почему?

— Не знаю... безумие сидеть здесь вместе, встретившись через столько лет... Даже не знаю, как сказать...

Он сжал ее руку с рассчитанной нежностью.

— Катрин, Катрин, вы не изменились.

— Спасибо за комплимент.

Они замолчали — подошел метрдотель открыть бутылку.

— Деньги счастья не приносят, — сказал Фред. — Бывают моменты, когда я предпочел бы ездить на автобусе и чувствовал бы себя счастливым, уверяю вас.

— Странно, что вам пришло в голову прийти сюда. Меня здесь одолевает столько разных мыслей...

— О чем же?

— Об отъездах, о других странах...

— Вы много разъезжаете?

— Нет, на самолете я никогда не летала.

— Тогда о чем же вы думаете?

— О воображаемом.

Почти залпом она выпила бокал белого охлажденного вина и почувствовала себя вдруг легко и счастливо. Машинально считая огни взлетной полосы, Катрин представляла себе жизнь, которая позволяет женщине всегда оставаться красивой, похожей на красавиц с обложек журналов. Вот она просыпается утром в гранд-отеле, в кровати, убранной кремовым шелком. В номере есть еще несколько комнат. Когда она звонит, ей приносят именно то, что надо, — спрашивать даже нет необходимости. Например, мусс из грейпфрута, очень крепкий кофе по-итальянски, прекрасно поджаренные тосты. Летнее солнце отражается в мраморе и эмали ванной. В голове звучат слова «гидромассаж» и «шопинг», да, именно «шопинг». Около одиннадцати часов она в шикарном автомобиле отправляется куда-нибудь в сторону Вандомской площади, где глазам пестро от фотографий знаменитых моделей журнала «Пур эль». И все они одеты точно так, как

того требует время года. Затем, к часу дня, ей надо спешить на обед, который она распорядилась подать в столовую. Здесь, на блестящем столе из черного мрамора, он подается просто артистично — на красных тарелках, до того красивых, что даже не знаешь, есть или смотреть. На столе полное изобилие — не знаешь, что выбрать, — множество всякой вкуснятины, белые льняные салфеточки в горошек...

— О чем вы думаете?

— О жизни.

— О жизни? Это многое означает... А я предпочитаю не думать о ней. Принимаю такой, какая есть. Вы мечтаете о путешествиях, угадал? Хотели бы полететь куда-нибудь в незнакомую страну?

— Да. И вы очень кстати привели меня сюда. Вероятно, из-за этого у меня появилась мысль, противоположная вашей.

— Как это противоположная? Чему именно?

Он взял ее руку и машинально поиграл обручальным кольцом. Катрин отдернула ее.

— Давайте не будем задавать друг другу вопросы. Хорошо именно то, чтобы не спрашивать друг друга ни о чем. Во всяком случае, если и были вопросы, то каждый имел право не отвечать. Достаточно сказать: «На этот вопрос я — пас». Как в картах.

— Пожалуйста, — сказал Фред, — почему бы нет. А если я спрошу, в какую страну вы хотели бы полететь, если бы мы сели сейчас в самолет?..

— Сейчас?

— Да, сейчас.

— Не знаю... Может, в Индию...

— Почему в Индию?

— Наверное, это глупо, но я представляю, что открываю окно в отеле какого-нибудь индийского города и вижу разноцветных птиц и играющих тигров. Кажется, тиграм в Индии предоставлена абсолютная свобода. Их не трогают, они живут в городах, как люди.

— Коровы, — сказал Фред, — не тигры. Я был там. Коровы там стали серьезной проблемой, ведь их не истребляют. Они повсюду.

— А долго вы были в Индии?

— Нет, всего несколько дней.

— Счастливчик, можете путешествовать! Вы не представляете себе, что чувствуешь, когда привязана к одному месту и знаешь, что это навсегда и другого не будет. Другие страны...

Взгляд Фреда был устремлен на кольцо Катрин. Она грустно улыбнулась и отвела глаза.

— Нет, — сказала она, — мы ответим только на те вопросы, на которые захотим.

Официант снял филе с углей. Было приятно смотреть, как он работает, — как фокусник, блестяще выполняющий свой номер. Им подали еще белого вина, в других бокалах.

Объявили о прибытии «боинга» Эр Франс из Лондона.

— Большая ли разница в марках самолетов?

— О, самолет самолету рознь...

— Да, конечно.

«Боинг» остановился почти перед ними — огромная тупорылая птица. В свете фар появилась стюардесса с листком бумаги в руке. Техники в белой форме шли через вертушку прохода к уже открытой пилотской кабине, перед которой стоял высокий красивый

парень в форме. Он махнул кому-то на прощанье, наверное, стюардессе.

— Ах, Фред, если б вы знали, как мне надоел этот город! На-до-ел! Ну ладно, хватит глупостей, извините.

Она поднесла руки к глазам, и ему показалось, что она сейчас заплачет.

— Катрин, Катрин, вы слишком нервничаете. Если хотите, после ужина мы прогуляемся по окрестностям. Можем пойти выпить стаканчик где-нибудь на берегу озера...

— Да, — сказала она, — выпьем шампанского. Со льдом. Хочу шампанского со льдом.

— А не лучше ли пойти куда-нибудь в тихое местечко? Правда, не знаю, найдут ли там в это время для нас шампанское. Знаете, в шампанском, по сути, нет ничего необычного.

— А я люблю его. Это единственное вино, от которого мне не бывает плохо. И потом, хочется сегодня быть веселой. Боже, до чего мне надоел этот город!

Он усмехнулся. Успокоительно, почти по-отечески.

— Тогда, может, лучше сесть в самолет? Предположительно, выбираем первый прибывший и... начинаем приключение. В Индию? На край света?

Он вздохнул и прошептал:

— Ах, Катрин, Катрин...

На этот раз она позволила ему взять ее правую руку, которая покоилась на столе в ожидании бифштекса. Официант принес бутылку красного, уложенную в корзинку.

— Катрин, я чувствую, что не изменился. Ведь это не я, а вы дали мне отставку. Помните? Вы сказали: «Нет, не в это воскресенье. И не в следующее, и не в какое вообще».

Лицо Катрин выразило растерянность.

— Вот видите, как странно: мы встретились сегодня через столько лет и как раз в воскресенье.

Она почувствовала, что нога Фреда сильнее прижалась к ее колену. Катрин пристально посмотрела на него голубыми, холодными и насмешливыми глазами. Он оставил ее руку и закурил. Официант принес бифштекс с перцем. Одним глотком она выпила половину бокала и почувствовала себя совершенно свободной. Как будто летела сквозь ветер, как только что в машине. Ей представилось, что Фред останавливается где-нибудь на лесной дороге и целует ее. Представила это из любопытства, чтобы понять, будет ли это похоже на тот поцелуй, когда ее в первый раз поцеловал парень. Как в самый первый раз. Никогда она еще не чувствовала в этом отношении пробежавших лет. До настоящего времени луч памяти освещал лишь близкие события, еще связанные с сегодняшними днями, вполне понятные, которые, как ей казалось, можно еще изменить. Но встреча с Фредом была иным событием. Как будто луч самолетной фары, оставив в тени прибытие пассажиров, побежал дальше, проник в самый пустынный угол аэропорта, где стоял старый самолет с давно зарывшимся в землю носом и разбитыми крыльями.

Пассажиры «боинга» шли в зал прибытия, отделенный от ресторана большим стеклом. Катрин отметила светло-серый костюм из альпака — жакет с рукавами три четверти и юбка в складку с кокеткой. Пассажиры выглядели отдохнувшими и умиротворенными. Их доставили на место так быстро, что немного смятый пиджак или небрежная пачка газет под мышкой не оставляли впечатления тяжести перелета через моря, леса, селения.

Катрин посмотрела на своего спутника. Она не могла понять, какое он производит на нее впечатление, и попыталась вновь воскресить то чувство, когда слышала злые слова: «Твой Фред не изобретет пороха». Вероятно, из-за этого она и бросила его тогда, заснеженным днем — из-за гордости и уязвленного тщеславия. Сейчас она отчетливо вспомнила, как прогнала его.

— Вы действительно полетели бы со мной на первом попавшемся самолете? — внезапно спросила она. — Не верится.

— Разве это было бы не великолепно?

Не глядя на нее, он резал бифштекс, и из-за усилия, с которым он это делал, Катрин сильнее чувствовала колено, касающееся ее ноги.

— А не слишком ли это будет вызывающе — делать все, что захочется? — сказала она. — «Отправлюсь-ка я, пожалуй, в Индию или в Италию, в Неаполь...» Ах, если бы я могла так сказать себе!

— Действительно... Но я ничего не знаю о вас. Могу задать вопрос?

— Я — пас.

— Что?

— Ну, как пасуют в картах, мы же договорились. Я не отвечаю.

— Ну что ж, имеете право.

Она вздохнула и неловко налила себе вина из бутылки в корзиночке, накапав на скатерть. Насыпала щепотку соли на розовое пятно и растерла указательным пальцем.

— Как все глупо, — сказала Катрин.

— Пока еще не поздно пойти выпить на берег озера. Не задавая, конечно, друг другу бесполезных вопросов. Ну как? Катрин, Катрин, выше нос.

— Не знаю, — сказала она, глядя в пустую тарелку, — надо ли. А что потом? Вы исчезнете навсегда или появитесь через двадцать лет, но на этот раз я буду уже старухой, и у вас и мысли не мелькнет пригласить меня поужинать. Может, поздороваетесь на улице, поболтаете со мной пять минут. Нет-нет, я знаю, что это невозможно.

Официант спросил, не подать ли сыр. Она отказалась, потому что мечтала о еде легкой, изысканной — засахаренные, с ванилью персики, сицилийское мороженое с фруктами...

— Фред, ну как же удивительно встретиться вот так! Ведь мы уже не знаем друг друга.

Они помолчали. Слышался рокот насоса, заполняющего резервуары «бонинга». «Наверное, через два часа он будет в другом аэропорту, — думала она, — в другой стране, за тысячу километров отсюда, может, там, где пальмы и люди в белом».

— Как было бы здорово иметь собственный самолет и, когда все опостылеет, сказать себе: «Проведу, пожалуй, вечерок в Италии или Испании». И летишь себе, отрешаешься от всего надоевшего...

— Может, лет через десять так и будет...

«Через десять лет, — подумала она, — никто не захочет лететь со мной».

— Что с вами? — спросил он.

— Ничего. Думаю о жизни, о завтрашнем дне.

— Что же будет завтра?

— Жизнь продолжится.

— Не пора ли нам все-таки уходить?

— Да, через минуту.

— Вы действительно не хотите рассказать о себе, чем вы занимаетесь?

— Нет, это мой секрет. Впрочем, вы тоже мне ничего не рассказали.

— Но вы и не спрашивали. Я был весь в делах. Могу сказать, если хотите, что это за дела. Совсем не хитрые. Я импресарио.

— Импресарио? В кино?

Она произнесла это слово каким-то светским тоном. Оно значило для нее столько всего потрясающего и неопределенного — жизнь, какой ее представляют себе в лучшие моменты.

— Скорее, в мюзик-холле. Я нанимаю артистов, плачу им, даю роли. Ставлю спектакли и показываю их в провинции и за границей.

— А-а...

Неожиданно он увидел на ее лице выражение отчаяния.

— Что с вами? Не нравится моя профессия? Но она ничуть не хуже других и порой очень даже не легка. Сейчас дела идут неплохо, но бывают взлеты и падения. Мне потребовалось годы, чтобы найти свою нишу, немало поработав при этом локтями.

Катрин смотрела на освещенную взлетную полосу, где разворачивался большой белый самолет. Ему показалось, что она вот-вот заплачет.

— А вы, — спросил он поспешно, — вы не хотите мне рассказать, чем занимаетесь?

Она ответила тоном обиженной девочки:

— Я работаю в области моды и пошива, но мне не нравится говорить об этом в воскресенье.

— Но почему же? Чувствуется, что у вас много вкуса. Я вспоминаю, что и раньше вы очень хорошо шили.

— А-а, — сказала она все с тем же, каким-то потерянным лицом. — Я не выбирала, за меня все решила жизнь. В материальном отношении все неплохо, у меня есть небольшая клиентура. Не понимаю, зачем я все это рассказываю. Совсем не интересно. Особенно для такого человека, как вы, у которого насыщенная жизнь, столько разных встреч...

Она повторила: «Столько встреч» — и внезапно, скрыв лицо в ладонях, разразилась глухими рыданиями. Он попытался взять ее за руки, но она покачала головой:

— Оставьте меня, оставьте, я просто ненормальная, не знаю, что на меня нашло.

Она вытирала слезы, кусала губы и фыркала.

— Не плачьте, — сказал он, — не надо!

На них смотрел официант.

— Катрин, не плачьте, подумают, что я вас обидел. Впервые за двадцать лет.

— Я просто ненормальная, — сказала она. — Дурацкая жизнь... Ну надо же!

Она вытерла слезы.

— Не знаю, что на меня накатило. Когда я увидела вас, эту машину и поняла, что время ушло, мне захотелось, чтобы вы думали, что у меня есть какая-то своя жизнь, настоящая, понимаете? Ах, ладно, оставьте меня.

Он положил руку на ее колено под столом и почувствовал легкое тепло, ее кожу. Вспомнился запах сена, когда они приехали сюда, — запах июня и воскресной прогулки.

— Теперь, — сказал он, — если я скажу «До завтра», то есть до вечера, потому что уже воскресенье, ответите ли вы мне «нет», Катрин? Скажите, это очень важно.

— О, не знаю, не знаю, — сказала она, вытирая глаза. — Я ненормальная, выдумываю все время всякие истории... Гордячка, все беспокоюсь,

что скажут люди. Не стоит начинать снова. Таким, как я, не подходят мужчины вроде вас.

— Это почему же?

Она стала рассказывать о своей жизни, начиная с того зимнего воскресенья, когда прогнала его. Жизнь ее была (во всяком случае, она так считала) цепочкой монотонных дней, недель, месяцев, лет. После смерти отца — он умер внезапно («вы помните папу?») — она выучилась шитью, к которому тяготела (это он правильно заметил). Несколько месяцев пробыла замужем за Жоржем Ружье («вы помните его?»). Да, Фред помнил. «До тех пор, пока эта скотина не ужалила меня в самое сердце. Это было очень больно, и мы разошлись. Я должна была начать работать. Два-три раза мы встретились случайно, а потом больше не виделись. Это был тиран, просто сумасшедший. Может, он и не был злым по сути, но ненормальный. Я совершила самую большую глупость в жизни, когда вышла за него. Потом пришлось выкручиваться. Я едва зарабатывала на жизнь, но...

Иногда в воскресенье встречалась с друзьями, мы ходили купаться на пляж в Риве — у меня было немного развлечений. К тому же вечерами уставала, рано ложилась спать. Вот видите, как я жила. И так день за днем. Старела, но замечая этого. Вот так».

Еще она сказала, что была идиоткой, что заставляла его верить всяким ее историям. «Я должна была выдумать что-то, иначе все было бы пресно и неинтересно».

— Катрин, Катрин, — сказал он, качая головой. На его лице была та самая добрая улыбка, которая прежде почему-то заставляла говорить о нем, что он не изобретет пороха. — Ну что, погуляем?

— Да, Фред, да. Мне так хочется хоть ненадолго уехать из этого города, пусть даже за несколько километров... Вот вы добились успеха, а люди говорили, что вы не преуспеете...

— И вы поверили, да?

— Ну а как было иначе? — Ее глаза были полны слез. — Что знаешь о жизни в восемнадцать лет... вот теперь...

Она не посмела спросить его о личной жизни — женат ли, есть дети... На руке не было обручального кольца, и когда она заметила это, почему-то стало приятно.

Фред попросил счет. Объявили об отправлении самолета в Милан. Фары освещали стоянку у главного входа, и каждый раз, когда они выхватывали из темноты длинную серую машину Фреда, Катрин, кроме нее, ничего не видела вокруг. Ресторан наполнился пассажирами, среди которых были и их знакомые.

— Скажите мне правду, — тихо попросил Фред. Они все еще были в зале ожидания, и он нежно держал ее за руку, как тогда, на улице Бугенвиль. — Скажите правду, Катрин, что именно говорили обо мне в то время?

— Люди бывают такими злыми...

— Что же они говорили?

— Они говорили... Нет, это идиотизм!

— Скажите же! Что мне от этого будет через столько лет!

Оба смотрели на его плоскую фосфоресцирующую машину.

— Ну хорошо, они говорили: «Твой Фред не изобретет пороха».

— Ах, вот что!

Они вышли из ресторана. Теплый ветерок доносил аромат сена. Небо было ясное, звездное, можно было увидеть Млечный Путь. Фред отпустил

руку Катрин, засунул свои в карманы и опустил голову. Он переминался с ноги на ногу.

— И вы, — сказал он медленно, — вы им поверили. Вы повторяли эту фразу, верно? Вы тоже говорили себе: «Мой Фред не изобретет пороха». «Мой Фред»... «Твой Фред»... — Тон его стал сухим. — Ну что ж, они ошиблись, вот и все. Все могут ошибаться, правда? Ружье тоже вот ошибся, а? Ладно, куда вас подвезти?

Она побледнела, а из-за неоновой подсветки казалась совсем белой.

— А мы разве не пойдем?..

— Нет, Катрин, — сказал он. — Не хочу быть злым, но у меня уже нет желания идти куда-либо. Не в это воскресенье, не в какое другое.

Он шел под бликами фонарей, похожих на падающий снег. Шагал по выпавшему снегу среди теплого лета с запахом сена.

— Пойдем, — сказал Фред.

— Нет, — она протянула ему руку. — Теперь я предпочитаю автобус.

Ее холодные глаза сверкнули. Она повернулась и вскочила в автобус, который, скрипнув тормозами, остановился рядом. Усевшись, достала из своей пляжной сумки пудреницу, посмотрелась в зеркало и попудрила нос. И удивилась своему выражению лица. Невероятно, что с таким выражением она вообще могла из-за чего-либо плакать. В одном месте, где дорога ремонтировалась, автобус мелко запрыгал, и Катрин ухватилась за поручень. Она сжимала зубы. Глаза резало, как будто в них насыпали песок. Самолет на Милан, набиравший высоту, с мощным гулом прошел позади автобуса. Она проводила взглядом красный и зеленый огни.

«Я полечу, — сказала она себе. — Однажды я все равно полечу... Куда-нибудь, как можно дальше...»

Перевод с французского НИНЫ МОРГУНОВОЙ



Нина Дмитриевна Моргунова родилась в Коломне. Окончила факультет иностранных языков Коломенского педагогического института. Работала в ряде газет города и соседних районов, была редактором многотиражки КБМ. По душевной склонности — литератор-переводчик. Перевела с французского два романа — «До последней капли» Ж.Сименона и «Девушка из Оперы» Ги де Кара, несколько рассказов. В настоящее время работает в областной газете «Ежедневные новости» и продолжает заниматься переводами.



МОРИС ДРЮОН РОДИЛСЯ 23 АПРЕЛЯ 1918 ГОДА В ПАРИЖЕ. ТАЛАНТЛИВЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ ПИСАТЕЛЬ, АВТОР ШИРОКО ИЗВЕСТНЫХ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ МНОГОТОМНЫХ РОМАНОВ «СИЛЬНЫЕ МИРА СЕГО» И «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ». РАССКАЗЫ ЕГО МЕНЕЕ ИЗВЕСТНЫ, НО ОНИ ЗАСЛУЖИВАЮТ ВНИМАНИЯ НАПРЯЖЕННЫМ ДРАМАТИЗМОМ, ЧЕЛОВЕЧНОСТЬЮ И МЯГКОЙ ИРОНИЕЙ. НЕМАЛО У ПИСАТЕЛЯ ИСТОРИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ, О ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ (ДРЮОН БЫЛ АКТИВНЫМ УЧАСТНИКОМ СОПРОТИВЛЕНИЯ), А ТАКЖЕ О ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ.

ЗНАМЕНИТЫЙ ПИСАТЕЛЬ ПОБЫВАЛ В РОССИИ И ИМЕЛ ВСТРЕЧУ С ПРЕЗИДЕНТОМ В.ПУТИНЫМ.

ПУБЛИКУЕМЫЙ НАМИ РАССКАЗ НЕ ИЗВЕСТЕН РОССИЙСКОМУ ЧИТАТЕЛЮ.

МОРИС ДРЮОН

СТАРАЯ ЛЮБОВЬ

РАССКАЗ

Вот уже почти десять лет мамаша Леже повторяет мужу:

— Ты теперь самый старый в деревне, твоя очередь помирать.

И каждый раз папаша Леже отвечает, выбивая пепел из трубки:

— Твоя правда, мать, я пожил свое, а когда помру, буду *там* ждать тебя.

«Там» и еще «дома» — это на кладбище; дорога к нему начинается от угла их дома, и похоронные процессии всегда проходят мимо его дверей.

Папаша Леже давно проводил всех своих сверстников *туда*. Он был единственный в округе, кто видел Голгофу Четырех луж (так называли в деревне начало дороги на кладбище) без кизилового дерева. А может быть, это ему рассказал отец? Память Анатоля Леже простиралась так далеко, что его собственные воспоминания путались с воспоминаниями отца. Но он четко помнил, как его сын собирал здесь кизил. Никто больше не мог сказать, что видел плоды на этом дереве, наполовину умершем и сплошь увитом плющом.

Папаша Леже всю свою жизнь работал на одной и той же ферме — сначала младшим слугой, потом старшим и, наконец, главным. Он видел три поколения хозяев и ушел, когда земля перешла к другой семье. И вот теперь он почти не движется и ничего не видит. Уже десять лет жена одевает и раздевает его, два раза в неделю бреет и водит за руку, когда ему необходимо сделать несколько шагов.

Он проводил дни сидя, выпрямившись на соломенном стуле и сложив руки на коленях, в их единственной комнате в углу у огня, который горел и летом, и зимой.

Этим июльским днем мамаша Леже пошла в сад. Внезапно перед ее глазами замелькали черные птицы, в ушах зазвенело,

и, чтобы не упасть, она оперлась на ручку грабель. «Наверное, от жары», — подумала она и присела в тень. Но черные птицы продолжали кружить, и дышалось с трудом. Мамаша Леже вернулась в дом и начала было гладить мужнину рубашу, но, когда смочила складки, комната закружилась.

— Послушай-ка, мать, сегодня день моей бороды, — сказал папаша Леже.

— Побрею вечером, что-то мне неможется.

Она задыхалась. Казалось, шея вот-вот лопнет.

После полудня зашла соседка. Увидев пунцовое лицо старушки, она забеспокоилась и побежала за врачом. Он пришел, когда мамаша Леже рухнула на табуретку, и у нее не было сил даже расстегнуть ворот блузы.

— Я никогда не болела, никогда, это пустяки, — шептала она.

Врач попытался сделать кровопускание, но черная кровь свертывалась и не хотела выходить.

— Матушка Леже, я никогда не скрываю правду от своих пациентов, — сказал он. — Соберите всю свою волю и ждите...

Она, казалось, не поняла, что надо было звать не его, а нотариуса и священника. Врачу не хотелось говорить об этом прямо, но он тихо добавил:

— Бедная матушка Леже, вам суждено умереть.

Когда папаша Леже услышал слова доктора, он перестал думать о своей небритой бороде, и его деформированные пальцы задрожали.

...Свадьба с красавицей Марией была сыграна во времена, когда он был старшим слугой. Она была на шестнадцать лет моложе его, и над женихом подтрунивали. День за днем он видел, как Мария стареет рядом с ним, но он-то все равно был старше. В последние годы, когда на лице Марии вздувались вены и оно краснело, а на голове из-за выпавших волос светилась кожа, Анатолий был уже слепым и не видел жену такой.

Когда давние воспоминания становились более отчетливыми, образ стареющей Марии стирался, и она представлялась ему в двадцатилетнем возрасте. И теперь он не понимал, почему Бог дает погибнуть такой красивой девушке. Ему потребовалось огромное усилие, чтобы вспомнить, что ей... девяносто три года минус шестнадцать... Он никак не мог сосчитать.

Руки перестали дрожать, стариком овладела сонливость, и он забыл, что его красавица Мария умирает.

Старая Мария лежала на кровати, и пуховое одеяло возвышалось горой на ее огромном раздутом водянкой животе. По комнате плавал серый туман в каких-то пятнах копоти. Пришел кюре с мальчиком из церковного хора, который держал колокольчики — вестники смерти. Так же, как врач не смог пустить ей кровь, кюре не смог вытянуть из нее ни слова. Он стал задавать вопросы, но она только хрипела, открыв рот с фиолетовыми губами. Черный дождь падал на лицо священника и складчатое одеяние мальчика.

Вечером хрип прекратился. Марии казалось, что силы вернулись к ней, и она вспомнила суровый голос: «Матушка Леже, вам суждено умереть»...

Она не знала, кому принадлежал этот голос, но сердце ее заметалось, и она позвала:

— Отец... отец...

Папаша Леже удивлялся, что Мария так долго не идет раздевать его. Потом он заснул с трубкой в руке. Голос жены наполовину разбудил его.

Мария бредила. Лежа, она шла *домой*, все шагала и шагала. Огромная черная птица долбила ей грудь. У нее была страшная голова дьявола и клюв

попугая, который смеялся. Мамаша Леже чувствовала себя слишком слабой, чтобы спрятаться от птицы, и плакала.

Она остановилась вблизи кизилового дерева на Голгофе Четырех луж, у большого поворота дороги на кладбище. Здесь птица била ее грудь не так больно, ноги мамыши Леже уменьшились, и она смогла убежать от нее.

— Молния сломала ветку кизила, — сказала она.

— Он, мать, как мы, стареет, но все-таки держится.

Голос мужа заставил мамашу Леже спуститься назад, из *дома* в кровать. Через открытое окно луна освещала угол камина, папашу Леже, сидящего на своем стуле, отчетливо обрисовывала его профиль с усами.

Черная птица снова принялась бить ее в грудь. У нее была безобразная голова скотника Фердинанда. Так вот почему птица мучила ее. Фердинанд раньше повсюду преследовал Марию, однажды шел за ней до самой прачечной. Один глаз у него был закрыт, а смех — как у сатаны. Когда она хотел повалить ее близ пустынной дороги, она рассказала об этом Анатолю. Скотник был высокий и сильный, но Анатоль выше, сильнее и, конечно, красивее. Она никогда не обманывала его. Анатоль во дворе фермы поднял на Фердинанда свой большой хлыст главного слуги. Потом скотник Фердинанд состарился, и однажды по нем зазвонили. «По ком это звонят?» — спросил папаша Леже. — «По скотнику Фердинанду».

Анатоль уже не сердился на Фердинанда, а мамаша Леже проводила его в церковь на отпевание.

— Отец, теперь ты самый старей в деревне. Твоя очередь помирать.

Было свежо, и папаша Леже подумал, что уже утро, не понимая, как оказался одетым. Как всегда по утрам, он достал из кармана старый свиной пузырь с табаком и медленно набил трубку. Потом ответил Марии еще раз:

— Твоя правда, мать, я свое пожил. Пойду *домой* и буду ждать тебя.

На церкви начали бить часы. Мамаша Леже не слышала их — у нее в ушах и без этого стоял сплошной звон, а старик по привычке тихо считал удары. Три... четыре... Он собрался остановиться на семи, но часы продолжали бить до одиннадцати. Папаша Леже забеспокоился: так прохладно... Не может быть, чтобы было одиннадцать утра. Как же это он проснулся ночью?

— Анатоль, Анатоль, — услышал он.

Так жена называла его первое время после женитьбы. Он вспомнил, что жизнь прошла. Его охватила тоска, руки так сильно задрожали, что он едва мог держать трубку. А Мария шла *домой*, чтобы лечь там рядом со своим папашей Леже. Но у решетки ее ждал скотник Фердинанд.

— Анатоль!..

Ей никак не удавалось убежать, ноги были слишком тяжелые. Напрасно она вскидывалась всем телом — свинцовые ноги не пускали ее, а Фердинанд приближался. Он злобно смеялся, и она видела волосы в его ноздрях. Рука Фердинанда росла и росла, и когда она стала огромной, раздавила грудь мамыши Леже. Наконец-то ноги ее стали легкими, и она побежала с дико бьющимся сердцем. Позади слышался топот преследовавших ее сабо. Обернувшись, она увидела в свете луны скотника, он бежал к дому.

— Анатоль, закрой окно! — закричала она.

— Тебе холодно, мать? — ответил папаша Леже. — Ты же знаешь, я ничего не вижу, меня надо вести.

Тоска его усилилась: неужели его Мария так близка к концу, что даже не помнит о его слепоте? Надо что-то сделать для нее. Он вытряс трубку, спрятал ее в карман и встал. И стоял, не решаясь двинуться.

Мамаша Леже увидела мужа стоящим и подскочила. Бред ее смешался с

гневом. Леже солгал ей, он не пошел *домой* дожидаться ее. «Матушка Леже, вам суждено умереть...» А он останется здесь? То, что он пережил всех стариков в деревне, внушало ей радость и гордость. Но он не делает то же, что она. Он ведь поклялся, что никогда не покинет ее.

Она хотела, чтобы Анатолий ушел первым. Иначе там, в вышине, черная птица и Фердинанд не оставят ее в покое. Если бы она могла подтолкнуть его.

— Иди, — сказала она, — я поведу тебя.

Папаша Леже послушался. Вытянув руки перед собой и шаркая ногами, он наклонил свое большое тело и, освещаемый луной, пересек комнату. Он нес в себе свою собственную ночь.

— Впереди ничего нет? — спросил он.

— Иди смело.

Руки Анатолия наткнулись на препятствие:

— Мать, я у стола.

— Поверни налево... так... продолжай идти, отец...

Со своей постели умирающая следила за движениями старика, теряя на этом последние силы. А черная птица все била и била ее...

Папаша Леже остановился, ощутив руками пустоту.

— Я еще далеко?

— Иди смело!

Руки слепого прошлись по обеим сторонам стекла, голова ударилась о створку, и на минуту он остановился, оглушенный. И не мог вспомнить, почему он тут.

— Куда теперь? — спросил он

— *Домой*, — ответила мамаша Леже.

Старик заметался. Он хотел вернуться на свое место, но ударился бедром об угол стола, отпрянул, долго блуждал, держась за стены и огибая мебель. Наконец нашел камин, свой стул и, обессиленный, сел.

В тишине слышался только маятник часов. Теперь папаша Леже знал, что жена больше не поведет его за руку. Он знал также, что самые прекрасные воспоминания о Марии — Мария на дороге осенним вечером, когда они играли, кто кого обгонит, и когда он поцеловал ее в первый раз, Мария в день свадьбы в фате, Мария на уборке сена в начале беременности, когда еще ничего не заметно, — он знал, что эти воспоминания уже не задержатся с ним, они растворятся в их общем сне.

Мария... Уснула она или потеряла сознание? Ей казалось, что она поднимается со дна пруда. «Да, доктор, я умру, но кто тогда побреет бороду моему папаше Леже, ведь он не позволит это никому другому. А кто приготовит ему еду?»

Толстое одеяло из красной материи в лунном свете бугрилось на ней, как во время беременности.

— Анатолий, дай мне мое шитье, — попросила она. Потом вспомнила, что Анатолий не ответит: он умер, ударившись об окно. В его возрасте он не мог бороться... И вдруг Анатолий спросил:

— Где твоё шитье? Меня надо вести, ты же знаешь...

А как же *домой*? Он что, забыл? За столом он брал еду первым, в церковь входил впереди нее — всегда и повсюду она только следовала за ним и была довольна этим. Она заставит его умереть первым.

— Иди, впереди нет ничего.

Папаша Леже больно ударился обо что-то бедром и опрокинул табурет.

Часы на церкви пробили полночь. Папаша Леже остановился посчитать удары.

— Ты же ничего не видишь и не можешь направлять меня, ведь сейчас полночь, — сказал он.

— Нет, я вижу — светит луна. Ты правильно идешь... Перед тобой комод. Открой его. В самом низу, налево...

Старик нагибался медленно, рывками. «Она вправду видит», — подумал он, нащупав корзину с шитьем. С еще большим трудом он разогнулся.

— Иди по стене... шагай, шагай смело.

Папаше Леже казалось, что он идет не в направлении кровати, но все же продвигался, хотя руки были заняты корзиной. Совсем рядом он услышал звук часового маятника — он был рядом с напольными часами, а считал, что прошел их, и вдруг со всего маху ударился о них. Старые часы, высокие и ветхие, закачались на непрочных ножках, одна из которых, вся изъеденная червоточиной, подломилась, и папаша Леже почувствовал, как длинный корпус часов опустился на его плечо. Он бросил корзину и схватился за часы. И тут раздался бой, которого не было слышно уже много лет. В оглушительном шуме зубчатых колес механизм пробил по очереди каждый час дня. Папаша Леже согнулся, сраженный грохотом и усталостью. У него разболелась голова, лоб жгло. Ладно, разбились так разбились, и пусть они падают, эти часы, куда хотят. Они тоже отжили свой век и отслужили свое. Но часы все же удержались, покосившись из-за сломанной ножки; слепой этого не видел. Он с трудом держался на ногах. Известь со стены осыпалась под его руками по мере того, как он продвигался. Потом руки ощутили другое — он узнал дерево двери. Значит, он обогнул комнату и вернулся к камину...

Мамаше Леже казалось, что кровать то падает под ней, то снова встает на место. Что-то давило ее снизу, и она опять стала задыхаться. Наконец кровать снова стала на место, и старушка получила минутку передышки. Она увидела сбоку, на стене, золотистый картон настенного календаря на одном гвозде с веточкой букса.

— А ты знаешь, отец, вчера была наша золотая свадьба.

Нет, она была, конечно, не вчера, а лет восемь назад. Но мысли папаши Леже были так перемешаны с этими же самыми воспоминаниями, что он ответил, как восемь лет назад:

— Лучше бы о ней не знать, мать. Теперь, когда мальчика нет в живых, нам уже нечего пожелать друг другу.

Мальчик... Мамаша Леже покупала у бакалейщика копченую селедку, когда почтальонша мамаша Жоли подала ей телеграмму... Подумать только, мальчик прошел всю войну и уцелел (пневмония не в счет); а в мирное время, когда плотничал, на него обрушились леса и раздавили. И произошло это даже не дома. С тех пор мамаша Леже стонала при виде любых балок. Нет в мире справедливости, и Господь безжалостен. Пломбированный вагон — вот что они получили от своего сына. Бедняки не могут заставить заплатить за такое. Мальчика не будет *дома*, и с этим придется смириться.

— Отец, дай мне свидетельство мальчика... Дай мою накидку...

Мария хранила в шкафу свою накидку из черного крепа и собиралась ею воспользоваться, когда придет время провожать *домой* папашу Леже, которого понесут на руках шесть братьев милосердия из больницы Шарите, одетых, как архидьяконы.

— Чего тебе все-таки, мать? Твою накидку или свидетельство?

— Свидетельство. Ты же знаешь, оно лежит с краю на камине, над тобой. Не бойся, подними голову.

Разве папаше Леже дотянуться, уж он-то знает свой камин. «Почему

жена хочет, чтобы он встал? Что-то не то. Ведь он уже налетел и на окно, и на табуретку, и на часы... Не видит она, что ли, уже или делает все нарочно?» — думал он, все же осторожно вставая. Старик схватился за край корзины и достал тонкую рамку с облупленным лаком, где было свидетельство их сына об окончании учебы. Он вспомнил, что мальчик сам сделал эту рамку. Потом Мария вставила в уголок его фотографию, светлого пехотинца.

Старик Леже на ощупь направился к кровати.

— Держи, Мария, вот мальчик.

Ему показалось, что она взяла рамку, но послышался звон разбитого стекла. «Наверное, она хотела накидку», — подумал он.

Шкаф находился рядом с кроватью. Папаша Леже вспомнил свои былые движения: дверь открывалась легко. Он приоткрыл ее и стал шарить по полкам. Вот стопа простыней, детская шапочка и фартук. Он продолжал поиски и наконец нашел легкую сложенную ткань. Мамаша Леже что-то бессвязно бормотала, но ему удалось разобрать:

— *Домой* надо идти, отец... Почему ты не хочешь ждать там меня?..

Затем неразборчивые звуки, хрипы.

«Мария Муше» — внезапно вспомнил он девичью фамилию жены. Он стоял у ее кровати на коленях. Пальцы вдруг вспомнили старый жест нежности, ему захотелось погладить лоб Марии, но рука натолкнулась на рот, из него текло что-то горячее и липкое. Он машинально вытер руку о накидку. Потом вернулся к камину, зацепив накидку, которая соскользнула на пол. Он повторял про себя: «*Домой, домой*»... Да, он обещал ждать ее *дома*. Может, часы и окно напоминали ему об этом? Если уж Мария забрет что-нибудь себе в голову... Бедная моя Мария... Такая красивая! Что он будет делать без нее? Его увезут в приют и похоронят на другом кладбище, одного, как и их мальчика.

— Мария, ты одна мой свет, — прошептал он.

Старик уже не думал больше ни о чем, у него разболелась голова, очень хотелось спать. Он слушал, как дышит Мария. Крошечным просветом сознания, которое еще оставалось у него, он сконцентрировался на этом последнем свидетельстве жизни подруги. Мария дышала отрывисто, со свистом, останавливаясь. Старый Анатолий следил за ее дыханием своим собственным, его грудь приподнималась в том же отрывистом ритме. Свист на мгновение прекратился, потом — короткий вдох, остановка и — слабый выдох. В тот самый миг, когда наступила тишина, Анатолий понял, что его прекрасная Мария умерла... Он вновь увидел осеннюю дорогу, где они играли в догонялки. «Я иду быстрее тебя, Мария, и приду первым». Он поцеловал ее. Может, это было по дороге к *дому*. Ему показалось, что он поднимается, но тело оставалось неподвижным.

Утром соседки увидели в окно, оставшееся открытым, мамашу Леже на кровати. Ее застывшие глаза смотрели в сторону камина. Часы, накренившиеся по диагонали комнаты, остановились в полночь. В комнате кавардак, как будто здесь дрались. На полу валялись свадебная фата и мотки ниток. Около камина сидел папаша Леже. Голова его свесилась на грудь, руки покоились на коленях. Когда его тронули за плечо, тело упало, как деревянное. Оно было холодным.

На следующий день их торжественно проводили *домой* — мужа впереди, а жену, как и полагается, следом за ним.

Перевод с французского НИНЫ МОРГУНОВОЙ

КНИГА
В АЛЬМАНАХЕ





Фото Геннадия ЧИСТЯКОВА

ОЛЕГ КОЧЕТКОВ



СОКРОВЕННОЕ...



Олег Владимирович Кочетков родился в 1947 г. в городе Коломне. Окончил Литинститут им. А.М. Горького. В 1977 году в столице вышла первая книга молодого поэта — «Время настало» а через год — «Травяная дорога».

Олег Кочетков вступил в Союз писателей, переехал в Москву, но не забыл родной город: более десяти лет руководил в Коломне литобъединением «Зеленые цветы», названным так в честь своего любимого поэта — Николая Рубцова.

Олег Кочетков — поэт очень искренний. В его стихах сочетается высокая гражданственность с обнаженным, тонким лиризмом.

Автор семи книг поэзии. Лауреат Всероссийской литературной премии Союза писателей России «Традиция». Живет в Москве.

НЕ КАК СЛЕДУЕТ ЖИЛ — КАК ХОТЕЛОСЬ!

РОДОСЛОВНАЯ

Я ладонь положил на равнину,
И сквозь кожу пошел смутный гул...
Долго слушал я песню едину,
Пока в пряной траве не заснул.

А заснул — так приснилось такое,
Чему имени нет и конца:
Раздвигал я пространство рукою
До забытого ветром крыльца.

А на нем — не князья да бароны
И другая дворянская знать:
Черный ворон бьет долу поклоны,
А вокруг — никого не видеть..

И напрасно рука раздвигала
Пред собою пространства кольцо:
Лишь одно, лишь одно выпадало —
Только поле и только крыльцо!

Хоть лица ускользающий высвет,
Хоть бы голос неясный, глухой!
Пусть унизит меня — не возвысит,
Только б знать: кто, откуда, какой?

Лишь крыльцо да широкое поле —
Вот и все... Остальное — темно.
Нет на свете возвышенной доли —
Знать, что большего знать не дано!

...Я лежал средь притихшей полыни,
Окуная лицо в облака.
И лежала рука — на равнине,
И на сердце — лежала рука!

СЕНОКОСНОЕ

Мне бы снова, шагнув через годы,
Выйти в клеверную пургу,
Где девичий коротенький отдых —
Как букетик на пестром лугу.
У девчонок такие колени:
Если взглянешь — ослепнут глаза!
На меня их округлые тени
Надвигались, будто гроза.
Косу выстудив клеверным соком,
На девичий наткнувшись смех,
Я глаза поднимал ненароком,
Одну выделяя из всех.
Вспоминаю мелькавшую кринку,
Бронзу спин вспотевших парней
И девчонку в нарядной косынке, —
Теремком, до самых бровей.
От еџ чуть приметной улыбки
Я витал где-то там, в облаках,
И кузнечика звонкая скрипка,
Словно пульс, стрекотала в висках,
А под вечер мы шли с нею полем,
Из села наплывала гармонь,
И, как угли, девичьи мозоли
Мою обжигали ладонь.



ИМЯ

Холодит и беспокоит ветер
Сумрачное, редкое жнивье.
Ты зачем на этом белом свете,
Имя древнерусское мое?

Что тебе от этого простора
И земли, продутой сквозняком?
Где тебе — с отсрочкой или скоро —
Уготован горестный укром?

Что тебе от этого напева
Вечность обнимающих ветров,
Где твое мучительное древо,
У каких исчезнувших дворов?

Даль знобит и дышит так глубоко!
Всяк здесь равен: мертвый и живой.
Почему ж тебе так одиноко
Перед этой ширью ветровой?

На какую и на чью потребу
Ты в миру блуждаешь — не понять...
Раз произнесенное под небом,
Ты летишь, летишь к нему опять...



ОВЦА

Подкатили чуть свет
К голубому крыльцу.
Беспокойный наш дед —
Сразу резать овцу.
Но не сам, в сердце дрожь,
А сосед был мастак,
Усмехнувшись, взял нож:
«Знамо, я не за так...»
Кто постарше, кто мал,
Жались мы — ребяшня,
Когда кровь он смывал
Во дворе у плетня.
Я глядел не дыша
И мерещилось: тут
Не вода из ковша —
Мои слезы текут.
Я тогда по летам
Понял истину зла —
Не приехать бы нам,
И овца бы жила...

* * *

И вроде насытился далью сырою,
И тусклым свеченьем тяжелых стогов,
И гоном лохматых, рябых облаков,
И дымом костров, и холодной зарею.
Но лошадь всхрапнула, качнулась телега,
Скользнули в рассвет осоки, плетни,
И преданней самой ближайшей родни —
Предстали поля в ожидании снега.
Знакомою дрожью меня охватило...
Как будто проплыл предо мною твой лик,
И снова услышал зазубренный крик
Встревоженных птиц,
и высокая сила
Меня понесла над дорогой разбитой,
Над стылой и липкой предутренней мглой,
Над этой суровой,
извечной землей,
В которую будем однажды зарыты,
Но мы и тогда не станем с ней квиты...

ВЬЮГА

Распогодилось. Тучи нависли.
Навалились на думу снега.
Жизнь предстала в мучительном смысле;
Что ж ты делаешь, вьюга-вьюга?

Ведь любовь моя к явленной яви:
К этой жизни — с людьми и зверьем —
Все отчетливее, все шершавей
И беспомощнее с каждым днем.

Потому и выходишь из круга
Каждодневных насущных забот,
И бессмертная юная вьюга
Так берет тебя в оборот!

И, прижавшись к стеклу ледяному,
Напрягаешь и зренье, и слух,
Приобщаешься к вечно иному,
Чем живет человеческий дух.
И горячный лоб остужаешь
О надрывную темень стекла,
Остужаешь себя, осуждаешь
И почти уже с вьюгой рыдаешь,

И она — наклоняет крыла...

ВЕЧЕР У ОЗЕРА

Зыбь на тусклой, зыбкой глади,
Первобытный дух костра.
Ускользящих понятий
Смысла — редкая пора!

У плеча вспорхнула птица,
И истаял мягкий шум...
Может, то — душа стремится
Выйти из неволи дум?

Над дымком струятся тени,
Уплывая в сумрак, ввысь.
Мир души и мир растений
В необъятное слились!

И сластит опустошенность
Где-то, далеко внутри...
Столь ранимая подробность
Угасающей зари.



ЖЕНЩИНА

Женщина, что ты такое?
Болью сквозишь вековою.
Дальше небесных светил.
Ближе друзей и родных.
Путь до желаний твоих
Ветер один проложил.

Как тебе в этом пространстве
С грезами о постоянстве
Плоти твоей и души?
Взор устремляешь куда?
Будущие года
Слабостью не сокруши.

Да, ты не друг, не родня мне —
Вздых на стезе стародавней,
Посох и тягостный сон,
Что уготовишь — приму
Во поле чистом, в дому.
Я для того и рожден.

Не осуди же ты строго:
Вся на земле не от Бога.
Как тебе властно — нагой!..
Где ты, в какой стороне
Руки простерла ко мне,
А обнимает — другой.

* * *

Небо забылось ненастьем,
Поле под ветром сквозным
Дикою, дивною властью
Тянется к веждам моим.

И не сморгнуть эту волю,
Разбередившую плоть.
Это крошечное поле
Нам уготовил Господь!

Славно, безжалостно, просто,
Вскленье по душе, по уму!
Вплоть до седого погоста,
Где переход мой во тьму
Станет таким долгожданным
Для этих скорбных ракиц,
Где бубенцом покаянным
Сердце над бездной звенит...



* * *

Не спалось, не мечталось, не пелось,
Словно пес, жадно нюхал ненастье:
И дожди, и бодрящую прелость.
Не как следует жил — как хотелось!
И бродил, задыхаясь от счастья,
Среди скирд, по жнивью, по лощинам,
Без друзей, без копейки в кармане.
Пересыпанный духом крушинным,
Перехлестанный криком грачиным,
На единственной, может быть, грани,
За которую нет убежденья,
В мимолетности сущих явлений,
За которой смыкаются звенья
Всех живущих, и только мгновенье
Отделяет нас, чтобы стать тенью
Прорезающих почву растений...



О ПЕЧАЛИ

А что, разве плохо — печаль?
Она к размышленью взывает,
В ней тайная дума мерцает
И русская мгlistая даль.

Подъемлет она испокон
На сердце святыя сомненья,
Продлит в нем такие мгновенья,
Что будешь и сам потрясен!

Развеешь ее на ветру,
Прогонишь хорошим застольем, —
Она послоняется в поле
И вновь подойдет ввечеру.

Покрепче ее обоймешь,
В глаза ее глянешь лихие —
Забрезжут пространства такие!
И что-то внезапно поймешь.



* * *

— Эй. — кричит, — почему ты один
И живешь — сам себе господин?
Кто такое дал право?!
— Да ведь я не один, — отвечаю,
Словно в чем-то себя обличаю... —
Вон какая держава!

— Эй, — кричит, — ты давай не темни,
Этак все на земле — не одни!
Ты о ближних поведай...
Усмехаюсь: — Так ближние что же?
Они дороги все мне до дрожи,
Не такой я отпетый!

Только в этом ли — грозная суть,
От которой сжимается грудь
И во тьме и при свете?
Нет похожих двух душ под луною,
Всяк мерцает своею, иною —
Недоступной, как ветер!

— Эй, — кричу, — был лишь раз не один!
Когда был — ни отец и ни сын
И текло время оно.
Только раз! Разве этого мало?
Когда к свету влекло и держало
Материнское лоно.

* * *

Что-то было в душе сыровато...
Взяли пива по кружке на брата.
На пальто себе пену роняя,
Мы пристроились возле сарая
На щелястой пустой бочкотаре,
Не в каком-то прокуренном баре!

Помолчав вдохновенно о бабах,
Помолчали о бедных арабах,
Как им жарко в своей Палестине.
Хорошо, что живем на равнине!
(Сразу наши глаза повлажнели...)
После молча и тех пожалели,
У кого столько родин по свету,
Но одной до сих пор так и нету...
И подумалось: сколько же значит,
Когда есть она, есть и оплачет...



СВЕТ

Небесный свет — вместилище надежд,
Которые в миру не воплотились,
А лишь слезою скупой осветились
В дрожащей бездне утомленных вежд.

Отчизны даль, от реющих обид
Знобит над беспросветным бездорожьем.
И промыслом всечеловечьим, Божьим
Ее простор мучительно болит!

И высь над ней — незыблемый завет,
Соединенье помыслов скорбящих,
Судеб ее рыдающе-щемящих,
Из вещности — переходящих в свет!

* * *

Никому ничего не оставить,
Кроме бедных прозрений души,
Да и то вряд ли можно прославить
Этот вымах порывистой ржи;

Этот выдох ликующей воли,
Горьковатый отечества дым,
Улетающий в ясное поле
По законам неясным своим;

Этот стылый, кочующий ветер,
Просквозивший тебя до основ,
Сиротливые сумерки вцтел,
Обступивших твой дедовский кров.

Потому, что простор так распахнут, —
Потому и распахнута грудь.
Только судьбы равнинные ахнут —
Чтобы волюшки вволю хлебнуть!

Как рябиною даль окривать —
Так же просто, в последней той мгле
Никому ничего не оставить,
Кроме вздоха по этой земле!

* * *

Дочери Иринишке

Не было трепетней, искренней дней,
Чем кристального детства наивные грезы.
Запоздало и честно себя пожалея
И купи два цветка обжигающей розы.

В изголовие детству ты их положи,
Поклонись и уйди к суете и заботам —
В его ангельской сини сверкают стрижи,
И мерещится жизнь — небывалым полетом!

Там, с забытым восторгом, нормально вполне,
Ты бессмертен, как свет, и открыт, как ромашка.
Поклонись и уйди и постой в стороне,
Пока в долгих полях твоя тает рубашка.

Запоздало и честно себе же ответь,
Что обрел ты такого за годы былые,
Чтобы так вызывающе сухо смотреть
На порхание чувств, на порывы живые!

Что же в мире стремительном ты разгадал,
Чтобы так снисходительно вдруг улыбаться?
Вон — вихрастый бежишь, и бежать не устал,
И цветы с тобой рядом бежать не боятся,
И далеко бежать, и не скоро прощаться...



* * *

Кирюше, внуку моему

Выживание наше, не боле,
На просторе когда-то родном.
Эта тяжесть новейшей юдоли —
На младенческом сердце твоём.
Эта тяжесть виной неподъемной
Пересилила волю мою.
И теперь, от себя же свободный,
На отшибе державы стою.
Промотавший отцово наследство,
Я, в слезах, уповаю сейчас
На твое васильковое детство,
На славянский разрез твоих глаз,
На, быть может, последний свой час...

ВОСПОМИНАНИЕ

Сверкает ясно Водолей,
И хрумкают неспешно кони.
И дрема движется с полей,
А я как будто посторонний —
Гляжу на все — со стороны.
И внемлю, ощущая смутно
Какую-то печаль вины,
Предвосхищающую мудро
Раздумья поздние мои
О мимолетности счастливой
Всего, что нам даруют дни,
Покамест мы на свете живы.

А ночь свое значенье длит,
И пахнет вечностью и сеном.
И мысль как светлячок летит
В бессмертном воздухе мгновенном.



* * *

Наш преданный пес золотыми глазами
В твои золотые — глядит.
Метели студеные не за горами,
И всполох взаимных обид
Сжигает пространство, обжитое нами,
И угли горчат на губах.
И чаянья наши всю ночь за дверями
Сиротски рыдают впотьмах.
Я выйду и кану в листву огневую,
И верный наш ласковый пес
Мордашку поднимет с участием живую,
И чмокну его — в мокрый нос.
И вкус твоих губ невозможно родимый
Почую на горьких, своих.
И сердце обдаст вдруг такую кручиной...
Видала меня ты в живых!
Развернется путь, без пути и дороги,
И я в никуда помолюсь...
Завоет собака и ткнется мне в ноги,
И я ей в загрявок уткнусь...



* * *

В зябкой дрожи листвы золоченой,
В набегающей ряби пруда —
Запрокинутый выдох влюбленный
Дня сегодняшнего — в никуда!

Но коснется он силой мятежной
Утомленной, болящей души —
В ней простор распахнется безбрежный,
Его ветром суровым — дыши!

И не тщишь ты измерить судьбою
Поднебесный его окоем.
Ведь живет он и дышит любовью,
Уместившейся в сердце твоём.

* * *

Суровое время природы:
Стенает листва на ветру,
Не дни ускользают, а годы,
Но все это мне — по нутру!
Поскольку пространство сырое,
И рваные туч косяки,
Над Богом забытой дырою,
Спасают меня от тоски.
Вернее, моя — горевая
Сливается с ветром, листвою,
Небесную явь оживляя
Моей человеческой судьбой!

А РОДИНА — ЭТО СУДЬБА...

* * *

А Родина — это дорога,
Которую грезит стопа.
И запах прогорклого стога,
И дедовская изба.
А Родина — это причина
Скупых, набегающих слез.
Невысказанная кручина
Смеркающихся берез.
И даль, перед небом единым,
И небо, над далью одной.
Весь этот простор журавлиный,
Пронзающий сердце виной!
А Родина — это забвенье,
В крови растворенная соль.
Отчаянье, и запустенье,
И безысходность, и боль.
Молчанье, на самом надрыве
Сознания, как сказочно нищ!
И яма, в репьях и крапиве,
На месте родных пепелищ.
И этот задумчивый вечер,
Коснувшийся сумерка лба.
И скрип усыхающих ветел.
А в общем-то, это — судьба!



ГОРСТЬ ЗЕМЛИ

Горсть землицы сырой подержал
на ладони —

И живое тепло ощутил,
И вдали замерцали прыскучие кони,
Чуть подале небесных светил.
И в глубоком, поросшем осокой затоне
Водяной себе вслух загрустил.

Восставали из мрака такие виденья —
О которых не скажешь пером!
То ли лапти скрипели, то ли растенья,
То ль на окских излуках паром?
А в душе распахнулись такие владенья!
А потом — покати-ка шаром —
Лишь ладонь я разжал, и вернулась земляца
К животворной юдоли своей.
Но не мог я никак до конца отрешиться
От того, что живого — живей.
Все стоял перед ней и шептал — да святится
Ее имя — до самых корней,
До полынных, до наших кровей!

ГРУСТЬ

Ни печали, ни сплина,
Ни хандры, ни тоски.
Золотая равнина,
И на ней — колоски.
Время жатвы пришло,
Я труда не боюсь,
Принимаюсь за дело —
В сердце — русская грусть!
И причины нет вроде,
Но за что ни возьмусь,
А она — на подходе —
Эта русская грусть!
Я то трезвый, то пьяный,
То грешу, то молюсь!
А в душе постоянно —
Непонятная грусть.
Встану рано сегодня
И вокруг оглянусь:
Боже, это ведь — Родина!
Ах, ты Мать моя — Русь!
Беспросветная грусть...



* * *

Покидаю лужковское Сити,
Где мне все — не по мне и не так.
Остается одно только: выйти
На заросший травой большак.
По обочинам — клевер с ромашкой,
Колокольчики да васильки,
И сердечко ликующей пташкой
Ввысь выпархивает из-под руки!
А простор — не измерить судьбою,
Даль широка, а ширь далека!
Становлюсь я здесь снова — собою,
До пульсирующего желвака
На безропотных скулах славянских...
И наивный, бреду в грусть полей,
К ней, оставшейся в снах мессианских,
К невозвратной России моей!

В КОЛОМНЕ

Ничего я не знаю, что помню,
А что помню — о том не слышал!
Закачусь я в родную Коломну,
В колыбель моих самых начал!
Да по ветхим пройду переулком,
Вдоль обрыва, над древней рекой.
Где в пустующем сумраке гулком
Разливается зябкий покой.
Постою пред Успенским собором,
И порывом скользнет вдоль виска
Грустный воздух Отчизны, в котором
Настоялись века и века!
И я, словно причастный к ним тоже,
Что-то смутное в сердце храня,
Вдруг почувствую вздрогнувшей кожей —
Как они — сквозь меня, сквозь меня!



ЗА ПЛЕТНЕМ

За плетнем поднимается солнце,
Молодой начинается день.
У избы за душой — ни червонца
На десяток вокруг деревень!
За плетнем — новорусских господство.
Сделки, офисы, банки, счета.
А в избе — запустенье, сиротство,
И ни пряника — ни кнута!
За плетнем — деловые разборки,
Всюду дилер и киллер сплошной.
А в избе — почерстевшие корки
Набухают гражданской войной!



ПРИЗРАК

На звезды молчу роящиеся,
Чувство лелея длящееся
О моей нежной силушке —
Родине, свет Россиюшке!
Я без нее — увечный.
Посох, мешок заплечный.
Кто подхватил — тот правый!
Призрак былой державы
Страстно лобзает память.
Нетути, что поправить...
Хоть ее всю окровавить —
Плотью его — не наполнить.
Только и есть, что — помнить...

НА ПРОГУЛКЕ

Бимке

Ну что, хромоногий дружище,
Так скорбно глядишь на меня?
Осталось одно пепелище
От нашего ясного дня.
От нашего крестного хода
И стати державной, святой,
И от золотого народа —
Один только нимб золотой!
Одно только гордое имя...
Хоть к небушку руки воздешь!
Столица с огнями чужими
Да пустошь родных деревень.
Как славно, что жизнью иною,
Дружище, твоя занята.
Трусцой ковыляешь за мною
И веешь вопросом хвоста.
Вживаешься в мир этот бранный,
Как тошно в душе и вокруг!
Мы были — надежда вселенной,
А ныне изъяли наш дух...
Куда же теперь нам, мой верный,
Последний мой преданный друг?

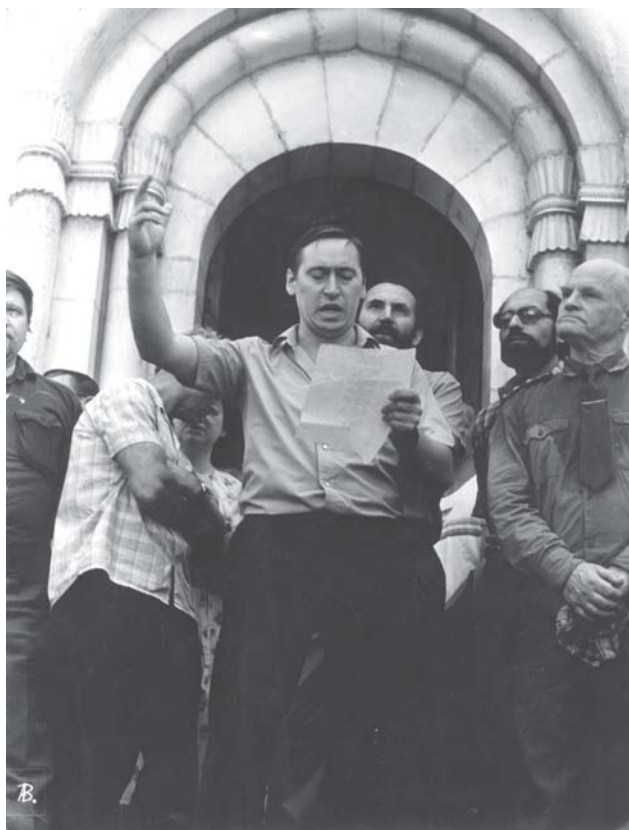


* * *

Не выходит из мрака
Дотлевающий век.
Но со мною — собака:
Самый мой человек!
Ее глажу по шерстке,
И смеется ладонь!
Собираю по горстке —
Поднебесный огонь!
По заветной крупине,
Оживляющей дух,
Что стенает и тщится
Предначертанный круг
Разорвать, лишь во имя
Этих долгих равнин,
Где я присно и ныне,
И вовеки — один!
Так один, что едино
Мне — молчать ли, кричать!
Лишь кровит пуповина:
Где ты, Родина-мать?

* * *

Не такие знавали мы годы.
Но еще не знавали таких!
Свистнул бич оглашенной свободы —
Да по душам последних живых!
Не забывших посконную волю
Мерить русый задумчивый шаг
Распыленно-ковыльной любовью
К той, которая ныне впотьмах
Обреченно плетется с сумою
На влекущие в бездну огни,
С неизбывной печалью, родною,
На миру мы с которой — одни!



ЖЕЛАНИЕ

Под упругой моею стопой
То полынь, то жнивье, то крапива.
Над усталой моей головой —
Ощущенье державного взрыва!
А внутри меня — та пустота,
Что сродни перепаханной пашне.
А в груди запеклась немота
О юдоли моей настоящей.
Горизонт простирает огни
Иноземной, досужей рекламы.
А в округе, куда ни взгляни,
Свет безжалостный нашей драмы!
И желание — волком завывать:
«Что содеяли, что сотворили!»
Или ясенем в поле застыть.
Чтоб оглоблю покрепче срубили!

* * *

Лишь цветы, да деревья и травы —
Что осталось от милой державы,
Как бесплотный полет мотылька,
Да плывущие вдаль облака.
Ощущенье себя — как негодность,
И растерянность, и безысходность.
— Эй, который по счету там год?
Да последний, усталый народ.
Лишь трава, да деревья с цветами
Под незыблемыми небесами
По-родному общаются с нами.
Только этим — душа и согрета.
Нам осталось одно: только это...



ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ТРЯПКИНА

Огнекрылый Велесов певец,
От Перунова древнего древа,
Ты — последний духмяный светец
Стародедовского напева.

Ты последний, громовый раскат
От каменьев родимой державы!
Ее волглый, мучительный взгляд,
Полный чести прошедшей и славы!

Как сегодня снега высоки,
Над Россией — такие метели!
Берedit и терзает виски
Скрип далекой твоей колыбели.

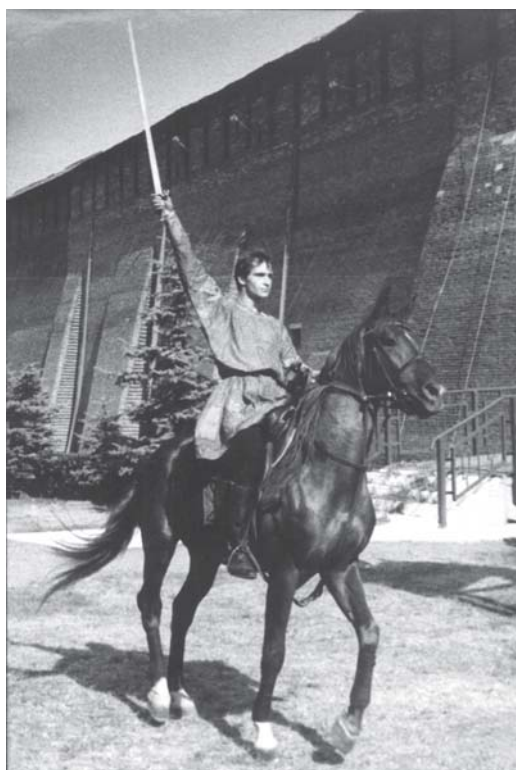
18 февраля 1999 г.

ПОДКОВА

Скачет аллюром забытым
Конь, высекая копытом
Искры на мостовую,
В горькую память живую.

Вьется безумное знамя.
Кто там бренчит стременами —
Голь-сирота иль Голицын?
Всякий для пули годится!

За пролетарскую эру?
Иль за царя и за веру?
Эх, покати́лась подкова!
Жалко того и другого...



ЗАПОЗДАЛЫЙ ПОКЛОН

Молча ушли в цветы, в деревья,
В травы, на Сен-Женевьев де Буа.
Гордая память, и совесть и честь —
Только лишь это и было и есть,
И не истлело, как золото погон.
Душу гнетет запоздалый поклон...
Русская гвардия, белая кость —
Родины горькой прощальная горсть...
Слезная бездна чужих облаков —
Ныне и присно, во веки веков!

В БРОШЕННОЙ ДЕРЕВНЕ

Крикнешь — а кто отзовется?
Ветер, цветы, облака?
Лишь из глухого колодца
Память твоя улыбнется,
Призрачна и далека.

Теплая пыль под ногами,
Ласточки над головой.
Длится и длится веками
Над золотыми полями
Звонкий их росчерк живой.

Что им до наших прозрений,
До биотоков в мозгу?
Весь человеческий гений,
Может, не стоит мгновений
Жизни в их смертном кругу.



НА РОДИНЕ

Шли холодные дни, и крепчали ветра.
Облака остудили ветлу.
Погрустил, помолчал — собираться пора,
Как студено на этом ветру!

Вот и побыл. Один. Походил, постоял
Перед небом и перед землей.
Одинокый — увидел, как воздух светал
Над повинной моей толовой.

Поклонился. Услышал — стенает ветла,
Сиротливо ветвями сквозит,
А равнина лежит, широка и светла,
На душе человека лежит.

В ней мерцает печаль — изначально, стара,
И простор так ранимо открыт.
И над нею свежеют такие ветра!
И слеза в долгом небе блестит!

* * *

Необъятны объятья вселенной,
И мгновенен твой грешный удел
Среди этой тоски вожденной,
Приобщиться к которой посмел.
По всевышней, таинственной воле,
Созидающей волю твою,
Уходящую в чистое поле
У российской слезы на краю.
Где твое бытие непреложно
С этой горькою, скудной землей.
Где от века понять невозможно:
Кто же мертвый на ней? Кто живой?

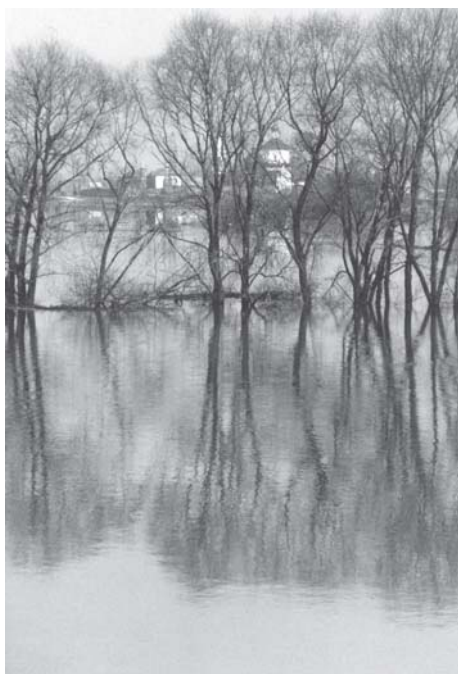
ВЕСЕННИЙ ЦВЕТ

Осыпается цвет ароматный,
Невесомый, нежнющий цвет.
И смеется порхающий свет
Над печалью моей необъятной.

Над моею кручиной-тоскою,
От которой, как ночка, темна
Вся душа, и стенает она,
И рыдает горючей слезою!

Чистотой кружевной покрывая,
Освежая своей белизной,
Цвет веселый парит над бедой,
И ликуя, и благоухая!

Боже мой, Боже мой, что со мною
И с моею родною страной?
А в родимой моей стороне
Только это осталось по мне:
Восхищенье цветов по весне
Перед грустною встречей с землею...



Я ДУМАЮ О ТЕБЕ

Л. В.

1.

Неужели всерьез
Эта жгучая, нежная сила!
От земли и до звезд —
Кареглазое имя — Людмила!
А от звезд до земли —
Как сквозит оно свежим преданьем,
И, в небесной пыли
Растворившись, летит в мирозданье!

2.

На сырых переулках столицы
Мы опять допоздна.
В мокром небе звезда загорится,
Может, в жизни нам что-то простится,
Я с тобой, ты — одна...
Подношу твои руки, Людмила,
К воспаленному рту.
Что нас в мире с тобою сроднило,
Чем ты бренность мою осветила?
Помолчим на ветру...
Шумно волосы пахнут листвою,
Руки — грустно, дождем.
И не страшно, что станем травой,
Горько, что не понять над землею
Боль — что были вдвоем...

3.

Умолкаю, мрачнею, глаза отвожу
И пытаюсь забыть, что тобою дышу.
Мокрый снег нависает и студит щеку,
То ли с нами случится еще на веку?

Вмиг — чужое лицо,

тверже выгиб спины,

И уже до тебя — как до зябки луны.
А вокруг шелест шин, пешеходов шаги,
Ты уходишь, кричу немотой: «Береги
Нежный плен

растворенных в крови вечеров,
Грустный сумрак

пропахших дождями дворов,

И касанье перчатки обветренным ртом,
Беспричинную скорбь
непонятно о ком».

Это все в нашу плоть

мы с тобой облекли,

И, кто знает, на что мы себя обрекли?..



4.

Туманная — протяжною зимой,
Далекая — в осеннем, гулком свете —
Еще молчишь ты под руку со мной,
Еще один нам ломит зубы ветер.
Зачем-то все пытаюсь наперед
Предугадать и мучаюсь, что было
На сердце у тебя... и что нас ждет,
И как простить,

что стольких ты простила?..

Пытаюсь оправдать — и не могу,
Чем длительней, тем горше, не могу я.
Зачем же так жестоко берегу
Забывший вкус чужого поцелуя?
Зачем же не могу я зачеркнуть,
А вижу все больней и изощренней:
Безудержно открыта твоя грудь
И светятся безжалостно ладони
Не на моих стихающих плечах...
И как простить себе, что рано-поздно
Твое дыхание сомкнется слезно —
Не на моих обветренных губах?..
И все ж опять с тобою — в темноту,
В бессвязные, пылающие речи...
Пусть все надсадней чувствуем тщету
Того, что — в нас,

и все ж опять навстречу

Друг другу мы торопимся, простив,
Посмея забыть,

что жизнь еще продлится,

И верой небывалой осветив,
И безнадежностью друг другу лица...



5.

Как много шагов — тротуаром!
А лучше — один по траве,
В подлеске обветренном, старом,
В озябшем, глухом октябре.
Представь: мы тихи и повинны,
Вдвоем накануне беды,
А листья березы, осины
На плечи летят, на следы...
Нам сумерки кровь не остудят.
Листва и трава, мы вдвоем.
На свете нас больше не будет —
Вдруг как-то сиротски пойдем.
И явью последней, живую,
Покрепче ко мне — головой...
И пусть обовьет нас травой,
И пусть нас засыплет листвою...

6.

Целую, как перед кончиной,
Глаза твои с бедным желаньем,
Не помни: землей или глиной
С тобою когда-нибудь станем...
Целую, как перед последним
Прощальным, прерывистым вздохом,
Пред небом летящим, осенним —
Как перед последним порогом.
Забудем, что в мире мы — кратки.
Улыбку твою молодую,
Глаза, и платок, и перчатки —
Целую, целую, целую...

7.

Почему бы нам не посмеяться
Над своею мечтой безнадежной?
Наши сумерки не повторятся
На знобящей земле, лишь тревожный
Их покой в наших душах застонет,
Оживет через многие зимы:
«Где — любимая?»
«Где ты — любимый?»
...Я — в подушку лицом...
Ты — в ладони...



8.

Почему же ты не сберегла
И ни душу свою, и ни тело?
Руки — словно два слабых крыла
Опустились устало и бело.
Почему не шадила того,
Кто споткнется о взор твой повинный?
Ему выпадет малость всего —
Проглотить поцелуй твой полынный!
Не ждала ты его. Не ждала,
Что, неожиданный, он явится смело.
Твои руки — два скорбных крыла —
На него опустились так бело...
Разомкни их, к глазам поднеси,
Что случилось — уже не случится,
Ты прости напоследок, прости:
На них кровь его, видишь, дымится...

9.

Успокоюсь, и угомонюсь,
И стакан себе «горькой» налью,
На тебе никогда не женюсь,
Потому что до горя люблю
Лишь тебя. И не надо жалеть,
Что похожа судьбой — на свечу.
На коленях твоих — умереть
Всякий раз покаянный хочу!
Ты прости, что не хочешь носить
Нашу кровь в себе — ниже груди!
Что нам вместе вовек не изжить
Слишком позднее слово: «Прости!»

10.

Плавный снег засыпает январь.
Мягкий сумрак в сосновой избе.
За окном тускло светит фонарь,
Тишина, позабытость, как встарь.
А я думаю о тебе...
Нудный дождь, опадает листва,
Прилепляясь к сырой городьбе.
Одинокая воля жива.
Все больней, невозможней слова.
А я думаю о тебе...
Дни уходят... И жизнь вся — вдали,
В ней привыкли мы к нашей судьбе,
Ничего-то решить не смогли...
Вот на грудь уже — комья земли.
А я думаю о тебе...



ТОСТ

На тебе благодать красоты
И святая и грешная мука.
На устах твоих дремлют цветы,
А в очах загрузилась разлука.
Заблудилась в кувшинках река
В твоей плавной, медлительной речи,
Засмотрелась равнина слегка
И на шею твою, и на плечи.
До краев за тебя — этот тост,
Для меня всех он горше на свете:
Ведь в ночи голоса среди звезд
Безымянные наши дети!
Одиночество бьется в стенах,
Да челом — обо все о четыре!
Нашей свадьбы приснившейся прах
Разлетелся в суровейшем мире!
Незаметно осыпав виски...
Но тебя, пока жив, — я целую!
И улыбку твою горевую,
И полынную радость руки...
Может, в мире затем и живу я...

* * *

Только смех, только слезы мои
На дыханье твое уповают.
И на плаху греховной любви
Моя буйная — с плеч упадает.
И летит мой восторженный стон
В невозвратные звездные дали,
Где судеб наших сладостный сон
Повторится на свете едва ли.
Потому так горчат эти дни,
Что еще нашу брэнность связуют.
Потому так жестоко они
С нас последние страсти взыскиют!
И никто в этом смертном миру
Их полынность прервать не сумеет.
Твое имя болит на ветру
И осеннюю кровь мою греет...



КРЕСТ

Звезды стынут и колко дрожат,
Источая жасминовый дух.
А в тебя провалился мой взгляд,
Моя речь, осязанье и слух!
Покачнувшись на нитке льняной,
Виновато сверкнув, при луне
Нависает мой крест над тобой,
И мурашки бегут по спине!
Где там запад? И где там восток?
Дикий север? Полуденный юг?
Мы — сейчас — поднебесной исток,
Всеземной, замыкающий круг!
Полыхает жасминовый куст
Ароматом тяжелым своим?
Мы с тобою — в бескрайности чувств,
Где все грешное — стало святым.
У подножья своих мы Голгоф,
Вдалеке от родительских мест...
В темь ложбинки, меж зрелых холмов
Провалившись, ложится мой крест!

ГРЕХ

Как полынно тебя целовал,
Как медово меня целовала!
Был твой рот запрокинутый ал.
И душа моя к Богу взывала.

На исходе ликующих сил,
В полуяви победного стона
Не тебя я в сознание вместил —
А твое златокрылое лоно.

Забирало оно и несло,
Растворяя в себе без остатка.
Клокотало мое естество
Оттого, что так гибельно-сладко!

Этой алчности не превозмочь
Никому под луною из смертных!
И просил я бессмертную ночь
От земли унести меня прочь.
Чтобы там, средь созвездий несметных,
Помолиться за грешных нас, бедных.

ПОКАЯННОЕ

Моя мученица желанная,
Над тобой звезда постоянная!
Что ж я выпал-то на твой век!
Эх, судьба моя окаянная,
То с вина, то с вины полупьяная...
Виноватый я человек!
А года летят — по-неверному,
По-безумному и по-нервному.
И гнетет меня поздний стыд.
По характеру, да по скверному,
Каково мне услышать первому
Вдох твой горестный: «Бог простит!»



* * *

Выпал день — какого не бывает!
Отдыхают радостно стога,
И жнивье блестит и подсыхает,
Пахнет пряной горечью слегка.

И твое притихшее запястье
На моем горячем — молодом,
И улыбка зябкого участия
На лице таинственном твоём —

Все внушает странную тревогу
Вот за этот полдень продувной,
Уходящий в сумрак понемногу,
Напоенный полем и листвой,

И ознобом легким, мимолетным —
От слепого чувства бытия,
И предощущением свободным,
Что же в этом мире: ты и я?



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПУТЬ

Отрубил в привольной душистой ночи
То, что звалось любовью.
Рот землею набей или криком кричи —
К твоему изголовью
Не поставит она возжженной свечи!

Откачнулись пространства, и лес, и трава,
И светила ночные.
И упала устало твоя голова
Да на ветры степные.
Только память одна и осталась жива!

И она все одно, лишь одно себе длит:
Образ, голос любимой.
Так жестоко тебе, одинокому, мстит
Хворью необозримой.
И в груди так дремуче и сладко болит!

Можно жизнь пережить стороной, как-нибудь,
Только память — едва ли!
Пусть же до крови щиплет она твою грудь
И в конце — как в начале.
Может, это и есть — человеческий путь.



* * *

Окаянная грива волос,
Людам милое, древнее имя, —
Как все это безумно сошлось
Над беспутными днями моими!

За предельной ознобной чертой
Куполами дрожат твои груди...
А от них — ослепительный зной!
Да такой — что и ночь не остудит!

Твоя кожа так терпко кричит,
Через миг — моя плоть разорвется!
И слепит твоя бездна, слепит!
И вся кровь во мне — громко смеется!

И в разлете твоём молодом
Всей душою я изнемогаю!..
И дыханье твоё жадным ртом,
Задыхаясь — вдыхаю, вдыхаю!..

ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ЗАМЕТКИ





Фото Геннадия ЧИСТЯКОВА

АЛЕКСАНДР АУЭР

«ЖИВЯ, УМЕЙ ВСЕ ПЕРЕЖИТЬ...»

К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Ф.И. ТЮТЧЕВА



АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ АУЭР РОДИЛСЯ В НОЯБРЕ 1948 ГОДА В С. ЕРОФЕЕВКЕ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ. В 1971 ГОДУ ОКОНЧИЛ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ САРАТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. ДОКТОР ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР. АВТОР МОНОГРАФИЙ, УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ И МНОГОЧИСЛЕННЫХ СТАТЕЙ ПО ИСТОРИИ И ПОЭТИКЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX-XX ВЕКОВ.

ПЕЧАТАЛСЯ В ТРЕТЬЕМ НОМЕРЕ КОЛОМЕНСКОГО АЛЬМАНАХА.

«Без него нельзя жить» — так Л.Н. Толстой определил значение творчества Ф.И. Тютчева. Конечно, когда Толстой произносил эти слова (они воспроизведены в «Дневнике» В.Ф. Лазурского), он имел в виду прежде всего то, что чарующие, эстетически покоряющие, страстные ямбы Тютчева — поэтическое чудо, сотворить которое мог только гениальный поэт. В этих толстовских словах — такое же восхищение и поклонение, какое пережил А.А. Фет, многие годы стремившийся разгадать «тайну» поэзии Тютчева:

Вот наш патент на благородство, —
Его вручает нам поэт;
Здесь духа мощного господство,
Здесь утонченной жизни цвет.

Великое счастье — наслаждение высоким искусством. По мысли Толстого, Тютчев способен одарить этим «счастьем» всех, кто войдет в его поэтический мир. Но тютчевская поэзия — это не только поэзия счастья, но и поэзия ужаса. Этот ужас порождает «злая жизнь», в поэтическом постижении которой Тютчев проявил поразительное бесстрашие. Только это бесстрашие удержало вдохновение Тютчева, когда он создавал такие стихи:

И чувства нет в таких очах,
И правды нет в твоих речах,
И нет души в тебе.
Мужайся, сердце, до конца!
И нет в творении творца!
И смысла нет в мольбе!

«Злая жизнь» лишена «души». Поэтому она столь страшна и ужасна. «В этом бездонном отчаянии всего ужаснее то, что оно такое тихое, ясное: чем яснее, тем бездоннее», — писал об этом стихотворении Д.С. Мережковский.

Это «бездонное отчаяние» порождает тютчевский трагический эстетизм. Им пронизано каждое его стихотворение. Из этого поэтического мрака вырывается тютчевский призыв: «Живя, умей все пережить: // Печаль, и радость, и тревогу». И еще более понятным становится толстовское суждение о Тютчеве: его поэзия вдохновляет на продолжение жизни даже тогда, когда сама жизнь кажется уже невозможной. И даже тогда, когда подступает сама смерть:

Природа знать не знает о былом,
Ей чужды наши призрачные годы,
И перед ней мы смутно сознаем
Себя самих — лишь грезю природы.

Поочередно всех своих детей,
Свершающих свой подвиг бесполезный,
Она равно приветствует своей
Всепоглощающей и миротворной бездной.

Эти стихи написаны Ф.И. Тютчевым 17 августа 1871 года. Незадолго до этого, 11 декабря 1870 года, Тютчев, прощаясь с умершим братом, писал:

Бесследно все — и так легко не быть!
При мне иль без меня — что нужды в том?
Все будет то же — вьюга так же выть,
И тот же мрак, и та же степь кругом.

Дни сочтены, утрат не перечешь,
Живая жизнь давно уж позади,
Передового нет, и я, как есть,
На роковой стою очереди.

Стихотворения «Брат, столько лет сопутствовавший мне...» и «От жизни той, что бушевала здесь...», конечно же, обладают своей собственной поэтикой. Но в то же время они настолько близки друг другу, что воспринимаются почти как одно стихотворение. Но если все это не одно стихотворение, то, по крайней мере, они без всякого художественного напряжения складываются в поэтическую диалогию. И эта поэтическая диалогия возникает в завершении творческого пути поэта. Смерть брата («И ты ушел, куда мы все идем») и предчувствие своей смерти — Тютчеву остается жить совсем немного («На роковой стою очереди») — предопределили трагическую тональность лирического повествования. Реквием и исповедь — именно это формирует поэтику первой части диалогии, а философское отвлечение возникает лишь в третьей строфе.



Ф.И. Тютчев.
Дагерротип 1840-х годов.

Из этой строфы вырастает вторая часть диалогии — стихотворение «От жизни той, что бушевала здесь...», поэтика которого уже иная. Это философская поэтика. Именно так ее можно определить, потому что все ее уровни организованы философским началом. Тютчевское слово в результате становится философско-поэтическим словом.

Отчетливо видно, что части диалогии объединяются по двум принципам. Причем эти принципы резко противоположны. Первый принцип — это принцип соответствия, который требует художественной солидарности. И такая солидарность здесь, безусловно, есть. Она настолько сильная, что третья строфа, например, может найти свое место во втором стихотворе-

нии. В этом случае не возникает ни ритмических, ни стилистических, ни композиционных диссонансов.

Другой принцип — это принцип художественного несовпадения. Суть его в том, что один и тот же смысл воспроизводится по-разному. Несовпадение возникает в художественной форме. Второе стихотворение постепенно (все же в первых двух строфах есть доля описательности) обретает форму философского эссе на тему смерти.

Художественное сочетание этих принципов и создает художественную целостность диалогии. Благодаря им органично сочетаются два противоположных начала: лирическая экспрессия и философская манифестация, что является определяющей особенностью тютчевской поэтики в целом. Эта поэтическая диалогия в структурном отношении завершает художественную систему Тютчева. И не только в структурном отношении. Символический образ смерти, созданный Тютчевым в этой диалогии, стал той художественной доминантой, которая предопределила почти все содержание его прозаических произведений.

Конечно, тема смерти постоянно присутствует в лирическом творчестве Тютчева. Она является неотъемлемой частью поэтики оппозиции «бытие — небытие», которая отчетливо выделена в лирике Тютчева Ю.М. Лотманом¹. Именно эта поэтика сильнейшим образом способствовала воплощению романтического мироощущения Тютчева. Противостояние смерти как романтический мотив — опорный элемент в этой поэтике.

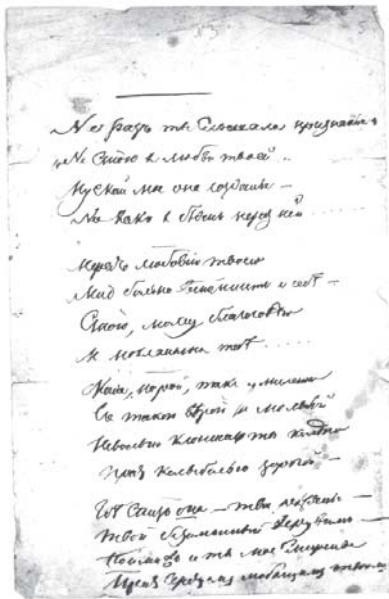
Но все же в позднем творчестве Тютчева образ смерти заслоняет все остальные образы. Он становится в своей художественной функции всеобъемлющим. Теперь он оказался в самом центре поэтики Тютчева. И произошло это потому, что в глубинах поэтики образа смерти содержится еще один образ — образ свободы.

Как известно, образ свободы является доминантным образом в поэтике русского романтизма. Тютчевская поэтика отнюдь не находится за пределами этой художественной закономерности. Но у Тютчева зачастую образ свободы возникает не через детализированные художественные описания, а через лирический подтекст, который является производным от образа смерти. Именно через лирический подтекст образ смерти в поэтике Тютчева сочетается с образом свободы.

Такое переплетение художественных противоположностей в поэтике Тютчева обуславливает появление романтического гротеска. Вся эта художественная триада (образ смерти — образ свободы — гротеск) становится главной формой воплощения романтической коллизии, направленной развита которой находится в полной зависимости от тютчевской идеи самосохранения человеческого духа. Только в своем духовном мире, по мысли Тютчева, человек обретает абсолютную свободу. Свобода же дает человеку силы в противоборстве с угнетающей прозой жизни (это и есть воплощение романтического конфликта).

Свобода — главное условие самосохранения человеческого духа. Только она удерживает от распада романтическую антиномию: человеческий дух — реальный мир. Эта антиномия свое начало берет в психологии тютчевского творчества. Романтическое стремление к свободе выразилось в том, что Тютчев смог укротить в себе желание увидеть свои стихи напечатанными. Он хотел видеть свои стихи такими, какими породил их свободный творческий дух.

Тютчев всецело убежден в том, что печатать стихи равносильно ограничению свободы. И в этом, естественно, надо усматривать проявление романтического культа свободы — того культа, который так тесно сблизил творческий процесс Тютчева с фольклорным творчеством. В устном творчестве — абсолютная свобода (произведение полностью избавлено от того диктата, который возникает при его подготовке к печати). Именно с такой свободой породнился творческий дух Тютчева. Не случайно его устные произведения (гениальные экспромты в самых разных речевых жанрах) по силе художественного воздействия не уступают стихотворным произведе-



Автограф стихотворения
Ф.И. Тютчева «Не раз
ты слышала признание...»

ниям. Но в этих поэтических импровизациях Тютчев как творец был более свободен по сравнению с тем, когда он писал стихи (в этих случаях Тютчев все же не мог окончательно избавиться от мысли, что стихи все равно будут напечатаны).

Возвращаясь к романтической концепции самосохранения человеческого духа, надо отметить еще и особую функцию гротеска. Благодаря этому гротеску, в художественных пределах которого произошло соединение образов смерти и свободы, Тютчев смог осуществить еще одно глобальное поэтическое противопоставление: трагическая завершенность земного бытия — бесконечность духовного бытия. Свобода как единственная форма самосохранения человеческого духа служит этой бесконечности, а смерть всегда устремлена к тому, чтобы прервать эту бесконечность. В борьбе с духовной бесконечностью смерти усиленно помогает проза жизни.

Проза жизни подтачивает человеческий дух. Она старается ограничить его пределы, а это означает одно: человек начинает терять свою духовную свободу. Такое трагическое ощущение возможной потери ду-

230 ховной свободы становится достоянием самосознания тютчевского лирического героя:

Как ни тяжел последний час —
Та непонятная для нас
Истома смертного страдания, —
Но для души еще страшней
Следить, как вымирают в ней
Все лучшие воспоминанья...

Это стихотворение создано Тютчевым 14 октября 1867 года. Вся его поэтика, основанная на развернутом сопоставлении и художественной гиперболизации («Но для души еще страшней...»), подчинена одной цели: найти причину трагедии души. Она — в утрате духовной памяти. Утрата духовной памяти приводит к всевластию смерти. Только духовная память может противостоять этому всевластию, а потому «лучшие воспоминания» становятся здесь символом духовной памяти.

Образ духовной памяти стал такой художественной субстанцией, которая проникает в текст и подтекст всех поэтических произведений Тютчева. В большей степени это относится к тем произведениям, где создается образ «духа». В стихотворении «Наш век», написанном Тютчевым 10 июня 1851 года, этот образ появляется в первом стихе («Не плоть, а дух растлился в наши дни...»), а затем, исчезнув из повествования, уже через подтекст проникает в поэтику психологического гротеска («И жаждет веры — но о ней не просит...»). Образ «духа», отыскав опору в психологическом гротеске, стал тем самым еще более открытым для «подтекстового» взаимодействия с символическим образом духовной памяти. Растление «духа» — как это явствует из всей гротескной образности «Нашего века» — результат угасания духовной памяти. И все это стихотворение, в поэтике которого нашлось место даже для сатирических мотивов, создано для поэтического сохранения духовной памяти.

Но элементы сатиры — все же большая редкость в поэтике Тютчева.

Мотив сохранения духовной памяти как глубинной основы человеческого бытия связан с лирическим формообразованием. Слово «вспомнил» проходит поэтической доминантой в этом формообразовании :

Я встретил вас — и все былое
В отжившем сердце ожило;
Я вспомнил время золотое —
И сердцу стало так тепло...

Вот здесь, на волне лирической экспрессии, вырвалась на поверхность поэтической реальности тютчевская идея о том, что только духовная память может противоборствовать смерти. И поэтому в пределах одной метафоры столкнулись онтологические противоположности: смерть и жизнь («В отжившем сердце ожило...»). Поэтический итог этого стихотворения — гротескная метафора, которая затем будет потеснена метафорой жизни:

Тут не одно воспоминанье,
Тут жизнь заговорила вновь, —
И то же в вас очарованье,
И та ж в душе моей любовь!..

Воспоминание стало магическим воплощением «тех лет душевной полноты» (это и есть духовная память). В свою очередь духовная память стала источником жизненной энергии. Две метафоры, таким образом, очертили символический круг, в пределах которого и находится тютчевская поэтика.

В этих же пределах расположен и духовный космос Тютчева. Своего лирического героя Тютчев направляет именно в этот космос, который находится в глубинах его собственной души (здесь круг символизирует не замкнутое пространство, а бесконечность движения по космическому пути). Каждый миг в этом бесконечном движении знаменуется духовным откровением, а этими откровениями живет духовная память. И в этом — сокровенная суть программного стихотворения Тютчева «Silentium!» В нем мы находим самое полное поэтическое воплощение тютчевской философии духовной памяти:

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои —
Пусть в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи, —
Любуйся ими — и молчи.

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи, —
Питайся ими — и молчи.

Лишь жить в себе самом умей —
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи, —
Внимай их пенью — и молчи!...

Перед нами одно из самых таинственных поэтических созданий Тютчева. На первый взгляд, однако, может показаться, что в нем нет никакой таинственности. Здесь много поэтической риторики, а она по своей природе рационалистична. Таинственность всегда сопрягается с иррациональным, но эта стихия изначально подавляется риторическим рационализмом. Призывное «молчи!» — риторическая доминанта, с опорой на которую осуществляется художественная метаморфоза: лирическое повествование обретает форму философского императива («Мысль изреченная есть ложь»). В стилистическом отношении этот императив — порождение поэтической ритори-

ки. Таким образом, в этом стихотворении, как и во многих других, поэтическая телеология на какое-то время подчиняется логике философской идеи. Это действительно временное подчинение, но оно все же есть, что заметно и в стихотворении «Близнецы»:

Есть близнецы — для земнородных
Два божества, — то Смерть и Сон,
Как брат с сестрою дивно сходных —
Она угрюмей, кротче он...

Но есть других два близнеца —
И в мире нет четы прекрасней,
И обаянья нет ужасней,
Ей предающего сердца...

Союз их кровный, не случайный,
И только в роковые дни
Своей неразрешимой тайной
Обворожают нас они.

И кто в избытке ощущений,
Когда кипит и стынет кровь,
Не ведал ваших искушений —
Самоубийство и Любовь!

Конечно, в «Близнецах» поэтическая риторика ослаблена. Она больше присутствует в незримом пространстве подтекста, чем в самом лирическом тексте. Только во втором стихе второй строфы появляется интонационный взлет, характерный для риторической стилистики. Но уже одного этого достаточно для того, чтобы философскую логику ввести в поэтику повествования. А потому именно на рациональной основе соединяются *Самоубийство* и *Любовь*. В результате складывается тот императив, который предопределяет трагическое содержание тютчевской философии любви. И здесь особо следует отметить, что этому императиву принадлежат самые важные организующие функции в поэтике психологических и трагических гротесков «денисьевского цикла».

Теперь становится более очевидным, что риторика стихотворения «Silentium!» — это проявление одного из самых существенных качеств тютчевской поэтики. Не случайно Ю.Н. Тынянов так настойчиво связывал эту поэтику с русской ораторской поэзией XVIII века: «Анализ тютчевского искусства приводит к заключению, что Тютчев является канонизатором архаической ветви русской лирики, восходящей к Ломоносову и Державину. Он — звено, связывающее “витийственную” одическую лирику XVIII века с лирикой символистов»². Безусловно, эта традиция способствовала насыщению поэтики Тютчева риторическими формами. Риторическое начало даже образует своего рода «подсистему» в художественной системе Тютчева. Благодаря этой художественной «подсистеме» лирика в пределах всей поэтики Тютчева органично соединяется не только с его публицистическими стихотворениями («Славянам», «Свершается заслуженная кара...», «Гус на костре», «Два единства»), но и со всем циклом философско-политических статей («Россия и Германия», «Россия и Революция», «Папство и Римский вопрос», «Письмо о цензуре в России»). Риторическая «подсистема» — тот художественный атрибут, который философскую публицистику Тютчева уводит в самые глубины его лирической поэтики.

Но этот художественный атрибут не только формосвязующее начало. Через обретенную «синтетическую» форму (риторика — лирический импрессионизм) происходит взаимопроникновение лирической семантики и философско-публицистических манифестаций. В результате идея самосохранения человеческого духа, выраженная в лирической поэтике, сливается с философской концепцией духовного единства человечества. Путь обретения духовного «я» — это и путь обретения духовного единства. Духовное единство вызовет к жизни тот мир, в котором гармоническое совершенство

станет на пути эсхатологической мощи революции. «Иными словами, Революция — болезнь, пожирающая Запад. Это отнюдь не душа, порождающая движение», — напишет Тютчев в первой главе так и не завершённой книги «Россия и Запад».

Соотнесение публицистического образа революции с «душой» возникло под напором лирической поэтики. Лирический образ «души» появился здесь для того, чтобы показать: в революции нет и не может быть жизни как «движения» вперед. На пересечении лирического и публицистического образов формируется поэтика философской сатиры Тютчева, главным объектом отрицания которой становится мир, лишенный духовного единства.

Надо особо выделить, что именно философское стихотворение «Silentium!» определило такое направление в формировании тютчевской поэтики. И его художественная «таинственность» во многом объясняется этим обстоятельством. Но оно «таинственно» еще и потому, что Тютчев здесь стремится выразить поэтический смысл, минуя слова. Получилось как бы два стихотворения: одно со словами, а другое без слов. И определяющий смысл этого «двойного» текста, конечно же, — в «бессловесном» стихотворении: мир «таинственно-волшебных дум», если каждый его откроет в своей душе, станет миром духовной памяти, онтологическую сущность которого будет определять только одно время — «время золотое».

Совсем не случайно в поэтике этого стихотворения появляется мотив волшебства («таинственно-волшебных»). Этот мотив роднит поэтический мир стихотворения с миром русской народной сказки, где прекрасное всегда торжествует. Поиск прекрасного определяет и путь тютчевского лирического героя в безмолвные «глубины» собственной души. Открытие прекрасного в этих глубинах ведет лирического героя еще дальше — в такой же прекрасный мир природы, символический образ которой был создан Тютчевым в стихотворении «Не то, что мните вы, природа...» (1836). В природе есть прекрасная «душа» — вот определяющий мотив этого стихотворения:

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...

Если миновать все подробности полемического сюжета стихотворения, то прежде всего внимание надо сосредоточить на том, как происходит персонификация образа природы. Эта персонификация осуществляется так же, как Тютчев создавал образ лирического героя. Активизируются в основном только поэтические формы, которые раскрывают тайную жизнь «души»:

Они не видят и не слышат,
Живут в сем мире, как впотьмах,
Для них и солнцы, зная, не дышат
И жизни нет в морских волнах.

Лучи к ним в душу не сходили,
Весна в груди их не цвела,
При них леса не говорили
И ночь в звездах нема была!

И языками неземными,
Волнуя реки и леса,
В ночи не совещалась с ними
В беседе дружеской гроза!
Не их вина: пойми, коль может,
Органа жизнь глухонемой!
Увы, души в нем не встревожит
И голос матери самой!

Безусловно, полемическое воодушевление захлестывает повествование. И скорее всего, поэт не ориентирует философскую полемику на конкретного адресата. Он создает собирательный образ, не лишенный сатирических черт, тех, кто так и не смог открыть прекрасное в своей душе. Отчуждение от прекрасного в себе ведет к враждебному отчуждению и от мира природы.



Ф.И. Тютчев. Гравюра на дереве П.Я. Павлинова.

Вот здесь — самая суть романтического конфликта, воплощенного в поэзии Тютчева. Он уже захватывает не только внешний, но и внутренний мир. Поэтому у лирического героя Тютчева появляется двойник — тот герой, который предал забвению прекрасное в своей душе («Живут в сем мире, как впотьмах...») Мир двойника — проза жизни. Поэзия души, как и поэзия природы, для него скрывается во тьме. Конфликт между лирическим героем и его двойником, как видим, воплощается и с опорой на цветовую символику. Причем именно ту символику («впотьмах»), которая ассоциативно связана с символическим образом смерти.

Воплощение этого конфликта в поэтике Тютчева обретает мистериальный характер. Лирический герой Тютчева, избавившись от зловещих объятий своего двойника (в этом и заключается смысл тютчевской формулы «Как бы двойного бытия!»), устремляется в мир прекрасной «души» природы, а затем, обретя новую духовную силу, уходит в ту космическую бесконечность, где его давно ожидает «мировая душа». Слияние прекрасной «души» лирического героя с «мировой душой» — высшая ступень в поэтическом воплощении романтического конфликта. Здесь со всей художественной полнотой реализуется романтический мотив «двоемирия», ибо духовное слияние с «мировой душой» — свидетельство абсолютного отчуждения лирического героя Тютчева от земного мира.

Эта романтическая мистерия Тютчева нашла почти зеркальное отражение в его философии искусства. Суть этой философии в том, что Тютчев поэтическое искусство определяет как «небесное» творение. Оно приходит «к земным сынам» с вестью от «мировой души» для того, чтобы, духовно примирив всех, вознести человечество к «небесной» жизни, избавив его тем самым от «злой жизни». И только там, в этих духовных высотах, человечество будет неподвластно смерти. В стихотворении «Поэзия» эта философия искусства Тютчева предстанет в яркой поэтической декларации:

Среди громов, среди огней,
Среди клокочущих страстей,
В стихийном, пламенном раздоре,
Она с небес слетает к нам —
Небесная к земным сынам,
С лазурной ясностью во взоре —
И на бунтующее море
Льет примирительный елей.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Лотман Ю.М.* Поэтический мир Тютчева // *Лотман Ю.М.* Избранные статьи. Таллин, 1993. Т. 3. С. 147.

2. *Тынянов Ю.Н.* Тютчев и Гейне // *Тынянов Ю.Н.* Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 29.

НАТАЛЬЯ ДАНИЛОВА



НАТАЛЬЯ ДАНИЛОВА (НАТАЛЬЯ ДАНИЛОВНА БЛУДИЛИНА) — ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК, ИСТОРИК ЛИТЕРАТУРЫ, КАНДИДАТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ИНСТИТУТА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ РАН. ОДИН ИЗ АВТОРОВ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР КНИГИ «РОССИЯ И ЗАПАД: ГОРИЗОНТЫ ВЗАИМОПОЗНАНИЯ. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ XVIII ВЕКА» (В 3-Х ВЫП.), «МОСКВА В РУССКОЙ И МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ». АВТОР БОЛЕЕ СТА ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ И КРИТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ. СРЕДИ НИХ: «ТОЛСТОЙ И О ТОЛСТОМ», «КАРАМЗИН И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА», «ДЕРЖАВИН И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА», «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ», «РОССИЯ И ФРАНЦИЯ: ДИАЛОГ КУЛЬТУР» И ДРУГИЕ.

ЕДИНЫЙ СТИХ, ТОРЖЕСТВЕННО ЗВУЧАЩИЙ

К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ Н.М. ЯЗЫКОВА

Поэзия Языкова и поныне радует нас своей мужественной твердостью, чистотой и свежестью, как «единый стих... торжественно звучащий, — и, словно блеском дня и солнечных лучей», животворящий наши души.

Языков творил в «золотой век» русской поэзии, рядом с Жуковским, Пушкиным, Тютчевым, Боратынским, когда, казалось, с трудом можно было отстоять самобытность поэтического дарования. Но в первых же стихах молодого поэта его современникам «послышалась новая лира»: «разгул и буйство сил... свет молодого восторга... юношеская свежесть» (Гоголь), «сильный голос» (Константин Аксаков), «певец роскошный и лихой» (Боратынский). Пламенные, полные жизни, силы и внутренней гармонии стихи Языкова были столь пленительны, что его друг Боратынский пророчески заметил: «...мы еще почувствуем все достоинство его бессмертной свежести».

Как мастер, виртуоз стиха, Языков занимает и поныне видное место в нашей поэзии. «Имя Языков пришлось ему недаром, — говорил Гоголь, — Владеет он языком, как араб диким конем своим, и еще как бы хвастается своею властью. Откуда ни начнет период, с головы ли, с хвоста, он выведет его картинно, заключит и замкнет так, что остановишься пораженный».

Поэзия Николая Языкова — и ранняя, и поздняя лирика — целостна, едина в выражении порывистой непосредственности чувств и удалой силы человека, «русского душой», которого не сломил даже тяжкий недуг последних лет жизни. Иван Киреевский утверждал: «Все стихи его, вместе взятые, кажутся искрами одного огня, блестящими отрывками одной поэмы, недосказанной, разорванной, но которой целость и стройность понятна из частей».

Николай Михайлович Языков родился 4 марта 1803 года на Волге, в Симбирской губернии, в просвещенной дворянской семье, принадлежавшей к старинному и богатому роду. Первоначаль-

ное образование он получил дома, рано начал писать стихи и с увлечением предавался этому занятию. Впоследствии он лениво и неохотно учился в Петербурге — в Горном кадетском корпусе, а затем в Институте путей сообщения, не чувствуя склонности к математике и другим специальным предметам. В конце концов в 1821 году его исключили из института «за нехождение в классы».

Языков уже в то время всей душой был предан поэзии, литературе. В Петербурге он завязал знакомства в писательском кругу и с 1819 года стал печататься. Карамзин, Жуковский, Батюшков, позже — Байрон и молодой Пушкин были для него литературными кумирами и учителями. К пластике и мелодичности стиха поэтов школы Жуковского Языков прибавил мощь, громкозвучность и торжественность стиха классицистов Ломоносова и Державина. Стихи молодого талантливого поэта, полные огня и движения, были встречены с большим сочувствием.

В 1822 году Языков по настоянию старших братьев решил продолжить учение и поступил на философский факультет Дерптского университета. Здесь он очутился в своей стихии, погрузился в изучение западноевропейской и русской литературы, как прошлой, так и современной.

Эстляндский город Дерпт (ныне Тарту) часто называли «ливонскими Афинами» — он был одним из крупных культурных и научных центров тогдашней России. В университете преподавали видные ученые, поддерживались живые связи с европейскими научными кругами.

Дерптская жизнь как нельзя больше пришлась Языкову по душе. Тамошние студенты поддерживали традиции немецких буршей XVIII века с их разгульными кутежами, веселыми похождениями, дуэлями на рапирах, застольными песнями. Языков стал восторженным поклонником и певцом этих вольных и даже буйных нравов. Без него не обходилась ни одна пирушка. «В одной рубашке, со стаканом в руке, с разгоревшимися щеками и с блестящими глазами, он был поэтически прекрасен», — вспоминал товарищ поэта по университету. Звонкие стихи Языкова заучивались наизусть, перекладывались на музыку и распевались студенческим хором. Характерные строки одной из песен:

Да будут наши божества
Вино, свобода и веселье!
Им наши мысли и слова!
Им и занятье и безделье!

Языковские песни, как и память о нем самом, жили в Дерпте много десятилетий.

Но, упиваясь «вольностью» дерптской жизни, Языков ни в малой степени не поступался своими пылкими национальными чувствами. Напротив, в «полунемецкой» обстановке, окружавшей его, эти чувства еще более окрепли. Он организовал кружок русских студентов, на встречах которого «рассуждали о великом значении славян, о будущем России». Для этого кружка Языков написал знаменитую песню, любимую многими поколениями русского студенчества, — «Из страны, страны далекой». Особенно красноречивы ее последние строки:

Но с надеждою чудесной
Мы стакан, и полновесный,
Нашей Руси — будь она
Первым царством в поднебесной,
И счастлива и славна!

В университетские годы Языков был не только лихим гулякой, но и прилежно учился. У него постепенно составила в Дерпте большая библиотека. «История государства Российского» Карамзина, «книга книг», открыла для него поэтический мир русской истории. В зрелые годы Языков воспел великого историка в «Стихах на объявление памятника историографу Н.М. Карамзину».

«...Где же искать вдохновения, как не в тех веках, когда люди сражались за свободу и отличались собственным характером?» — вопрошал Языков. И пел «гений русской старины торжественный и величавый» (*«Баян к русскому воину при Дмитрии Донском, прежде знаменитого сражения при Непрядве»*):

Не гордый дух завоеваний
Зовет булат твой из ножен:
За честь, за веру грянет он
В твоей опомнившейся длани —
И перед челами татар
Не промахнется твой удар!

Особенно молодого поэта интересовали древние вольнолюбивые республики Новгорода и Пскова с их «шумом народных мятежей».

В незавершенной поэме «Ала» Языков, предвосхищая пушкинскую «Полтаву», стремился описать на ливонском материале Северную войну, когда была «бодра железной волею Петра преображенная Россия». (Эти строки Пушкин взял эпиграфом к одной из глав «Арапа Петра Великого».)

Летом 1826 года Языков гостил у своего товарища Вульфа в псковском имении Тригорском. Здесь он познакомился и быстро сошелся с Пушкиным, жившим в ссылке по соседству в Михайловском. Встреча эта сыграла в жизни и поэзии Языкова большую роль: Пушкин, его творчество, сама его личность, его образ поэта — все это вошло в стихи Языкова:

О ты, чья дружба мне дороже
Приветов ласковой молвы...
Огнем стихов ознаменую
Те достохвальные края
И ту годину золотую,
Где и когда мы — ты да я,
Два сына Руси православной,
Два первенца полных муз,
Постановили своенравно
Наш поэтический союз.

Пушкин, в свою очередь, высоко оценил дарование Языкова:

Как ты шалишь и как ты мил,
Какой избыток чувств и сил,
Какое буйство молодое!
Нет, не кацальскою водою
Ты воспоил свою Камену;
Пегас иную Ипокрену
Копытом вышиб пред тобой.
Она не холодной льется влагой,
Но пенится хмельною брагой;
Она размывчива, пьяна...

Известно со слов Гоголя, что, когда вышла в свет книга стихов Языкова, Пушкин сказал «с досадою»: «Зачем он назвал их: “Стихотворения Языкова”! Их бы следовало назвать просто “хмель”! Человек с обыкновенными силами ничего не делает подобного; тут потребно буйство сил».

В 1829 году Языков оставил Дерпт и жил в Москве, поселившись в гостеприимном доме Елагиных-Киреевских у Красных ворот. В литературном салоне хозяйки дома Авдотьи Петровны Елагиной поэт среди «благословенного круга» друзей обрел необходимое ему тепло искренних чувств, духовное общение и понимание. Здесь у Языкова часто бывал Пушкин, приходили Чаадаев, В.Ф. Одоевский, Боратынский и другие литераторы. Поэт вошел в славянофильский круг «Московского вестника».

В годы московской жизни были написаны чуть ли не лучшие стихи Языкова. По свидетельству его современника, «крылья поэта встрепенулись». Его лира обрела новые сильные звуки, в которых сливались воедино «могучей мысли свет и жар и огнедышащее слово». Пушкин говорил, что стихи Языкова 30-х годов «стоят дыбом».

«В нашем любезном отечестве человек мыслящий и пишущий должен проявлять себя не голым усмотрением, а в образах, как можно более очевидных, ощутительных, так сказать, телесных, чувственных, ярких и разноцветных» — эти слова Языкова как нельзя лучше характеризуют творения его зрелой поэзии. Одно из лучших — знаменитое стихотворение «Пловец», давно ставшее любимой народной песней:

Нелюдимо наше море,
День и ночь шумит оно;
В роковом его просторе
Много бед погребено.

Смело, братья! Ветром полный
Парус мой направил я:
Полетит на скользки волны
Быстрокрылая ладья!

В душе какого русского человека не отзовется сила этих строк:

Облака бегут над морем,
Крепнет ветер, зыбь черней,
Будет буря: мы поспорим
И помужествуем с ней.

Смело, братья! Туча грянет,
Закипит громада вод,
Выше вал сердитый встанет,
Глубже бездна упадет!

Здесь создан совершенный художественный образ, общезначимый, абсолютный, многозначный и простой — символ борений жизни и предела земного бытия человека:

Там, за далью непогоды,
Есть блаженная страна:
Не темнеют неба своды,
Не проходит тишина.

Но туда выносят волны
Только сильного душой!..
Смело, братья, бурей полный
Прям и крепок парус мой.

В этом стихотворении поэтом был пророчески заключен символ и его судьбы.

В 1833 году у Языкова обнаружили тяжелейшую болезнь спинного мозга. Он покидает Москву и живет в симбирском имении, где собирает русские песни для фольклориста Киреевского. В 1837 году он покидает Россию и отправляется на лечение в Германию, где знакомится с Гоголем и с ним едет в Италию. На родину поэт возвращается в 1843 году.

Несмотря на жестокую болезнь, Языков, по свидетельству Ивана Киреевского, «...пишет много, и стих его, кажется, стал еще блестящее и крепче». В последние годы жизни поэзия Языкова обрела то «высшее состояние лиризма, — утверждал Гоголь, — которое чуждо движений страстных и есть твердый взлет в свете разума, верховное торжество духовной трезвости». Стихотворение «Землетрясение», которое Жуковский считал одним из лучших в русской поэзии, может служить образцом художественной силы образов поздней лирики Языкова:

Всевышний граду Константина
Землетрясенье посылал,
И геллеспонтская пучина,
И берег с грудой гор и скал
Дрожали, — и царей палаты,
И храм, и цирк, и гипподром,
И стен градских верхи зубчаты,
И вс поморие кругом...

В основу стихотворения было положено средневековое византийское предание о происхождении молитвы «Святы́й Боже, святы́й крепкий, святы́й бес­смертный»: о мальчике, взятом на небо во время страшного землетрясения в Константинополе, где он услышал ангелов, научивших его новой молитве; когда все повторили эту молитву, землетрясение стихло. Закljučают стихотворение пророческие строки:

Так ты, поэт, в годину страха
И колебания земли
Носись душой превыше праха
И ликам ангельским внемли.
И приноси дрожащим людям
Молитвы с горней вышины,
Да в сердце примем их и будем
Мы нашей верой спасены.

Столь же пророчески звучат для нас и строки его стихотворения «К ненашим»:

О вы, которые хотите
Преобразить, испортить нас
И онемечить Русь... внемлите
Простосердечный мой возглас!..
Святыня древнего Кремля,
Надежда, сила, крепость наша —
Ничто вам!
Русская земля
От вас не примет просвещения,
Вы страшны ей: вы влюблены
В свои предательские мненья
И святотатственные сны!
Хулой и лестию своею
Не вам ее преобразить,
Вы, не умеющие с нею
Ни жить, ни петь, ни говорить!
Умолкнет ваша злость пустая,
Замрет неверный ваш язык;
Крепка, надежна Русь святая,
И русский Бог еще велик!

Стихотворение было опубликовано лишь в 1871 году, до этого ходило в списках в ограниченном кругу лиц. Уязвленные западники назвали «К ненашим» «доносом в стихах», ответив ядовитыми пародиями Некрасова и полными желчи статьями Белинского и Герцена. С их недоброй подачи к Языкову был прикреплен ярлык озлобленного реакционера. «...Эти стихи сделали дело, — писал Языков о своем послании, — разделили то, что не должно было быть вместе, отделили овец от козлиц, польза большая!.. Едва ли можно называть духом партии действие, какое бы оно ни было, противу тех, которые хотят доказать, что они имеют не только *право*, но и *обязанность презирать народ русский*, и доказать тем, что в нем много порчи, тогда как эту порчу родило, воспитало и еще родит и воспитывает именно то, что они называют своим убеждением!».

Еще в пору юности поэт завещал своим друзьям:

Когда умру, смиренно совершите
По мне обряд печальный и святой,
И мне стихов надгробных не пишите,
И мрамора не ставьте надо мной...

Во славу мне вы чашу круговую
Наполните блистательным вином,
Торжественно пропойте песнь родную
И пьянствуйте о имени моем.

За несколько дней до смерти Языков призвал повара и заказал ему кушанья и вина для своих поминок, на которые велел пригласить всех друзей и знакомых — согласно своему поэтическому «Завещанию», согласно самому себе.

Умер Языков в Москве 26 декабря 1846 года.

ВЛАДИМИР БОНДАРЕНКО

ПОСЛЕДНИЙ ОЛИМПИЕЦ



ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ БОНДАРЕНКО — КРИТИК, ПУБЛИЦИСТ. РОДИЛСЯ В 1946 ГОДУ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ. В 1979 ГОДУ ОКОНЧИЛ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.М. ГОРЬКОГО. РАБОТАЛ В «ЛИТЕРАТУРНОЙ РОССИИ», «ОКТАБРЕ», «СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ», БЫЛ ЗАВЛИТОМ В МАЛОМ ТЕАТРЕ ВО ВРЕМЕНА М. ЦАРЕВА И ВО МХАТЕ У Т. ДОРОНИНОЙ. В 1983 ГОДУ БЫЛ ПРИНЯТ В СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ.

В 1998 ГОДУ ОСНОВАЛ ГАЗЕТУ «ДЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ». АВТОР ДВЕНАДЦАТИ КНИГ ЭССЕИСТИКИ И КРИТИКИ, СРЕДИ НИХ «ПОЗИЦИЯ», «НЕПРИЧЕСАННЫЕ МЫСЛИ», «КРАХ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ».

Юрий Кузнецов — это не просто небожитель нашего поэтического Олимпа. На нашем Олимпе его можно было бы назвать Зевсом. Впрочем, он и похож частенько на Зевса, посылающего молнии на головы поверженных. Но нет, остановиться на таком понимании его олимпийства — значит, всего лишь включиться в некую литературную игру, воздать ему должное за все его труды. К счастью, и без меня воздается. О существовании Юрия Кузнецова, пусть со скрежетом зубным, но не могут ни на минуту забыть ни патриоты, ни наши литературные либералы. Ох как мешает он всей постбродской поэзии своим существованием! Объявили на весь мир после гибели Иосифа Бродского об исчезновении последнего солнца нашей отечественной поэзии. Собрались в темноте кучковаться по разным маленьким поэтическим каморкам, без единого литературного пространства, а такое возможно лишь тогда, когда нет в стране первого поэта, но из-за продолжающегося явления Кузнецова темноты не могут дожидаться. Ибо поэзия Юрия Кузнецова продолжает исторгать из себя светоносные лучи, и никуда от них не спрятаться... Кстати, хочу как-нибудь написать параллель: Кузнецов и Бродский. Любопытные темы для соприкосновений, даже по характерам. В Питере я знавал Бродского, в Москве знаю Кузнецова, будет что сравнивать...

Но все-таки, говоря о Кузнецове, я имею в виду совсем иное олимпийство, уже без всяких аллегорий. Олимпийство во всей своей брутальной правдивости и первичности. Пожалуй, еще десять с лишним лет назад, задумавшись над стихами Юрия Поликарповича, я вдруг обнаружил, что он становится более понятен, когда его ставишь в совсем иную систему координат. Не только в систему нашей национальной сокровищницы русской поэзии, хотя и там ему место давно

определено. Не только в координаты своего поколения или даже всего XX века, а в систему олимпийского классического измерения искусства, существующую еще со времен языческой Древней Греции и языческого Древнего Рима. И единицы поэтического времени, и отношение к образу, к пространству — все оттуда. От древнегреческих поэтических мифов и далее, сопрягая их с мифами кельтскими, германскими, финно-угорскими. «Где пил Гомер, где пил Софокл, / Где мрачный Дант алкал...» Через блистательное Возрождение, соприкоснувшись близко с Данте, и далее уже в наш древний славянский мир. Это совсем иная мировая традиция, иной подход к категории времени и пространства. В русской поэзии, на мой взгляд, такими же несомненными олимпийцами были Гавриил Державин и Федор Тютчев. Нечто олимпийское чувствуется у Боратынского, у Иннокентия Анненского, у Блока, у позднего Заболоцкого. В этом понимании поэзии нет оценочной величины. Нет высокомерия, нет олимпийской братской поруки, отделяющей жителей такого Олимпа от поэтов иных традиций и измерений. Скорее, есть трагизм заброшенного в наше земное пространство XX века одинокого небесного странника. Иногда поэт, как инопланетянин, не знает, что ему делать с окружающими, кому улыбаться, от кого отворачиваться... Иногда поэт явно тоскует, почему он не живет в том горнем мире своих соратников по олимпийскому измерению, какими силами он выброшен оттуда на грешную землю, низвержен с Олимпа.

Воздух полон богов на рассвете,
На закате сетями чреват.
И мои кровеносные сети,
И морщины о том говорят.
.....
Делать нечего! Я погибаю,
Самый первый в последнем ряду.
Перепутанный мрак покидаю,
Окровавленным светом иду.

Скажем, совсем иные понятия времени и пространства у Сергея Есенина и Николая Рубцова, у Некрасова и Гумилева, что ничуть не принижает их поэзию, но дает ей совсем иное звучание.

В мое понятие олимпийства тем более не входит никакое спортивно-рейтинговое коммерчески-деловое псевдоолимпийство, столь знакомое нам по мировым Олимпиадам. Нет. Боги того величественного мифического Олимпа не рязались за право первенства, они все были первыми и первичными.

Именно это олимпийство и придает поэзии Юрия Кузнецова высочайший трагизм. Трагизм во всем: в любви и в дружбе, в отношении к народу и к государству, в ощущении надвигающихся бед. В чем-то он сам со своим олимпийством — знак высокой беды.

Но с предчувствием древней беды
Я ни с кем не могу поделиться.
На мои и чужие следы
Опадают зеленые листья.

Именно трагизм личности становится главным препятствием для восприятия его самого его же поэтическими соратниками. Тем более — трагизм, непонятый большинством, принимаемый за эпатаж. За провокацию, а то и за погоню вслед дешевой популярности. Обывательскому богемному миру нет дела до того, что и сам поэт не волен быть иным, что он сам, как человек, мне думается, иногда сгибается под тяжестью своего креста.

И с тех пор я не помню себя:
Это он, это дух с небосклона!

Ночью выташил я изо лба
Золотую звезду Аполлона.

Кстати, звезда Аполлона, пронизывая все поэтическое пространство Кузнецова, позволяет делать низкое — высоким, обыденное — бытийным, пародийное — трагедийным. Кажется бы, иногда Кузнецов позволяет себе небрежные, затасканные глагольные рифмы, пересказывает анекдоты, утверждает тривиальные истины. Какой-нибудь поэтишко скажет: я тоже так могу. Так, да не так. Нет гравитации поэзии, нет того неведомого свиста, который отделяет незримой стеной обитателя Олимпа от даже весьма способных стихотворцев.

Плащ поэта бросаю — ловите!
Он согнет вас до самой земли.
Волочите его, волочите,
У Олимпа сшибая рубли.

Если принять это олимпийство Юрия Кузнецова как образ его мысли, как его поэтическую систему, логичнее и понятнее становятся многие якобы несуразности в его стихах и выступлениях. Его подход к Пушкину, по сути, перечеркнувшему поэтическое олимпийское мышление и определившему совсем иной путь развития для русской национальной поэзии. Его подход к сверстникам. Его отношение к женской поэзии. И даже его подход к нашему христианскому Богу. Путь Юрия Кузнецова к Христу — это самый сложный путь человека, знакомого с пантеоном олимпийских богов. Он вписал Христа в свою систему олимпийских координат времени и пространства, добра и зла, победы и поражения. Но в итоге (а это важнее всего!) он пришел именно к православному пониманию Бога и человека. Он через олимпийское мироощущение пришел к живому Христу. Не к книжному, не к иконописному, а к Христу, живущему в простодушных душах обыкновенных мирян, — к Христу, понятному простому человеку. В конце концов, поэма Юрия Кузнецова «Путь Христа» — это еще один народный апокриф.

В поэзии Юрия Кузнецова всегда сосуществуют олимпийская высота и какая-то простая брутальная реальность. И потому его любимые герои, а может быть, и прототипы героев — это или титаны, как он сам, поверженные на землю. Или простодушные русские мужики, добры молодцы из скалочной, еще дохристианской Руси. Когда он пишет про поражение титана:

Твое поражение выше
Земных и небесных знамен,
Того, кто все видит и слышит,
Того, кто горами качает,
И даже того, кто все знает, —
Но все-таки ты побежден, —

он пишет и о себе самом, вознесенном силою таланта в титаны, но и побежденном той же самой ему неведомой божественной силой, а потому вознесенном в величие, но постоянно смятенном и угрюмом, удрученном увиденным на земле столь многочисленным человеческим злом, войнами, людской несправедливостью. Отсюда и ощущение тотального одиночества поверженного титана: «Одинокий в столетье родном, / Я зову в собеседники время», или еще сильнее: «Я в поколенья друга не нашел». Он просто-душно бросает вызов всем, не понимающим его горнее пространство разрезанного воздуха вершин:

Как он смеет! Да кто он такой?
Почему не считается с нами? —

Это зависть скрежетет зубами,
Это злоба и морок людской.
Хоть они доживут до седин,
Но сметет их минутная стрелка.
Звать меня Кузнецов. Я один.
Остальные — обман и подделка.

Я не вижу здесь никакого эпатажа — скорее, горечь титана, потерявшего свой Олимп и одиноко бредущего неузнанным среди своих современников: «Слышал Гомера, но тот оборвал свой рассказ...»

Юрий Кузнецов сам размышляет о загадке мирового зла: «Это только злобу у нас не принимают даже на уровне обыденного сознания, а зло — оно обаятельно... Корни зла тоже пронизывают человеческий характер. Но уходят они еще глубже, к самому сатане, к мировому злу... В отличие от злобы, зло привлекаательно. Вспомним “Потерянный рай” Мильтона... А это же — апофеоз сатаны! Потом пошло-поехало... байронизм... а у нас — лермонтовский “Демон”, “Эола” Случевского...»

Демоны мирового зла навещают и олимпийское пространство Юрия Кузнецова.

Оттого ты всю жизнь изнывал,
От томления духа ты плакал,
Что себя самого познавал,
Как задумал дельфийский оракул.
Одиночество духа парит,
Разрывая пределы земные,
Одиночество духа творит,
Прозревая уделы иные...

Как уйти от этого привлекательного зла, заманивающего в свои глубины и высоты, тягающегося с самим Богом? Как уйти от предтечи свободы? От прометеевских искушений? Демоны превращают в зло любое бытие:

Всяко им было, платили и кровью.
Хмуρο глядело на них
Духом высокое средневековье.
Хмуρο глядит и сей стих.

И только молодец-простолюдин, сказочный герой из русского фольклора, гол как сокол, в простоте своей не стал копать в адских секретах, а сразу же отринул их. Вот это и есть самый утопический герой поэзии Юрия Кузнецова. То, о чем всегда мечтается, былинный богатырь, живущий на нашей с вами сырой земле. Русский мужик.

Птица по небу летает,
Поперек хвоста мертвец.
Что увидит, то сметает,
Звать ее: всему конец.

Птица ада, это исчадьё зла, поражает страны, народы, сметает горы: «И горы как не бывало / Ни в грядущем, ни в былом». Лишь мужик невозмутимо сидит на пригорке. И ничто его не берет, не страшна ему мертвечина.

Отвечал мужик, зевая:
— А по мне на все чихать!
Ты чего такая злая?
Полно крыльями махать.

(Кстати, всегда поражает смелость образов у Юрия Кузнецова. Так и видишь картины Павла Филонова, или Сальвадора Дали, или уж, на худой конец, Петрова-Водкина, но только не передвижников. Да и в поэтичес-

ком ряду XX века напрашиваются совсем иные имена, нежели его сверстник Николай Рубцов. Скорее ранний Заболоцкий и Хлебников. Скорее Гарсия Лорка и Поль Элюар. Впрочем, это все касается лишь видимой сюрреалистичности и фантазмагоричности иных образов Юрия Кузнецова, внешних примет его несомненно авангардной поэзии. Но, мне кажется, его стилистика не связана напрямую с его же трагедией поверженного титана. Тут уж другое — бытийное.)

Мужик, Илья Муромец, Иванушка, русский солдат — эти утопические герои Кузнецова, кстати, не всегда во всем обаятельные, с ленцой, с неким равнодушием и сонливостью, но в них-то и заключена, по мнению поэта, сила славянского мира. А все остальное — лишняя суета, интеллектуальные упражнения, игры мелких бесов, не более. Ищет поверженный с Олимпа титан на земле свое место и не находит. Боги Олимпа с какой-то неведомой, мистической целью выпустили его на землю. Вся его поэзия — это ответ на вопрос: что делать олимпийцу среди людей? Может, это через все двухтысячелетие путь олимпийских богов к осознанию Христа? От метеевского богоборчества к признанию великой христианской миссии?

Я вынес пути и печали,
Чтоб поздние дети могли
Латать им великие дали
И дыры российской земли.

Мне думается, лишь сейчас Юрий Кузнецов обретает искомое спокойствие, обретает путь к Богу и дает своим читателям, простым русским людям, живое ощущение истинности Христа. Пусть фарисеи и саддукеи ищут в поэме привычную для поэта вольность и призраки демонизма. Демоны отстали от поэта. Не выдержали испытания его трагическим холодом. Бесы перемерзли на той высоте, куда добрались на плечах поэта.

Вот и оказывается со всех точек зрения — и формальной, и эстетической, и демонической, и духовной, — что изначально последний олимпиец XX века Юрий Кузнецов был обречен на одиночество, сколько бы его поклонников, соратников и бражников ни сидело рядом. Это тоже часть его трагедии. И вряд ли эту участь одиночества поэт принимает с радостью и охотой. Он говорит: «Впервые трагическим поэтом меня назвал критик Александр Михайлов. Всегда и везде я одинок, даже в кругу друзей. Это верно. Сначала мне было досадно, что современники не понимают моих стихов. Даже те, которые хвалят. Поглядел я, поглядел на своих современников, да и махнул рукой...»

Мне-то кажется, дело не в непонимании его стихов и тем более не в некоей мифической недоданности славы. За шумом стадионов Кузнецов сам никогда не тянулся и даже чужд был всяческой эстрадности, а о понимании его стихов читателями всегда можно поспорить, ибо еще вопрос, понимает ли сам Юрий Кузнецов иные из своих глубинных сокровенных стихов? То, что открывается ему с олимпийского пространства во всей полноте, может быть, даже недоступно сознанию человека. Это лишь усиливает трагичность и одиночество поэта. Там, на олимпийском пространстве, плох он или хорош, но живет в ладу и с Гте, и с Данте, и с Петраркой. Здесь, на грешной земле, у него собеседник, пожалуй, был один, и тот совсем недавно скончался, не дожив две недели до юбилея Кузнецова. Поэт признавал, пожалуй, равенство Вадима Кожинова. Равенство не поэтическое или критическое — нет, равенство олимпийских небожителей.

За горизонтом старые друзья
Спились, а новым доверять нельзя.

Твой дом парит в дыму земного шара,
А выше Дионисий и гитара,
И с книжной полки окликает Рим:
— Моменте мори, Кожинов Вадим!
Смерть, как жена, к другому не уйдет,
Но смерти нет, а водка не берет.
Душа верна неведомым пределам.
В кольце врагов займемся русским делом.
Нас, может, двое, остальные — дым.
Твое здоровье, Кожинов Вадим.

Место первого поэта России, которое по праву заслужил Юрий Кузнецов, принесло ему больше печали и новых тревог, чем душевного спокойствия. В конце концов, он изначально выбрал наиболее трудный путь. А еще вернее, пошел по пути, определенному судьбой. Не было бы войны, не было бы такого Кузнецова. Не было бы гибели отца, трагедии безотцовщины, не было бы и удивительных строк, открывших России и миру такого Кузнецова. Как быстро это стало уже классикой:

Шел отец, шел отец невредим
Через минное поле.
Превратился в клубящийся дым —
Ни могилы, ни боли...
.....
Столб крутящейся пыли бредет.
Одинокий и страшный.

С тех пор с ним всегда в поэзии образ дыма, образ пыли — образ отца, образ смерти, образ внезапной пустоты. «Отец! — кричу. — Ты не принес нам счастья! / Мать в ужасе мне закрывает рот». Получается, что гибель отца дала нам такого поэта. Изначальная точка отсчета поэзии Кузнецова — в его личной трагедии. «Вот он встает, идет, еще минута — / Начнется безотцовщина сейчас! / Начнется жизнь насмешливая, злая, / Та жизнь, что не похожа на мечту... / Не раз, не раз, о помощи взывая, / Огромную услышу пустоту». Страдания и гибель перерастают в энергию будущих поколений, будь это дети 1937 года, будь это дети фронтовиков. Отсюда уже и знаменитое: «Я пил из черепа отца / За правду на земле, / За сказку русского лица / И верный путь во мгле...» После гибели осталась лишь мгла, и уже самому Юрию Кузнецову нужно было выбирать свой русский путь. Земля все былое забыла. Забыли и сверстники, многие из них. Ощущение трагичности обострилось в Москве, в буреломе событий, в жизни на пределе. Как бы ни любил поэт родную Кубань, как бы ни клялся ей в верности, но, думаю, не было бы той Москвы шестидесятых, семидесятых годов, не было бы Кубы с острым предчувствием предстоящей атомной войны — не было бы и соприкосновения Юрия Кузнецова с тем Олимпом, на который он оказался вознесен. Был бы обыкновенный традиционный неплохой поэт, не более.

Там, на Кубе, он, мальчишка с автоматом в руках, всерьез собирался повторить подвиг отца.

Я погибну на самом рассвете,
Пальма Кубы меня отпоет.
Командиры придут попрощаться,
Вытрет Кастро горошины с глаз.
Как мальчишка, заплачу от счастья,
Что погиб за народную власть.

Трагичность дала поэту и выход в космос, вывела на вселенский простор. Уже в силу всей своей поэтической системы он вначале стал всемирным поэтом, поэтом мирового пространства, а уже затем, в разговорах и

спорах с Вадимом Кожиновым, постигая в себе русскость, а в судьбе отца и в своей судьбе — особый русский путь, он с олимпийского мирового пространства скорее вернулся на нашу землю, в координаты русской поэзии. Такое случалось в России не раз — с ранними славянофилами, выходцами из германских университетов, с Федором Тютчевым. Это не путь Николая Рубцова, поэтического друга и поэтического соперника, идущего от деревенской околицы ввысь, неся в себе образ песенной Руси. Это путь изначально всемирного поэта в свою национальную нишу. Возвращение блудного сына, затерявшегося в олимпийских просторах. С собой он в нашу национальную сокровищницу принес и Данте, и Шекспира, и священные камни европейской святынь. «Отдайте Гамлета славянам!». Он уже наш, он сегодня непонятен англичанам и датчанам, а русским его рефлексия, его приглушенные рыдания роднее всех родных. И русский «Гамлет шевельнулся / В душе, не помнящей родства». И Юрий Кузнецов присваивает России, присоединяет к русской культуре немецкие и скандинавские мифы и предания, поэзию кельтов, французскую вольность Вийона:

Мы поскачем во Францию-город
На руины великих идей.
.....

Но чужие священные камни,
Кроме нас, не оплачет никто.

Его мрачный Дант — это уже русский Дант, его Гомер — это уже русский Гомер. С Достоевской всечеловечностью он не присоединяет провинциальную Россию к цивилизованному миру, а присоединяет к России всю мировую культуру. С простотой милосердия он бывших врагов превращает в зачатых братьев, отрицая битву идей, он создает единый мир знаков и символов, образов и мифов.

Отправляясь к зачатым врагам,
Он пошел по небесным кругам
И не знал, что достоин бессмертья.
В этом мире, где битва идей
В ураган превращает людей.
Вот она, простота милосердия!

Вот такая, вбирающая в себя все милосердие и доброту, простая и голая славянская душа становится центром его олимпийского поэтического простора. Зевс переместился в Россию с ее кондовыми снами, с провалами в прошлое и с забегами в будущее. Его славянин то спит сто лет подряд, невзирая на копошащихся вокруг европейских человечков, то, вырываясь из истории, по-петровски или по-сталински опережает все развитие мира.

Качнет потомок буйной головою,
Подымет очи — дерево растет!
Чтоб не мешало, выдернет с горою,
За море кинет — и опять уснет.

И не поспоришь — так все у нас и происходит. Поэт не придумывает, не восхваляет — он дает концепцию нашей жизни, ее стратегический замысел. Образы его России всегда мифологичны и фольклорны, даже если это создаваемый им лично миф, творимый им фольклор. Он мог бы вполне спокойно существовать и в дописьменный период, чего не скажешь о большинстве иных даже высокоталантливых сверстников. Потому он и первичен, что живет в пра-слове, в устном слове, и мог бы варварам в козлиных шкурах творить их мифы. Дописьменной поэзии не нужны были детали,

предметные признаки, и потому у Кузнецова никогда не найдем ни ландшафтных, ни бытовых подробностей. Как говорит сам поэт: «Я в людях ценю то, что есть в них от вечного, непреходящего. Да и не только в людях. Например, можно любить Европу-женщину — абстрактно, а можно по-человечески, как героиню бессмертного мифа, быть, так сказать, соперником Зевса... проблему времени снять... Людей ты в понятие не вместишь. Они шире и глубже любого понятия. В образ — может быть, и вместишь. В символ — тем более». И потому его поэзия — всегда поэзия символов, о чем бы Кузнецов ни писал. Свое время он чувствует лишь как видимую вершину айсберга. И всегда старается вместить подводную, глубинную суть вещей и людей, событий и мыслей. Для него простой человек — всегда мудрый человек. Мир его подробностей — вне быта, это сапоги повешенного солдата, идущие мстить сами по себе, это череп отца, по-шекспировски дающий ответ на тайну земли, это младенец, вырезанный из тела матери, чтобы потом стать Сергием Радонежским... Деталь уплотненная, обобщенная до символа.

Он и в лирике своей, в самой интимной и смелой поэзии мыслит символами, он видит в женщине, в возлюбленной, в жене ее древний смысл, ее сокровенное знание, вложенное Богом. «О древние смыслы! О древние знаки! Зачем это яблоко светит во мраке?». И на самом деле, не виден ли в любой из женщин тот древний жест Евы, срывающей запретное яблоко? Даже если ее толковать лишь как искусительницу, это никак не отрицающее, не унижающее, хотя и сомнительное толкование, ибо всегда рядом с женщиной-искусительницей стоит знак и женщины-матери, и как один знак отделить от другого? И как стать матерью, не став на путь любовного греха? Скорее, женщина в поэзии Кузнецова чище и вернее мужчины. И в преданности человеку видна не рабская зависимость, а идея служения. Если честно, я восхищаюсь самими образами кузнецовской любовной лирики.

Ты выдержал верно упорный характер,
Все стер — только платья висят.
И хочешь лицо дорогое погладить —
По воздуху руки скользят.

Восхищаешься женской преданностью и возмущаешься этим «упорным характером», способным лишь примитивно покорять и завоевывать. И так в каждом стихотворении — не мелочи сюсюкающих подробностей, а целая вселенная любви. А если и бой, то бой на равных: «Я вырву губы, чтоб всю жизнь смеяться / Над тем, что говорил тебе: люблю». И вот два мира встречаются вновь, равные, но разные:

Ты женщина — а это ветер вольности...
Рассеянный в печали и любви,
Одной рукой он гладил твои волосы,
Другой — топил на море корабли.

Как творец символов, Кузнецов — философ и мыслитель, но как поэт дописменной поры, поэт первичных смыслов, он не приемлет философскую лирику. Это тот самый случай, когда мухи отдельно, а котлеты отдельно. В любви ли, в политике, в которую он не боится заглядывать, в гражданском бытии своем он противопоставляет банальному миру бессмысленных иллюзий и интриг мир высокого, но неизменно трагического бытия. Бытие манит в бездну. Он стремится к бездне, но никогда не поглощает ее, ибо в бездне мирового простора он просматривает и лучи русской Победы. Там, где другие цепенеют от страха и растворяются в небытии,

русский мир Юрия Кузнецова лишь стоически крепнет, как символ мирового духа.

Я скатаю родину в яйцо.
И оставлю чуждые пределы,
И пройду за вечное кольцо,
Где никто в лицо не мечет стрелы.

Раскатаю родину свою,
Разбужу ее приветным словом
И легко и звонко запою,
Ибо все на свете станет новым.

Многим такое видение родины покажется космополитическим. Но ведь никто не просит понимать кузнецовские образы в примитивно-пространственном выражении. А вот перенести Родину, как не раз и бывало, через столетия татарщины, через лихолетья смутного времени, через комиссарство и интернационализм, через ельцинское проклятое десятилетие, чтобы потом раскатать в новом времени, достигнуть нового могущества — это уже символика Юрия Кузнецова. Равнодушие его и его героев к событиям — всегда показное, с народной хитринкой. Он не отворачивается от гримас времени, не чужд политике и всегда последовательно утверждает державность поэтического мышления. Любая великая поэзия, по Кузнецову, — державная поэзия. «Голос государства слышали и Державин, и Пушкин, и Лермонтов, и Тютчев, и такие поэты в прозе, как Гоголь и Достоевский... Нам ли об этом забывать?.. В шуме водопада Державин слышал эпическую мощь государства. Лермонтов создал не только Печорина, но и Максима Максимовича. Но еще раньше Лермонтов писал: “Полковник наш рожден был хватом, / Слуга царю, отец солдатам...”, “Слуга народа” — уточнил Исаковский, автор великого стихотворения “Враги сожгли родную хату”... И поэт должен слышать голос державы. Ибо, по слову того же Блока, тот, кто прячется от этого голоса, разрушает и музыку бытия».

Поэтому сам Кузнецов добровольно в период нынешнего поглощения видимого на поверхности литературного процесса фальшивыми либералами и любителями метафорических пустот ушел в подземный мир национальной поэзии, игнорируя и новейшее сетевое рапповство космополитических варваров виртуальной реальности, сетевое рабство мелкоскопических поэтиков и поэтессиков. Стал первым поэтом русской диаспоры внутри России. Но и в этом добровольном заточении, не прельщаясь мнимой свободой и приманками грантов Сороса и премий Букера, Юрий Кузнецов, может быть, сделал свой высший шаг. И он уже не поэт какого-то круга, и ему уже нет дела до примитивного заговора молчания либеральствующих окололитературных лакеев. Пусть себе молчат. А он себе идет и идет. И его новый внутренний двигатель — это путь, заповеданный нам Христом. Ему по этому новому пути идти невероятно труднее, чем другим, легко прыгающим из атеистического виршеплетства в неофитство кликушества. «Но горный лед мне сердце тяжелит. Душа мятется, а рука парит». Олимпийский ветер смирился перед Царством Небесным. Смиримся и мы перед его поэтическим подвигом.

Отговорила моя золотая поэма.
Все остальное — и слепо, и глухо, и немо.
Боже! Я плачу и смерть отгоняю рукой.
Дай мне смиренную старость и мудрый покой.

ТАТЬЯНА КОНДРАТОВА



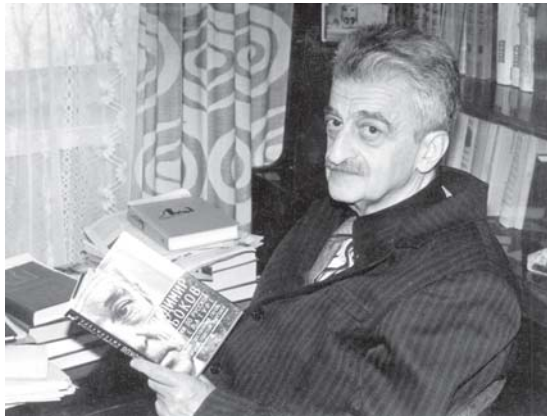
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА КОНДРАТОВА РОДИЛАСЬ В ГОРОДЕ НАРО-ФОМИНСКЕ. С 1978 ГОДА ЖИВЕТ В КОЛОМНЕ. ОКОНЧИЛА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КОЛОМЕНСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА, ПОТОМ АСПИРАНТУРУ. КАНДИДАТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ КОЛОМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА. ЗАНИМАЕТСЯ ПРОБЛЕМАМИ СТИХОВЕДЕНИЯ. НА ФИЛФАКЕ КГПИ ВЕДЕТ СПЕЦКУРС «ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛОМНА».

«ДЫШУ СТИХОМ, СТИХОМ ЖИВУ...»

ЗАМЕТКИ О ТВОРЧЕСТВЕ
К.Г. ПЕТРОСОВА

Обращение к творчеству любого поэта преследует самые различные цели, и прежде всего эстетическую — насладиться «звуками-ладкими»; это, пожалуй, самая важная цель восприятия поэтического искусства. Профессиональный подход к лирике поэта предполагает открытие определенных законов, по которым создает он свой художественный мир. Но не менее увлекательным является исследование духовного мира человека, скрывающегося за строками стихотворений. Лирический герой, лирический субъект, лирический персонаж — все это формы выражения авторского сознания, его отношения к миру.

После смерти Константина Григорьевича Петросова осталось более сотни научных публикаций в самых различных изданиях (география их обширна: Ереван, Баку, Москва, Рига, Даугавпилс...), два поэтических сборника («Стихи разных лет», 1998, и «Колесо фортуны» — итоговое произведение, увидевшее свет в последний год жизни автора — 2001-й). А еще десятки ранних, неизданных стихотворений, сохранившихся в рукописном виде. Остались стихи, бережно хранимые, по несколько раз переходящие из одного рукописного сборника в другой, а значит, любимые, значит, не случайные, не начерченные на обрывках, клочках и... забытые. Почему же не включил в сборники, не опубликовал? Причина, конечно же, не материального характера: любая коломенская газета с радостью взяла бы стихи такого известного в городе человека. Да и всегда находились бывшие ученики, просто неравнодуш-



ные люди, помогавшие Константину Григорьевичу в издании книг. Причина в другом — в авторской позиции, в собственной оценке своего творчества, в тех высоких требованиях, которые предъявлял прежде всего к себе самому.

Петросов умел отстраниться и посмотреть на свои стихи со стороны; профессиональный взгляд филолога, отточенный на Лермонтове, Маяковском, отметил в стихах самое характерное, отличное: «преобладание субъек-

тивно-монологического начала, романтическую сосредоточенность и распахнутость чувств, тягу к неординарным людям, судьбам и неистребимую веру в человека»¹. И это совершенно справедливый авторский комментарий и к ранним, юношеским, стихам, и к поэзии последних лет. Однако относился к ним Петросов все-таки по-разному.

Юношеские стихи — это часть «автобиографии души» (именно такой подзаголовок имел дневник поэта). Здесь нет отражения обыденных, повседневных событий. Это потрясающие воображение поэтические строки, которые девятнадцатилетний юноша переписывал в свою тетрадь. Помимо Маяковского, здесь Ахматова, Есенин, Бальмонт, Гумилев, Саша Черный, Тихонов, Сельвинский, Асеев, Уткин. А потом в этот «разговор» поэтов вкрапляются и его собственные стихи — отклики на прочитанное, прочувствованное.

Каждый поэт проходит период ученичества, пишет «под кого-то». В дневнике Петросова есть строки Бальмонта: «Вечер. Взморье. Вздохи ветра. // Величавый возглас волн...» А вот его собственное, датированное ноябрем 39-го года:

Ночь. Молчанье. Сумрак леса.
Тени. Дерзкий волка вой.
Синь. Прозрачная завеса
Над моею головой.
Ветер. Листопада шорох.
Осень. Желтый колорит.

Под ногами листьев ворох
Песнь последнюю шуршит.
Лязг капкана. Лай шакала.
Ярость шквала. Ночь без сна.
Выстрел. Эхо в тьму упало.
Блики яркого костра.

Обращает внимание не только синтаксическое сходство, но и общность импрессионистического видения мира — это застывшие мгновения жизни. Но влияние Бальмонта на ранние стихи Петросова сказалось и в определенном увлечении звучанием слов, которые порой нанизывались друг на друга по фонетическому принципу:

Глаз голубых голубино-
Грустная глубина
Заволоклась. Зеленая тина
Тонкою пленкою легла.
Гризли грыз у грани гроба
Грубый, грязный корень.
(«Гибель гризли»)

Звук здесь, бесспорно, выступает на первый план, подчиняя себе смысл, как и в стихотворении «Запад»:

Запад заплатан.
Запад залапан.
Час расплаты настал.
Пули визжат,
И безжалостно сжат
Каждого сердца удар.

С расстояния прожитых лет, с высоты литературной эрудиции профессор Петросов, конечно же, видел определенную подражательность многих юношеских стихотворений. В статье «Пушкинскую руку жму, а не лижу», посвященной стихам Ахматовой, Есенина, Маяковского и Цветаевой о Пушкине, он высказывает мысль, что Ахматова остановилась и не дописала свою царскосельскую поэму «Русский Трианон» потому, что поняла, что подражает Пушкину². Может быть, этим глубоким сознанием, что голос поэта должен быть только индивидуален, и объясняется полувековое поэтическое молчание Петросова?

К играм с формой, за которой не скрывается глубокая мысль, он относился довольно скептически. В позднем стихотворении «На прежнем берегу» о стихах подобных «новаторов» писал:

Стихи их — плюшевые тигры,
Искусство — байки, трын-трава,
Вс это — игры, игры, игры,
Одни слова, слова, слова.

Меня они не оглушили,
Я крепко с юности подкован.
Давно ведь это проходили:
Новаторство до Вержболово.

Работая над составлением сборника «Колесо Фортуны», Константин Григорьевич, очевидно, не полагаясь на эрудицию современных читателей, настаивал, чтобы хлебниковская реминисценция — «Новаторы до Вержболово, // Что ново здесь, то там не ново» — была объяснена в сноске.

Великолепный знаток русской поэзии, тонко чувствующий слово, убежденный, что только в единстве формы и содержания можно постичь поэтическую идею, а значит, и красоту стиха, настойчиво внедряющий студентам понятие «содержательной формы», Петросов не мог не понимать, что по звучанию, образности ранние стихи не только не уступают, но и превосходят поздние. И все-таки отдавал предпочтение последним! Если в ранних стихах иногда фиксировалось одно лирическое движение, то в поздней лирике преобладали мысли, наблюдения над прожитой жизнью и над поэзией. Публикуя ранние стихотворения, Петросов порою менял какие-то слова, и путь этих изменений — от экзотичности словесного выражения к простоте. Во всех ранних вариантах стихотворение «Кафе-бар» начинается так:

Где гитара прорывала
Резвость глупых мандалин,
Где не выпита сигара,
Недокурен пурпур вин...

Из этой словесной путаницы возникает интересный поэтический образ: отражается хмельной взгляд на мир. Жаль, что в позднем варианте все встало на место, стало правильным:

Недокурена сигара,
Недоеден мандарин.

Константин Григорьевич даже обижался, когда при нем кто-то настойчиво повторял, что больше любит его юношескую поэзию. На презентации книги «Колесо фортуны» Петросов защищал свои поздние стихи, как родных обиженных детей. Но в самих стихах частенько заговаривал об их «ка-

честве» — вот здесь и проявлялись строгость и требовательность к своему творчеству. В поздних стихах он постоянно иронизирует, порой даже декларирует некую поэтическую несостоятельность: «Тяжел и описателен мой стих...» («Колесо фортуны»), «Из описательности вялой // Не вырвусь, кажется, никак...», «Грущу: на лодке быстрокрылой // Поэзии лишен весла...» («На прежнем берегу»).

Такие, прямо скажем, снисходительные отзывы объясняются той высокой планкой, какую задавало для Константина Григорьевича творчество его кумиров — Маяковского, Ахматовой, Цветаевой, Блока. В «Опыте верлибра с мерцающей рифмой» он писал, что его стихам не хватает «цветаевской распахнутости в мир иль дерзости Владим Необходимыча». Поэт признается, что «с годами стих... стал вполне послушен. Увы, слегка подсушен...» Такая самоироничность проявлялась в Константине Григорьевиче по отношению к собственному поэтическому творчеству, но никогда к творчеству литературоведческому. И эта самоироничность делала его доступным в общении самым разным людям. У Петросова есть строка, удивительно точно передающая его восприятие чужой поэзии — не только классики, но и стихов местных коломенских авторов, многие из которых на его суд несли свои поэтические опыты: «...и ввысь взлетаю с песнею чужой».

Петросов находил слова ободрением, кто делал первыеробкиешаги на поэтическом пути. Думаю, ему было физически трудно кого-то обидеть — в этом человеке была потрясающая терпимость к людям. Многие помнят, как часто из уст профессора Петросова слетало слово «толерантность». Человеческая доброта, заинтересованность в собеседнике и постоянное желание не отстать от времени — вот что притягивало к нему молодое поколение.

Петросов имел право сказать:

Я открываю имена, распахиваю двери.
Мне чужд
Сальери.
И, если Моцарт слова
вдруг объявится в Коломне,
возможно, первым
я его замечу,
привечу.

И замечал, и привечал. Несомненно, многие коломенские поэты ощутили пожатие петросовской руки, его искреннюю и бескорыстную помощь. Евгений Кузнецов, Михаил Мещеряков, Михаил Прохоров, Екатерина Устинова — каждый из них на каком-то этапе был «замечен» Константином Григорьевичем и получил от него своеобразное благословение. То ли в шутку, то ли серьезно, но частенько Константин Григорьевич именовал себя «стариком Петросовым», памятуя, конечно же, пушкинского «старика Державина». Он умел восхищаться чужими стихами. В стихотворении «В добрый час!», написанном в совсем не поэтический период жизни (датировано 1957 годом), ощущается такая тоска по поэтическому творчеству, которую позволяет заглушить только сознание своей сопричастности поэзии других:

Но опыт охлаждает рвенье.
И ты сознаться принужден:
Прошло с годами вдохновенье,
Ты не для песен был рожден.
И все ж чужие ловишь звуки
И чуть почувешь верный тон,
Как после тягостной разлуки,
Ты снова счастьем одарен.

И Петросов сам одарил себя счастьем, когда спустя полвека вернулся к поэтическому творчеству. Он пытался осмыслить произошедшую с ним перемену, понять, помогают ему накопленные за полвека филологические знания или мешают:

Теряюсь я, когда мне говорят:
— Филолог ты, не быть тебе поэтом...

Определения, что же такое есть его собственные стихи, часто противоречили друг другу, может быть, потому что Константин Григорьевич слишком хорошо знал хрестоматийные — «мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв», «та же добыча радия», «езда в незнаемое», тоже часто опровергающие одно другое.

В «Рождественских стихах», полемизируя с невидимым собеседником, он утверждает:

Мои стихи не рукоделье,
Не наркотический дурман...

И тут же — обратное, противоположное:

Стихи — это наваждение,
Нетающие миражи...

(«Разностопные стихи и подгулявшие строфы»)

В этих противоречиях и проявлялось то романтическое мироощущение, которое отмечали все близко знавшие Петросова и в котором он часто признавался сам. Константину Григорьевичу был близок образ Дон Кихота, но воспринимал он его по-разному в разные периоды жизни. Сравнивая ранние и поздние варианты стихотворения «Дон Кихот», мы видим не просто эволюцию образа, а коренное изменение его восприятия. Самый ранний вариант стихотворения датирован 1940 годом, потом оно почти без изменений переписано в других рукописных сборниках и везде датировано 1943 годом. Вот этот ранний текст:

Мне чужд лирический обман,
Я не люблю печальных песен,
Мой голос ясен, как металл,
И, как металл, порой чудесен.
Пусть в человеке Дон Кихот
Всегда поистине прекрасен,
Но побеждает только тот,
Кто терпелив, лукав, бесстрастен.
Мне чужд оптический обман,
Я ненавижу Дон Кихота —
Он бросил вызов всем векам,
Сломав копьё у небосвода...
Он герб испанского народа
Нес с честью на своем щите,
Но Дульсинею из Тобоса
Не находил всю жизнь нигде.
Он путал цвет волос и линий
И, не заметив, обменял
Платок с виньеткой белых лилий
На дурно пахнущую шаль.
Искал безумец Дульсинею
И на коне, и на осле,
В простой кухарке видел фею
И верил преданно мечте...
Я ненавижу Дон Кихота,
Мне чужд оптический обман,
Но клятвы светлого уroda
Я темной жизни не отдам!

(Январь 1943 г.)

Во всех рукописных сборниках этот вариант сохранялся с небольшими поправками: «В наш век прославлен только тот, кто блеск оружия — закрасил!». Но максималистское отношение к миру везде сохранено. Резко, вызывающе звучит рефрен: «Я ненавижу Дон Кихота...» Лирический герой отвергает сам образ «светлого урода» (как хорошо сказано!), но принимает

его «клятву», то есть донкихотство как отношение к миру, — его устремленность к мечте, его детскую наивность, готовность сражаться со злом. Но в поздних вариантах это противоречие поэт полностью снимает. Вместо эпатирующего «Я ненавижу Дон Кихота...» приятие не только донкихотства, но и образа героя:

Мне люб оптический обман
И сумасбродство Дон Кихота,
Он кончил рыцарский роман,
Сломав копье у небосвода.
.....

Мне чужд оптический обман,
За привиденьями охота,
Но светлой клятвы Дон Кихота
Я жизни темной не отдам.

Еще в издании 1998 года оставался образ «светлого уродца», в последнем издании он исчез. Это своеобразное поэтическое кредо позднего Петросова, который пытался избавить стихи от юношеского максимализма, когда не мог, не хотел выглядеть чудачком, хотя такое отношение к жизни приветствовал. В восемьдесят лет профессор Петросов будет убежден в обратном: быть чудачком совсем не стыдно:

Мне скажут:
Ты ироник иль чудак?
Вс так!

(«Опыт верлибра...»)

Образ Дон Кихота можно найти и в других произведениях поэта Стихотворение «Последний Дон Кихот» написано в 1942 году, и время здесь ощущается особенно явно — герой противостоит не ветряным мельницам, а разрушающей стихии войны:

Сегодня я не скажу, как прежде:
«Я совершенно нов»,
нет!
Это ложь — я стар надеждами,
Но по-новому взвешиваю слитки лет.
Я ощупал скелет опустевшего мира
И проехал по ребрам железных дорог,
Зажимая в руках не кастильца рапиру,
А четыреста грамм —
Военный паек.
Я смотрел на землю с моря и суши
И на лицах истертых усталость читал,
Изучал изувеченные души,
Разговоры суровые слушал.
Молчал...

Дон Кихот бросает «вызов безумному миру», миру жестокому и безучастному. Образ Дон Кихота в стихотворении превращается в символ добра, противопоставленного безумию эпохи:

Я видел его темною ночью
В блеске горящих зданий-козлов,
При свете дневном видел воочию
В камерах вшивых пропускников.
Пропахший дымом кровавой похлебки,
Вызов звучал, как песня надежды;
По-новому грозный,
по-новому кроткий,
Преданный клятве —
бесстрашный, как прежде,
Кастилец стоял, огнем опаленный,
Как символ, поднимая над землею рапиру.
Святой,
несгибаемый,
непреклонный,
Кидая вызов безумному миру



росова на конференции «Имя в истории Коломны» ему был посвящен один из докладов. Кандидат филологических наук Анна Владимировна Лексина перед выступлением сказала, чтокогда-то на тему выступления ее внимание обратил именно Константин Григорьевич Петросов.

Но Петросов порой обижался, как маленький ребенок, когда кто-то намекал на эту его чрезмерную опеку своих учеников. Думаю, это объясняется тем, что он всегда хотел выглядеть более строгим, более требовательным, более серьезным. Да он и был таким: и строгим, и серьезным, и требовательным. Но был еще и очень увлекающимся: мог мгновенно поразиться каким-то образом, словом. И сразу же спешил заразить своим удивлением, восхищением всех окружающих. И в стихах Константин Григорьевич выразил это состояние:

Недаром с юных лет бродило слово
Во мне, барахталось и билось снова,
Желая воплотиться в звучный стих.

С тех пор, невольным чувством озадачен,
Сомнением мучительным охвачен,
Готов я обмануться хоть на миг.

Но потом как-то вдруг стеснялся этого самообмана, этой распахнутости (вот она, романтическая раздвоенность!) Ах, Константин Григорьевич! Мы-то видели другое: раз так щедро раздаривали мысли, идеи — значит, было что дарить... Была та наполненность, когда легко перетекало через край...

Стихи помогают понять душевные движения человека, скрытые от глаз посторонних, внутреннюю жизнь, которая даже при всей «распахнутости в мир» остается для нас за семью печатями. Наверное, книга «Колесо фортуны» стала самым полным самовыражением Константина Григорьевича Петросова. Преодолев скептические, порою иронические взгляды со стороны, известный литературовед, доктор филологических наук в восемьдесят лет заявил, что он просто поэт, у которого, по его собственным словам, «ни звания, ни чина». Петросов был убежден, что «поиски и обретения в сфере духовной неизмеримо выше материальных благ»³. Его жизнь, его научная деятельность, его поэзия подтверждают это.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Петросов К.Г. От автора // Колесо фортуны. Коломна, 2001. С. 83.

² Петросов К.Г. Пушкинскую руку жму, а не лижу // В содружестве с поэзией более полувека. Коломна, 2000. С. 252.

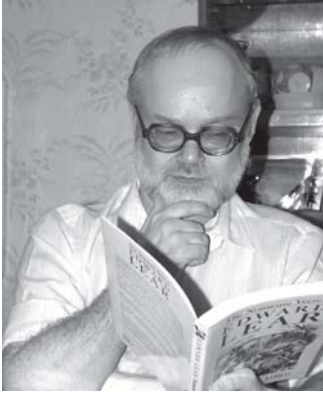
³ Петросов К.Г. О времени и о себе // В содружестве с поэзией более полувека. Коломна, 2000. С. 258.

*Выражаю признательность Бехтяновой Людмиле Васильевне
за предоставленные рукописные материалы.*

БОРИС АРХИПЦЕВ

ПЕРВЫЙ ПОЭТ КОЛОМНЫ

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
АЛЕКСАНДРА КИРСАНОВА



БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ АРХИПЦЕВ РОДИЛСЯ 7 АПРЕЛЯ 1950 ГОДА В КОЛОМНЕ. В 1974 ГОДУ ОКОНЧИЛ ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ КОЛОМЕНСКОГО ПЕДИНСТИТУТА. ПОЭТ, ПЕРЕВОДЧИК АНГЛИЙСКОЙ ПОЭЗИИ НОНСЕНСА. ПУБЛИКОВАЛСЯ СО СТИХАМИ И ПЕРЕВОДАМИ В ЖУРНАЛАХ «СМЕНА», «СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕРИДИАН», «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В ШКОЛЕ», «ШАХМАТНОЕ ОБОЗРЕНИЕ», «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» И ГАЗЕТАХ «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ», «ENGLISH» (МОСКВА), «РУССКАЯ МЫСЛЬ» (ПАРИЖ). АВТОР КНИГ ПЕРЕВОДОВ «ЭДВАРД ЛИР. ЛИМЕРИКИ» И «ПОЛНЫЙ НОНСЕНС! ЭДВАРД ЛИР ПО-АНГЛИЙСКИ И ПО-РУССКИ» (В РУКОПИСИ).

Поезд шел на восток. Он вез в глубокий тыл солдат и офицеров, получивших ранения в боях за освобождение Прибалтики. Многие были ранены тяжело, невеселые мысли одолевали их. Необходимо было как-то разрядить тягостную обстановку, заставить людей хотя бы ненадолго забыть о страданиях. И молоденькая сестричка Фаина придумала

Дверь вагона открылась, вошла сестра и сказала: «Товарищи, сейчас перед вами выступит наш народный артист». Тяжело опираясь на костыли, неуверенно ступая ногами, толстыми от гипсовых повязок, по проходу двинулся высокий худой человек с живыми, веселыми глазами, опустил на принесенный сестрой табурет, взял гитару и начал петь. Пел он любимые бойцами военные песни, а особенно лихо — ту, задорную, лукавую, в которой рефреном повторялись слова: «А ну-ка, дай жизни, Калуга! Ходи веселей, Кострома!» Лица раненых светлели, прояснялись. Лейтенант пел, читал, снова пел — пока не истощился его исполнительский репертуар, и радовался тому, что можно временно заглушить тупую боль в ногах и никогда не отпускающую боль в сердце — тоску по родным краям и близким людям, таким далеким теперь

Он родился в 1913 году, 15 июня по новому стилю, в Егорьевске, в семье ткача. Семья была большая — девять человек детей. Жилось трудно.

У меня желаний было много,
Только голодно семья жила.
И тогда, перекрестившись, бога
Бабушка на рынок отнесла.

Не разверзлось над семьей небо,
Не упала ветхая стена.
Старая вернулась с фунтом хлеба
И стаканом прелого пшена

Но детство, каким бы суровым оно ни было, всегда остается самой счастливой порой в жизни человека.

Был мир, в каком я жил, не так велик.
Он с улицы Кузнецкой начинался,
Кончался речкой, где кричал кулик,
И лесом, что казался так велик
И так высок, что облаков касался

Одно из самых светлых воспоминаний ранних лет — песни матери. Как трогательно, задушевно пела она про тонкую рябину и про то, как «в степи глухой замерзал ямщик!» Мальчик слушал, начинал шмыгать носом. «Ты что, Сашенька?» — «Ямщика жалко» Не тогда ли в детской душе пробивались первые ростки сострадания и чувства прекрасного, без которых невозможно рождение поэта.

Со смертью самого дорогого человека, матери, кончилось детство. Начиналась взрослая жизнь. Нужно было помогать семье, и 15-летний Александр Кирсанов впервые переступает порог ткацкой фабрики.

Страна жила в радостном напряжении первой пятилетки. Юношу захватил новый мир, открывшийся перед ним на производстве. С головой окунувшись в стихию свободного труда, он ищет выхода переполнявшим его впечатлениям, чувствам, пробует писать стихи. Некоторые из них появляются на страницах районной газеты. Начинающего автора замечают и направляют на Всесоюзные курсы комсомольских писателей в подмосковный Дом творчества имени А.Серафимовича. Это была серьезная школа, так как творческие семинары вели крупные советские писатели: Л.Леонов, М.Светлов, К.Тренев, А.Сурков и другие.

В 1935-м Александра призывают в ряды Красной Армии. Так в его жизнь впервые входит Коломна — город, которому суждено будет вскоре стать для него второй родиной. После окончания курсов младших командиров, а затем офицерских курсов он становится кадровым офицером.

Находясь в самой гуще событий, участвуя в боях за освобождение Смоленска, Белоруссии, Литвы, командир взвода разведки истребительного противотанкового артполка лейтенант Кирсанов был тяжело ранен, контужен. За мужество, проявленное в бою, который шестерка артиллеристов приняла против шести немецких танков, он был награжден орденом Красной Звезды. Этот боевой эпизод вызвал к жизни замечательную балладу, напечатанную впоследствии в журнале «Новый мир».

БАЛЛАДА О ШЕСТИ ГЕРОЯХ

Это дело было в декабре.
Лес дремал в холодном серебре,
Снежный наст сиял голубизной.
Был отраден сердцу мир лесной.
Оглушало море тишины,
Словно бы и не было войны.

Шесть бойцов в просторном блиндаже
Жили на переднем рубеже.
Наших славных матерей сыны
Жили так, как братья жить должны.
В каждом было силы на троих, —
Ненависть объединяла их.

Дети вспоминают об отце,
Мать о сыне — воине-бойце.

Мы читали письма у огня
И мечтали о хороших днях.
Вдруг: «Тревога! Хлопцы, по местам,
Вражьи танки — видно по крестам».

Рыхлый снег уютжат животом,
Танк за танком, как за домом дом.
И сказал сержант бойцам своим:
— Устоим, ребята?
— Устоим!
— Может, многовато?
— Ничего!
Шесть на шесть —
Один на одного.

Над поляной прокатился гром,
Закоптился снег перед стволом.
Первый танк уперся лбом в сугроб.
Не возьмешь ты нас, вражина, в лоб!
Из отверстий рвется сизый дым.
Стало меньше из шести одним.

Траками разбитыми звеня,
Два еще трещали от огня,
Но померк в глазах от взрыва свет,
И сержант свалился на лафет.
Он спросил дыханием одним:
— Устоите, хлопцы?
— Устоим!

Вражьи танки пятились назад.
Стихла орудийная гроза.
Пот со лба наводчик стер платком,
Погрозил на запад кулаком:
— Нашей крови, сволочь, захотел,
Только не на робких налетел!

Над лесами догорал закат,
Золотыеплыли облака.
Загорелась первая звезда.
— Устояли, хлопцы?
— Как всегда!

Чтобы драться, как они, уметь,
Надо сердце русское иметь.

Стихи Кирсанова, пахнувшие дымом и гарью сражений, регулярно появлялись в армейской и фронтовой газетах. А 30 апреля 1943 года в газете Западного фронта с боевым названием «Вперед на врага» была напечатана заметка о подготовке армейского ансамбля к Первомаю. В ней, в частности, говорилось: «В ансамбле вырос свой композитор красноармеец Пугачев. Он написал бодрую музыку на стихи Лебедева-Кумача «Будет праздник». Вокалист ансамбля красноармеец Кучеренко готовит к празднику новые песни: «Сухарики» (слова сержанта Тарбеева) и «Марш противотанкистов» (слова лейтенанта Кирсанова)».

Так 30-летний офицер Александр Кирсанов узнал, что стал поэтом-песенником.

Стихи он к тому времени сочинял уже полжизни, имел массу разных публикаций, успел даже в родном Егорьевске поруководить литературным объединением (семнадцати лет от роду!), побывал — посчастливилось! — на I Всесоюзном съезде писателей, одним из самых молодых делегатов которого был, кстати, его друг, одноклассник и тезка, будущий известный московский поэт Александр Филатов.

Словом, стихов было уже много, автор был маститый, но песня... песня получилась впервые. И остается лишь гадать, в газете ли подсмотрел неизвестный красноармеец Пугачев слова для своего марша, или другая какая оказия вышла, а только зазвенел марш, зовя противотанкистов вперед на врага. Вот и верь, что музы молчат, когда говорят пушки!

Отгремели последние залпы войны. А.Кирсанов приезжает в Коломну, чтобы уже навсегда связать с нею свою судьбу. Он поступает на знаменитый Коломзавод, работает в его многотиражке, затем возглавляет художественную мастерскую. А надо сказать, что было у фронтовика еще одно сильное увлечение — живопись, успехи в которой открыли для него двери Союза художников РСФСР и сердца многочисленных почитателей. Покорил он (после длительной «осады», впрочем) и сердце своей избранницы и верной спутницы на всюоставшуюся жизнь Зои Алексеевны, Зоньки, как неизменно ее величал, инженера-химика и страстного библиофила-книгоглотателя.

Тронут волос сединою,
А в сердцах у нас весна.
Ты всегда была со мною,
Друг, товарищ и жена.

Ты со мной, и, словно птица,
У меня поет душа.
Ты и в двадцать,
Ты и в тридцать,
Ты и в сорок хороша...

И десятилетия спустя, став профессиональным поэтом (в 1964 году он был принят в Союз писателей СССР), автором нескольких книг, Александр Федорович не расставался с родным заводом, с гордостью носил звание рабочего поэта («Я все тот же рабочий, / Хоть и труд мой иной»). Он изнутри знал заводскую жизнь, поэтизировал ее.

В кузнице у нас, как настоящий,
гром гремит с утра и до утра.
Возле печи, пламенем гудящей, —
экваториальная жара.

Под стеклянной крышей грому тесно:
кажется, вот-вот ее пробьет.
Будто дирижируя оркестром,
бригадир сигналы подает...

Кто-то сказал, что поэт без пейзажной лирики — что день без солнца. Каждый, сколько-нибудь владеющий пером, пытается изображать природу — она видна, понятна и органична всякому. Иной вопрос — насколько это удастся. А.Кирсанов тонко чувствует природу, красоту земли, родного Подмосковья и вдохновенно пишет об этом. Читая его лирические строки, мы представим, как «над Окою зори расцветают» и как «сосны в солнце купаются», как «тень коршуна по облакам плывет» и как «опускается птицей подраненной на замшелые крыши закат», как «словно на посадочной площадке, сидит пчела на лепестке цветка» и как «над родимой стороной ходит ветер, как хмельной»

ВЕЧЕРНИЙ ЛИВЕНЬ

Теплым ливнем
Прошумели тучи
И за темный горизонт сползли.
Так в овраг,
Скользя, сползает с кручи
Водами подмытый
Пласт земли.

Небо стало
Вымытым и новым.
На земле вздохнуло все легко.
И пахнуло
Цветом лип медовым
И теплом,
Парным, как молоко.

Чтоб по-русски,
Душу нараспашку,
Встретить свежим
Солнце поутру,
Слышно,
Как зеленую рубашку
Выжимает тополь на ветру.

И на все,
Что выращено нами,
Выстроено крепко, на века,
Небо смотрит
Звездными глазами,
Тоже потеплевшими слегка.

Мало кто сумел с такой ясностью и глубиной выразить дух и душу Коломны, воспеть родное Подмосковье.

Над Коломною
Тихим вечером
Всюду светятся огоньки.
Вся огнями она рассвечена
От Москвы-реки до Оки.

Вдоль по улицам
Липы с кленами
Зачарованные стоят,
Будто крыльями зелеными,
Тихо ветками шевелят.

Нас уводит
Дорога длинная,
И пока горят огоньки,
Будем рядом ходить с любимой
От Москвы-реки до Оки.
Не заметим,
Как зорька ранняя
Повстречает нас у реки.
Для влюбленных ведь расстояния
Удивительно коротки.

Образцом гражданской лирики является стихотворение «Цветы России», в котором автору удалось лаконично, простыми, негромкими, идущими из глубины души словами выразить нашу общую любовь к родной земле, ее истории, природе и людям.

Их вражьих пули убивали,
Солдаты падали на них

программ Всесоюзного радио был конкурс песни «До-ре-ми-фа- соль». В каждом туре звучало до десятка новых советских песен, из которых слушатели должны были отбирать лучшие на их взгляд. Меня такая работа по молодости весьма увлекала, и я был активным и многолетним членом большого, в несколько тысяч человек, слушательского жюри. И вот как-то раз ведущий объявляет: композитор Фомичев, стихи Александра Кирсанова, «Опять я вернулся». Исполняет Лев Лещенко. Красивая лирическая песня понравилась, я отдал за нее свой голос и был поддержан коллегами — песня получила лауреатское отличие и была исполнена повторно, так сказать, «на бис». Но даже и после этого, каюсь, меня не покидало некоторое сомнение: уж нет ли ошибки в имени автора стихов. С одной стороны, в то самое время



стало модным (с легкой руки великолепного Давида Тухманова) писать песни на стихи маститого Семена Кирсанова, а с другой — в моей наивной голове ну никак не укладывалось, что мой земляк может вот так запросто звучать во всесоюзном эфире! Мог ли я тогда знать, что в активе А.Кирсанова больше 100 (ста!) песен и что по количеству «продукции» он конкурирует с записными поэтами-песенниками

263

Прошло каких-то тридцать лет, и вот недавно по радио зацепился ухом за протяжную, кантиленную мелодию, какие в нынешнем эфире большая редкость. Прислушался. Что-то очень знакомое. Ну конечно — «Они, как радуга, красивы, как наши помыслы, чисты» — красиво выводили голоса. По Радио России выступал Рязанский хор. Живы цветочки-то, жива песня кирсановская!

Александр Федорович был очень активным, энергичным, неравнодушным, жизнелюбивым, жизнедеятельным, жизнеутверждающим человеком, всегда готовым выслушать, помочь, поделиться опытом — житейским и поэтическим. Постоянно возился с учениками, любовно пестовал их, «ставил голос» молодым талантам. Несколько десятилетий возглавлял свое любимое детище — литературное объединение «Зарница», переросшее из заводского в общегородское. «Все мы выросли из Кирсанова», — говорят коломенские стихотворцы. И в этом нет преувеличения: всякий мало-мальски пишущий здесь в рифму — ученик поэта или его учеников.

Он жил напряженной общественной жизнью, много выступал — сольно, с коллегами и учениками. Нет в городе и районе школы, вуза, рабочего коллектива, воинской части, где бы не звучал его красивый, поставленный голос, а надо сказать, что он был из числа тех немногих счастливцев, кто умеет не только писать стихи, но и читать их ярко и выразительно. И всюду его ждали и любили. Не гнушался никакой, даже самой черной, работой, мог вырастить стихи из любого «сора» — будь то уборка дома или стирка белья, копание на садовом участке или стояние в магазинных очередях, и даже лежание на больничной койке — такая вот счастливая особенность была у человека!



Александр Кирсанов

Известно, что старость — единственное средство подольше пожить. Но Александр Федорович так и не состарился, никогда не производил впечатления старого и усталого человека, до самых последних дней оставаясь все тем же неунывающим лейтенантом из 43-го года: та же стройная, подтянутая фигура, те же живые, улыбчивые глаза. Возможно, секрет молодости заключался в его жизненном кредо, выраженном в чеканной стихотворной форме.

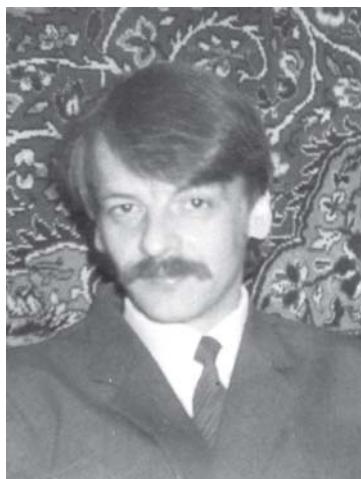
Нет, нам сейчас нельзя стареть —
Еще так много дела!
Нам нужно все предусмотреть
И выстроить умело.

Работу солнцу и ветрам
И рекам дать по силе.
Чтоб дети, внуки наши нам
Спасибо говорили.

Хотя характер у него был отнюдь не простой, не гладкий — бывал горяч, вспыльчив, порою резок, несдержан, в творческих и житейских оценках — излишне субъективен, но все это признаки натуры художественной, артистической, страстной и на стихах, качестве их и ценности, «долгожительстве», нетленности никак не отражается.

Стихи его переиздаются. Имя его носит одна из городских библиотек. Дело его продолжает сын, руководящий литературным объединением.

Александр Кирсанов был первым коломенским профессиональным поэтом. Он был, остается и еще долго, смею предположить, будет первым поэтом Коломны, просто — **Поэтом Коломны** — по значению, размаху и глубине таланта. Тем маящим маяком, той влекущей вершиной, достичь которой мечтают многие и многие, идущие следом. Свет — яркий, ориентир — высок, цель — труднодостижима. Но — надо стремиться!



СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ПАТРИКЕЕВ РОДИЛСЯ В 1959 ГОДУ В КОЛОМНЕ. ОКОНЧИЛ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КОЛОМЕНСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА, АСПИРАНТУРУ И ЗАЩИТИЛ КАНДИДАТСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ. РАБОТАЛ УЧИТЕЛЕМ В ШКОЛЕ 30, В ЗАГРАНШКОЛЕ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ. С 1991 ГОДА — ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ ЛИТЕРАТУРЫ КОЛОМЕНСКОГО ПЕДИНСТИТУТА. АВТОР РЯДА ОБЩЕСТВЕННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ СТАТЕЙ. ПЕРЕВОДЧИК С АНГЛИЙСКОГО. ОПУБЛИКОВАЛ НЕСКОЛЬКО КНИГ ПЕРЕВОДОВ СОВРЕМЕННЫХ АМЕРИКАНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «МИР».

ПЕЧАТАЛСЯ В ТРЕТЬЕМ НОМЕРЕ КОЛОМЕНСКОГО АЛЬМАНАХА.

БЕЗ ПРИКРАС...

Задумываясь о нынешней литературной ситуации, все чаще приходишь к неутешительной мысли о том, что эпоха литературного безвременья середины 90-х безвозвратно канула в прошлое — ни один из многочисленных критических прогнозов не подтвердился: литература, несмотря на исчерпанность своей старой эстетики, все же не «отмерла» как рудимент унаследованной нами от XX века культуры, хотя, с другой стороны, так и не сумела выйти к каким-либо новым рубежам, поднявшись на иной уровень художественных решений. Сегодня мы уже уверенно можем констатировать факт наступления новой эпохи — эпохи «литературного несвоевременья». Сколько бы ни иронизировали на сей счет теоретики-эстети, искусство, даже паясничая, все равно отражает действительность, а следовательно, и действующего (или бездействующего) в ней человека. А какова она, эта самая действительность? Болезненный процесс расставания с изрядно замызганными, но безнадежно живучими идеалами-иллюзиями прошлого в целом по стране можно считать завершенным, в то время как имплантированные сверху капиталистические идеалы пока еще плоховато приживаются на нашей почве. Да и чему удивляться? Столкновение двух утопий грозит их взаимоуничтожением. Славянский плетень, еще недавно не столько разделявший, сколько объединявший двух соседей, почти повсеместно сменился теперь буржуазным символом неприкосновенности жилища — крепким европейским забором, по обе стороны которого вчерашние приятели-собутельники, невзирая на обострившуюся между ними сельхозконкуренцию, втайне тоскуют о былых соборных возлияниях. Вот антропологическая хроника последних лет: среднестатистический русский человек сначала ошарашенно наблюдал за всем происходящим в стране, затем какое-то время пребывал в растерянности, потом, внезапно

опомнившись, судорожно начал приспособливаться («жить-то надо»), наконец, приспособился — и... запутался окончательно. А главное — усталость... Не такая, что приходит как результат праведных трудов, приятная («своя ноша не тянет»), успокаивающая. Нет! Другая — вселенская и неизбывная. Печать ее лежит сегодня на всем: на лицах, новомодных идеях, человеческих поступках. Отголоски ее слышны в победных речах политиков, в написанных за последнее время книгах... Пожалуй, в книгах особенно отчетливо. Помните, как это у юного Пушкина: «Я здесь от суетных оков освобожденный, учуся в истине блаженство находить...» В наше время, согласитесь, мало кому удастся хотя бы ненадолго освободиться от этих самых «оков», и, что важнее, многие вообще усомнились в возможности отыскать саму эту истину — какое уж тут «блаженство»!

Или, может быть, с учетом нынешней ситуации, одну истину признать за такуюю все же следует? Я имею в виду ту, которая «в вине». Стоит только это сделать, как немедленно в дверь постучится и блаженство. Ну, разумеется, не то, о котором говорил Александр Сергеевич, а наше национальное, разухабистое, краснолицее, неопрятное и вечно пьяное.

Читателю, вероятно, показалось, что весь предшествующий полуэкскурс не более чем рничанье. Нет, к сожалению, это наша сегодняшняя реальность. И, признаюсь, нигде еще эта реальность не представала передо мной в такой своей пугающей обнаженности, как в недавно прочитанной книге В.Ф. Соловьева «Федина жизнь» — произведении, трудноопределимом с точки зрения его жанровой принадлежности. Хотя, впрочем, книга имеет подзаголовок — «Приключенческая трагикомедия в миниатюрах». Чего в ней больше — трагического или комического? Пожалуй, этот вопрос я задавал себе во время чтения наиболее часто, и если вы познакомитесь хотя бы вот с этим фрагментом книги — а он и есть начало, — вы поймете почему:

«Домой Федя вернулся в полвторого ночи. Тело у него, подкрепленное лишь двумя таблетками валидола (на другую закуску у них с Васей не хватило денег), нуждалось в отдыхе. Добравшись на четвереньках на свой этаж, он стал глядеть на кнопку звонка. Дотянуться до нее с четверенек было невозможно. Сначала это позабавило его, но скоро надоело.»

Хочу особо подчеркнуть тот факт, что с четверенек герой в свободное от работы время (а такого у него более чем достаточно, поскольку они с приятелем Васей перебиваются, как и многие сегодня, случайными заработками) поднимается нечасто. Как знать, быть может, именно эта занятая Федей жизненная позиция позволяет ему абстрагироваться от все равно неразрешимых и бесконечных жизненных проблем. Федя, как вы догадались, типичный, хотя и не совсем заурядный алкаш — во всяком случае, так его аттестует жена — со всеми вытекающими отсюда последствиями: случайно оказавшимися в его кармане женскими трусиками, потерянными где-то сторублевками и неутолимой жаждой похмелья. Следует сказать, что сам по себе образ очень сильно пьющего и нигде не работающего (Мармеладов у Достоевского), или сильно пьющего, но работающего (Веничка у Ерофеева), или умеренно пьющего (социалистический труженик Ваня у Высоцкого) героя не является первооткрытием В.Ф. Соловьева. И все же его Федя — продукт именно нашей эпохи «несвоевременья». Нет в нем ни мармеладовского надрывного протеста, ни мучительной Веничкиной потребности в постижении смысла бытия, ни даже наивной рабочей гордости тем, что они с приятелем Васей «не ташут из семьи, а гадость пьют из экономии, хоть поутру — да на свои». Отличительная особенность наших



современников, закадычных друзей Федей и Васи, как раз в том, что нет у них ни идеалов, ни затаенной тоски по ним, а может быть, и не было никогда — разве что иллюзии юношеской чистоты, быстро развеявшиеся при первом же столкновении с действительностью, вроде первого грехопадения героя, неожиданно открывшего, что бутылка «Старки», оказывается, куда лучше пачки сигарет. Какое определение могло бы подойти тем, кому сегодня по пятьдесят? Потерянное поколение? Вряд ли! Терять-то им, собственно говоря, было нечего: и они на Родине, и Родина — вот она, при них же. Предвидя возражения читателей, сразу же оговорюсь: и Федя примерялся к стезе интеллектуала (бросал пить, читал учебные книги — не совсем же ум пропил, да вот только не дали они почему-то ничего ни уму, ни сердцу простого человека), и метеорологическую станцию приватизи-

ровал, и кредиты в банке брал, и в собрании акционеров участвовал. Не помогло. Странный человек этот Федя. Уж если он на кого и похож, так на шукшинского чудика, только опять же без свойственного последнему ощущения духовного неуютта, вызванного атмосферой брежневского застоя. Может даже показаться, что ничего святого для Федей в жизни нету — кроме, пожалуй, жены и друга Васи в настоящем да потускневшего образа «бормотухи» по цене один рубль семнадцать копеек в прошлом: не пионерский же лагерь с комсомольской ячейкой ему, в самом деле, вспоминать? Мечется Федя по жизни, меняет рабочие профессии, и не потому, что «истины разыскал» или ищет работу по душе, а просто потому, что надо жить и пить (что для героя равновеликие понятия), а вдобавок хорошо понимает: не будет трудовых будней — не будет и пьяных выходных, единственной его отрады.

«Федина жизнь» В.Ф. Соловьева — книга не столько о жизни героя, сколько о жизни страны. Художественно преломленной, сатирически утрированной предстает на ее страницах вся наша невеселая биография. Разве ничего не напоминает, к примеру, одна из ее миниатюр, «Вася-бомж», в которой приятель нашего героя, потерявший имущество во время пожара, тщетно пытается устроиться на ночлег в гостинице, где его не принимают без документов, затем в вытрезвителе, где с него требуют за постой сто рублей, а потом получает от ворот поворот в местном «Белом доме», сопровождаемый мудрым советом: «Хочешь есть — умей вертеться». Последовавшие далее фантастические события при ближайшем рассмотрении тоже оказываются и гротескными и реальными одновременно:

«В знак протеста Вася объявил перед «Белым домом» голодовку. “Требую к себе человеческого измерения”, — написал он на фанерке. Верная

овчарка Джуди села рядом. Вышедшая из булочной старушка половину бублика подарила ей. Вася думал, Джуди оставит ему втихаря четвертинку, но она слотнула разом все. Мимо как раз проходил член общества любителей животных. На следующий день в газете был указан номер счета в банке, на который следует направлять взносы в фонд помощи собаке, находящейся на изживении у бомжа. Счет у Джуди в банке стал стремительно расти. Коммерческое «Буратино», делая себе рекламу, внесло пол-миллиона. Коммерческий «Золотой ключик» переплюнул, выложив миллион. У Васи стало складываться впечатление, что человеческое измерение ему теперь не нужно».

Может быть, самое страшное то, что подобного рода «впечатления» в последнее время стали складываться не только у приятелей-алкашей, героев «Фединой жизни», а и у куда более обеспеченных и вроде бы неплохо устроенных граждан. Литература предшествующих эпох так много говорила о бездуховности, а приводившиеся в ней примеры обратного, по всей видимости, были настолько неубедительными, что мы постепенно, за разговорами начали забывать о том, что такое духовность, и незаметно для себя подменять одно понятие другим. Дело зашло настолько далеко, что и церковь теперь не всегда надежная подмога, о чем, например, свидетельствует глава «Во спасение души», в которой Федя и Вася сподобились потрудиться на монастырском подворье:

«— Напрасно они впали в уныние, — проговорил священник. — Ибо сказал Христос: “Не думай, что завтра есть и что пить, и во что одеваться”.

— А я и не думаю, — ответил Федя, — только все равно выпить хочется. Священник сунул руку под полу рясы и извлек десятирублевик:

— Прими и уверуй во Христово слово...

Федя уверовал...»

То ли по законам жанра (трагикомедии), то ли все же по законам жизни (Фединой), история, рассказанная в книге В.Ф. Соловьева, заканчивается опять же невесело: герой сначала видит «дурные» сны, затем задумывается о смерти, а в конечном итоге — по причине «закодированности природы» — обретает вожделенный и в некотором смысле закономерный покой:

«Такое неординарное решение надо было основательно “обмыть”. Приятели “обмывали” его тридцать дней без перерыва. На тридцать первый день их увезла в больницу машина “скорой помощи” — у них на почве инсульта случилось что-то с памятью... На работу со второй группой инвалидности не брали, пришлось начать новую жизнь: они не только пить бросили, но и есть. Зато весь день они проводили теперь в любимом сквере на скамейке. Рассказывали друг другу про себя и про другие удивительные вещи...»

Скажем откровенно: автор не торжествует по поводу столь «оптимистической» развязки. Может быть, он вообще в этом не уверен. Решение за нами — читателями, и оно, безусловно, будет непростым.

Перевернута последняя страница книги. Задаю себе главный вопрос, подсознательно уже понимая его риторичность: «Имеет ли право такая литература на существование?» И тут же отвечаю: «А Федя с Васей имеют?» Да, наверное, есть такие вопросы, на которые иначе как вопросом и не ответишь.



TEATP





Фото Геннадия ЧИСТЯКОВА

ЕЛЕНА КУЗИНА



ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА КУЗИНА
РОДИЛАСЬ 13 АПРЕЛЯ 1960
ГОДА. ОКОНЧИЛА МОСКОВСКИЙ
ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫЙ ИНСТИ-
ТУТ ИМ. С.ОРДЖОНИКИДЗЕ, ОД-
НОВРЕМЕННО – СТУДИЮ ПРИ ТЕ-
АТРЕ «У НИКИТСКИХ ВОРОТ» ПОД
РУКОВОДСТВОМ М.РОЗОВСКО-
ГО, РАБОТАЛА В ТОМ ЖЕ ТЕАТРЕ.
ЛАУРЕАТ КОНКУРСА СТУДЕНЧЕС-
КОЙ ПОЭЗИИ ГОРНЫХ ВУЗОВ.

В 1993 ГОДУ ПЕРЕЕХАЛА ИЗ
МОСКВЫ В КОЛОМНУ.

ПЕЧАТАЛАСЬ В ШЕСТОМ ВЫ-
ПУСКЕ КОЛОМЕНСКОГО АЛЬМА-
НАХА.

КАМО ГРЯДЕШИ?

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ТЕАТР
КОЛОМНЫ

Что такое театр?

Белинский когда-то вопрошал: «Любите ли вы театр? Любите ли вы его так, как люблю его я?» А он любил его всей душой, всем сердцем прикипев к великой магии театрального искусства. Мироощущение Александра Блока было предельно театральным-условным, и потому он, не написавший ни одной прозаической строки, создал целый цикл театральных пьес, в молодости заявил, что хочет умереть только на сцене и только от разрыва сердца, а в зрелом возрасте дал театру определение, точнее которого трудно отыскать: «Театр — это нежное чудовище, и нужно очень любить театр, чтобы не устать от вечной тряски в его тяжелых и нежных лапах». Но тот, кого это «чудовище» когда-то прихватило, мучаясь и ненавидя, отрекаясь и стремясь вырваться из этих лап, уже обречен либо на эту тряску, если ему не суждено вырваться из них, либо на вечную ностальгию, если сумеет и посмеет расстаться с подмостками.

Сегодня театр — великий нищий, ибо новых Мамонтовых и Морозовых Россия не обрела, а прежние исчезли навсегда. Понятие меценатства практически кануло в Лету. Попробуйте назвать одну-единственную фамилию олигарха или просто очень богатого человека, которые уже появились в России в плеяде «новых русских» (сравните с нуворишами времен падения французского абсолютизма — примерно то же самое явление), которые взялись бы создать какому-либо, даже более или менее благополучному театру, условия, при которых актерам не надо было бы ездить на «халтуру», сниматься в рекламных роликах или играть в сериалах среднего, в лучшем случае, каче-

ства, оставляя себе только счастливую возможность оттачивать мастерство в новых шедеврах и совершенствоваться в старых. Не находите? И не найдете, потому что их — **нет**.

Однако чудовище по имени «театр» все равно манит к себе новые и новые жертвы, конкурсы в театральных училищах не иссякают, и мало кто оставляет сцену даже в самые нелегкие для театра времена.

Впрочем, русский театр начался в провинции (Ярославль, Федор Волков), и как могущество России должно было прирастать Сибирью, по мнению Михаила Васильевича Ломоносова, слава русского театра, и профессионального и народного, хранится в провинции, то есть того театра, где работают, и порою самоотверженной, чем профессионалы, люди отнюдь не театральных профессий. В народных театрах начинали свой творческий путь Василий Лановой и Геннадий Хазанов, Семен Фарада и Александр Калягин и многие другие. Возможно, что в каком-то смысле этот путь вернее, чем тот, что проложен Станиславским, — через обучение в студиях и училищах. В старину их не было. Единственным пропуском на сцену был талант. Актеры учились прямо там, на подмостках, у тех, кто пришел до них, постигая азы драматического искусства, пения, танца, особой — сценической — пластики, непосредственно в ходе работы отстаивая свое творческое превосходство через непрерывный труд совершенствования. Однако именно те имена, которые были взращены на тернистой почве сражения за право именоваться актером, иметь постоянную антрепризу (то есть занятость в репертуаре, которая давала средства к существованию) избирал не только режиссер или директор театра: это решала публика, которая ходила или не ходила не на спектакль — на **актера**. Потому имена Прасковьи Жемчуговой, В.Ф. Комиссаржевской, В.И. Качалова, театральной династии Садовских, А.А. Остужева, П.С. Мочалова навеки сохранились в истории русского театрального искусства.

Город, в котором мы живем, слава Богу, Мельпоменой не обойден. В Коломне нет театра, который носил бы официальный статус профессионального. Зато есть как минимум два, которые достойны этого статуса по сути. Один из них переживает уже 77-й сезон — серьезный возраст для драматической труппы. Другому пошел одиннадцатый год, но он уже заявил о себе в пределах России и за границей как серьезный камерный театр. Первый — Коломенский народный театр тепловозостроителей, ныне существующий под руководством Николая Крапивина. Второй — камерный театр «Пилигрим», главный режиссер и один из двух актеров в постоянном составе труппы — Олег Гаврилин. Вместе с ним все десять с лишним лет на подмостках выступает жена — Елена Пичугина. О камерном театре «Пилигрим» — наш первый рассказ.

Путь «Пилигрима»

Если вы достаточно часто ходите по Коломне и бываете возле Культурного центра «Лига», то хотя бы раз непременно встречали старенький светлый «Москвичок» с тонким абрисом странствующего по волнам монаха на боку и надписью «Камерный театр «Пилигрим»». Это машина Олега Гаврилина. За рулем он сам. Рядом — жена, Лена. Старший сын Александр учится в Москве. Он студент Академии искусств, будущий актер. В этом году Сашин курс постигло горе — ушел из жизни руководитель, один из самых видных актеров русского кино и театра прошлого века Виталий Соломин. Но курс продолжает свое существование, и будущее Александра предопределено. Дочь Ася, в свои шесть лет уже женственная, как мама, и строго-внимательная, как отец, пока еще делает первые актерские шаги в воскресной детской школе при Коломенском благочинии. Детским православ-

ным театром здесь также руководит Олег, с детьми работают прекрасные, любящие детей и талантливые люди — сама Лена Пичугина, преподаватель Анастасия Киселева, художница Наталия Давшан, которая долгие годы сотрудничает с «Пилигримом», и многие другие.

Олег — высокий, стройный, удивительно молодой, несмотря на яркую седину в черных волосах и аккуратно подстриженной бороде. Впрочем, он весь какой-то очень аккуратный — и в речи, и в манерах. В его присутствии хочется тоже подтянуться, усваивая тот же темп и образ общения. Лена — полупрозрачная, плавно-порхающая, умудряется сохранять пластику ружья и одновременно сальфы даже на самых маленьких пространствах. Однажды, зайдя к ним по какому-то делу, мне пришлось подождать, сидя на кухне, пока Лена, беседуя, одновременно готовила ужин для семьи. Следя за тем, как она управляется с хозяйством на шестиметровой кухне, с теми же взлетающими и перетекающими жестами женщины, которая сценой приучена ощущать точность каждой позы и взмаха руки, мне внезапно пришла в голову мысль, что Офелия — роль как раз для нее. Услышав об этом, она сказала, что этот шекспировский образ — ее давняя мечта, только, наверное, уже поздно, годы вышли... А почему поздно? Ольга Яковлева, жена Анатолия Эфроса, сыграла Джульетту в Театре на Малой Бронной, когда ей было уже изрядно за тридцать... Театр — мир условностей, талант не имеет возраста. Лена только улыбнулась. Сегодня нет возможностей ни актерских (слишком мала труппа взрослых), ни технических...

Олег Гаврилин и Елена Пичугина окончили в 1982 году институт культуры в мастерской Николая Мальковского и отправились по свету на поиски своего режиссера. Сначала в драматическом театре Вольска, что в Саратовской области, затем сменили несколько трупп — даже на Дальнем Востоке и в Вышнем Волочке. В Коломне оказались чудом — по квартирному обмену. До сих пор так и не ясно, кому повезло больше: Коломне или им. Наверное и городу, и «Пилигриму». Одним из первых спектаклей стал «Необойденный дом» (1992 год) по пьесе Вл. Одоевского, древнее сказание о калике переходящей и некоем старце — спектакль-притча, который играется при свечах, музыкальных песнопениях на духовные стихи. Тогда же был поставлен «Маленький принц», примерно в том же году Олег и Лена набрали первый состав студии при театре, куда пришли студенты коломенских вузов.

Я помню студийную постановку Олега Гаврилина и Лены Пичугиной, — не только актрисы театра, но и педагога по пластике студии (открылась в 1992 году), а также автора всех пластических решений. Это был 1999 год, А.С. Пушкин, «Пир во время чумы» — выдержка из «Маленьких трагедий». Темнота. Сцена, покрытая черным, и люди-крысы, выползающие и выкатывающиеся из-под небольшого подиума, отделенные от зрителя свисающей сеткой. Несмотря на молодость студийцев и оттого неизбежные погрешности актерских работ, в постановке чувствовалась твердая режиссерская рука, выучка и требовательность осознания молодыми людьми **что, где и о чем** они говорят. Кстати, о «где» — площадка, на которой все десять лет работает «Пилигрим», имеет размер шестнадцать квадратных метров. Возможно, это столько лет удерживает театр в состоянии камерности. (Сейчас готовится к открытию новая сцена в здании «Лиги» на ул. Лажечникова, 5, однако вряд ли Олег и Лена изменят уже выработанному стилю и узнаваемому лицу их творческого тандема.)

Но вернемся в начало пути «Пилигрима». В 1995 году вышел моноспектакль «Человеческий голос» по пьесе французского драматурга Ж.Кокто.

Об этом спектакле польская газета «Wyborcza» опубликовала статью критика Тадеуша Шилейко «Магия театра», где отозвалась об актерской работе Елены как о редком явлении в современном театральном мире, ныне более склонном представлять, чем чувствовать. Свойственная ей манера, слушая себя изнутри, подробно передавать ощущение образа в полузаметных жестах, интонациях вызывает зрителя к двум главным состояниям, необходимым для взаимопонимания актера и зрителя: со-чувствию и со-переживанию, на которых основывается магия театрального действия «здесь и сейчас». Это качество, кстати, свойственно им обоим — и Лене, и Олегу. Суховатый и немногословный в жизни, на сцене Олег может быть и разудалым, и нежно-лиричным, и жестким, и вдруг принять мистически-завлекающий образ сказочника.

С 1994 года в жизнь театра входит вертеп. Не пугайтесь — не тот вертеп, не разбойничий, а взявший свое название от пещеры («вертеп» — древнеславянское обозначение пещеры или глубокого оврага), где, по преданию, родился Спаситель. Это кукольный театр, возникший в традициях рождественских западнославянских вертепных представлений, ящик с куклами, где разыгрывались сцены первых дней жизни Христа. Первый вертепный спектакль — «Ирод-царь». Тогда Олег, Лена, коллеги по театру Юлия Мещерина, Ирина Макаренко представляли не только в «Лиге» — желающие (поначалу это были друзья и семьи, чьи дети посещали воскресную школу) приглашали вертепщиков к себе в дом. Именно им всем, и ребятам из воскресной школы, принадлежит честь возрождения в Коломне старинного обряда рождественских колядок с Вифлеемской звездой на шесте, духовными песнопениями для хозяев, ряжеными, мешком для подарков. Позже Олег рассказывал, что лучше всего изначально их принимали в Бобренево, где они заходили к тамошним старушкам, а вот попытка такого же похода в Колычево успехом поначалу не увенчалась — тогда их приняли с негативным, мягко говоря, недоумением. Сегодня эта традиция уже перенята другими воскресными школами города. Вообще, «Пилигрим», большую часть своих спектаклей предназначает для детей и школьников, считая, что магия театра — одна из возможностей формирования юных душ, которые сегодня, как никогда, нуждаются в нравственных инъекциях стирающихся представлений об идеалах добра, милосердия, любви. С той же легкой руки все новое развитие и расширяющуюся в пределах Подмоскovie географию получил Рождественский театральный фестиваль «Вертеп», пятый год проводимый в Коломне.

Те же ценности духа вложены в спектакль для детей и взрослых «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» по пьесе философа и писателя Ричарда Баха. «Чайкой Джон» стала Лена. И не только в силу своих пластических возможностей: внутренняя прозрачность, ненавязчивая заразительность, умение обобщать и философствовать, думать в роли и вызывать к раздумью зрителя, свойственные актерам театра «Пилигрим» и ставшие визитной карточкой их актерской манеры, не оставляла выбора.

В истории театра были и постановки по Байрону («Оплачешь ли ты боль мою?»), и Т.Манну («Тристан»), и сделанная в традиционной манере вертепа «Дары Артабана» (дипломная работа выпускника Шукинского училища Ник. Смирнова), где актеры театра играли главные роли и как актеры, и как кукловоды. Оформляли спектакль И.Титоренко и коломенская художница Н.Давшан. Постановка имела большой успех на Международном фестивале 2000 года в Кракове.

Что ни говори, нет пророка в своем Отечестве — о существовании «Пилигрима» не знает и третья часть совсем небольшой Коломны, а ведь состав

театра с успехом участвовал в лабораториях и фестивалях России, Швеции, Дании, Польши, Бразилии, Франции. Благодаря им коломенские зрители познакомились с творчеством польского театра «Рондо» (Слупск), который привез свою версию гоголевского «Носа», где языковой барьер был успешно преодолен игрой актеров, и театра «Венгайты». Но сегодня от тех русско-польских диалогов ничего не осталось, как и от студии. Почему распалась студия? Да потому же, почему часто распадаются самодеятельные коллективы, руководимые профессионалами. Не хватает самоотверженности, готовности поступиться бытовыми проблемами, а по сути — не хватает любви к делу, а без нее в театре делать нечего.

Постановки последних лет — «Тяга земная», которая летом часто исполняется у стен Коломенского кремля, — в основу легли былины о русских богатырях; «Задонщина» — краткая сценическая версия древнерусской летописи о Куликовской битве, имеющая в названии подзаголовок «Гимны и плачи русской земли» — русский фольклор стал обязательной частью режиссерских работ Олега Гаврилина. Исповедуя и проповедуя своим творчеством христианскую (а актеры «Пилигрима — люди православные) философию терпения, любви к Богу, человеку, Родине, Олег и Лена делают свои сценические работы все более интерактивными, вовлекающими зрителя в действие, в соучастие, а значит, и причастным к своей национальной культуре. Таков урок-спектакль для школьников по мотивам романа Ф.М. Достоевского. Оставив для рассмотрения только одну линию — Сонечки и Раскольникова — в первой части спектакля, вторую Гаврилин и Пичугина целиком посвятили дискуссии со зрителем о романе. Вовлекая молодых зрителей в беседу, они вынуждают их размышлять, обосновывать собственную позицию, вырабатывать личное мнение, что очень важно для сегодняшнего поколения старшеклассников, для которых, к сожалению, равнодушие все чаще становится естественным психологическим состоянием, а представления о нравственности и морали либо донельзя перекошены, либо потеряли смысл, став пустым звуком.

Театру нужен меценат, театру нужен импресарио. «Лига» оказывает помощь, но она не в состоянии предоставить камерному театру, уникальному в своем жанре, единственную возможность — творить. Но «Пилигрим» терпит, верит, надеется, любит, ждет. И главное — вопреки всем трудностям и испытаниям идет своим, не случайным, а обозначенным высокими критериями духа, путем...

КНТТ: пока молчит главреж...

«Камо грядеши?» — древнеславянское «Куда идешь?» Этот вопрос сегодня как нельзя более актуален для самого старого в Коломне театра, который перешагнул 75-летний рубеж. В первый раз самодеятельный театр в Коломне упомянут в сборнике пьес для общедоступных театров в конце позапрошлого столетия. Видно, помимо прочих вдохновляющих писателей, поэтов, музыкантов качества, дух Мельпомены витал над этой частью Коломенской губернии. Выросший из синеблужной студии, пройдя через репертуар почти мхатовского размаха, при первых его руководителях, в числе которых был такой режиссер, как Л.Рошаль, обозначивший по большому счету общий облик театра и стиль, который мало изменился за прошедшее время, сохранив принцип подбора пьес — только из мирового репертуара и только самое лучшее, — сегодня КНТТ переживает не лучшие времена. Те, кто хочет узнать больше о его прошлом, пусть обратится к юбилейному изданию, увидевшему свет в 2001 году. В предисловии к изданию главный режиссер Николай Николаевич Крапивин уже рассказал об истории КНТТ от самого начала.

Мне очень трудно говорить об этом театре, потому что волею судьбы он стал для меня, после ухода почти двадцать лет назад из московского театра «У Никитских ворот», моей второй и последней театральной семьей.

Театр — это вообще место семейное. Здесь есть родные и пасынки, тут любят, ссорятся, недолюбливают, мирятся, но никогда не ненавидят. Те, кто не приходится ко двору, не приживается, — уходят сами, даже если к этому нет внешних предпосылок.

...В 1994 году неким образом, уже неважно каким (у судьбы свои капризы) я оказалась в этом театре, сыграла одну роль в пьесе Т.Уайлдера «Наш городок» и затем на пять лет рассталась и с театром, и с труппой. Прошло пять лет, прежде чем случайно, на зачетном спектакле студии при театре «Пилигрим» мы встретились с Н.Н. Крапивиним, и он попросил помочь поставить пантомиму в спектакле «Эквус» по пьесе П.Шеффера. Сейчас этого спектакля в репертуаре нет, но он навсегда останется в памяти труппы как один из лучших, когда-либо поставленных в истории театра. Одним из действующих лиц, формировавших ткань спектакля, была музыка Вангелиса. Она задавала эмоциональный тон всему происходящему на сцене, руководила сменой мизансцен, вызывала на сцену персонажей. Совсем молодой тогда актер Алексей Климанов, после долгого отсутствия в труппе выйдя на сцену в дуэте с опытным актером Сергеем Владимировичем Зацепиным, потряс публику эмоциональной и искренней игрой. Могу сказать, что Алексей, при его манере влезать в кожу героя, интуитивно пользуется «школой переживания» практически в чистом виде. И в то время кожа Алана (главный герой) настолько срослась с его собственной, что это едва не стоило Алеше нервного срыва. Сегодня, наученный оптом «Эквуса», Алексей в таких серьезных ролях, как Марат (А.Арбузов. «Мой Бедный Марат»), Топаз (М.Паньоль. «Топаз»), уже осторожнее позволяет своим персонажам завладеть им, хотя действует по той же «правде чувств и истине страстей», когда-то декларированных К.С. Станиславским. Пьеса «Мой бедный Марат» стала премьерой 2000 года. Марат — Алексей Климанов, Леонидик — семнадцатилетний выпускник 9-й гимназии Виталий Бутро, Лика — Ольга Трифонова (Иванова), актриса уже со стажем — эта троица покорила и по сей день покоряет зрительские сердца. (Надо заметить, что в отличие от спектаклей КНТТ в зале, камерные постановки, которые Крапивин выбирает для исполнения в комнате 10, даже уже прожившие в репертуаре не одно десятилетие, как, к примеру, «Лес» А.Н. Островского, собирают аншлаги. Сколько раз дежурным приходилось извиняться, объясняя, что мест уже нет, сколько раз приходилось задерживать начало спектакля, пытаясь втиснуть лишний стул в переполненный узкий проход!)

Но вернемся к «Марату». Пьеса Арбузова не сходит с русской сцены со времен ее написания. Роли Марата, Лики и Леонидика играли лучшие актеры. В том, что они на этот раз были отданы молодым людям — ровесникам своих героев, был определенный риск. Три части спектакля — три возрастных периода. Сумеют ли Ольга, Алексей и Виталий преодолеть барьеры внутренних и внешних перемен, происходящих с героями, и осознать всю многослойность арбузовской психологии? У Арбузова вы никогда не найдете «лобового» диалога, его герои говорят одно, делают другое, а чувства, которые движут ими изнутри, не имеют отношения ни к их словам, ни к их поступкам. Оттого Лика выходит замуж не за горячо любимого ею, но промолчавшего о своих чувствах Марата, а за Леонидика, который признался ей в любви. Оттого на долгие годы Марат уходит из их жизни, Лика и Леонидик терпеливо живут друг с другом, без тьмы в отношениях, но и без света. Наконец все случается, как и должно было быть: Леонидик вызывает Марата и оставляет навсегда его с Ликой, уехав в какие-то самые

дальние края. Но финал пьесы все равно не похож на хеппи-энд: на верхнем ярусе декораций художника Юрия Зимовца, как на верхней полке плацкарты, лежит, закинув руки за голову, Леонидик. В голове его и в ногах стоят, протягивая руки навстречу друг другу, Лика и Марат. Они теперь вместе, но все равно разделены ошибками и болью утраченного прошлого.

Спектакль имел большой успех и до сих пор собирает полный зал. Мне кажется, что если главреж Крапивин решился бы на фестивальную поездку, «Мой бедный Марат» мог бы рассчитывать как минимум на лауреатство. За «Бедным Маратом» последовала также камерная постановка по пьесе А.Н. Островского «Без вины виноватые». Она тоже стала удачей, в ней были заняты и молодые актеры, и актеры старшего поколения.

В 2001 году театру официально исполнилось 75 лет. Осенью прошла декада спектаклей, а в конце сезона был выпущен детский спектакль по пьесе М.Ленского «Асхат и лесная девушка», который стал зачетным по курсу пластики, сценического движения и танца (режиссер Е.Кузина) и спектакль-зачет того же курса по актерскому мастерству «Крысолов» по пьесе немецкого драматурга Г.Грюна (режисер Е.Румянцева). «Асхат» был показан в Москве, в Центральном доме работников искусств, и имел, к чести всего театра, большой успех.

2002 год — пьеса М.Паньоля «Топаз». Это постановка нашумела среди любителей театра Коломны почти так же, как когда-то «Эквус». Надежда Круглова, Александр Попков, Алексей Климанов, Вячеслав Шарапов, Светлана Широкова, Наталья Сударкина, Виталий Бутро и вчерашний выпускник студии при театре Максим Трубняков — основной состав спектакля — представили пьесу, где зрителю предстояло разобраться: портят ли деньги любого человека или для этого должны быть определенные предпосылки, уже заложенные изначально в его натуре? И когда они вылезают наружу? И призадуматься о том, как искусительна власть, основанная на власти денег.

Так почему же трудно об этом театре говорить? Потому что сегодня те процессы, которые внутри него происходят, созидательными назвать очень и очень трудно. Вообще, творческая политика КНТТ и «Пилигрима» диаметрально различны. Вернее, у «Пилигрима» она есть, а вот у КНТТ — то ли нет, то ли видится непоправимо (?) утраченной.

Театр Гаврилина и Пичугиной прежде всего основан на пропаганде — извините за «советское» слово, но так оно и есть — самых высоких гуманитарных идеалов и вечных ценностей. В студии и Детском православном театре при воскресной школе через работу с юными актерами они сознательно воспитывают в них все вышеуказанные качества.

Творческая политика КНТТ, на который я все равно гляжу слегка со стороны, мне кажется, издавна заключалась в идее: я работаю в театре, потому что я люблю театр как явление культуры и искусства, со всеми его традициями, стилем существования, его особой волнующей, неповторимой средой. Это место, где я могу выразить то, что оставляю в тайне от всех, где я могу быть тем, кем хотел бы стать, сложись моя жизнь чуть-чуть иначе.

Но в постановках КНТТ — сознательно или нет — главный режиссер оставляет актера наедине с проблемами роли, задавая только общий тон спектакля. От этого большинство спектаклей грешат отсутствием ансамбля, если только сами актеры, как в «Марате», не начинают разбираться в психологии отношений между героями, забираясь в самые глубины их души. Однако не все занимаются этой кропотливой черновой работой, и спектакли, выстроенные в общем виде, с отдельно взятыми хорошими, почти

профессиональными, совсем не дилетантскими актерскими работами, те-
ряют в качестве от отсутствия настоящего межактерского общения на сце-



А.Н. Островский. «Лес».

*Несчастливец — народный артист России О.Вавилов,
Счастливец — В.Макин, Восьмибратов — А.Тактаев.*

не. О необходимости такой связности, по воспоминаниям современников, когда то говорила одной из молодых актрис малого театра О.Н. Садовская: «Я тебе петьельку, а ты мне — крючочек».

Конечно, можно сказать и другое: для «Пилигрима» театральное дело — это одновременно призвание, род занятий, который дает кусок хлеба, образ жизни, не прекращающийся ни на репетициях, ни дома.

Для актеров КНТТ театр — отдушина (долгой дурацкое слово «хобби», ассоциирующееся у большинства со слоном!), попытка реализации таланта, данного природой, но — так получилось! — оставшегося за кадром жизни. Однако нельзя тут же не вспомнить, как актеры театра пренебрегают для спектакля днями рождений родственников и даже собственными, прочими семейными делами и проблемами, заведомо наталкиваясь на обиду и непонимание со стороны близких. Как молодые актрисы, выйдя замуж, уже готовясь стать мамами, иногда рискуя здоровьем, играют свои роли до последней возможности, как это было с Ириной Маркиной, Ольгой Трифоновой и Наталией Сударкиной, которые, едва оправившись, снова приходили на спектакли, вопреки семейным недоразумениям, возникающим на почве неразделенной любви к театральному делу.

Эта помесь профессиональной самоотдачи актеров с недостаточностью репетиционного периода перед спектаклями уже действующего репертуара (спектакль играется один-два раза в год, камерные — чуть чаще, репетиционный период для восстановления в памяти длится от силы неделю) стала в последние годы одной из причин того, что КНТТ начал сдавать свои позиции.

Мир меняется, а единственный народный театр в городе сидит внутри своей скорлупы, почти не реагируя на перемены. Те его воспитанники, что выныривают из привычной среды, поступая в театральные учебные заведения, посещая фестивали, по возвращении чувствуют, что происходит что-то не то, в театре делается *душно*. Большинство актеров прежних лет заходят в театр уже только по крайней необходимости, хотя всего год или полтора назад исправно и с радостью посещали все капустники, которые по какому-то только случаю не устраивались, сами участвовали в этих капустниках, демонстрируя студийной молодежи школу внутренней свободы и особого актерского юмора.

Последний капустник 7 марта 2003 года, где по традиции совмещалась тематика 23 февраля и Международного женского дня, печально меня поразил. Из взрослых актеров пришло только пять или семь человек. Осталь-

ные места были полностью забиты студийцами и их гостями.

Студия раньше, рассказывают «старрики», как именуют в театре актеров старших поколений, была для студийцев все равно что Качалов или Книппер-Чехова для первых студийцев при МХТ, вызывала уважение, обожание и трепет. Сегодня от этой любовной су-



«Лес» А.Н. Островского. Сцена из спектакля.

бординации, без которой не может быть театральной дисциплины, не осталось почти ничего. Студийцы набора 2002 года фамильярны со старшими актерами, их сознание доверху забито необоснованными амбициями, а ведь именно субординация и творческая, студийная дисциплина — залог самодисциплины как необходимого условия успеха будущей творческой личности. Еще одна серьезная, на мой взгляд, проблема КНТТ сегодня: доросши в своих традициях, качественном уровне спектаклей, серьезности действующего репертуара, в актерской школе, где до профессионализма осталось несколько шагов, театр, и в первую очередь главный режиссер, не хочет или не может — не знаю, не возьмусь судить — изменить способ существования. Иногда, собираясь вместе, мы говорим о необходимости поиска средств для поездки на любой, пока самый небольшой фестиваль, чтобы сравнить и оценить свои возможности на фоне других подобных коллективов, возможно, от чего-то отказаться в традициях, которые окажутся реликтами, а что-то навечно сохранить, но все остается трепетанием воздуха, пока молчит главреж.

КНТТ движется сейчас по инерции, набранной за прошлые годы. Готовятся к премьере два спектакля: «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» по пьесе Тома Стоппарда и «Лизистрата» по пьесе Леонида Филатова. Ее ставит студентка второго курса режиссерского факультета Рязанского института культуры (филиала Московского областного университета культуры) Ирина Маркина. Исправно выдаются на-гора спектакли к новогодним елкам. Только нет в театре того куража, который я знала тогда, пять лет назад, и дисциплинарными поощрениями студии, из которой сегодня руководитель пытается сделать опору, носящими явно популистский характер, добиться ничего нельзя. База театра, его сокровище, несмотря на все издержки отсутствия высшего театрального образования, которое, может быть, и не понадобилось бы, играй и репетируй актеры чуть больше, — все равно актеры прежних лет, воспитанные в *тех* традициях. На них держится репертуар, они костяк театра, но они потихоньку ускользают от общения с теми, кто пришел позже.

Тот, кто внимательно прочтет раздел, посвященный КНТТ, поймет, что в этих строках не пустое критиканство — горечь человека, у которого болен кто-то близкий и дорогой. КНТТ сегодня — и это я утверждаю с полной ответственностью человека, выросшего с детства в столичной театральной среде, повидавшего московские театры и проработавшего в одном из них не год и не два, — народный театр, который может оставить



*У. Шекспир. «Сон в летнюю ночь».
Сцена из спектакля.*

далее, по цепочке, культуры Московской губернии и самой России в целом.

Эпилог

Два театра есть в городе, два оформившихся и серьезных коллектива. Каждый имеет свои традиции и новаторские приемы. Один прилагает все усилия для сохранения в народе русской православной христианской культуры, национальных ценностей, воспитания через них в детской душе лучших человеческих качеств. Другой оставил себе право воплощать традиции русского светского театра, который, тем не менее, в течение своего более чем двухсотлетнего существования также ставил духовность зрелища одним из главнейших критериев его качества. И тот и другой, несмотря на разницу в сегодняшнем внутреннем состоянии дел, — явление в русской провинциальной культуре. Но и у того, и у другого одна и та же проблема (впрочем, у нее общероссийский масштаб): когда же среди сильных и богатых мира сего найдется преданный ценитель и любитель, который начнет спонсировать культуру так же трепетно, и со знанием предмета, как иные спонсируют любимый футбольный клуб?! Но тогда бы он носил не равнодушное английское имя «спонсор», а оваянное романтикой великого искусства древнеримское — «меценат».

Что до определения «провинциальный театр», в котором человеку, страдающему избыточной мерой снобизма, может померещиться что-то снисходительно-обидное, то оно носит географический подтекст, а не качественную оценку. Российская провинция издавна была хранилищем лучших национальных традиций и полем для **разумных** экспериментов во всех областях, прежде всего в области человеческого духа, потому что опиралась, прежде всего, только на национальную традицию и свое историческое место в ней. Культура Коломны, частью которой являются на сегодняшний день «Пилигрим» и КНТТ, не должна потерять ни одного из своих лучших приобретений.

Кстати, мне почему-то кажется, что, освободив судьба или чья-то добрая воля актеров КНТТ от необходимости зарабатывать себе хлеб насущный в другом месте, они бы все — или почти все — предпочли воссоединить для себя призвание, труд во имя хлеба насущного и образ жизни воедино — как актеры «Пилигрима».

свое имя в русской культуре как один из серьезных театров в этом статусе. «Народный» — еще не «муниципальный», но уже и не «самодеятельный», и нам надо спасать и возвращать дальше то, что осталось. Если КНТТ утратит свое место в коломенской творческой среде, если тенденция к распаду в коллективе окажется сильнее желаний удержаться вместе, это станет печальным событием для коломенской культуры,

ЕЛЕНА МИХАЙЛИНА



ПИКОВАЯ ДАМА НАФТАЛИНОВОГО ВЕКА

ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА МИХАЙЛИНА РОДИЛАСЬ В МАРТЕ 1975 ГОДА В КОЛОМНЕ. ОКОНЧИЛА ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КОЛОМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА.

ПУБЛИКОВАЛАСЬ В ИЗДАНИЯХ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ», В ГАЗЕТАХ «ЯТЬ», «ГРАНЬ», «РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕСТИ».

СЕЙЧАС РАБОТАЕТ СПЕЦИАЛЬНЫМ КОРРЕСПОНДЕНТОМ ГАЗЕТЫ «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» ПО ПОДМОСКОВЬЮ. ПЕЧАТАЛАСЬ В ПЯТОМ ВЫПУСКЕ КОЛОМЕНСКОГО АЛЬМАНАХА.

Есть любовь к жизни, любовь к Господу, любовь к профессии. Любовь и добро вообще должны царить в мире. Другое дело, что этого, по крайней мере в ближайшее время, не предвидится, и прежде всего из-за нашего несовершенства. Любовь — это один из самых больших талантов человека. Любовь бывает разной. Она бывает болезненной, она бывает высочайшим проявлением духа — это от человека зависит, от того, насколько богата его душа, насколько он в любви к обожаемому предмету щедр, не собственник, насколько он понимает, что любовь не терпит никакой кабалы.

Людмила Чурсина

Людмила Чурсина — женщина уникальная. И не только потому, что она — единственная в своем роде актриса, которая получила звание «народной», минуя «заслуженную». Тогда народ без устали молот языком — мол, за красивые глаза такое не дают. Но ее яркая индивидуальность и успешность затыкала рты многим. Сейчас Людмила Алексеевна служит в театре Российской армии, занята во многих антрепризных спектаклях, и людям уже кажется, что она вечная. Вечная Олеся, Журавушка, Любовь Яровая. Ее слабо берут годы, она уверена в себе и при этом совершенно лишена высокомерия. Людмила не жалуется на судьбу (к чему Бога гневить?), не рядится в невесту и не доводит тело, как многие коллеги по цеху, до состояния мумии Тутанхамона. Она одета в футболку и джинсы по случаю лета и затягивается облегченным «Винстоном» по случаю... нет, просто дала себе слово курить поменьше.

Когда-то периферийная девочка с вечно холодными руками и благородным профилем пришла поступать в театральный институт. Не

целенаправленно, а... за компанию с подружкой. Поэтому, наверное, все так легко и сложилось — отсутствовало гаденькое чувство страха, которое мешает абитуриентам показать всю палитру имеющихся возможностей и особенностей. «Я не выламывала судьбе рога, не строила грандиозных планов, не копала под других, я просто поймала волну и поплыла», — говорит Людмила Алексеевна. И в этом есть та ясная правда, которая и определила ее дальнейшую судьбу. Поплыла начинающая актриса в море интересной работы, людского признания и туда, где ждала ее любовь. Режиссер Владимир Фетин («Любовь Яровая», «Полосатый рейс», «Виринея» и т.д.) был первой известной «жертвой» ее чар. Потом было еще много «жертв», а сколько еще будет...



— Для актрисы любовь обязательное качество, не так ли? Без нее на сцене ничего путного не выходит, правда?

— Отчасти. Далеко не все чувства, которые приходится играть на сцене, переживались в моей жизни. Те страсти, та мера трагедии, что порой требуется по роли, не всегда безобидны в реальном существовании. Уже сейчас я понимаю, что чувства часто не бывают помощниками в жизни. Во всем нужна мера, любая чрезмерность граничит с уродливостью. Когда пламя разрастается, поглощает, оно обжигает очень сильно и способно принести много бед. А ровное, тихое пламя свечи освещает, согревает и, как правило, не бывает поводом к трагедии. Помнишь, Пушкин сказал: «На свете счастья нет, но есть покой и воля»? Разочаровала? Понимание спокойствия приходит позже.

Конечно, в молодости хочется страстей безумных. А счастливым можно быть в любое время — в несчастной любви, в счастливой, даже вне состояния любви. Просто мы часто не знаем — как. Не понимаем, что достаточно просто радоваться любимой работе, весне, новому солнечному дню — и ты счастлив.

— А вы?

— У Ахматовой есть такие строки: «Я научилась просто жить». Я тоже научилась. Для меня счастье, когда удается что-то открыть. Душу украсить чем-то добрым. Победить свои грехи и свою самость.

— Фетин был вдвое вас старше, но, говорят, это была сумасшедшая любовь.

— Владимир Александрович, царствие ему Небесное, был замечательным и талантливым. Я все бросила в Москве и уехала к нему в Ленинград. В то время само понятие «карьера» было смутное — как шло, так и шло. А тут — чувства, молодость, жадность до всего! Я и снималась тогда, особенно не задумываясь, как выстроится моя жизнь, как сложится. Просто шолоховская «Донская повесть» казалась блестящим материалом, и «Жура-

вушка», и «Виринея» А получилось, как это у вас принято писать, «галерея образов».

О талантливых женищинах всегда много говорят, а если к тому же она еще и красива, и обеспечена, говорят недобро и довольно лживо. Чурсиной от подобных разговоров часто доставалось на полную катушку: замуж вышла за человека вдвое старше ее самой — значит, по расчету, на партсобрание сходилла — значит, на столе для членов Политбюро плясала, звание дали — вообще все с этой Чурсиной ясно....

— Меня это даже забавляло. О серости ведь не говорят. А стоит лишь высунуть макушку выше среднего, как — ого-го она какая! И пошло-поехало. А я даже не подозревала, что мне звание дали. Я и не знала, кто это и где дает. Мы тогда на съемках были в Выборге, и замечательный актер Игорь Дмитриев говорит: «Людмила, с тебя причитается как минимум бутылка. За народную!» И газету мне показывает. А он очень падок был на розыгрыши, и для хорошей шутки не поленился бы что-то вклеить в газету, отксерить как-то. Только потом, когда со студии звонить начали, я поняла, что это правда. И меня это не обрадовало. Я тогда была такая очень идейная. Думала: как же теперь надо жить, играть и вообще?!!

Когда балерина Чуркина (фамилии-то слишком созвучные) не вернулась из США, Москва взорвалась слухами — показала наша Люда свое истинное лицо. Чурсина рассказывает, что ее мама чуть с ума не сошла, когда услышала про эту придуманную эмиграцию чуть ли не в «Новостях».

283

— Потом меня выдавали замуж за португальского миллионера. Ха. Это было приятно. Хорошо, что не за водопроводчика.

— **У вас из-за этого были проблемы с выездом из страны?**

— Было обидно, когда из-за докладных о моем «облико морале» я стала фактически невыездной на четыре года. А все из-за того, что во время фестиваля в Аргентине я познакомилась с очаровательным продюсером Висконти и Феллини — Атилио де Ануфрио. Это был милый дядька, который очень трогательно ко мне относился. После долгих заседаний мы обязательно куда-нибудь сбегали. Для меня ж это была как другая планета — дансинг, ритмы, свет! А он замечал, что на меня это производит огромное впечатление, ну и пытался меня порадовать. Это было красивое ухаживание и не более того. Возможно, он понимал, что советская женщина — это вам не... У меня в одной роли есть созвучный забавный момент. Он: «Жанет, расслабьтесь, давайте выпьем шампанского, у вас улучшится настроение». Она: «А зачем вам мое настроение, хотите провести со мной время? Со мной не повеселишься!» Потом Атилио приезжал в Москву в составе итальянской делегации. Он прибыл с женой, но все равно продолжал ко мне трогательно относиться. Потом итальянский друг предложил сделать ретроспективу фильмов с моим участием. Но контакты в темпе обрубили. Через много лет я встретила одну обкомовскую даму и поинтересовалась о причине закрытия для меня границ. Она сказала, что у них была информация о том, что я собираюсь выйти замуж и навсегда уехать из Союза.

За плечами — три брака, с невероятно разными людьми. Диву даешься, как одна женщина могла поступательно выбирать таких непохожих людей. Но особенно много шума наделала последнее замужество Людмилы. Ее супругом стал сын генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова. На афишах в то время писали «Андропова-Чурсина».



— Людмила Алексеевна, а с генсеком вы были лично знакомы?

— Нет.

— Я спросила, потому что многие говорили, что это брак по расчету. Теперь, когда он давно позади, можно признаться.

— Нет, это был брак по любви, но закончился он несчастливо.

— А почему все-таки три разных мужчины все же не принесли счастья? Насколько я знаю, вы всегда уходили сами.

— Каждый семь лет надо менять либо квартиру, либо город, либо мужа! Шучу, конечно. Может быть, я такая бездарная, все пыталась что-то найти. Я ж не думала: «Кого мне еще в мужья

выбрать, может, космонавта?» Влюблялась — и все. Когда люди живут вместе долго, мало кому удастся сохранить счастливую вибрацию души.

284

Прощать и понимать, к сожалению, учишься со временем.

— А запросы у обеих сторон велики...

— Да ты и без меня все знаешь! Гоголь ведь замечательно сказал: человеку что-то померещится с юности, и он всю жизнь этого ждет и считает себя обделенным... Нет, мы получаем ровно столько, сколько заслуживаем. Хотя, конечно, всегда хочется думать, что ты заслуживаешь большего... Всегда хочется себя оправдать. Но я считаю, что в любой войне виноваты двое, нет одного виновного. Вообще, параболы человеческой истории — это драматизм и трагедия, это извечная борьба добра и зла, которая происходит в каждый миг нашего бытия, в каждой клетке общественного организма. А поскольку семья, мужчина и женщина, тоже являются ячейкой в мироздании, то и здесь происходит та же борьба сил добра и зла.

— Обязательно ли все-таки разводиться? Я знаю не одну пару людей, которые живут и безо всякой любви...

— Помнишь у Толстого: «Муж и жена Каренины продолжали жить в одном доме, встречались каждый день, но были чужды друг другу». После многих испытаний приходишь к выводу, что ни к чему в жизни не стоит привязываться, а в любви надо уметь расставаться. Когда возникает ситуация совершенно чужих друг другу людей, что бы ты уже ни делал, сохранить брак вряд ли



возможно. Пытаешься склеить разбитую чашку, а она сыплется снова и снова. И чем дальше, тем больше осколков. А жить под одной крышей только для того, чтобы, боже упаси, не развестись, — это аморально. Ниже может быть разве что то, что многие, когда брак заканчивается, пытаются вылить друг на друга как можно больше грязи. Я старалась сохранить ровные отношения с бывшими мужьями, но мужчины как-то это не поддержали.



— **Насколько я знаю, вы уходили от мужей в полном смысле ни с чем. Неужели никто из них не спросил: «Куда же ты теперь, даже денег на дорогу не возьмешь?»**

— Это мои догадки, но мне кажется, что они не считали нужным это говорить. Возможно, думали: «Помается одна, без квартиры, и прибежит обратно». А я в такие моменты, признаться, и сама не верила, что уйду навсегда.

— **Кто же в вашем понимании идеальный мужчина?**

— Такого просто нет. Еще Достоевский сказал: «У каждого человека есть прямые светлые проспекты и кривые темные закоулки». В определенном возрасте человек это понимает.

— **Вы сильная?**

— Да. Так устроена русская женщина. Многим кажется, что я не знаю, где и как, кинозвезда одним словом. Но в жизни я далеко не избалованная дама. Езжу на общественном транспорте, хожу по магазинам, на рынок. Я всегда становилась для мужчин женой-матерью-сестрой... Их надо было защищать, тормошить, убеждать. Надо мной друзья смеялись — тебе бы мамочек играть, а ты все в любовницах ходишь. Владимир Александрович, например, был привередлив в работе и много лет сидел без нее. Получалось так, что мне приходилось сниматься вдвое больше, чтобы содержать семью. С тех пор так и повелось. Мужчины ведь очень быстро такие вещи понимают. Как удобно, подумай, когда жена и умница, и красавица: и колеса для машины достанет, и друзьям свою половину показать — обзавидуются. А мне-то это казалось на самом деле правильным. У меня ведь больше возможностей, я выносливая, в конце концов. Ведь это я окружена славой и захожа в высокие кабинеты.

— **Даже сильную женщину мужчина должен защищать, вы так не считаете?**

— Что до того, что я считаю?.. К сожалению, жизнь вносит свои коррективы в понятия. Защита мужчины, с которым живешь, сейчас слабо актуальна. Может быть, я и не права была, что не особенно рассчитывала на своих мужчин. Но даже пресловутый квартирный вопрос я решала сама. Вся жизнь квартирные проблемы у меня стояли впереди всех остальных проблем. Искусство было потом. Сначала — добыча жилья. Оформляла какую-то комнату через друзей, потом меняла ее на однокомнатную с доплатой. Пятнадцать лет мой больной отец ждал квартиру. Надо было что-то решать. Я чуть не ввязалась в кооператив, высчитывала, прикидывала и

наконец пошла к Маресьеву, царствие ему Небесное. И только тогда удалось выбить родителям смежную в Великих Луках.

— **Вас называли советским секс-символом и русской Мэрилин Монро, хотя только во второй половине своей экранной жизни вы согласились сняться обнаженной.**

— Я рыдала от сравнений с Монро. Мне казалось это очень обидным. Но это было давно. В фильме «На гранатовых островах» я снялась без одежды. Потом, дома, Андропов рассказывал, как вырезанные кадры смотрело большое начальство. Сцена снималась в шикарном номере американского отеля, роль которого выполнял еще новый президентский номер Центра международной торговли. До последнего момента я не знала, кто будет партнером и этом эпизоде. Лежу я в постели, все готово к съемке, жду и наконец вижу две голые ноги в таких же тапочках, какие были выданы мне. Смотрю и вижу мальчика, на вид лет шестнадцати, с испуганными голубыми глазами. Упал он в постель. Меня смех душит — спазм сплошной. Сняли. Смотрю на своего партнера:

— Давайте знакомиться, как вас зовут?

— Саша.

— А меня тетя Люда!

— **Людмила Алексеевна, вас в Голливуд звали... Если бы поехали, была бы совсем другая жизнь.**

— Да, но в то время это было невозможно. Как мне сказали в Госкино, мы не знаем, в каких фильмах вы будете играть, а вдруг это будет антисоветчина? Америку я «открыла» гораздо позже, в составе делегации кинематографистов, которую возглавлял Элем Климов. Это была очень интересная поездка, потому что мы общались с ведущими режиссерами Голливуда, с самыми выдающимися актерами. Тогда я познакомилась с Мадонной, ее звезда только восходила, но она уже была у всех на устах, и наши мужчины захотели с ней пообщаться. Директором студии Парамаунт Пикчерз был устроен завтрак, и она поделила его с нами. Пришла Мадонна перед съемкой, не загримированная — могла себе это позволить.

— **На вас «ихний» секс-символ впечатление произвел?**

— Очень безликое серое существо с плоским лицом, короткой шеей, какими-то кургузыми ручонками. Мне довелось в течение нескольких часов общаться с Элизабет Тейлор — удивительная актриса, которую я очень много дублировала. Это происходило во время визита дружбы на эскадренный американский миноносец. Она пришла лохматая, с «брюшликом» в тридцать каратов на пальце, странно одетая — в то время она злоупотребляла алкоголем. И когда огромный рыжий капитан, извиняясь, сказал ей, что на флоте уже двести лет сухой закон, а соки — пожалуйста, в любом количестве, у мадам сразу упало настроение. У этой женщины два облика: одна половина лица — вздорной взбалмошной девчонки, другая — роковой женщины. Очень интересно было наблюдать, как ее лицо стало преображаться, когда мы пошли гулять по палубе мимо выстроенных в ряд моряков. Тут в ней моментально сработала женщина, актриса: она оглядывалась, улыбалась, строила глазки.

Фото из личного архива Л. Чурсиной.

ALMA
MATER





Фото Геннадия ЧИСТЯКОВА



БОРИС ДМИТРИЕВИЧ КОРЕШКОВ (1940–2003) РОДИЛСЯ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ. ОКОНЧИЛ В 1962 ГОДУ КОЛОМЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ И ОСНОВ ПРОИЗВОДСТВА. С 1962 ГОДА РАБОТАЛ В КОЛОМЕНСКОМ ПЕДИНСТИТУТЕ, НАЧАВ С ДОЛЖНОСТИ АССИСТЕНТА. В 1963–1966 ГОДАХ ОБУЧАЛСЯ В АСПИРАНТУРЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРОФЕССОРА А.И. КИТАЙГОРОДСКОГО. В 1968 ГОДУ ЗАЩИТИЛ КАНДИДАТСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ ПО ФИЗИКЕ. В 1979–1982 ГОДАХ НАХОДИЛСЯ В ЗАГРАНКОМАНДИРОВКЕ В ЗАМБИИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ. С ФЕВРАЛЯ 1985 ГОДА ДО САМОЙ КОНЧИНЫ — РЕКТОР КОЛОМЕНСКОГО ПЕДИНСТИТУТА.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ, ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РФ, ОТЛИЧНИК ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ. НАГРАЖДЕН МЕДАЛЯМИ К.Д. УШИНСКОГО, А.С. МАКАРЕНКО, «В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 850-ЛЕТИЯ МОСКВЫ». НАГРАЖДЕН ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ». В 1993 ГОДУ ПОЛУЧИЛ УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ ПРОФЕССОРА.

В ПРОШЛОМ — ЗЕМСКИЕ ШКОЛЫ, В БУДУЩЕМ — УНИВЕРСИТЕТ

Даже самое огромное дерево начинается с крохотного ростка. Даже самое большое человеческое учреждение проходит свою эволюцию. Сменяются десятилетия, одно поколение замещает другое, но если эта эволюция основана на созидательном, творческом труде — она может стать практически бесконечной. Так формировались многовековые цитадели мудрости и культуры: Сорбонна, Оксфорд, МГУ... Меняются, подобно листьям, поколения студентов и преподавателей, но древо науки остается тем же, лишь с каждым годом все обширнее и крепче становится ствол, все просторнее — крона.

Для Коломны таким разветвленным деревом стал КГПИ — Коломенский государственный педагогический институт. На протяжении многих лет его жизнь теснейшим образом была связана с городом. И без рассказа о его истории летопись Коломны будет, конечно же, неполна.

После реформ 60-х годов XIX века образование стало в России массовым. В сельской местности создавались земские школы, и это требование времени не миновало и Коломенский уезд Московской губернии. Дети восьми–двенадцати лет обучались в этой школе позапрошлого века три года, а в начале XX века — уже четыре. Были школы «повышенного» уровня — там ученики постигали азы необходимых знаний пять–шесть лет. Первые преподаватели в основном имели неполное среднее образование (на службе состояли учителя из духовных училищ и учительницы из Коломенской прогимназии), но к началу прошлого столетия подавляющее большинство учителей имело среднее

образование, полученное в учительской семинарии, в гимназиях, епархиальных училищах.

Учителя повышали квалификацию на учительских курсах, проводимых при финансовой поддержке земства. В Коломенском уезде подобные курсы проводились дважды — в июле 1899-го и в июне 1914 года. В 1914 году курсы работали в течение трех недель. Общая численность слушателей составляла около 180 человек. Жили в общежитиях, устроенных в городских школах. Занятия проводились с 9 до 19 часов в 1-й церковно-приходской школе. Всем желающим предоставлялись бесплатные обеды в буфете Коломенского общественного собрания.



Официальных архивных данных по дальнейшей истории образования (в частности, педагогического) до 1926 года не сохранилось. Но известный в стране историк образования П.В. Горностаев все же отыскал в «Статистическом обзоре народного образования в Коломенском уезде за 1920–1921 учебный год» (автор Н.Петропавлов) справку о том, что в 1920 году в Коломне открылось учебное заведение под названием «Учительская семинария», где обучалось пятнадцать человек — мальчик и четырнадцать девочек. В том же «Обзоре» за 1923–1924 гг. в соответствующем разделе значился уже Коломенский педагогический техникум, проживший под этим названием до 1937 года и переименованный в 1938-м в Коломенское педагогическое училище, действовавшее до 1941 года. В 1921–1922 гг. на двух курсах педучилища числилось 47 человек: 30 на первом курсе и 17 — на втором. В 1939 году был образован Коломенский учительский институт, и именно с этого года официально решено отсчитывать наши юбилеи. В 1941 году он выпустил первых питомцев, а для педучилища это был последний выпуск, и на том оно завершило свое существование. Все мужчины первого выпуска учительского института и часть женщин ушли на фронт. Многие не вернулись с поля боя, навсегда оставшись двадцатилетними, и их имена занесены на памятную доску института. Каждый год перед Днем Победы все мы приходим в актовый зал на траурный митинг-реквием, и у этой доски

лежат живые гвоздики, горит поминальная свеча. Каждый год мы поименно вспоминаем погибших преподавателей и студентов, и так будет всегда...

Учительский институт выпустил 3327 специалистов. Сколько было подготовлено в предыстории института, мы вряд ли теперь когда-либо узнаем в точности, но очень приблизительно можно оценить это количество в 1500–2000 учителей. В 1939 году на трех курсах педучилища числилось 282 учащихся и 20 преподавателей. Из них четверо выпускников университетов, девять — пединститутов. Методику русского языка преподавал выпускник духовного училища, Конституцию СССР — преподаватель, окончивший советскую партийную школу. Немецкому языку — другого в те времена не преподавали — обучала выпускница Московских женских курсов (ныне это Московский педагогический государственный университет). Пению студентов учил окончивший музыкальное училище потомок автора «Путешествия из Петербурга в Москву» А.П. Радишев, а по классу скрипки были два преподавателя, один из которых имел общее образование, а другой мог похвастаться только «самообразованием». В общем, по социальному срезу интересный был собран коллектив, но свое дело знал и делал его хорошо. Иначе как объяснить, что в 1953 году учительский институт вновь изменил свой статус.



В том году Постановлениями Совета Министров РСФСР и Совета Министров СССР начал свое существование новый вуз России — Коломенский педагогический институт, с того времени и до наших дней находящийся на балансе Московской области. По всему Советскому Союзу таких вузов тогда было три — МОПИ им. Н.К. Крупской, Орехово-Зуевский и Коломенский пединституты.

Первым ректором КПИ стал молодой и энергичный Дмитрий Егорович Аксенов, который очень много сделал для становления и дальнейшего развития нового вуза в 1953–1970 годы. Начинался пединститут с двух факультетов — 800 студентов. К моменту ухода Д.Е. Аксенова из практически созданного им института было уже шесть факультетов, а численность студентов — более двух тысяч. И сегодня мы не имеем права забывать, что новый учебный корпус, общежития, преподавательские дома и хозяйственные постройки — дело рук и человеческой энергии Дмитрия Егоровича. Это своего рода воздвигнутый им рукотворный памятник. Правда, по всей вероятности, он не думал об увековечении своего имени — он делал это для тех, кто преподавал и учился в КПИ тогда, учится сейчас и будет учиться потом.

Я убежден, что если бы Д.Е. Аксенов проработал на этом посту еще несколько лет, у нас были бы и бассейн, и базовая средняя школа на территории института. Тогда для этого были все возможности. Но, как правило, есть те, кто хочет работать, и те, кто не хочет работать сам и не дает другим. Осуществить эти планы не дали свои же коллеги, так же, как и потом, после прихода демократов, другие «свои» не дали выстроить на территории вуза здание школы на 1176 мест, которая сейчас весьма и весьма оказалась бы нам кстати. Но печальная история повторилась, и теперь, по всей видимости, никогда не будет при институте ни школы, ни бассейна.

В 1970–1985 годы КПИ возглавлял профессор П.Е. Кряжев. Следом почетное и ко многому обязывающее звание ректора перешло к автору сего очерка. Эволюция нашего вуза шла своим чередом, и в 2000 году к наименованию учебного заведения добавилось новое определение, и теперь его пол-

ное название — Коломенский государственный педагогический институт.

Мы вынуждены на этих страницах приводить сухие цифры статистики. А как иначе читатель сможет определить ту степень, тот порядок перемен, который произошел в нашем вузе за время его существования, и оценить сегодняшнее состояние КГПИ?

Именуемым ранее учительским, а далее педагогическим институтом выпущено 28 577 педагогов. Если добавить к этому число выпускников предыдущих лет, то общее число подготовленных в Коломне учителей превысит тридцать тысяч. Среди них есть заслуженные учителя России и просто добротнo работающие на своем поприще педагоги, преподаватели вузов, кандидаты и доктора наук. Есть Герой России, есть министр республики и работники министерств, руководители предприятий, организаций, вузов, администраций городов и поселков, депутаты советов и дум всех уровней, в том числе Государственной Думы РФ.

Сегодня в Коломенском государственном педагогическом институте девять факультетов и более двух десятков специальностей и специализаций, около 5000 студентов. Здесь трудится 34 доктора наук, около 11% профессоров и почти 60% преподавателей имеют ученые степени и звания. А ведь начиналось все с исторического и филологического факультетов, на некоторое время «сросшихся» в один, и физико-математического факультета.

Филологический и исторический факультеты готовили и готовят специалистов, которые будут преподавать едва ли не самые важные на сегодняшний день душеформирующие предметы — родной язык, литературу, историю Отечества. У каждого из наших факультетов есть своя история, особенности развития и своя нынешняя жизнь.

Филологический факультет

Общая специальность филфака — «Русский язык и литература», три специализации, одна другой популярнее: «Практическая журналистика» — ребята, избравшие этот путь, уже с первых месяцев обучения успешно сотрудничают в местных газетах; «Мировая художественная культура» и английский язык.

Специальные дисциплины на филологическом факультете ведут шесть докторов наук, профессоров, восемнадцать кандидатов наук и доцентов, не считая преподавателей общеинститутских кафедр, о которых я скажу далее. Успешно работают два направления аспирантуры — по русской и зарубежной литературе. До последнего времени работал свой собственный диссертационный совет по русской литературе, к которому не было никаких претензий. Но недавно производилась перерегистрация диссертационных советов. Затеяна она была с благой целью — убрать советы слабые, малоэффективные. К таковым отнесли те, где защищается одна—две диссертации в год, или допускаются нарушения в процедуре защит, или проводимая экспертиза защит грешит низким качеством, и они отклоняются ВАКом — Высшей аттестационной комиссией. Никаких замечаний нашим двум аттестационным советам (второй из них по педагогике) предъявлено не было. И вдруг — новость! Наши советы при перерегистрации не попали в число утвержденных. Вразумительно причину нам так до сих пор никто не объяснил, но до нас дошли разговоры: мол, зачем им это? Ведь рядом Москва! А подспудно слышится другое, ревнивое: «Как? В райцентре — и диссертационные советы, не уступающие московским?!» Мы не намерены мириться с возникшей ситуацией и предпринимаем усилия для сохранения такого уникального явления. На самом деле, почему бы вузу регионального значения не иметь достойный диссертационный совет?!

В рамках филологического факультета действовало музыкально-литературное отделение; некоторое время оно было закрыто, но сейчас восстановлено. На филфаке до сих пор памятны проходившие в 50–60 годы музыкально-литературные монтажи, которые готовил декан Г.А. Шпеер.

На филфаке КГПИ силами преподавательского состава проводятся став-

шие традиционными научные конференции. Например, ежегодно КГПИ в Дни славянской письменности и культуры проводит научно-практические конференции посвященные Пушкину, Пильняку, Лажечникову (Пильняковские и Лажечниковские чтения). Факультет входит в состав Российского общества преподавателей русского языка и литературы, а ученые факультета участвуют в научно-практических конференциях других городов и стран.

В планах развития филфака — получить лицензию на подготовку журналов, открыть аспирантуру по русскому языку, восстановить Госстандарт по специализации «Русский язык как иностранный» с тем, чтобы готовить переводчиков и преподавателей русского языка из числа студентов-иностранцев.

Исторический факультет

Исторический факультет помимо специалистов прямого назначения — преподавателей истории в школе, длительное время выпускал «учителей истории-воспитателей». Это была особая специализация. Они уходили преподавать в так называемые спецучреждения, то есть в колонии для несовершеннолетних. Многие выпускники прежнего времени надевали военную форму внутренних войск, а иногда и милицейскую. И здесь наши выпускники преуспели: один получил звание полковника и стал начальником колонии, другой был удостоен премии Ленинского комсомола. В советское время с этого факультета, как самого идеологически ориентированного, молодые люди и девушки по окончании вуза чаще всего уходили на комсомольскую и партийную работу. Как тогда, так и по сей день факультет остается одним из самых популярных. Здесь на кафедре истории работают три доктора наук, профессора, еще трое ученых в настоящее время завершают работу над докторскими диссертациями, в числе преподавателей — девять кандидатов наук. Научные исследования по археологии, если учесть возраст и глубокое историческое прошлое коломенской земли, имеют общероссийское и мировое значение. Отмечены исследования по истории средних веков, истории России XIX—XX веков. Коломенские историки, преподающие в КГПИ и ведущие серьезные научные изыскания, исследуют некоторые белые пятна нашей истории. Ученые активно сотрудничают с Российской Академией наук, вузами, государственными архивами Москвы, на факультете успешно действует аспирантура.

Факультет иностранных языков

В 1964 году из недр филологического факультета выделился факультет иностранных языков. Как вы помните, в довоенное время в тогдашнем учительском институте изучался только немецкий. В сегодняшнем КГПИ студенты могут выбрать французский или немецкий, но изучение английского остается обязательным либо как «первого», либо «второго» языка. На двух кафедрах факультета преподают доктор наук, четырнадцать кандидатов и доцентов, многие из преподавателей отработали длительный срок за рубежом и могут считаться вторичными носителями языка. Среди преподавателей факультета, как правило, есть и иностранные граждане — американцы, англичане, был у нас педагог из Австрии, приезжают поработать немцы и французы. Вместе с Москвой и Вяткой (бывший Киров) институт является участником проекта «Students mobility» («Студенческая мобильность»), в рамках которого наши студенты выезжают на семестр в Англию, Францию, Германию. На этом факультете тоже назрела необходимость создания аспирантуры, и ныне завершается ее лицензирование.

Большая часть научных исследований посвящена как развитию изучаемых языков, так и методикам их изучения — эта тема в последнее время становится все более актуальной. Для лингвистов и других специалистов в этой области представляет интерес завершённое исследователями факультета работа по изучению американского сленга. Факультет ведет обширное

сотрудничество с научными сообществами в Москве и за рубежом. Совместно с МГПУ регулярно проводятся «Мезенинские чтения» — интереснейшая научная конференция в память об известном лингвисте С.М. Мезенине, некоторое время также работавшем в КГПИ. В истории факультета есть приятный эпизод: однажды на конкурсе рождественских сценариев, которые предоставлялись, естественно, на английском языке, в Британском совете наша мини-пьеса заняла первое место. О девушках с факультета иностранных языков КГПИ по Москве даже шутка такая ходила: треть стюардесс Аэрофлота окончили иняз Коломенского института.

Наши студенты, переводящиеся волею судьбы в московские вузы, легко там адаптируются, что говорит о высоком качестве языковой подготов-



ки. Институт является членом Учебно-методического объединения Министерства образования по иностранным языкам. А еще при этом факультете работает клуб «Полиглот», где студенты изучают другие языки — чешский, китайский, итальянский, испанский... И здесь мы не можем не мечтать. Только теперь это лицензия на подготовку переводчиков. Надеемся, что это нам удастся, потому как мы мечтатели деятельные, и то, что подготовка переводчиков уже началась, тому прямое подтверждение.

Но перейдем к точным наукам.

Физико-математический факультет

294

БОРИС КОРЕШКОВ

Когда-то, в 50-е годы, физмат работал по специальностям «Физика и основы производства» и «Математика и черчение». Сегодня факультет готовит учителей сдвоенных специальностей: «Физика и математика» и «Математика и физика». Конкурс на физмате небольшой, но сюда идет наименьшее количество «случайных» абитуриентов. Всегда, во все годы на факультете велась активная научная работа, действовало несколько направлений аспирантуры по физике и математике, где руководителями были ученые с мировыми именами: физики А.И. Китайгородский, Б.М. Яворский, математики В.А. Рохлин, Б.А. Розенфельд. Их ученики сегодня составляют значительную долю всех преподавателей факультета. На факультете за все время его существования не раз проводились всесоюзные конференции по проблемам переднего края науки. Вместе с совместителями на факультете сейчас работают шесть докторов наук, профессора, двадцать шесть кандидатов наук, из которых еще один завершает работу над докторской диссертацией, и ряд подающих надежды доцентов. Аспирантура по математике имеет три направления: математический анализ; методика математики; геометрия и топология. Назрела необходимость и есть реальная надежда на открытие аспирантуры по физике. Исследования по математике, проводимые на кафедре в КГПИ, настолько заметны в научном мире, что недавно на международную математическую конференцию в Барселоне организаторы ее пригласили за счет оргкомитета небольшую делегацию из Коломны. Наши ученые-математики получают международные гранты. Успешно продвигаются исследования и в области компьютерных технологий, что не раз демонстрировали российские и международные конференции. В институте создан неплохой компьютерный парк, но по нынешним временам он, конечно, нуждается в пополнении. Факультет принимает активное участие в президентской программе компьютеризации, и мы получили лицензию по специальности «Информатика».

Безусловно, вызывает беспокойство малый конкурс. Чтобы сделать привлекательным для абитуриентов наш факультет, есть два пути: либо придумать какой-то привлекательный «довесок», (к примеру «Математика и экономика» или «Математика и налоговая политика»), либо по-

пытаться раскрыть привлекательность собственно изучаемых предметов. Нам видится, что разумнее все-таки следовать по второму пути, и похоже, что это удастся.

Технологический факультет

Его кратко называют *техфак*. Со дня своего рождения в 1959 году он пережил три смены вывески: *инженерно-педагогический* (на первом году жизни), *индустриально-педагогический*, *общетехнический* и, наконец, *технологический*. Последнее название мне кажется самым удачным.

Интересна история факультета. В 50-х годах перед средней школой поставили задачу «подготовки учеников к жизни», и начались дискуссии о политехнизации либо монотехнизации школы, что делать — то ли вводить то, то ли другое, то ли не трогать школу вообще. Сначала школьными преподавателями по этим дисциплинам работали практики, не имевшие не то что высшего, а бывало, и среднего образования, к которым сразу приклеилось прозвище «дядя Вася». Но школа нуждалась в подготовке кадров с высшим образованием, и таковая началась.

Коломна приступила к решению этой задачи одной из первых в стране. Факультет, призванный решать задачу «подготовки к жизни», отпочковался от физмата. Вначале специальность была названа «Основы производства», потом «Труд» и «Технический труд», затем «Общетехнические дисциплины». Наконец, методом проб и ошибок мы пришли к формулировке, наиболее точно отражающей суть нового отделения: «Технология и предпринимательство». Эта последняя формулировка резко увеличила популярность факультета у абитуриентов, и в разное время он становился законодателем мод в данной специальности по всей России.

С участием сотрудников факультета были созданы многие учебники, разработаны учебные программы и т.п. Логика преподавания по этой специальности была исторически естественной: ручной труд — машинная обработка — автоматизация процессов — компьютерные технологии. Таков был путь технологического развития, по которому шло все человеческое общество, но в конце 70-х годов именно это почему-то явилось поводом для обвинений коломенского метода обучения и преподавания в консерватизме. Злые языки утверждали, что Коломна тянет всех в ручной труд — так сказать, «назад, к природе». Но страсти покипели, улеглись, и вскоре стало ясно, что Коломна оказалась права, а техфак КГПИ до сих пор остается одним из сильнейших по оснащению техникой, подготовке выпускников и идеям, которые разрабатываются у нас в этой области.

Обучаясь на технологическом факультете, студенты глубоко и детально знакомятся с самыми различными отраслями деятельности человека. Юноши изучают трактор и слесарное дело, девушки — технологию швейного дела, приготовления пищи, но знания по сопромату, теплотехнике, деталям машин приходится приобретать, конечно, всем. Факультет дает студентам солидную подготовку по общеинженерным, экономическим, психологическим дисциплинам, и — о парадокс! — в результате такой серьезной подготовки менее всего молодых людей из числа выпускников оказывается потом в школьных стенах, где зарплата учителя весьма скромная. И они уходят на производство — на заводы, фабрики, в фирмы — в поисках более высоких заработков.

Как и на всех факультетах, здесь ведется научная работа, которая больше посвящена разработке методических аспектов, и также есть успешно действующая аспирантура.

На факультете трудятся пять докторов наук, профессора, тринадцать кандидатов и доцентов. С 2003 года предполагаем начать подготовку педагогов профессионального образования, раньше называвшихся «мастерами производственного обучения», по направлениям: машиностроение, автодело, агроинженерия. Нас приняли в Ассоциацию вузов профессионального образования, центр которой находится в Екатеринбурге.

Любопытная деталь: получение водительских прав на факультете входит в учебный план и является обязательным для студентов, прошедших медкомиссию. Но на водительских курсах этого факультета могут получить права и студенты других факультета КГПИ, и эта практика пользуется в институте популярностью.

Факультет физической культуры и спорта

Факультет физической культуры и спорта, в прошлом носивший слегка пренебрежительно звучащее название «физвос», обязан своим рождением искусственной конькобежной дорожке, которая выстроена по инициативе и активном содействии Конструкторского бюро машиностроения во главе с нашим земляком, известным энтузиастом любого полезного дела, выдающимся ученым и конструктором Б.И. Шавыриным. Теперь на месте этой дорожки спроектирована и строится новая, мирового уровня. Но в те времена от тогдашней кафедры физвоспитания отделилась кафедра спорта. При нынешней структуре факультета кратким словом «физвос» его не назовешь: здесь есть кафедра медико-биологических дисциплин, теории и методики физической культуры спортивных дисциплин, гимнастики и спортивных игр. Преподаватели и студенты факультета привыкли к тому, что на занятиях в аудиториях института сидят в свободное от тренировок время и постигают необходимые азы знаний чемпионы мира и Олимпийских игр, члены сборных команд страны и Московской области. Вот только несколько имен, которые вписаны в историю факультета: хоккеисты Игорь Ларионов и Юрий Лякин, конькобежец Валерий Муратов, известные гребцы, футболисты, легкоатлеты... Не всякий крупный вуз может похвастать собственным стадионом, а у нас он есть. Есть и несколько спортзалов. Со льдом в Коломне проблем до последнего времени не было, а вот с бассейном приходится сложнее. Студентам приходится ездить в Воскресенск, а для института нынче это дороговато. Хотя своего бассейна, о котором мечтал еще первый ректор Д.Е. Аксенов, институту выстроить не довелось, но ходят слухи, что в Коломне предполагается строительство такого спортивного объекта для города. Это весьма бы нам помогло в воспитании будущих преподавателей физической культуры, а заодно и в оздоровлении студентов других специальностей. Зато в КГПИ имеются отличные лаборатории анатомии, физиологии, химии. На кафедрах института работают два доктора наук и профессора, двадцать два доцента, один из которых завершает докторскую диссертацию. Эти сведения позволяют причислить факультет к числу сильнейших в России. Успешно действует аспирантура по методике спортивных тренировок. К сожалению, в нынешнее время резко возросли цены на исследовательское оборудование, поэтому наметился спад в научной работе в области медицины, биологии, физиологии. Однако мы храним тот потенциал, которого достигли, и еще рассчитываем на возобновление исследований в этих областях, надеясь, что настанет день, когда в стране будут пересмотрены приоритеты, и науке будет уделено должное внимание. В одиннадцатый раз на факультете в 2001 году проведена конференция «Человек, здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся мире», высокий уровень которой признан научным сообществом. Об уровне спортивной жизни института говорит красноречивый факт: в 2001 году наша команда завоевала первое место по легкой атлетике на зимнем первенстве вузов Московской области, где среди прочих участвовала Академия физической культуры. Если наши конькобежцы приезжают с российских зимних игр без призов, мы считаем их выступление неудачным. И еще — студент Дмитрий Дорофеев стал нашим представителем на XIX Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити.

Психолого-педагогический факультет

После 1965-го и вплоть до 1988 года в институте установилось некоторое затишье с открытием новых факультетов. А в 1988 году в КГПИ проведен первый набор на новый факультет, педагогический, именуе-

мый ныне ППФ — психолого-педагогический. Начали тогда экспериментально, как говорится, поставив телегу впереди лошади, — с набора на заочное отделение для повышения квалификации учителей начальных классов, окончивших педучилище. После уже открыли две группы на дневном отделении — за три года выпускники педучилищ могли получить высшее образование. Однажды «недобрали» выпускников педучилища, дополнили выпускниками школ. В результате ректор заработал замечание начальства, а факультет — получил новое развитие! Потом на ППФ был произведен интереснейший эксперимент «2+3»: студенты института два года учились по вузовским программам и методикам педучилища в Зарайске, совмещая усилия обоих учебных заведений, и затем еще три года завершали образование в Коломне. Этому эксперименту был посвящен целый выпуск журнала «Начальная школа», однако почему-то он не был продолжен. Жаль, но это случилось не по нашей инициативе.

Сейчас на факультете самый высокий конкурс — желающих поступить на него больше, чем на истфак или факультет иностранных языков. Через некоторое время после основания этого факультета открылось отделение дошкольного воспитания (заочное). Сюда поступают и выпускники педагогических училищ, и вчерашние школьники. Последним на ППФ открылось отделение психологии.

На психолого-педагогическом факультете преподают два доктора наук, профессора, десять кандидатов — доцентов, четверо из которых завершают работу над докторскими диссертациями. Ряд профессоров и доцентов руководит аспирантами по педагогике, и мы обязательно откроем аспирантуру по психологии.

Возникновение внебюджетного обучения

297

Экономический факультет

Первым полностью внебюджетным факультетом (на остальных платят за обучение те, кто желает учиться, но не прошел по конкурсу) был экономико-психологический факультет — ЭПФ; сейчас он называется экономическим. С точки зрения полноты образования, сочетание экономики и психологии было очень продуктивным, специальностям удачно дополняли друг друга, но по некоторым формальным основаниям одну специальность — психологию — пришлось сократить. Сейчас мы начали подготовку товароведов. Товароведение есть в некотором смысле сплав экономики, химии и технологии. Химическая лаборатория у нас небольшая, но по идеям, подбору реактивов, оснащению — первоклассная, а потому рядом с товароведением открыто внебюджетное отделение химии.

Экономистов мы уже выпускали, их берут в крупные банки, фирмы, компании. Факультет известен серьезными научными исследованиями, посвященными экономическим проблемам современности, которых хоть отбавляй, а в них надо разбираться, поскольку у сложных проблем не бывает простых объяснений и легких решений.

На факультете в сотрудничестве с вузами мирового масштаба — знаменитой «Плехановкой» и МГУ — издан сборник «Актуальные вопросы экономики и права», а в 2001 году проведена международная конференция по экономике совместно с администрацией города, крупнейшими вузами и НИИ страны, которую предполагается сделать традиционной. Аспирантура по экономике только-только открылась и сразу стала одной из самых популярных в регионе, и уже есть положительные результаты ее деятельности. Кстати, сегодня институт входит в ассоциацию экономических вузов страны.

Юридический факультет

Самый молодой факультет — юридический, он тоже внебюджетный. На юрфаке были выпуски заочного отделения; первые студенты дневного отделения закончили обучение в 2001 году. Факультет успешно прошел госу-

дарственную аттестацию, и нами только что получено свидетельство о его государственной регистрации. Первые выпуски показали, что наши юристы востребованы в самых разных направлениях юриспруденции. Среди десяти мировых судей Коломны и района более половины — наши выпускники. Мы являемся членами Ассоциации юридических вузов и факультетов страны. Преподаватели юрфака — одиннадцать докторов наук и профессоров и четырнадцать кандидатов-доцентов. Очень популярна аспирантура факультета — в нее желают поступить юристы из других городов, подчас издалека. Затоваренность юристами стране пока не грозит. По меркам нормальной страны у каждого гражданина должен быть свой портной, парикмахер, психоаналитик — и свой ЮРИСТ! Но у нас в России не хватает ни юристов, ни, у большей части населения, средств для оплаты их услуг.

О качестве юридической подготовки свидетельствует завоеванное нашим студентом четвертое место на сочинской олимпиаде «Студент-юрист — 2001» среди почти сотни участников. Неплохо. В журнале «Карьера» был опубликован рейтинг вузов и факультетов страны, готовящих юристов, и, к нашей чести, юный юрфак КГПИ попал в двадцатку лучших.

Факультет дополнительных педагогических специализаций (ФДПС)

ФДПС решает важную социальную задачу. Здесь наши студенты бесплатно или за весьма умеренную плату получают за год-два навыки определенной деятельности — преподавание географии, биологии, изобразительного искусства, языков, проведение экскурсий, поисковой работы, ведение кружков, студий, секций и т.д. Это необходимо — наши выпускники зачастую попадают в сельские школы, где им могут быть предложены уроки по совсем другим специальностям, чем указаны в дипломе. Именно сельский учитель может оказаться в положении, когда ему придется вспомнить частушку:

Я играю на гармонии,
Я играю и пою,
К сожаленью, даже пенью
Я преподаю...

Школьных автобусов на селе пока нет, поэтому для малокомплектной школы, запрятанной в глубинку района, не только две, что вызывает возражения федерального министерства, но даже и три-четыре специальности не бывают лишними. Непонятно, чем плох учитель-универсал, который в совершенстве владеет одним-двумя или более предметами, имеет достаточные навыки преподавания по ним и способен вести внеклассную работу?

Замечание а propos

Когда внебюджетное обучение по педагогическим специальностям стало достаточно обширным и привычным, среди части преподавателей вуза возникли сомнения: не будет ли размываться педагогический профиль вуза? Практика показала другое: на тех, кто обучается по непедagogической специальности, общая атмосфера вуза оказывает психолого-педагогическое влияние. Этот эффект надо признать положительным. Среди прочих задумок на будущее — отлицензировать подготовку по государственному и муниципальному управлению, менеджеров, специалистов по сервису, туризму и домоведению.

Сейчас на общеинститутских кафедрах, «обслуживающих» разные факультеты, работает шесть докторов, профессоров, и тридцать кандидатов-доцентов. Успешна деятельность аспирантуры по философии, политической науке, педагогике. Среди исследований по педагогике видное место занимают исследования в области работы с девиантными («трудными»)

детьми. Пока есть собственный диссертационный совет по педагогике, куда на экспертизу представляют свои диссертации ученые не только из Коломны, но и из Рязани и столицы. Но судьба этого совета, как уже сказано выше, решается, и мы не теряем оптимизма.

КГПИ и студенческое творчество

В регионе и в России известен наш Клуб веселых и находчивых благодаря своему участию в различных студенческих фестивалях. Мы — неоднократные чемпионы КВН Московской области. На последнем фестивале «Студенческая весна» в 2001 году, в Казани, мы завоевали второе общекомандное место по России в одной из номинаций и два специальных приза — «За волю к победе» и «За оригинальность решения». С международного фестиваля «Русская зима» в Ярославле дважды, в 2000 и 2001 годах, привозили «Приз зрительских симпатий». В 2001 году в Коломну приехал завоеванный нашими студентами «Рязанский валенок» — настоящий маленький валенок, набитый пятирублевыми монетами. Но и здесь бывают печальные казусы. Вот, например, в 2001 году наша команда КВН была приглашена на фестиваль в Сочи. После часть местной прессы отметила, что во второй тур она не вышла. К этому, по нашему мнению, отчасти оказались причастны сами организаторы: свято соблюдая регламент, команда КГПИ заняла сцену на три минуты, другие же команды пробыли на площадке по восемь и даже десять минут. В результате, желая проявить рабочую дисциплину, мы оказались сжаты временем, а в итоге выступление КВН Коломенского государственного пединститута было оценено, как «однообразное». Пусть это останется на совести организаторской группы фестиваля, а наших ребят, тем не менее, пригласили в профессиональную лигу «Олимп», где отработывают навыки на пути в большой КВН профессионалы-новички. Отныне мы и впредь будем поддерживать пребывание как можно большего числа студентов на сценической площадке, видя в этом важный рычаг в их профессиональной подготовке, поскольку в технике работы актера, режиссера и педагога есть много общего.

299

К нам приехали учиться...

И еще новинка — обучение в институте студентов-иностранцев. Это небольшая группа студентов из Замбии. Станет ли это кратким историческим эпизодом в бурной жизни КГПИ или началом широкого сотрудничества — покажет ближайшее будущее, но мы могли бы внести вклад в восстановление несколько утраченных нынешним высшим образованием позиций на Африканском континенте. Замбийские студенты зачислены по одному на физмат, отделение товароведения ЭФ, остальные будут изучать экономику, и мы желаем им успеха. Кстати, первая сессия у наших гостей прошла успешно, а студент из Камеруна Мишель Ндонго успешно заканчивает пятый курс филологического факультета. (Кстати, из набора предложенных ему на ФДПС специализаций Мишель избрал «Актерское и режиссерское мастерство в практике учителя» и неожиданно проявил себя как весьма способный ученик на занятиях по технике актерского ремесла...)

Что осталось сказать...

Наш вуз имеет хорошие отношения и сотрудничает с администрацией города и области, с учебными заведениями Коломны, рядом предприятий, разветвленной структурой Русской Православной Церкви в нашем городе, где находится кафедра владыки Ювеналия, митрополита Коломенского и Крутицкого. Надо отметить, что везде мы находим взаимопонимание и поддержку.

Так сложилось, что с 1992 года КГПИ, как, впрочем, и все российское образование, подвержен хроническому недофинансированию, которое составляет от 30 до 60 процентов. Цифра немалая. Но, несмотря на эту нешу-

ТАТЬЯНА БУЛГАКОВА,
студентка 70-х годов

КАК ДАВНО ЭТО БЫЛО...

Пятьдесят лет — срок для человечества ничтожный, как, впрочем, и сто, и двести. Может быть (хочется в это верить!), будет когда-то отмечаться двух- или трехсотлетие филфака. А пока филологическому факультету Коломенского пединститута пятьдесят. Уже легендой стала история его основания: первое здание пединститута находилось почти у берега Москвы-реки (сейчас там седьмая школа). Какими были студенты-филфаковцы в те послевоенные годы? Одухотворенные лица, строгие прически...

Но это не память прошлого, а лишь ее воображение. В моей памяти филфак другой эпохи. Именно эпохи, потому что курс наш поступил в 78-м, окончил в 82-м; через несколько месяцев после нашего выпуска умрет Брежнев, и смерть его обозначит конец эпохи, которую теперь именуют «застоем». Таким образом, годы студенчества нашего пришлось на конец того самого «застойного периода». Только мы, конечно же, об этом не знали и не ощущали себя в чем-то ущербными. Думаю, объясняется это тем, что с первых дней мы погрузились в удивительную и сладостную атмосферу литературной учебы. Боже мой, какими мы были темными, хотя, что скрывать, почти каждый считал, что пришел на филфак отнюдь не случайно!



Преподаватели филологического факультета со студентами-чеченцами. 1983 г.

Наши преподаватели — наши небожители... Античная литература в исполнении Айзика Геннадьевича Ингера! Именно в исполнении, потому что каждая его лекция была спектаклем одного актера. Я и сейчас иногда перелистываю эти старые конспекты, и удивительно: за студенческими каракулями ощущается неподражаемая ингеровская ирония. Мало кто из нас потом преподавал иностранную литературу, но именно Ингер дал нам урок, что самый сложный материал всегда можно преподнести в понятной и эмоциональной форме. Конечно, мы представляли, что его общение с нами — лишь верхушка айсберга; все знали: Ингер — переводчик (его переводы — в Библиотеке Всемирной литературы), искусствовед (печатается в журнале «Театр»).

Кумиром нашего курса был Ауэр. Так уж получилось, но Александр Петрович читал нам и фольклор, и древнерусскую литературу, и введение в литературоведение, и историю литературы. Нас поражала его эрудиция и очень подкупали удивительная открытость и уважение к студентам. Однажды на фольклорной практике Александр Петрович спросил у одного из наших чеченских студентов: «Сулейман, а вы читали в последнем номере “Литературной учебы”?.» Я, конечно, не помню, что мог читать или не читать Сулейман, но такое доверие Ауэра к студентам заставляло нас соответствовать его представлениям о нас.

Яркой кометой пересекла наше студенческое небо Валерия Николаевна



Студенты филфака Аднан Тучигов, Татьяна Булгакова, Сергей Патрикеев. 1979 г.

Константин Григорьевич мог нокаутировать стоящий на первой парте студенческий портфель! Эмоция на лекциях Петросова всегда шла параллельно с мыслью, иногда даже опережая ее.

302



Г.В. Краснов. 1996 г.

ватель, поразивший нас своей свободной, непринужденной манерой чтения лекций. Мы сразу вовлекались в какие-то сложные споры литературоведов, становились их соучастниками. Сейчас я понимаю, что Владимир Александрович Викторovich (тогда еще не профессор, не заведующий кафедрой) начал преподавать нам литературу проблемно: не истолковывая суть проблемы, а заставляя нас самих попытаться решить ее. Мы учились мыслить литературоведческими категориями и удивлялись, что иногда у нас это получалось.

Ловлю себя на мысли, что, вспоминая прошлое, часто употребляю слова «удивить», «поразить», «чудо»... Наверное, многие студенты, и не только нашего поколения, прошли по ступенькам учебы на филфаке таки-

Абросимова — всегда удивленная и всегда чем-то удивлявшая нас. Потом было ее внезапное исчезновение из института и таинственные разговоры между студентами: «за связь с диссидентами». Признаюсь честно, мы, студенты провинциального вуза, очень смутно представляли в то время, кто такие диссиденты, правозащитники, чьи права и от кого они защищали. Но какая-то заноза в нас после этого все-таки осталась.

Студентами мы все время сравнивали разные преподавательские манеры. «Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень» — это знаменитое пушкинское сравнение мы переносили на наших профессоров Петросова и Краснова. Константин Григорьевич Петросов (в годы нашего студенчества он не был таким худеньким и изящным, каким запомнили его студенты конца 90-х), казалось, во всем походил на обожаемого им Маяковского: мне профессор вспоминается высоким, солидным — на лекциях его голос буквально гремел! Рассказывая, как Маяковский своими стихами громил обывателей и мещан, Константин Григорьевич мог нокаутировать стоящий на первой парте студенческий портфель! Эмоция на лекциях Петросова всегда шла параллельно с мыслью, иногда даже опережая ее.

О Георгии Васильевиче Краснове студенты говорили: «Настоящий ученый!» Он был скрупулезен, краток, лаконичен. Краснов не баловал нашу группу своим кураторским вниманием, но один вопрос задавал неизменно: «Гонений ни на кого нет?» Привыкший к университетской аудитории, он давал нам такую свободу, к которой мы, замуштрованные советской школой, были не очень готовы. Зато каким чудом для нас стала организованная им экскурсоводческая практика в музее Льва Толстого! До сих пор считаю лето, проведенное в Ясной Поляне, настоящим подарком судьбы.

Когда мы учились на втором курсе, на кафедре появился молодой препода-

ми «очарованными странниками». Бесспорно, чего-то мы тогда недопонимали. Русский язык, в отличие от литературы, воспринимался нами как какая-то инородная стихия, формальная и сухая. Правда, Геннадий Владимирович Дагуров со своей неизменной зеленой записной книжкой, из которой он извлекал остроумные примеры к своей теории, казался нам пришельцем с другой планеты. Позже все мы поняли, что этот прекрасно образованный человек просто снисходительно относился к нашей студенческой глупости.

В мир древних славянских языков нас погружали Наталья Петровна Руднева и Лидия Аркадьевна Яковлева. Внешне они очень контрастировали между собой. Наталья Петровна — сама элегантность, чуть-чуть по-ученому рассеянная, очень умная и добрая — такой осталась она в моей студенческой памяти. Лидия Аркадьевна, всегда неожиданная, непредсказуемая, очень въедливо относившаяся ко всем тонкостям старославянского, была сердобольной мамой всем приехавшим из далекой Чечни студентам. Об этой странице истории филфака, конечно, стоит вспоминать отдельно. Как часто, слушая самые страшные военные сводки, невольно думаешь: а как там наши (да, именно наши!) — Магомет, Аднан, Сулейман, Дышима, Табарик, Алмат? Они четыре года вместе с нами учили русский язык, чтобы работать, жить, а не воевать... Помню, с каким терпением относились к ним, буквально спустившимся с гор, из далеких аулов, и педантичная Анна Ивановна Сачкова, и веселая, стремительная Галина Витальевна Горбачева, и строгая, но добрая Людмила Ивановна Давыдкина.



В.А. Викторович. 2001 г.



А.П. Ауэр с выпускниками 1987 г.

Л.И. Давыдкина вела методику русского языка, методику литературы преподавала Галина Николаевна Левицкая, активная, деятельная, энергичная. Каюсь, но значение всех методик я по-настоящему оценила, уже окончив институт и понабив в первые годы своих педагогических мучений кучу шишек на своей тогда еще очень самонадеянной голове.

Память, увы, лишена постоянства. Как точно это выразила Ахматова, рассуждая о «трех эпохах у воспоминаний»: «И раз проснувшись, видим, что забыли мы даже путь в тот дом уединенный...» А забывать этот путь не хочется.

Память избирательна, она произвольно выхватывает из прошлого какие-то куски, эпизоды — то смешные, то грустные... Траурная музыка и гроб с телом Шпеера, установленный в рекреации на третьем этаже; заплаканные лица студентов и преподавателей... А вот наши будущие профессора на совхозных грядах: выглядят совершенно беспомощными и смешными перед вечно кричащим бригадиром. Иногда розовый цвет воспоминаний исчезает вовсе — не все в той филфаковской юности было прекрасным... Был декан, преподаватель какой-то общественной кафедры, совершенно чужеродное духу филфака явление, казалось, с высоты своего научного коммунизма презирающий всех студентов. Но, наверное, ворошить эти пласты памяти не стоит, ведь воспоминания эти вряд ли чем-то напитают «чувства добрые». А хочется жить именно ими, потому что филфак, по моему, все еще хранит дух, воспользуюсь словами русского критика, «леющей душу гуманности». Может быть, она сохранится в памяти тех, кто учится на филфаке сейчас.

О СЕБЕ

ТОЛЬКО ФАКТЫ,
А НЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОПИСАНИЯ



ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ДАГУРОВ РОДИЛСЯ 9 ДЕКАБРЯ 1909 ГОДА В КРЕСТЬЯНСКОЙ ЮРТЕ УЛУСА ТАРАСА БОХАНСКОГО АЙМАКА ИРКУТСКОЙ ГУБЕРНИИ. В 1936 ГОДУ ОКОНЧИЛ ЛИТФАК МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ПЕДИНСТИТУТА. УЧИТЕЛЬСТВОВАЛ. В ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ ПРОШЕЛ БОЕВОЙ ПУТЬ ОТ СТАЛИНГРАДА ДО БЕРЛИНА. НАГРАЖДЕН ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ.

С 1965 ДО 1995 ГОДА РАБОТАЛ В КОЛОМЕНСКОМ ПЕДИНСТИТУТЕ. ЧИТАЛ ЛЕКЦИИ ПО ОБЩЕМУ ЯЗЫКОЗНАНИЮ, СОВРЕМЕННОМУ РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ПО КУЛЬТУРЕ РУССКОЙ РЕЧИ. ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ РУССКОГО ЯЗЫКА. ДОКТОР ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК. УМЕР В МОСКВЕ НА 90-м ГОДУ ЖИЗНИ.

Родился я 26 ноября по старому стилю, то есть в Иннокентьев день, а по новому стилю 9 декабря 1909 года.

Меня назвали было Иннокентием по дню рождения. Однако это имя не оставили, так как младшие невестки не могли произносить это имя, потому что Иннокентием звали главу семьи, то есть старшего брата моего отца и его младшего сына, и назвали меня Игнахой, Генахой, а когда я поступил в школу, учитель записал Геннадием. Так как тогда не было в улусе ни церкви и ни гражданской записи детей, я и списочно стал Геннадием. И сейчас в улусе говорят *Болодин Генаха* (Володин Генаха). Отца звали Болодя, что значит Володя, а по списку Владимир. Буряты не различают ласкательных и серьезных имен. Назовут Болодя (Володя) или Сеня (Семен) и взрослых будут звать Володя, Сеня, хотя они давно Владимир Васильевич и Семен Иванович.

Отец мой, Владимир Васильевич (1882–1929), 47 лет жил. Местный пьянчужка Афанасий Агнаев два раза ударил его ножом в спину напротив сердца. На суде оправдывался, мол, убил кулака. Но 8 лет все-таки получил.

Отец свободно говорил и писал по-русски, читал книги — он кончил два класса церковно-приходской школы.

Мать Машука (Мария Убугуновна, 1883–1942) прожила 59 лет. Она родила шесть мальчиков: Иван, я, Никита, Вандан, а двое мальчиков умерли маленькими. Умерла от рака пищевода. Страшные тридцатые годы прожила дома одна с девочкой — внучкой Зоей.

Первоначальная наша семья, до раздела, была большая — 12 человек. По существу, было три семьи трех сыновей Баси (Бася, то есть Василий по списку, сын Баанси, то есть Ивана, то есть сын Иmekшела): Иннокентия Васильевича, Владимира Васильевича и Николая Васильевича. Семья Иннокентия — это его жена Хурьган, которую все мы звали мама, потому что она была самая старшая женщина в семье.

Ее так звали, конечно, ее дочери, за ними и мы все, младшие. Три ее дочери — это Пантюшка (1898 г. р., мы звали ее Баадя), Шагай (1902 г. р., Софья) и Шанарта (1906 г. р., Варвара).

Семья Владимира Васильевича — это его жена Машуука (наша мать), сыновья: Иван, 1907 г. р., Геннадий, 1909 г. р. (это я), Никита, 1912 г. р. и Вандан (Баанда), который родился в 1917 г., то есть после раздела. Умер он в 1930 году.

Семья Николая Васильевича — это его жена Татьяна, дети, которые родились после раздела: Санька (1916 г. р., Александр), Потай (1918 г. р., Николай), Билда (1925 г. р., Василий), Лля (1922 г. р.), Троша (Трофим, значит — 1927 г. р.). Наша тетя Татьяна была хорошо грамотная женщина.

Старшим в семье был Иннокентий Васильевич. Он уже не выполнял физических работ в хозяйстве, только давал указания своим младшим братьям Владимиру и Николаю. Иннокентий Васильевич лежал на диване, а рядом на стуле стоял жбан с тарасуном. К нему приходили его друзья и выпивали с ним.

Иннокентий Васильевич был очень одаренным человеком. Он искусно вырезал из дерева домашних и диких животных. Я долго хранил маленькую лошадку из березового корня, высотой 5 сантиметров. И я, подражая старшему дяде, лепил из глины медведей, зайцев и белок. Мать их обжигала в русской печи.

Он был и столяр замечательный. Делал столы и стулья, оконные рамы, диваны, комнатные двери, всевозможную деревянную посуду.

Однажды после пьянки втроем убили четвертого их компаньона. Их засудили. Иннокентию Васильевичу, как не очень активно участвовавшему в убийстве и как известному богатому человеку, предложили подать заявление об освобождении, но он отказался, сказав, что не может изменить товарищам. Один из них, а именно Мисюлай, зарезал его, забрал его деньги и сбежал той же ночью из Якутска. Он вернулся в свой улус. Я его хорошо помню: низкорослый противный мужичок, всегда носил хорошо отточенный нож в кожаном ножне. Искусный коновал, его приглашали люди резать скот, окосить жеребчиков, бычков, свиней и т.д.

Через несколько лет из якутской ссылки вернулся третий осужденный Егун Юрьев с мальчиком от якутки, который говорил с отцом по-якутски и трудно приучался бурятскому языку. Вскоре мальчик умер.

Егун Юрьев пришел к нам и рассказал, как Мисюлай убил нашего Иннокентия Васильевича, и просил наших молчать об этом: он боялся, что Мисюлай убьет его, если пойдет разговор. Мисюлай приказал Егуну молчать, молчали и вдова Иннокентия Васильевича и два его брата. Это меня всегда удивляет. Были бы кавказцами, братья Иннокентия Васильевича обязательно отомстили бы за брата.

* * *

Наш отец отделился от младшего брата Николая Васильевича и от вдовы старшего брата Иннокентия Васильевича, видимо, в 1915 году, именно в этом году мой старший брат Иван (1907—1976) начал ходить в школу из нового дома. Мне было 6 лет, Никите — 4 года.

Наш новый дом с белыми наличниками был готов. Весь двор был огорожен со всех сторон высокими стенами (в 4 метра), с трех сторон был высокий сарай. Стоял большой амбар, только не было еще ворот, была большая юрта четырехстенная и второй дом поменьше первого. Он предназначен был для житья в нем зимой. Ворота сделаны немного позже.

В тридцатых годах все было разорено и растащено. Вместо домов, юрты, амбара, стен с сараями пустота, заросшая бурьяном. Теперь пустота на месте и всех соседних дворов.

ЮРТА

Восьмиугольная юрта с большим дымоходом,
С крыши двойной, чтобы было прохладно и в зной.
В юрте мы жили все теплые месяцы года,
Переходя в нее, будто кочуя, весной.
Ставили сразу котел на очажные камни —
В масле янтарном журчать начинал саламат...
Мясо парное варилось большими кусками.
Юрту наполнит, бывало, такой аромат,
Что, вспоминая, и ныне я слюнки глотаю,
Будто блины в саламатное масло макаю
Или баранью грудинку, смакуя, глодаю —
Это ж ужасно, когда я почти голодаю!
Гнали архи в каждой юрте — прекрасный напиток!
Старцы ходили по юртам, чтоб выпить архи.
В жбанах архи на столе да курений избыток —
Это блаженством считали в те дни старики.
Что за подворье без юрты, без места святого,
Где непременно висели заян и онгон,
Оберегавшие будто от духа нас злого
И охранявшие ночью наш благостный сон.
В юрте поспать — удовольствие, будто на воле:
Звездное небо лежи-наблюдай в дымоход.
Да, ностальгией по юртам старинным я болен,
Боль эта будет острее из года в год.
Под дымоходом ласточки гнезда лепили.
Под щебетанье их сладко, бывало, заснем.
Юрты исчезли, хоть все их в улусе любили.
Только остались во мне ностальгическим сном.
(1992)

306

ГЕННАДИЙ ДАГУРОВ

Первые три учебных года (1917/18, 1918/19, 1919/20) я учился в своем улусе, в Тарасинской трехклассной начальной школе при русском учителе Мельникове и учителе-буряте, окончившем Иркутскую учительскую, Худагдэве. Ходили в школу из нашей Верхней Тарасы в Среднюю Тарасу за два километра, и почему-то сидели мы с Иваном в одном классе, на одной парте. В течение первого учебного года приезжал из Боханской церкви священник. Он заставлял нас учить молитвы, которые дежурные и все мы должны были читать в начале занятий, в обеденный перерыв и в конце занятий, уходя домой. Заучивали молитвы механически, ничего в них не понимая. За три года еле научились читать и писать, выучили четыре действия по арифметике, по географии научились находить материка, а историю вообще не учили. Расписываться должны были «инородец господин» такой-то. 1920/21 учебный год по программе, видимо 3 и 4 классов, учился в Бохане у своей тети Марии Ивановны Убугуновой, жены нашего дяди Алексея Адриановича Убугунова. Жил у нее в том доме, где она и проводила занятия. В 1921/22 учебном году мы с Иваном учились в Иркутске почему-то в разных школах. Здесь учились мы плохо, не все понимая на русском языке.

Отец нам привозил целый мешок калачей и мясо. На обед в русской печи у хозяев варилось мясо в пустой воде. Это был весь наш обед, а утром и вечером тоже пустой чай с калачами — и все.

Родители решили, что трудно нас содержать в Иркутске. И мы в следующем году учились в Бохане. Каким-то образом мы с Иваном оказались в разных классах: он — в седьмом, а я в шестом. Почему я оказался в шестом, не проучившись в пятом? Ясно, систематических знаний у меня не было. Это моя теть Мария Ивановна так устроила, так как считала, что я по математике хорошо учусь, а она преподавала математику. Здесь под наблюдением тети учился хорошо. Врач Иван Дмитриевич Подгорный даже говорил моей тете, что анатомию и физиологию человека я знал лучше всех и что меня надо учить на врача.

В следующем году мой дядя Алексей Адрианович, который тогда был зав. РОНО, отрекомендовал меня в только что открывающийся педтехникум в Верхнеудинске (потом он стал Улан-Удэ). Вот я 4 года (1924–1928)

проучился в этом Бурпедтехникуме на полном иждивении: общежитие при училище, полная экипировка, включая постельное белье, и замечательное питание. Здесь учился хорошо, много читал теоретические книги, изучал историю философии, по ней записал толстую общую тетрадь. Основными пособиями были: «Теория исторического материализма» со всеми примечаниями по философии и философам всего мира, «Марксистская хрестоматия» (большая), «Марксистская хрестоматия для юношества», переводные книги по философии. Философских словарей тогда не было. Поэтому мне пришла мысль написать Н.И. Бухарину просьбу. К моему теперешнему удивлению, я написал и попросил его прислать мне схему развития мировой философии. Удивительно, что он прислал такую схему, но ее он начал не с греческой философии, как делают обычно, а с китайской и индийской, довел до Маркса. Несколько тетрадных листов были подписаны *Н. Бухариным*. Такой ценнейший документ пришлось мне из страха уничтожить, когда начался судебный процесс над ним.

* * *

В комсомольской организации Бурпедтехникума решили, что этим летом, то есть в 1927 году, все комсомольцы должны вступить в колхоз, а не то будут исключены из техникума. Из нашей Тарасы в Бурпедтехникуме в Верхнеудинске учились я и Вася Тумуров. Мы, конечно, вступили в колхоз и по ночам пасли лошадей. Вместе со всеми колхозниками-рабочими обедали и ужинали во дворе за длинными, шестиметровыми, из досок сколоченных столами, а спали дома и, как все, завтракали тоже дома.

У нас за меня и за Никиту забрали второй дом (зимний), одну рабочую лошадь и одну верховую лошадь-иноходку, которую очень быстро заездили (она погибла). Никита чуть не плакал. Он на ней брал первые призы на сурхарбане и других соревнованиях. Взяли у нас две дойные коровы, сколько-то овец и коз, один самовар, сколько-то мешков зерна и муки, а потом, когда мать оставалась одна, забрали все зерно и всю муку в самый сентябрь (а потом мать колосья в поле собирала), все сарай, стены двора, юрту, все коровники, закрытые помещения для овец и т.д. Мать смотрела на весь этот грабж и только плакала. Ей оставили только один дом и ворота (без двора и стен!). Требовали отдать швейную машину, но мать ее спрятала в стоге сена и не отдала. В таких мучениях жила наша мать.

Теперь вместо этого двора с двумя домами, амбарами, юртой, высокими с трех сторон двора сараями, с двумя скотными дворами, овечьим закутком и т.д. — сплошной бурьян в рост человека.

* * *

В самом начале 1930-х годов всех совершеннолетних членов нашей семьи лишили права голоса — это наша мать и ее сыновья: Иван, я, Никита.

Когда начали арестовывать и выселять «кулаков» и кулацкие семьи, боялись и мы. Дома оставалась мать лишь с одним 13-летним сыном Ванданом. Поэтому ее пока не трогали. А вот Иван, работавший в городе, и Никита, учившийся в Иркутске, боялись приезжать домой.

Как-то раз Иван решил проведать мать. Не доехав до родного улуса, он сошел с автобуса и пошел не домой, так было еще рано, то есть светло, а пошел в лес, откуда был виден наш дом. Ждал там вечера. Он видел оттуда, как мать вышла из ворот с табуреткой, чтоб закрыть ставни окон. Пошел домой только тогда, когда совсем стало темно.

После того как умер наш младший брат Вандан, мать осталась совсем одна. В один из зимних вечеров, когда арестовывали членов семьи дяди Николая, мать испугалась, что и ее присоединят к ним и увезут. Она, закрыв дом на замок, пешком вышла из улуса и пошла в сторону Бохана, где жили семьи ее родных братьев. Она все 8–9 километров шла оглядываясь — не догоняют ли ее. Стояла глухая ночь, но мать не волков боялась в лесу, а людей.

* * *

В 1926 году начал писать стихи, а с 1927 года стал печататься в областной газете «Бурят-Монгольская правда», знакомился с приезжающими в Верхнеудинск русскими писателями — с иркутским прозаиком Исааком Гольдбергом, с новосибирским поэтом (рано умершим) Васей Непомнящих, с Владимиром Яковлевичем Зазубриным.

В 1928 году, возвращаясь с Дальнего Востока, остановился в Верхнеудинске Павел Васильев. В редакции «Бурят-Монгольской правды» его познакомил со мной. Я привел его в наш Бурпедтехникум пообедать. Потом он и поужинал с нами, остался у нас ночевать. Спали мы вместе с ним на моей кровати. Так он прожил у нас несколько дней.

Потом мы вместе печатались в «Сибирских огнях» летом 1930 года, в шестом номере. Наши стихи редакции так понравились, что на обратной стороне обложки этого номера журнала было крупно напечатано: «В следующих номерах журнала будут печататься стихи Павла Васильева и Геннадия Дагурова». Позже, уже из Москвы, Павел писал мне: «Мы с тобой вместе печатались в Верхнеудинске, вместе печатались в Новосибирске. Теперь будем печататься в Москве. Приезжай скорее». Он, конечно, печатался, а я тогда нигде не печатался, решив, что я не поэт, а учитель. Позже, в начале тридцатых, Павел часто приходил ко мне в институт и все ругал, что перестал писать стихи. Тогда я даже стеснялся, что я писал стихи. Однажды в класс к нам вбегает Ваня Дремов, писавший стихи (теперь он стал известным поэтом), и крикнул: «Наш Генка Дагуров печатался в толстом журнале!». Он держал развернутый альманах «Будущая Сибирь» с моими стихами «Весть». Я ему сказал, что это не мои стихи. Тогда Ваня говорит: «Ведь точно напечатано: Г. Дагуров». Я сказал: «Не Геннадий Дагуров, а Гендын Дагуров. Есть такой поэт». Он разочарованно закрыл журнал.

308

ГЕННАДИЙ ДАГУРОВ

ВЕСТЬ

Зимний улус в безмолвье степей
Сумерки встретил воем собак.
В пору такую не ждут гостей,
В юртах болтают да курят табак.
Вдруг человек на коне прискакал.
Ринувшись в юрту, богов не почтил.
— Ленин скончался! — поспешно сказал,
Нет, не сказал, а крикнул почти.
Вздрагнули люди от страшных слов,
Ужас вопроса вспыхнул в глазах.
Вынули трубки они изо ртов,
Крепко зажали в больших кулаках.

(1932)

За четыре года обучения в МОПИ я никому не говорил, что писал стихи, и не писал в те годы. Не написал ни одного стихотворения и после Москвы, в 1936/37 учебном году в Бохане, в 1937/38 учебном году в Нью-Джерси, в течение трех учебных лет в Нальчике (1938–1942). Только миниатюры в виде письма жене на фронте. Регулярно стал писать только после войны, и то не сразу, а с конца 50-х годов, и то не вполне регулярно.

ПИСЬМО ЖЕНЕ С ФРОНТА

Л л е

Радуга и небо голубое —
Все напоминает о тебе.
И в тиши, и в самом пекле боя
Думаю не о своей судьбе —
О тебе и Родине своей,
Как о матерях моих детей.

(1942)

Возвращаясь назад, скажу, что в 1928 году, после окончания Бурпедтехникума, был направлен в Кяхтинский район учительствовать. Половину августа и весь сентябрь жил у бывшего ламы, который до этого учительствовал в той школе, в которой должен был работать я. Те полтора месяца я ждал, пока достроят новое здание школы. До этого школа помещалась в домике этого бывшего учителя-ламы.

Я эти полтора (месяца), сидя без дела, жутко тосковал. Писал письма своей девушке, она не отвечала. Здесь я написал наконец-то после длительного перерыва стихотворение «Тоска», потом — «Первую любовь» и «В степи».

* * *

В летние каникулы 1929 года я поехал в Верхнеудинск. Там получил телеграмму о том, что мой отец убит. Я, конечно, поехал домой, в Тарасу. Перед поездкой я встречался со своей девушкой. Она уже окончила Бурпедтехникум и направлялась в Селенгинский район. Она звала меня ехать с ней в Селенгинск, а я звал ее ехать со мной в Троицкосавский район. Так и не договорились. Когда из Тарасы я приехал в Верхнеудинск, ее уже не застал там. Так мы разошлись. Но нет худа без добра. Если б я женился, обзавелся семьей, я остался бы в Бурятии и обязательно был бы репрессирован, так бы легко тайком, как в 1937 году, не удрал бы из Бурятии.

И в 1937 году был также накануне женитьбы на дочери министра здравоохранения Бурятии — на Марии Андреевне Трубачевой. Именем ее отца названа улица в Улан-Удэ. Я тогда читал лекции в пединституте по зарубежной литературе. Маро, то есть Мария, говорила, что мы женимся, и она будет учить меня иностранным языкам, которыми она свободно владела. Но и здесь женитьба не состоялась ввиду непредвиденных обстоятельств.

Однажды вечером в мою комнату заходит ректор института — мой двоюродный (по матери) брат Санька Убугунов (Александр Митахович) и говорит мне, что в тот день на бюро обкома партии его обвиняли, что он держит в институте такого махрового врага народа, как Геннадий Дагуров. Он откровенно сказал: «Из разговора с прокурором я понял, что тебя могут арестовать. Что будем делать?» Я ответил ему, что мне нужно немедленно исчезнуть. Несмотря на поздний час, Санька вызвал из дома секретаря своего и надиктовал ему справку о том, что я по собственному желанию ухожу с работы с должности преподавателя зарубежной литературы по причине болезни сердца (эта справка до сего времени хранится у меня). Я всю жизнь благодарен этому мужественному человеку, спасшему меня от тюрьмы, а может, даже и от смерти.

В тот же вечер, собрав вещи (большой узел с постелью, чемодан с одеждой и книгами и рюкзак с провизией), не предупредив ни Маро, ни друзей, я отправился на станцию.

Первое время скрывался в тайге, пищу добывал ружьем и рыбацкими снастями. Через тайгу добрался до Алданских золотых приисков: я слышал от бурятских крестьян, что там принимали на работу, не спрашивая паспорта. В Ньюже на золотом прииске ребяташкам в средней школе преподавал русский язык и литературу. Был завучем, затем директором в течение того учебного года, 1937/38-го. Долгими зимними вечерами я особенно сожалел, что не мог взять с собой тогда заветного сундучка с книгами, привезенными из Москвы, — там были Есенин, Гумилев, Блок...

Больше всего я опасался встретить земляков-бурят, которые могли бы узнать меня в лицо и тем самым отдать меня в руки НКВД. Но судьба меня хранила в этом забытом Богом крае. Целый год жил там, ни с кем не переписываясь, боясь репрессии.

Когда окончился учебный год, я из Ньюжи поехал в Москву, не останавливаясь ни в Улан-Удэ, ни в Иркутске, где жили мои братья Иван и Никита. Боялся навестить мать в Тарасе. Денег у меня было достаточно, и я там взял путевку в санаторий, который располагался в Кабардино-Балкарии, в живописном Долинске, пригороде Нальчика. Когда мой курортный

срок кончился, я поехал в Наркомпрос Кабардино-Балкарии за назначением. Меня направили в Нальчикское педучилище и дали бесплатное проживание в гостинице.

В ноябрьские праздничные дни поехал в Москву, чтобы встретиться с будущей женой, студенткой МОПИ Еленой Тимофеевой, с которой предварительно обменялись письмами. Моя поездка в Москву закончилась жеманностью, оформленной в загсе 17 ноября 1938 года. В зимние каникулы Лля приезжала в Нальчик ко мне. Жили в гостинице, столовались в ресторане. Словом, жили замечательно. А летом, после окончания института, она совсем приехала ко мне. Это было в 1939 году. На этот раз мы жили в пединституте. 25 сентября 1940 года родился у нас первенец — сын Вова.

Однажды в ясный весенний день я вывел его, полуторагодовалого, погулять. Он стоял очень серьезный, одетый в новое пальто, сшитое бабушкой из темно-синей шерсти. Был он очень красив, лицо белое, глаза большие, черные, яркие губы. Он молча смотрел куда-то, как будто думал о чем-то своем. Я тогда подумал: будет, видимо, философом, а он стал поэтом.

* * *

Когда 26 марта 1942 года моя семья провожала меня на фронт во дворе военкомата, сынок плакал, не желая расставаться со мной. Это усилило тяжесть расставания с семьей, и об этом расставании я никогда не забывал на фронте.

В Ейске, не подготовив нас как следует к военной специальности, очень быстро повезли нас на фронт. По пути на фронт нас страшно бомбили. Многие из нас погибли, не доехав до фронта.

ПИСЬМО ЖЕНЕ С ФРОНТА

Л л е

Коль смерть возьмет меня не вдруг,
В атаки час прервав мой бег,
И проживу я миг-другой, —
Прощусь с тобой, мой верный друг:
Махну бескровною рукой
И уроню ее на снег,
Хоть будет бой греметь вокруг.
Жаль, не узнаешь, в миг какой
С тобой простился я навек.

(Декабрь 1942)

Сначала воевал в 612-м артполку РГК (Резерв Главного Командования), потом — в 468-м. Воевал сначала на харьковском направлении, затем разгромленный полк наш отступал разрозненно к Сталинграду. Город в начале августа 1942 года был цел. Только над ним по ночам летали немецкие самолеты. Мы даже в бане помылись, прежде чем покинуть город. Ровно через полгода мы вошли в него — не в город, а в сплошные развалины. Мы всего один день и одну ночь вели бой с фашистскими снайперами и артиллеристами. Многие из нас были убиты и ранены. Мы убедились, что вести бой в городе намного труднее, чем в открытом месте. Ночью падали с неба мешки с хлебом и мясными консервами, которые сбрасывали с немецких самолетов. Приносили мы эти мешки в наш домик без крыши, без окон и без дверей и пировали. Белый хлеб, выпеченный кирпичиками в 1932 году, был совсем не черствым. Мы очень удивлялись.

1 или 2 февраля 1943 года, когда бои шли только в северной части Сталинграда, нас вывезли из города и повезли на Курскую дугу.

Здесь стало тяжелее, чем под Сталинградом. Мы, артиллеристы, оказались в самой опасной близости с немцами. Нас разделяла лишь балка. Они окопались на противоположном скате балки, а мы — на этом. Кое-когда постреливали друг в друга. Они стреляли из автоматов, мы — из допотопных карабинов.

Очень темной ночью 22 марта 1943 года мы с товарищем были посланы в самый передовой наблюдательный блиндаж. С собой несли катушку телефонных проводов, телефонный аппарат, стереотрубу и, конечно, наши карабины. Утром мы начали вести наблюдение через стереотрубу. Видимо, большой глазок нашей стереотрубы засверкал на солнце — и в нас начали стрелять из автоматов, пулеметов, даже из миномета. Мы, конечно, убрали стереотрубу. Но немцы продолжали стрелять и даже начали бомбить. Над нами очень низко пролетали небольшие румынские самолеты, которые мы называли «желторотиками», потому что передняя часть корпуса была покрашена желтой краской. Наш блиндаж был накрыт толстым слоем земли, которая замерзла. Вот тяжелыми кусками ее нас накрыло от бомбежки. Друг мой сразу был насмерть накрыт, а я, хоть и смог освободиться, но был еще жив. Из горла шла кровь, я еле дышал: грудь, спина были сильно придавлены. Я терял сознание, повысилась температура. На батарее не могли дозвониться до нас и решили, что мы убиты. Там же видели, что нас обстреливают и даже бомбят. Лишь ночью пришли за нами и уволокли на плащ-палатках.

ПИСЬМО ЖЕНЕ С ФРОНТА

Л л е

Я твой образ в душе берегу,
Как мой предок — огонь в гулакте.
Мне с тобою тепло и в пургу
Да светло и в ночной темноте.
Без тебя и душевных людей
Все невзгоды здесь были б лютей.
(1942)

Утром меня увезли на курский аэродром, потом на самолете отвезли всех раненых в Елец. Оттуда был эвакуирован в тыл, в Скопин. Через месяц выписали в запасной полк (под Ельцом). Там на полевых занятиях со мной стало плохо, и пошла кровь из горла. Вызвали врача, который сделал вывод, что рано выписали из госпиталя. Вызвали «скорую помощь» и повезли в полевой госпиталь. Прошел я 5 или 6 фронтовых госпиталей, а в последнем госпитале (1303) откомиссовали меня и признали годным лишь к нестроевой службе по второму разряду инвалидности. По распоряжению политотдела оставили в том же госпитале пропагандистом и парторгом. В этих же должностях я проработал и в другом госпитале.

На очередном политзанятии при политотделе один подполковник делал доклад по философии. Доклад был крайне примитивным, даже неграмотным. Я сделал несколько замечаний в крайне деликатной форме. Начальник политотдела полковник Зинченко и все слушатели были удивлены, почему этот нерусский лейтенант оказался таким теоретически подготовленным. Через некоторое время полковник Зинченко назначил меня, лейтенанта, на подполковничью должность — старшим инструктором политотдела. Моими подчиненными оказались подполковник, майор и два капитана. И во всех госпиталях замполитами были тоже подполковники и майоры, которыми я должен был руководить, проверять их работу.

Потом снова была передовая, ранения и контузии.

Солдат, поэт, ученый

Летом 1943 года Дагуров со своим полком был переброшен на Орловско-Курскую дугу и принял участие в грандиозной битве. Награжден медалью «За боевые заслуги». Здесь был ранен и контужен.

После разгрома немцев на Орловско-Курской дуге фронтовые дороги повели Дагурова на запад. Белоруссия, Польша и Германия. В конце 1944 и в начале января 1945 года он участвовал в освобождении столицы Польши — Варшавы и города-крепости Познань в составе 1-го Белорусского фронта. За участие в освобождении г. Варшавы и преодолении р. Вислы Дагуров

был награжден медалью «За освобождение Варшавы» и орденом Красной Звезды.

После освобождения Польши военные действия переносятся на территорию Германии, чтобы добить врага в его собственной берлоге — Берлине. День Победы Дагуров встретил под Берлином. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.

У Геннадия Владимировича в память о войне остались не только боевые награды, но и воспоминания о войне, фронтовые стихи и рассказы. Он опубликовал стихи в сборнике, посвященном 40-летию Великой Победы, под названием «Уходил сибиряк на войну», вышедшем в Иркутске (*газета «Знамя Ленина» 22 (8602), 7 февраля 1990 года; нпт. Усть-Ордынский Иркутской области*).

8 МАЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ

Скорбим, мильоны их утратив:
Мужей, отцов и матерей,
Сестер, и женихов, и братьев,
И сыновей, и дочерей.

Хоть помнят их всегда все семьи,
Войну жестокою кляня,
Для поминания их всеми
Отдельного б хотелось дня.

Им пусть восьмое мая будет —
Днем памяти — кто пал в войну.
И в День Победы не забудет
Народ погибших помянуть.

Ведь даже радость Дня Победы
Унять не в силах боль утрат.
Пусть нас заполонят и беды,
И радости два дня подряд.

Погибших и в Афганистане,
И в ту Великую войну
Теперь народ делить не станет —
Их надо вместе помянуть.

Как День родительский, единым
День памяти их должен стать.
Жаль, скорбным пенем лебединым
В сраженьях павших не поднять.

* * *

В феврале 1946 года я был демобилизован и направлен в Лейпцигскую советскую среднюю школу. В течение трех лет (1946–1949) работал там завучем. В школе был очень приятный коллектив. Вызвал туда семью — жену с двумя маленькими сыновьями, шести и четырех лет.

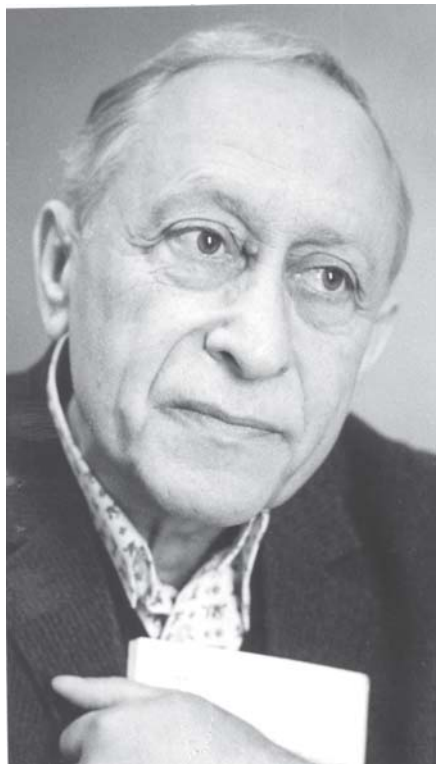
В 1949 году я был вновь зачислен в ряды Советской Армии и направлен в Свердловское суворовское училище старшим преподавателем секции русского языка и литературы. В том училище я проработал 11 лет, до 1960 года.

В апреле 1961 года защитил кандидатскую диссертацию и поступил в Уральский госуниверситет, где в течение четырех лет преподавал современный русский язык. В 1965 году перевелся в Коломенский пединститут. Там читал лекции по общему языкознанию, современному русскому языку, проводил занятия по культуре русской речи, спецкурс «Некодифицируемые высказывания в русском языке», спецсеминар «Особенности словоупотребления в современной русской поэзии». Докторскую диссертацию на тему «Некодифицируемые высказывания в русском языке» защитил 13 апреля 1995 года, а диплом доктора наук получил только 27 декабря 1997 года. Работал деканом на филологическом факультете. 10 июля 1992 года избран на должность профессора кафедры русского языка.

9 сентября 1995 года уволился и ушел на пенсию. В этот же день переехал из Коломны в Москву на свою квартиру в Строгино.

А.Г. ИНГЕР: «МОЯ ЖИЗНЬ — БОРЬБА ЗА ПРАВО БЫТЬ СОБОЙ»

20 апреля скончался профессор кафедры литературы Коломенского пединститута, кандидат филологических наук А.Г. Ингер, известный многим как переводчик и комментатор Свифта, Бертон, Голдсмита.



Айзик Геннадьевич Ингер, много и успешно сотрудничавший с самыми престижными издательствами («Литературные памятники», «Библиотека всемирной литературы»), уважаемый многими поколениями филологов, был человеком нелегкой судьбы. Учась в десятом классе, он начал работать диктором на радио. Но в неполные свои семнадцать недель солдатскую шинель и ушел на фронт. Весь ужас, что выпал на долю необученных мальчишек, испытал он на себе. Но, давая интервью для газеты КГПИ «Народный учитель» к 9 Мая, он, литературовед, знаток театра и кино, вспоминал, что и в те годы через боль и грязь войны иногда светила удивительная звезда искусства, которому он посвятил свою жизнь. «Кто-то из врачей госпиталя, где я оказался в 1944, предложил мне читать раненым только что вышедшую тем летом поэму Твардовского “Василий Теркин”. Это был эвакуационный госпиталь. Раненых было так много, что

мы лежали на двухэтажных катках: легкие — наверху, тяжелые — внизу. Не хватало белья. Было жарко, душно, пахло кровью, гноем и бинтами.

И вот этим людям в такой обстановке я читал “Переправу” и “Гармонь”. Удивительно, что слушали очень внимательно, просили прочитать еще раз...»

Послевоенные годы, последние годы жизни Сталина тоже не были для Ингера радостными. Началась борьба с космополитизмом, и долгое время не удавалось хотя бы просто найти работу. «Я ощущал себя человеком второго или даже третьего сорта, — вспоминал Айзик Геннадьевич в своем последнем, неопубликованном интервью. — Я понимал, что я другой, что мне не слиться с этими людьми. Я не слился и с диссидентами, хотя моя судьба случайно сложилась так, что некоторых из них я знал — Даниеля,

Игоря Голомштока, работал с вдовой Мандельштама. Но слиться с ними уже не мог. Сейчас россияне путают две вещи: одно — Россия как страна, где ты родился, вырос, другое — как государство. Это не одно и то же. Можно любить Россию, но относиться к государственному строю крайне критически».

Айзик Геннадьевич был хорошо знаком с выдающимися деятелями российской культуры — композитором Альфредом Шнитке, пианистами Святославом Рихтером и Марией Гринберг, певцом Иваном Козловским, актером Владимиром Заманским... И была у него идея написать о встречах с этими людьми. К сожалению, этого уже не осуществить...

Попробовав карьеру журналиста, так и не начав излюбленного дела — театроведения, поняв, что честно и правдиво говорить о современном состоянии литературы невозможно, Ингер посвятил себя академическому литературоведению. Наука потеряла многое с уходом такого своего представителя. Последней его работой, которая дописывалась уже в больнице, стала «Анатомия меланхолии» Бертона».

В последнем своем интервью он говорил: «Я не из того теста, чтобы идти на мучения. Я даже не уверен, хотел ли бы я обладать качествами мученика за идею. Я не ходил в борцы, понимая, что меня очень быстро сломают, уничтожат. Но я никогда не был “со стадом”. Даже сейчас, во времена демократии, у большинства сохранилось то же самое желание быть со стадом. В чем ограниченность человеческая? И почему в России такое полное отсутствие демократии и полное попрание личности? Потому что независимо мыслящих людей постепенно выпальывали, как англичане свои газоны выпальывают и выхаживают, чтобы они стали такими, какие они есть. Власть в России так долго подавляла людей, что может гордиться: она вырастила тех, кто ей удобен. В чем внутренний пафос моей жизни? (Без всяких жестов, я не рисуюсь, я такой, каков я есть.) Большая часть моей жизни была, пусть тихая, но борьба за право быть самим собой».

Эти слова сегодня звучат как итог и завещание. С уходом таких людей жизнь пустеет... Забыть их невозможно.

ФОТО-
МАСТЕРСКАЯ





Фото Геннадия ЧИСТЯКОВА

ПРИБАВИТЬ ЗОРКОСТИ К ЗРЕНИЮ ЧЕЛОВЕКА



ЮРИЙ ЛЬВОВИЧ ИМХАНИЦКИЙ — ФОТОЖУРНАЛИСТ, ЧЛЕН СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РФ. РОДИЛСЯ В 1952 ГОДУ В ГОРОДЕ АРТЕМЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ. В КОЛОМНЕ ЖИВЕТ С 1973 ГОДА. РАБОТАЛ НА КОЛОМЕНСКОМ ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ, СНАЧАЛА ФРЕЗЕРОВЩИКОМ, ПОТОМ БРИГАДИРОМ. ФОТОГРАФИЯ, КОТОРОЙ ОН УВЛЕКАЛСЯ ЕЩЕ В ШКОЛЕ, СТАЛА ПРОФЕССИЕЙ, КОГДА ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД ОН ПРИШЕЛ ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТОМ В ГАЗЕТУ «КОЛОМЕНСКАЯ ПРАВДА». ЕГО РАБОТЫ ВЫХОДИЛИ ВО МНОГИХ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ, ОТ МАЛОТИРАЖНОЙ СЕРИИ «КОЛОМЕНСКИЙ АРБАТ» ДО ЮБИЛЕЙНОГО АЛЬБОМА «КОЛОМНА» И ОДНОИМЕННОЙ ДЕТСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ, ВЫПУЩЕННОЙ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ «АИФ». С ЕГО СНИМКАМИ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ЛАДА М» В 1994 ГОДУ ВЫШЕЛ ТРЕХТОМНИК ПРОИЗВЕДЕНИЙ Б.ПИЛЬНЯКА. УЧАСТВУЯ В КОНКУРСЕ ЖУРНАЛА «ФОТОМАГАЗИН», ОН ЗАВОЕВАЛ ПРИЗ — ЯПОНСКИЙ ФОТОАППАРАТ. ВЫСТАВОК В ЕГО ТВОРЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ ДВЕ — ПЕРСОНАЛЬНАЯ И ГРУППОВАЯ.

Двадцать лет назад на первой полосе «Коломенской правды» появились фотопортреты, сделанные Юрием Имханицким. В них сразу проявился неповторимый, собственный почерк автора: каждый снимок передавал характер человека, его психологию, индивидуальность. Недавно снимал для Доски почета немолодых сельских мужиков. Известно, что с ними делают нелегкая жизнь, солнце и ветер. Так вот, каждый портрет — это человеческая судьба, на грубых лицах светятся глаза, и в них — ум и житейская мудрость.

Есть у него серия «Коломенские старики»: трогательность старости и одновременно ее безобразие, неумолимость времени и беззащитность перед ним. Сделана она, эта серия, не только на одной сострадательной ноте. Вот греется на весеннем солнышке старик, присевший на теплые каменные ступеньки. Шапку снял, и ветерок шевелит реденькие волосы на его плешине. Старое пальто с затертым воротником. Вокруг люди, каждый со своей заботой. А старичок никуда не торопится. Он как одуванчик, подставивший макушку ласковым лучам, впитывает их — и все. Каждый ли из нас способен это просто замечать? Или вот: старая женщина ищет что-то у мусорного ящика. Взгляд исподлобья, недоверчивый, но без смущения, и очень умные глаза. Почему-то испытываешь чувство вины перед ней... Со всем древняя бабушка, деревенская, в платочке и с посохом. Ветер раздувает выбившиеся из-под платка седые пряди. Уже неуловимые черты лица, как будто стертые временем, а в глазах давняя надежда, словно ждет она

кого. Эту бы серию показать всю на выставке, но нет, автор складывает снимки в папку до лучших времен.

В один прекрасный день у Имханицкого возник замысел: сделать галерею портретов известных (а может, и не очень известных) коломенцев. Хорошо, если ему достанет настойчивости довести его до конца. Хотя начало положено: Александр Сурков — Борисыч, как зовут знаменитого нашего педагога его большие и маленькие друзья, — артист, «француз» с мушкетерскими усами, поэт; Семен Пассман — дизайнер, обладатель выдающегося носа, с воротником и шапкой, покрытыми морозным инеем; Светлана Герих — инженер-реставратор в шуровской церкви Троицы; Виталий Хитров — коллега фотограф... И еще целый список ждет своего часа, а может, вдохновения.

Короткий зимний день на исходе. Малиновое солнце садится в тучу. Кажется, воздух пронизан колючим инеем, холодно. Безмолвный заснеженный лес по обочинам дороги. За идущими вереницей машинами струятся дымки. В наступающих сумерках все вокруг голубое, и кажется, что от этого ярче пылает солнечный диск.

Извечный русский пейзаж. Только взамен тройки с бубенцами двигателя внутреннего сгорания, а грусть в воздухе будто все та же. Прислушаться тянет — не слышна ли долгая песнь ямщика...

В чем особенность пейзажа у Ю.Имханицкого? В нем всегда гармония природы. Величавое молчание зимнего леса или бурный бег весенней воды, клин диких гусей над облетевшими кронами деревьев или уютно примостившаяся в развилке деревьев горстка монастырских строений... Уравновешенность, стабильность — главное настроение его пейзажных снимков. Величавость? Не всегда. Но природа извечно в ладу с самой собой. А если случится запечатлеть погодный какой-нибудь катаклизм — снегопад или ветер, фотомастер непременно уравновесит его — женской фигурой с зонтиком или иным изящным образом.

В городском пейзаже Имханицкий принципиальный враг снимка буклетно-музейного, когда хорошо виден весь дом, каждая его деталь, но куда-то девается его душа, его образ. Дом воеводы, к примеру. У него безобразная деревянная пристройка — подобие сеней. Каждый фотограф, думаю, приглубливает это убоище незлым тихим словом. Имханицкий, ища ракурс, снял крышу здания и верхний этаж, а весь низ и дряхлый короб закрывают кроны яблонь со спелыми плодами. И так к стати пришились эти провинциальные яблочки, словно вдохнули в древний дом душу. Эта-то душа и глянется зрителям, может быть, и не осознающим, в чем тут дело. Даже если городской пейзаж безлюдный, присутствие людей ощущается. Город у него никогда не бывает мертвым.

Однажды кто-то сказал про Имханицкого: «Узнаю его пейзажи сразу». Ну что ж, одно из определений понятия «стиль» — «это человек».

Однако жаль, что знают в Коломне Имханицкого больше как автора сельских да городских пейзажей, ну еще репортажных снимков в газете. В главном газетном жанре, репортаже, основное — схватывать суть события, порой развивающегося у тебя на глазах с быстротой отпущенной пружины,

но не менее важно с той же скоростью найти емкие образы, чтобы эту суть выразить. А газетная работа все-таки часто поденка, его величество факт требует оперативности и совсем не намерен ждать, когда проснется вдохновение, чтобы снимаемое в сотый раз событие было снято, как в первый. И еще есть бич у газетных фотографов: качество печати. Зависит оно от десятка причин, на которые автор повлиять, сдав свое детище в цех, уже не может. Да что долго за примером ходить: книжка «Коломна» в серии «Детская энциклопедия», выпускаемой «Аргументами и фактами», — московское издательство! — была бы во сто крат привлекательней, если бы снимки вышли не мрачными, черными, словно на город сошла кромешная ночь, а такими, как их делал автор, — светлыми, веселыми, с тонкими переходами цвета.

У него прекрасные жанровые работы, напечатанные даже в фотожурналах. Снимать жанр, то есть сценку со своим сюжетом, с взаимоотношениями участвующих в ней людей — вообще высший пилотаж. Тут есть определенные трудности, ведь события идут своим ходом, за ними нужно успевать: вовремя занять, например, нужную точку съемки, умудриться не привлечь внимания занятых собой людей к собственной персоне, не вспугнуть их. Иначе пять дворничих, отставивших метлы, чтобы передвинуть старый горбатенький «запорожец», мешающий на их бригадном пути к чистоте, запротестуют, не уловив комичности момента. И дочка, которая сушит волосы на балконе, развесив их на бельевой веревке с прищепками, не сохранит свою естественность, начнет подыгрывать и все испортит...

Но климат, что ли, у нас в Коломне такой, что художников вдохновляет исключительно и только на пейзажи?

Памятна выставка «на троих» в «Доме Озерова» в 1989 году: Лев Авдеев, Геннадий Чистяков и Юрий Имханицкий. Первая в жизни Имханицкого. Бедненько, как сейчас вспоминается, оформленная (но и так оформить — пришлось похлопотать!). Книга отзывов наверняка где-нибудь у него хранится, потому что *такого* эффекта он не ожидал. Толпа народу на открытии, лестные слова выступающих, лестные записи в книге отзывов...

К пятидесяти годам многим уже не хочется ничего менять в своей жизни. Старый запас знаний кажется вечным, незыблемым, надежным, он не подведет ни при какой погоде. Может, и поймает себя человек на мысли, что вот тут он упустил, не вполне владеет, но так тяжелы ему кажутся предстоящие труды, что он легко себя уговорит, докажет себе, что это неведомое ему и не нужно. И не замечает, что жизнь уходит вперед, оставляя его все дальше на обочине

Имханицкий к своему «полтиннику» овладел цифровой фотографией. С психологическим барьером перед компьютером справился легко и все премудрости программ как пользователь освоил в считанные дни.

Сами по себе возможности «цифры», кажется, безграничны. Увлекло, что можно произвольно творить даже в пейзаже, который вроде бы уж всегда на сто процентов зависит от природы. Можно наконец-то «не замечать» столбов, которых и на городских улицах, и даже на полях натыкано

без смысла и без толку, которые вечно лезут в кадр со своими проводами и обезображивают самый выразительный пейзаж. Художник может просто не перенести этих уродцев на свою работу, фотографу деваться было некуда. Теперь можно как угодно менять цвет и расставлять акценты. Скажем, усилить на зимнем снимке красноту зарослей дикого шиповника, которую глаз воспринимает, а объектив нет.

Однако «цифра», имея безграничные возможности, способна сыграть с фотографом злую шутку, если он увлечется и не соблюдет меру. И уже появились приторные картинки — насквозь искусственные, хотя и составленные из реальных компонентов пейзажа, — на календарях, постерах и прочей подобной продукции. Имханицкого спасает от таких соблазнов строгий вкус, высокая требовательность к себе.

Но вдруг с овладением «цифрой» у него проснулось видение мистического. Коломенские башни и башенки стали обретать таинственный вид: то над ними ворон-вещун в полночь пролетит, то бойница засветится кровавым светом.

А еще стала интересной деталь как выразительница целого: веточки, бабочки, листики и тому подобная мелочь отныне занимают его внимание.

Впереди у Имханицкого новая фотографическая вершина. Иногда, глядя на то, как он осваивает искусство рекламы, думаешь, что лучше забыть все, чему уже научился, и начинать снова. Потому что реклама часто опровергает какие бы то ни было законы и каноны и идет от противного. Она требует мыслить нестандартно, а то и парадоксально. Да и работа с моделью только на первый взгляд легка и неумтомительна, а на самом деле этот живой пластилин бывает таким неподатливым!

Писатель К. Паустовский некогда утверждал, что «тот не писатель, кто не прибавил к зрению человека хотя бы немного зоркости». Перефразируя его, скажем: «И не фотограф»

ФОТОГРАФИЯ? АКВАРЕЛЬ? ГРАФИКА?



ВИТАЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ХИТРОВ РОДИЛСЯ 1 ЯНВАРЯ 1961 ГОДА В КОЛОМНЕ.

СЕЙЧАС ОН ВОЗГЛАВЛЯЕТ ОДНУ ИЗ ВЕДУЩИХ ФИРМ ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ. ПЕРВЫЕ РАБОТЫ ВИТАЛИЯ ХИТРОВА УВИДЕЛИ СВЕТ В 1999 ГОДУ БЛАГОДАРЯ НОВЫМ ЦИФРОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В ФОТОГРАФИИ, ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО САМ ПРОЦЕСС — СЪЕМКА, ОБРАБОТКА И ПЕЧАТЬ — УЖЕ НЕ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНО ОСНАЩЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ЛЕГКО ОСУЩЕСТВИМ В ДОМАШНЕЙ ОБСТАНОВКЕ.

С 1999 ПО 2003 ГОД У ВИТАЛИЯ ХИТРОВА СОСТОЯЛОСЬ ПЯТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ВЫСТАВОК: ТРИ В КОЛОМЕНСКОМ КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ «ЛИГА», В ФОТОЦЕНТРЕ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ В МОСКВЕ, В МОСКОВСКОМ «ИНСТИТУТЕ СОТОВОЙ СВЯЗИ» И НА ФОТОЯРМАРКЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. ЕГО РАБОТЫ ПЕЧАТАЛИСЬ В ЖУРНАЛАХ «ФОТОМАГАЗИН», «ПРОФЕССИЯ — ЖУРНАЛИСТ» И «АРТ-ИНФОРМ», В ШЕСТОМ ВЫПУСКЕ КОЛОМЕНСКОГО АЛЬМАНАХА.

Говоря откровенно, я не взялась бы это описать. Потому что просто не представляю. Не представляю, КАК. Я представляю, как описать дождь. И радость. И когда холодно. И светло. И отчаяние. И то, что вдалеке. А вот ЭТО, наверное, так только и можно описать: *холодно; отчаяние; дождь; грустно; вдалеке*. Нельзя же, в конце концов, сказать так: я вижу мутно, что на дороге идут строительные работы, стоит кран, и предупреждающие знаки как будто размыты струями дождя и каплями на стекле объектива. Нет! Просто дождь и неудобно. А ведь здесь еще что-то видно, в смысле различимо. А как вам покажется мешанина желто-оранжево-охристого? Да еще и в полоску? С лучом света? А может, это просто жарко и солнечно? Впрочем, каждый волен увидеть по-своему. На это, наверное, и рассчитывает автор всего, что я попыталась описать, фотохудожник Виталий Хитров.

Если углубляться в историю отношений Виталия Хитрова с фотографией, то получится путь вполне обычный. Как и у многих, у него был свой фотоаппарат; им снимались друзья, которые приходили в гости, и пейзажи, к которым приходил он, — в общем, на бытовом уровне.

— Я любил фотографию, снимать хотелось всегда. Когда-то, на заре юности, я и живописью занимался, да и вообще много чем, как и все поколение мое занималось одновременно всем: и живописью, и музыкой, и... Живописью я занимался примерно года с 1976 по 1984-й. А с 1984-го у меня не было возможности этим заниматься. И появилась она только в 1989 году: работа основная позволила расслабиться. Да... Но пленочный фотоаппарат — это как будто его и нет вообще. Практически и не было, потому что это была примитивная мыльница. А снимать хотелось...

Потом наука и техника доросли, как принято говорить нынче, до цифры. В 1998 году Хитрову в руки первый раз попал цифровой фотоаппарат: намечалась поездка в Рим. Но что такое цифра и с чем ее едят, понял сначала не вполне. Аппарат был куплен с очень маленьким разрешением —

других тогда еще не было. Но что в нем понравилось сразу — то, что не надо нести пленку в проявку и печать, что никто теперь не увидит твой брак и твою неудачу, буде таковые случатся: сиди себе дома и печатай. И принтер под боком, и поправить что-то, если надо, можно прямо же на компьютере. «Не было бы техники — однозначно не было бы ничего»... Это, однако, вовсе не означает никакой лени. Виталий Хитров серьезно занимался и занимается бизнесом, причем не только в масштабах Коломны. В общем, времени не хватает постоянно. С фотографиями вообще приходится по ночам все больше возиться, по выходным. И вообще: съемкам в общей сложности посвящается недели две-три в году.

Явление довольно редкое — художник, мыслящий проектами. Вот у Хитрова такая черта присутствует — концептуальности, что ли, желания объединить в нечто целостное то, что изначально было разрозненным.

— Всегда хотелось сделать не просто рядовую выставку, а проект. Не набор предметов показать, а как-то их друг с другом связать. И потом еще подать этот проект, чтобы связь была во всем. Чтобы вернисаж был — не ритуал, происходящий сам по себе: просто вышли к микрофону, сказали пару слов, выпили шампанского, кто-то сыграл на саксофоне и разошлись, а действие, связанное со всей выставкой в целом.

Например, первая выставка. «Намеки». Тогда, наверное, Коломна в первый раз узнала о фотохудожнике Виталии Хитрове. Как о мастере детали. Но не детали в обычном, обыденном смысле этого слова. Это не была деталь большого полотна. Деталь была полотном. Не привычным натюрмортом из каких-нибудь мелких предметов или даже осколков. Нет. Удивительной жизнью, собственной жизнью жили маленькие детали больших предметов, столь привычные в жизни, что их существование как-то перестало замечаться. Или не замечалось вообще? Впрочем, ведь придавалось же когда-то значение тому узору, что украсит ручку двери, на который берущийся за нее вряд ли будет внимание обращать, или какой-нибудь внутренней отделке чего-нибудь, которую, кроме равнодушного от ежедневного созерцания владельца, тоже не суждено было никому увидеть. Или вот глубокомысленные китайцы. Любили отчего-то узкоглазые философы изобразить вдруг одинокую цикаду или листья цветущей вишни. Смысл видели в сем и красоте. Такую же вот неожиданную, непривычную красоту открыла выставка «Намеки». На что намекал автор? («Какой смысл вкладывался в название?.. Ну, намеки — это и есть намеки. Недосказанность какая-то. А вообще было так: набралось несколько работ, которые по стилю можно было объединить уже, десяток-два, и началась сознательная работа по созданию какой-то уже коллекции».) Что должно было, по мысли его, стоять за намеком? Философия познания огромного и великого через малое? Философия красоты, гнездящейся подчас в уголках, неприметных для усталого и пресытившегося глаза (помните: «из какого сора растут стихи, не ведая стыда»)? Или, может, вовсе ничего этого не было, а был эксперимент с техникой, попытка изучить сухую «цифру», удовольствие от неожиданно раздвинувшихся возможностей?

— Первая выставка? Тогда я даже специально для нее выделял время какое-то. И опять все началось, в первую очередь, с цифровой техники. Снимал все, что под руку попадалось: если я куда-то еду — я снимаю, все, что окружает дома, всякие там фенечки — я снимаю. Было тогда и экспериментаторское желание, и желание что-то показать. Мне интересно было работать с компьютерными программами, обрабатывать, создавать.

— И все же снимали-то вы не шкаф же, скажем, а ручку от него.

— Когда маленькая вещь, совершенно незаметная — она в увеличенном размере интересно получается. Специально для этих фотографий я не ставил ни свет, ни чего-нибудь такого еще. Ошибок в первой выставке было столько!.. Но в то время хотелось просто все то, что накопилось за десять лет, «вытопить» через фотографию.

— Да... Не специалист я в области фотографии. Всякие течения, традиции, новации для меня...

— И для меня! Я просто делаю то, что мне нравится и так, как нравится.

— А все-таки? Фотография ведь изначально возникла как некое такое четкое отображение реальности. Насколько далеко сейчас для вас такое представление о фотографии?

— Абсолютно далеко. Даже уже на первой выставке все фотографии были обработаны на компьютере. И вообще, в последнее время я все стал воспринимать как фотографию: живопись это, графика — разницы нет. И последнюю выставку я сознательно назвал «Имитации», чтобы человек непосвященный, посмотрев на какие-то работы, не понял даже, что это: фотография, или акварель, или графика. А вот следующий проект — он уж вообще будет непонятный в этом смысле, я нигде не буду писать, что это фотография. Будет что-то между, что-то пограничное такое

Прожаживалась как-то я по выставке хитровской. Зрителей в основном наблюдала. И выделила такую категорию: ходит, смотрит, снисходительно улыбается. Кажется: вот вышел бы сейчас автор — снисходительно его по плечу эдак потрепал бы и сказал что-то вроде: «Ну ничего, братец, ничего, компьютер ты освоил. Да и я не промах, программки все эти знаю, тут уж, извини, ты меня не удивишь — техника!» Ничего не поделаешь — действительно техника. Вот машина — тоже техника. Только кто-то такие трюки способен без ущерба для собственного и чужого здоровья на ней продельвать! А кто-то ни одного столба старается не пропустить. И ведь одна техника! Впрочем, техника — это не только то, что движется. Есть техника вышивания, например, живописи техника и так далее.

— Слышал я мнение: ничего здесь интересного — за него «Фотошоп» работает, программа. На самом деле тот же «Фотошоп» — ручная работа во многом. Это не нажатие одной кнопки для получения эффекта. Это наложения всевозможных эффектов. С одной работой можно биться, например, неделю, для того чтобы нужный эффект получить, какой хотелось бы. А с какой-то работой можно за десять минут управиться. Это процесс такой интересный, увлекательный! Потому что техника — это инструмент. Почему-то многие и после этой выставки и раньше тоже говорили: ну да, «Фотошоп-4» — это классно, а все остальное... Это, между прочим, то же самое, что художнику сказать: «Вы вот такими кистями дорогами пользуетесь, а у меня дешевле, поэтому у меня так не получается хорошо, как у вас». Все хотят увидеть в цифровой фотографии технологию. А я бы не хотел, чтобы смотрели на технологию, чтобы вообще на нее внимание обращали. Как любым инструментом, ей надо уметь пользоваться, уметь не переборщить, например (когда я еще экспериментировал, в самом начале, всегда было желание вообще все наизнанку вывернуть за счет этих программ!). Надо с этим осторожно. Все вот уперлись в книге отзывов в «Фотошоп»! Да у меня там и «Корелл», и другие программы. Я думаю, через годик понятие «цифровая фотография» вообще умрет. Потому что сегодня разницы нет, какой камерой снимать, цифровой или аналоговой. Есть всякие приспособления, чтобы аналоговую фотографию перевести в цифровую и обработать, а потом обратно на фотобумагу вернуть. Сегодня кто-то из профессионалов — от скромности, наверное, — не говорит, что пользует-

ется компьютерными программами. Но нормальные вменяемые люди, которые снимают аналоговой техникой, говорят, что если им надо что-то доработать, убрать, поправить, пользуются программами, цифрой. Сегодня разницы в технологии уже практически нет.

Как найти сюжет для съемки? Как разглядеть смысл этого самого маленького фрагмента, детали, не обычную вещь увидеть — с обычной формой, цветом, — но нечто, что неожиданно привлечет внимание, заставит взглянуть по-другому, вырвет из круга обыденных представлений?.. В другой мир?.. Наверное, да. Здесь все малое огромно, имеет свой смысл, свою красоту, свою даже жизнь. Но как найти и увидеть (и заставить увидеть других) все это? Есть в этом таинство творчества или лишь стечение случайностей? И не в этом ли стечении случайностей и явлено таинство, не разгаданное еще, тревожащее душу Мастера своей неизбежностью и необходимостью свершения, независимо от воли и желания его? Как рождается единственно возможный сюжет?

— Сюжет... Ну, скажем, вот висит работа. Это самые обычные пуговицы от пиджака. Я ехал из Питера на поезде. Мой пиджак висел на вешалке. От нечего делать я начал его снимать и так и этак. Вообще все в вагоне отснял! И из всего этого огромного количества получилась одна работа — вот эта. К ней уже дома я доснял еще две — получился триптих. Триптих пуговиц. Что это? О чем?.. По большому счету, я ничего не хотел этим сказать. Нет у меня базы, подведенной под работу. К ней базу и подтекст можно какие угодно придумать. И каждый, кто посмотрит, сделает это по-своему, абсолютно. Подключив собственные ассоциации. Наверное, так проявляется абстракционистская традиция, традиция в духе продвинутого современного искусства: когда что-то делается независимо ни от каких замыслов и философий, а потом уже под то, что получилось, подводится база, история. А на самом деле — это игра света, формы, цвета. Чаще всего.

— Вот вы, значит, тоже подводите потом под свои работы скрытые всякие смыслы? Смотрите и думаете: ага, вот здесь, пожалуй, вот эдак вот, а здесь...

— Ну скорей всего. Где-то, может быть, это отражается в названии. Самое интересное, что название может быть никак не связано с собственно предметами, на фотографии запечатленными. Оно может быть понятно мне, понятно, почему возникла именно такая ассоциация. А зритель может прийти посмотреть, и увидит он совсем что-то другое, моей ассоциации не поймет. В живописи как? Пишет художник стог сена и называет работу: «Сток сена на закате». Все чудесно и понятно. А у меня стог сена может ассоциироваться с чем угодно. Если абсолютно честным быть, не подвожу я никакой базы под свои работы, не пытаюсь и не пытаюсь. Есть попадания какие-то но специально чтобы что-то делать, уже с готовым названием — так не бывает практически. Чаще бывает, что, например, есть у меня восемьдесят, скажем, работ и надо через два дня их все повесить, с названиями. И вот за день-два их надо обзвать, а уж как там потом у зрителей совпало с чем, у кого совпало, у кого нет. Вот я вижу пейзаж. Он мне понравился. Я его снял. Просто снял. Потом уже я могу свое отношение к этому определить. И опять повторю: снимаешь много, а потом отбираешь достаточно скрупулезно и серьезно то, что должно быть обработано и показано. Некоторые работы лежат годами. И я сомневаюсь иногда, что куда-то их пристрою. А потом вдруг получается, что они подходят под какую-то концепцию. И получается проект, получается выставка. Можно глубоко-мысленно сказать, что я вот этим хотел что-то там такое выразить, и даже когда снимал, думал об этом, да на самом деле ничего такого и не было.

Наверное, я сказала неправильно — что съемкам посвящается всего пара недель в году. Потому что фотокамера у Хитрова всегда с собой. На работе, в машине, на отдыхе. Во время интервью: мы говорим, а она, может, ждет своего часа, вернее, той счастливой минуты, когда приходит понимание того, что перед объективом именно он — сюжет. Иногда, если предстоит дальняя интересная поездка, уже даже и не одна, а целых две и даже три камеры занимают место в багаже. Впрочем, под рукой камеры может в нужный момент не оказаться. И что тогда? Можно махнуть рукой: сколько еще таких сюжетов будет впереди (что, в сущности, чистая правда). Но Виталий Хитров может припомнить случаи, когда что-то подзуживает не пропустить и не упустить. Бывает.

— Был сентябрь. Все звенело — заморозки первые, может, поэтому так чувствовалось. И я мимо седьмой школы ехал и просто почувствовал что-то. Не знаю... Съездил за камерой, поднялся на третий этаж, долго примеривался, чтобы из окна снимать. Меня, конечно, поняли неправильно: что это я из окна камерой нацеливаюсь. А вот так, чтобы я надумал специально поехать туда-то и туда-то и попробовать что-то сделать, если, например, работ не хватает для выставки, или просто потому, что надо, — так не бывает. Когда специально едешь — редко когда что получается. Получается, когда работаешь так примерно: вырываешь время, скажем, когда работаешь в Москве. Двадцать минут. Нашелкал. Все, что нашелкал, полежало недельку. Через недельку взял, посмотрел... Что-то получилось!

— А так, чтобы шелкнули, потом полежало недельку, вы посмотрели — чего-то не хватает. И вернулись к тому же месту, к тому же предмету. Чтобы поймать какое-то настроение, которое вдруг открылось, нахлынуло, нагрнуло Так бывает?

— Нет, не было ни разу. Я пытаюсь отснять дубли, но сразу. Я вот в Питере был в прошлом году. Все просмотрел, что отснял, и мне показалось, что все это такое где-то напечатано, когда-то, на каких-то открытках. Типичные виды получились. Долго все это валялось потом, ненужное. И в последний день перед последней выставкой взял я эти самые фотографии И совершенно неожиданно: десять минут — и одна работа получилась. И сейчас мне кажется, что это одна из лучших фотографий: белые такие скамейки на Васильевском острове. Все подходят: это Париж? Нет, не Париж! Васильевский остров. Все спрашивают: деревья на компьютере обрезают? Всем кажется, что компьютерная обработка — она должна быть во всем. Да нет! Они такие и были! Но когда я снимал, я не думал, что я с этой фотографией буду делать, что вот я должен настроение какое-то поймать. Может, это не очень хорошо, но когда я куда-то приезжаю, я снимаю все подряд. Например, моя Венеция на последней выставке. Не ловлю я ни настроение, ни свет. Увидел что-то интересное — сфотографировал. А получится — не получится...

— Чтобы вас заинтересовать, пейзаж или предмет должны быть обычными или, наоборот, необычными? Или этого нельзя сказать определенно?

— Я пытаюсь уйти от штампов. Например, церковь Николы-на-Посаде — все ее пишут практически с одной точки, очень выгодной. Ну и что, еще раз делать фотографию? С этого самого хорошего места? Но лучше, чем у наших художников, у Абакумова того же, Зеленецкого, я не сделаю. И я пытался уйти от того, что уже видно сто раз, по-другому на нее посмотреть. Вот в этом смысле мне Юрий Имханицкий нравится, его взгляд на Коломну. Уникальный взгляд. Он умеет увидеть ее небанально, непривычно. Один, кстати, из немногих людей, которые технику воспринимают

как инструмент, через который можно больше показать — и цвета, и пластики, и всего, что угодно.

Вот последняя выставка Виталия Хитрова. Уже «Имитации». Уже другой размер и масштаб. Уже проливаются дожди над целым городом крыш. У причала в тумане рассвета дремлют венецианские такси-катера и из другого времени пришедшие гондолы. Сенокосной, сухой и желтой приходит осень. Кажется, по-прежнему из мешанины одного тона, цвета вдруг вырывается неожиданной краской одно — то, что поставил фотограф (или все же художник?) во главе всего, всей работы. Но увеличился масштаб. Или нет, скорее так: осталась мелочь, но слилась с множеством других мелочей, образуя другую картину, оставаясь в одной, заданной уже реальности. Как объяснить переход планов? Сам Хитров уверяет: снимал все четыре творческих своих года все подряд — и мелочи, и пейзажи, и панорамы. Просто так получилось, что первые выставки сложились именно тем, чем сложились, а в последнюю вошло все отснятое «видами». Поднакопились пейзажи, которые никто еще не видел, захотелось «поделиться» (слово больше из терминологии дамской, но почему-то видится что-то общее в интуитивности бытия женского и бытия художника, в капризности таланта). Лукавит ли при этом фотограф? Или просто не задумывается? Знаю многих мастеров, и признанных талантов в том числе, которые в подобных случаях произносят возвышенные речи о том, что рукой истинного Мастера движет Господь, провидение, некий высший гений и так далее, в зависимости от веры в характер высших сил. Может, оно и действительно так. Но только в веке девятнадцатом, не боявшемся высокопарных слов, принято было говорить: вчера меня посетила Муза. Век новый несет новую терминологию. И неосознанное желание просто взять в руки камеру и хоть что-нибудь поснимать (не важно, что из этого получится потом) — не есть ли посещение неведомой музыки, не есть ли движение руки провидения? Если в грубом пейзаже дорожных работ можно разглядеть тоску и неприютность осени, что может скрываться за словами? Да и нужны ли слова, когда уже есть фотографии?..

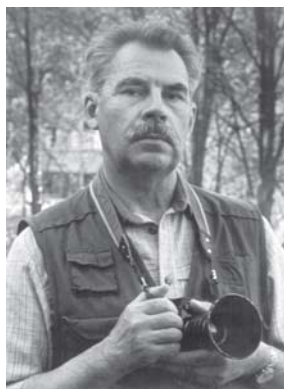
— Вы можете как-то определить, почему вам интересно фотографией заниматься, вот именно так и именно такой?

— Я от этого получаю кайф. Все отдыхают по-своему. Я вот снимаю. Все, что мне интересно. Для меня это кайф, отдых, расслабление Творчество, горение какое-то... А оно от техники не зависит.

КОЛЕСНИКОВСКАЯ КОЛОМНА

ПАМЯТИ ЮРИЯ КОЛЕСНИКОВА

ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ КОЛЕСНИКОВ (1938–2003) РОДИЛСЯ В ИЮЛЕ 1938 ГОДА В КОЛОМНЕ. РАБОТАЛ В ОДНОМ ИЗ ЛУЧШИХ СОВРЕМЕННЫХ КБ РОССИИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФОТОГРАФ, КАВАЛЕР ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА», НЕОДНОКРАТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО ФОТОКОНКУРСА «ОТЕЧЕСТВО», УЧАСТВОВАЛ ВО МНОГИХ КОЛЛЕКТИВНЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ ВЫСТАВКАХ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ. ЕГО СНИМКИ СТАЛИ КЛАССИКОЙ КОЛОМЕНСКОЙ ФОТОЛЕТОПИСИ.



Волшебники уходят незаметно
прекрасною воздушною стезей.
И тот, кто мог поймать движенье света,
сам стал — как свет за кроною резной.

И хрупкий зимний снег, и звонкий зной —
в стенах Кремля затерянное лето, —
все это — словно дымкой неземной
внезапно и таинственно одето.

И отделяет призрачная грань
прозрачных снимков матовую ткань,
и в путь зовут неведомые птицы.

И наступает грустная пора:
невидимо уходят мастера
в заветный мир прекрасных фотографий.

10 марта 2003

Брожу по старому городу в грустную мартовскую хмарь и слякоть. И кремль напоминает оставленную мастерскую алхимика. Тяжеловесной резьбою отливают багряные башни. Дома и храмы громоздятся, точно книжные полки и посудные шкафы. А шатры колоколен и купола отсвечивают стекляннным блеском, словно причудливые тигли и колбы, в которых только что кипятили таинственные настои.

Но волшебник ушел.

И он уже не вернется сюда. Никто не дотронется до магического стекла, никто не сможет оживить сказочное зазеркалье, которое мы привыкли называть колесниковской Коломной.

Мастер

Не скажу, что раньше я Юрия Колесникова совсем не знал. Было заочное знакомство — по его работам на выставке. А однажды он сам пришел в краеведческий музей (еще в ту пору, когда я там подвизался) показать свои снимки. Но все это было мимолетно и таинственно.

Еще бы! Колесников многие годы проработал в Коломенском ракетном «ящике», и труд его был окружен туманом секретности.

Все изменилось в середине 90-х годов. Тогда газету «Благовестник» ре-

дактировал Валерий Васильевич Королев. Помню, как он убеждал нас, что православная газета должна быть красивой. И принес на редколлегию ворох удивительных снимков.

Жизнь пульсировала и трепетала в их глянцевой глади: ликующий свет переливался в соцветиях куполов, в ажурном кружеве крестов, узорчатых перекрестьях кремлевских улиц! Но было в этих фотографиях что-то необычное. Не просто внешний образ, а какая-то особенная глубина. То есть технически это, наверное, все можно объяснить: удачное расположение кадра — так, чтобы ощущалось пространство, правильное определение точек схода, вертикальная и диагональная композиция и т.д.

Но ведь и другие фотографы наверняка знают эти правила, а у них ничего подобного не получается... Значит, дело еще в чем-то. В чем?

Должно быть, я подсознательно надеялся получить ответ на этот вопрос, когда шел в колычевскую квартиру Юрия Дмитриевича на улицу Весеннюю. А получил не ответ, а новую загадку. Ибо когда из обычного замызанного подъезда я вошел в уютную квартиру Колесниковых, то не заметил в хозяине никаких признаков «артистизма» или «богема».

Среднего роста, обычной внешности, несколько угловатый, с лицом, напоминающим дагерротипы молодого Льва Толстого, когда тот не носил еще своей знаменитой бороды. Однако за этой простотой, неброской манерой речи открывалась удивительная личность. На это намекала вся обстановка: рисунки и гравюры по стенам, любовно подобранная библиотека по искусству, коллекция миниатюрных изданий, необычная посуда и всякие редкие вещицы.

Как сочетаются эта неординарность, эти поразительные снимки с обычностью и простотой? Мне временами кажется, что Колесников сам не очень задумывался о величине своего таланта. «Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь»...

И чем ближе мы знакомились, тем больше становилось мое удивление. Не то чтобы Колесников не ценил своих работ — конечно же ценил! Но не «трясся» над ними! Иные мастера собирают все, хранят любой черновик с такой тщательностью, как будто уже вошли в историю. А Колесников при жизни стал частью истории Коломны. И не стеснялся раздавать свои композиции, как правило, ничего за них не получая.

Он создавал шедевры, которые стали символами Коломны. И в то же время не чурался самой черновой работы, брался и за пересъемку, и репортажные снимки делал. Мы уже как-то привыкли, что когда звонишь фотографу с заказом, то прежде всего слышишь ответ: «Сколько заплатите?» Колесников отвечал: «Когда и куда прийти?» Я раньше думал, что это он «Благовестнику» поблажку делает. Но потом, уже после смерти Юрия Дмитриевича, узнал, что и в некоторых других изданиях понимали: для Колесникова искусство значит больше, чем деньги.

У него было своеобразное чувство юмора и в некоторых работах, и в жизни. Помню, как он рассказывал об армейской службе в северных краях, о промерзающих насквозь бараках, о том, как его отважные сослуживцы

сбегали на танцульки через реку по бревнам лесосплава, ежесекундно рискуя свернуть себе шею.

Вспоминал и анекдоты из недавней жизни. Однажды послал в Москву шокирующие снимки полуразрушенных памятников старины. Их опубликовали на страницах центральной прессы, и это повергло коломенских чиновников в страх и трепет. Вскоре после этого Колесников прогуливался как-то по улице Лажечникова. Слух об этом донесся до городского начальства. В результате к Крестовоздвиженскому собору Брусенского монастыря была выслана бригада, которая немедленно скосила бурьян на храме.

Рыцарь фотографии

Еще одна загадка Колесникова в том, что он провел детство и юность в Парфентьеве. А между тем мало кто из горожан-старожилов может похвалиться такой глубиной проникновения в душу Господа!

Наверное, все-таки именно дар художника позволил Колесникову интуитивно постичь «коломенскую тайну». А для фотографа это особенно сложно. Ибо фотограф имеет дело с объективной реальностью. Он не может, подобно графику или живописцу, что-то «подправить», «усилить».

Мне могут возразить, что современные компьютерные технологии позволяют производить с изображением самые смелые эксперименты. Но не отсюда ли — полчища дилетантов, которые утверждают, что они «тоже фотографы»? И подчас кажется, что между классической фотографией и ее цифровым аналогом разница такая же, как между «живой» музыкой и «фанерой».

Из этого, конечно, не следует, что и среди «цифровиков» нет сильных художников. Но их искусство еще только формируется. И безусловно, это другое искусство. С иными задачами и средствами... Кому сейчас придет в голову часами ходить около Маринкиной башни и ждать, когда из древней бойницы выпорхнет ворона? Слишком велико искушение дополнить изображение с помощью компьютера. И получится имитация художественного образа.

А Колесников не пожалел времени, и в результате появился снимок, выходящий на уровень мифа. Не зря им украшена обложка «Коломенского альманаха». Какой кадр! Полукруг башенной брони, зубцы, резной узор кровли — и стремительный силуэт птицы в бесконечном небе. Но одной лишь композицией не объяснишь бездну исторических и литературных ассоциаций, которые пробуждаются этим снимком.

Можно считать мое мнение субъективным, но думаю, что среди коломенцев лишь один-два мастера могут потягаться с Колесниковым в жанре черно-белой фотографии.

Но ведь и в цвете у него есть поразительные вещи. Вообще, цвет — коварная штука: он сильно отвлекает, зачастую делает фотографию «красивенькой». Как это преодолеть, как заставить работать краски на усиление образа?

И вот — «Портрет художника Устинова»... В темно-алом бархатном сумраке мастерской сидит седобородый патриарх. Мерцают по стенам резные рамы картин, красным деревом поблескивает старинная мебель, глухо от-

свечивает в глубине большое зеркало. Кто такой этот старик, внимательно взирающий на нас, почему таким покоем исполнены его натруженные руки? Неужели он наш современник, виртуозный художник-пушкинист? Его, скорее, можно принять за мудрого волхва, одного из тех, что ожидали прихода Спасителя. И кажется, что перед нами полотно Рембрандта и что его герой сейчас выйдет из своего золотисто-алого сумрака и понесет чудесные дары Христу в Вифлеем.

Можно ли технически объяснить схему работы? Наверное, да. Рассудком можно понять, какие фильтры использовались, как ставился свет, какие «неправильности» создавали нужный эффект. Нельзя объяснить только одного — таланта, данного Богом.

Долг

Мне приходилось хоронить близких людей. Но потеря Юрия Дмитриевича оказалась особенно пронзительной. Ибо одно дело, когда ты знаешь о болезни дорогого человека и подспудно готовишься к расставанию, и совсем другое, когда смерть приходит неожиданно.

Только что я радовался, когда владыка Ювеналий вручал Колесникову благословенную митрополичью грамоту, только что я вглядывался в мудрое лицо художника и думал про себя: «Какое счастье, что я могу общаться с этим необыкновенным человеком!» И действительно, все в нем было значительным и прекрасным. И его семья: очаровательная супруга Лидия Григорьевна (кстати, именно она настояла в свое время на покупке первого фотоаппарата!), сын Дмитрий — известный и авторитетный в Коломне врач. И сам Колесников — энциклопедически образованный, несмотря на «незаконченное высшее». Достаточно сказать, что Юрий Дмитриевич мог читать по-немецки без словаря (упоминаю об этом не без зависти: мне-то, к сожалению, языки не даются). И конечно, главное — его дар, когда каждая фотография становится открытием. И вдруг...

И вдруг мы с о. Игорем Бычковым отпеваем новопреставленного Юрия. И впервые горьким, ох каким горьким показался мне сладостный ладан!..

Колесников ничего не остался должен Городу. Он всю жизнь свою посвятил Коломне.

А Город?.. Сказал ли кто-нибудь хоть раз: «Вот, Юрий Дмитриевич, тебе мастерская, материалы — твори, прославляй Родину!»? Не сказал, и теперь уж больше не скажет.

Так есть ли у нас долг перед Колесниковым? Думаю, что есть.

Если при жизни не был опубликован альбом с его лучшими работами, так, может, сейчас издадим? И это будет самым лучшим памятником фотографу. И выставку тоже надо было бы провести. Но это должна быть не обычная выставка, а такая, в которой оживет личность художника... И, может быть, после этого оставленная мастерская Старого Города уже не будет такой пустой?

ГАЛЕРЕЯ





Фото Геннадия ЧИСТЯКОВА

ТАТЬЯНА ХВОСТЕНКО

ВЕЧЕРА В ПЕСКАХ БЛИЗ МЕЗЕНКИ



ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА ХВОСТЕНКО — ИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК, ЧЛЕН СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕН МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫХ НАУК. НАПИСАЛА РЯД КНИГ ПО ЭНКАУСТИКЕ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЭНКАУСТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ».

В НАУЧНОЙ СРЕДЕ ИЗВЕСТНА КАК СПЕЦИАЛИСТ И УЧЕНЫЙ, ЗАНИМАЮЩИЙСЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ НАУКОЙ В ОБЛАСТИ РЕСТАВРАЦИИ КАМНЯ. ЕЕ МЕТОДАМИ И СОСТАВАМИ ЗА 1975–2000 ГОД СПАСЕНО ОКОЛО ТРЕХСОТ ПАМЯТНИКОВ В РОССИИ И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ.

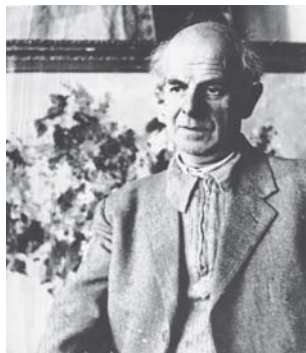
Поселок художников

Как-то в разговоре с Климентом Ворошиловым художники высказали пожелание: хорошо бы создать им условия для работы на пленэре. Ворошилов подхватил эту идею и рассказал И.В. Сталину. Вскоре вышло постановление за подписью И.Уншлихта о выделении участков под дачи для художников в Песках. Здесь, на незаметной станции, в 1934 году началось строительство государственных дач с творческими мастерскими для художников, где они могли бы воспевать героические будни строительства социализма в СССР. Так возник поселок художников в Песках.

Первые дачи строило государство. Они продавались художникам в рассрочку на десять лет, что очень облегчало их оплату. Размер выделяемого участка зависел от статуса художника.

Мой отец одним из первых получил огромный участок вместе с уже готовой дачей-пятистенкой, более похожей на деревенскую просторную избу. Его картины «В.И. Ленин на броневике», «В.И. Ленин среди красногвардейцев», «И.В. Сталин и К.С. Ворошилов на Царицынском фронте» пользовались у зрителей большим успехом, неоднократно репродуцировались. Вскоре их приобрел музей В.И. Ленина.

Рядом с нами были построены еще четыре дачи как экспериментальные: две двухкомнатные и две небольшие, однокомнатные. Дачи имели печки и были пригодны для жилья зимой. Уже в 1935 году в них поселились один из основателей ОСТА Владимир Дюшин с женой, известный в то время портретист Михаил Соколов, художник-декоратор Яков



Художник
Василий Вениаминович
Хвостенко

тый художник Василий Николаевич Бакшеев ездил в Москву со своей скамеечкой, на которую он вставал, чтобы влезть в вагон. Я часто его провожала, неся за ним эту скамеечку.

Как-то летом во время войны я с мамой и Бакшеевым поехали на дачу. В Раменском, пересаживаясь на паровик, мы с большим трудом втиснулись в тамбур. Было около шести часов вечера. Перегруженный поезд был весь увешан людьми, как виноградом. Даже на крышах сидели люди и курили. Машинист никак не мог тронуть поезд с места. Тогда он сделал самодельный рупор и закричал: «Ребята, слезьте на минутку, дайте тронуться с места, а потом опять зацепитесь». Глядя на это, Бакшеев заметил: «Смотри, какая картина, жаль, что никто не рисует».



В.В. Хвостенко. На Царицынском фронте.

ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ БАКШЕЕВ (1862–1958) – ЖИВОПИСЕЦ, АВТОР ПЕЙЗАЖЕЙ, ЖАНРОВЫХ И ТЕМАТИЧЕСКИХ КАРТИН. УЧИЛСЯ В МУЖВЗ НА АРХИТЕКТУРНОМ, ЗАТЕМ НА ЖИВОПИСНОМ ОТДЕЛЕНИИ (1877–1888) У Е.С. СОРОКИНА, В.Е. МАКОВСКОГО, В.Д. ПОЛЯНОВА, А.К. САВРАСОВА. УЧАСТНИК ВЫСТАВОК С 1884 ГОДА. В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ ПРОДОЛЖАЛ ТРАДИЦИИ РУССКОГО ПЛЕНЭРНОГО ЛИРИЧЕСКОГО ПЕЙЗАЖА («ГОЛУБАЯ ВЕСНА», 1930). БЫЛ ОДНИМ ИЗ ОРГАНИЗАТОРОВ ОХР (1927–1928). НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК СССР (1956), ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕН АХ СССР (1947). ЛАУРЕАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ СССР (1943).

БАКШЕЕВ – ПРОДОЛЖАТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ РУССКОЙ ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ САВРАСОВА, ВАСИЛЬЕВА, ЛЕВИТАНА, ПОЛЕНОВА. В ПЕСКАХ ОН ЖИЛ НЕДОЛГО, НО ВСЕ ЕГО ПЕЙЗАЖНОЕ НАСЛЕДИЕ СТАЛО КАК БЫ СИМВОЛОМ СРЕДНЕРУССКОЙ ПРИРОДЫ, ЕЕ СОБИРАТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОМ.

Много раз, бывая на даче Бакшеева, я ходила с ним на этюды в березовую рощу, которую он очень любил. Он всегда брал несколько холстов, натянутых на небольшие подрамники. Сначала делал подмалевки и брал точные цветовые отношения неба, земли, деревьев. После этого тщательно обрабатывал форму, уплотняя цвет и одновременно рисуя. Обычно садился на опушке, брал первым планом несколько берез, сквозь вет-



ви которых было видно солнце и небо. Эти пейзажи украшают сейчас Государственную Третьяковскую галерею и Русский музей. Он не любил эффектные, броские пейзажи, а писал самые неприметные на первый взгляд мотивы, не раз повторяя: «Говорят, в Песках нет пейзажей, нечего писать. Да это же неправда. Кругом красота, надо только иметь глаза и видеть».

В Песках и их окрестностях очень много прекрасных мест для отдыха и работы. В 30-е годы сосновый бор подходил прямо к станции. В нем водились змеи, а мы там собирали белые грибы. Рядом протекала небольшая речка Мезенка, где художники ловили рыбу, а далее шли поля с капустой, в которых орудовали зайцы. Ведь в Песках в 1934-м было всего две улицы: Аптечная и Почтовая. От них в десяти минутах ходьбы через сосновый бор открывался чудесный вид на Москву-реку, на противоположной стороне которой стоял храм, построенный великим зодчим Баженовым. Этот красавец и сейчас украшает село Черкизово, бывшее ранее имением князей Черкасских.

Поселок рос. На первом собрании кооператива он получил название — «Советский художник». Было выбрано правление. Моя мама стала первым председателем правления поселка художников. Вскоре были построены еще несколько дач. И хотя еще долго место, где были построены дачи, считалось глухоманью, паровик ходил редко и ехал медленно, Пески облюбовали многие известные уже в то время художники России. Поселок был огорожен, при въезде стояли ворота с надписью: «ДСК “Советский художник”».

Станция Пески в войну резко изменилась. Ведь только Казанская железная дорога не была перекрыта немцами. Это была единственная ниточка, по которой шли ежеминутно поезда — военные эшелоны, продовольственные. Недалеко от Песков, в городе Воскресенске, срочно стали возводить химические предприятия, для которых нашли местные запасы руды.

Началась вырубка леса. Бывшие имения переоборудовали под госпитали. Шло строительство искусственных морей, так как фронту нужен был хлеб. Все это резко изменило экологию Коломенского района, и только Пески и поселок художников остались неизменны. Все так же прекрасна березовая роща. Жители Коломны и ее окрестностей любят отдыхать здесь. Все так же в лесу полно земляники и грибов, ежи, белки, змеи, зайцы и даже лоси часто посещают художников, а соловьи весной поют свои песни. Уже давно нет тех, кто так любил и воспевал эти места. Остались их дети, внуки, которые тоже стали художниками, архитекторами, музыкантами, учеными, и жизнь в поселке Пески продолжается, а об их предках мы читаем на мемориальных досках, установленных на этих дачах, да картины, украшающие не только Государственную Третьяковскую галерею, Русский музей и другие художественные музеи дальнего и ближнего зарубежья, рассказы-



*В.Н. Бакшеев.
Девушка, кормящая голубей.
1887.*

вают о неприметной станции Пески и поселке художников, где они были созданы. Недавно, побывав в Италии, Франции, я увидела картины и пейзажи всех тех невероятно скромных художников, которые создали их в тиши березовой рощи, полей, Москвы-реки. Я увидела неприметную Мезенку, закаты и восходы на Москве-реке, храм Баженова, солнце, пробивающееся сквозь шумную листву березовой рощи, скошенные поля пшеницы, натюрморты полевых цветов в простых белых вазах, охапки незабудок и кувшинок, кусты сиреней, пастушков, играющих на свирелях, ужасы Великой Отечественной войны и много рисунков с видами Коломенского паровозостроительного завода — все это было создано руками и мыслью небольшого сообщества единомышленников, любивших больше жизни клочок земли под названием Пески, где они осуществляли свои идеи, мысли и чувства, оставив их не только России, но и всему человечеству. И куда бы ни занесла меня судьба, будь то Рим, Венеция, Париж, Вена, Нью-Йорк, Вашингтон или Лондон, везде со стен галерей и музеев на меня безмолвно смотрят прекрасные произведения великих художников России.

ПЕСКИ И ЕГО НАСЕЛЕНИЕ

Александр Васильевич Куприн

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ КУПРИН
(1880, БОРИСОГЛЕБСК – 1960, МОСКВА)

336

ЖИВОПИСЕЦ, УЧИЛСЯ В СТУДИИ Л.Е. ДМИТРИЕВА-КАВКАЗСКОГО В ПЕТЕРБУРГЕ (1902–1904), В СТУДИИ К.Ф. ЮОНА В МОСКВЕ (1904–1906) И В МУЖВЗ (1906–1910). ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ АХ СССР (1954). ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РСФСР (1956). ГЛАВНЫЙ УЧРЕДИТЕЛЬ «БУБНОВОГО ВАЛЕТА».

ПИСАЛ ДЕКОРАТИВНЫЕ НАТЮРМОРТЫ. В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ ОБРАТИЛСЯ К ПЛЕНЭРНОЙ ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ («ТОПОЛЯ», 1927), В ТОМ ЧИСЛЕ К ИНДУСТРИАЛЬНОМУ ПЕЙЗАЖУ.

ПОМИМО ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУПРИН МНОГО СИЛ И ВРЕМЕНИ ОТДАВАЛ ПРЕПОДАВАНИЮ: С 1920 Г. — ВО ВХУТЕМАСЕ—ВХУТЕИНЕ, В МОСКОВСКОМ ТЕКСТИЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ И ДРУГИХ ВУЗАХ (ДО 1952 ГОДА).

СЛОЖНЫЙ ПУТЬ ПРОШ Л В ИСКУССТВЕ ЭТОТ ХУДОЖНИК — ЖИВОПИСЕЦ ЭПИЧЕСКОГО СКЛАДА, В РАБОТАХ КОТОРОГО ОЩУЩАЕТСЯ СТРОГАЯ АРХИТЕКТОНИКА, СВЯЗАННАЯ С БОГАТОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ОДАРЕННОСТЬЮ ЕГО НАТУРЫ. В ПЕСКАХ ИМ НАПИСАНО МНОГО ЭТЮДОВ: «ПЕСКИ. ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ», «ПЕСКИ. МАРТ», «ПЕСКИ. ОСЕННЕЕ УТРО» (ВСЕ — 1939), «ПЕСКИ. ОКРЕСТНОСТИ. ЛЕТО» (1940), «ПЕСКИ. МОРОЗНОЕ УТРО» (1941). ОН ЖИЛ СРЕДИ ЭТОЙ ПРИРОДЫ, МОГ В СМЕНЕ Е НАСТРОЕНИЙ УЛАВЛИВАТЬ СОЗВУЧНОЕ СВОЕЙ ДУШЕ, ПОЭТОМУ ТАК СИЛЬНО ПРОЯВИЛОСЬ В НИХ ЛИРИЧЕСКОЕ НАЧАЛО.



А.В. Куприн с женой и сыном в кругу семьи. Воронеж.

После этюдов мы часто заходили с Бакшеевым на дачу к Александру Васильевичу Куприну. Нас всегда радушно встречали его жена Анастасия Трофимовна и жена Бонч-Бруевича, с которой их связывала большая дружба. Она каждое лето жила в маленьком домике у Куприных. Анастасия Трофимовна приглашала на террасу или в небольшую комнату, на столе всегда стоял самовар и лежали вкусные баранки. Анастасия Трофимовна посылала меня собирать малину с больших, выше

моего роста, кустов или клубнику. За чаем Василий Николаевич с Александром Васильевичем беседовали о живописи, музыке, которую Куприн очень любил и был большим ее знатоком.

В Крыму, где он жил начиная с 20-х годов и до Великой Отечественной войны, он много путешествовал. Ему полюбили песни крымских татар, и Александр Васильевич стал их записывать. Он обрабатывал песни и делал переложения для органа, который специально построил в Московской мастерской в доме Перцева, где он жил. Орган был довольно громоздкий и занимал всю левую сторону мастерской. Рассказав фабулу песни, если у него были слушатели, Александр Васильевич начинал играть. Он играл самозабвенно, покачиваясь из стороны в сторону и закрыв глаза. На даче в Песках у него была небольшая фисгармония и кабинетный черный рояль. Он играл каждый вечер, а когда я приходила к нему с братом Шуриком Грузенбергом, то они исполняли классику в четыре руки.

До войны, в 1939 году, к нам на дачу перебралась семья моего дяди по матери, талантливого графика, архитектора, члена «Мира искусства» Сергея Николаевича Грузенберга. Друг Рахманинова, он сам был прекрасным музыкантом. С моим отцом его связывала крепкая, искренняя дружба. К сожалению, Сергей Николаевич умер в расцвете лет, всего в 32 года. У него было несколько детей, один из которых, Александр, стал известным скрипачом. С ним-то я и ходила к Куприну.

Александр Васильевич любил устанавливать свои натюрморты на рояле. Любимая белая ваза со сколотым краем и поднос, который он писал в разном колорите, послужили для многих его натюрмортов. Среди любимых предметов были также кувшин с синими цветами. Куприн очень любил белое с синим — белые цилиндрические кружки и блюда, тарелки без рисунка, кофейник белый и с орнаментом и несколько подносов. Всеми этими вещами он очень дорожил и, заканчивая натюрморт, ставил их на полку. Полки вдоль стен были сделаны им самим из обструганных широких досок. На стене висели любимый пейзаж Коро «Ветренный день», небольшие пейзажи Крыма, его улочек, домов, «Бахчисарай», «Вечер», «Беосальская долина» 1937 года — с этого этюда он сделал несколько повторений.

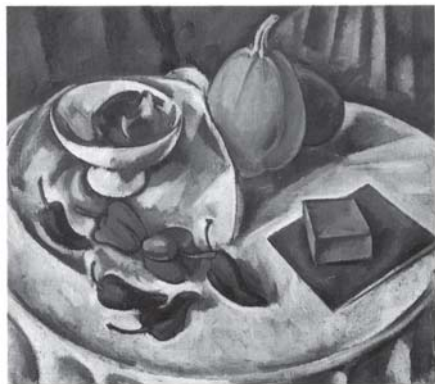
Он дружил с крымскими татарами и часто рассказывал о них. Бахчисарай был его любимым местом, и он каждый год ездил туда работать. Так было после войны.

До войны Александр Васильевич писал краской в протирку, особенно пейзажи, но к старости стал писать очень пастозно и работал подолгу. В Третьяковке есть картина с луной, написанная в этот период.

Куприн писал крымские пейзажи по памяти, используя маленькие этюды.

Он очень переживал, когда татар выселили из Крыма, считал это великой несправедливостью и говорил, что без татар там уже все не то.

Александр Васильевич никогда не покупал масляных красок, а тер сам. Иногда, проходя мимо нашей дачи, он звал нас с собой за железную дорогу в заброшенные карьеры, где раньше добывали камень. Мы лазили по карьерам, собирая охру светлую, темную, красную, сиену коричневую, коричневую типа кассельской, сепию, белую. Александр Васильевич растирал их на мраморной палитре каменным курантом. Из пергамента мы скручивали трубочки, потом выворачивали их так, чтобы получались крупные трубы. Крышечки были из винзоровских красок, и он их зажимал кусочком тонкой железки. На трубу наклеивал этикетку, на которой надписывал название краски, где и когда он нашел пигмент и сколько его использовано. Выкрашивал цвет на тубе. Мы с удовольствием помогали ему. За работу



*А.В. Куприн
Натюрморт с тыквой. 1912.*

и красную рябину. Набрав букет, он ставил его в вазе на гладкий стол. Мазок ложился смело, четко и сразу на место. Он редко переписывал. Ясность, четкость, точность и смелость отличали его от многих других художников. На первый взгляд кажется, что он уходит от природы, но на самом деле все точно вплоть до мельчайших деталей.

На даче Куприн разводил тыквы разных форм, цветов и размеров. Александр Васильевич написал с ними много прекрасных натюрмортов. Он любил писать овощи и плоды, которые вырастил сам. Он раздарили отростки своих слив, приговаривая, что таких больше нигде нет.

Он заикался, особенно в минуты волнения. Я как-то спросила Александра Васильевича, с детства ли это. Оказалось, с тех пор, как во время путешествия при переходе бурной горной речки у него на глазах утонул единственный сын.

Александр Васильевич трогательно заботился обо мне, когда папа и мама в 1941 году оставили меня на время пожить в их семье.

Он был высокоодаренной личностью, вдумчивый, погруженный в свой внутренний мир. Его карие глаза, иногда подернутые грустью, лучились на добром лице с конусообразной седой бородкой. Его жена Анастасия Трофимовна, худенькая курносенькая старушка, подстриженная под горшок, походила на ранние скульптуры Коненкова. Жили они очень дружно и тихо.

Приходя в московский дом к Александру Васильевичу, я погружалась в тишину. Только шаги гулко раздавались в больших пустынных коридорах. К входной двери в квартиру Александра Васильевича была прикреплена табличка с загадочной надписью: «Тот мне друг, кто приходит вечером».

Однажды я спросила, что это означает. Он рассказал, что всегда стремился в Париж, чтобы познакомиться с художниками, походить по музеям. «Раньше многие художники, мой друг, ездили в Париж». И Грабарь, и другие художники много почерпнули там для своего образования и овладения технологией живописи во время встреч с такими мастерами, как Ренуар и Дега. Интерес к технологии повлек в Париж и Александра Васильевича. Ведь работы Лансере, Лентулова 20-х годов, да и Грабаря там прекрасно сохранились.

— Они писали на натянутых грунтах, — рассказывал Куприн, — но я впоследствии стал применять и масляные грунты. Нет общего правила для техники живописи, каждый вырабатывает свой метод письма.

Денег у меня не было, и поэтому я запасся письмами, чтобы мне в Париже помогли недорого устроиться. Это были рекомендательные письма

к известным художникам. Когда я приехал в Париж, то сразу же пошел к одному маэстро с таким письмом. Он открыл дверь, сказал по-французски: «Светло» и закрыл дверь передо мной. Подождав немного и увидя, что дверь не открывается, я пошел к другому маэстро. Повторилась та же история. Так я разнес все письма и в конечном счете остался на улице. Вечером с горя пошел в художественное кафе. Каково же было мое изумление, когда мне навстречу с радостными возгласами направился один из художников, закрывший передо мной дверь.

Оказывается, в Париже среди художников не принято днем ходить в гости. В это время, когда светло, они работают, а уж вечером сидят в кафе, ходят по гостям. Поэтому я повесил эту надпись. Днем я работаю и никогда никого не пускаю.

— А детей? — спросила я.

— Дети мне не мешают, если сидят тихо.

Александр Васильевич никогда не делал вещи напоказ. Подготовленные им для выставки работы зачастую в экспозицию не попадали. Жил он очень скромно: его картины покупали крайне редко.

После войны он часто общался с Александром Александровичем Осмеркиным, который жил на даче Соколова. Осмеркин приходил к Куприну, опираясь на свою любимую трость. Они вспоминали жизнь, «Бубновый валет», спорили о выставках и картинах, но чаще Александр Васильевич играл Рахманинова.

Он ушел из жизни незаметно в 1960 году, вскоре после жены.

Александр Александрович Дейнека

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ДЕЙНЕКА (1899, КУРСК — 1969, МОСКВА) ЖИВОПИСЕЦ, ГРАФИК, СКУЛЬПТОР, МОНУМЕНТАЛИСТ. АВТОР ТЕМАТИЧЕСКИХ И ЖАНРОВЫХ КАРТИН, ПОРТРЕТОВ, ПЕЙЗАЖЕЙ, НАТЮРМОРТОВ. АВТОР ЭСТАМПОВ, ИЛЛЮСТРАТОР КНИГ И ЖУРНАЛОВ. ПЛАКАТИСТ, РИСОВАЛЬЩИК. НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК СССР (1963). ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕН АХ СССР (1947). ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА (1969). ЛАУРЕАТ ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ (1964).

УЧИЛСЯ В ХАРЬКОВСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ УЧИЛИЩЕ (1915–1917), ЗАТЕМ ВО ВХУТЕМАСЕ (1920–1925) У В.А. ФАВОРСКОГО И И.И. НИВИНСКОГО. В 1925 Г. СТАЛ ЧЛЕНОМ ОСТА.

ДЕЙНЕКА ПРИНАДЛЕЖАЛ К ПЕРВОМУ ПОКОЛЕНИЮ СОВЕТСКИХ ХУДОЖНИКОВ. ОЗАРЕННЫЕ ИДЕЯМИ РЕВОЛЮЦИИ, ОНИ СТРЕМИЛИСЬ ВЫРАБОТКАТЬ НОВЫЕ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЭПОХЕ ФОРМЫ. ДЕЙНЕКА ДЫШАЛ ВОЗДУХОМ СОВРЕМЕННОСТИ. ДЛЯ НЕГО НЕ БЫЛО МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ТЕМ. ВСЕ, ЧТО ПРОИСХОДИЛО В СТРАНЕ, НАХОДИЛО ОТРАЖЕНИЕ В ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯХ. СИЛА И ЯРОСТЬ ПОЛОТНА, ДУХ НОВАТОРСТВА ПОСТАВИЛИ ДЕЙНЕКУ В РЯД КРУПНЕЙШИХ СОВЕТСКИХ ХУДОЖНИКОВ.

ДЛЯ КАРТИН ДЕЙНЕКИ ХАРАКТЕРНЫ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ, ЧИСТОТА И ДИНАМИЗМ РИТМИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КОМПОЗИЦИИ, КОНТРАСТНОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПЛАНОВ, КАНОНИЗМ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ. ПОЛОТНА НАПОЛНЕННЫ ОЩУЩЕНИЕМ СТРЕМИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ЖИЗНИ И ВРЕМЕНИ («НА СТРОЙКЕ НОВЫХ ЦЕХОВ», 1926; «БЕГ», 1934; «БУДУЩИЕ ЛЕТЧИКИ», 1938).

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ БЫЛИ СОЗДАНЫ ХУДОЖНИКОМ И В ОБЛАСТИ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ (МОЗАИКИ МОСКОВСКИХ СТАНЦИЙ МЕТРО «МАЯКОВСКАЯ», 1939; «НОВОКУЗНЕЦКАЯ», 1943; ПАННО И РОСПИСИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕАТРА СОВЕТСКОЙ АРМИИ, 1940).

Александр Александрович Дейнека купил дачу в Песках и стал моим соседом. Дом был запущенный, и Александр Александрович со всей энергией занялся его перестройкой. Из двух небольших комнат он сделал мастерскую. На второй этаж лестница вела в светелку, где Александр Александрович любил отдыхать. Большое, во всю стену, окно мастерской, сделанное



по его рисунку, напоминало витрину магазина. Перед окном он посадил голубую ель. Забор Александр Александрович тоже перестроил, сделав штакетник крест-накрест, как дранку под штукатурку. В мастерской у стены стояла тахта с красивым полосатым паласом, который он много раз писал. Известный натюрморт «Гладиолусы» написан на фоне паласа. На полу, на красивом пушистом ковре с розами, обычно лежал, развалиясь, сибирский серый кот. Кроме мольберта в мастерской стоял скульптурный станок. Алек-



*А.А. Дейнека
Подмосковные дачки. 1950-е гг.*

сандр Александрович любил резать скульптуры из дерева. Как-то при мне он сделал по памяти обнаженный женский торс. Иногда он мне говорил: «Ну, дай я посмотрю ногу. Тебе надо бросать живопись, иди в натурщицы. Не женское дело быть художником». Я, тогда ученица Московской средней художественной школы, бурно ему возражала, иногда даже грубила, после чего мы несколько дней не разговаривали.

Потом при встрече он, похлопывая меня по спине, говорил: «Ну, хватит дуться, пойдем пройдемся!»

Мы шли на поляну, где паслись лошади. Срывали траву и кормили жеребят.

Мне было очень интересно наблюдать, как он работал. Сначала делал подробный эскиз. Цветовые отношения брал так точно, что, не задумываясь, все запечатленное в эскизе переносил в картину. Рисунок его был тоже предельно точен. В изображении спортсменов или в многофигурной композиции пропорции, динамика были продуманы до мельчайших деталей. Я помню, как он делал цветной картон для мозаики «Мальчики на пляже».

Художник Г.М. Гордон, который еще молодым вместе с другими работал по эскизам Александра Александровича для парижской выставки, рассказал мне эпизод, характеризующий его как человека крутого и крайне требовательного. С эскиза Дейнеки делали большое панно. Платье на женской фигуре написали смесью кадмия, английской красной и краплака. Пришел Александр Александрович, посмотрел и сказал: «Разве это цвет для платья? Сделайте смесь кадмия с капутмортумом». Заставил все смыть начисто и написать снова.

Он очень любил витражи в пражском храме Святого Витта (XII век). «Знаешь, — вспоминал он, — там даже тени от фруктов сделаны так, будто это не муляжи, а живые плоды лежат на солнце. Буквы на книгах декоративны, яркие. Причем каждый витраж в своем колорите, один — в синем, другой — в фиолетовом, третий — в желто-золотом. И ничуть не разбивают плоскость стены, наоборот, дополняют ее». Дейнека делал свои мозаики тоже цветными, в них было много воздуха, солнца.

Он организовал Московский институт прикладного и декоративного искусства, пригласил замечательных педагогов: Фаворского, Белашову, Козлинского, В.А. Васильева, В.Ф. Васина, П.П. Соколова-Скаля. Работали факультеты стекла, керамики, металла, дерева, монументальной живописи. В институте были хорошо оборудованные практические мастерские, где студенты могли не только учиться, но зарабатывать себе на жизнь. Мы точили хрусталь для люстр, делали металлические изделия способом гальванопластики, а когда Александр Александрович брал большие заказы во флорентийской мозаике, то исполнение поручал студентам. В мастерских были созданы

портреты ученых для конференц-зала нового университета и ряд других работ. Студенты его любили и стремились попасть к нему в мастерскую, хотя он был очень строг, особенно с девушками. Все были огорчены, когда Александру Александровичу пришлось уйти. Говорили, что он не согласился с чьим-то решением принять в институт студента без экзаменов.

После ухода Дейнеки институт вскоре расформировали, а на его базе создали Строгановское высшее промышленное училище.

Из Московского института прикладного и декоративного искусства вышло много хороших художников, скульпторов, прикладников: Андрей Васнецов, Борис Казаков, Алексей Штейман, Мерперт, Борис Милюков, Казарянц, Борис Тальберг, Руслан Кобозев, Игорь Пчельников, Ира Лаврова, Дмитрий Жилинский, Нина Жилинская, Татьяна Соколова, Марта Жидкова и многие другие.

Я не раз обращалась к Александру Александровичу, когда он был президентом Академии, и никогда не получала отказа.

Я помню, как в Академии праздновали его шестидесятилетие. Было очень много народа. Я купила ведро роз — шестьдесят цветов — и подарила ему. Он был очень тронут и, расцеловав меня, сказал: «Ты всегда сделаешь так, что запомнится на всю жизнь».

Вскоре он стал болеть. Его мощная шея на широких плечах так похудела, что от этого он стал казаться ниже ростом. Мощь, которая была так свойственна его облику, сменилась беззащитностью и обреченностью. Он долго не сдавался, но тяжелая болезнь сломила его могучий организм.

Многие наши известные художники, особенно хорошие рисовальщики, занимались скульптурой. Это относится и к Александру Александровичу. Его скульптуры монолитны, пластичны, выразительны. Он говорил: «Хочешь представить, как это будет выглядеть в живописи, вылепи из глины хотя бы маленькую скульптурку. Смотри, твой отец — прекрасный рисовальщик, а почему? Да потому, что он делает барельефы и рельефные миниатюры лучше многих скульпторов-профессионалов». Александр Александрович имел в виду всемирную выставку в Нью-Йорке, для которой папа лепил миниатюрные рельефы из пластмассы. «Возьми Володю Васильева, — продолжал он, — какие прелестные вещи он делает из керамики, как они пластичны, и в то же время в них как бы заложена большая форма, поэтому смотрятся монументально».

Александр Александрович не признавал разделения живописи на жанры и говорил, что настоящий художник должен уметь делать все.

Он остался в моей памяти человеком большой физической силы. У него была фигура спортсмена — широкие плечи с бычьей шеей и узкие бедра. Коренастый, ниже среднего роста, он казался выше благодаря своей выправке. Он носил черные костюмы и туфли на довольно высоком каблучке. Голова чуть продолговатая, огурцом, лысая, крупный нос, серые небольшие, но острые глаза, двойной массивный подбородок. Смеялся Александр Александрович оглушительно, в ряду крупных зубов поблескивал золотой. Ходил он, засунув руки в карманы, и слегка покачивался.

Характер Дейнеки нельзя было назвать ровным. Когда он взрывался, то словно проносилась буря, но довольно скоро наступало затишье.

Как-то, придя в класс, он увидел, что натурщица ежится в залатанном стареньком халате. «Раечка! Почему у вас такой халат?» Она, растерявшись, пробормотала что-то невразумительное. В классе он появился спустя несколько дней с великолепным шелковым халатом в руках. Небрежно кинув его Рае, сказал: «Дорогая, в нем вы будете еще более неотразимой» — и, хлопнув дверью, вышел.

У него было несколько любимых учеников, от которых он требовал полного послушания и покорности. В противном же случае был нетерпим и ироничен. Как-то Боря Пятницын делал мозаику, она не получалась. Он злился, ругался. Вдруг, почувствовав за спиной взгляд, обернулся и увидел беззвучно хохотавшего Александра Александровича. Боря покраснел, а Александр Александрович сказал: «Ну-ну, давай дальше». А увидя, что фигура стоит на одной ноге, ехидно спросил: «А вторая-то будет?» Мы все хохотали, а Борис чуть не плакал.

Несмотря на общительный характер, он редко сходил с людьми по настоящему, так как был очень резок в оценках и не шел ни на какие компромиссы.

Борю Милокова Александр Александрович очень ценил за талант, но независимость Бориных суждений и поступков часто повергала его в ярость.

Я попросила Борю Милокова вспомнить что-нибудь об А.А. Дейнеке, и он рассказал запавший ему в память эпизод.

Дейнека руководил монументальной мастерской в МИПИДИ, где учился Б.Милоков. Александр Александрович взял заказ на роспись двух панно для международной выставки в Брюсселе. Под его руководством и по его эскизам работу выполняли бывшие его студенты, которых он пригласил. Среди них был Борис Милоков. Дейнека поручил ему писать небо с облаками. Панно были очень большими, и Милоков работал на лесах. Сам же Александр Александрович закрасил лужайку перед зданием университета, изображенную на панно, какой-то ядовито-зеленой краской. Боря долго наблюдал за его работой, внутренне не соглашаясь с этим ярким открытым цветом, и всем своим видом пытался показать свое неодобрение. И это не ускользнуло от зоркого глаза Александра Александровича.

— Что, не нравится? — спросил он.

— Нет, — ответил Борис.

— Ну, возьми кисть да поправь!

Когда все ушли, Боря стал подбирать цвет зелени. После долгих поисков он развел красивый сложный цвет холодного оттенка, напоминающий французский, и так увлекся, что записал им весь низ панно. Утром пришел Дейнека.

— Разве это цвет? — ехидно спросил он.

— А что же?

— Говно это, а не цвет, — раздраженно ответил Александр Александрович.

Встав в любимую позу, сложив на груди руки, он даже побагровел от гнева. Это был удар по его самолюбию. Борис поднялся на леса, а Дейнека, увидев, что никто не смотрит, взял кисть и, разведя яркий цвет, мазнул несколько раз по холсту, отошел, посмотрел, да так и оставил записанный Борисом кусок.

Прошло много времени, но годы ученичества у такого мастера, каким был Дейнека, дали свои плоды. Картины Бори Милокова украшают художественные галереи многих стран мира.

Владимир Александрович Васильев

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ВАСИЛЬЕВ

(1895, МОСКВА — 1967, МОСКВА)

ЖИВОПИСЕЦ, ГРАФИК И ХУДОЖНИК ТЕАТРА. УЧИЛСЯ В СТРОГАНОВСКОМ УЧИЛИЩЕ (1910–1918) У А.П. БАРЫШНИКОВА, С.В. НОАКОВСКОГО; В 1925 ОКОНЧИЛ ВХУТЕМАС; УЧЕНИК П.П. КОНЧАЛОВСКОГО. УЧАСТНИК ВЫСТАВОК С 1919 ГОДА В МОСКВЕ. ПИСАЛ В ОСНОВНОМ ЖАНРОВЫЕ КАРТИНЫ И ПЕЙЗАЖИ,

СРЕДИ НИХ: СЕРИЯ УРАЛЬСКИХ ПЕЙЗАЖЕЙ (1925), «РАБОЧИЕ ЗАВОДА «СЕРП И МОЛОТ» У ТАНКИСТОВ» (1932), «СЫН РОДИЛСЯ» (1937), «МОСКВА В 1941 ГОДУ» (1943, СОВМ. С Д.И. ПИМЕНОВЫМ), «ПОСЛЕ ДЕМОБИЛИЗАЦИИ» (1947), СЕРИИ ПЕЙЗАЖЕЙ МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ (1950-Е ГОДЫ), ПАРИЖА (1963); «ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ» (1964). АВТОР РЯДА НАТЮРМОРТОВ («ЦВЕТЫ» — 1948, «ДАЧНЫЙ НАТЮРМОРТ» - 1950 И ДР.), УЧАСТВОВАЛ В СОЗДАНИИ МОНУМЕНТАЛЬНЫХ ПАННО ДЛЯ СОВЕТСКИХ ПАВИЛЬОНОВ НА ВСЕМИРНЫХ ВЫСТАВКАХ В ПАРИЖЕ (1937) И НЬЮ-ЙОРКЕ (1939), ДЛЯ ПАВИЛЬОНА «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КРАЙ» НА ВСХВ (1939).

ОФОРМЛЯЛ И ИЛЛЮСТРИРОВАЛ КНИГИ ДЛЯ ГОСИЗДАТА, ДЕТГИЗА.

ОФОРМЛЯЛ СПЕКТАКЛИ ДЛЯ МОСКОВСКИХ ТЕАТРОВ. ПРЕПОДАВАЛ В МИПИДИ (1945–1952). МВХПУ (С 1952). ПРОФЕССОР (С 1960 ГОДА).

Я часто бывала в квартире у Владимира Александровича Васильева, своего соседа по Пескам. Ученик Андреева, он окончил Школу живописи, ваяния и зодчества как скульптор, но после Великой Октябрьской революции поступил во ВХУТЕМАС, где учился с Петром Вильямсом, Константином Вяловым и другими. Окончив живописное отделение, он получил звание живописца первой степени.

Художник разностороннего дарования, он писал сложно разработанные по цвету и пространству типично московские мотивы: «Хоккей», «Улицы военной Москвы». Портреты отличались деликатностью, а по живописи были звучные и нервные. Картины Владимир Александрович писал долго, продумывая и детально прорабатывая композицию. Вещи его были конструктивны — ничего случайного и никаких излишеств. Какая-то деталь в самом обыденном сюжете очень органично связывала его с событиями современности. Так, в картине «Новое платье» перед зеркалом стоит Дуся в новом платье и в солдатских сапогах — сразу возникает ассоциация с недавно прошедшей войной.

Владимир Александрович любил вертикали и строил на них свои композиции. Даже в этюдах он придерживался этого правила. Я помню, как он писал в Песках березовую рощу, писал очень медленно, но законченная вещь гляделась так легко, будто была написана на одном дыхании. Он любил вертикальные мазки, и даже маленький этюд благодаря им смотрелся как законченное произведение. Работы у Васильева выходили удивительно светлыми, хотя казалось, что его палитра довольно ограничена. Его очень любил А.А. Дейнека, с которым Владимира Александровича связывала не только многолетняя дружба, но и общность взглядов на искусство.

Александр Александрович часто бывал в доме Васильева. Здесь же собирались педагоги МИПИДИ Е.Ф. Белашова, Е.С. Зернова, Козлинский. Спорили, смеялись, говорили об институте, о студентах. Александр Александрович любил рассказывать про себя историю, которая родилась в недрах института.

Как-то на занятиях в своей мастерской он увидел карикатуру: одна из студенток рядом с кряжистым Дейнекой, который ведет за ручку амурчика с палитрой. «Что это значит?» — сурово спросил он. Студенты, сдерживая смех, вынуждены были объяснить. Завуч МИПИДИ Мария Антоновна невзлюбила одну из его студенток и всячески ее притесняла. Та пригрозила, что пожалуется директору Дейнеке. На следующий день после угрозы Мария Антоновна ехидно спросила: «Ну что, пожаловалась?» — «Да». — «Ну и что?» «Он в меня влюбился», — серьезно ответила студентка. Мария Антоновна, приняв за правду это заявление, оставила ее в покое. Зато студенты с любопытством наблюдали за развитием «романа». Девушка сказала, что Александр Александрович от нее без ума и собирается подарить ей «Волгу» черного цвета, только она хочет голубую. Потом сообщила, что ждет ребенка. И ребенок родился. Он уже начал писать, и Александр Алек-

сандрович этим очень гордится. «А дальше что?» — спросил заинтригованный Александр Александрович. Последовало продолжение. «Я очень честолюбивая, — сказала сокурницам студентка, — а Александр Александрович теперь уже не директор МИПИДИ. Директор же Алешин не в моем вкусе». Мария Антоновна принялась за свое. Но «жаловаться» к Алешину студентка не пошла, так как не хотела изменять своим привязанностям.

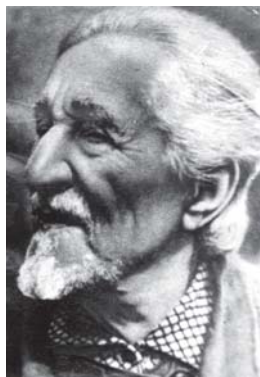
Этот рассказ вызвал у педагогов хохот.

В доме Владимира Александровича жила девушка Дуся, помогавшая по хозяйству. Она послужила моделью для многих хороших портретов и картин: «Молодая семья», «Портрет Дуси». Как-то за столом Александр Александрович, рассказывая о Рафаэле, забыл название картины. «Это “Сикстинская мадонна”» — сообщила Дуся, подавая жареного гуся. Александр Александрович воскликнул: «Володя! За вашу Дусю пять француженок отдам!»

Владимир Александрович преподавал в МИПИДИ композицию, потом был заведующим кафедрой керамики в Строгановском училище. Умный, добрый и светлый художник, говорили о нем его ученики. Он никогда не рисовался, был всю жизнь самим собой, а его искусство удивляло и радовало.

На даче в Песках на террасе лежал декоративный керамический лев. Его сделали в подарок Владимиру Александровичу ученики под руководством Ватагина.

Сейчас в квартире живет одна Елена Николаевна. Она очень стара, совсем ослепла, а эта некогда великолепная квартира стала похожей на склад, и только шкаф-горка, где стоят вперемежку скульптурки Владимира Александровича со скульптурками животных Ватагина, напоминают о прошлой жизни семьи Васильевых.



Алексей Никанорович Комаров

АЛЕКСЕЙ НИКАНОРОВИЧ КОМАРОВ (1879, С. СКОРОДНОЕ ЕФРЕМОВСКОГО УЕЗДА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ – 1977, ПЕСКИ. КОЛОМЕНСКИЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ).

ХУДОЖНИК-АНИМАЛИСТ. ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РСФСР.

РОДИЛСЯ ВНЕБРАЧНЫМ СЫНОМ ПОМЕЩИКА П. Ф. РОЗЕТТИ И ЕГО ЭКОНОМКИ, КРЕСТЬЯНКИ Д. К. ИНШАКОВОЙ. ВОСПИТЫВАЛСЯ СЕСТРАМИ ОТЦА, СВОИМИ ТЯЯМИ – ЕКАТЕРИНОЙ ФЕЛИКСОВНОЙ, ДАРЬЕЙ ФЕЛИКСОВНОЙ И МАРГАРИТОЙ ФЕЛИКСОВНОЙ.

ДЕТСТВО КОМАРОВА ПРОШЛО СНАЧАЛА В ИМЕНИИ В ДЕРЕВНЕ, А КОГДА ОН ПОДРОС И ПРИШЛО ВРЕМЯ УЧИТЬСЯ, Т ТИ ВМЕСТЕ С НИМ ПЕРЕЕХАЛИ В ТУЛУ, ГДЕ СНЯЛИ КВАРТИРУ СНАЧАЛА НА ПАВШИНСКОЙ, А ЗАТЕМ НА РУБЦОВСКОЙ УЛИЦЕ. УЧИЛСЯ В ТУЛЕ В ЧАСТНОЙ ШКОЛЕ А. Н. КОНОПАДСКОГО И РЕАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ, ЗАТЕМ В МОСКВЕ В УЧИЛИЩЕ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА. УЧИЛСЯ У СТЕПАНОВА, РАБОТАЛ ВМЕСТЕ С СЕРОВЫМ, ДРУЖИЛ С ЛАНСЕРЕ, БАКШЕЕВЫМ, КУПРИНЫМ, ДЕЙНЕКОЙ, ЛЮШИНЫМ, АНДРЕЕВЫМ И МНОГИМИ ДРУГИМИ ВЫДАЮ-

ЩИМИСЯ ХУДОЖНИКАМИ.

А. Н. КОМАРОВ МНОГО РАБОТАЛ, УЧАСТВОВАЛ В ВЫСТАВКАХ, ИЛЛЮСТРИРОВАЛ ЖУРНАЛЫ И КНИГИ, ВЫПОЛНЯЛ РАЗЛИЧНЫЕ ЗАКАЗЫ. ОН МНОГО ПУТЕШЕСТВОВАЛ. ПОСЕТИЛ ШВЕЦИЮ. БЫЛ НА СЕВЕРЕ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ, НА УРАЛЕ, В АСТРАХАНСКИХ СТЕПЯХ, В СРЕДНЕЙ АЗИИ, НА АЛТАЕ.

КАРТИНЫ А. Н. КОМАРОВА УКРАШАЮТ ЭКСПОЗИЦИИ И ХРАНЯТСЯ В ФОНДАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ ИМ. К. А. ТИМИРЯЗЕВА, ГОСУДАРСТВЕННОГО ДАРВИНСКОГО МУЗЕЯ, ЗООЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ МГУ, МУЗЕЯ КОНЕВОДСТВА, ЛИТЕРАТУРНОГО МУЗЕЯ И ДРУГИХ МУЗЕЕВ РОССИИ.

ПО УЧЕБНИКАМ, КОТОРЫЕ ИЛЛЮСТРИРОВАЛ КОМАРОВ, УЧИЛИСЬ МИЛЛИОНЫ СОВЕТСКИХ ДЕТЕЙ; ОН ВСЕГДА БЫЛ ДОБРЫМ УЧИТЕЛЕМ И СПУТНИКОМ, ХОТЯ ВОКРУГ ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЙ НИКОГДА НЕ БЫЛО ШУМНЫХ ДИСКУССИЙ. НЕКОТОРЫЕ ДАЖЕ СЧИТАЛИ, ЧТО ОН ЧЕРЕСЧУР АКАДЕМИЧЕН, НЕ ПОРАЖАЕТ НОВИЗНОЙ ПРИ МОВ. НО ЕСЛИ ВНИМАТЕЛЬНО ВГЛЯДЕТЬСЯ В ЕГО РАБОТЫ, МОЖНО УВИДЕТЬ, КАКОГО ВЫСОКОГО МАСТЕРСТВА ДОСТИГ ЭТОТ ХУДОЖНИК, КАКИЕ НЕПРЕХОДЯЩИЕ ЦЕННОСТИ ОН ПОДАРИЛ СВОЕМУ НАРОДУ.



А. Машард

Алексей Никанорович был страстным садоводом. С женой Натальей Александровной они вывели много новых сортов цветов и деревьев. Огромный сад по весне источал немыслимые ароматы, сравнимые разве что с райскими. Всюду цвела махровая сирень нежнейших оттенков — от темно-фиолетового до блекло-кремовых тонов. Летом буйствовали пионы, маки, лилии. Над садом летало и жужжало несметное количество пчел, жучков и мошек. Посередине дорожки, ведущей к дому, лежал огромный питон, пугая новичка в саду Комаровых, пока не выяснялось, что он сделан из камня. Среди цветов высшалась скульптура какой-то диковинной птицы. По двору, распушив хвосты, гуляли павлины и фазаны. Визитеров встречал разноголоный хор собак различных окрасов, размеров и пород. Поблизости козы шипали траву. У Алексея Никаноровича была даже лошадь. В бассейне плавали всевозможные рыбы, в центре его среди камней стояла на одной ноге сделанная из дерева цапля. Что ни шаг, то сюрприз.

Небольшой, утопавший в цветах домик с огромным, на весь фасад, окном служил мастерской. Стены и фронтоны были украшены скульптурами животных. У входа лежал огромный каменный медведь, а под козырьком крыльца висели клетки с канарейками.

Несколько клеток с поугаями висело в мастерской. Вдоль стен в небольших застекленных шкафчиках хранилась прекрасная коллекция восточных редкостей, среднеазиатских украшений с сердоликами. На стенах висели древние миниатюры на шелке, картины самого Алексея Никаноровича. Лисы, зайцы, медведи, написанные маслом и акварелью, были выполнены с большим чувством и знанием природы. Медведь, забравшийся на дерево за медом, выглядел так реально, что казалось, сейчас пчелы вылетят из дупла. Работы отличались мягкостью, плавностью формы и реалистической выразительностью изображаемых животных.

Алексей Никанорович, как и Ватагин, много путешествовал по Востоку.



Пески. Москва-река. Вдали церковь, построенная великим зодчим Баженовым. 1940 г.

Как-то он показал мне свои акварели 20–30-х годов. Это были пейзажи Востока, сделанные темперой, очень красивые и мягкие по цвету. В них ощущались зной и истома, присущая небольшим восточным городкам. Люди в пестрых одеждах, арабы с осликами, мечети, узкие улочки — все пропитано солнцем, светом, воздухом, какой-то легкостью. Хотя этюды довольно больших размеров — 80х60, 70х60, все детали тщательно прописаны и при этом общий характер работ не утерян.

Когда я бывала в Песках, всегда заглядывала к Комаровым. Мне всякий раз вручали букет цветов. Придя домой, я ставила натюрморт и писала.

Алексей Никанорович был высокого роста, худощавый, ходил в холщовой толстовке. Его седые волосы вились крупными кудрями. Лицо продолговатое, нос с горбинкой. Когда он улыбался, то вокруг его серых ясных глаз образовывались частые морщинки. Подбородок оканчивался седым клинышком. Говорил Алексей Никанорович тихо, монотонно, медленно. Всегда расспрашивал о семье, о папе, которого очень любил и уважал.

До последних дней у него была светлая голова, хорошая память. Незадолго до его смерти я навестила его. Он сидел за столом, прямой, и смотрел на птичек, у которых вывелись в клетке птенцы. Алексей Никанорович сокрушался, что не может рисовать. Рассказывал о Монголии. Просил меня привезти мою дочку Машеньку, спрашивал, как она выглядит. Он умер, не дожив одного года до ста лет.

С 1935 года он жил в Песках почти не выезжая. В редких случаях ездил в издательство в Москву. Он любил Пески и говорил мне, что настоящий художник должен быть вдалеке от мирской суеты, тогда его творчество будет развиваться.

P.S. В заключение хочу поблагодарить моих родных, знакомых и друзей за помощь в оформлении материалов и предоставлении из их семейных архивов сохранившихся писем, записей и большого иллюстративного материала, который не только обогатил эту статью, но сделал ее уникальной, так как почти все иллюстрации и многие сведения о жизни и творчестве художников, о которых я пишу, нигде не были опубликованы.





ТРАДИЦИОННЫЕ БЕРЕГА

Что такое Подмосковье? Странный, казалось бы, вопрос. Но после шумной столицы подмосковные городки и деревни, дали и реки представляют собой для души настоящее отдохновение, возвращение к своей первородной сущности — природному бытию и милому национальному устройству. Подмосковье — это художнический мир красок, который впитан еще с детских сказок и чистых мечтаний.

Вся русская живопись выросла на берегах реки Вори, что неслышно течет под Абрамцевом. Ну что, в самом деле, нашли в этой тихой речушке, берега которой заросли кустами и плакучими ивами? А нашли, если говорить высоким стилем, русский идеал красоты. Идеал пронзительный, светло-печальный, таинственный и прекрасный. Действительно, для нас край неба — за первым углом.

Для графика Сергея Харламова Подмосковье — малая родина и нечто большее — судьба и жизнь. Он с улыбкой вспоминает, как со своим другом однажды в молодости проделал путешествие от родной Каширы до Коломны, сначала на окском катерке, а обратно шестьдесят километров пешком, но за два дня. Тогда я его спросил: «К чему такие пешие подвиги?». Он, не раздумывая, ответил: «Я же художник, мне было интересно».

От таких впечатлений детства и юности сохранилась в Сергее Михайловиче, который недавно отметил свое 60-летие, радость жизненного оптимизма, светлой веры в Россию и в ее людей. Дружа с ним более двадцати лет (к тому же он мой крестный отец), лишь однажды, да и то недавно, по телефону я в его голосе уловил какую-то тос-

ВАДИМ ВАЛЕРИЕВИЧ ДЕМЕНТЬЕВ РОДИЛСЯ В 1950 ГОДУ В ВОЛОГДЕ. ОКОНЧИЛ ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ МГУ И АСПИРАНТУРУ АКАДЕМИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК. КАНДИДАТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК.

АВТОР ЧЕТЫРНАДЦАТИ КНИГ, ПОСВЯЩЕННЫХ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ РОССИИ, РУССКОЙ ПОЭЗИИ. ЛАУРЕАТ ПРЕМИЙ ИМЕНИ МАКСИМА ГОРЬКОГО И НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО.

ЖИВЕТ В МОСКВЕ.

ку. «Что так, Сергей Михайлович?». И опять в ответ: «Я же художник, мне и погрустить надо».

То молодое путешествие Сергея Харламова из «варяг в греки», из Кашеры в Коломну состоялось в 1961 году, а в 1996 году, то есть спустя ровно тридцать пять лет, в коломенском Кремле с большим успехом прошла персональная выставка заслуженного художника России, руководителя творческой организации художников всего Подмосковья Сергея Харламова.

«Коломенский альманах» тогда не успел написать о вернисаже, хотя и воспроизвел на обложке одного из номеров гравюры Харламова. Но почему бы коломенцам не узнать о своем почти что земляке, если признать соседство с Каширой и Окой, более подробно, тем более что художники Коломны любят Сергея Михайловича, а сам он всегда с радостью говорит о своем друге, коломенском живописце Михаиле Абакумове.



Иллюстрация к книге Д. Свифта
«Путешествие Гулливера».
Гравюра на дереве. 1982 г.

348

ВАДИМ ДЕМЕНТЬЕВ

К тому же и повод имеется (а в случае с Харламовым можно и без повода). Недавно в издательстве «Советский писатель» при участии фирмы «Большая Полянка» выпущен прекрасный его альбом «Зримые ступени», куда вошли репродукции всех знаменитых работ и опыты в прозе — рассказы, воспоминания, дневники. Этот альбом представляет собой предварительный (и первый еще, слава Богу) итог жизни в искусстве Сергея Харламова.

За этим подарком я как-то осенним вечером и отправился к Сергею Михайловичу в мастерскую. Она располагается в самом центре Москвы. «Располагается» — красиво сказано, а вернее будет — уютится на чердаке в доме дореволюционной постройки на улице Малая Бронная. В наши молодые годы можно было подойти к глухой стене брандмауэра и, если в единственном оконце под крышей горел свет, смело подняться на пятый этаж, по темной лестнице вскарабкаться на чердак и бухнуть в обитую железом дверь: не спи, не спи, художник!

А он здесь почти и не спал, трудился в тишине и уединении, кропотливо и сосредоточенно резал пластины дерева и линолеума. Рядом стоял печатный станок, и бумажные листы-оттиски, хранящие тепло рук и остро пахнущие краской, осторожно поднимались хозяином, преобразенные

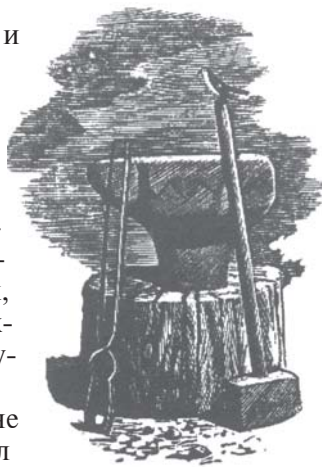


Иллюстрация к книге
«Кантелетар».
Гравюра на дереве.
1985 г.

в гравюру. Впрочем, Сергей Харламов по своей доброте душевной и по традиционному подмосковскому гостеприимству друзьям всегда был (и остается) рад.

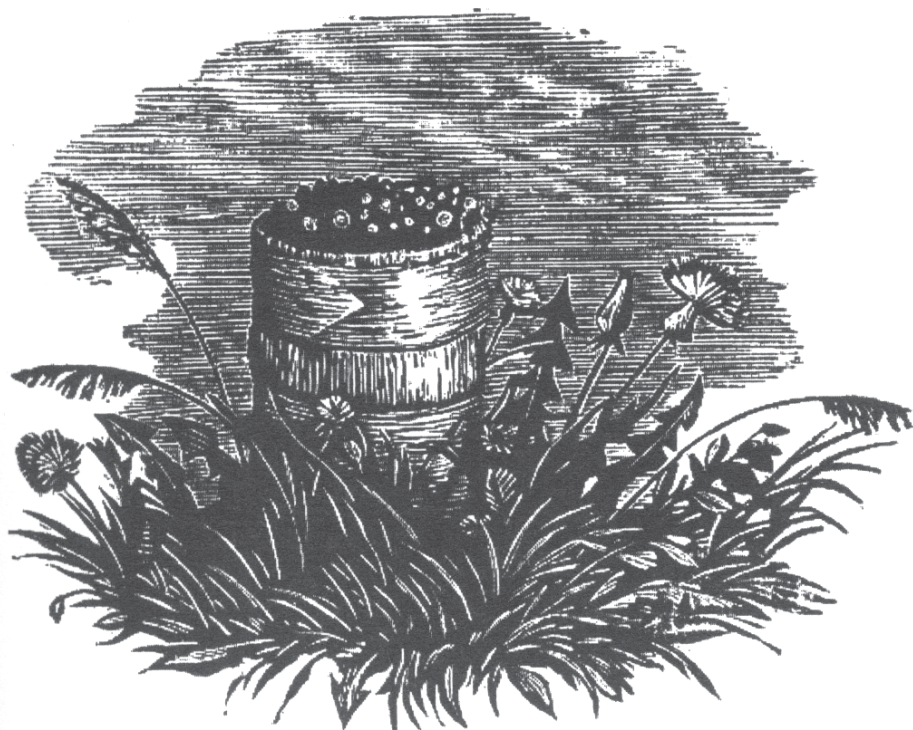


Иллюстрация к книге «Кантелетар». Гравюра на дереве. 1985 г.

Немногое изменилось с тех пор на Малой Бронной, но появилось нечто существенное. На пересечении с Садовым кольцом вырос новорусский дом в форме пышного американского торта, с каменными «рюшками» и колоннами, на макушке которого воздвигнута копия памятника III Интернационалу Татлина. Казалось бы, трудно что-то нелепее придумать: новорусско-американский ампир и революционная модерняга на крыше. Но присмотревшись, вдруг видишь, что это всего лишь архитектурный перифраз иоафановского проекта здания Дома Советов на месте взорванного храма Христа Спасителя. Только вместо циклопической скульптуры Ильича на вершину здания воткнута татлинская бредовая спираль, олицетворяющая мир «без границ и отечеств». Если прежде она символизировала победу пролетариата, то теперь — всемирное торжество буржуазии, хотя цель, как выяснилось, одна и та же.

Нет и мансардного оконца в мастерской Харламова. К брандмауэру пристроили такой же крутой аляповатый дом, но строители, чуть не лишившие художника главного — дневного света, все-таки нашли выход: теперь в мастерской на потолке, то есть на крыше, аккуратно вмонтированы два окна-люка.

В одной из литературных миниатюр Сергея Харламова имеется схожий образ, пришедший к художнику из детства, когда он, мальчишка, залез

вечером в деревенский разрушенный храм на берегу Оки и там, среди следов запустения, вдруг, задрвав голову, увидел над собой звезды. «Это было так неожиданно, — пишет далее автор, — так удивительно, что было похоже скорее на чудо». В храме-мастерской художника звезд не видно, но над ним все то же русское небо.



Иллюстрация к книге «Кантелетар». Гравюра на дереве. 1985 г.

«Сердцем помню только детство, все другое — не мое», — писал Бунин. Вот и в воспоминаниях Харламова о своих ранних годах немало таких сердечных, точнее сказать, *чисто-сердечных* примет. Здесь и «самая красивая для меня река в мире» Ока, и походы с деревенскими мальчишками в ночное в селе Кременье, и внезапно посетившее ощущение неземной красоты первого увиденного в жизни храма Рождества Богородицы XVIII века. Для Харламова определяющими стали не бытовые подробности, а духовные начала его биографии.

Отсюда проистекает название книги-альбома Сергея Харламова — «Зримые ступени». Митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим в своем предисловии «расшифровывает» название: «“Зримая ступень к христианству” — ведь именно так опре-

деляют для себя суть гравюр С.М. Харламова те, кто ценит его творчество».

Ценят многие, в том числе и читатели книг русской и мировой классики. «Выхватить» образ из текста, облечь его в изобразительную плоть, в эскиз, да не в один, немало покорпеть, согнувшись над деревянной доской, чтобы вырезать до малейшей детальки-штриха, какой-нибудь загогулилки, основу гравюры, прокатать ее валиком с краской, закрепить посредством станка с бумагой и тем самым «оживить» портрет того или иного персонажа книги или пейзаж — это и есть мастерство художника-графика, работающего в технике ксилографии. Многогранное мастерство, где необходим запас долгого и терпеливого вдохновения. Это не росчерк карандашом или скорый акварельный мазок.

В книге-альбоме Сергея Харламова, ставшим удивительно современным пособием на тему «что такое подлинное искусство», не один раз варьируется одна и та же мысль-озарение, продуманная автором до конца. Приведу ее целиком: «В основе русского реалистического искусства заложено образное видение мира. Спаситель явился нам в образе богочеловека Иисуса Христа. И в этом образе заключена вся полнота жизни, видения мира. Мир воспри-



Дон Кихот. Гравюра на линолеуме. 1972 г.

лексии, с которой многие современные художники относятся к новациям, к рыночному изобилию идей и идеалов, которые, казалось бы, можно примеривать и выбирать на любой вкус, только бы «разложил товар купец». Кому сегодня нужен настоящий художник? С кого брать пример? С Никаса Сафронова, пишущего монструозные портреты — что тебе Дудаев, что Путин... С Александра Максовича Шилова, сделавшего своей профессией «гонения» на себя, любимого? С Глазунова? Или с толпы несчастных рыночных мазил-торговцев? А может, податься к доморощенным новаторам, вечным прогрессистам?

У настоящего художника всегда свой путь, и зачастую драматический. Он недоступен звону злата и выстрадан духовно. Сергей Харламов в этом смысле рано определился, и дальнейшие его поиски были осознанными. Он, в отличие от некоторых своих коллег, знал, что искал.

Во-первых, ему повезло со временем. Брежневское двадцатилетие стало, как ни парадоксально это звучит, временем расцвета русского искусства. Культура после десятилетий «новаций», когда художника буквально ломали через колено, испытывали на физическую и духовную прочность, вошла в свои традиционные берега. Впервые за весь XX век отечественный деятель искусств мог спокойно и не спеша работать. Да еще за сытый государственный счет, да еще поплеывая в дарующую руку.

нимается единой идеей, которая заключена в словах Спасителя: «Я есмь и истина и путь и жизнь».

Абстрактное искусство лишено образа, оно безобразно (и потому — безобразно) в прямом смысле этого слова. Разница принципиальная. Так что в данном случае совсем не безразлично, какие идеи выражает художник в своем творчестве, каким является его взгляд на мир — образно-христианским или безобразно-антихристианским. Поэтому, как бы ни были красивы, гармоничны по ассоциациям композиции Кандинского, они мне чужды как произведения антихристианского мировоззрения».

Сказано это с убежденностью, строго и без той размагниченной реф-



Сергей Харламов

Советская живопись тех времен являлась, пожалуй, самой сильной в мире. Какие имена, направления, какие школы! Большинство «мэтров» прошли свои бесплатные университеты через ЦХШ (Центральную художественную школу) и московские художественные институты, учились как минимум лет десять. Были созданы мощные худфонды, целые комбинаты искусств. Функционировали практически за копейки для художников дома творчества, академические дачи, где члены СХ работали и жили месяцами. Организовывались сотни выставок: от «государева» Манежа в центре Москвы до авангардных подвалов на Малой Грузинской. Художник был уважаемой и почитаемой фигурой в стране.

На страницах книги-альбома вспоминается так называемый *суровый стиль*, определявший тогда ведущее направление искусства. По сравнению с нынешним временем ничего там особо «сурового» не было, просто такие художники, как Попков, Андронов, Оссовский и многие другие внутренне отталкивались от чрезмерного пафоса в отображении жизни, их не устраивала ложная бравадность в показе будней. Но их «правда» оказалась приземленной в силу своего отрицания. Их герои были не менее плакатны, ибо были лишены духовных начал.

Такая спорная «суровость» недолго царствовала. Не знаю уж, время тому виной или сам талант художников, но каждый из них удивительно мощно и зримо о себе заявил только найдя свою серьезную тему, которая так или иначе была связана с судьбой народа, с национальными основами. Виктор Попков обрел себя после знаменитого цикла «Мезенские вдовы», Оссовский стал эпическим певцом державного Кремля, а Андронов — лирико-эпическим мастером северного пейзажа.

Сергей Харламов как художник является здесь не исключением, а правилом. Он «нашел себя в себе самом и не терял из вида» с того момента, как понял: «Сюрреализм, увлечение молодости, дает много искусственных подпорок для того, чтобы работа была зрелищной, интересной, здесь возможна масса всяких метафор, ассоциаций, ребусов. А вот в нашем искусстве, если серьезно относиться к изображению русской жизни и мировоззрению, все это никак не идет. Все это отлетает в сторону, и ты остаешься один на один со своей душой». И далее он уточняет: «Я убежден в том, что путь любого художника, писателя, поэта, музыканта — это не метания от соблазна к соблазну, а путь от земли к небу».

В скором самоопределении Сергея Харламова большую роль сыграли его учителя. Он их слова, что называется, ловил на лету, любит вспоминать их наставления и по сей день. В книге-альбоме приведен отзыв наиболее почи-



Война. Гравюра на линолеуме. 1969 г.

353

таемого Сергеем Харламовым мастера-графика Ф.Д. Константинова. Среди его точно выверенных характеристик, общих рассуждений (но всегда на тему), читаем и прямо-таки по-отечески заботливые слова: «Мне как-то хотелось сказать С.М. Харламову: “Представьте себе воздушный шар, на котором следует подняться еще выше. Что для этого надо? Сбрасывать лишний груз... Так иногда и художнику стоит освободить от перегрузки главную тему композиции”. Очень хорошо, что у Харламова есть полная возможность поднять свои произведения на большую высоту».

Другой старший сотоварищ графика, к советам которого он прислушивался, Николай Третьяков, очень точно определил художественный метод, которому следует Харламов, — «одухотворенный реализм». «В его личной судьбе решающее значение имело обращение к Церкви. Не поиски столь модной ныне среди “раскрепощенной” демократами абстрактной духовности, а прямое и непосредственное, жизненное обращение к Православной церкви». Причем, добавлю, что оно, это обращение, произошло еще в середине 70-х годов и стало отправной точкой для духовного роста Харламова-художника.

В судьбе С.М. Харламова немалое значение имела и творческая среда. Она у графика была самая что ни на есть благодатная. Свой круг имелся не только среди живописцев, но и среди писателей, причем среди писателей первого ряда: от Леонида Леонова до Владимира Солоухина.

Художественный дар Сергея Михайловича наиболее ярко проявлялся в

иллюстрировании книг, а книгоиздание в те десятилетия переживало настоящий подъем: и по количеству названий, и по тиражам, читательскому интересу, и, наконец, что в данном случае немаловажно, по культуре оформления.

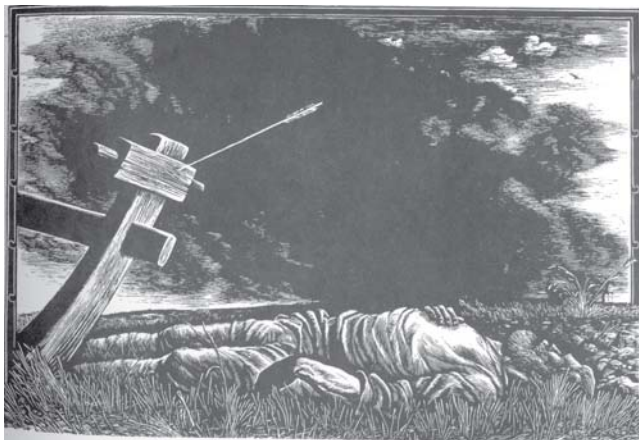
Мне не раз доводилось писать о творчестве Харламова, быть автором предисловия к его альбому линогравюр «Отечественная война 1812 года» (1987). Этот альбом продолжал его знаменитые «большие серии», куда вошли до этого циклы «Русские писатели XVII–XIX вв.» (1973) и «На поле Куликовом» (1980), а позднее «Преподобный Сергей Радонежский» (1992). Сейчас художник работает над масштабным циклом «Русские святые», впервые представленном отдельными работами на Всероссийской художественной выставке «Имени Твоему» (к 2000-летию христианства).

Перелистывая страницы новой книги, наиболее полной, куда вошли и отзывы о художнике, и его работы, начиная с конца 60-х годов, когда он закончил Строгановку, и литературные миниатюры — рассказы, воспоминания, дневники, видишь воочию весь масштаб дарования и личности Сергея Михайловича, его завидную художественную судьбу.



Пан и Вила. Гравюра на линолеуме. 1970 г.

Вспоминаю, как, работая в издательстве «Современник» заведующим национальной редакцией, уговорил Сергея Михайловича в начале 80-х годов проиллюстрировать свод карело-финских лирических песен «Кантелетар». Он представляет собой как бы дополнение или даже органическую часть известного всем эпоса «Калевала». О сборнике



Смерть пахаря. 1978 г.

«Кантелетар», составленном, как и «Калевала», выдающимся ученым-фольклористом Элиасом Леннротом, в русской литературе как-то забыли, хотя песни «Кантелетара» пользуются в Финляндии даже большей популярностью, чем руны «Калевалы». Переводить их взялись Юрий Кузнецов и Николай Старшинов, а вот уговорить проиллюстрировать «Кантелетар» Сергея Харламова стоило мне большого труда. У него тогда скопилось немало издательских заказов и обязательств, а здесь предстояла многотрудная работа на новом, неизвестном художнику материале. Да и ответственность огромная — как-никак книга является фольклорным шедевром близкого нам народа, впервые издается на русском языке. Но я, честно говоря, не видел для нее другого художника, кроме Харламова, учитывая лирический характер книги, ее ярко выраженные национальные особенности.

Наконец, к моей радости, Сергей Михайлович «сдался», договор с ним был заключен. И по командировке издательства художник отбыл в Карелию, чтобы проникнуться песенным карело-финским духом. Странствовал он там по лесам и озерам достаточно, делая зарисовки и эскизы (так же он ездил на Украину, когда иллюстрировал Н.В. Гоголя). Не буду отбивать у него хлеб в пересказе его карельских впечатлений, надеюсь, Сергей Михайлович и сам об этом еще напишет, как это он — лаконично, высвечивая только суть, — умеет делать.

Книга довольно быстро вышла в 1984 году, отлично иллюстрированная художником: от заставок, буквиц до полосных гравюр на дереве. Мне было любопытно взглянуть на работу Харламова и еще вот по какой причине: сам вологжанин, влюбленный в Север и Карелию, я думал, как он выстроит материал, как его истолкует. Получилось мастерски: книга была наполнена искусным узорочьем, украшена как мелкой пластикой, так и крупными картинками — лирическими пейзажами. Она сама по себе как бы пела, звучала, создавая настроение то размеренности крестьянского труда, то радости общения с природой. Взгляд Сергея Харламова столь проник в *другую* культуру, пусть и близкую нам, русским, что подмечал и разнотравье северных лугов, где каждый цветок и стебель выписаны наособицу, и спелый блеск клюквы в берестяном туесе, и разнообразные контуры парения птиц (как-то

ему Леонид Леонов попенял, что у него птицы выглядят статично), и особенно мной любимые камни-валуны, выглядывающие из воды, в белесых подтеках от чаек, — такая зримая примета северного пейзажа, оставшаяся до Харламова в живописи и рисунке никем «не увиденной».

Что касается лирического мастерства в отображении природы Сергеем Харламовым, то мне здесь более всего нравятся его иллюстрации к книге Михаила Пришвина «Я встаю в предрассветный час» (1979). Писатель действительно вставал почти ежедневно в четыре утра, садился за самовар, пил чай и набело расшифровывал в своем дневнике вчерашние дневные записи, и так пятьдесят с лишним лет. Такая пришвинская приметливость, внимание к чудесным откровениям природы свойственны и графике Сергея Харламова. Я неоднократно бывал в подмосковном Дунино, где жил в последние свои годы Пришвин, и могу подтвердить, что как изобразил Сергей Харламов, так оно и есть: и шуга, бесшумно плывущая по темной воде Москвы-реки мимо ровных, как бы подстриженных, полушарий ив, и легкий туман, словно вытекающий с полей в сырые и темные леса, и узловатые стволы елей, вековых деревьев, которых немало в окрестностях Дунино.

Подмосковную природу, среднерусскую равнину Сергей Харламов ощущает по-особому проникновенно. На этой почве, мне кажется, и завязалась дружба Леонида Леонова с Сергеем Харламовым, когда он пришел к писателю с намерением иллюстрировать его раннюю прозу. Впрочем, приязнь это связано и с иными побуждениями и реалиями судьбы. Великий писатель был в молодости дружен и знаком с художниками Остроуховым и Кардовским, с Фалилеевым (одним из лучших мастеров цветной линогравюры) и Яр-Кравченко. В конце жизни такое участливое внимание как бы откликнулось на Сергее Михайловиче. Кроме того, Леонов был одинок, ему хотелось выговориться не перед литературоведами и другими вполне книжными людьми, которые его окружали в 80–90-е годы, а перед таким мастеровым человеком, тонким художником, как Харламов.

Хорошо, что Сергей Михайлович записал разговоры с автором «Пирамиды», бережно их сохранил и опубликовал в книге-альбоме. Его заметки о Леониде Леонове, как ни о ком другом, проникновенны и грустны, лаконичны и приметливы на детали. Можно добавить только немного, что осталось в нашей с Сергеем памяти. И это будет к месту, как дополнение к его книге.

Вместе с Сергеем Харламовым мы августовским жарким днем хоронили Леонида Максимовича. Ни госкомиссий, ни особой помощи власть имущих не предвиделось: госчиновничество ушло в отпуск, а писательское руководство полуустранилось — привыкли числить Леонова бессмертным.

Эти два дня запомнились нам на всю жизнь. С утра безразличные ко всему столичные чиновники предлагали захоронить Леонида Максимовича на Ваганьковском кладбище, где покоятся его жена и Сабашниковы; днем вместе с дочерью писателя Натальей Леонидовной я выбирал бедноватый гроб, выслушивая хамство работников «погребальных услуг»; после обеда ездили, выстаивая в душных автомобильных пробках, на Новодевичье (получили все-таки разрешение!), где нам показали «квадратно-гнездовой» спо-

соб захоронения (а я-то, наивный, думал, что будет лежать Леонид Максимович у монастырской стены, у берез). А вечером, чуть ли не в шесть часов, выяснилось, что в ЦДЛ, где должна была состояться гражданская панихида, никто палец о палец не ударил, чтобы подготовиться к утру Большой зал.

На следующий день состоялось отпевание Леонида Максимовича в храме Большое Вознесение, что на Большой Никитской, прихожанином которого он был в последние годы жизни (здесь проявилось участие Харламова). Как в тумане, прошли скорые похороны на Новодевичьем, где запомнились бегущий по аллее запыхавшийся Черномырдин да еще Солоухин, картинно падающий на колени перед гробом «своего учителя». Поминки в Дубовом зале ЦДЛ были столь же формальны, стоя, не по-русски, в шуме и гаме, где какие-то шустрые мужички (как потом выяснилось, бомжи, привезенные в автобусах с кладбища) набивали рюкзаки вином и закуской, пока я одного из них не прогнал в шею... Сергей Михайлович Харламов, грустно наблюдая за всем этим, сказал: «Пойдем-ка лучше в трапезную храма и там спокойно и достойно помянем...» Так мы и сделали вместе с отцом Тихоном (Шевкуновым). Помянули по русской традиции Леонида Максимовича Леонова, потому что каждый из нас потерял в этот день и часть себя, своего настоящего и прошедшего времени.

Леонов нам оставил завет: «Разум открывает то, что душа уже знает». Сергей Харламов выразил эту же мысль по-иному, не так афористично: «Ум и сердце всегда должны быть готовы к восприятию красоты».

Но бывают, оказывается, в жизни времена, когда художник перестает узнавать мир, он ему становится чуждым, раздражающим, неинтересным. 90-е годы для многих из нас стали именно такими: мы не узнавали самих себя, а нас не узнавали другие.

В эти годы труднее всего было не то что выжить (хотя трагедия страха за завтрашний день мало кого обошла стороной, не исчезнет она уже и в будущем), а сохранить верность тому, на чем сам строился как человек. Традиция — это прежде всего дисциплина. О какой упорядоченной в прошлое перспективе можно было в те годы говорить, если на глазах разрушался бытовой, профессиональный и творческий уклад жизни каждого художника!

Сергей Харламов и здесь не сломался, хотя и ему было тяжело: вмиг исчезли заказы на иллюстрирование книг, редкие художественные выставки пугали безлюдьем. Я его случайно встретил в осенней слякоти у «Белого дома» перед 3—4 октября 1993 года, одинокого, растерянного, безмерно уставшего, с одними и теми же вопросами: что происходит с Россией? что будет с каждым из нас?

В эти же годы он увлекся, как сам говорит, «трудной техникой» — цветным карандашом, хотя и раньше любил рисовать (смотрите, например, его блестящий цветной рисунок 1981 г. «Вечерние тени»). Вероятно, хотелось сделать более красочным черно-белый мир, который восторжествовал за окном. Сергей Харламов много в эти годы путешествует и ездит туда, куда не мечтал попасть: на Святую землю (в Палестину и Иерусалим), в братскую Сербию, где шла тогда война. Постепенно возвращается к гравюре и возрождает в творчестве две свои традиционные темы: право-

славно-духовную и тему природы. Иллюстрирует поэзию Сергея Есенина (1995 г.) и сейчас его «есенинский цикл» насчитывает десятки миниатюр и портрет поэта. Пришли новые заботы и на хлопотной должности руководителя подмосковной организации Союза художников России, в секретариате СХ России.

В книге-альбоме Сергея Харламова есть небольшой рассказ-притча о том, как художника «водили бесы»: в знакомом лесу, ища грибы, он никак не мог оторваться от загадочного пня, так и кружил вокруг него, хотя, казалось бы, знал все стежки-дорожки, тропинки вокруг. Так и многие из нас в своей судьбе толкуются вокруг одних и тех же дел, то ли боясь, то ли не решаясь разорвать привычный круг. Смотрят на мир с болотной кочки. Довольствуются малым.

В судьбе Сергея Михайловича иное. Я ему недавно напомнил леоновскую фразу, что творчество — это маниакальное заболевание. «Точно! — воскликнул он. — Маниакальное, да еще заболевание. От него никуда нам не деться».

Также не деться нам никуда от традиционных берегов, что Оки, что Москвы-реки, что Вори, что моего родного Кубенского озера. Счастье наше, что они **традиционны**, то есть протопало по ним не одно поколение наших предков, обжиты они тысячу лет, построены на них храмы, да и в деревнях еще огни не погашены.

Так что нам тоску не надо пророчить, как писал тот же Николай Рубцов. Все у нас впереди!..



Заслуженному художнику России Сергею Тимофеевичу Циркину исполняется 70 лет. Редколлегия Коломенского альманаха поздравляет своего друга и автора с этой юбилейной датой.

Сергею Циркину

Лесов резная сеть, сверканье легких блесен,
и утренний мороз кропит речную рань,
и реют в вышине стволы высоких сосен —
серебряных Песков узорчатая скань.

И нам не разобрать: рассвет ли это?.. вечер? —
когда прозрачный сон развеяться готов.
Художник, словно тень, проходит, незамечен,
в жемчужный полумрак таинственных холстов.

А там — струится свет, и свиты нежной сетью
и эти времена и семь десятилетий.

И что реальней здесь? — дыхание веков
иль этот зыбкий миг предутреннего флдра?
...Узорчатая скань серебряных Песков
и медленных небес немеркнувшие взоры!

Роман СЛАВАЦКИЙ

ЛИЧНОСТЬ





Фото Геннадия ЧИСТЯКОВА

ОПЕРЕЖЕНИЕ



ВЕРОНИКА ВЯЧЕСЛАВОВНА УШАКОВА РОДИЛАСЬ В ГОРОДЕ ОРСКЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ. ПЕРВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ СОСТОЯЛИСЬ В ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ. МЕЧТАЛА О ПРОФЕССИИ ЖУРНАЛИСТА, НО ОКОНЧИЛА МВТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА. ОДНАКО ЖИЗНЬ ВСЕ ВЕРНУЛА НА КРУГИ СВОЯ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РАБОТАЕТ В ГАЗЕТЕ «КОЛОМЕНСКАЯ ПРАВДА» ЗАВЕДУЮЩЕЙ ОТДЕЛОМ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ.

ЧЛЕН СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ.

Самые важные звания, степени и награды Сергея Павловича Непобедимого займут десяток строк: доктор технических наук, профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана, член-корреспондент Российской академии наук, действительный член Российской академии ракетно-артиллерийских наук, Международной академии информатизации, Академии проблем космонавтики им. К.Э. Циолковского, Российской академии безопасности, обороны и правопорядка, Герой Социалистического Труда, кавалер трех орденов Ленина и ордена Октябрьской революции, лауреат Ленинской премии, трех Государственных премий СССР, премии Совета Министров СССР, премии им. В.И. Вернадского, заслуженный конструктор РФ. А также почетный гражданин подмосковной Коломны, где работал 45 лет, и Шигров Курской области — там он окончил школу и провел свое детство.

— Меня зовут читать лекции в Америку, предлагают пять тысяч долларов за каждую лекцию. Побывал с предложениями американский журналист Петер Алмквист, привез свою книгу с автографом. Приезжали представители из Ирана. Они обещали горы золота и лучшие клиники Европы. Я понимаю, что нужен им не я лично, а мои разработки в ракетной технике...

Для человека, выбравшего профессию защищать Родину, фамилия *Непобедимый* звучит как псевдоним. У Сергея Павловича она настоящая, доставшаяся от отца и его предков, кузнецов, русских богатырей, которых никто не мог победить в кулачном бою. Сергей Павлович Непобедимый, генеральный конструктор противотанковых, зенитных тактических и оперативно-тактических ракетных комплексов, свою фамилию оправдал: до сих пор, четырнадцать лет спустя после его ухода с поста Генерального конструктора Конструкторского бюро машиностроения Коломны, никто в мире не смог создать аналогов многим его

изделиям. За годы его руководства КБМ разработал и сдал на вооружение 28 ракетных комплексов различного назначения и их модификаций. Первый в стране противотанковый ракетный комплекс «Шмель». Другой ПРК, с умиленным названием «Малютка», беспощадно расправившийся с израильской бронетехникой во время арабо-израильской войны 1973 года, стоит на вооружении армий десятков стран; в настоящее время его численность в мире — 200 тысяч. Переносной зенитный ракетный комплекс «Стрела-2» сбил спесь с низколетающей американской авиации, считавшей себя неуязвимой на малых высотах, где были бессильны более мощные зенитные ракетные комплексы. Сергей Павлович — единственный конструктор в мире, который создал ракетные комплексы по стольким направлениям: зенитные, переносные, оперативно-тактические, противотанковые, активной защиты.

Сейчас Сергею Павловичу 81 год. Он работает главным научным со-



*Начальник ГФНУ Свертилов поздравляет
С.П. Непобедимого с юбилеем.
Фото Ю. Колесникова*

трудником в Центральном НИИ автоматики и гидравлики, научным руководителем Научно-технического центра «Реагент». Занимается разработкой систем с элементами искусственного интеллекта, проводит консультации, читает лекции. Его время утрамбовано до предела, свободные часы — огромная роскошь. Даже в выходные. Каждые несколько минут звонит телефон, прямо домой приезжают люди.

Каждому, кто хоть раз соприкоснулся с Сергеем Павловичем, бросается в глаза его редкая интеллигентность. И поразительный интеллект, глубокие знания в десятках областей. Сергей Павлович успевает отслеживать все отечественные и мировые достижения и открытия, технологии и материалы. Все его разработки основаны только на новейших принципах. Это и позволяет Непобедимому создавать такие «изделия», аналогов которым в мире нет и в течение ближайших десяти-пятнадцати лет не будет.

На жизненном пути ему приходилось сталкиваться с предательством и несправедливостью, человеческой глупостью и неблагодарностью. Но отношение к людям продолжает оставаться исключительно добрым и чутким. А уж об отношении к русскому народу, к России и говорить не приходится. Он убежден, что преступно разоружать страну, ликвидировать армию, глумиться над престижем профессии военного. «Страна, которая не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую».

— Мне нечего бояться, и я отстаиваю свою точку зрения во всех инстанциях. Мы продаем российские технологии, изделия, оснащаем современной техникой чужие армии. А собственное вооружение уничтожаем, как уничтожили «Оку».

«Ока» — оперативно-тактический ракетный комплекс, разработанный Коломенским КБ машиностроения под руководством Сергея Павловича Непобедимого, уничтоженный Горбачевым по приказу американцев. Мощнейшее оружие, которое держало под прицелом всю Западную Европу. Но об «Оке» чуть позже...

Страсть к технике и недюжинные способности достались Сергею от отца — профессионального водителя и автомеханика. Первый пистолет с пороховым зарядом, который по-настоящему стрелял, он сделал еще в четвертом классе. После школы семнадцатилетний Сергей приезжает в Москву поступать в институт — в костюме, который ему купили перед поездкой, в тапочках, не имея пальто и с тридцатью рублями в кармане. В 1938 году попасть в технический вуз было непросто. Когда страна, оправившаяся от повальной неграмотности, всеми силами тянулась к знаниям, профессия инженера ценилась высоко. А Краснознаменный механико-машиностроительный институт имени Н.Э. Баумана (ныне МГТУ), основанный век назад императрицей Екатериной II, был особенно престижным. За свою столетнюю на тот момент историю он собрал сильнейший преподавательский состав, выработал собственную теорию преподавания. Это был единственный в стране технический вуз, где теория теснейшим образом соприкасалась с практикой, что позволяло обеспечить наилучшую подготовку будущих инженеров. Конкурс туда составлял десять человек на место. Годы спустя Сергей Павлович вернется в стены МВТУ уже преподавателем, профессором кафедры «Ракетные комплексы» факультета «Машиностроение».

Годы учебы совпали с Великой Отечественной войной. Вместе со своими товарищами Сергей подал заявление в Бауманский райком партии: «Хочу на фронт, добровольцем».

Но военные инженеры были нужны стране не меньше, чем солдаты. По решению Сталина первый и второй курс призвали в армию, четвертый и пятый отправили работать в промышленность. А третий оставили в институте до особого распоряжения.

Фашисты подошли вплотную к столице. Стало не до учебы. Батальон третьекурсников отправили под Ельню для сооружения оборонных укреплений на реке Десне. Полтора летних месяца 1941 года ребята строили дзоты, рыли противотанковые рвы и ходы сообщений.

8 сентября вернулись в Москву. Но уже 20 октября институт эвакуировали в Ижевск. Там учились, а после лекций шли на завод. Работали на оборону и одновременно на практике познавали свойства металла.

После института Сергея направили в подмосковную Коломну, где в 1942 году по распоряжению Сталина было создано Специальное конструкторское бюро по разработке минометов. Возглавлял СКБ талантливый конструктор, человек с огромным опытом и авторитетом Борис Иванович Шавырин.

Войны XX века стали борьбой техники. Танки нагнали страху еще в годы Первой мировой. В середине столетия появилось ядерное оружие. Им воспользовались единственный раз, в Японии. Не в военных целях, а для устрашения, демонстрации собственной силы, чтобы держать весь мир, и осо-



бенно Советский Союз, по стойке «смирно» перед «всемогущими» Соединенными Штатами.

В условиях ядерной войны хорошо защищенные танки становились основной ударной силой сухопутных войск. Классическая артиллерия долгое время служила противоядием от бронированных монстров. Задача состояла в том, чтобы ее постоянно совершенствовать, делать легче, метче, с большей дальностью стрельбы, удобнее в эксплуатации. Для массового применения в батальонном звене было необходимо создать легкое орудие на новых принципах метания снаряда, которое назвали безоткатным, с обеспечением безопасности расчета орудия. Работу поручили молодежному научно-исследовательскому отделу 10, который возглавил С.П. Непобедимый. Тридцать пять человек его сотрудников, молодых, энергичных ребят, среди которых были П.Д. Кондрашин, А.С. Тер-Степаньян, Э.Г. Чалавиев, Н.Ф. Журавлев, В.Л. Уваров, В.А. Кравченко, Г.Е. Ступаков, Л.М. Гамазина, Г.Г. Одинцов и многие другие, и в дальнейшем остались тем костяком конструкторской мысли, на который продолжал опираться Сергей Павлович, став во главе предприятия. Объем знаний каждого охватывал несколько тесно соприкасающихся областей науки: физику, химию, термо- и аэродинамику, материаловедение, электротехнику, вычислительную технику.

Принцип уравнивания ствола безоткатного орудия в процессе выстрела во всем температурном диапазоне от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$ ранее применил российский конструктор Л.В. Курчевский. Часть газов заряда выбрасывает снаряд, другая, втрое большая, направляется в противоположную сторону, уравнивая ствол от перемещения. При низких температурах порох «замерзает», дробится и выносится газовым потоком из ствола. Чтобы обеспечить его полное сгорание в стволе, увеличивали давление до трех тысяч атмосфер. При этом звук выстрела, ударная волна, избыточное давление были настолько сильными, что расчет не мог находиться у орудия, которое по этой причине метко прозвали ДРП — «Давай, ребята, прятаться!» Прицелился — и тут же ретируйся в укрытие.

В безоткатных орудиях Б-10 и Б-11 давление снизили до четырехсот атмосфер. Это было неслыханно. Группе разработчиков под руководством Непобедимого удалось решить задачу, над которой десятки лет бились лучшие специалисты страны и мира. В 1953 году Б-10 было принято на вооружение.

В процессе серийного производства во время государственных испытаний с использованием усиленного заряда одно из орудий Б-10 разорвалось. Люди не пострадали. Но бессонные ночи, жаркие споры, километры исписанной формулами бумаги, получалось, были напрасны. Что произошло? Ошибка в расчетах? В конструкции? Выяснить это можно было только одним способом.

Сообщение о ЧП поступило ночью. Не дожидаясь рассвета, Сергей Павлович и начальник отдела материальной части А.Г. Соколов на грузовике срочно выехали в Ковров на завод-изготовитель. Алексей Георгиевич, как старший по возрасту, сел в кабину. Сергей Павлович, прислонившись к деревянному борту кузова, старался не смотреть, как подпрыгивает на тряской дороге бочка с бензином, которую взяли для дозаправки.

Прибыв на место, стали проверять орудия. Стреляли двойным усиленным зарядом. Мелькнула мысль: «А что, если не наша вина?»

Сергей Павлович тут же поделился ею с Алексеем Георгиевичем:

— Возможно, при термообработке ствола появились скрытые трещины. И дело вовсе не в технических ошибках, а в термической обработке заготовки.

В груди сваленных в углу цеха отбракованных деталей нашли заготовку ствола с трещинами. Закончили ее обработку, собрали оружие.

Единственный раз в жизни разорвавшееся оружие принесло радость Сергею Павловичу. Картина разрыва оказалась полностью идентичной той, что произошла на полигоне. Выяснилось, что на заводе использовали неправильные методы контроля. Министр оборонной промышленности Д.Ф. Устинов многих тогда снимал за халатность.

От несложной конструкции минометов КБ уходило в будущее — к противотанковым управляемым ракетным комплексам.

— Мой девиз: нужно всегда брать что-то новое. Новые направления технических решений, материальной идеологии. Пусть вначале будет сложно. Но мы на двадцать лет превзойдем вероятного противника. Это возможно, когда смотришь вперед.

То, о чем в Советском Союзе еще думали, в 1956 году в Европе появилось в реалии — франко-германский противотанковый управляемый снаряд СС-10 с дальностью стрельбы полтора километра. Советское правительство всерьез обеспокоилось: нельзя позволить, чтобы это преимущество продержалось хоть сколько-нибудь долго. Перед многими КБ оборонной промышленности, в том числе шавыринским, поставили срочную задачу — создать аналогичное оружие. Возглавить эту работу в КБ Б.И. Шавырин поручил Непобедимому, предложив взять за основу идеологию построения СС-10. Одновременно сам работал над новыми схемами, предложенными академией им. Н.Е. Жуковского. Конструктивно франко-германская схема была выбрана неудачно, не обеспечивала надежное управление и эксплуатацию ракеты. Тогда впервые между двумя замечательными конструкторами произошла размолвка. Со всей горячностью молодости Непобедимый бросился в бой, считая, что на первом этапе работ, когда в стране нет никакого опыта и специалистов, нужно взять известную схему, на базе этих работ создать КБ, производственную и испытательную базу, научить конструкторов.

Помимо мощи ума, Борис Иванович обладал чувством справедливости. Но на этот раз он изменил себе. Решив пресечь своеобразие молодого инженера, посадил его «под рабочий арест» и запретил ходить по КБ. Конструкторское бюро в те годы размещалось в единственном здании. Научно-исследовательский отдел занимал комнату на втором этаже, слева от лестницы. Прошел проходную, поднялся по ступенькам и нырнул в свой отсек. Далее ни шагу. Но какое это имело значение, если голову некогда поднять от кульмана и логарифмической линейки. Сложность заключалась в том, что не было методик по созданию ракетных установок, испытательной аппаратуры. Все собирали своими руками. Грузовик-фургон превратили в бензостанцию. На полигоне построили еще одну станцию для стендовых и летных испытаний. Когда чертежи были готовы, вместе с другими сотрудниками Сергей Павлович не выходил из цеха, где шла сборка.

Первую противотанковую ракету назвали «Шмель». Это имя ей дали заказчики — военные. «Шмель» по всем параметрам превосходил зарубежного конкурента: дальше летал, мощнее бил, протаранивая новейшие марки танковой брони. Европейский брат, родившийся в нежном климате западной части континента, капризничал при плохой погоде. «Шмель» оказался более закаленным. Сергею Павловичу Непобедимому удалось найти секрет, как заставить твердое топливо работать в широком температурном диапазоне, без подогрева при низких температурах окружающего воздуха. При разработке последующих изделий использовали опыт создания «Шмеля».

Обе коломенские машины в 1960 году отправились на правительственный показ в Капустин Яр Астраханской области.

Жарким летним днем пустынная степь под Волгоградом напоминала раскаленное блюдо. Воздух струился перед глазами, словно в пустыне, — того и гляди, миражи всплывут. Вместо них поплыли танки. Яркий солнечный свет подчеркивал нечеловеческую мощь плавно двигавшихся по огромному пыльному полю машин. Они были совсем как настоящие — сделанные из фанеры и подтягиваемые цепью макеты в натуральную величину. Для показа на линии фронта стояли установки десятка конструкторских бюро, одним из которых было знаменитое КБ, возглавляемое академиком А. Д. Надирадзе. Для сравнения результатов рядышком примостились артиллерийские орудия.

Военные стояли в мокрых от пота гимнастерках. А чуть поодаль на трибуне, под тентом разместились главные лица страны. Навес охватывал своей тенью длинный накрытый стол, который в степи, где на много километров вокруг не было ни души, казался волшебной скатертью-самобранкой. Подпоясанный украинским ремешком-веревочкой, в косоворотке, как всегда, энергичный, прохаживался Никита Сергеевич Хрущев со своей свитой. После осмотра и докладов начались стрельбы.

Первой заработала артиллерия. Попаданий было — кот наплакал. Что ни залп — промах. На командном пункте царило напряжение. Генеральный секретарь компартии посуровел лицом. Жестче зазвучал голос.

Кочевники знают, как коварна и переменчива бывает степь. Много веков в оренбургских степях живет легенда, как однажды поздней весной отправились пять кунаков в соседнюю деревню. А через час налетел ветер, принес с собой снег и бурю. Неделю кружил. Занес дорогу домой, застудил, заморозил. Так и сгнули пятеро друзей, и следа не осталось. А майский ветер с той поры называют «беш кунак» — пять кунаков.

Капустин Яр тоже показал норы. Неожиданно солнце скрылось в тучах пыли, налетел ураган, загремел гром, засверкали молнии. Все произошло в один миг. Причем именно тогда, когда настал черед стрелять коломенцам. Видимость — чуть больше нуля. Первый выстрел. Ожидание результата. И радостные возгласы с командного пункта:

— Попали!

Второй удар — снова попали!

— Кто тут «Шмель»? — закричал Хрущев.

Борис Иванович Шавырин, как руководитель предприятия, вместе с главным конструктором по системе управления Зиновием Моисеевичем Персицем подошли к генсеку. Настоящий изобретатель остался у пусковой установки.

Вечером всех отпустили по домам. Поехали в Волгоград, в аэропорт. Пыльная грунтовая дорога выкрасила одежду в одинаково серый цвет. Билетов на ночной рейс не было. Следующий самолет улетал только утром.

— Пойдем в ресторан, отметим победу, — предложил Шавырин.

За столом было весело, много смеялись, поднимали тосты за успешный дебют. И только тогда Шавырин сказал:

— Прости, Сергей, я был не прав. Согласен стать главным конструктором предприятия?

Предутренние часы теплой летней ночи люди, которые в будущем за «Шмеля» и «Малютку» получат Государственную премию, провели на лавочках в аэропорту, возле зала ожидания.

Шавыринское КБ полностью перешло на разработку управляемых ракетных комплексов разного назначения. Следующим стала «Малютка». Для

увеличения дальности стрельбы ее сделали максимально легкой. Ряд приборов и источники питания перевели в разряд наземной аппаратуры. Команду управления и электропитание подавали с земли по кабелю длиной 3200 метров. Система управления была одноканальной. Рулевая машинка работала от маршевого двигателя. Большинство деталей изготавливалось из пластмассы. В результате вес ракеты снизился с 24 до 10 килограммов. «Малютку» можно было носить в ранце за спиной. А дальность полета по сравнению со «Шмелем» увеличилась с двух до трех километров. Изделие оказалось настолько удачным, что простояло на вооружении четверть века, а в ряде стран находится в боеготовности до сих пор. Лицензии на ее изготовление проданы в страны бывшего социалистического лагеря.

С созданием «Малютки» связана трагическая история. Кумулятивную воронку боевой части ракеты делали из очень чистой, потому дорогой меди. Ради экономии решили изменить технологию изготовления: отказаться от штамповки, которая сопровождается большим количеством отходов, и применить метод раскатки. Необходимо было удостовериться, что изменение структуры волокон не повлияет на бронепробиваемость.

Для испытания воронку нужно отвезти на полигон, что на противоположном от предприятия берегу Оки, установить на бронеплиту и подключить клеммы к проводам подрывной машинки, через которые из укрытия подается напряжение в три тысячи вольт. Делать это должен один человек. Операция несложная, но требует предельной осторожности: взрыватель очень чувствительный. Корпус снаряда покрыт полихлорвиниловой краской, и даже незначительное статическое электричество может вызвать детонацию. Для обеспечения безопасности разработан целый ряд технических и организационных мер, в частности, одежда испытателя должна быть хлопчатобумажной. Все остальные участники процесса должны находиться в укрытии.

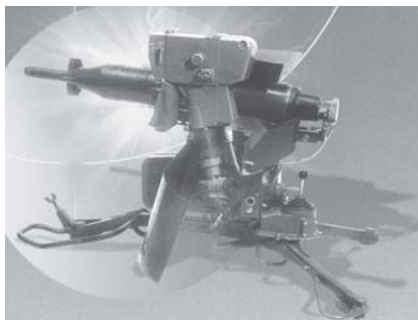
В тот февральский день отметка градусника опустилась до тридцати. Мороз заставил людей надеть полушубки.

Человек, который транспортировал снаряд, принес его под мышкой. Из школьных опытов с электростатической машиной мы знаем, как легко электризуется кусочек синтетического меха.

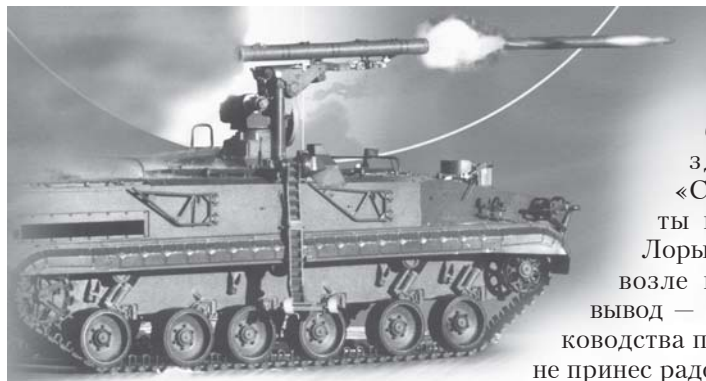
От статического электричества, скопившегося на одежде испытателя, сработал взрыватель. Но самое страшное заключалось в том, что, когда подключали клеммы, десять человек осматривали возле бронеплиты результаты предыдущего опыта. Три человека погибли на месте. Восемь было ранено. Некому оказалось даже броситься за помощью, вызвать «скорую». Одному из сотрудников оторвало ногу, и он истек кровью.

Ночь накануне Сергей Павлович провел в поезде. Он возвращался из Ленинграда, где показывал Гречко боевую работу ПТРК «Малютка». В Коломну добрался к обеду. Жена, Лора Ивановна, тут же собрала на стол. Усталый, невыспавшийся, сел обедать и завтракать одновременно. Только успел несколько раз зачерпнуть ложкой горячий суп, какого в командировке не ел уже несколько дней, как раздался звонок с полигона.

По делу о гибели людей началось расследование. Его выводы оказались неожиданными. Выходило так, что виноват во всем один Непобедимый. Руководство предприятия постаралось сделать все, чтобы сложить с себя ответ-



ственность и уйти в тень. А Сергея Павловича начали таскать по инстанциям, специальная комиссия разбиралась в обстоятельствах дела. В течение двух месяцев — вопросы, подозрения, строгие выговоры по линии партии и министерства. Но самым страшным оказалось почувствовать, что тебя предали, для спасения собственной шкуры бросили под колеса поезда, для которого ты — былинка, случайно попавшая на рельсы: проедет и не почувствует чужой боли, не услышит крика. В семье Непобедимых не знали, что такое больное сердце. А здесь — инфаркт. «Скорая». Белые халаты врачей. Белое лицо Лоры Ивановны, сидящей возле кровати. Конечный вывод — «отсутствие вины руководства предприятия» — уже не принес радости. На больничной койке получил известие о присвоении ему и группе разработчиков Ленинской премии.



После больницы вернулся к работе. В КБ старательно делали вид, что ничего не произошло. А правительство страны каждый раз ставило новые и все более сложные задачи. Так КБМ начало разработку первого в мире сверхзвукового управляемого противотанкового ракетного комплекса «Штурм». Он устанавливался на вертолетах, самоходных установках. «Штурм» показал высочайшую точность. Во время Афганской войны ракета с расстояния пять километров попала в амбразуру дота.

— Чем выше руководство, тем шире взгляды, перспектива. Но нет детализации. А детализация может определить возможность реализации. Чтобы перейти от теории к практике, нужны новые технологии, методологии, развитие физики, химии, вычислительной техники и других направлений науки. Циолковский разработал принцип космической ракеты в начале века. А воплотили его в советское время. Чтобы осуществить идею, требуется огромная работа, вложения и определенный исторический период, соответствующий ему уровень познаний.

За «Штурмом» последовала «Хризантема» — установка, которой не мешали дым, пыль, туман, ночная тьма. Она была всепогодной...

Защищаясь от зенитных орудий и ракет с высокой траекторией, авиация противника приноровилась летать на малых высотах, даже на высоте сто метров. Здесь она находилась в безопасности. Да и засечь низко летящий самолет, сливающийся с горизонтом, было непросто.

— Бери любой завод, любых конструкторов, — сказал Непобедимому Устинов. — Только сделай зенитный ракетный комплекс, чтобы бил самолет у земли. И переносимый одним бойцом. Срок — полтора года.

Легко сказать — «сделай». Ни одно советское КБ за создание этого комплекса не бралось. Задача была сложной: обеспечить ракете сверхзвуковую скорость полета и высокую эффективность поражения самолета, летящего на предельно малой высоте. При этом отказаться от расчета; переносить ПЗРК и стрелять должен один человек — с плеча. Было создано целое отделение, во главе которого встали опытнейшие конструкторы В.Е. Воро-

бьев, Л.Г. Деев, теоретик Ю.М. Попов и многие другие специалисты высшей квалификации.

Но Устинов верил в Непобедимого и поддерживал его. Решения Сергея Павловича всегда были смелыми, хотя и вызывали со стороны хор возмущенных голосов: «Так не получится!»

Однако если Непобедимый настаивал, он был уверен в своей правоте. Устинов это знал. Все говорили, что на пусковой установке комплекса «Оки-У» нельзя размещать ходовые двигатели по правому и левому борту шасси боевой машины: мол, нарушится синхронизация управления, и машина может перевернуться. А это было необходимо. Когда двигатель располагался по центру, ракета попросту не помещалась. В результате Сергей Павлович решил задачу двойного управления, попутно увеличив моторесурс с 500 до 6000 моточасов на каждом двигателе.

У Непобедимого с Устиновым было очень сильное техническое взаимопонимание. Поэтому Дмитрий Федорович, а после него другой министр оборонной промышленности, С.А. Зверев, поручали Коломне такие изделия, которые никому другому были не под силу.

— Когда начинали делать «Стрелу», мы поняли, что нужен легкий, переносимый одним человеком комплекс, который мог бы работать в пределах видимости, с плеча. А это рождает целый ряд задач. Сбить сверхзвуковой самолет как при встречном движении, так и вдогонку. Знать, что он чужой, а не свой. Научить снаряд работать в разных климатических условиях. Обезопасить стрелка, потому что ракета уходит от его головы и в случае ошибки, если двигатель включается на расстоянии меньше пяти метров, убивает. Ограничить по весу в семнадцать килограммов. Обеспечить высокую точность попадания, большую скорость полета и дальность стрельбы. Все это требовало филигранной отработки.

— Ты работай спокойно, — сказала Сергею Павловичу Лора Ивановна, провозжая в Оренбургскую область, где в голой степи стояла войсковая часть и находился аэродром. — Я буду тебя ждать.

Ждать пришлось полтора года, в течение которых у мужа не было ни одного отпуска и даже выходных...

До замужества Лора Ивановна пела в Ленинградском джазовом ансамбле И.Вайнштейна. У нее было мягкое, чарующее сопрано.

— Уж очень не хочется такую певицу терять, — сокрушался руководитель ансамбля, провозжая молодых супругов в Коломну.

Дружба с музыкантами ансамбля осталась у нее на всю жизнь. Они часто приезжали в гости — полным составом и поодиночке. Непобедимые всегда жили очень скромно, в двухкомнатной квартире. Одну комнату отдавали гостям. В другой обитали сами. Сергей Павлович, человек исключительной честности и деликатности, никогда не использовал служебного положения для создания комфорта своей семье. Никогда ничего не просил у руководства для себя лично. В его подчинении находились тысячи людей и десятки заводов. Бюджет предприятия составлял четверть миллиарда долларов в год. Но и на прием гостей со всех концов страны, и на то, чтобы накормить солдат, которые участвовали в испытаниях, сопровождали людей и грузы, Сергей Павлович тратил собственную зарплату. В последующем Устинов настоял на переезде Непобедимых в дом главного конструктора, в котором выделили квартиру для гостей.

Лора Ивановна была женщиной необыкновенной красоты и высокой интеллигентности, как и ее муж. Эти два человека обрели огромное счастье —

найти свою половину и прожить большую жизнь в любви и согласии. Она играла на фортепиано, вкусно готовила, была прекрасным собеседником, очень тактичным и любящим человеком. В доме бывало много разных людей, генералов, академиков, высокопоставленных чиновников. Она умела создать добрую атмосферу в доме, так же прекрасно общалась с публикой на концертах.

Не заботясь о собственном комфорте, Сергей Павлович не жалел ничего для своих сотрудников. Недалеко от предприятия вырос целый жилой городок. Молодые специалисты в течение трех лет получали квартиры. Сам прекрасный спортсмен, основатель волейбольной команды, Сергей Павлович всячески поддерживал работу Дворца спорта, воздвигнутого еще Шавыриным. Построил первую в стране конькобежную дорожку с искусственным льдом. Очень любил и по-прежнему любит розы. Прямо перед проходной, в небольшом внутреннем дворе КБ, сжатом белоснежными корпусами, по его просьбе разбили цветник. Из питомника привезли разные сорта роз — белых, желтых, красных. Розарий эффектно смотрелся на фоне разросшихся голубых елей, покачивающих верхушками над крышами зданий. За цветами тщательно ухаживали, закрывали на зиму лапником. А осенью сотрудники выстраивались в очередь, чтобы из обрезанных веток выбрать стебелек с глазком-почкой.

В один из приездов министр оборонной промышленности Зверев возмутился стесненными условиями жизни Непобедимых, у которых сам неоднократно ночевал, и настоял на строительстве небольшой гостиницы для КБМ.

— Мне даже автомобиль некуда поставить! — Его обычная речь была довольно громкой. — А охрану куда девать?

По его приказу Министерство обороны выделило деньги. Выбрали небольшой двухэтажный ветхой дом в старой части древнего города с восьмисотлетней историей, каменный, с глубокими подвалами. Жильцов коммуналок расселили. Первый этаж стал просторной гостиной, на втором разместились спальни. И здесь во дворе тоже поселились царственные розы.

Сам Непобедимый, засиживаясь на заседаниях в министерстве или академии, частенько ночевал в Москве. Предприятие бронировало ему номер в гостинице. Его это устраивало. Но Зверев распорядился выделить квартиру в «высотке» на Котельнической набережной, в которой сейчас и живет Сергей Павлович. Жаль только, что с 1997 года в ней не стало Лоры Ивановны...

Уничтожение чужой авиации и танковых сил — постоянная работа Сергея Павловича, но он не мог не думать о безопасности советской бронетехники. Из этих размышлений родился комплекс активной защиты танков «Арена». Разработке двадцать пять лет. Но она до сих пор не принята на вооружение российской армией. Если «Стрела» имеет близкий по свойствам аналог — американский «Стингер», то «Арена» в течение четверти века — уникаль-



на. По контуру башни, по кругу (отсюда и название — «Арена»), располагаются 32 боевые кассеты. Сверхчувствительный локатор, работающий в режиме постановки корреляционных радиоволн, фиксирует подлетающий смертоносный снаряд. Вычислительное устройство мгновенно определяет его координаты и скорость. Выбрасывается боеприпас. Бьет в бок, самое уязвимое место любого снаряда, как сетью, накрывая его мелкими осколками. Как правило, даже взрыва не происходит, остается только мокрое пятно от взрывчатого вещества. А танк — цел и невредим. Экипаж не отвлекается, выполняет боевую задачу: «Арена» работает полностью автоматически.

— Вы понимаете, что нужно дополнительно затратить по 120 тысяч рублей на каждую машину! — сказали тогда. — Не дороговато ли?

Я возразил:

— Вы плохо считаете. Единственный оснащенный «Ареной» танк стоит четырех. Он первым идет в прорыв. Его обстреливают, а он, неуязвимый, прорывает оборону противника, оказывая сильнейшее психологическое воздействие. Не говоря уже о том, что машина и экипаж остаются целы.

Существования «Арены» никто не скрывает. Она открыто выставляется на всех выставках вооружения. Оборонный комплекс полностью коммерциализировался. Он забыл, что такое оборонные заказы. Потому ширится продажа военной техники за рубеж. Американцы не раз пытались купить «Арену», но им отказали. Тогда они выкрали ее. Еще не остыли страсти после того, как в 2000 году двое сотрудников КБМ вынесли с предприятия огромное количество технической документации и чертежей. Все было рассчитано точно. Один из этих людей возглавлял сектор противодействия иностранным разведкам и имел право хранить секретную документацию в сейфе, не сдавая в особый отдел. Потихоньку, частями, под зимней одеждой в обеденный перерыв он выносил папку за папкой. Снимал ксерокопии и возвращал обратно. Когда шпионов выявили, часть документации успела уйти за рубеж. В ее числе была и «Арена».

За изделиями Непобедимого охотились не единожды. «Арена» очень заинтересовала главнокомандующего стратегическими войсками СССР маршала В.Ф. Толубко. По аналогии можно было спроектировать систему защиты шахт с ядерными ракетами от нападения межконтинентальных ракет противника.

Опять-таки нашлись силы, пытавшиеся помешать замыслу. Особенно старались специалисты ПВО, которые создали зенитный комплекс С-300. И вновь Непобедимого отстоял Устинов. С его помощью на Камчатском полигоне по приему боеголовок стратегических ракет построили стартовые позиции. Пятнадцатитонная установка была начинена двумя тысячами подкалиберных снарядов со стреловидными элементами, обладающими при пуске большой скоростью и малым сопротивлением, что позволяло получить в расчетной точке большую плотность элементов на квадратный метр. Пришлось решать задачу их одновременного пуска. Зато укус этого пчелиного роя был большим и эффектным — мгновенная вспышка синего пламени и чистое небо над головой.

Когда стала понятна огромная ценность новой разработки, техническую документацию попытались увести на другом краю огромной страны — с тихоокеанского побережья. Супружескую чету Соколовых, работавших в одной из организаций-смежников, перехватили с документацией в компании с первым секретарем посла США. Шпионов, по слухам, расстреляли. То был 1990 год. После суда 2001 года главных действующих лиц, выносивших документы с предприятия, амнистировали по возрасту. Двое других получили

по году с небольшим. Следствие длилось полтора года, и из зала суда их выпустили на свободу. Максимальный срок в 15 лет получил единственный человек — организатор дела, завербованный иностранной разведкой.

Мне довелось встретиться с одним из амнистированных после суда.

— Почему вы так поступили? — спросила я.

— Сейчас все все распродают, — без тени стыда ответил этот человек.

Потом он попытался жаловаться, что дочь плачет, когда отца называют шпионом, называл себя «потерпевшим»...

Многие годы Сергей Павлович Непобедимый, разработчик секретного оружия, жил на родной земле под легендой. Даже при выборах его депутатом в Верховный Совет РСФСР проходил как главный конструктор завода; какого — не уточнялось.

Однажды в перерыве между заседаниями съезда они стояли у колонн с академиком Н.А. Николаевым и ректором МВТУ им. Н.Э. Баумана Г.А. Николаевым и беседовали. Все трое в черных, отлично скроенных костюмах, высокие, статные, у каждого на груди сияет звезда Героя Социалистического Труда. Подошли журналисты:

— Получится прекрасный снимок. Только, если вы не возражаете, добавим женское лицо: пусть будет четыре Героя.

Сфотографировав, стали записывать имена, фамилии, должности. Едва Сергей Павлович назвал себя, карандаш разочарованно замер: фотографию и имя Непобедимого нельзя было публиковать.

Всю жизнь он был, как тогда говорили, «невыездным». За границей побывал один-единственный раз. После Великой Отечественной войны и передела мира СССР, когда страны социалистического лагеря приняли Варшавский Договор, группа главных конструкторов вместе с Устиновым вылетела в Берлин для рассмотрения состояния своих разработок в Группе наших войск в ГДР. Их отправляли с Чкаловского аэродрома на специальном самолете в сопровождении генерал-лейтенанта. Устинов полетел отдельно. По прибытии у трапа уже стоял «Икарус», который приехал из Москвы, с московским шофером. Всех поселили на территории советской войсковой части, в доме, где жило командование. Непобедимого — в одной квартире с главным конструктором ленинградского Кировского завода Поповым, с которым они вместе работали. Выходить на улицу было запрещено. Все поездки — на том же автобусе и в сопровождении охраны. Какая там Берлинская стена или Дрезденская галерея! С тех пор ни разу больше за границей Сергей Павлович не был.

Но это небольшая потеря. Самым тяжелым ударом для него было уничтожение армейского оперативно-тактического комплекса «Ока». До сих пор он не может говорить об этом спокойно. Это было четвертое направление работ по тактическим и оперативно-тактическим комплексам — дивизионные «Точка», «Точка-У», «Точка-Р» и армейские «Ока» и «Ока-У». Оперативно-тактический ракетный комплекс «Ока» обладал фантастическими свойствами. В него вошли полторы сотни запатентованных изобретений. Он плавал, ходил по суше, ему были одинаково подвластны пески и болота. По температурным характеристикам был способен работать в пустыне и в Арктике, выдерживая температурный диапазон плюс-минус 50 градусов по Цельсию без подогрева. «Ока» стреляла на 400 километров. Была полностью автономна от источников энергии. Имела минимальный расчет — три человека. В течение 15 минут, на месте, меняла боевые части от обычных до специальных. Обладала высокой точностью попадания. Перенаце-

ливалась на плюс-минус 90 градусов. Ее головная часть являлась невидимкой для локаторов.

Про этот комплекс узнала американская разведка.

— Я помню журнал, без фотографии, но с рисунком, где американцы писали, что система настолько эффективна, подвижна, что ее можно перебрасывать на самолетах, она сходит с трапа, определяет свои координаты и может стрелять. Это правда.

В 1991 году Рейган и Горбачев подписали договор о сокращении ракет стратегического и ядерного арсеналов средней и меньшей дальности, работающих в диапазоне от 500 до 5500 километров. «Ока» имела максимальную дальность 400 километров, она не подпадала под действие договора.

Свое решение об уничтожении «Оки» Горбачев принял единолично при встрече с Президентом США Рейганом. Не был поставлен в известность даже начальник Генерального штаба маршал С.Ф. Ахромеев.

Боролся ли Сергей Павлович за свое детище — за «Оку»?

— Я узнал об этом решении, когда ко мне пришло секретное письмо на уничтожение. Вверху были перечислены надирозевские изделия, а внизу — мое. Возмущившись, начал писать во все инстанции, в том числе в Центральный комитет партии. Объяснял, что это огромная ошибка. «Ока» — самый современный оперативно-тактический комплекс, который значительно превосходит все существующие, и что в диапазоне 400 километров будут уничтожены все зенитные комплексы ПВО. Тогда наши самолеты могут свободно действовать в армейской глубине.

Одно из этих писем было адресовано начальнику Генерального штаба Ахромееву. Он пригласил меня и представителей сухопутных войск ПВО и других генералов. Попросил сделать доклад. Я высказал свои соображения. Ахромеев согласился с ними.

Американцы попытались доказать, что «Ока» способна летать на 500 километров. Меня вновь пригласили в Генеральный штаб. Но я сказал, что при работе на такую дальность нужно отключать систему управления, а это опасно. Головная часть с инертным наполнением имеет скорость почти тысячу метров в секунду и большую массу. При отклонении от траектории произойдет беда. У нас был такой случай при испытаниях.

Однако меня не послушали и приказали вывести из Капустиного Яра войска. Вечером дома я собрал коллег. Мы подготовили шифровку о том, что я, как главный конструктор, не даю согласия на пуск и не несу ответственности за последствия. А утром из Быкова полетел в Капустин Яр. Цельный день все ждали и боялись. Но приказ не поступил.

После этого отправили письмо уже Горбачеву. Под ним подписались шесть человек: министр обороны, начальник Генштаба, председатель ВПК, председатель Комитета госбезопасности и еще два министра. Получили ответ: в целях улучшения отношений с Соединенными Штатами мы вынуждены согласиться с американцами...

«Ока» была надежной кольчугой западных границ страны. Тысячи осколков каждой взорванной ракеты вонзились в сердца ее создателей.

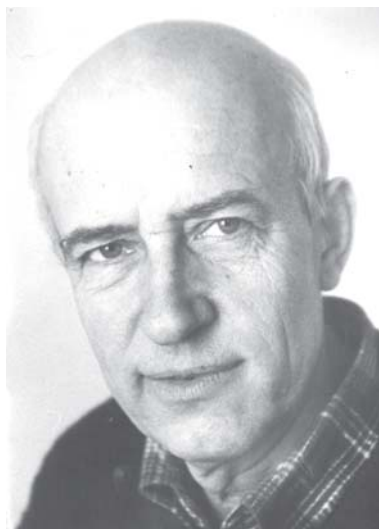


Была уничтожена не только «Ока», но и ее модификация «Ока-У», работающая в паре с самолетом-разведчиком, который летит рядом, видит цель и управляет ракетой.

Идеи «Оки» вошли в новый оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», который сейчас находится на завершающем этапе государственных испытаний. Эскизный проект делал еще Сергей Павлович. Коломенское КБ машиностроения завершило комплекс через несколько лет после ухода Сергея Павловича с поста генерального конструктора. Но «Искандер-Э» (экспортная модификация) предназначается как бы и не для защиты России, он активно предлагается к продаже за рубеж, постоянный участник международных выставок.

— В последние два-три года стала очевидной роль чисто военной составляющей в новом переделе мира. Это особенно выразилось в региональных конфликтах в Ираке, Югославии, Чечне. Преимущество получает тот, кто владеет новыми технологиями. Если в боевых действиях в Корее применялось 25 видов нового оружия и боевой техники, то во Вьетнаме — тридцать, в Персидском заливе более ста, в Югославии уже более трехсот. Раньше использовалась ядерная стратегия. Сейчас — основанная на высокой подвижности, информативности, дальности и высокоточности. Национальная безопасность России определяется научно-техническим уровнем вооружения и военной техники, основанной на принципиально новых технологиях и новых физических принципах построения. Через десять лет подавляющее большинство находящихся на вооружении Российской армии боевых средств будет неэффективно, и это требует немедленных мер по созданию принципиально нового вооружения и военной техники. Состояние с кадрами в оборонной промышленности катастрофическое. Предприятия в основном держатся на специалистах старшего и среднего возраста. Молодежь ушла в мелкий бизнес, уехала за рубеж из-за отсутствия перспективы в работе и зарплате. Необходимо восстановить единый в стране орган — военно-промышленный комплекс, обеспечивающий организационный и научно-технический контроль за научно-исследовательской организацией конструкторских разработок, серийным производством, продажей изделий за рубеж, систему управления ВПК, изменить отношение государства к разработчикам, имеющим практический опыт в создании вооружений и военной техники. При Президенте РФ необходимо создать Совет генеральных конструкторов, которые определяли и определяют направление развития вооружений, военной техники и изделий для народного хозяйства на основе новейших технологий, определить техническую и технологическую политику государства с целью решения важнейших государственных задач.

А задача у нас одна — сохранить страну, нашу Россию и живущий на ней народ. Нет оснований надеяться, будто заокеанский дядя искренне ратует за мир. Пора верить не словам, а поступкам. Шестая часть суши, на которой мы живем, давно не дает кому-то покоя. «Цивилизованный мир» вновь держит палец на курке. XXI век начался с войн. Единственная возможность защитить себя — восстановить оборонный комплекс. Добро должно быть с кулаками.



АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ КУЗОВКИН РОДИЛСЯ 10 АВГУСТА 1939 ГОДА В МОСКВЕ. С ТОГО ЖЕ ГОДА И ПО СЕЙ ДЕНЬ ЖИВЕТ В КОЛОМНЕ. ОКОНЧИЛ ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КОЛОМЕНСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА. С 1965 ГОДА РАБОТАЕТ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «КОЛОМЕНСКАЯ ПРАВДА». АВТОР БОЛЕЕ 40 КНИГ, БРОШЮР И БУКЛЕТОВ О КОЛОМЕНСКОМ КРАЕ И КОЛОМЕНЦАХ. ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ И СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ. ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. В ПРОШЛОМ ГОДУ ЗА БОЛЬШУЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ КОЛОМНЫ И ВКЛАД В ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ НАГРАЖДЕН ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ».

ЖИЛ, НЕ ЗНАЯ ПОКОЯ

Есть в Санкт-Петербурге площадь Победы. Это место — как бы парадный въезд в город. Именно здесь сходятся пути из столицы России Москвы и столицы Украины Киева. Здесь, на развилке дорог, возвышается монумент в честь героических защитников города на Неве в годы Великой Отечественной войны. В бронзе и граните запечатлен подвиг города-героя.

В Памятном зале, где негасимым огнем мерцают девятьсот (по числу блокадных дней) светильников, зажженных в снаряженных гильзах, собраны волнующие свидетельства военного лихолетья. А на мраморной стене Мемориального зала увековечены имена всех Героев Советского Союза ленинградской эпопеи. Золотом горит и фамилия нашего земляка, уроженца села Городец Коломенского района, Михаила Яковлевича Миронова, патриота России, мужественного воина, отмеченного Золотой Звездой Героя Советского Союза, награжденного Президентом США Франклином Д. Рузвельтом американским орденом «Крест за боевые заслуги».

Во многих схватках с белофиннами участвовал пограничник М.Миронов, пока тринадцатого марта 1940 года не стало известно, что военные действия прекратились.

Война, которая получила название Великой Отечественной, кинула в свою круговерть и пограничника Михаила Миронова. Более двух с половиной лет он защищал город, который находился в кольце блокады, но продолжал жить, трудиться, бороться.

Дважды был ранен Миронов, дважды тяжело контужен. Но всякий раз, подлечившись в госпитале, возвращался в свою родную отдельную бригаду погранвойск Ленинградского фронта.

В те дни по всему фронту гремела слава бывшего ленинградского рабочего, девятнадцатилетнего комсомольца Феодосия Смолячкова. Одним из первых он отлично овладел снайперским искусством. И Миронов решил попробовать, испытать себя в меткой стрельбе по врагу. В своем селе он считался неплохим охотником, промышлял по белкам. А их надо было бить в глазок, чтобы шкурку не попортить.

И попробовал. Из хорошо замаскированного, оборудованного поближе к позиции врага окопа он стал наблюдать и охотиться за довольно беспечными фашистами. Те знали, что здесь снайперов у русских нет, потому почти не маскировали свои окопы, траншеи, порою даже вызывающе нагло вели себя, собирались группами, не очень-то клонились к земле, перебегая открытые участки.

Миронов учел все это и не промахивался из своей простой трехлинейной винтовки.

«Миша стреляет редко, да метко», — стали говорить о нем товарищи. А Михаил мечтал об особом прицеле, чтобы установить на винтовку. А еще лучше — получить снайперское оружие.

Штаб бригады со всей части собрал солдат с твердой рукой и верным глазом и направил на краткосрочные курсы снайперов-истребителей. Двенадцать дней Миронов тщательно и основательно вникал в теорию. Учился пользоваться оптическим прицелом, практиковался в наблюдении, выборе, оборудовании и маскировке огневых позиций, в ведении огневой разведки, составлении снайперских стрелковых карточек.



На выпуске присутствовал комиссар части К.В. Овчинников. Начальник снайперского сбора указал ему на лобастого с чуть удлиненным лицом пограничника:

— Обратите особое внимание на Миронова.

— Почему?

— Я редко встречал человека, который умел бы с такой быстротой и точностью схватывать цель. По-моему, он — прирожденный снайпер.

Офицер оказался провидцем. Боевой счет снайпера Михаила Миронова рос день ото дня. Михаил старался каждый день использовать для увеличения своего счета мести.

Несколько дней батарея противника планомерно вела огонь из глубины. Снаряды ложились в полосу нашей обороны довольно кучно и прицельно. Командир роты вызвал Миронова: «Наверняка огонь артиллерии кто-то корректирует. Выяви наводчика и уничтожь».

Миронов знал, что отыскать хорошо замаскировавшегося корректировщика не так-то легко, порою гораздо труднее, чем уничтожить его.

Под утро он обосновался в оборудованной накануне огневой точке. И с рассветом начал наблюдение. Этому искусству Миронов обучился за те долгие недели, которые провел на переднем крае. Вот и сейчас он начал осматривать открывающуюся перед ним панораму веером, последовательно перенося луч зрения слева направо и справа налево, постепенно подвигая его вперед. Особое внимание обращал на траншеи, ход сообщения, замаскированные окопчики, обшаривал взглядом гребень высоты, кусты, усеявшие ее.

Прошел час, второй, третий. Наметанный глаз замечал, как нет-нет да

появлялись на какое-то мгновение головы над траншеями. В другой бы раз не преминул выстрелить, а сейчас не мог позволить себе сделать этого — у него другая задача. А что корректировщик где-то здесь, неподалеку, — вскоре заявили прилетевшие издалека снаряды. Они прошелестели в воздухе и стали взрываться в глубине нашей обороны.

Встрепенулся, преобразился, напряжился Миронов. Вновь повел взглядом слева направо по высоте. Уж очень место выгодное, оттуда, как на ладони, наша оборона просматривается. Именно там может быть вражеский корректировщик. «Если бы я сам был корректировщиком, непременно бы выбрал пункт наблюдения там», — отметил про себя Миронов.

И не обманулся. Под кустом, почти на самом гребне высоты, что-то блеснуло. Пригляделся — так и есть, стекла бинокля. Навел оптический прицел: офицер, чуть высунувшись из окопа, внимательно глядит в бинокль, а затем резко нагибается. Через некоторое время вновь впивается глазами в бинокль и опять нагибается. «Ясно, по телефону разговаривает. Ты, голубчик, мне и нужен», — и Миронов плавно нажал на спусковой крючок.

В оптический прицел увидел, как дернулась голова офицера, и тот осел в окоп. Сразу же прекратился артогонь. Да так и не возобновился больше.

— Везет тебе, Миронов, чуть ли не каждый день удачный, — заметил недавно прибывший из госпиталя в роту боец. В той части, в которой служил до ранения, он тоже был снайпером. А здесь за неделю, что выходил на «охоту», ни одного фашиста к праотцам не отправил.

Михаил на замечание не рассердился, не обиделся, лишь заметил:

— Да, конечно, везет. Но не забываю я вот что: сколько часов нахожусь на огневом рубеже, столько времени и непрерывно изучаю окружающую местность, слежу за «поведением» предметов в секторе наблюдения, стараюсь обнаружить признаки маскировки врага. Это помогает найти его, а потом и уничтожить. И ведь так порою целый день проходит. Не забывай, что я такой же живой человек, как и ты, из костей, мяса и кожи сделан. И мороз так же жалит, как тебя, и от голодухи слюной давлюсь... Главное в нашем снайперском деле — внимание, выдержка и неутомимость в наблюдении.

Эти слова были выстраданы Мироновым.

Менее чем за год снайпер Миронов уничтожил двести двадцать трех фашистов. Учитывая его богатейший боевой опыт, командование бригады решило использовать сержанта Миронова в качестве инструктора на сборах по подготовке снайперов из воинов пограничных частей при Двадцать третьей армии. Та поездка на снайперские сборы самым неожиданным образом повлияла на дальнейшую судьбу Миронова. Оказалось, Миронов обладал еще и педагогическим талантом. И летом 1942 года начальство направило его на шестимесячные курсы младших лейтенантов. Закончил их успешно. И Михаилу Миронову, одному из немногих, присвоили звание «лейтенант».

Служить продолжал в своей родной Двадцать седьмой отдельной стрелковой пограничной бригаде, в должности командира взвода. Учил солдат действиям в обороне, но особенно — в наступлении. Уже была пробита брешь в кольце фашистских войск у Ленинграда, стояла задача окончательно снять блокаду.

Через некоторое время Двадцать седьмую бригаду соединили с Тринадцатой бригадой внутренних войск и образовали Двести первую стрелковую дивизию. М. Я. Миронова назначили командиром взвода, а затем и роты в Девяносто втором стрелковом полку.

В начале января 1944 года дивизия получила приказ о передислокации.

Строем прошли по Ленинграду — израненному, суровому, но не сдавшемуся врагу. Шли на юг. Из свежих газет узнавали о победах воинов Ленинградского фронта, начавших мощное наступление. Вскоре и Двести первая вступила в сражение.

Миронов был в самом пекле боя, забыл, когда и отдыхал. Спал урывками. Как-то сморил его сон под большой елью. Уткнулся в лапник, заботливо брошенный на землю ординарцем Баевым, приказав через час разбудить, и тут же отключился.

Проснулся сам и очень удивился, когда шагах в четырех от себя увидел металлическое брюхо неразорвавшейся немецкой бомбы.

— Проснулись, товарищ старший лейтенант?

Миронов повернул голову на голос.

— А, Баев. Слушай, откуда это? — и показал на бомбу.

— В рубашке вы родились, товарищ старший лейтенант. Крепко спали, не слышали. Это фашисты гостинец прислали. Слава Богу, не разорвалась бомба, а то бы...

И Михаил представил, что было бы: воронка и никаких следов от старшего лейтенанта Миронова — прямое попадание. От такой картинки в жар бросило.



— Надо же, а я и не слышал, — как бы в укор себе произнес и пружинисто встал.

Бомба-сотка тускло поблескивала. Миронов смотрел на металлическую чужую с зажатой, затаенной в ее корпусе смертью, и думал о том, сколько же случайностей встречается на солдатском пути на войне. Вот сейчас непонятно по какой причине не взорвалась бомба, и никто не скажет, по какой. А года полтора назад тоже совершенно случайно смерть выбрала не его, а шагавшего рядом. Тогда на передовую приехал командир полка подполковник

Хиль. Офицер разговаривал со снайпером Мироновым, ординарец стоял рядом. Командиру части захотелось поближе увидеть позицию Миронова, и втроем пошли они по тропке. Пуля вражеского снайпера насмерть сразила ординарца. Миронов шел с ним нога в ногу. Хочешь не хочешь, а задумаешься о судьбе.

Вот и сегодняшний случай. Прилег отдохнуть на часок, а мог бы навсегда. И вновь судьба оказалась благосклонной к нему.

Миронов еще раз глянул на неразорвавшуюся бомбу, закурил:

— Знаешь, Баев, пуля снайпера меня не взяла, бомба — тоже. Наверно, заговоренный я. Так что дойдем до Берлина, до победы!

* * *

В результате успешного наступления войск Ленинградского фронта, начавшегося четырнадцатого-пятнадцатого января 1944 года, к двадцать первого января наши войска вышли на исходные рубежи для удара по Гатчине.

Тяжелые бои разгорелись у высоты Воронья Гора. Как ни огрызались фашисты, как ни сопротивлялись, невозможно им было сдержать натиск наступающих советских войск.

Командование ввело в прорыв Двести первую стрелковую дивизию, в составе которой решительно действовал Девяносто второй стрелковый полк. Преодолев сопротивление противника, воины дивизии к исходу дня 22 января вышли в район Романовки и Кирпикюля.

Седьмая рота старшего лейтенанта Миронова наступала в направлении деревни Романовки. Туда же устремилась и Девятая рота старшего лейтенанта Кузьменко.

Казалось, ничего не предвещало задержки: под натиском советских войск фашисты отходили, а кое-где панически бежали. Но в одном месте гитлеровцы умело использовали рельеф местности — железнодорожную насыпь превратили в хорошо укрепленный рубеж обороны. Насыпь скрывала от наступающих шоссе, по которому отходили в тыл потрепанные в боях воинские части.

Роты с ходу атаковали насыпь, но встретили такой губительный огонь, что вынуждены были залечь, наскоро окапываясь.

Миронов лежал в наспех отрытом в снегу углублении, пытаясь в еле различимых в ночи контурах насыпи с огрызающимися вспышками выстрелов найти место, откуда фашисты вели менее интенсивный огонь. Рассуждал: «Немцы укрепились, обосновались так, что без артиллерии их вряд ли выкуришь. А где она, артиллерия? По этому болоту разве пройдет?» И перед глазами явственно встало то заснеженное кочковатое пространство, которое он с бойцами преодолел ночью. Трясина, скованная сверху морозом, могла удержать на поверхности лишь солдат, о пушках же и думать нечего. А как бы они нужны сейчас были!

Прочь мечты! Нужно реально оценить обстановку и что-то предпринять. Промедление смерти подобно, это уж точно. Приказ командира полка строг и категоричен: «Атаковать врага и овладеть его позицией!» Труднейшая задача. Тут головы не поднимешь, не то чтобы ринуться в атаку. Жалко солдат, многие могут погибнуть. Но и медлить нельзя, нужно что-то делать решительно и быстро, иначе с рассветом труднее будет выполнить приказ.

Сквозь пулеметно-автоматную трескотню до слуха Миронова донеслось поскрипывание. Посторонний шорох заставил оглянуться.

— Мироныч, ты? — хриловатым, простуженным голосом спросил показавшийся из-за куста человек, в котором Михаил узнал командира Девятой роты Григория Кузьменко. — Как дела?

— Да вот лежу, ни метра вперед, — с огорчением ответил Миронов. — Голова кругом идет, а ничего на ум не приходит, как эту чертову насыпь взять.

Кузьменко ящерницей скользнул по снегу и выдохнул чуть ли не в самое ухо Михаилу:

— У меня тоже мозги набекрень. Вот и решил с тобой покумекать. Как говорится, ум хорошо, а два — лучше.

Миронов обрадованно кивнул:

— Верно, Гриша. Может, двумя ротами одновременно?

— Мне вон те кусты в лоштинке симпатичны. — Кузьменко чуть приподнялся на локтях, подавшись вперед. — Миша, у меня есть план...

Рука Кузьменко, словно поскользнувшись на льду, подкосилась, и он упал головой в небольшой снежный бруствер.

— Ты что? — Михаил вытянул руку вперед, дотронулся до лица товарища. Пальцы ощутили на лбу дырку, из которой струйкой стекала кровь.

«Наповал. Эх, черт, какая досада... Что же делать? Что? У меня теперь две роты». Мозг лихорадочно работал, и решение пришло: «Нужно ударить концентрированными силами в одном направлении в том месте, где к на-

сыпи подходит лошинка, поросшая кустарником. Часть солдат там может довольно незаметно подойти на близкое расстояние к железнодорожному полотну. А затем рывок и...».

— Передать по цепи: командир 9-й роты Кузьменко убит. Принимаю командование двумя ротами на себя. Командиров взводов ко мне.

Когда все собрались, Миронов четко обрисовал обстановку и поставил задачу:

— Будем брать насыпь. Дело нелегкое. Фашисты, по всей вероятности, окажут серьезное сопротивление. Для них этот вал — очень выгодный рубеж. А наша задача — уничтожить гитлеровцев, занять железнодорожную насыпь. Сигнал к атаке — зеленая ракета в сторону противника.

Офицеры расползлись по своим взводам. Через некоторое время солдаты начали выдвижение вперед.

Фашисты заметили передвижение, усилили огонь.

Миронов выпустил в небо зеленую ракету.

— Вперед! — И с автоматом в руке бросился к насыпи, увлекая за собой бойцов. В грохоте боя не расслышал ближнего разрыва мины. Большой острый осколок с неимоверной силой ударил по каске, кожаный ремешок лопнул, словно прелая бечевка, стальная шапка сорвалась с головы, упала в снег. В ушах зазвенело, ноги подкосились, и Миронов рухнул в развороченное взрывом серо-бурое месиво из снега, глины, земли, больно ударившись головой. Сквозь возникший гул расслышал истошный крик ординарца:

— Командира убили! Старшего лейтенанта убили!

Миронов с трудом разжал словно судорогой сведенные зубы, раскрыл рот, вдохнул полные легкие морозного воздуха. В ушах стрельнуло, и на какое-то время гул в голове прекратился.

— Не кричи! Чего паникуешь? Живой я!

Миронов вскочил на ноги. С раскрытой головой, в разодранном, испачканном глиной маскхалате, метнулся к насыпи с громовым: «Вперед! У-ра-а!».

По цепи пронеслось: «Ура!», и с этим победоутверждающим криком солдаты ворвались на насыпь. В ход пошли гранаты, штыки, приклады. В шесть утра насыпь была в руках советских воинов.

— Занять оборону! Переоборудовать позиции!

Этот приказ Миронова был как нельзя кстати. Через несколько минут фашисты, открыв бешеный огонь, пошли в контратаку.

— Передать по цепи. С насыпи ни шагу назад!

Выкрикнул Миронов эти слова и ойкнул от пронзительной боли, будто раскаленный железный штырь воткнули под коленку. Невольно схватился рукой за ногу: из раны хлестала кровь.

Ординарец разорвал штанину. Под коленом и выше разрывная пуля глубоко распластала кожу и ткань, превратив все в кровавое месиво. Баев перехватил ногу выше колена жгутом, наложил повязку и услышал от командира полуприказ-полунаставление:

— Никому ни слова, что я ранен. Нужно отбить контратаку.

Фашисты не выдержали дружного, разительного огня, откатились, оставив на подходе к насыпи убитых и раненых.

Через некоторое время, перегруппировавшись, вновь пошли в контратаку. И вновь были встречены слаженным, метким автоматом-пулеметным огнем. Наступление гитлеровцев опять захлебнулось...

Весь день удерживали мионовцы железнодорожную насыпь, с десятков атак отбили, но позиций не сдали.

Миронова еще раз ранило. Пулей в правое бедро. К вечеру понял, что

силы иссякают. Уже не мог громко отдавать команды, распоряжения. Тихо говорил ординарцу, тот дублировал.

Лишь в девять часов вечера, когда стало ясно, что фашистам насыпь не отбить — подошло подкрепление, — Миронов разрешил вынести себя с поля боя.

Старшина Дмитрий Игнатьев на волокуше доставил командира роты к медсанбату. Там потерявшего много крови, измученного пятнадцатичасовым боем Миронова накормили, обработали рану и подготовили к отправке в эвакуогоспиталь. Здесь и разыскал Михаила командир дивизии генерал-майор В. П. Якутович. Долго разговаривать не было времени. Генерал наклонился над раненым, пожал ему руку и произнес одну лишь фразу:

— Вы совершили подвиг, старший лейтенант Миронов, подвиг, который Родина не забудет.

И в ответ комдив услышал:

— Служу Советскому Союзу!

* * *

Радостную весть о том, что двадцать шестого января 1944 года Ленинград полностью освобожден от вражеской блокады, Михаил Яковлевич Миронов услышал в пропахшей йодом и карболкой госпитальной палате. Из черной тарелки репродуктора прозвучал Приказ войскам Ленинградского фронта.

К восьми часам вечера шторы затемнения с окон убрали. И ровно в 20.00 раненые увидели, как с первым залпом трехсот двадцати четырех орудий в небо взлетели тысячи разноцветных ракет. Темное зимнее небо озарили голубые ленты прожекторных лучей.

Били орудия, небо гремело от разрывов. Но впервые за девятьсот дней блокады это был благостный грохот — гром праздничного салюта, который выжимал слезы из глаз, заставлял улыбаться, радостно сжиматься сердце.

А спустя месяц Михаилу Яковлевичу Миронову пришлось пережить еще одно волнующее событие. Здесь, в госпитале, начальник политуправления Ленинградского фронта генерал-майор Д.И. Холостов вручил ему Орден Ленина и Золотую Звезду Героя Советского Союза. Высокие награды по достоинству увенчали ратный подвиг солдата.

Семь долгих месяцев пришлось пробыть на госпитальной койке старшему лейтенанту М.Я. Миронову. Двадцать шестого июля 1944 года, осторожно опираясь на костыли, он закрыл за собой дверь эвакуогоспиталя 1015 на Васильевском острове.

* * *

Мужество. Оно требовалось от пограничника Миронова, от офицера Миронова во время боевых действий в дни войны. Жизнь показала, что требуется мужество и в мирные дни. Надо было учиться стойчески преодолевать те трудности, которые выпали на долю вчерашнего воина.

В апреле 1945 года старшего лейтенанта М.Я. Миронова уволили из армейских рядов по состоянию здоровья. Что делать? Этот вопрос был не праздным.

Тянуло на родину, на коломенскую землю. Но кем он мог работать в деревне? Быть обузой для матери, каждый день видеть ее слезы? Ртов-то

хватало. Сестра-вдова с тремя детьми осталась. Да еще если он к ним переберется, инвалид второй группы, передвигающийся на костылях. Пенсия мизерная. На одного, может, денег и хватало бы. Но он был не один. Его фронтовой друг Дуся Амбрасовская в 1944 году стала Мироновой. Расписали их в Ленинграде, в загсе Дзержинского района. Там до армии жила Евдокия. И рос у них сынишка Гена...

Сложностей хватало. Вся экипировка Михаила состояла из одного-единственного комплекта офицерской одежды, что была на нем. У Дуси тоже гардероб не изысканный — в такой же серой шинели ходила. Молодой семье выделили крохотную комнатку — восемь с половиной квадратных метров. Удобств практически никаких. Однако на трудности, невзгоды не роптали: теперь у них был свой угол. А вот как обустроиться в жилище, думали с содроганием: средств, чтобы купить что-либо из мебели, не было. Спасибо, нашелся добрый человек — соседка по квартире Наталья Васильевна Роц. Без лишних слов сопереживания она принесла Мироновым керосинку, кастрюли, чашки, ложки: «Пользуйтесь, пока не обзаведетесь своим».

Спали на полу — холодном и сыром. Сынишке Михаил Яковлевич что-то вроде люльки из листов фанеры соорудил — не так промозгло в ней было. И опять добрая душа Наталья Васильевна выручила: отдала соседям односпальную кровать.

Как жить дальше, что делать? Эти вопросы не давали покоя. С кем-то надо посоветоваться. А с кем? На фронте все проще обстояло. Там были вышестоящие командиры, можно, если требовалось, обратиться к ним. А к кому мог обратиться сейчас, в мирные дни, отставной боевой офицер, а просто-напросто инвалид, ходящий на костылях? О том, что он кавалер Золотой Звезды, Миронов не вспоминал — заслуженных людей с войны вернулось немало.

Однажды решился и пришел в штаб войск Северо-Западного пограничного округа на прием к генерал-лейтенанту Г.А. Степанову. Знал, человек этот честный и справедливый, заботливый и внимательный. В войну Григорий Алексеевич много внимания уделял снайперскому движению. Он первым увидел, что мастеров меткого огня можно воспитывать не одиночками, а сотнями, придать этому делу большой размах. Генерал Степанов не раз подчеркивал, что первым знаменитым снайпером среди ленинградских пограничников был Михаил Миронов.

Вот с этим человеком Михаил и решил поделиться наболевшим, посоветоваться, как жить дальше...

Офицер в приемной помог инвалиду, открыл и придержал дверь, пока тот на костылях проходил в кабинет.

— Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант!

— Здравствуй, здравствуй, Михаил Яковлевич, — генерал встал из-за стола, плотный, широкоплечий, со множеством орденских лент на груди, шагнул навстречу вошедшему, крепко пожал руку. — Проходи, садись, — и пододвинул стул. — Докладывай, что с тобой, как живешь.

И рассказал Миронов о последнем бое, долгих месяцах госпиталя, поведал о том, в каких условиях живет. Уже вдвоем стали вспоминать памятные события первого года войны, общих знакомых, товарищей...

На прощанье генерал Степанов, дружески положив руку на плечо бывшего прославленного снайпера, в раздумье произнес:

— Понимаю, невыразимо тяжело тебе и твоей семье сейчас. Но, поверь, не тебе одному так живется. Нужно выстоять, пересилить эти временные

трудности. И советую, Михаил Яковлевич, поступай учиться: светлая у тебя голова. А куда — подумай, различных курсов и школ открыто много.

С надеждой на новый поворот в судьбе вернулся Михаил домой.

На следующий день привезли ему дров. Солдаты выгрузили чурбаки во дворе у подъезда. Стал рубить их, а из поленьев осколки да пули сыплются — пригоршню набрал острых металлических кусочков. От скольких смертей спасли эти деревья защитников Ленинграда, подсчитать невозможно!

К вечеру истопили печь — наконец-то тепло наполнило комнату.

Наутро подхватил костыли Миронов и во двор поколоть дровишек. А их там нет. Украл кто-то. Обидно за людей стало. Этот факт дал понять: не все люди одинаковы, не все такие сердобольные, как их соседка, есть и черствые души, что на горе людском не прочь погреть руки.

Днем солдаты привезли еще дров. Эти чурбаки Михаил с женой перетаскали домой — так надежнее.

Раздумья о справедливости, о пороках, свойственных людям, и дали толчок к решению о том, чтобы стать юристом. Поступил на высшие юридические курсы.

С присущей ему хваткой прилежно и настойчиво учился. Курсы окончил с отличием.

В октябре 1947 года М.Я. Миронова избрали народным судьей Седьмого участка Дзержинского района Ленинграда. Он очень быстро завоевал авторитет: чутко относился к жалобам и нуждам трудящихся, беспощадно карал расхитителей социалистической собственности, мародеров, спекулянтов. Тщательная, всесторонняя подготовка давала Миронову возможность объективно выносить решения о мере наказания. За время его работы народным судьей считанные единицы приговоров были отменены кассационной инстанцией, абсолютное большинство же оставалось в силе.

Работал и учился. В 1954 году успешно окончил вечернее отделение юридического института. Прибавилась семья — родился второй ребенок, дочка Таня.

Положительный опыт работы народного судьи М.Я. Миронова в 1950 году был рассмотрен на Коллегии Министерства юстиции СССР и распространен среди судей страны. О нем писали в газетах, журналах, брошюрах.

За верную службу делу правосудия, за заслуги в укреплении социалистической законности Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от седьмого июня 1972 года Михаилу Яковлевичу Миронову было присвоено Почетное звание «Заслуженный юрист РСФСР».

Помимо профессионального, он взваливает на свои плечи дополнительный груз и честно выполняет сложные обязанности народного депутата, члена райкома партии. В восьмидесятые годы М.Я. Миронова избрали председателем совета ветеранов бывшей Двести первой Гатчинской Краснознаменной стрелковой дивизии. А это — новые волнения, новые заботы, встречи с ветеранами, общение с молодежью. Каждый раз нужно подготовиться, продумать, о чем сказать, чтобы слова брали за душу. А значит, надо вложить в каждое выступление частицу своей души.

Не мог вспоминать без волнения М.Я. Миронов поездку в Москву на Вторую Конференцию сторонников мира, на которую был избран делегатом. Ему предоставили высокую трибуну этого представительного форума, и под торжественными сводами зала прозвучали взволнованные слова фронтовика-героя:

— Никто не забыт! Ничто не забыто! И не можем мы забыть ни одного из наших боевых друзей, сложивших свои головы на полях сражений Великой Отечественной!.. Каждый наш шаг вперед, шаг через боль, через смерть,

освобождал землю для мира. И этот мир завещали нам сохранить те, кто остался лежать на полях войны... Мы, ветераны Великой Отечественной, знаем цену миру, мы должны сберечь мир для детей!

Всей своей послевоенной жизнью, работой Михаил Яковлевич доказал, что делал все от него зависящее ради мира на земле, ради того, чтобы память о прошлом не исчезла бесследно.

* * *

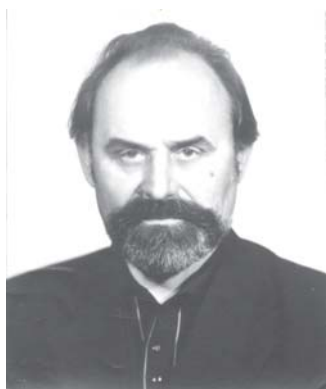
В нынешнем, 2003 году, Санкт-Петербург отмечает славный трехсот-летний юбилей. На разных исторических этапах развития города свой вклад во многих сферах деятельности вносили и коломенцы. Один из них — герой моего повествования, уроженец древней Коломенской земли Михаил Яковлевич Миронов, которого я с полным основанием могу назвать Человеком с большой буквы, Личностью.



«Мемориал». Фото Ю. Колесникова

МИХАИЛ МАНОШКИН

БАБУШКА ЕКАТЕРИНА ЕГОРОВНА



МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ МАНОШКИН РОДИЛСЯ В 1925 ГОДУ В ДЕРЕВНЕ ОРЕШКОВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. В 1933 ГОДУ СЕМЬЯ ПЕРЕЕХАЛА В КОЛОМНУ. В МАРТЕ 1942 ГОДА ПО ПРИЗЫВУ КОМСОМОЛА УШЕЛ НА ФРОНТ. ВОЕВАЛ ПОД СТАЛИНГРАДОМ, БЫЛ В ПАРТИЗАНСКОМ ОТРЯДЕ, УЧАСТВОВАЛ В БОЯХ НА КУРСКОЙ ДУГЕ, ПРИ ШТУРМЕ БЕРЛИНА БЫЛ РАНЕН. ПОСЛЕ ВОЙНЫ ОКОНЧИЛ ФИЛФАК МГУ, ЗАНИМАЛСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТОЙ. В 1994 ГОДУ НПП «ПАРАЛЛЕЛЬ» В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ВЫПУСТИЛО ДВА ЕГО РОМАНА ПОД ОБЩИМ НАЗВАНИЕМ «ПЕРЕД ГУННАМИ», ПОСТОЯННЫЙ АВТОР КОЛОМЕНСКОГО АЛЬМАНАХА. ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ. УМЕР В 2002 ГОДУ.

Когда я думаю о том, что в моей жизни было самое лучшее, я думаю о бабушке. Мне повезло, что у меня была такая бабушка — ведь у моих сверстников такого человека могло и не быть.

Возможно, я ошибаюсь: моя бабушка была как всякая другая, ничуть не лучше других, и это лишь мне казалось, что бабушка Катя самая лучшая из бабушек. Ну что ж, если я ошибаюсь, не беда: бабушка для меня была самым близким человеком — ближе отца и матери, ближе братьев и сестры. Так уж получилось. Я сам, вступая в зрелый возраст, лишь начинаю осмысливать, почему именно бабушка самый желанный мне человек в роду Камашиных-Михеевых.

С ранних лет, когда я только-только начал вступать в мир, бабушка стала моей неизменной покровительницей. Мать могла заботиться обо мне, но она могла и быть ко мне равнодушной, отец мог забавляться со мной, как с игрушкой, но мог и нудно поучать меня в соответствии со своими представлениями о жизни, зажав меня, трех-пятилетнего мальчишку, между колен и держа в руке свой широкий ремень, предварительно сняв с меня мои штанишки. И мать и отец могли быть для меня «или-или» — то «хорошими», то «плохими» — бабушка же в своем отношении ко мне не колебалась никогда. Что бы я ни сделал — нашалил в избе, что-нибудь потерял или забрался в чей-то сад — она относилась ко мне с неизменной добротой.

Вот это бабушкино постоянство и делало мой детский мир устойчивым: рядом с бабушкой я никогда не боялся быть самим собой. Около нее мне всегда было легко и радостно, и все мое детство было озарено замечательной ранне-человеческой свободой, которую я делил со своими маленькими приятелями и чудесной природой Орешкова.

Разумеется, мои суждения о бабушке одно-



*Бабушка Екатерина Егоровна.
1933 г.*

идеальных русских женщин, которые испокон веков и детей растили, и трудились на земле, а в час беды вставали рядом с мужчинами на крепостных стенах, отражая натиск врагов... Какие у нее были удивительно русские черты лица! Правильные, спокойные, симпатичные — одень такую деревенскую женщину изысканно — какая красавица сравнится с ней!

В старенькой бабушкиной избе — ветхая была избушка! — я рос свободно, как мне хотелось, как мне нравилось. Я мог бегать по лугам, бродить по берегам Коломенки, ходить в лес, играть в футбол — когда мне хотелось. Я ложился спать, когда хотел, и вставал, когда хотел, — вот эта *абсолютная* свобода и сделала мое детство по-настоящему счастливой порой моей жизни. Я убежден: раннее детство у человека должно быть именно таким. Лес, речка, поля и леса — все было мое. Я мог мечтать, лежа на опушке леса, я мог забраться на дерево и, сидя высоко над землей, грезить о будущем, глядя на убегающую вдаль полоску дороги...

Только пожив на свете, я понял по-настоящему, как важна для души человека именно вот такая абсолютная свобода в детстве, когда закладываются основы духовного бытия человека — в неразрывной связи с природой. И я сейчас с тревогой думаю о том, что стало бы со мной как с человеком, не оказавшись рядом со мной бабушки.

Бабушка... Сколько теплых воспоминаний я храню о ней в своей памяти!...

сторонни. Я наверняка склонен был идеализировать свою бабушку, и в этом нет ничего странного: бабушка была *лучше всех* из моих родственников, и то, что я не получал от них, то, что они ущемляли во мне, я получал от бабушки. Мое отношение к бабушке было всегда неизменно. Бабушку я любил. Конечно, ее мир не был моим миром: у нее была своя жизнь, в которой для меня многое «устарело» — в ее одежде, в ее манерах, в ее приятельницах, в ее распорядке дня; было бы неестественно, если бы мне нравилось все, что нравилось и бабушке: все-таки она — человек иного времени, она родилась в 1880-м году, на сорок пять лет раньше меня, и сложилась как человек в иную общественную эпоху. Но что мне было в бабушке дорого, о чем я с волнением вспоминаю и сейчас, спустя почти сорок лет со дня ее смерти, — это ее доброта, уравновешенность, ее бережное отношение к моему человеческому достоинству. Она никогда не насильствовала мою волю, никогда не была несправедлива ко мне. Она уважала мои желания, видела во мне личность, к которой относилась очень бережно.

При этом у нее в поведении не было ничего показного, ничего «для воспитания» — она оставалась собой со всеми. Она любила трудиться, но и никогда не упускала случая поговорить с соседями, а то и пригласить своих приятельниц к себе на чай.

А как она великолепно выглядела! Сильная, стройная, рослая (носила обувь сорок первого размера!), с открытым красивым лицом, она напоминала мне тех

Бабушка раскрывала передо мной мир сказок и мир выразительного слова вообще, заставляя мое сердце часто биться, а мою мысль наполняя беспокойным желанием все понять, осмыслить, пережить...

Лежа зимними вечерами на печи возле бабушки, я слышал, как гудит в трубе ветер. На печке было темно, тепло, уютно, безопасно, и с особой остротой воспринимались те минуты, когда бабушка певучим голосом повествовала о медведе с деревянной ногой, о сером волке или о Бабе-яге. Я живо представлял себе, как скрипит снег под лапами медведя, как лунной ночью он идет в деревню, чтобы съесть обидевшего его мужика, и мне чудилось, что я действительно слышу скрип снега, что медведь и в самом деле подходит к бабушкиной избе и сейчас стукнет своей деревянной ногой в дверь, чтобы узнать, не здесь ли живет мужик...

Я, как живую, представлял себе хитрую лисью мордашку, когда лиса пришла украсть петуха, мне было жалко зайца, которого преследует волк, я с напряженным вниманием слушал бабушкины сказки про леса дремучие, про Бабу-ягу Костяную ногу, про лешего и оборотней...

Как все это было давно! Почти полвека тому назад... а все так свежо в памяти...

Рассказывала бабушка и страшные истории — они побуждали меня замечать от страха, хотя бабушка неизменно придавала им в конце светлую окраску. Они будоражили меня, будили во мне необычайную игру воображения, вызывая во мне разноцветную гамму самых разнообразных чувств. В том далеком детстве я боялся темноты, боялся, проснувшись ночью, смотреть на кухню, где обитает домовый, боялся лесных дебрей и тихих глубоких омутов — боялся лешего и водяного. Сейчас я с особым, теплым чувством вспоминаю эти глубоко волновавшие меня чувства. Мне кажется, что именно тогда, в далеком детстве, постигая окружающий меня мир как абсолютное торжество *живого*, я сам по-настоящему жил, жил полной жизнью, — точь-в-точь как десятки и сотни поколений моих предшественников-славян... Именно тогда, в детстве, под благотворным влиянием бабушки, закладывались во мне основы *русского* начала... И, испытывая тогда страх перед таинственным и сверхъестественным, я ни за что бы не сменял те минуты жутковатого постижения мира на незнание тех образов и историй, на полное отсутствие тревог и страха. Не отдал бы! Я радовался, волновался, бледнел от страха, мечтал — значит, жил!

Я боялся домового, лешего, водяного и всяких оборотней, но без них мое воображение потускнело бы, погасло, а леса, реки, болота и старая бабушкина изба утратили бы свое особое очарование, свою загадочность, свою исключительность. Наслышавшись тех поэтических народных преданий, я с жадным интересом наблюдал за глубокими омутами, замечая при этом такие детали из жизни реки, которые едва ли заметил бы подвосток, не знающий о водяном; я с волнением вслушивался в таинственный лесной шум, и лес для меня становился живым существом. Для меня все тогда было живым — поля, луга, лес, а я сам, начинающий человек, был неотделим от этой живой природы. Не в том ли удивительная сила поэтических народных преданий, что они делают человека неотделимой живой частицей великой матери-природы! Днем леса, поля и река были моими друзьями — вечером и ночью я уступал их лешему, луговому и водяному. Я жил в мире и в согласии с ними, как цветы, как поле, как река или лес. Это теперь трудно понять, а тогда было так просто, так естественно.

И бабушка, моя добрая, моя единственная бабушка, сделала меня тем, чем я есть. Она была постоянно занята, она редко сидела без дела — разве

лишь когда пила чай и беседовала со своими приятельницами, но и чай был необходимым делом, без которого нельзя было обойтись.



Бабушкина изба. Рисунок автора.

Я любил смотреть на эти бабушкины чаепития, когда три-четыре старушки усаживались за столом вокруг самовара и вели свои житейские разговоры. Наблюдать за старушками было одно удовольствие — только старушками в нынешнем городском смысле слова их едва ли можно было назвать: все они были крепкие, работающие, с мозолистыми руками — бабушка, Матрена, Елизавета. Среди них бабушка была самая видная, самая колоритная, прожила же

она гораздо меньше своих подружек — всего шестьдесят пять лет, по деревенским масштабам тех лет немного. Елизавета и Любаша пережили ее чуть ли не на двадцать лет, а Матрена — лет на двадцать пять...

Воспоминания об их давних встречах за столом вызывают во мне невольную грусть по тем навсегда ушедшим патриархальным временам, которые тогда еще имели место, несмотря на колхозы.

Все было тогда поразительно просто: в деревне ни радио, ни газет, ни кино, ни электричества — все внимание было направлено на самих людей, ничто не скрывало, не маскировало их существа: всяк видел, кто умен, кто глуп, кто трудолюбив, кто нет, кто умел, кто ни к чему не способен. Зато как интересны были вот такие встречи сельчан — за столом, на бревне у дома или на завалинке!

Особенно приятно было наблюдать за деревенскими старушками, когда они сидели за столом в бабушкиной избе, где всегда было уютно, тихо и на стене тикали старенькие ходики. Все было здесь неизменное, первозданное, как сама жизнь: фотографии в рамке за стеклом, немудреная мебель, печь, скрипучие половицы, занавески на окнах, иконы в красном углу и старушки вокруг стола. Так было и сто, и двести, и пятьсот лет тому назад.

— А надесь я, девки, за грибами ходила, — певуче начинала Матрена, — трава-то какая, трава! Ты косить-то собираешься, Кать?

Матрена наливает чай в блюдечко, не торопясь, со вкусом, откусывает от небольшого кусочка сахара чуть-чуть, беретя обеими руками за блюдечко, а Катерина уже задремала, сидя на месте: летом-то сна никому не хватает. Вставали женщины с зарей, ложились поздно, весь день в работе — прежде всего в колхозе, за трудовни, а уж потом свои дела делали, а дел-то куча, еле-еле успеваешь. И за грибами сходить надо, и сено заготовить скоту надо, и огород в порядке содержать, и о скоте позаботиться, и печь истопить, и своих накормить — ни минуты отдыха.

— А? — бабушка открывала глаза, стряхивала с себя дремоту. — Грибы ныне уродились, утром корзину принесла, вся вымокла, косить пора. У

тебя, Лизавет, кто усадьбу-то будет косить — Павел Глухой иль Сашка Киреев?

— А? — вздрагивала задремавшая Лизавета, небольшая, худощавая, со строгим лицом, очень подвижная старушка — мы, мальчишки, немного побаивались ее...

Я иногда думаю, в чем было своеобразное очарование тех давних дней в старой бабушкиной избе, когда за столом собирались такие старушки и неторопливо говорили о самых простых вещах — о траве, о погоде, о грибах — и прихожу к одному и тому же выводу: в том, что люди эти жили на земле, просто жили и радовались жизни — как-то естественно, по-младенчески, что теперь в сумасшедше неуютных шумных городах давным-давно утрачено людьми. В деревне тогда люди радовались сочной траве, грибам, солнечному летнему дню, теплым дождям, возможности посидеть не спеша за самоваром и поговорить о своей слитности с природой. Увы, ничего от этого давнего уютного мира не осталось. В городе для человека перестали существовать и утренние зори, и росы, и дожди, и солнце, человек перестал ощущать себя частицей великой природы, стал только винтиком современной цивилизации, ввергнувшей человека в мутный омут так называемого общественно-государственного бытия.

А ведь те старушки были счастливее большинства современных женщин и вообще счастливее большинства современных людей. У каждой из них была своя изба, своя усадьба, свой освященный семейными традициями быт. И куда бы жизнь ни разбрасывала их детей, они неизменно стремились приехать в материнский дом, побывать на своей родине. И ничто тогда не омрачало сознание людей: речки были чисты и полны рыбы, леса не захламлены и не изгажены скотом, дороги не перепачивались, поля не были изуродованы машинами. Как прекрасно тогда было Орешково! В ровную линию — избы вдоль безымянной речушки, у каждой избы — ветлы или сирень, за избами — огороды и сады, сенные сараи, а вокруг деревни уютные поля, обрамленные чистыми лесами! Какой воздух, какие уютные дороги и тропинки! И люди, не таящие друг против друга зла: в Орешкове я не знал никого, кто враждовал бы с кем-либо из односельчан...

Бабушка моя среди сельчан была одной из самых трудолюбивых. Она в одиночку обрабатывала лопатой большой огород — в нем у нее росли смородина, огурцы, помидоры, лук, чеснок, капуста, свекла, укроп, мак; пожалуй, такого обилия овощей не было больше ни у кого в деревне. Правда, яблук у бабушки не было — росла только на углу огорода одна дикая яблонька, неведомо как поднявшаяся, и бабушка вполне довольствовалась ею. Да и не каждый тогда решался посадить за двором яблоню. Я-то, мальчишка, тогда не знал, что за каждое яблоневое дерево колхозник был обязан платить государству налог... Не знал я также, что раскулачивание и организация колхоза тяжелым камнем висели на орешковцах. Раскулачивание было страшной формой террора по отношению к трудолюбивым и потому зажиточным крестьянам, сказавшейся на сознании остальных сельчан: никто из них уже не решался благоустроить свою жизнь, но при случае стремился бросить деревню и бежать куда-нибудь...

Но бабушке терять было нечего, ее защищали возраст и одиночество, ее ветхая избушка и «пролетарски-бедняцкое» происхождение ее близких по зятю. Бабушка держала довольно большое хозяйство — по орешковским масштабам: с десятков кур, пять-шесть гусей или десятков уток, четыре-пять овец, корову с телятком, иногда свинью. Управиться в одиночку с таким хозяйством, да еще работая в колхозе (возраст не избавлял человека от

этой работы) было нелегко, но бабушка управлялась со своим хозяйством, хотя это стоило ей немалых сил.

Помню (мне тогда было лет восемь) у бабушки были еще кролики. Кто-то по какому-то случаю предложил ей пару кроликов. Бабушка взяла их, но что с ними делать, не знала. И она сунула их «пока» под печку, в подпол — там же она их подкармливала, рассчитывая как-нибудь заколоть к празднику. То ли у нее рука не поднялась на симпатичных зверьков, то ли не до них было, кролики жили себе в подполе и вскоре неожиданно-негаданно расплодились необычайно! Бабушка и счет им потеряла. А они прорыли себе выходы на улицу и образовали настоящую колонию в бабушкиной избе. Кончилось тем, что за бабушкиными кроликами начали охотиться посторонние, но пожалуй, самый большой урон кроликам нанесли кошки — принялись уничтожать крольчат. В конце концов кролики исчезли как-то сами собой.

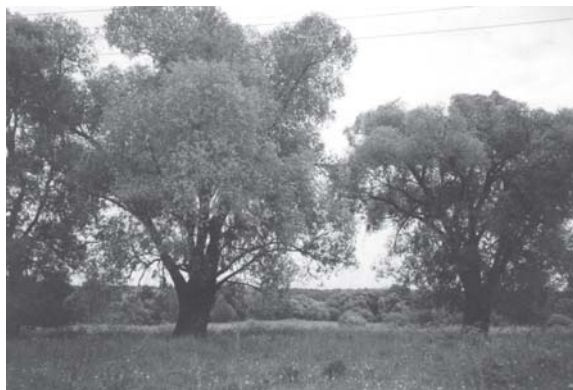
Еще бабушка сажала соток десять картофеля — меня в раннем детстве уже привлекали к уборке его. Помню крупные белые клубни — их было всегда много-много. Урожая овощей одного года всегда хватало, чтобы прокормить всю домашнюю живность. Приезжая из города в деревню, я замечал, как из года в год ветшала бабушкина изба и все принадлежащие ей хозяйственные строения, но с питанием у бабушки всегда было очень хорошо, исключая тридцать второй и тридцать третий годы, когда все Орешково испытывало лютей голод, явившийся следствием новой жизни — следствием организованных повсеместно колхозов. И сейчас я вижу перед собой отвратительно-зеленый хлеб из конского щавеля: разом исчезли мука, мясо, овощи. Наши соседи Киреевы (их раскулачили за то, что у них было две коровы) один за другим умирали от голода. Камшины, слава Богу, выжили, но то время мне не забыть: ели весной траву, мякину — не переставал пухнуть живот; вся деревня жила так же.

Но когда орешковцам стало ясно, что на колхоз надеяться нечего, они внешне примирились с ним и начали жить главным образом за счет своих приусадебных участков. Денег ни у кого не было, одежонку донашивали до ниток и перешивали от старшего к младшему. Купить яблони было не на что, да и незачем. С тридцатого года, то есть со дня организации в Орешкове колхоза, и до сорок первого года, до начала войны, в деревне не было построено или отремонтировано ни одной избы, ни одного сарая! Сейчас это кажется просто невероятным, но было именно так. Колхозы означали полное закрепощение крестьян, утративших самые элементарные права на устройство своих личных судеб...

Орешково только ветшало, только существовало по инерции — все в нем оставалось в прошлом. Но для меня деревня оставалась родиной, а бабушкина изба — самым дорогим местом на земле. Проходил час-другой после моего приезда в Орешково, и я переставал замечать и ветшающие постройки, и неказистые деревенские одежды, а видел только уютные избы, расположенные в тени старых ветел.

Я помню, как бабушка хлопотала у печки, как возвращалась с работы домой, как несла на плечах вязанку сена — такую вязанку смог бы осилить разве что очень крепкий мужик. А бабушка шла себе с этим сеном, слегка покачиваясь на ходу, и я ни разу не слышал от нее никаких жалоб на трудности жизни. Бабушка была для меня всегда образцом постоянства и неизблемости в поведении, в труде и вообще в жизни. Сколько же у нее было доброты! Даже если она сердилась на меня, я чувствовал ее доброту — да она и сердиться-то по-настоящему не умела.

Подростком я тайком покуривал — кто из деревенских ребят не курил!



*Ветлы у бабушкиного дома. Деревня Орешково,
8 июня 2002 г.*

В курении для нас было нечто «мужественное», приближающее нас к взрослым, а запретность делала курение особенно сладким.

Бабушке, прожившей одиноко чуть ли не всю жизнь, нравилось, если кто из деревенских мужиков, заглянув к ней по какому-нибудь делу, закуривал у нее в избе. Однажды она даже сказала: «Люблю, когда табак пахнет...»

Мы, мальчишки, восприняли эту информацию в корыстных интересах: мы ре-

шили, что в бабушкиной избе мы можем курить без стеснения. Так и сделали: выкурили несколько папирос в бабушкино отсутствие. Когда бабушка пришла с улицы, мы с любопытством ждали, что она скажет: все-таки, накурив в избе, мы ведь и о бабушке позаботились — дыши папиросным дымом, сколько хочется. Но вместо комплиментов нам бабушка тотчас разразилась гневом:

— Ах вы, окаянные, накурили-то, накурили! Вот я вас! — и она потянулась за ухватом. Мы пулей выскочили на улицу, я — последним. Мне было и страшновато за свою инициативу, и весело: в голосе у бабушки звучали хорошо знакомые мне задорные, веселые нотки.

На всякий случай я несколько часов не приходил домой, но когда я пришел, бабушка ничего мне не сказала, а просто собрала на стол обедать.

Иногда мы — я и мой закадычный приятель Вовка Р. — пытались чуточку дерзить бабушке — так, от избытка сил, не заходя, впрочем, далеко.

Как-то, помню, бабушка преклонила колена в торопливой молитве — на «настоящую» молитву у нее не хватало времени. И торопливо, мимоходом молясь, она поглядывала в окно — не идут ли бабы на работу в колхоз или еще что.

В такую вот минуту я однажды ехидно спросил у нее:

— Бабушка, а ты кому молишься — Богу или узлу?

Бабушка имела обыкновение что-либо класть за иконы, а в этот раз из-за иконы торчал край какого-то узла — мне показалось, с шерстью.

Бабушка немедленно выдворила меня и Вовку на улицу — мы все-таки были изрядно надоедливы, — но не сердито, а со своей особенно веселой добротой, действовавшей на меня безотказно. Эта ее доброта разоружала меня, успокаивала, приводила в невольное восхищение бабушкой, и я уже никогда не позволял себе повторить какую-нибудь свою не очень удачную проделку.

Видя, как много трудится бабушка, я пытался в чем-нибудь помочь ей — эту мою помощь она ценила чрезвычайно. Я никогда не отказывался сходить в магазин — в сафонтьевский, в совхозный, а то и в гомзяковский, самый дальний — за хлебом, за сахаром или еще за чем-либо. Для бабушки это была существенная поддержка, потому что одна лишь дорога туда и обратно самое малое занимала не меньше часа.

В сельмагах торговали лишь самым необходимым: хлебом, табаком, растительным маслом, сахаром, чаем, дешевыми конфетами; здесь можно

было также купить некоторые крупы, камсу, пряники. Мужики, конечно, покупали водку, но пили тогда неизмеримо меньше, чем пьют сейчас.

Для нас, подростков, ходить из Орешкова в магазин было даже заманчиво: можно было потихоньку купить папирос, махорки, а то и попробовать какой-нибудь деревенский деликатес: сахару или «подушечек» — дешевых конфет.

В магазине принимали от населения яйца; на вырученные за яйца деньги покупали продукты. За два десятка яиц мужики получали четвертинку водки — она стоила три рубля пятнадцать копеек. Денег у сельчан всегда было в обрез. Мужики и парни курили махорку — на папиросы, которые в деревне считались роскошью, просто не хватало денег.

Видя, как много трудилась бабушка, я начинал испытывать некоторые угрызения совести от того, что в деревне я только отдыхал. Многих ребят — правда, чуть постарше меня — привлекали к работе в колхозе, а я целыми днями делал, что мне нравилось: играл в футбол, купался, ловил рыбу, ходил за ягодами и за грибами. Лет в четырнадцать-пятнадцать я начал регулярно заготавливать для бабушки хворост — на протопку. Помню, как мучительно тягостна была эта добровольно взятая на себя обязанность! Я оставлял свои интересные занятия, уходил от ребят, брал топор, веревку и шел на речку, вдоль которой было сколько угодно сухого хвороста. Я шел, как побитый, на эту работу, которая своей будничностью нарушала мои светлые каникулы и неприятно напоминала мне о моем городском доме, где по требованию отца я время от времени был вынужден выполнять какие-то неприятные обязанности. Но в деревне никто не принуждал меня ходить за дровами, я шел сам. Мне было очень жаль *потерянного времени*, но я все-таки набирал вязанку дров и приносил домой, и тут мое недавнее тягостное настроение сменялось радостью и удовлетворением: я ведь преодолел себя, а бабушка неизменно платила мне благодарностью за этот мой невеликий труд. Оставив дома дрова, я убежал к ребятам с сознанием хорошо выполненного дела.

Конечно, к числу самых трудолюбивых подростков я не принадлежал, но я и в Орешково приезжал не ради работы. Было бы странно, если бы я в восемь или шестнадцать лет видел цель своей жизни в труде на огороде или еще где-нибудь. Я тогда *жил*, мне ничего не надо было, кроме удивительной, прекрасной свободы, кроме бабушкиной избы, кроме Орешкова. Ведь едва кончатся каникулы, и все это исчезнет, сменится городской жизнью с ее однообразно-напряженным рабочим ритмом и монотонным семейным бытом. В Орешкове я спешил жить, радовался тому, что я становился здесь самим собой, поэтому мне так трудно было ради чего-то отвлечься от моего мальчишеского бытия.

Как только появлялись грибы, орешковцы по утрам ходили в лес. Грибов было так много, что хватало всем. Даже мы с Вовкой, проспав «грибную зарю» и отправившись в лес, когда другие уже давным-давно возвратились домой из леса, приносили по целой корзине превосходных — почти одних белых — грибов.

Бабушка никогда не неволила меня в моих занятиях. Она не будила меня по утрам даже завтракать. У нас с ней был заведен свой распорядок дня — прогуляв добрую часть ночи, а то и всю ночь, я по утрам отсыпался в прохладном полутемном чулане. Когда я открывал глаза, обычно было позднее утро, и солнечные лучи блестящими нитями проникали в щели старых стен, прокалывали полумрак чулана, и в этих солнечных нитях поблескивали мириады маленьких движущихся солнц. Я лежал на постели, любовался этими лучами, переполненный удивительным чувством необы-

чайной жизненной полноты, и вслушивался в окружающий мир. За стенами перекликались петухи, кудахтали куры, пели ласточки, суетились воробы, с лугов доносились женские голоса. И так мне было хорошо и уютно, что больше не хотелось ничего, а только лежать, смотреть, слушать и отдаваться каким-то еще не очень четко осознанным мечтам — зовущим, мучительно сладким. Для меня начинался новый день, полный волнующих радостей. Боже мой, до чего же было беззаботно и хорошо!

Я вставал (мое тело было легким и невесомым), босиком, в одних трусах шел по теплой родной земле на двор. Вокруг меня всеми цветами, запахами и голосами радовалась жизнь. Во дворе ласточки кормили своих птенцов — они стремительно влетали с улицы во двор сквозь дыры в соломенной крыше, прилипали к своим аккуратным гнездам — слышался нетерпеливый зов птенцов — и, отдав им свою очередную добычу, так же стремительно вылетали сквозь дыры на улицу. Куры разрывали навоз, копошились в пыли, в небе летали грачи, в кустах у речки стрекотала сорока. Солнце радостно заливало землю своим живительным светом, ветлы у бабушкиной избы тихо шелестели своими кронами.

Со двора я шел на огород, к смородинным кустам — для меня это было своеобразным ритуалом. Я отправлял несколько горстей черной смородины в рот, потом переходил к огуречным грядкам, выбирал среди плетей несколько самых зеленых, самых красивых огурцов и шел в избу. На столе, у еще теплого самовара, лежали хлеб, тарелка, чашка, ложка, нож. Бабушка давно уже протопила печь и ушла на работу в колхоз, приготовив, конечно, мне завтрак. Завтракал я обычно один, не спеша, все с тем же ощущением необычайной жизненной полноты.

Пожалуй, питался я лучше многих деревенских ребят: в продуктах у бабушки недостатка не было, В сенях, в сундуке, у нее постоянно стояли чуть ли не десятки горшков с молоком — свежим, утренним, с вечерним, вчерашним, с простоквашей, сметаной. При желании я мог запустить палец в любой горшок и досыта поесть сливок. А молоко у нее было жирное — по теперешним временам не молоко, а сливки! Не переводилась у бабушки говядина. Теленка она не продавала, сдав положенные два пуда мяса государству, остальное оставляла себе. Мясо у нее не переводилось круглый год. Яйца тоже не переводились, хотя немало яиц ей приходилось сдавать в колхоз — как налог. Только став взрослым человеком, повидавшим мир, я по-настоящему понял весь ужас колхозного бытия, когда людей обязывали работать на колхозных полях почти задаром, а с них же брали огромные налоги, буквально ошипывали их, как кур... Только таким образом колхозы «оправдывали» себя в глазах государства — как источник жесточайшей эксплуатации народа, как узаконенная форма русского крепостничества...

Я видел, как питались мои деревенские приятели — по сравнению с их столом мой стол выглядел купеческим... Однажды, будучи в Сафонтьеве — мы ходили в магазин — и видя, что Вася К. опять покупает только хлеб и камсу, я спросил:

— Ты любишь камсу? Как ты только ее ешь?

В их доме я не раз видел, как вся семья питалась лишь хлебом, камсой и картофелем.

— А что же еще нам есть? У нас ведь ничего нет, ни копейки денег, — ответил Вася без всякого раздражения, без всякой обиды.

Тогда, будучи мальчишкой, я, видимо не так-то уж на многое обращал внимание; только позже, размышляя о своем детстве, я начинал по-новому узнавать Орешково.

Что же касается Васи К., то в семнадцать лет он устроился на работу в

пекарню психколонии, расположенной километрах в восьми от Орешкова. Я не сомневаюсь в том, что побудило Васю поступить именно в пекарню: возможность *досыта* есть хлеб...

Мне повезло гораздо больше, чем моим деревенским приятелям. У бабушки я жил как на курорте. Бабушкины щи всегда удивляли меня: я даже не мог сказать, что это: щи с мясом или мясо со щами. Еще она варила всякие каши на густом, неразбавленном молоке, жарила картошку, грибы с яйцами и сметаной — в русской печке все получалось необыкновенно вкусным!

По утрам я распахивал окно, приглашая бабушкиных кур позавтракать вместе со мной. Куры дружно бежали на завалинку, ожидая хлебных крошек или каких-нибудь других деликатесов. Завтракая, я всегда подкармливал кур — это доставляло мне удовольствие.

Прежде всего я съедал один-два огурца с хлебом и солью — вкуснее бабушкиных огурцов, наверное, нигде не было. Потом я отодвигал заслонку у печи, смотрел, что бабушка приготовила на завтрак. Обычно это были сковорода с жареными грибами — со сметаной или с молоком и яйцами, чугунок с пшениным кулешом на густом молоке, сковорода с жареным картофелем, кринка с топленным молоком — бери, что хочешь! В самоваре лежало несколько сваренных вкрутую яиц. Я завтракал, развлекался с курами, пил топленое молоко с сахаром. Нередко за завтраком меня заставлял Вовка Р. Он уже позавтракал и ждал меня, присев на завалинке или на камне перед избой.

Потом мы бежали с ним на речку — купаться. Вода по утрам в Коломенке была необыкновенно прозрачная и чистая, она так освежала, бодрила нас!..

Как-то бабушка, застав меня за завтраком, сказала:

— Видела Насоновых — они столько грибов принесли! И одни белые!

Сообщение бабушки я воспринял как упрек себе и тотчас решил испривиться в бабушкиных глазах:

— Разбуду меня завтра на заре, я тоже пойду!

— Разбужу, внучек, разбужу — на заре-то самые грибы. Разбужу, не беспокойся.

Грибов в орешковских лесах было тогда удивительно много. Каждая семья отваривала по большой бочке, а то и по две. Белые грибы аккуратно сушили на противнях, потом нанизывали на суровые нити и берегли до зимы, когда можно было их продать на базаре. Белые грибы были источником тех немногих денег, на которые жили орешковцы.

На заре бабушка разбудила меня:

— Вставай, внучек, пора, вставай, касатик.

— Хорошо, бабушка, встаю.

В чулане было еще совсем темно, а спать мне, как нарочно, хотелось невыносимо. Сон ведь особенно сладок тогда, когда тебя преждевременно будят.

Бабушка ушла, а я опять закрыл глаза.

Сколько прошло времени, прежде чем бабушка опять заглянула в чулан, не знаю, но наверняка немало, потому что когда я опять открыл глаза, было утро.

— Спит?! — удивленно проговорила бабушка, увидев меня в постели. — А я-то думала, что ты давно в лесу! Что же это ты, соня такой? Собрался за грибами, а сам спишь?

Я встал — конечно, не очень довольный тем, что пришлось прервать сон, но и сознающий свою вину и справедливость бабушкиного упрека, — оделся, взял корзину:

— Пошел, бабушка!

— Иди, внучек, иди, а я завтрак тебе приготовила.

Так вот и складывались мои отношения с бабушкой. Я уезжал к ней в деревню в первый же день летних и зимних каникул, уезжал на праздники — на Первое мая, на Октябрьскую — и в любую погоду проходил пятнадцать-семнадцать километров до Орешкова. Шел чаще всего один по нелегким проселочным дорогам, а то и по неровному зимнему следу — шел как на праздник, зная, что бабушка встретит меня с неизменным радушием и будет неизменно заботиться обо мне — просто и как-то по-особому незаметно.

Конфликтов у меня с бабушкой никогда не было, а единственный случай такого рода стал предметом шуточных воспоминаний как бабушки, так и моей матери. Мне, наверное, было лет четырнадцать, я приехал в Орешково на зимние каникулы и, едва переступил порог, почувствовал характерный запах коровника: у бабушки отелилась корова, и, как тогда поступали многие орешковцы, она перенесла теленка в избу, поместила его за печкой. Переступив порог избы, я сразу потребовал:

— Теленок, бабушка? Выгони его во двор — дышать нечем!

— Нет уж, касатик, не выгоню, — возразила бабушка. — Уж лучше ты поезжай назад в город.

Ясное дело, не выгонит, да я, признаться, и не очень-то был огорчен тем, что за печкой оказался теленок. Я передал бабушке гостинцы и побежал к Вовке Р., а когда вернулся домой, запах теленка показался мне слабее, а на другой день я вообще не чувствовал никакого запаха.

Еще в первый вечер я сказал:

— Ладно, бабушка, не выгоняй, пусть живет за печкой.

Бабушка только улыбалась.

Бабушкина изба... Какая она была старенькая и славная! Не просто место на земле, где я родился, а единственное место, где всегда был самим собой и свободным как ветер. Все в этой избе было мне интересно, полно смысла. По мере того как я подрастал, я осваивал все уголки этой избы. Я забирался на печку, за печку, под печку, в подпол. В подполе я озирался, будто попадал в какой-то таинственный мир. Ведь это здесь по ночам жил домовый, это здесь земля издавала пронзительный аромат, в то время как на улице лежали сугробы снега. Мне было странно от того, что я сидел под полом, а поверх меня ходили люди — бабушка, мать, кто-нибудь из соседей. Я поднимался на чердак и там попадал в еще более таинственный мир, потому что на чердаке лежали вещи, неизвестно кому принадлежавшие: обувь, неизвестно кем ношенная, овчины, уже ни на что не годные, старый-престарый помятый самовар, чайник с отбитым носиком — кто пил из них чай и когда — неведомо, какие-то истрепанные книжки. Каждая вещь на чердаке казалась мне таинственной, потому что не принадлежала ни бабушке, ни матери, ни отцу, и я невольно думал о том, как же они здесь оказались. Мне тогда и в голову не приходило, что за несколько лет до моего рождения в этой избе жили совсем другие люди — те самые, которые оставили после себя на чердаке эти непонятные вещи.

Но самой главной деталью чердака была печная труба. Я осторожно, чтобы не зацепить паутину, подходил к трубе, трогал ее рукой. Труба была самая обыкновенная — и не подумаешь, что это в ней зимними вечерами и ночами тревожно завывал ветер.

Я с любопытством заглядывал в чулан — в закрома, которые когда-то были полны ржи, овса, пшеницы, а позже, при колхозах, пустовали или были местом для хранения каких-нибудь вещей. В чулане на гвозде висела

фляга — без крышки. Я не знал, что это была обыкновенная солдатская, еще царских времен фляга. Я не раз брал ее в руки, с недоумением оглядывал ее. Футляр фляги будто спаялся с металлом и весь пропитался пылью. Эта фляга была для меня вестником совсем уж неведомого мира. Иногда я спрашивал у бабушки и у матери, откуда взялась эта вещь, но они тоже не знали. Я любил исследовать все закоулки чулана, пахнущие мышами, — ведь это здесь, в труднодостижимых уголках избы, проходила по ночам какая-то своя таинственная жизнь. Куда только я не заглядывал в бабушкиной избе и в бабушкином дворе! И всюду я открывал что-то единственное в своем роде, существующее лишь здесь, на земле, где я родился и делал первые самостоятельные шаги...

Мне нравилось, как бабушка говорила о людях — просто и доброжелательно. Когда я с ней жил, весь мир добрел, а все люди были полны ко мне доброжелательства. У бабушки не было недругов и неприятных людей — со всеми находила общий язык, и она со всеми была добрая.

Бабушка... В последний раз я видел ее сорок с лишним лет тому назад, незадолго до того, как я, еще мальчишка, в неполные семнадцать лет ушел на войну. Я пробыл вдали от дома более восьми лет и не застал бабушку в живых — она скончалась летом сорок пятого года, когда я служил в Германии...

Мать рассказала: однажды бабушка обратила внимание на симптомы неизлечимой болезни. Начались поездки ко врачам — в условиях деревни это было нелегким делом. Потом бабушке удалось попасть на прием к московскому онкологу. Тот сказал: «Поздно, мать, операция уже не поможет...» — «Да ведь у меня и ничего не болело, касатик...» — «Болезнь у тебя такая...» Это было зимой сорок пятого. Бабушка спросила: «До тепла-то доживу?» — «До тепла доживешь». — «Ну и слава Богу!»

Умерла бабушка уже в теплые дни. Похоронили ее на кладбище в Оглоблине, в двух километрах от Орешкова. Избу мать и отец торопливо продали кому-то — в ней сначала жили, потом ее пустили на дрова. Забрав кое-что из бабушкиного скарба, а также корову, мать и отец прервали всякую связь с Орешковым.

Уже демобилизовавшись, через пять лет после смерти бабушки, я прежде всего приехал в Орешково, ставшее без бабушки для меня незнакомым и чужим. Избы, где я родился и где она жила около двадцати лет, больше не существовало. Я отправился на кладбище в Оглоблино, но бабушкину могилу не нашел, и никто из местных жителей не мог мне помочь. На этом кладбище вообще никого нельзя было найти. Когда хоронили кого-нибудь, на могилы ставили обычно деревянные кресты и больше не заботились о могилах — за немногими исключениями... Мать, похоронив бабушку, больше на могиле не была и вообще больше не приезжала в деревню — так бабушка и затерялась на кладбище. Мне было обидно за нее, но, впрочем, может быть, это и лучше, что бабушка затерялась на кладбище, смешалась с множеством других затерявшихся на кладбище людей: ушла в родную землю, слилась со своими краями, растворилась в них, как прошлогодние листья, как до нее тысячи и тысячи других людей, ставших безымянными и безликими предками.

Для меня бабушка осталась живой — я вижу ее такой, какой она была: рослой, сильной, чуть-чуть ссутулившейся от работы и возраста, с потяжелевшей походкой, с хорошим русским лицом и спокойными карими глазами.

г. Коломна, 1983 г.

Публикация *Е.М. Маношкиной*

СОБИРАТЕЛЬ ТАЛАНТОВ

Есть все-таки в человеческой жизни высшая справедливость. Помогло, покружило Виктора Мельникова по бескрайним просторам бывшего СССР от Актюбинска до Риги, от холодной прибалтийской брусчатки до теплого подмосковного разнотравья. Сколько людей перевидал, сколько профессий приобрел — в том числе и самых экзотических! Со стороны посмотреть — получается какое-то хаотическое кружение. Но оказалось, что весь пестрый путь прожит не зря: жизненный опыт стал материалом для творчества. Значит, свой смысл есть в биографии каждого человека. Надо только постараться понять его.

24 мая, в День славянской письменности и культуры, нашему коллеге, писателю и журналисту Виктору Семеновичу Мельникову исполнилось 55 лет. В честь этой даты мы и решили взять у него краткое интервью.

— **Ваши усилиями вышел к читателю седьмой томик Коломенского альманаха. В этом же году Вам исполнилось пятьдесят пять лет. Прямо мистическое совпадение.**

— Друзья утверждают, что это счастливое сочетание — седьмой номер и две пятерки. Хотелось бы надеяться... Во всяком случае, это достаточное основание, чтобы оглянуться назад, поразмыслить над прошлым. Но не подводить итоги. Ведь дело совсем не в том, сколько ты прожил лет...

— **Тогда такой вопрос: что для Вас значит дата 24 мая?**

— В советское время мы и не ведали о значении этого праздника. Его отмечали на государственном уровне в Болгарии, а в России, то есть бывшем Союзе, память о Кирилле и Мефодии как-то не приветствовалась. Но, наверное, есть что-то символическое в таком совпадении. Кроме того, 24 мая родились такие разные литераторы, как Шолохов и Бродский, оба, кстати, лауреаты Нобелевской премии. Я не претендую, конечно, на нобелевские лавры, но такое соседство приятно.

— **Вас в Подмоскovie знают прежде всего как редактора Коломенского альманаха.**

— Есть такое модное словечко — «метемпсихоз», что означает «переселение душ». Если бы я верил в «прошлую жизнь», то, наверное, решил бы, что раньше уже был издателем и в меня вселился дух Ивана Федорова или, к примеру, Сытина. Я это говорю исходя из того, что работать с альманахом для меня огромное наслаждение. Еще в бытность свою в Риге я участвовал в подготовке «русскоязычного» литературного альманаха. Но потом пришлось уехать. Так и не знаю, получилось ли у ребят что-нибудь или нет. А вот в Коломне все сложилось как-то удачно: и литераторы взялись за дело с энтузиазмом, и благодетели нашлись. Вы не поверите, с каким счастьем я собирал средства на первый номер! Каждая десятка была счастьем, ведь она помогала, приближала долгожданный выход издания. Сейчас, конечно, легче. Меньше унижений приходится испытывать, и город помогает. Да что говорить! Коломенский альманах — это уже «фирма», многие московские литераторы просят к нам печататься; к сожалению, большей части приходится отказывать.

— **А кем Вы себя сами считаете в большей степени — издателем или писателем?**

— Ну не знаю. Как писателя я себя оценивать не могу — потомки скажут. Издателем называться тоже вроде неудобно (тоже мне Гуттенберг!). Скажу так: мне нравится быть собирателем талантов. Как тут не вспомнить профессора Константина Петросова, Михаила Маношкина. А книги Валерия Королева?! Это же шедевры. А сколько у нас талантливейшей молодежи — и стихотворцев, и прозаиков! Честное слово, иногда откладываешь собственный рассказ ради того, чтобы прочитать интересную вещь своего коллеги. Может быть, это тоже своего рода талант, надеюсь, что его оценят в свое время. А сейчас наша задача — трудиться на благо города в меру отпущенного каждому из нас дара.

Āēāāīīlō ōāāāēōīōō
Ēīēīīāīñēīāī āēūīāīāōā
Ā.Ñ. Īāēūīēēīāō

Ōāāæāīūē Āēēōīō Ñāīāīīāē+!

Īīçāōāāēÿp Āāñ ñ 55-ēāōēāī!

Ñ īāøēī āīōīāīī Āāñ ñāÿçāēā ñōāūāā, çāāñū Āū īāøēē āāēīīīūōēāīīēēīā, īāūāāēīēēē ōāīō+āñēēā ñēēū āīēōā Ēīēīīāīñēīāī āēūīāīāōā, ēīōīōūē çā øāñōū ēāō ñōūā-ñōāīāāīēÿ īōēīāōāē ēçāāñōīīñōū, ñōāē ñāīāāī ōīāā āē-çēōīīē ēāōōī+ēīē ēēōāōāōōōīīē Ēīēīīū.

Ōñēēēÿ āāōīōñēīāī ēīēēāēōēāā īīāāāōæāīū īīīāī+ēñ-ēāīīūē +ēōāōāēÿīē ē āāōīōēōāōīūē ēpāūīē āīōīāā, ā ÿōī çīā+ēō, +ōī ñāÿçū āōāīāī ē ōōāāēōēē īāōāīāōñōāā ā īāøāī āīōīāā æēāū.

Āīāñōā ñī ñēīāāīē īōēçīāōāēūīīñōē īōēīēōā ēñēōāīīēā īīæāēāīēÿ ēōāīēīāī çāīōīāūÿ, ñ+āñōūÿ, āēāāīīīēō+ēÿ, āāīōīīāāīēÿ ē īīāūō ōāīō+āñēēō āīñōēæāīēē!

Ñ ōāāæāīēāī — āēāāā āīōīāā Ēīēīīū

Ā.Ē. ōōāāēīā



Īīçāōāāēÿāī īāøāāī īīñōīÿīīīāī āāōīōā
Āēēōīōā Ñāīāīīāē+ā Īāēūīēēīāā
ñ 55-ēāōēāī!

Ā ñōāōēīīīī āīōīāā Ēīēīīā īā+āēñÿ ēēōāōāōōōīūē īōōū Ā.Īāēūīēēīāā,ōīōÿ æēçīāīīūā āīōīāē āōāōūāāī īēñāōāēÿ īōāāōēēē īāōīīīā īōīñōōāīñōāī — īō Ēāçāōñōāīā āī ðēāē. Īāñīōōÿ īā āñā ēñīūōāīēÿ, ñīāēāçīū ē ēōōōāīēā ēēēp-çēē, īī ñīōōāīēē āāōō ā ðīññēp ē +āēīāāēā, ōōāāēōēīī-īōp āēÿ ōññēīē ēōēūōōōū ñāōāā+īōp ōāīēīōō, īīōÿāī+-īīñōū ē ēñēōāīīīñōū, īīōāāāēēāōēā āāī āīēīñ ā ōññēīē ēēōāōāōōōā.

Āēēōīō Īāēūīēēīā — ēīōāēēēāāīō-ōōōæāīēē, ēçāāōāēū, īāūāāēīēāōēē ēēōāōāōōōīūā ñēēū āōāāīāāī īīāīñēīāīīāī āīōīāā āīēōā Ēīēīīāīñēīāī āēūīāīāōā.

Īīīāāÿ Āāī ēāōā!

ðāāāēōēÿ æōōīāēā «Īīñēāā»

РОДИМАЯ
СТОРОНА





Фото Геннадия ЧИСТЯКОВА



РОМАН ВАДИМОВИЧ СЛАВАЦКИЙ РОДИЛСЯ 15 СЕНТЯБРЯ 1957 ГОДА. ПОТОМСТВЕННЫЙ КОЛОМЕНЕЦ, В 1986–1996 ГОДАХ РАБОТАЛ В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ. ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ КОЛОМНЫ. ИМ СОЗДАНЫ ПОВЕСТИ «ПОЖАРНИК», СТИХОТВОРНЫЕ СБОРНИКИ «БАЛЛАДЫ МАРИНКИНОЙ БАШНИ», «КОЛОМЕНСКИЙ АРБАТ», «САМОЦВЕТНЫЕ ЧТКИ», «ПОСАДСКИЙ ВЕНОК», А ТАКЖЕ РЯД КРАЕВЕДЧЕСКИХ ОЧЕРКОВ И КНИГ.

ЧЕРКИЗОВСКАЯ ХРОНИКА

Есть на Коломенской земле удивительное место... Там, где небольшая река Северка впадает в Москву, собрались, точно сверкающие жемчужины на зеленом бархате, селения, чьи имена неразрывно связаны с историей России. Среди них особенно известны Черкизово и Пески. Но парадокс заключается в том, что основная слава этих мест у большинства ассоциируется с недавним временем. Это черкизовский литературный круг, это песковское товарищество художников — эпоха рубежа XIX и XX столетий. А ведь история Черкизова, Песков, Северского — неизмеримо глубже...

Древности

Эти просторы были обжиты людьми в древние, еще до летописные времена. Немые свидетели старины — курганы, разбросанные в окрестностях: и в Песках, и в Никульском — говорят о раннеславянском, а может, и о финно-угорском прошлом этого края. Ведь не секрет, что славяне — пришельцы, и появились они здесь в начале первого тысячелетия, а до тех пор тут обитали финские, угорские, балтийские племена. Но мощная волна славянских переселенцев ассимилировала их, и лишь названия рек говорят о доисторических временах. Ока, Москва, Коломна... Только странная щемящая прохлада этих слов да безымянные могилы — вот все, что осталось от наших финских предков.

Курганы... Даже в самом Черкизове, во дворе Шервинской школы, сохранялась загадочная насыпь, о которой пишет М.В. Талицкий в своем «Дневнике археологического обследования, проведенного в сентябре месяце по рекам Оке, Москве, Коломенке и Северке». Рукопись эта хранится в Коломенском краеведческом музее.

Раскроем пожелтевшие страницы на записи от 22 сентября 1936 года.

Исследователь, осмотрев возвышение, говорит, что определить на глаз курган это или насыпь позднейшего происхождения, невозможно. Нужны раскопки.



Черкизово. Вид со стороны Песков. Начало XX в.

402

Но здесь мы упомянули о «Дневнике» Талицкого не ради загадочного «кургана». Гораздо интереснее то, что сами черкизовцы показали археологу эту насыпь. Значит, сохранилась в народе память о древности села!

Вообще, истории о курганах — это особая страница устной коломенской летописи. Например, курганы у села Никульского называли «Куликовы кустики» и рассказывали, что в них похоронены герои Куликовской битвы, умершие от ран в здешнем лагере русских войск на возвратном пути после победы. Вероятнее всего, что эти курганы относятся к XII или XIII столетию — тогда в коломенской округе сохранялись остатки языческих верований. Но правда археолога — это одно, а правда народного сказания — совсем другое! Не из археологических отчетов черпают вдохновение поэты и прозаики! А вот живая память легенды, пусть и не всегда точная в частности, очень хорошо передаст дух времени.

И мы еще увидим, как черкизовские сказания отзовутся гениальными строками русской поэзии. Ведь изустные повести наших старожиллов заставляют задуматься не только над загадками курганов. Они привлекают наше внимание еще одним удивительным сюжетом: тайной рождения Дмитрия Донского.

Земля Дмитрия Донского

А в самом деле — где родился святой благоверный князь Дмитрий? В Черкизове вам авторитетно объяснят: «В нашем селе!» И вот что интересно: некое зерно исторической правды скрывается в этой легенде.

Начать надо с того, что происхождение святого Дмитрия загадочно. Велико ведь не знал и не предполагал, что этому мальчику суждено стать великим князем. На московском троне прочно сидел его дядя — великий князь Симеон Гордый, у него подрастали два наследника. Кто мог предположить, что ужасная моровая язва скосит и отца, и княжичей?

Так неожиданно на московский престол взошел брат Симеона — Иван Красный, а сын нового правителя, малолетний Дмитрий (будущий Донской) стал наследником княжеской власти. То, что семейство князя Красного занимало второстепенное положение, не могло не сказаться на отношении летописцев. Нам лишь известно, что женился он в 1345 году вторым браком, но имя невесты не упоминается, отчего можно предположить, что она была не княжеского рода.

Лишь позднее, уже в княжение Донского, мы узнаем имя его матери: Александра. Но о семействе е не говорится ни слова. Это странно... Дело проясняет один из княжеских документов 1360–1370-х годов, в котором княжеский главнокомандующий — тысяцкий Василий Васильевич Вельяминов — называется дядей князя Дмитрия. Это может означать лишь одно: мать московского наследника в девичестве звалась Александрой Васильевной Вельяминовой.

Семья была очень знатной, бояре Вельяминовы еще со времен Ивана Калиты занимали должность тысяцкого, и стесняться такого родства не приходилось. Суть здесь не в стеснении. У наследников Донского с Вельяминовыми сложились отношения весьма трудные. Естественно, что расписывать свое родство с политическими противниками было как-то неудобно.

Между прочим, «вельяминовская» гипотеза многое объясняет. Во-первых, у этого рода были большие имения под Коломной. Соседнее Никульское (в старину говорили Микульское) принадлежало сыну тысяцкого — Микуле Васильевичу, который, судя по всему, приходился двоюродным братом святому Дмитрию. От Никульского до Черкизова — рукой подать. Возможно, у княгини Александры Васильевны была здесь часть владений. Так что, как ни странно на первый взгляд, Донской вполне мог появиться на свет в здешних землях, и значит, не так уж неправы в своих рассказах черкизовцы.

Во-вторых, «вельяминовская» версия объясняет удивительную любовь московского князя к Коломне. Он часто бывал здесь, в этом городе венчался в январе 1366 года. Летописцы называют Коломну «любимым городом» святого Дмитрия. Еще бы ему не любить свою родину!

Но если можно спорить, что в 1350 году Дмитрий увидел свет именно в Черкизове, то его появление в наших краях тридцать лет спустя, в 1380 году, — факт бесспорный. Русское войско собиралось на Куликовскую битву в августе, на Успеньев день, у Коломны.

И рассказывают, что князь Дмитрий не просто миновал Черкизово, словно обычную остановку в пути, но что во время переправы через Москву-реку случилось какое-то чудесное событие, связанное с иконой святой Параскевы-Пятницы. И оттого-то поставили у черкизовской переправы, там, где поднимется позднее храм Собора Богородицы, то ли церковь, то ли часовню с этой иконой.

Любопытно, что кирпичная путевая часовня стояла у Соборо-Богородицкой церкви вплоть до XX века (правда, название е не сохранилось). В

советское время е разрушили, что весьма печально. Ибо эта путевая часо-венка — одна из пяти черкизовских часовен — была, возможно, своеобразным памятником куликовскому походу.

Об окрестных селениях также немало сохранилось увлекательных преданий. В начале XIX века удивительный романтик и страстный любитель коломенских древностей Н.Иванчин-Писарев утверждал, что сельцо Конев Бор, расположенное рядом с Песками, некогда (чуть ли не во времена Ивана Калиты) было княжеским конным заводом.

А о соседней северской переправе сложено особое, на редкость поэтичное предание. Рассказывали, что здесь, на берегу Северки, князя Дмитрия встречали особо торжественно. Коломенские воеводы во главе с Микулой Вельяминовым выехали далеко за город, чтобы приветствовать своего вождя.

И говорили, что тут, на переправе, растроганный и взволнованный встречей, Дмитрий остановился и поклялся перед войском до последнего вздоха сражаться за родной край. Самой священной клятвой клялся он — горстью родной земли, которою положил в уста. И, совершив обет, взял землю десною рукою и пустил е по воде. И когда пустил он землю на воду — возмутились волны северские. И с тех пор вода в Северке потемнела.

Торжественно проехал князь с войском по огромному лугу, который с тех пор и называется Сиболовым.

«Тут **сила была**, — рассказывали здешние грамотеи, — войско собиралось, оттого и прозвали место: Сиболов луг».

На обратном пути, после победы, Дмитрий Донской вновь остановился в Никульском. Войско раскинуло стан, и здесь князь Дмитрий, по словам Карамзина, «осматривал легионы свои, победившие Мамай». Сюда же уцелевшие в бою коломенцы привезли гроб-колоду с телом павшего в битве воеводы Коломенского полка Микулы Васильевича Вельяминова.

У родового храма в честь святителя Николая, соименного воеводе, положили прах боярина Микулы. А рядом, под курганами, нашли упокоение воины, умершие от ран во время стоянки (помните «Куликовы кустики?»).

Нынче курганы практически сровняли с землей. В советское время исчез неоднократно перестроенный деревянный Никольский храм. Но священное место не было застроено, там позднее установили памятник герою Великой Отечественной. Наверное, вс-таки неслучайно нить памяти связала два великих воинских подвига, разделенные шестью столетиями...

Интересно, что даже само название Черкизова восходят ко временам святого Дмитрия Донского. Оно связано с некогда могущественным родом князей Черкизовых, перешедших, как говорили княжеские генеалогии, в русскую службу из Золотой Орды. Семейные легенды имеют основание в реальной истории.

В первой половине XIV века Золотую Орду раздирала междоусобная война. В значительной степени она была вызвана религиозной рознью. В начале столетия хан Узбек принимает ислам, а вслед за ним — и большая часть татар. Но к этому времени многие татары успели принять христианство. В Орде среди бывших язычников можно было встретить прежде всего православных, но попадались также католики и монофизиты. Начались гонения на христиан.

Уцелевшие во время гражданской войны семьи уходили к единоверцам на Русь, многие здесь получали вотчины. Черкизовскими землями сначала владел княжеский род Олбуга. А во второй половине столетия его имение переходит в собственность другого знатного рода — Черкизовых.

Его возглавлял «царевич» Саркис (в русской огласовке — Серкиз). Имя свидетельствовало, что вначале он принадлежал к монофизитам — Армяно-григорианской Церкви. После бегства на Русь он переходит в Православие, приняв имя Иоанн, а первое прозвище стало родовой фамилией Серкизовых, или Черкизовых.

У этого Иоанна родился сын, Андрей Серкизов — личность выдающаяся. Андрей Иванович Серкизов был наместником Коломны (очень высокая должность в тогдашней чиновной иерархии, ведь наш город считался личным владением и резиденцией великого князя). Обладание коломенской вотчиной было само по себе значительным отличием.

В Куликовской битве Андрей Серкизов командовал одним из полков и пал смертью храбрых. В «Задонщине» князь Андрей упомянут в одном ряду с удельными князьями и знатнейшими боярами Московского княжества. Жена его, Мария, на страницах поэмы вместе с другими знатными женщинами оплакивает убиенных русских воинов...

Как все это неожиданно и удивительно! Оказывается, наша коломенская земля — не просто какая-то полузабытая провинция. Черкизово скрывает в себе пленительные тайны, откликается глаголами «Задонщины»! И когда вечерняя мгла спускается на деревья и дорогу, кажется, что море времени заполняет пространство своими густыми волнами. И вспоминаешь ахматовское, написанное здесь:

По той дороге, где Донской
Вл рать великую когда-то,
Где ветер помнит супостата,
Где месяц, жлтый и рогатый,
Я шла, как в глубине морской...

Но это еще не конец преданий о временах святого Димитрия! Передавали, что рядом, в селе Северском, в 1385 году был заключен мирный договор Димитрия Донского с Олегом Рязанским. Почему на реке Северке, а не в Коломне? Может быть оттого, что в том же году, в отместку за нападение на Рязань, князь Олег захватил Коломну и сжг ее дотла? Великий князь тогда упросил святого Сергия Радонежского идти в Рязань, и славный игумен уговорил Олега пойти на мировую.

Но, должно быть, неудобно показалось Димитрию Ивановичу принять рязанца в горелой Коломне, потому и встретились на Северке, в древнем селе, которое, кстати говоря, возможно, стоит на месте разрушенного домонгольского Свирелеска.

Если предания не лгут, то выходит, что высокий берег Москвы-реки помнит не только величие куликовского похода, но и стопы Преподобного Сергия, что принс благословенный мир на эту землю, помнит и братское целование князей, еще недавно — смертельных врагов!

Но вернемся к Черкизовым. После гибели Андрея Ивановича у его вдовы осталось утешение — наследник — Фдор Черкизов. Позднее Фдор Андреевич получит прозвище Старко. От него-то и прозвался соседний Старков погост или проще — Старки. В старину погостом именовали небольшое селение в два-три дома у сельской церкви. Фдор Старков положил начало боярской династии Старковых, угасшей в XVI веке.

Для своей жены Анастасии боярин Фдор купил у знаменитого боярина Ивана Мячка два соседних имения. Одно так и осталось Мячковом, а другое по имени владелицы и сейчас зовтся Настасьином.

Так росли владения Черкизовых-Старковых, укреплялось их влияние. Так, наверное, шло бы и дальше, если бы сын Фдора, Иван, не запутался в густой невод заговоров.

Усобица

Иван Фдорович Старков, подобно своим предкам, принадлежал к самым высшим кругам московского боярства. Он был коломенским наместником. На его глазах разворачивалась кровавая распря за московский престол.

Начало жестокой вражды приходится на 1433—1434 годы. Всему причиной стали претензии князя Юрия Звенигородского (дяди великого князя Василия) на московский трон. И он даже сумел свергнуть своего юного противника. Василий II был сослан в Коломну. Однако вскоре Юрий Звенигородский с позором уходит из Москвы, а Василий II воцаряется на отцовском престоле. Затем князь Юрий умирает.

Но сыновья звенигородца — Василий Косой и Дмитрий Шемяка — возобновляют распрю. Кровь и предательство разливаются по Руси... В конце концов смутьянов схватили. Василия Косого ослепили, а Дмитрия Шемяку отправили в коломенскую темницу, в «железа», под бдительное око государева наместника.

Вскоре, впрочем, Василий II решил с Шемякой замирился. Да еще как! Он не просто даровал Шемяке свободу, но даже отдал в удел сво родовое владение — Коломну. Но Шемяка не успокоился. Он взял сети заговора, в число участников которого вошел и коломенский наместник Иван Старков...

В 1446 году Василия II изменой захватили в Троице-Сергиевой лавре и ослепили. И снова усобица залила Русь волнами крови.

Россия не приняла узурпатора. Василий II не отказался от наследственного стола, даже потеряв зрение. Никакие жестокости (знаменитый Шемякин суд!) не помогли удержать украденный трон. Война продолжалась до тех пор, пока заговорщики не были вышвырнуты за пределы княжества. Василий Тмный вновь вступает на престол, а Шемяка бесславно умирает в Новгороде.

Вместе с этим заканчивается и эпоха Серкизовых-Старковых. Все вотчины князя Ивана Старкова переходят в собственность государства. Коломенские земли находились во владении его матери Анастасии и дочери Ирины. Их вынуждают «продать» земли в казну. Так Черкизово, Настасьино и Старки включаются в дворцовое ведомство. И лишь названия здешних селений напоминают нам о деяниях некогда славного рода, окончательно угасшего в XVI веке.

Дворцовое село

Василий Тмный в своем завещании 1461—1462 годов оставляет Черкизово супруге. Так в наших землях надолго воцаряется спокойный, рутинный быт дворцовой земли. Бурные и романтические времена Ивана Великого и Василия III не отразились ни в устной, ни в письменной летописи Черкизова. Только однажды спокойная и размеренная жизнь дворцового села всколыхнулась проездом Ивана IV. В 1543 году «октября 8 дня выехал Государь в село свое Черкизово».

Этим визитом вся эпоха Грозного и ограничилась. Ни коломенская резня, ни ужасы опричнины не коснулись Черкизова. Народ здесь жил предприимчивый и состоятельный. Писцовые книги 1577–1578 годов упоминают трх черкизовских крестьян, торгующих в коломенских лавках.

Пожалуй, следует упомянуть еще один любопытный факт. В тех же книгах соседние Пески записаны как сельцо Михаила Ивановича Колтовского. Род дворян Колтовских был достаточно влиятелен. Из него происходит четвертая жена Ивана Грозного, Анна Алексеевна Колтовская. Этот брак состоялся в 1572 году. Четверо коломенских дворян Колтовских служили в опричнине.

Но вовсе не с громкими политическими событиями связано одно из важнейших духовных событий в истории Черкизова. Во время правления смиренного Феодора Иоанновича, в 1592 году, тут строится деревянная (первоначально — шатровая) церковь во имя Собора Богородицы. Этот древний храм простоял на коломенской земле до первой трети XX века.

Многое видели его седые стены... Смута начала XVII века, страшная моровая язва середины столетия — все эти и многие другие события не оставили следа в устной черкизовской летописи или документах. Лишь дважды упоминается Черкизово как государево село в Писцовых книгах 1627–1628 и 1646–1647 годов.



Вид на Черкизово из Старков. Начало XX в.

Да еще несколько раз в Приходных книгах Патриаршего приказа в 1657–1658 году записано: «Церковь Пречистой Богородицы в государеве Дворцовом селе Черкизове у Москвы реки на разные годы... 2 руб. 11 алтын, заезда гривна».

И лишь в конце XVII века начинается новая эпоха.

Время Черкасских

Любопытно, что новые владельцы черкизовских земель тоже были происхождения нерусского. Княжеский род Черкасских выводил свою историю не больше не меньше как от самого мамелюка Инала, который был султаном в Египте, а потом — правителем Большой Кабарды и умер в 1453 году.

В XVI веке фамилия Черкасских обрусела, хотя князья замашки еще долгое время сохранялись у них.

Известный русский краевед первой половины XX века Михаил Ив. Смирнов относит переход Черкизова в руки Черкасских к 1688—1689 году. «Получил его в вотчину, — пишет Смирнов, — кн. Михаил Алечукович, влиятельный и популярный в Москве боярин, твердо и мужественно стоявший за дело Петра в его борьбе с царевной Софьей. Он удерживал возмущившихся стрельцов от кровопролития в Кремле, защищая до последней возможности Артамона Матвеева, вырванного из его рук, и во все последующее время оставался верным сторонником Петра, платившего ему также доверием и уважением».

Обширные земли оказались под властью Черкасских в Коломенском уезде, и каждое новое поколение князей расширяло владения, увеличивало доход. В конце XVII века в Черкизове насчитывали 141 двор и более тысячи десятин земли. В Отказных книгах по Коломенскому уезду Поместного приказа в 1692 году упомянуто село Черкизово князя М.А. Черкасского. А в Переписных книгах за 1705—1706 год сообщается более подробно: «За боярином за князем Михаилом Алечуковичем Черкасским село Черкизово на Москве реке, а в нем церковь Собор Пресвятой Богородицы, двор попов Прокофей Степанов...» Обратим внимание на эту запись: впервые в нашей хронике упоминается черкизовский священник — отец Прокопий.

Об авторитете князя Михаила свидетельствует такой, например, факт. Когда Петр I, готовясь к новому Азовскому походу, решил ввести единоначалие, он назначил генералиссимусом князя Черкасского 14 декабря 1695 года. Но престарелому вельможе, почтенному заслугами и характером, не пришлось принимать участие в азовской баталии. Он заболел, и 9 января 1696 года вместо него был назначен Шеин.

При князе Михаиле начинается энергичное обустройство села на новый манер. После его смерти вдова наследовала изрядное имение. В Ландратных книгах Коломенского уезда за 1715 год читаем: «Боярина князя Михаила Алечуковича Черкасского за женою ево за Боярынею, за вдовою княжной Авдотьей Ивановною... в селе Черкизове церковь Собор Пресвятой Богородицы, дом господский каменный о дву этажах, при нем сад регулярный с плодовиными деревьями...»

Откровенно сказать, потомки князя Михаила не отличались государственным умом, зато славились чванством, блудливостью и удивительной бестолковостью. Была, впрочем, в этой семье одна хорошая черта — страсть к монументальному строительству.

Словно чудесный белый цветок, вспыхивает в Черкизове барокко новой Успенской церкви. История созидания этого памятника весьма примечательна. Причины, приведшие к началу строительства, изложены в архирейской храмозданной грамоте:

«Божией милостью Смиренный Вениамин епископ Коломенский и Ка-

ширский. Дана сия храмоздатная грамота лейб гвардии 41 конного полка ротмистра князя Петра Борисовича Коломенской его сиятельства вотчины села Черкизова приказному его человеку Александру Тимофееву сыну Шонгину понеже сего мая 24 дня нынешнего 1734 года в поданном Преосвященному епископу прошении его Шулгина написано в показанном селе Черкизово имеется деревянная церковь Божия во имя Собора Пресвятыя Богородицы, а от двери его сиятельства Черкасского в дальнем расстоянии. Ныне по обещанию своему желает его Сиятельство построить в том же селе Черкизове... на поместной своей земле близ двора своего вновь церковь Божию во имя Успения Пресвятыя Богородицы каменного здания...»

Строго говоря, оснований для княжеской просьбы не было никаких. Соборо-Богородицкий храм находился совсем рядом — минут пять ходьбы, если уж очень медленно идти. Вероятнее всего, их сиятельство просто брезговал молиться вместе со своими крепостными. Ну разумеется, владыка не стал вникать в эти тонкости. Разрешение было дано, и заранее подготовленные материалы сразу же пошли в дело.

Руководил командой строителей Александр Фдорович Путилов, он же, скорее всего, был и автором проекта. Храм получился неординарный. Он очень отличался от своего позднейшего облика. Нынешней трапезы не существовало; храм возвышался подобно башне — над четвериком парил стройный и высокий восьмерик. Со всех четырех сторон к нижней части церкви примыкали полукруглые выступы, так что в плане постройка напоминала дивный цветок.

Строительство несколько затянулось. Тем не менее через десять лет работы были завершены. В октябре 1749 года «премьер маэор и ковалер» Черкасский просит о выдаче антимиаса и освящении готового храма. Преемник владыки Вениамина, преосвященный Гавриил благословил протопопу Успенского кафедрального собора Григорию Фдорову освидетельствовать храм и святить его, что и было совершено 23 октября 1749 года.

Убранство храма удивляло своей прихотливой пышностью, что, в общем-то характерно для эпохи барокко. Особенно интересным было устройство иконостаса. Он был в плане круглым: основу его составляли шесть колонн, полукругом выступая вглубь храма, при этом две колонны уходили в алтарь и образовывали над престолом красивую сень. Однако эта необычная планировка привела к тому, что жертвенник в алтаре был сориентирован не на восток. Поэтому, когда совершалась литургия, священник вынужден был, становясь перед жертвенником, обращаться спиной к престолу. Это было замечено, и в 1750 году священнику Успенского храма Феодору Никифорову повелели произвести переделку. Батюшке не хотелось этим заниматься, и он упросил князьего «прикащика Ивана Гаврилова сына Лачинова» ходатайствовать перед новым владыкой, Порфирием. «...Ныне просит он не перестраивать, — писал Лачинов, — ибо протопоп Григорий при освящении церкви о том, что жертвенник построен не по чину... не объявлял».

Однако оправдание это не приняли, и в сентябре 1756 года священнику Феодору было-таки велено перестроить жертвенник и вдобавок купить толковое Евангелие и церковный Устав.

Между тем князь уже задумывал новый проект. 15 ноября 1759 года генерал-лейтенант и лейб-гвардии премьер-майор, кавалер орденов св. Александра Невского и св. Анны, князь П.Б. Черкасский получает от владыки Порфирия храмозданную грамоту с разрешением разобрать старую Ни-

кольскую церковь на погосте Старки, сохранив утварь, а дерево от обветшавшего храма пустить на отопление. Вместо него разрешалось на прежнем месте строительство новой святыни — «каменного здания по чину восточной церкви». Велено было «убрать оную, как святые правила и церковные уставы повелевают по подобию грекороссийских церквей».

Столь изобильное храмостроение вовсе не говорит о какой-то чрезвычайной набожности. Черкасские, как мы увидим дальше, отличались значительной вольностью нравов. Но положение обязывало: надо было иметь свою домовую ружную церковь (руга — жалованье священнику. — *Р.С.*). Вот и построили Успенский храм. Было принято иметь в своей вотчине церковь-мавзолей. И такая появилась — в Старках.

И что это была за церковь! Вместо обычной постройки на коломенской земле вспыхнула, словно цветок шиповника, тонкая готическая фантазия. Стиль, в котором выстроена была новая церковь, мы назовем «русской готикой». Кажется, только в XVIII веке мог появиться этот невероятный алхимический сплав, где причудливо переплелись традиции русского провинциального храма, декоративная готика и таинственный западный мистицизм.

Перевернутые сердца, солнечники, ромбы, разнообразные шпилы... Их появление не случайно. Совершенно очевидно, что и строитель, и заказчик были масонами. Сейчас довольно сложно реконструировать информацию, заложенную в отделке церкви. Ясно прослеживаются пятеричные и троические сочетания. В принципе тут ничего нового нет: и пятерица, и троица и девятка активно используются в традиционной православной архитектуре. Но, конечно, русские «филозофы» и гностики XVIII века понимали эти числа по-своему.

В 1763 году храм Николы-в-Старках освятили. Но в 1780-х годах его дорабатывали, может быть, тогда он и приобрел свои «готические» черты. В итоге получился интересный ансамбль, составленный из церкви (четверик с высоким деревянным барабаном и шпилем) и колокольни.

Великолепие проекта несколько снижено провинциальностью исполнения, но даже несмотря на некоторую упрощенность храм производит удивительное впечатление. Скольких поэтов он вдохновил, сколько прекрасных строк родилось под его воздушной сенью!

Многие исследователи приписывают проект Никольской церкви великому русскому зодчему Василию Ивановичу Баженову. И действительно: в Подмоскowie трудно подобрать аналоги нашему памятнику, кроме, конечно, знаменитой церкви в Быкове. Но в отличие от быковского проекта, церковь Николы-в-Старках имеет гораздо более выраженную русскую основу.

Это подметил замечательный знаток русской архитектуры М.А. Ильин. «В облике памятника, — писал он, — легко проследить воздействие форм древнерусского храма с его закомарами-кокошниками и трхчастным вертикальным членением стен. Однако зодчий не копировал старорусскую архитектуру. Он смело видоизменил е формы».

Как бывает увлекательно взглянуть в черты старковского храма и увидеть, как своеобразно сочетаются в нем черты традиционной русской архитектуры с веянием раннего классицизма и «готикой».

Черкизовские крестьяне, хоть и были людьми достаточно образованными, не поняли и не приняли мудрую западную символику. Они придумали сво объяснение странному церковному декору. Старожилы объясняли необычные символы на стенах церкви как обозначения карточных мастей.

Князь Черкасский был-де страстным картжником. Однажды он проигрался в пух и прах. Но, совершив обет в сердце своем — построить в случае хорошего исхода невиданную церковь, поставил на кон последнее имя — Черкизова — и вс вернул. И в назидание потомкам построил он в своем селе церковь, украшенную карточными мастями, чтобы впредь никто из Черкасских не смел садиться за игру.

Наивная и смешная легенда! С каким теплом вспоминаешь о ней в жемчужных черкизовских сумерках, вглядываясь в старинные надгробия, белеющие у готической колоннады, в «стройный церковный маяк», входя под уютные своды, под которыми величествует и по сию пору старинный иконостас «осмнадцатого столетия», украшенный узорными стрельчатыми арочками!..

К началу XIX века Черкизово уже представляло собой полноценный архитектурный ансамбль. В Географическом описании города Коломны и его уезда за 1800 год читаем: «Село Статского советника Князя Бориса Михайловича и полковницы княгини Федосьи Ивановны Черкасских — три церкви — две каменные: 1-я Успения Пресвятой Богородицы ружная без предела, 2-я — Николы Чудотворца, 3-я деревянная во имя Собора Пресвятой Богородицы без предела. Два господские дома каменные о двух этажах и при нм плодovitой и регулярной сад».

Но по единственной строчке, разумеется, невозможно представить княжеские владения во всей красе. И вс же у нас есть возможность совершить своеобразную экскурсию по старинному селу. В конце XIX столетия на свет появилась удивительная книга воспоминаний. Ею начинается новый период литературной истории Черкизова.

411

Гиляров

«Неопознанный гений», «чрезвычайный ум» — таковы характеристики, данные современниками Никите Петровичу Гилярову-Платонову (1824—1886). И эти определения вполне подходят нашему земляку! Выдающийся русский философ, богослов, публицист-славянофил, профессор Московской Духовной академии, издатель «Современных известий» — одной из самых популярных газет своего времени, талантливый писатель... Термин «церковно-приходская школа» прочно вошел в российскую историю. Но многие ли помнят, что именно Гиляров был автором идея этого учреждения? Он незаслуженно забыт, а ведь имя его находится в чреде трагических пророков, которые предупреждали о грозящей России духовной катастрофе — и не были услышаны.

Никита Гиляров — гордость и слава Коломны. Но сейчас он интересует нас прежде всего как увлекательный мемуарист, которому принадлежит едва ли не самый яркий литературный портрет Черкизова.

Княжье имение

Гиляров писал о нем: «Это было второе родное гнездо, не мо, но нашего рода. Длинный ряд княжеских домов, почти на версту в длину, разнообразной, но замечательно изящной архитектуры, и притом расположенных с шепетильной симметрией, а впереди их три церкви, две по бокам и одна в середине, пред главным княжеским домом. Таков был вид

Черкизова с Москвы-реки, на которой оно расположено. В стороне от княжеской усадьбы, тоже по берегу, рассыпаны крестьянские избы, в несколько слобод, то есть улиц, все смотревшие зажиточно».

Он описывает «изящный дворец, который бы сделал честь любому губернскому городу и не посрамил бы даже столицы, псарный двор в виде замка с башнями, оранжереи...» Экзотические фрукты выращивались там, особенно славились персики. Кстати, об этих персиках сохранился забавный анекдот. Отец Гилярова, будучи еще воспитанником семинарии, как-то раз отпустил по адресу ректора неприличную шутку, что само по себе нехорошо. Но беда была еще в том, что содержание этой шутки было понято ректором. К счастью, студент оказался знаком с оранжерейным садовником и выпросил у него целую корзину персиков, чтобы умаслить разгневанное начальство. Плоды были отнесены в семинарию, и пораженный ректор простил юношу. А как знать, если бы не черкизовская оранжерея, может быть, и вся литературная судьба этого благословенного места сложилась бы иначе...

На руге́

От причта черкизовских церквей и по мужскому, и по женскому коленам происходит род Гиляровых.

«Для своей ружной церкви князь искал попа видного и с голосом». Ведь Успенский престол был дворцовой церковью Черкасских. «В одном из своих многочисленных имений он нашел такового и перевел в Черкизово. Это был Фдор Никифорович, мой прадед. Фамилии у него, разумеется не было, и грамоту он знал плохо; но он поддерживал блеск княжеского двора».

Недаром Гиляров с такой родственной иронией и с таким насмешливым вниманием описывает детали черкизовского церковного быта.

«Средняя церковь пред княжеским дворцом была “ружная”. Строитель-князь, он же зодчий всего ряда хором, не пожелал молиться вместе со своими “рабами”, но хотел иметь свою церковь и своего попа, которого посадил на “ругу”, то есть на жалованье. Словом — церковь плебейская и церковь патрицианская. Если князь не жаловал крестьянского храма, то и крестьяне не почитали (и доселе, кажется, не почитают) Успенской княжеской церкви, неохотно ходили и ходят в не молиться, несмотря на то, что она была теплая, имела придел с печью, тогда как Соборная оставалась нетопленой по зимам».

Внешний вид попа, подобно прочему «обслуживающему персоналу», отличался блеском. В частности, прадед Феодор, как с усмешкой вспоминает Гиляров, обязан был носить башмаки и чулки «наподобие бального кавалера». Князь подносил богатые подарки домовому иерею. Среди отцовского наследства Гиляров припоминает дорогие камышовые трости с серебряными набалдашниками.

Как мы уже знаем, это был тот самый батюшка, который не хотел перестраивать жертвенника в успенском алтаре, но ходатайство княжеского «прикащика» ему не помогло.

Отцу Феодору наследовал Матфей Феодорович (дед Гилярова), счастливо избежавший ужасной участи.

«Времена тогда были тяжелые для духовенства, — не без иронии пишет мемуарист. — Указ был: гнать всех ребят мужского пола в школу непременно».

но под страхом жестокого наказания. Фдору Никифоровичу хотелось спасти хоть кого-нибудь, и он нашел случай пристроить малолетка... во дьячки и тем избавить от семинарии. Дьячком он поступил к нему же, в Успенскую церковь, разумеется, по назначению и согласию князя, которому архиерей не мог перечить». От сего счастливо избегшего науки Матвея и происходит Петр Матвеевич Никитский, отец писателя.

Болона́

По женской линии род Гиляровых был связан с Соборо-Богородицкой церковью. Древняя, деревянная, она была поновлена в начале XIX века и выкрашена в белый цвет, в тон усадьбе. Позднее церковь выкрасили в красный цвет, и в обиходе она будет называться просто Красной.

Итак, с материнской стороны прадедом Гилярова был Михаил Сидорович Болона. «Болона» значит «шишка». Должно быть, священник Михаил (а может, его отец, Сидор), имели на физиономии достопримечательность, которая обусловила прозвище.

Среди нищего сельского духовенства гиляровский предок выделялся чрезвычайно.

«Болона был замечательный человек в своей окружности; он слыл богатым: у него были сапоги! Да, сапоги, и это считалось признаком достаточности, потому что большинство попов одевалось в лапти и валенки. И Михаил Сидорович ходил также в валенках, но сапоги у него были и стояли в алтаре. Он надевал их на время служения... Была ли у него ряса, предание умалчивает. Вероятнее, что нет... Михаил Сидорович ценил свою состоятельность и не прочь был ею похвалиться... В праздники, когда собирались у него гости из окружного духовенства, он водил их в светлку, подымал крышку сундука и показывал рубли. Да, серебряные рубли были в диковинку сельскому духовенству, быт которого совсем не отличался от крестьянского...»

В ту патриархальную эпоху у сельских батюшек ряс «и в заводе не было». Да и зачем? Приезжая к архиерею, в Коломну, брали рясу напрокат у знакомых священников.

Дочь Болоны, Мария, выдана была в Москву за Феодора Руднева, дьячка, известного своим причудливым нравом. За одну из его проделок (он умудрился варить селянку... в алтаре) его разжаловали в солдаты. Мария Михайловна с детьми вернулась к отцу в Черкизово. Младшая е дочь и была сосватана за молодого семинариста, сына батюшки из соседней княжеской церкви Успения, молодого Петра Михайловича.

Молодые

«Благословили, и 19-летний жених каждую субботу в канун праздника отправлялся к невесте в Черкизово. И не с пустыми руками выдавал прадед Маврушу: из заветного сундука сто серебряных рублей приготовлено было к выдаче в приданое, не говоря о полном хозяйстве, лошади с упряжью, коровах, овцах и вдобавок готовое место, да ещ в кругу родных...»

Однако жизнь нового священника не заладилась. Отца Петра рукоположили во священника в 1799 году. И вс же... «...Служба оказалась не очень веселою. Курная изба, с дымом, режущим глаза, краюха черного хлеба вместо денег за требы... в довершение всего холодная церковь. В храмовой

праздник, 26 декабря, случилось, руки примерзали к кресту и губы к потиру».

К тому же деревенская родня стала насмехаться над городским батюшкой, совершенно бестолковым в хозяйстве. Пришлось отделяться; пусть бестолковый дом, но свой.

Их сиятельства

Знакомство нового священника с владельцем Черкизова началось с конфуза. «Как быть должно, с поступлением на место молодой соборный поп первым делом отправился на поклон в княжеские палаты, к владельческому князю Борису Михайловичу Черкасскому, бригадиру в отставке, владельцу многих тысяч душ в округности, не считая имений в других губерниях. Застенчивый Птр Матвеевич растерялся, не знал как ступить, как сесть, и рад был, что аудиенция продолжалась всего несколько минут. Откланявшись князю, направился мой родитель по паркетному, отроду невиданному полу к выходу, и можно вообразить его смущение, когда вместо двери он наткнулся на стену. Чопорная симметрия, в какой расположены были все княжеские покои, сказалась и здесь: с двух боков гостиной были одинаковые двери, и одни из них фальшивые. При входе уже закружилась голова у трепещущего иерея, и он не помнил, откуда зашел. Пренебрежительно-покровительственный голос князя вывел моего отца из смущения, князь указал настоящие двери».

414

Тогдашний боярский быт поражал своей разнузданностью и размахом. Сотни дворовых людей, псарни с тысячами собак, пышный двор с десятками соседних дворян-прихлебателей, роскошные покои... А в стенах дворца специально была выложена потайная каменная лестница, по которой к хозяину усадьбы водили облюбованных им дворовых девок и крестьянок для блудных утех. Иных он бросал после первых же наслаждений. Но две прочно владели его сердцем и оспаривали друг у друга сиятельного любовника.

«Одну звали Наталья Ивановна, — вспоминает Гиляров, — я застал ее еще в живых, и скончалась она почти столетнего возраста, пережив даже освобождение крестьян. Очевидно, она была красавицей смолода, да впрочем об этом свидетельствовал и медальон с ее волосами и портретом, подарок князя. Она доживала остаток дней на месячине, среди той же дворни, в особой впрочем приличной квартире. Бывшей барской барыне оставили это положение сын и потом внук князя, из уважения к памяти деда».

Самой удачливой оказалась другая пассия князя, дочь кузнеца. На свое счастье она приносила детей «сиятельному другу». Детей князь воспитывал достойно их происхождения. Из пятерых четверо были сыновья. Как-то раз, выбрав минуту душевного расположения, мать с детьми упала в ноги князю. Сердце боярское не выдержало: «вскоре после князь сочетался законным браком с матерью своих детей...»

Черкизовский некрополь сообщает нам дату рождения одного из сыновей князя. 28 февраля 1804 года появился на свет кн. Николай Борисович Черкасский.

Остепенившись, князь Борис решил устроить судьбу детей, которым давно пора было подыскать «законных» родителей.

Ради этого пришлось пожертвовать одним из богатейших имений. Нижний Ландех, некогда вотчина славного князя Пожарского, в несколько

тысяч душ, пришлось продать, чтобы купить дворянство посредством обращения к небогатому шляхетскому семейству. Забавно: помощником в этом деле был известный впоследствии русский археолог П.В. Хавский — еще одна яркая «гисторическая» звезда, мелькнувшая на черкизовском небосклоне. Хавский умер почти столетним стариком, Гиляров его помнил, но о давнем содействии поговорить не успел. «Сам он этого не отрицал, хотя лично мне не удалось его об этом расспросить. Да и по годам его так выходило. Молодость Хавского принадлежала еще Екатерининским временам: к воцарению Павла он был уже таким для провинции значительным чиновником, что приводил жителей (кажется Егорьевска) к присяге новому царю. Притом он был коломенец».

Так «...дети кузнечихи обратились в дворян Витоновских. Впрочем ненадолго: с высочайшего разрешения они были усыновлены (это было при Александре I) и стали князьями Черкасскими. Напрасно только потратился князь и спустил такое богатейшее имение как Нижний Ландех!»

Девятнадцатый век. Начало

Единственной отдушиной было для о. Петра общение с помещиком из Бохтимерева (расположенного через Москву-реку, в районе нынешних Песков). «Василий Любимович Похвиснев принадлежал к числу тех представителей среднего дворянства, которые олицетворяли тогда главный ум России. Сколько можно судить по рассказам отца, Похвиснев был Новиковской школы. Он получал тогдашние журналы, читал вс, что выходило. С соседом-князем не водил знакомства. “За хвостом дядюшкиной лошади ездил, вот вся заслуга, за которую он получил бригадирский чин” — так отзывался о князе Похвиснев. (Князь доводился племянником фельдмаршалу Румянцеву.)

Князь любил удить и, окруженный челядинцами, просиживал иногда на мосту целые часы за этим занятием. “Знаете ли, батюшка, какая будет правильная дефиниция удочки? — спрашивал Василий Любимович моего отца по этому поводу. — Удочка есть орудие, оканчивающееся с одной стороны поплавком, с другой дураком”».

Отец Петр записал это определение в особенной книге, куда он заносил замечательные изречения.

Черкасский давно зарился на Бохтимерево, которое единственное не принадлежало ему в окрестных землях и торчало, «как бельмо на глазу». Но независимый Похвиснев не уступал своего сельца и лишь посмеивался над притязаниями соседа. Князь от души ненавидел отважного гордеца, но ничего поделывать с ним не мог.

1812 год

В Старках, под изящной беседкой из кованого железа, рос и украшался княжеский некрополь. В 1812 году в семейном склепе была похоронена П.Д. Черкасская. Позднее на усыпальнице появится мраморный саркофаг с витиеватой надписью:

«Под сим камнем лежит тело Статской Советницы Княгини Прасковьи Дмитриевны Черкасской, родившейся 1778 года октября 2 (?) дня скончавшейся 1812 года июня 27 дня.

Благоговеем все и павши на колена
К творцу мы вопием: да прах он сей блажит
А среди нас она да будет незабвенна!»

Возможно, кто-то скажет, что в контексте мировой истории эти графоманские стишки кажутся смешными. Но мы все же привели их, поскольку такое событие не могло оказаться незамеченным и наверняка оставило глубокий след в сознании окружающих.

Между тем грандиозные мировые дела шли своим чередом. На просторах России полыхала Отечественная война. Князь Б.М. Черкасский в числе других помещиков ставит воинов в Московское ополчение. Но француз приближался, и уже видны были страшные отсветы московского пожара.

А в Черкизове эти ужасные события имели свой, отчасти комический, оттенок. Черкизовцы, ожидая француза, дном уходили в лес и ставили дозорных, а на ночь возвращались в оставленные дома. Нелепость действий очевидна: если бы неприятель подошел к Черкизову, неужели бы он не обнаружил наивных крестьян? Жители села напоминали мемуаристу одного местного телка, который, проходя через темные сени, зажмуривал глаза, отчего страх становился несколько меньше. К счастью, телячьи хитрости негодились — Наполеон так и не вступил в коломенские пределы.

Двадцатые годы

«Позднеалександровская» эпоха в столицах кипела вольномыслием, сколачивались масонские ложи и офицерские товарищества, в которых зрели зрны будущего декабризма; всюду хулиганил юный Пушкин. А в черкизовской глуши тем временем происходили большие перемены, главным образом — строительного характера. Статский советник Борис Михайлович Черкасский воспылил демократическою мыслью объединить свою домовую церковь с приходом Соборо-Богородицкого храма. Он предложил епархиальному начальству Соборную церковь разобрать, приход перевести к Успенению, а престарелому Болоне подыскать другое место. Неизвестно почему, то ли по просьбам прихожан, то ли по предложению епархии, но решение было в конце концов несколько изменено. Приходы объединили, но Соборо-Богородицкий храм в уважение к древности и «в память благочестивых вкладчиков» оставили в качестве приписного к Успенскому.

В 1821 году проводятся грандиозные строительные мероприятия. Во-первых, Успенский храм и колокольню соединили, воздвигнув обширную трапезную с двумя приделами. Во-вторых, Соборо-Богородицкая церковь была «материально перестроена». Что означает эта формулировка и много ли осталось в планировке храма от древней постройки — сейчас трудно определить, поскольку здание не сохранилось...

А вот об Успенской церкви надо сказать подробнее. Она совершенно изменила свой прежний пышный облик. Колокольню возвысили до четырех ярусов. Алтарь обнесли суровой дорической колоннадой, звонницу украсили такими же колоннами. Постройку увенчали классическим карнизом. Вс дышало здесь героическим ампиром, и лишь стройная ротонда напоминала о временах роскошного барокко.

Один из престолов трапезной — Знамения Божией Матери — был освящен в 1825 году, но, забегая вперед, мы скажем о храмовом убранстве, чтобы потом не возвращаться к этому вопросу. В своей книге «Прогулка по древнему Коломенскому уезду», изданной в 1840-е годы, Н.Иванчин-Пи-

сарев, старый романтик, масон и знаток здешней истории, так описывает успешные реликвии.

«Замечательны утвари и иконостас придельной Знаменской церкви. Они перешли из Московского дома Княгини Феодосии Львовой, рожденной Милославской. Этот дом стоит и поныне в Москве, в Китае городе, в **Черкасском** переулке. Неизвестно, как он достался упомянутой Княгине; но сказывают, что некогда он был пожалован Царем Алексием Михайловичем вместе с церковью... Князю Черкасскому (вероятно Сунгулеевой, а не Камбулатовой ветви, ибо, в противном случае, иконостас и утварь не перенесли бы в Черкизово). Царские врата этого придела **цельные** кипарисные. По левую сторону оных стоит образ Знамения Пресв. Богородицы, низанный жемчугом и осыпанный драгоценными камнями, и в нем части Св. Мошей. За престолом икона Богоматери Святогорския с подписью: **“Повелением Великого Государя царя и Великого Князя Феодора Алексиевича”**... Есть старинные серебряные лампы, ковши и блюда с надписями **большой вязью**, требующими времени для разобранья. На одном блюде вырезано четко: **“Блюдо Князя Стефана Васильевича Ромодановского”**. Это был двоюродный брат К. Григория Григорьевича и К. Михаила Григорьевича Ромодановских-Черкасских, из коих первый был главным предводителем войска в Чигиринском походе. Упомянутый выше сего крест, в золотом ковчеге с камнями, не есть ли тот самый, который Патриарх Иоаким вручил этому Боярину и воеводе на Красной площади, благословляя его войско в поход? В Летописи сказано, что он был подобен тому, который явился в небесах Царю Константину. Эта святыня могла после того перейти в руки Кн. Михаила Олегуковича, первого владельца села Черкизова, после убийства Кн. Григория Григорьевича и сына его Кн. Андрея Ромодановских в Стрелецком бунте».

Проверить догадки Иванчина мы уже не сможем, реликвии по известным причинам не сохранились.

Возвращаясь к черкизовскому духовенству, надо сказать, что тревожные, связанные со строительством и объединением приходов, не лучшим образом сказались на стариках-священниках. В 1822 году умерли и Матвей Семнович, и Никита Фдоров. К этому времени о. Петра не было в Черкизове, он уже занимал место в коломенском храме Никиты Мученика. В этом приходе и родился в 1824 году будущий бытописатель Черкизова Н.П. Гилларов-Платонов. А в Успенскую церковь перевели в 1824 году о. Павла Никифорова. При нем-то и освятили Знаменский придел в 1825 году. Ему довелось стать свидетелем кончины князя Бориса.

Но похоронили барина не в Черкизове, а в более престижном месте — в Старо-Голутвине монастыре. Рядом с Голутвиным жил в Щурове славный вельможа XVIII века, статс-секретарь и фаворит императрицы Екатерины II — Адриан Моисеевич Грибовский. Веселый и остроумный циник, Грибовский не мог пройти мимо этого события. Трудно удержаться, чтобы не процитировать отрывок из его дневника.

1828 г., января «18. Были в Голутвине монастыре похороны князя Черкасского. Сей князь Борис Михайлович служил при импер. Екатерине II в гвардии, откуда вышедши в отставку бригадиром, около 50 лет жил в своем имении, находящемся подле города Коломны. По разным наследствам дошло к нему наконец до 6 тысяч душ крестьян. Долго он не хотел жениться и вл свободную с женским полом жизнь, но, прижив с одною из крепостных девок много детей, по отеческой к ним любви, решился, за

14 лет до своей смерти, на матери их обвенчаться и всех своих детей успел признать законными князьями и княжнами, и всех при себе разделил. Вот и вся его биография. В Голутвин монастырь, где похоронен, дал немалый вклад».

Адриану Моисеевичу не откажешь в язвительности. Он не всегда бывает прав в своей чрезмерной иронии, но в данном случае князь Черкасский заслужил подобную характеристику. «Вот и вся его биография!» Чванство, блуд, псарня, раболепие крепостных и соседей-дворян — ради чего все это? И зачем, если в результате лишь мраморное надгробие — пышный памятник человеческой бестолковости?

Закат Черкасских

После смерти князя Бориса Михайловича семья Черкасских так и не оправилась. И «запал» уже был не тот, и «материальная база» похудела, да и сама семья начинает физически угасать.

В 1830 году смерть дважды посетила Черкасских.

«Под сим камнем погребено тело Коллежского Ассессора Князя Александра Борисовича Черкасского, родившегося в 1788 году июля 17 дня скончавшегося в 1830 году июля в 3 день в 2 часа пополудни на 59 году своей жизни.

Проходящие помолитесь обо мне.

Под сим же камнем погребено тело дочери его княжны Прасковьи Александровны Черкасской родившейся в 1830 году марта 20 дня скончавшейся декабря 23 дня того же года».

Раз уж речь зашла о похоронах, то надо упомянуть, что тогда же, в 1830-м, скончался священник Успенской церкви Павел Никифоров. Для нашего повествования это важный факт, ибо на вакансию перевели о. Сергия Гилярова (или, как сообщают клировые ведомости, — «Гиляева»), который доводится братом знаменитому черкизовскому мемуаристу. Этот батюшка внес немало славных страниц в летопись черкизовских оригиналов и стал одним из центров внимания автора этой самой летописи.

А в Никольской церкви в это же самое время служил о. Симеон Марков (упоминается в 1828 году). Ему и приходилось поддерживать некрополь Черкасских в достойном виде. Дополнительную красоту усыпальнице придавала неугасимая лампада, которая всегда горела под железной сенью сквозь кружево классической ковки.

Вскоре здесь стало больше еще одним надгробием — Варвары Григорьевны Черкасской, княгини и коллежской ассессорши (3 декабря 1806 — 27 января 1833).

И в это же время церковная жизнь Черкизова ознаменовалась не очень приятным событием. В 1836 году в Успенской церкви «за ветхостью престола» было запрещено служение. Можно предположить, что дело не в самом престоле. Собственно престол — это не настолько сложная конструкция, чтобы ее нельзя было восстановить в короткий срок. Скорее всего, пришла в ветхость сень над престолом — мы помним, что иконостас в храме имел сложное устройство: две колонны его углублялись в алтарь. Вероятно, эта неординарная планировка и стала причиной для запрещения службы. Вряд ли богослужение было вообще прекращено. Должно быть, его перенесли в Знаменский придел трапезного храма. И довольно долго главный престол оставался праздным. Что, в общем-то, понятно, — Черкасским становится не до строительства.

12 марта 1837 года умер коллежский ассессор и кавалер князь Николай Борисович Черкасский, в возрасте 33 лет. Его проводили такой эпитафией:

«Покойся милый брат
мы плачем о тебе
а ты в раю за нас молись
святая чистая душа
мир праху твоему».

Лишь в 1841 году отец Сергей Гиляров с прихожанами подали прошение о возобновлении престола, жертвенника и построении нового иконостаса в Успенском храме.

У отца-настоятеля была большая практика в строительном деле, как мы увидим из нашей летописи.

Черкизовские оригиналы

История села вообще богата замечательными характерами.

Прадедущка Болона, например, провернул в сво время афру с незаконным венчанием. Самое обидное, что наказали за это дело его наследника, о. Петра, который был вообще ни при чм.

А свояк Василий Михайлович славился тем, что был «лунатик» — выбежал дном с подушкой в село и располагался посреди улицы, залезал в печку, а один раз зимой забрался на дерево, и в это самое время ему представлялось, что он идет по лесу со знакомым крестьянином.

Объединенный Успенский и Соборо-Богородицкий приход, как мы помним, достался Сергию Петровичу Гилярову. Он занимал не последнее место в галерее черкизовских чудаков.

От безрадостной и однообразной сельской жизни батюшка заскучал. А тут на беду попался ему под руку «лечебник». Отец Сергей начал читать и «обнаружил» у себя чахотку. Некий доброжелатель посоветовал ему кровопускания, которые чуть было не угробили доверчивого священника.

Впрочем, на время от дурных мыслей его отвлекло строительство. Он решил соорудить новое семейное гнездо и поставил дом, изящный и удобный. И надо же было случиться, что как раз накануне переезда совершенно готовая постройка сгорела! Батюшка «захандрил до размеров трагикомических». Уверив себя в близкой кончине, он перестал есть и пить, истощал, голос ослаб. Принять кончину он собрался в Коломне.

«Надобно проститься с детьми духовными. Объявил по приходу, что в такое-то воскресенье отслужит “прощальную” обедню... Собралась церковь полна. Отслужил брат обедню слабым голосом и вышел нетвердыми шагами на амвон... это была его первая проповедь и даже, вероятно, единственная, им самим сочиненная... слово вылилось прямо из души: “Православные! Дни мои сочтены, час смерти моей близок, и я думаю принять упокоение на руках у присных...” И так далее... просил прощения в обидах вольных и невольных; говорил о спасении их душ, которые ему дороги, наставлял их в христианской жизни; завещал молиться за себя, сам обещал за них молиться, если удостоится предстать перед престолом Всевышнего. Церковь навзрыд ревела; можно представить проводы, прощальные благословения, слезы, рыдания, плач...»

В Коломне, у отца и зятя, он, однако же, понимания не нашл. Отправили его в Москву, к другому брату, о. Александру, который излечил

страдальца...«кормжкой на убой». А окончательное восстановление сил пришло, когда владыка Филарет сделал его благочинным.

И смешно и печально читать эти строки. Отшумела прежняя жизнь, в 1852 схоронили о. Сергия Гилярова (его сменил о. Алексей Карташв), а затем и все старые черкизовцы отошли «в путь вся земли». Но их милые тени возвращаются к нам, сходя со страниц, пронизанных иронией и теплом!

Закат Черкасских

В самом начале 1850-х имением управляли опекуны: Ф.Н. Глебов и А.Д. Денисов. Однако уже в середине десятилетия Борис Александрович Черкасский возобновляет строительную деятельность, надолго было заглохшую в Черкизове.

Князь подат в епархию прошение об учреждении престола Бориса и Глеба в трапезном храме Успенской церкви. Борис — родовое имя Черкасских, понятно, почему черкизовский помещик берется за построение престола, который должен был стать своеобразным памятником этой фамилии. Это произошло в 1854 году.

А уже на следующий год начинается перестройка Знаменского придела трапезной церкви. Мир кипит, всюду бушует Крымская война, но е валы не докатываются до подмосковной глубинки. Уже в 1856 году закончено обновление Знаменского придела, и сразу же начинаются работы по строительству Борисоглебского. Обустройство новой святыни заняло почти четыре года. По странному совпадению освящение придела в честь святых благоверных Бориса и Глеба пришлось на 1860 год, то есть на то самое время, когда эпоха Черкасских подходила к концу.

Приближалась Великая реформа, Россия менялась, и вместе с приходом новых времн завершался почти 170-летний период в истории Черкизова. У здешних крестьян не было особенных оснований печалиться об отмене крепостного права. Жизнь черкизовцев того времени нельзя назвать легкой. Они платили больший оброк, чем, например, шереметевские крестьяне. Из леса им выдавали только сучья и пни, а не дрова и строевой лес, как у Шереметевых.

Итак, переворачивается очередная страница нашей хроники и начинается новая глава, поначалу, может быть, не очень веслая, но не менее занимательная.

Перемены

История черкизовского имения закончилась бесславно. При подготовке реформы 1861 года, как и во многих поместьях, крестьянам навязывалась аренда земли, лучшие участки и угодья оставались за помещиками, крестьянам земли отводились чересполосно, вдали от села («черкизовские отрезки», как их называли). Но ничто не могло отсрочить крушения.

Имение было продано.

Печальную картину рисует Гиляров-Платонов: «... вс пошло на слом и продано враздроб: кирпичи — одному, мраморные плиты — другому; бронзовые, чугунные украшения нашли также охотных покупателей. На месте палат осталось голое место с тремя церквями, на которые не имела права посягнуть коммерческая рука... Новый владелец, купивший имение за сто

с чем-то тысяч, сумел в короткое время выбрать из него более, чем оно стоило при покупке, и потом продать, кажется, за тройную цену. Вс, что можно вырубить, вырублено».

Лиходеем, которым разрушена черкизовская усадьба, был московский «финансист» Куманин.

Меж тем приходская жизнь, избегшая «коммерческой» руки, шла своим чередом. В 1874 году приход Успенской церкви составляли 99 дворов (всего — 825 человек), а у Никольской церкви — 180 дворов (всего прихожан — 1124).

Возвращаясь к судьбе имения, мы вновь сталкиваемся с историей ужасно романтической. Кроме храмов, от усадьбы сохранились два флигеля. Правый (если смотреть со стороны Песков), ближайший к переправе и деревянной церкви, был продан московскому купцу Хлудову. Получив старинную постройку конца XVIII века, Хлудовы расположились основательно. Памятником их деятельности остался земляной вал, возведенный для защиты от половодья после того, как однажды сильный разлив затопил участок.

По рассказам местных жителей, последний Хлудов был замечательно образованным человеком. Он служил в Коломне, уже в советское время, преподавателем химии и, кажется, немецкого. Потом перебрался на Коломзавод, а в 30-е годы уехал в Москву на ответственную стройку.

Ну а что же левый флигель? Это здание и вся вторая часть имения оказалась в руках г-на Ножева (как его называет краевед Смирнов) или, по другим данным, Ножуева. Смирнов увлекательно рассказывает его романтическую историю.

«Нажив в Москве деньги на очистке уборных и вывозе нечистот, он поселился в малом княжеском доме в “Старках” и зажил барином. На свою беду взял в прислуги красавицу Дуняшу из Настасьина, влюбился в не на старости лет и по е домогательствам нотариально перевел свое имение на не. По е же настоянию переехали в Коломну, где он купил двухэтажный каменный дом и вскоре умер».

По слухам, коломенский дом Ножуевых располагался где-то в Покровской слободе. И Коломна, и Черкизово с увлечением следили за исходом драматической истории страстного золотаря.

Поглощенные событиями современности, черкизовцы постепенно стали забывать многие детали древней истории села. В частности, большинство селян считали, что название «Черкизово» идт от князей Черкасских. А Старки-де потому назывались так, что Черкасские в этом флигеле поселяли своих старых верных слуг. О Серкизовых-Старковых уже никто не вспоминал!

В 1892 году праздновалось 300-летие Соборо-Богородицкой церкви. В Московских епархиальных ведомостях в связи с этим была опубликована заметка, где в частности сообщалось:

«На юго-восточной стороне села на самом берегу Москвы-реки величественно высится незатейливой, но своеобразной архитектуры древний деревянный храм, по своей древней утвари, ценным вкладам и знаменитым вкладчикам — князьям Ромодановским, Черкасским, и г-м Норовым храм этот представляет немало интересного и с внутренней стороны, благодаря вниманию настоятелей, старанием церковных старост и особенно благоговению к древней святыне прихожан эта церковь содержится в замечательном благолепии и до сего времени древнейший храм этот кажется совершенно ещ новым».

Естественно, что он казался «совершенно новым» автору заметки, некому С.Д.! Храм-то перестроен всего семьдесят лет назад. К тому же в этой заметке успешные вклады почему-то относятся в Соборо-Богородицкую церковь.

К сожалению, мы уже не узнаем о подлинном объеме исторических знаний хранителей черкизовской традиции. По преданию, бытовала в среде черкизовского духовенства некая таинственная книга, в которой излагалась древняя история села. Были и семьи, которые хранили память о прошлом. Например, род церковнослужителей Некрасовых, идущий от диакона Терентия Некрасова, насчитывал 120 лет непрерывного служения Богу на Соборо-Богородицком приходе.

В 1880-е годы в храме Николы-в-Старках служил о. Василий Озерецковский. В 1887 году в Успенской церкви составляет Метрику, то есть историческое описание храма, настоятель о. Алексей Карташев. Но, конечно же, никакие исторические записки не могут сравниться по значению со знаменитым томом «Из пережитого», в котором Никита Гиляров-Платонов описывает картины Черкизова рубежа XVIII–XIX столетий. Книга была издана в 1886 году; к этому времени Никита Петрович уже умер.

Ветхое уходило, наступала новая пора.

Эпоха Шервинских

В том же 1892 году, когда праздновалось 300-летие Соборо-Богородицкой церкви, произошло событие, которое определило всю дальнейшую историю села.

Еще при жизни влюбчивого старика Ножуева его красавица Дуняша продала старковский флигель за 10 000 рублей знаменитому врачу Василию Шервинскому. Это человек-эпоха в российской медицине. О нем нужен особый рассказ.



*Архитектор Е.В. Шервинский.
Фото начала XX в.*

Василий Дмитриевич Шервинский родился в семье влиятельного тобольского чиновника. Еще ребенком лишился родителей. Воспитывался в Москве, под присмотром родственников. Блестяще окончив гимназию, в 1869 году поступает на медицинский факультет Московского университета. Первая должность — прозектор при кафедре патологоанатомии и одновременно — ординатор Екатерининской больницы. Первая научная публикация сделана в 1874 году. А уже в 1879-м он защищает диссертацию.

Еще юношей Василию Шервинскому удалось побывать в Париже, где он консультировал тяжело больного Тургенева. И это было лишь началом; Василию Дмитриевичу довелось пользоваться многих деятелей русской культуры на рубеже XIX–XX веков.

В.Д. Шервинского справедливо назы-



Семья Шервинских в начале XX века: проф. В. Шервинский, его жена Анна и дети Сережа и Евгений (слева)

вают одним из основателей отечественной эндокринологии.

С 1884 года он становится профессором Московского университета. Одновременно в 1880–1891 годах Шервинский работает врачом при правлении Рязано-Козловской железной дороги (это как раз наша линия).

И вот в 1892 году, когда торжественно праздновалось 300-летие Соборо-Богородицкого храма, В.Д. Шервинский приобретает дачу в Старках, княжеский флигель, который как раз смотрит на Розовую Никольскую церковь.

Поистине удивительным было это сочетание старинного села со своей провинциальной особенкой — и профессорской семьи, которая привнесла с собой традицию утонченной московской интеллигенции! С одной стороны — причудливая «слободская» планировка, в которой, несмотря на послереформенный разгром, ощущалось веяние

боярских времн. Одна улица, изогнутая в виде буквы «С» вокруг деревянной церкви, называлась Церковной. Другая — Потеряевкой. Впрочем, ощущались тут влияния и не слишком давних событий. Одна слобода называлась Плевной — то ли потому что несколько ее жителей участвовали в русско-турецкой войне 1877–1878 годов, то ли из-за особенной драчливости местных жителей.

Весною черкизовцы становились свидетелями удивительного явления «обратного льда» — когда московский ледоход сталкивался с окским и начиналось его движение обратно — от Голутвина вверх по Москва-реке («по Москва-реке» — характерный коломенский говор). А во времена половодья начинал бушевать Исток — маленький ручей превращался в бурную речку, рассекал Черкизово надвое, так что его перейти можно было лишь по Каменному мосту — арочному мостику, сложенному из кирпича.

А с другой стороны — мощная просветительская сила — сам профессор и его архитектор-сын. При профессоре Шервинском был разбит великолепный промышленный черкизовский сад, со всех сторон огражденный прекрасными защитными аллеями из елей, берз и лип. В.Д. Шервинский активно работал в Коломенском земстве, одно из основных направлений работы которого было создание образцовых хозяйств. Черкизовский сад и был одним из таких образцов, по которым училось окрестное крестьянство.

Но дела Шервинских не ограничивались промышленными посадками. В-таки Старки были прежде всего дачей — местом отдохновения от московской суеты. И старший сын профессора, Евгений, обладатель редкой специальности архитектора садов и парков, возродил утраченную было

красу Черкизова. Им было восстановлено несколько княжеских аллей. Одну из таких аллей — место романтических прогулок — прозвали Ливадией или, по-народному, — Ливады.

В Старках Шервинским принадлежали два здания. Рядом с флигелем находилось еще одно прихотливое строение, выходящее в сторону реки красивым «октагоном». Вероятнее всего, это были остатки княжеской теплицы.

Евгений Шервинский устроил на этом участке настоящий оазис: тут благоухали сирени и шиповник, высились тенистые липы, на клумбах цвели пармские фиалки (память о посещении Италии) и другие замечательные цветы. Оранжерея была переоборудована в дачу Евгения Васильевича, от нарядного восьмигранника устроили очень красивый сход к Москве-реке.

В это же время между старковским флигелем и церковью Николы вырыли прямоугольный пруд. Красота классицизма вернулась в эти места. Евгений Шервинский отличался большим чувством стиля. Он занимался не только разбивкой садов, но и реставрацией (в частности, теперешней больницы им. Склифосовского), обычным проектированием и живописью.

В этой атмосфере красоты и созидательного труда вырос младший сын Василия Дмитриевича — Сергей Васильевич Шервинский. Между братьями была большая разница в возрасте. Евгений родился в 1878-м, а Сергей появился на свет в 1892 году. То есть именно в тот год, когда профессор Шервинский приобретает Старки. Удивительное и многозначительное совпадение! Черкизовская природа стала той колыбелью, в которой формировалась душа будущего великого переводчика.

Не много найдется людей, которые могли бы потягаться с С.В. Шервинским в знании античной и классической литературы. Откуда это проникновение в глубину ушедших цивилизаций? Из гимназии и университета? Конечно. Но не следует забывать, что именно на рубеже XIX—XX веков как бы заново открывается мир старинной русской усадьбы. Ностальгия по классицизму — один из источников Серебряного века русской культуры. И то, что Сергей Васильевич с юных лет приобщается к пленительному духу русского классицизма и становится непосредственным свидетелем возрождения Старков, тоже отзовется в его творчестве.

Разумеется, осознание родной истории связано не только с Шервинскими. К примеру, в 1905 году выходит книга Ф.В. Соболева «История и подробное описание села Никульского». Потомок старинной фамилии никульских церковнослужителей подробно описывает окрестности своего древнего села, куда входили и черкизовские земли тоже. Эта небольшая книжка и по сию пору является одним из ценных источников по истории Коломенского края.

Но все же ведущая роль оставалась за Шервинскими.

В 1909 году В.Д. Шервинский был на три года избран в уездный училищный совет. И это, конечно же, был не случайный выбор. Еще в 1895 году Земская управа констатировала крайне бедственное состояние черкизовской школы. Здание было тесным, грязным, плохо отапливалось. Доходило до того, что по зимам чернила замерзали в чернильницах. Ясно было, что школу нужно перестраивать, а точнее — возводить заново. Но история эта так и тянулась, пока за дело не взялись Шервинские.

Евгений Васильевич Шервинский подготовил проект нового здания, и уже в 1911 году около переправы воздвиглось величественное двухэтажное

сооружение с элементами романского стиля, арочными окнами, выступающими надоконными валиками, декоративными углублениями в толще стен — настоящий храм науки. В народе это строение до сих пор величается Шервинской школой. Через эти стены прошли все поколения юных черкизовцев вплоть до 70-х годов XX столетия!

В том же 1911 году произошло неприметное вроде бы событие. В храм Николы-в-Старках назначили священником о. Григория Зачатейского. Он прибыл сюда на место свойственника, о. Сергия Озерецковского, который служил тут на рубеже XIX—XX веков. Так вот, именно Зачатейские заметили, что Святой источник, который с давних времн располагался к югу от храма, начал иссякать.

В этом было что-то пророческое. Иссякала вера в русском народе и вместе с нею исчезали его святыни... К началу революции вода в источнике иссякла. Но тогда лишь только люди особенно чуткие духовно могли представить себе грядущие бедствия. Ведь ничего вроде бы не вселяло особенно-го беспокойства, жизнь шла своим чередом, в сво время производился ремонт и поновление черкизовских храмов, но тревожная атмосфера уже сгушалась.

В 1914 году Сергей Шервинский впервые поехал в Италию самостоятельно (раньше он ездил вместе с семьей). Эта поездка оказала сильнейшее влияние на его эстетическое развитие, она ещ отзовется прекрасными стихами. Но время романтических путешествий уже уходило в прошлое. В августе 1914-го грянула Первая мировая война.

Мобилизация и первые потери коснулись и Черкизова.

Время бросало вызов русской культуре, и лучшие е представители давали достойный ответ. В 1915 году турецкое правительство осуществило страшное преступление — геноцид армянского народа. Эта трагедия потрясла русскую общественность. Одним из проявлений солидарности с Арменией стала подготовка антологии армянской литературы в русских переводах. В связи с этим у юного Сергея Шервинского наладилось творческое сотрудничество с Валерием Брюсовым, отцом русского символизма и выдающимся теоретиком перевода.

Естественно, что Шервинский не мог удержаться и пригласил Брюсова в Старки. Летом 1916 года мэтр символизма приехал в Черкизово с женой, Иоанной Матвеевной. Подтянутый, чопорный, он удивительно контрастировал с подмосковной идиллией. Шервинский вспоминал позднее:

«Брюсов в деревенской обстановке выглядел парадоксально. Он был в ней как бы инородным телом... Я думаю, что в цветах нашего сада его, вероятно, более всего могли интересовать их названия. Брюсов только что закончил тогда свою “симфонию” “Воспоминание”... Мы попросили Брюсова прочесть е вслух. Он согласился охотно и просто. Собрались в гостиной, вокруг овального стола. За окнами темнело от наступавшего вечера и надвигающейся грозы. Были закрыты ставни, зажжена лампа. Брюсов читал патетически, в полную силу голоса, хотя слушали его только Иоанна Матвеевна и члены моей семьи... Но вот Брюсов дошел до стихов:

Молчанье! Молчанье! Молчанье! Молчанье!
Везде: впереди, в высоте, и кругом!
Молчанье — как слитое в бурю рыданье,
Как демонский вопль мирового страданья,
Как в безднах вселенной немолкнувший гром... —

и в этот миг над самой кровлей разразился такой невероятный удар, что поэт остановился, все привскочили на своих местах, переглянулись. Пронеслась минута. Дом стоял на своем месте. Волшебник, навлекший грозовой удар, снова околдовывал нас своей «симфонией»».

Дня через три Брюсов уезжал в Москву. Вечерний поезд был переполнен, но поэт не пожалел оставаться. Он решительно затолкал жену в вагон, а сам вскочил на подножку. На всю жизнь Шервинский запомнил его чрный силуэт на подножке удаляющегося поезда, охваченный романтически взвивающимся плащом. Так, зловещей кометой, во всем блеске своего демонизма, сверкнул на черкизовском горизонте великий поэт.

И напроорочил — на следующий год вспыхнула революция.

Конечно, в очаровательном домашнем уюте Старков грядущая революция казалась чем-то нереальным... Как раз в 1916 году Сергей Шервинский крошечным тиражом в 150 экземпляров издал свою первую авторскую книжку — «Девчоночка» — это драматическая сцена из древнеримской жизни. Главный действующий герой — Гораций Флакк; история — совершенно идиллическая.

А в 1917 году в храме Николы-в-Старках произошло знаменательное событие в истории русской литературы. В июле Борис Пильняк пишет в Саратов отцу, матери и сестре:

«30-го числа было, в страшную грозу, с громом и градом на погосте Старки, что около Черкизово, мо венчание, после которого Марийка стала Вогау, но не Соколовой...» Марийка — Мария Алексеевна Соколова, дочь диакона коломенской церкви Вознесения о. Алексия Соколова. Борис Вогау-Пильняк как раз в предреволюционное время бывал в Песках, снимал там дачу, работал, и тогда ему, наверное, и пришла мысль венчаться именно в старковском храме.

Шервинские, конечно, не заметили этого факта. Пильняка тогда практически никто не знал. Профессор Шервинский, конечно, был знаком с отцом Пильняка, ветеринаром Андреем Ивановичем Вогау, — по Коломенскому земству. Но быть близко знакомым с его сыном он не мог; уж очень разное они занимали положение. Кто мог тогда предположить, что молодому беллетристу суждена общероссийская скандальная слава!

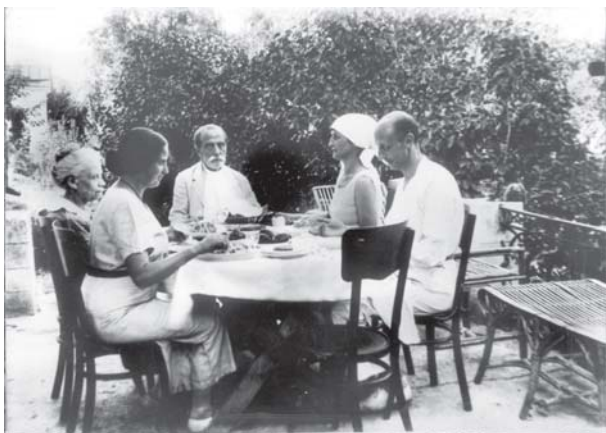
...Грозное лето 1917-го набухало тучами и кровью. Скоро оно разрешится кровавым Октябрьским переворотом и Гражданской войной.

Смута

Без Шервинских дела в Черкизове «пошли на лад». Здесь кипела кооперативная жизнь. В журнальчике «Труд и свет», в 4 за 1918 г. (издание Коломенского союза кооперативов, эсеровского направления), читаем: «...в с. Черкизово 5 апреля т. г. состоялось общее собрание членов об-ва, рассмотревшее годовой отчет за 1917 г. За отчетный год об-во сделало оборот по продаже товаров в 88 532 р. 81 к. с прибылью более восьми тысяч рублей. Из прибыли общее собрание отчислило на культурно-просветительные цели 1900 р. — сумму довольно значительную. Приветствуем это постановление желая успеха в культурно-просветительной работе из народа и для народа».

Кооперативное движение началось в Коломенском крае задолго до революции, и большевики не сразу подмяли его под себя. Но пройдет несколько лет — и не станет на эсеров, ни общих собраний, а «культурно-просветительная работа» примет весьма своеобразные формы.

Владение Шервинских отобрали в 1918 году. Но еще в 1919-м один из них побывает в Коломне. Архитектор Евгений Шервинский и художник Аникита Хотулев были командированы в Коломну и уезд как представители отдела по делам музеев и охране памятников искусства при Наркомпросе. Обстановка в Коломенском крае была тревожная, вандализм свирепствовал, и, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение памятников культуры, Шервинский и Хотулев 24 февраля 1919 года направили в Коломенский горсовет предложение организовать в Коломне музей.



*На веранде в Старках. Июль 1936 г.
В центре В.Д. Шервинский, далее, слева направо: А.Ахматова, С.Шервинский.*

Приятно осознавать, что Шервинские имели непосредственное отношение к развитию музейного дела в Коломне.

Миновала Гражданская война.

Н.И. Петропавлов в своем обширном статистическом исследовании «Коломенский уезд 1924 г.» упоминает и наше село:

«Дворов 110; жителей 545. Имеется групповой сельский совет, объединяющий сс. Черкизово и Подлужье; школа 1-й ступени, народный дом, совхоз УЗУ; агропункт; сельскохозяйственный кооператив; кузница; 2 церкви (каменная и деревянная)... В селении 7 фруктовых садов, из которых один промышленный».

По сравнению с семидесятью годами XIX века численность жителей уменьшилась почти вдвое... Промышленный сад, упомянутый Петропавловым, конечно же, шервинский сад, который славился необыкновенными яблоками редкостного вкуса и красоты. Рассказывали, что в них на просвет можно было разглядывать семечки.

По сравнению с семидесятью годами XIX века численность жителей уменьшилась почти вдвое... Промышленный сад, упомянутый Петропавловым, конечно же, шервинский сад, который славился необыкновенными яблоками редкостного вкуса и красоты. Рассказывали, что в них на просвет можно было разглядывать семечки.

Шли годы, и неотвратимо приближалась расплата за революционный грабж. В 1929 и 1930 годах большевистская власть ударила одновременно и по крестьянам и по Церкви. Началась коллективизация и массовое закрытие храмов.

9 марта 1930 года Мособлисполкомом было принято решение о закрытии церковью села Черкизова и погоста Старки, поскольку от содержания их верующие якобы «отказались». Здания храмов было велено сфотографировать и «использовать в культурно-просветительных целях».

Конкретные последствия «культурно-просветительной» политики можно видеть на примере старковского священника Григория Александровича Зачатейского. Отец Григорий родом из коломенского села Большое Колычво. Учился в Московской семинарии. У батюшки с женой, Верой Сергеевной, было 11 детей. Поэтому, когда подошла коллективизация и голод, пришлось туго.

Священнослужение надо было оставить, но сана отец Григорий не снимал. Он поступил работать конюхом в северском колхозе. И стал едва ли не



*Тридцатые годы. Слева направо:
А.Кочетков, Е.Шервинская,
Л.Горнунг.*

лучшим конюхом в уезде! Его лошади были самыми ухоженными. То ли из зависти, то ли по «классовым соображениям» на него стали доносить, и священник от греха подальше перебрался в Москву. Устроился в Нижних Котлах на завод драгметаллов, комендантом. Тяжело давались все эти переживания. Батюшка с горя стал выпивать. И бывало как захмелеет — пот псалмы. Одному татарину это не понравилось — донс.

В апреле 1937-го священника арестовали прямо на заводе. Сослали его в Красноярский край. В тамошней деревне был ссыльный, о. Иоанн, у которого кончался срок; он оставил батюшке богатое наследство — хибару и курицу. В 1939 году отец Григорий успел прислать два письма и замолк. Когда стали наводить справки, узнали, что его осудили повторно и дали «10 лет без права переписки».

Вечная память отцу Григорию!..

Вечная память всем нашим замученным священникам!

Путеводитель

В 1930 году было издано довольно стильное описание Черкизова и окрестностей в «Путеводителе вокруг Москвы». Есть смысл процитировать этот отрывок как документ эпохи.

«§ 84. Пески—Северское—Коломна.

Небольшое село со школой, чайной, кооперативом налево от ж.-д. станции. Направо — дачный послок, разбросанный среди строевого леса. В лесу много земляники, самые крупные ландыши — в окрестностях Коломны.

В 1/2 км. по направлению к Москве тут же в лесу каменоломня. На пригорке, под извилистой Мезенкой, благоустроенная дача охрздравотдела. Лесная дорога (11 км.) ведт к реке Москве. Здесь вновь карьеры каменоломни. Через 2 1/2 км. — дом отдыха. Дорога идт тропинкой, берегом реки; слева лес. По дороге — дом отдыха в б. имении Шереметева. Лучшее здание сгорело в 1928 г.

Трясущимся плашкотным мостом следует перебраться на другой берег Москвы. Здесь в бывш. даче-усадьбе широко развернул культурно-показательную работу агропункт. Очень хорош в усадьбе огромный липовый парк. Здесь же рядом погост Старки с интересной церковью XVII в. и каменной розовой петровской эпохи. Отсюда 5 км. до Северского, где последний раз перед Коломной “шлюзуются” пароходы.

Можно осмотреть маленькую гидростанцию местного значения, дающую электроэнергию близлежащим селам (Северскому, Бакунину, Сандырям) и коломенский водоканал.

В 1 км. от шлюза, на пригорке, в зелени парка, стоит Северский дом отдыха. Здесь можно получить кипяток, а иногда и обед (по договорности заранее). До Коломны 6 км. итти берегом реки Москвы по тропинке заливными лугами до Бобренева монастыря, одного из фортов Старой Коломны. От монастыря 1 км. до Коломны».

Возвращение. Труды и дни

В 20–30-х годах слава профессора Шервинского возросла чрезвычайно. Выдающийся терапевт, диагност, отец русской эндокринологии, он лечил едва ли не всю театральную и художественную Москву. К тому же его довольно часто приглашали в Кремль для осмотра высокопоставленных персон, вроде «железного наркома Ежова».

За особые заслуги ему было присвоено звание заслуженного деятеля науки, его наградили орденом; предоставили квартиру. И наконец, как знак выдающегося отличия, произошло нечто совершенно удивительное. В.Д. Шервинскому вернули его дачу в Старках!

Тогда же, в 1934-м, совсем рядом, на противоположном берегу Москвы, между Песками и Коневым Бором, был основан послок «Советский художник».

Здесь находились дачи выдающихся мастеров живописи: В.Н. Бакшеева, А.А. Дейнеки, А.М. Герасимова, А.Н. Комарова, А.А. Куприна, Е.Е. Лансере, А.В. Лентулова, Ю.И. Пименова и других. С некоторыми художниками у Шервинских наладились близкие отношения; заезживал в Черкизово замечательный анималист Алексей Никанорович Комаров.

Однако вернемся к Старкам.

Хотя новые «образцово-показательные» владельцы успели изрядно похозяйничать, все же после незначительной реконструкции дача вновь стала пригодной для жилья.

Конечно, изменилось окружение, закрыты были храмы, их драгоценные собрания разграблены. По рассказам очевидцев, из церкви Собора Богородицы вывезли все иконы, погрузив их на воз, и лишь один образ случайно упал на дорогу. Эта икона была подобрана будущей супругой одного из коломенских священников и единственная уцелела.

В то же время можно предположить, что иногда в Старках совершались богослужения. Шервинский пишет в одном из своих старковских стихотворений: «...тут утром будет колокол гудеть/ Хотя и робким звоном...»

Глубокая тишина прерывалась голосом кукушки, пахло рекой, лесом, заречными лугами... «Тихая деревенская благостыня» — идеальное место для поэтов.

С легкой руки Шервинского здесь поселяются его коллеги по переводческому цеху: Александр Сергеевич Кочетков (автор знаменитой «Баллады о прокуренном вагоне») и Вера Александровна Меркурьева. Кочетков с женой — Инной Григорьевной Прозрителевой — и со старым другом семьи Меркурьевой сняли дачу рядом с Шервинскими в деревянной избе Варвары Трофимовны Корнеевой, в двух шагах от звонницы Никольской церкви. У Шервинских гостил Лев Горнунг, московский искусствовед, который в конце концов не выдержал и тоже снял дачу в Старках, в доме, расположенном между флигелем Шервинских и дачей Кочетковых.

Так сложился «черкизовский круг» или, как посмеивались сами его участники, «коломенская аномалия» — литературное братство, объединен-



В. Меркурьева. 1930-е годы.

ное душевной свободой, деревенским при-
вольем, творчеством и покоем.

Ведь в те времена черкизовцы жили
очень изолированно. Переправа через Мос-
кву-реку то и дело ломалась и годами сто-
яла без движения. До Коломны далеко, а
с песковского берега надо было добираться
с помощью лодки. Кочетковы брали
лодку у Зачатейских.

Тогда вид корнеевского дома был еш-
более казист, чем сейчас. Обычная изба,
не обитая тсом, с земляной завалинкой,
крылечко без террасы. Всю переднюю часть
дома с видом на церковь снимали литера-
торы. А перед домом паслась коза Римка. В
самом доме у Кочетковых жили кошки,
которых они привозили с собою из Мос-
квы. Вообще ко всем Божьим тварям Ко-
четковы относились с почтением. Иногда

на этой почве возникали комические ситуации. Когда Меркурьева однажды
подобрала галчонка, им с Инной Григорьевной пришлось гулять по разные
стороны церкви, чтобы молодой кот, неизменный кочетковский спутник,
не напал на меркурьевского галчонка.

430

Особый колорит жизни Старков придавала хозяйка дачи — В.Т. Корне-
ева, или «цыганка Варя», как ее звали в Черкизове за веселый и независи-
мый нрав. Она любила читать, что необычно для простой сельской женщи-
ны, и собрала у себя много книг. Жаль, библиотечка не сохранилась.

К Кочетковым привыкли, и уже никто не считал их чужаками, хотя
поначалу некоторые детали бросались в глаза, например, длинные волосы
Александра Сергеевича, за которые он получил забавное прозвище Полу-
поп.

Кроме Шервинских, сюда заходили и другие гости, например, Елена
Ивановна Деева, лингвист; она знала больше десятка языков. В это же
время в Черкизове снимал дачу Александр Сергеевич Ахманов, философ и
преподаватель логики.

Жизнь в Старках была переполнена творческим трудом. С утра устраи-
вались по рабочим местам: Меркурьева — на кровати, Кочетков — либо в
соседней комнате под окном, либо в «житнице» на подворье, где сверху
было два окошка и где очень удобно работалось. В Кочеткове было что-то
по-доброму колдовское. Когда он работал, прилетали галки и садились к
нему на плечи.

А напротив, через кусочек парка и пересохший пруд, стоял шервин-
ский флигель...

Казалось — вся мировая литература заполонила своими призраками ста-
рую усадьбу. Внешне все вроде бы оставалось по-прежнему. Почтенный про-
фессор Василий Дмитриевич неспешно прохаживается по аллее. Как и прежде,
приходят к нему окрестные жители, а он прописывает им лекарства (ка-
кие-то особенные, не порошки и пилюли, а большей частью травы и на-
стои).

Но здесь же, рядом, в стихах Кочеткова оживала германская муза или
вспыхивал вдруг восточным узорным шлком Хафиз. И романтический

Шелли вдруг мелькал в переводах Меркурьевой. А у князьего флигеля, в зарослях цветов, туи, пелларгониума, то гремела бронзовая латынь, то листьями деревьев шептал греческий.

Ахматова

И вот тогда, в страшную пору 1936-го, из московского и ленинградского ада сюда приезжает Ахматова.

Стояло очень жаркое и плодоносное лето. Поспевала земляника и ждали большой урожай яблок. Но каменный дом с деревянными сенями и деревянной, заплетенной виноградом террасой был прохладен. Прохлада царилла и в саду и в парке. И повсюду покой — единственная роскошь, которую Шервинские могли предоставить Ахматовой в избытке.

Несмотря на царственное величие и некоторую скованность в общении, Ахматова была, в сущности, очень проста и непринхотлива в быту. Единственное, что ей требовалось, — чтобы не приставали с «умными разговорами».

Старковский приезд Ахматовой имел и еще одну цель. Старый профессор осмотрел Анну Андреевну, которая страдала тогда мучительными сердечными припадками. Он точно угадал причину болезни и прописал лечение, которое резко улучшило здоровье Ахматовой и прежде всего избавило от мучительных симптомов болезни.

Сергей Васильевич Шервинский веселил гостью неисчислимым количеством шуток, дурачеств и каламбуров, на которые он был мастер. Особые отношения сложились у Ахматовой с Валентиной Ивановной Обакевич, помощницей профессора, с которой она вела долгие беседы о чем-то своем.

Семейную гармонию дополняли Елена Владимировна (жена С.В. Шервинского) и две их дочки: старшая Аня и младшая Катя.

Ахматова приехала в Старки в двадцатых числах июня 1936 года. Спустя некоторое время об этом узнал Л.В. Горнунг, давно знакомый с Анной Андреевной по гумилевским архивам. Он давно мечтал сфотографировать Ахматову, а тут — такой удачный случай! Горнунг договорился о приезде в Старки. В дни встреч со знаменитыми поэтами Лев Владимирович вел дневниковые записи; именно ему мы обязаны точной хроникой тех летних дней.

14 июля 1936 года он приехал в Старки. Вечером на открытой террасе втроем — Ахматова, С.Шервинский и Горнунг — беседовали об Осипе Мандельштаме, судьба которого очень волновала его друзей. Разговор за-



*Ахматова в Старках. Июль 1936 г.
Фото Л.Горнунга*

шл и о будущей поездке в Коломну. Ахматова ни разу не бывала в нашем городе, хотя знала его по разговорам и книгам Пильняка.

Сидя на террасе, все трое смотрели на звезды и пробегающие вверху ночные облака... В.И. Обакевич прервала романтическую сцену: она вошла с немецкой овчаркой Баяном и предложила Анне Андреевне прогуляться по берегу реки.

Подобные прогулки — от одной церкви до другой — составляли неотъемлемую сакраментальную часть старковской жизни. Не успевал человек приехать в Черкизово, как вскоре он уже, влекомый непонятной силой, прохаживался по красивому берегу Москвы-реки. Даже сегодня такая прогулка производит неизгладимое впечатление, что же говорить о тех временах, когда краса этой земли оставалась почти нетронутой!

15 июля. За утренним чаем Горнунг сфотографировал жителей гостеприимного флигеля. Кроме уже известных персон присутствовала А.Д. Позднякова, ттушка Е.В. Шервинской. Позднее Шервинский напишет Ахматовой: «Я снимок берегу, где профиль ваш / Соседствует с семейным самоваром...»

После чая Горнунг с Ахматовой гуляли по берегу реки, разговаривали о знакомых: Кузмине, Лозинском, Лукницком и снова — о Мандельштаме. В это же утро Горнунг сделал снимок Ахматовой с овчаркой Баяном; не очень удачное фото с нерассчитанной выдержкой.

Вечер запомнился тем, что С.Шервинский начал читать вслух брюсовский перевод «Фауста» Гте, который он тогда редактировал; были прочитаны три сцены из второй части.

16 июля, хоть и было очень жарко, съездили в Коломну, где получились еще три ахматовских снимка, из них два — особенно удачные. Город произвел сильное впечатление на Анну Андреевну. И хотя то первое старковское лето Ахматова не писала стихов, но подспудно материал копился, чтобы через несколько лет взорваться гениальными строками. Больше всего поражает в этих днях сочетание подчеркнутой ахматовской простоты (обычное платье, выгоревшая косынка, сломанные туфли, брошенное Горнунгу: «я сейчас совсем не слежу за своей внешностью...») с внутренней творческой работой. Дорога, храмы, зловещая Маринкина башня... Вс это запоминалось, откристаллизовывалось, чтобы потом стать алмазным стихом!

17 июля... Снова серия блестящих снимков. Во всех группах Ахматова получалась хорошо. Вечером снова был «Фауст»; за ужином — шутки и веселые воспоминания. Сергей Васильевич, аккомпанируя себе на фисгармонии, спел несколько старинных романсов. Ахматовой понравилась одна неаполитанская песня и «Вечерняя серенада» Шуберта, которую она особенно любила.

На следующий день, 18 числа, Горнунг читал Ахматовой свои стихи (на романтической круговой скамейке у трх лип из одного корня — «трх сестр»). Он получил теплый отзыв. Разговорились; Анна Андреевна вспоминала детство, Севастополь... Потом речь зашла об Анненском. Как известно, Ахматова относилась к нему с большим уважением и считала учителем. Анна Андреевна собралась было читать свои стихи, но тут появилась В.И. Обакевич, «присяжный врач» семьи (по выражению С.Шервинского) и с обычной веслой бесцеремонностью увела гостью купаться.

Перед отъездом Горнунг и С.Шервинский с трудом уговорили Ахматову согласиться на индивидуальный снимок. Дело в том, что друг и сосед С.В. Шервинского, А.С. Ахманов, недавно сфотографировал е и работа получилась по-любительски неудачная. И все же, на наше счастье, Горнунг

сделал сво фото. Это оказался один из лучших снимков Ахматовой вообще.

19 июля Горнунг проявлял и печатал снимки в Москве. А уже следующим вечером он снова был в Черкизове. Ахматовой не терпелось посмотреть фото, она разглядывала их при свечах; понравилось.

Потом на террасе было чтение «Фауста» — VII—XI главы. Потом, когда гости разошлись, при керосиновой лампе-«молнии» снова смотрели фото, которые «имели шумный успех».

Ахматовой настолько понравился е отдельный снимок, что она решила разослать отпечатки друзьям, а один экземпляр тут же направила Горнунгу карандашом: «Милому Льву Владимировичу Горнунгу от его модели».

Вечером, перед сном, Шервинский и Горнунг беседовали об Ахматовой... Сергей Васильевич хвалил коломенские снимки и тут же прочитал другу стихи, ярко передающие аромат тех дней.

АННА АХМАТОВА

Сама не зная, торжествует
Над всем — молчит иль говорит;
Вблизи как тайна существует
И чудо некое творит.
Она со всеми и повсюду:
Здоровье чь-то пьет вином,
На чайный стол несет посуду
Иль на гамак уронит том.
С детьми играет на лужайке
В чуть вянтом розовом платке;
Непостижима без утайки
Купаться шествует к реке.
Над блюдцем спелой земляники
В холщовом платье, в летний зной,
Она — сестра крылатой Ники
В своей смиренности земной.
И удивляешься, как просто
Вмещает этот малый дом
Е — мифического роста,
С таким сияньем над челом.
Она у двери сложит крылья,
Прижмт вплотную вдоль боков
И лоб нагнт со свежей пылью
Задетых где-то облаков.
Вошла — и это посещение,
В котором меркнет суета, —
Как дальний гром, как озаренье —
Земная гостья и мечта.

Утром 21 июля гости, в ожидании чая, разбрелись. Елена Владимировна с девочками ушла в соседнюю церковь. «Анна Андреевна предложила мне послушать чтение е стихов», — записывает Горнунг.

Чтение было на уже знакомой нам скамейке у «трх сестр».

А вечером дочитывали «Фауста», и перед сном Ахматова совершала sacramентальный обход москворецкого берега — в сопровождении Горнунга.

22 июля... И снова было жарко, и снова были стихи (Горнунг привез неизданные произведения недавно умершей Софии Парнок).

Вечером собрались гости, в том числе Кочетковы и Меркурьева. Ужинали на каменной террасе флигеля. Были и москвичи, и среди них Анастасия Петрово-Соловово. Лев Горнунг тогда не знал и не догадывался, что это — его будущая жена! В тот вечер он впервые встретился с ней на благословенной земле Старков.

Какой непостижимой мистической красотой веет от этой картины!.. Поздний вечер, ночь; на маленькой террасе, украшенной решетками Бове,

при ярком свете лампы — удивительное поэтическое собрание. Какие блестящие имена! Какое остроумие, какое богатство блестящего интеллекта!

Ночью было гадание — и Ахматовой, например, выпало: в конце жизни — большой удар и сумасшествие. Смех, веселье, а рядом — гулкий темный княжеский парк и озаренный луной призраком Никольской колокольни... Точно видение брусковского Фауста веет над всем этим!

На следующий день Ахматова собралась с ответным визитом. Утром вспоминали за чаем вчерашний вечер. Ахматова надписала полюбившееся фото: «Чудесной и мудрой Вере Александровне Меркурьевой в знак благодарности. 22 июня 1936» (характерная для не ошибка в датах: июнь перепутан с июлем). Отправились в гости к Кочетковым.

Е встретили с благоговением и пиететом. Красное вино в гранных стаканах перемежалось стихами Меркурьевой. Вера Александровна была в восторге от прихода великого поэта, и ее письмо коллеге и другу Е.Архипову (3 октября 1936 г.) ярко свидетельствует об этом.

На Ахматову «зверолюбивый мир» кочетковского дома тоже произвел впечатление. Она просталась очень сердечно, а по дороге обратно, через пересохший пруд, спросила у Шервинского с теплой иронией: «У них всегда это безобразия?»

Литературная жизнь Старков всегда была такой напряженной и многообразной. Визит Ахматовой вызвал пристальное внимание и описан и Горнунгом, и Шервинским, и Меркурьевой. И это — лишь часть литературной истории Черкизова!

Первый ахматовский сезон на этом завершается.

В сентябре 1936 года в Черкизове побывал археолог Талицкий, но о его экспедиции мы уже говорили в начале Хроники, поэтому не будем повторяться.

«Дни страхов общих»

Эта строка из стихотворения Шервинского хорошо передаст атмосферу 30-х годов... Однако, словно каким-то чудом, угроза прошла мимо, и никто из «черкизовского круга» не попал в мясорубку репрессий. Может быть, авторитет старого Шервинского сказывался — не решались трогать семью человека, от которого зависела жизнь многих высокопоставленных людей.

В 1937 году в Черкизове очень кратко побывал Борис Пастернак. Он навещал своего сына, Женю, который тем летом гостил у Шервинских.

Год был тяжелым. Исчезали многие знакомые, друзья. Был арестован Пильняк. На этом фоне разгромная рецензия на меркурьевский перевод Шелли, вышедшая в одном из литературных журналов в августе 1937-го, имела зловещий оттенок (*Александров*: Шелли и его редакторы).

Но слава Богу, и на сей раз гроза прошла стороной. Да и, к слову сказать, профессия переводчика была куда менее опасной, чем «обычная», так сказать, литературная стезя.

К числу малоизученных фрагментов черкизовской литературной истории относится пребывание в наших краях известного поэта Дмитрия Кедрина. Говорят, что он жил в Черкизове в 1937–1938 годах и писал поэму. Но с Шервинскими Кедрин никак не был связан. Этот факт очень показателен: похоже, что культурная история нашего села не ограничивалась только кругом небольшой переводческой колонии.

В 1938 году Ахматова напишет трагическое стихотворение, посвященное

Пильняка: «Все это разгадаешь ты один...» (из цикла «Венок мртвым»). Там нет прямых коломенских ассоциаций, но, конечно, вспоминая Пильняка, Ахматова не могла не подумать о гостеприимном Коломенском крае...

Конец 30-х принс новые ощутимые потери. Кажется, в это время окончательно прекратились всякие богослужения в Никольском храме. Чудо, что храм вообще не разрушили и не разграбили. Рассказывали, что при церкви жила какая-то таинственная старица, кажется, е звали Марией, и она хранила у себя ключи от храма до лучших времен.



В.Д. Шервинский с черкизовскими ребятами. 30-е годы XX в.

В 1939 некрополь Черкасских был уже разграблен. Княжеские времена казались уже чем-то нереально далким. Рассказывали легенду о последних Черкасских, что вот-де, была княжья свадьба и ехал богатый кортеж, но вдруг лошади понесли, и в один миг разбились и жених, и невеста, и их спутники, и только черные мраморные гробы остались от княжеской семьи... Нет нужды, что все надгробия установлены в разное время и погребения разделяются десятками лет! Зато — сказание красивое.

Правда, романтические предания не уберегли некрополь от осквернения. В конце 30-х кровлю над склепом Черкасских сорвали и перевезли на колхозный ток. Сам княжеский склеп взломали, останки разбросали, и какое-то время рядом с могилами можно было видеть части полусгнившей одежды...

Эти события обеспокоили Шервинских. Помимо того, что творилось кощунство (что само по себе омерзительно), возникала еще опасность уничтожения скульптурных надгробий, из которых наиболее интересным было беломраморное изваяние спящего младенца.

Позвонили в краеведческий музей. Оттуда приехали и забрали скульптурные работы.

7 июля 1940 года в «Коломенской правде» была опубликована заметка А.Гужова «Новые экспонаты краеведческого музея», где среди прочих вещей упоминается «памятник из белого мрамора с изображением 4-летней княжны Ольги Черкасской, привезен из Черкизовской церкви: памятник сделан руками крепостных мастеров». Конечно же, Алексей Иванович не-

сколько увлется. Крепостные мастера здесь совершенно ни при чем. «Спящий младенец» сделан в Италии на рубеже XVIII—XIX веков; это не шедевр, но вполне профессиональная работа. В любом случае это надгробие важно для нас прежде всего как литературный памятник.

Черкизовский некрополь вдохновлял поэтов. Не только сама церковь была многократно воспета, но и гробница Черкасских служила предметом вдохновения. Александр Кочетков написал драматическую сцену по мотивам «Фауста» (как тут не вспомнить чтение брюсовского перевода на каменной террасе Старков!).

У Кочеткова Мефистофель переносит Фауста в Старки, тот не верит, что попал в Россию, очарованный германским обликом храма. Фауст любит прекрасным надгробием, сияющим у подножия церкви, а Мефистофель, ехидно посмеиваясь, указывает ему на карточные масти, украшающие храм.

У С.В. Шервинского есть грустные строки, оплакивающие разорение старковского некрополя.

И в самом деле: зачем это было сделано? Никакой выгоды черкизовцы из этого «мероприятия» не извлекли, только лишили себя красоты и души свои испоганили.

Зимой 1940 года вымерзли черкизовские сады.

А в марте 1940-го появляется еще одна ветвь из «Венка мертвым». Это — «Поздний ответ», который Ахматова посвятила Цветаевой. И здесь мы видим совершенно определенные коломенские реалии. Сквозь московскую пургу вдруг вырастает силуэт Маринкиной башни. Так через несколько лет отозвалось лето 36-го...

И напророчила Ахматова! Прошел год — и Цветаева оказалась на коломенской земле, и не где-нибудь, а в Старках.

Еще в 1940-м у Меркурьевой по старому знакомству завязалась переписка с Цветаевой. Она звала Марину Ивановну в Старки. Но получилось сюда попасть лишь на следующий год. Есть непроверенные данные о том, что Цветаева побывала в доме Корнеевых весной, но здесь не может быть никакой точности. А вот о том, что она 12 июля приехала в Старки с сыном (Муром) — известно определенно. Однажды она ходила в Пески — посылать телеграмму в Москву.

Марина Ивановна, видно, постеснялась зайти в старковский флигель, и Шервинские тоже не нашли предлога, чтобы познакомиться. Только однажды Сергей Васильевич случайно увидел, как Цветаева идет за водой на соседний колодец. А потом стало не до знакомств.

Война

Страшный рубеж отделил мирную жизнь от новой эпохи. Безмятежный старковский отдых был взорван известием о начале войны. 24 июня Цветаева уезжает в Москву. Наступили гнетущие, страшные дни. 14 октября Мур узнал в Москве от Кочеткова, что Союз писателей эвакуирует литераторов в Ташкент. Дело решилось. Волна эвакуации подхватила Цветаеву. А потом была Елабуга и смерть.

В Ташкенте оказались Меркурьева, Кочетковы, Ахматова...

А вот Шервинские никуда не поехали. В.Д. Шервинский заболел еще весной, он не вполне оправился и не перенес бы дороги. Перебрались в Старки. Наступили тяжелые времена, голод. К тому же флигель был плохо

приспособлен к зиме. А все шло к тому, что придется зимовать в Черкизове.

События тех дней живо описаны в воспоминаниях Екатерины Сергеевны Шервинской, младшей дочери переводчика. Детское восприятие удивительно: этот период жизни не воспринимался как что-то ужасное. Конечно, было голодно, но тяжелый быт сочетался с деревенским привольем. Старшая сестра, Анюта, уже ходила в Шервинскую школу, а Катя, не достигшая школьного возраста, наслаждалась свободой. По ночам выходили смотреть, как в московской стороне бьют зенитки. Когда случались налты на Пески, было ужасно интересно наблюдать, как осколки шлпаются на землю. Не беда, что любой из них мог убить; об этом как-то не думалось.

Между тем именно в один из таких налтов был тяжело контужен «дядя Геня» — Евгений Васильевич Шервинский. Фашистские бомбардировщики налетели, когда на станции скопилось много народа. Немало людей погибло, было ранено. До сих пор на черкизовском кладбище стоит черный мраморный обелиск над могилой, в которой погребены жертвы вражеского авианалта. Там же похоронены и раненые воины, умершие в песковских госпиталях. Е.В. Шервинский так и не смог оправиться от контузии. Он умер в Москве в 1942 году.

А чуть раньше, поздней осенью 1941-го, в Старках скончался профессор Шервинский. В холодном доме болезнь Василия Дмитриевича обострилась. Да и как могло быть иначе? Печи грели плохо, по углам комнат выступал иней.

Ухаживала за больным его сноха, Е.В. Шервинская («Леля», как ее называли Василий Дмитриевич и муж, Сергей). Она не имела медицинского образования, но профессор научил ее всем премудростям, что называется, «из рук в руки». «Она всегда была очень исполнительна и четка, и дед доверял ей полностью, — вспоминает Екатерина Сергеевна. — Он до конца сохранял абсолютную ясность мысли и по-медицински следил за ходом своей болезни... изучал его состояние с интересом».

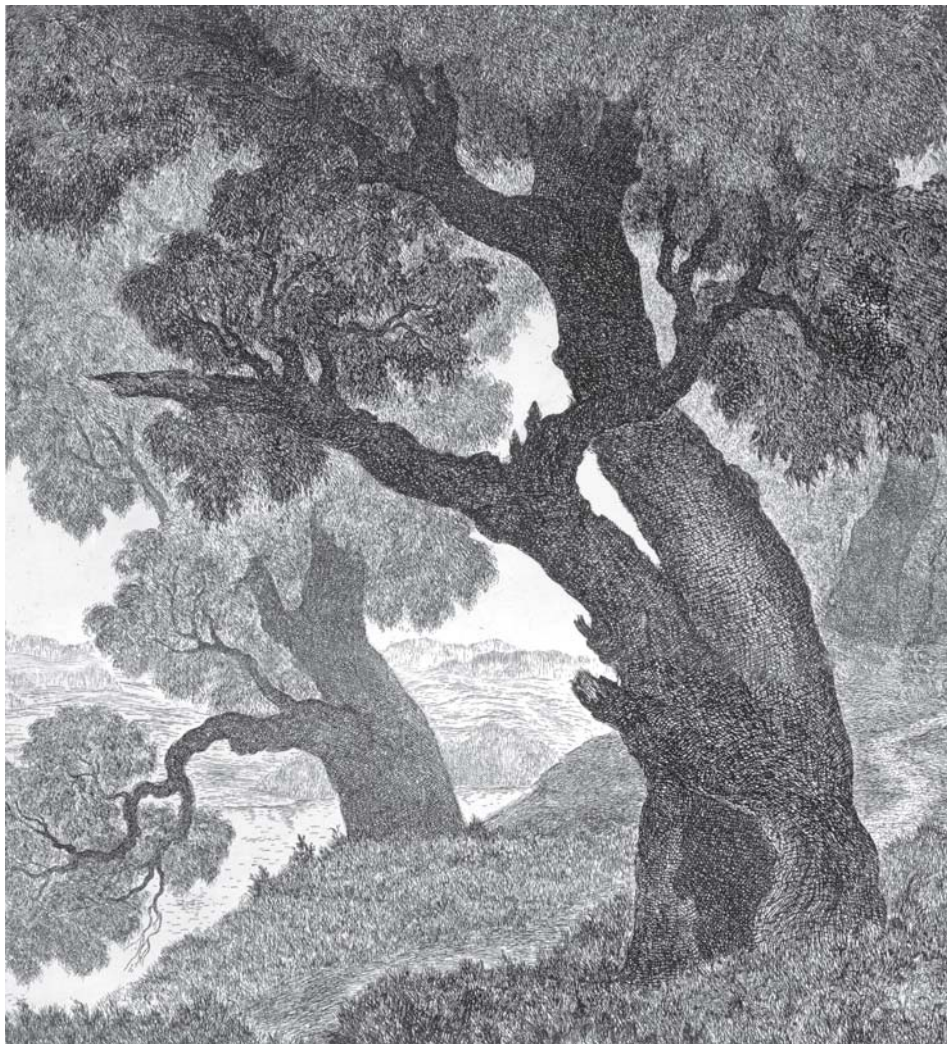
Однажды Шервинский сказал снохе, готовясь принять одну из назначенных ему процедур: «Во время этой процедуры я могу умереть. Не пугайся».

Поразительная вещь! В момент кончины его лицо озарилось — светом познания. «Он констатировал опыт смерти»... Василия Дмитриевича не стало 12 ноября 1941 года. День был очень морозный. Девочки Шервинские катались на лыжах; когда они вошли на кухню, им сообщили, что скончался дедушка.

«Гроб для Василия Дмитриевича строгаи из ели на заднем дворе, за баней. Вечером у тела... служили панихиду, которую мы с сестрой тоже отстояли. Это была первая наша панихида».



*С.В. Шервинский в московском кабинете.
70-е годы.*



А.С. Шервинская. Офорт

В день похорон в Старках было черно от людей: огромная толпа из Черкизова и окрестных сл пришла почтить своего доктора в последний раз. Ведь Шервинский безотказно лечил всех местных; к нему привозили тяжелобольных издалека, на подводах, и никто не оставался без помощи. Грустным и торжественным было это прощание! Словно ладья, уходящая в последнее плавание, гроб плыл над дорогой, высланной еловым лапником, и молчаливая толпа тихо следовала за ним...

А потом наступила зима. И рождественская лка озарила старинный флигель! И были детские игры, были забавы, бесконечные катания с ледяных гор, когда девочки Шервинские приходили в задубелых от мороза шубах, при этом руки были красные, точно гусиные лапы; и мама вытряхивала их из ледяной одежды и загоняла греться на печку.

С продуктами было плохо — каждый кусок на счету. Запомнился такой эпизод: Катя Шервинская сидела, по своему обыкновению, на дереве, а

мимо проходили доярки с соседней фермы. Они несли кормовую свклу, и одна женщина подумала: не отдать ли девочке несколько штук. Товарки стали было отговаривать ее, но та отмахнулась: «Да что вы! Они же голодные...» И действительно бросила Кате несколько корнеплодов. С какой гордостью та приволотела в дом драгоценную добычу, радуясь, что и она может быть чем-то полезной семье!

Суровой зимой 1941/42 года фашистов отогнали от Москвы, и стало легче. А 1943-й отозвался в черкизовской литературной летописи самым неожиданным образом. Ахматова в Ташкенте заходила к Кочетковым, навещала больную Меркурьеву. Конечно же, в этих беседах не могли не вспомнить мирные Старки! И вот на свет появляется один из шедевров ахматовской пейзажной лирики, стихотворение «Под Коломной» с многозначительным посвящением: «Шервинским»...

В ташкентской эвакуации Ахматова перенесла тиф, но осталась жива.

А вот для Меркурьевой 1943 год стал последним; знойная земля Востока дала ей последний приют.

В 1944 году в Старках неожиданно оказался Михаил Леонидович Лозинский. История его появления здесь такова. После возвращения из эвакуации в Москву великий переводчик заболел. К тому же выяснилось, что его ленинградская квартира разрушена. Ехать ему было некуда... И С.В. Шервинский предложил своему коллеге приют на старковской даче. Лозинский прожил здесь год. И черкизовские святые стали свидетелями завершения «Божественной комедии». Так, вместе с Вергилием и Софоклом, вместе с другими великими поэтами античности, переведенными Шервинским, и бессмертный флорентиец вошел в наши края. И кажется, что до сих пор в листве старковских лип эхом отдаются терцины «Рая»...

К этому времени и хлудовский флигель становится частью черкизовской литературной хроники. Там расположился дом отдыха, в котором нашл приют Михаил Иванович Смирнов. Это был ученый-краевед. Его вклад в изучение истории Подмосковья огромен. К сожалению, Смирнов разделил участь многих своих коллег. За чрезмерное увлечение русской стариной он оказался в лагере. Но к концу войны веяния изменились, появился спрос на историю, и последние годы Смирнов провёл в относительно комфортных условиях. Естественно, живя в Черкизове, он не мог не заинтересоваться его историей. Его труд «Село Черкизово» стал первым строго научным исследованием об этом древнем селе.

Очерк М.И. Смирнова о Черкизове был опубликован в трех номерах «Коломенского рабочего» в апреле 1945 года. Основная часть материала посвящена старине. Весь послереволюционный период уместился в одном абзаце.

«При советском строе усадьба перешла в ведение Московского областного отдела социального обеспечения, организовавшего здесь сначала детский дом, потом дом инвалидов повышенного типа и, наконец, в данный момент — дом отдыха для инвалидов Великой Отечественной войны. Силами инвалидов здесь разбит обширный огород, дающий урожай картофеля и овощей».

Не очень блестящий финал для шестивековой истории села.

Обретения и потери

В 1946 году в духовной жизни Коломенского края произошло важное событие. Храм Николы-в-Старках возвращается Православной Церкви! Советскому правительству надо было пережить войну, чтобы понять наконец необходимость Православия. Рассказывали, что возрожденной черкизовской общине передали церковное имущество на пяти возах, там были в том числе и предметы, сбереженные Коломенским краеведческим музеем. Старинная баженовская церковь стала подлинной сокровищницей православного искусства Подмосковья, не только по внешнему облику, но и по внутреннему убранству. Кроме иконостаса XVIII столетия, сильное впечатление производит скульптурная икона «Христос в темнице». Коломна в свое время славилась множеством рельефных и объемных икон. Черкизовское изваяние — единственный образец, дошедший до нас в хорошей сохранности. В Черкизове хранилась еще небольшая рельефная икона святителя Николая, но она была похищена злыми людьми.

Однако на следующий год произошло событие, прямо противоположное по своему духовному содержанию. Соборо-Богородицкий храм, древнейший памятник деревянного церковного зодчества Коломенской земли, был уничтожен. Его разобрали. Бревна использовали для строительства бани и клуба. К сожалению, этой мерзостью дело не ограничилось. После уничтожения храма изменили местоположение черкизовской переправы, сдвинув мост ниже по течению Москвы-реки. При этом дорогу пустили по кладбищу. Могилы стирали с лица земли бульдозером, сдвигая ограды и памятники прямо в реку. Не пощадили даже последние захоронения 1930—1940-х годов... Мраморные надгробия разбивали в крошку, чтобы мостить новую дорогу. Еще долгое время земля стонала под колесами грузовиков гулким эхом.

Господь не попустил кощунственного «использования» древних бревен Соборо-Богородицкой святыни. Пожары поочередно уничтожили обе «новостройки».

В октябре 1948 года в газете «Коломенский колхозник» была опубликована статья агронома А. Муравьева «Черкизовские садоводы». Она рассказывает о возрождении знаменитых садов, но для нас особое значение имеют слова, посвященные В. Д. Шервинскому. «Только три года назад здесь стояла лишь живая изгородь из берз, елей и лип. Это — прекрасная память о покойном профессоре Шервинском, создателе чудесных аллей вокруг сада, защищающих его от ветров. В морозы 1939—1941 гг. сад вымерз. Остались только две-три полудиких яблони и эта замечательная живая изгородь».

Но Черкизово упоминается в это время не только на страницах местной прессы. В 1951 году увидела свет монография А. И. Михайлова «Баженов», где говорится о нашем Никольском храме.

И все же нас интересует прежде всего судьба выдающихся поэтов, прежде всего Ахматовой. А для не рубеж 40-х и 50-х годов был нелгким. Разворачивался очередной виток репрессий, который в очередной раз поглотил и сына, вышло пресловутое партийное постановление... И в этот момент Шервинский вновь предлагает ей приехать в Черкизово. Отдых в глуши Старков был как нельзя кстати, и в 1952 году Ахматова вновь посещает Коломенский край.

«Жизнь в Старках, где опять собирались летом, принимала в основном прежние внешние формы...» — вспоминает С. В. Шервинский и добавляет,

что в эти годы Ахматова «сблизилась с моей старшей дочерью Анютой. Близость поддерживалась долгими сеансами на “деревянной террасе” — дочь писала портрет Анны Андреевны. Задача была трудная... портрет писался в условиях зыбкого летнего освещения, под кровлей, куда вливалась зелень тополей, нигунд, сирени».

В эти годы Шервинские особенно сближаются с великим поэтом, их отношения обретают совсем «домашний» характер. Этим летом Анна Андреевна давала младшей дочери Шервинского — Кате — уроки французского языка. Она с бесконечным терпением пестовала юное 17-летнее существо. Уроки эти пошли впрок — Е.С. Шервинская потом долгое время преподавала французский язык в МГУ.

Ахматова и младшие Шервинские нашли себе необычный отдых от занятий, совершенно нехарактерный для их круга. Они принялись... ходить в кино.

«Ни жена моя, ни я местного кино не посещали. Анна Андреевна называла его “киношка”. Оно было устроено в здании бывшей церкви, когда-то домовая церковь князей Черкасских. В красивом классическом храме был разрушен алтарь со скромными его беломраморными колоннами, колокольня со старой липой у входа была разобрана больше чем наполовину. Сельская молодежь веселилась в этом на редкость неуютном “сарай”-клубе. Туда-то и ходила развлечься, особенно после нескольких часов позирования, наша величавая гостя, — Анна Андреевна называла вообще кино “театром для бедных”. Возвращались, уже опоздав к вечернему чаю. Е причуду встречали весело.

Иногда, если погода была теплой, мы гуляли с Анной Андреевной вдоль реки, по моей любимой тропинке, и тут разрешали себе поговорить и о поэзии».

Ахматова сама по себе была человеком очень сложным в общении. А в этот период ее замкнутость усиливалась гонениями и травлей. Шервинский находил многообразные способы развлечь Анну Андреевну.

«В эти приезды Анны Андреевны мы увлекались литературными забавами с отгадыванием автора той или иной поэтической строки. Загадывающий должен был не только знать сам, из какого стихотворения заданный стих, но в случае, если никто не опознавал автора, процитировать стихи целиком. Иногда я сам придумывал стих в стиле какого-нибудь общеизвестного поэта, а потом к общей веселости меня выводили на чистую воду. Я, в притворном смущении, пытался скрыться под обеденный стол, тогда Анна Андреевна с каким-то сочувствием говорила: “Только не под стол!..” В подобных играх на лице Анны Андреевны бывала улыбка, вообще-то редко освещающая ее лицо.

Я очень любил смешить Анну Андреевну. Однажды по дороге в Москву я в вагоне “местного” сочинял невероятные по глупости шарады в стихах и примерно на полдороге достиг того, что Анна Андреевна наконец откровенно рассмеялась. Подобные детские забавы были средством отвлечения Анны Андреевны от постоянно тяготевших над ней дум».

В последние годы Ахматова много занималась поэтическим переводом. Колоссальный опыт Шервинского позволял ему давать Анне Андреевне конкретные советы, по-редакторски помогать ей в переводческой работе.

«В пятидесятых годах, когда я перестал робеть перед Анной Андреевной, наша литературная связь стала теснее. Анна Андреевна читала мне и в Старках, и в Москве недавно или только что сочиненные стихи, всегда

наизусть, всегда наедине... Не могу скрыть, что она называла меня “лучшим слушателем”».

Старковская жизнь была эмоционально насыщенной. Но в то же время нельзя не сказать, что «черкизовский круг» редел... В 1953 году в Москве умер А.С. Кочетков, мучительно, трудно. После войны переводческая колония в Старках, та знаменитая «коломенская аномалия», так и не смогла возродиться...

Зато в научной среде Черкизово вызывает вс большой интерес. В 1955 году выходит книга «Подмосковье. Памятные места в истории русской культуры XIV—XIX веков». В числе авторов был выдающийся русский историк академик С.Веселовский. В этом труде, глубоком по содержанию и в то же время очень занимательно написанном, излагается не только архитектурное описание Черкизова, но подробно рассказывается и о первых владельцах села. Кстати, в том же году вышла книга Н.Я. Тихомирова «Архитектура подмосковных усадеб», разумеется, там есть и страницы, посвященные Черкизову.

Но что значат все изыскания ученых и краеведов перед тем ослепительным взрывом ахматовского гения, который озарил коломенскую землю летом 1956-го!

В этот год Ахматова отмечала десятилетие своей последней любви. С тех пор многое изменилось... Недавно Анна Андреевна пережила тяжкую болезнь, едва не унесшую ее в могилу. Она изменилась внешне: постарела, располнела; что-то библейское, пророческое стало сквозить в ее царственном облике. Изменились и страна, и все окружающее, со смертью Сталина открывалась новая эпоха. Но воспоминания о трагическом прошлом оставались все так же ярки...

И вот странным стечением обстоятельств, как скажут скептики, или (как скажем мы) — волей Провидения, именно в этот период грустных раздумий и творческого волнения, и именно в Черкизове, Ахматова услышала мелодию, которая всколыхнула ее внутреннее существо и заставила обратиться к стихам. Что это за мелодия?

Муж младшей дочери Шервинского, Екатерины Сергеевны, — Фдор Серафимович Дружинин — музыкант. Ему суждено было стать заслуженным артистом Российской Федерации, профессором Московской консерватории. А тогда он был еще никому не известным альтистом, начинающим творческий путь.

Он разучивал «Чакону» Баха. Чакона — обычная танцевальная пьеса — под рукою немецкого гения превратилась в грандиозную фреску, поражающую своим философским содержанием и глубиной. Ошеломляют и техническая сложность произведения и его объем.

Благородная акустика старковского дома заставляла звучать старинную музыку особенно торжественно, словно в храме. Было в ней что-то поразительно совпадающее, заставляющее вспомнить трагические 40-е... Ахматова не подавала виду, что слушает, но не могла противиться влекущей музыке. И вот как-то Ф.С. Дружинин заметил Ахматову. И музыкант, и поэт оказались в величайшем смущении: Фдор Серафимович оттого, что Ахматова стала свидетелем его черновой работы, Анне Андреевне, в свою очередь было неудобно за то, что она вторглась без спроса в чужую творческую мастерскую.

Дружинину пришлось обещать, что он сыграет чакону для Ахматовой, как только произведение будет готово. Молодой музыкант испытывал боль-

шой трепет. Ему предстояло серьезное испытание. Он еще никому не показывал свою работу и тем более — не исполнял в концерте.

Но обещания было дано. И вот в один из дней все собрались в гостиной — и величественная германская гармония наполнила дом и сад...

Музыка Баха потрясла Ахматову. Вс совпало: лето, прозрачный колокольный звон Никольской церкви, буйно цветущий шиповник Черкизовова, сладостный аромат его цветов, плывущий в сумраке вечера, горькие воспоминания, звездные ночи и эта музыка, музыка...

Шесть стихотворений было написано здесь, еще примерно столько же — позднее, после Старков, но под впечатлением их... Так появился гениальный цикл «Шиповник цветет (Из сожженной тетради)».

Чакону еще раз отзовтся — в строках «Третьего посвящения» к «Поэме без героя». Заметим, кстати, что дата под этим Посвящением — 5 января 1956 г. — неточна. Ахматова впервые слышала «Чакону» летом этого года, и цифра «56» — это просто ошибка. Это, между прочим, подтверждается и надписью на книге ахматовских переводов классической корейской поэзии, подаренной Ф.С. Дружинину в благодарность «...за чакону Баха, которую он играл в Старках осенью 1956 года. *Анна Ахматова. 27 января 1956 г. Москва*». Здесь, как видим — та же ошибка. Ахматова по инерции в начале 1957-го продолжала ставить год предыдущий.

Божественные мелодии Музы русского Серебряного века навсегда прославили Коломенскую землю в истории отечественной поэзии.

Как же мы отплатили Ахматовой и Шервинским за этот поистине царский дар?

Катастрофа

Из дома инвалидов «повышенного типа» хлудовский флигель выродился в интернат для душевнобольных. Точно злокачественная опухоль, это учреждение расплодилось по усадьбе Черкасских, кусок за куском отхватывая и «переваривая» е. Мерзость и уродство строений резали глаз — особенно в контрасте с благородной простотой старинного флигеля Шервинских.

То ли из зависти к этой красоте, то ли из непреодолимой подсознательной ненависти к культуре (а может, от всего этого одновременно) у местного начальства созрело решение отторгнуть владение Шервинских в пользу приюта для умалишенных.

Когда мирным путем это не удалось, пошли в ход иные средства. Както в Коломенский район заехал влиятельный партийный функционер Д.С. Полянский, ему пожаловались, что возможности для развития интерната сковываются. Живт-де какой-то москвич, и даже не живт, а так, дачу снимает летом. Возмущенный такой «социальной несправедливостью» партийный бонза обещал посодействовать. И «посодействовал». Дачу заставили продать. Никакие письма, ходатайства, комиссии не возымели действия. Воля КПСС была выше закона.

Конечно, заслуженный человек, великий переводчик, используя свой авторитет, звания, регалии, мог бы еще бороться за справедливость. Но достойно ли это было? Перед кем должен был отстаивать свои интересы старый поэт? Перед потомками тех, кому его отец спас жизнь, перед теми, которых Шервинские просвещали и кому благодетельствовали? Если люди не понимают слов «стыд» и «благодарность» — что с ними разговаривать?

Да и до разговоров ли было? Разразился Карибский кризис, неизвестно было — выживет цивилизация или рухнет в бездну, унесенная атомной катастрофой. И в такое время — решать свои житейские проблемы? Пусть все останется как есть...

Но обиды и предательства Шервинские не забыли. Даже прах Василия Дмитриевича Шервинского перезахоронили в Москву — на Новодевичье кладбище. Еще древние греки говорили: «Могила героя есть украшение отечества». Так вот: мы, коломенцы, не заслужили такого украшения. Мы вообще не заслужили красоты.

Красота улетела из этих мест, как душа отлетает от мертвого тела. Так одно из красивейших мест России — жемчужина Подмосковья — превратилась в свалку, как в эстетическом плане, так и в плане «человеческого материала».

Шервинская школа

Но Шервинских в Черкизове не забыли. Остались люди, сберегшие благодарные воспоминания, хранящие личные вещи, связанные со знаменитой семьей. И когда в прошлом году в Шервинской школе открылась выставка к 110-летию со дня рождения Сергея Васильевича Шервинского — люди откликнулись, принесли ценные материалы, мебель, вещи, фотографии, письма...

Сейчас в Шервинской школе идет реставрация. Поставлена задача открыть в Черкизове культурный центр, где найдется место и литературному музею, и художественной галерее для Песковского товарищества художников. Наверное, это не случайно.

Ведь все мы вышли из Шервинской школы! Огромный пласт русской культуры, литературные сокровища, собранные «черкизовским кругом», — все это осталось с нами и никогда не исчезнет. Настанет день, когда мы войдем под ожившие школьные своды и воочию увидим историю древней земли, воплощенную в предметах, картинах, документах. И тогда вновь оживет былое, те шесть с лишним столетий, которые пока еще скрываются за страницами «Черкизовской хроники».

НАША БИБЛИОГРАФИЯ 2002 год — 2003 год

Ганичев В. Современная литература. Традиции. Проблемы. Взгляды в будущее // Российский писатель. 2002. 24. С. 1.

Горчакова Г. И это все о ней. Обзор юбилейной литературы // Коломенская правда. 2002. 4 окт. 179—180. С. 4.

Громов Д. Атрибут провинции // Литературная Россия. 2003. 24 янв. 3. С. 7. (В нашей буче.)

Ильин В. Нешумное Отечество // Алфавит. 2003. 4. С. 28. (Человек читающий.)

Калабухин С. Тема войны на страницах «Коломенского альманаха» // Советская Коломна. 2002. 36. С. 8.

Кондратова Т. Размышления о прочитанном... // Арт-информ. 2002. 10. С. 4. (Слово.)

Кузина Е. Виктор Мельников: «Я делаю это для себя» // Региональные вести. 2002. 4 сент. 36. С. 5.

Первый номер был самым трудным: [Интервью с главным редактором «Коломенского альманаха» *В.Мельниковым*]/ Интервью провел *А.Кузовкин*; фот. *Ю.Имханицкого* // Коломенская правда. 2002. 12 марта. 43. С. 3.

Ушакова В. «Альманах» для ценителей слова // Коломенская правда. 2002. 30 авг. 157—158. С. 6. (Накануне юбилея.)

Яковлев А. Губернские страницы // Литературная газета. 2003. 46. С. 11. (Читательный зал; в. 16.)

**Библиографию составила
Елена Новикова**

Один из величайших мудрецов древности Гераклит Эфесский сказал: «Нельзя дважды войти в одну реку, ибо уже через мгновение и ты иной, и река другая». Прав ли был философ? Конечно, прав... Мы живем в изменяющемся мире.

Но при всей изменчивости некоторые явления могут сохранять свою сущность даже не десятками лет, а веками. Можно ли утверждать, что Коломна — та же, что и полтысячелетия назад? Разумеется, нет. И, однако, город сумел остаться самим собой: так же своеобразны его люди, так же прекрасна культура.

Выходит, существует некая сила, которая обеспечивает преемственность поколений. Есть люди, которых можно назвать носителями культуры. Это не только литераторы и художники. Это еще и те, кто поддерживает искусство и литературу.

Не умерла у нас традиция благотворительности! И пока будут в Коломне такие люди, не исчезнет в веках наша духовность. Мир вам, хранители Традиции!

Валерий Иванович ШУВАЛОВ, глава города Коломны

Виталий Валентинович ХИТРОВ, генеральный директор ООО СМУ
«Высокие технологии»

Валерий Семенович КОСОВ, директор ГУП «ВНИКТИ» МПС России

Валерий Николаевич КАЛЮГА, директор Коломенской территориальной
фирмы «Мостоотряд-125»

Николай Петрович ЛЕОНОВ, директор СЗАО «Сергиевское»

Сергей Сергеевич СЕРГЕЕВ, директор научно-производственной
ассоциации «ТЕХНО-АС»

Николай Николаевич СИДЕЛЕВ, директор автоколонны ц 1417
ГУП «Мострансавто»

Александр Алексеевич ГАВРИЛОВ, генеральный директор ООО «Мобил
Телем Коломна»

<u>Борис Дмитриевич КОРЕШКОВ,</u>	ректор Коломенского государственного педагогического института
<u>Марина Николаевна МАЛИЦКАЯ,</u>	директор салона штор «Эники»
<u>Михаил Яковлевич АРЕНЗОН,</u>	главный редактор еженедельной газеты «Ять»
<u>Эдуард Насибуллович ТУМЕРКИН,</u>	директор ООО «Ракурс»
<u>Юрий Михайлович УГОЛЕВ,</u>	директор экологической научно-производственной фирмы «Новатор»
<u>Людмила Платоновна РЫБАЛКА,</u>	индивидуальный предприниматель
<u>Николай Васильевич ФЕОКТИСТОВ,</u>	директор ОАО «Коломнамолпром»
<u>Борис Владимирович ОРЛОВ,</u>	руководитель ателье «Карина»
<u>Илья Георгиевич ЛЕБЕДЕВ,</u>	директор ООО «Ликъ»
<u>Наталья Николаевна ДРАНЕЕВА,</u>	заместитель председателя правления Коломенской городской организации общества «Знание»
<u>Елена Геннадьевна ПЕХТЕРЕВА,</u>	директор дизайн-студии «Автор»
<u>Сергей Анатольевич АСТАПОВ,</u>	руководитель Аккредитованного Коломенского учебного компьютерного Центра общества «Знание» России
<u>Василий Павлович ЖИДОВИНОВ,</u>	директор Коломенского филиала современного гуманитарного института

Издание выходит при поддержке Администрации города Коломны и Коломенского государственного педагогического института

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ
«КОЛОМЕНСКИЙ АЛЬМАНАХ»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В.С. МЕЛЬНИКОВ

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Р.В. СЛАВАЦКИЙ
В.В. УШАКОВА
О.В. КОЧЕТКОВ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
А.Г. ВАСИЛЬЕВА

РЕДКОЛЛЕГИЯ

Н.В. Бредихин — редактор отдела прозы
Т.Ф. Башкирова — редактор отдела поэзии
В.А. Викторovich — редактор отдела литературной жизни
А.И. Кузовкин — редактор отдела публицистики и краеведения
Е.С. Гринин — художественный редактор

РЕДАКЦИЯ

М.Г. Абакумов, А.П. Ауэр, Ю.Д. Колесников, Н.Н. Касимов,
В.Н. Леонов, Е.А. Новикова, С.И. Патрикеев

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ РЕДАКЦИИ

М.Н. Алексеев, Л.И. Бородин, В.Н. Ганичев, В.Г. Дагуров, В.Н. Крупин,
В.В. Личутин, Г.Б. Осипов, И.Е. Ракша, Е.Ю. Юшин

В оформлении обложки использован фотозтиюд Юрия Колесникова
Фотопортреты авторов выполнены Юрием Имханицким и Львом Авдеевым
Редакторы А.Г. Васильева. В.В. Ушакова
Художник Е.С. Гринин
Компьютерная верстка М.А. Машкары
Корректоры А.В. Богданова, О.И. Киреенко

Свидетельство о регистрации ПИ 1–50294 от 26 апреля 2002 года Министерства
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
140411, Московская область, г. Коломна-11, а/я 47. E-mail: glago@inbox.ru

Подписано в печать 25.09.03. Формат 70x100/16. Бумага офсетная 1. Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 28. Вклейка 1 п. л. Тираж 1000 экз. Заказ

Издательство журнала «Москва». 121918, Москва, ул. Арбат, 20.
Тел. (095) 291-83-91, 291-71-10. Факс (095) 291-07-32.
Типография ОАО «Астра семь» 121019, Москва, Филипповский пер., 13

**При перепечатке наших материалов ссылка на «Коломенский альманах»
обязательна.**